БЕРНАРД ШОУ

ЛЕНИНГРАД
«ИСКУССТВО»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1980

БЕРНАРД ШОУ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПЬЕС
В ШЕСТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. Аникста, Н. Я. Дьяконовой,
Ю. В. Ковалева, А. Г. Образцовой,
А. С. Ромм, Б. А. Станчица,
И. В. Ступникова

БЕРНАРД ШОУ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПЬЕС
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том 4

СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ФАННИ

АНДРОКЛ И ЛЕВ

ОХВАЧЕННЫЕ СТРАСТЬЮ

ПИГМАЛИОН

ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА

ЛЕЧЕНИЕ МУЗЫКОЙ

О'ФЛАЭРТИ, КАВАЛЕР
ОРДЕНА ВИКТОРИИ

ИНКА ПЕРУСАЛЕМСКИЙ

ОГАСТЕС ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ

АННАЯНСКА,
СУМАСБРОДНАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

ББК 84.34 (Вл)
Ш81

Редактор тома И. В. Ступников
Художник Б. В. Власов

Ш $\frac{70600\text{-}114}{025(01)\text{-}80}$ подписное 4703000000

© «Искусство», 1980 г.

СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ

Интерлюдия

1910

THE DARK LADY OF THE SONNETS

ПОЧЕМУ БЫЛА НАПИСАНА ПЬЕСА

Объясню-ка я, пожалуй, почему в этой pièce d'occasion,[1] *сочиненной для спектакля, идущего в фонд проекта Национального театра, задуманного для увековечения памяти Шекспира, я отождествил Смуглую леди с мистрис Мэри Фитон. Прежде всего, разрешите заметить, я вовсе не утверждаю, будто Смуглая леди и есть Мэри Фитон. Когда благополучно закончилось дело в пользу Мэри (или против нее, если вы соблаговолите принять в соображение, что Смуглая леди была ничуть не лучше, чем ей и полагалось быть), на свет выплыл портрет Мэри, где она предстала вовсе не смуглой, а светловолосой леди. Это решает вопрос, если только портрет подлинный (в чем у меня нет причин сомневаться) и если волосы у дамы не выкрашены (в чем уверенности уже меньше). Шекспир в своих сонетах немилосердно напирал на смуглоту дамы, так как в его время черные волосы были так же не в моде, как рыжие в начале правления королевы Виктории. Любой оттенок светлее цвета воронова крыла губителен для сильнейшей претендентки на титул Смуглой леди.*

Поэтому, если только я не сумею доказать, что сонеты Шекспира вынудили Мэри Фитон в негодовании выкрасить волосы и наложить на лицо белила, мне лучше отказаться от всяких попыток выдать мою пьесу за историческую. Недавнее предположение мистера Ачесона, что Смуглая леди совсем не фрейлина а содержательница таверны в Оксфорде и мать поэта Давенанта, я поддержал бы с большой охотой, имей я желание прослыть современным. Почему же я в таком случае представил Смуглую леди как Мэри Фитон?

Что ж, причин у меня на это было две. Пьесу вообще собирался писать не я, а госпожа Эдит Литлтон; она и придумала сцену ревности из-за злополучного барда между королевой Елизаветой и Смуглой леди. Но в таком случае написать сцену было проще простого, если Смуглая леди была фрейлиной, и с огромной натяжкой, будь она хозяйкой таверны. Поэтому я и ухватился за Мэри Фитон. Но у меня был и еще один мотив, более личного характера. Я, так сказать, присутствовал при

---

[1] Пьеса на случай *(франц.)*.

рождении фитоновской гипотезы. Еще до этого я познакомился с ее родителем, и он завел обыкновение советоваться со мной по поводу неясностей в сонетах в те времена, когда кроме него ни один человек не придавал моему мнению на сей или любой иной счет ни малейшего значения. Однако, насколько помнится, мне ни разу не удалось пролить свет ни на одно из темных мест. Вот я и подумал, что поступлю по-дружески, обессмертив, по глупому литературному выражению, его имя, как Шекспир, выполняя свое обещание, обессмертил имя мистера У. Г., просто написав о нем.

Но позвольте же рассказать историю по порядку.

ТОМАС ТАЙЛЕР

На протяжении по крайней мере всех 80-х годов, а может быть, и несколько лет до того, в читальню Британского музея ежедневно наведывался господин такого поразительного, такого сокрушительного уродства, что, однажды встретив, нельзя уже было его забыть. Рыжий, с бронзоватым, а не песочным оттенком волос; между сорока пятью и шестьюдесятью, во фраке и цилиндре респектабельного, но неизменно поношенного вида; квадратный, без талии, без шеи, без щиколоток, среднего роста, он выглядел ниже из-за того, что, не будучи толст, не имел ни одной тонкой детали фигуры. Уродство его, однако, не носило отталкивающего характера — оно было случайным, чисто внешним, каким-то избыточным. От левого уха к подбородку тянулся чудовищный нарост, свисавший до ключицы; другой нарост, поменьше, на правом веке, кое-как уравновешивал первый. Природа так перестаралась в своем злобном умысле, что отталкивающий эффект, на который она рассчитывала, не удался. Когда вы впервые видели Томаса Тайлера, в голову вам лезло только одно: куда смотрят хирурги? Но уже после нескольких встреч вы не замечали его изъянов, а беседовали с ним так же, как если бы он был Ромео или Ловелас. И только потому, что большинство людей, особенно женщин, не решалось пройти через предварительный период, он прожил обособленной жизнью и остался холостяком. Меня опухолью не испугаешь и против ее носителя не настроишь, так что я завязал с ним сердечные отношения, и он почти неуклонно держал меня в курсе своей работы в музее, куда я, как и он, ходил читать почти каждый день.

По профессии он был литератор некоммерческого толка, специалист в области пессимизма. Он сделал перевод Экклезиа-

ста, и в год продавалось по восемь экземпляров его перевода; он с острым интересом изучал пессимизм Шекспира и Свифта. Он увлекался мерзкой концепцией, которую именовал теорией циклов, согласно которой история человечества и Вселенной постоянно повторяется без малейших отступлений испокон веков, так что он уже когда-то жил и умер, и имел нарост, и будет жить, и умрет все с тем же наростом, и так будет без конца. Ему нравилось думать, что из происходящего с ним ничто не бывало новым, и он часто уверял меня, что помнит, как то же событие уже имело место в предыдущем цикле. Он выискивал намеки на свою излюбленную теорию у трех своих излюбленных пессимистов. Пытался он и расшифровывать древние надписи, читая по ним, как читают по звездам, усматривая медведей и овнов, мечи и козерогов там, где, на мой взгляд, ни один человек в здравом уме не мог увидеть ничего, кроме звездного хаоса. Следующим magnum opus[1] *после Экклезиаста была работа над сонетами Шекспира, в которой он соглашался с уже существующим предположением, что мистер У. Г.— «единственный виновник сонетов» — есть граф Пембрук, Уильям Герберт, и выдвигал собственную идею отождествления мистрис Мэри Фитон со Смуглой леди. Меня не очень волновало, прав он или заблуждается, по мне пусть будет хоть Мария Томпкинс. Но Тайлер утверждал, что Смуглая леди именно Мэри Фитон, и прослеживал жизнь Мэри начиная с первого замужества лет в пятнадцать и кончая могилой в Чешире, куда он и совершил паломничество и возвратился оттуда, торжествуя, с изображением скульптурного надгробия на ее могиле и известием, что еле различимые следы краски на скульптуре окончательно убедили его в том, что она и есть Смуглая леди.*

Со временем он издал сонеты, присовокупив описание своих находок. Он дал мне прочесть свой экземпляр книги, а я его так и не вернул. Но в «Пэл-Мэл Газет» от 7 января 1886 года я отрецензировал издание и таким образом сделал фитоновскую концепцию достоянием более широкого круга читателей, куда книга сама бы не проникла. Затем Тайлер умер, незаметно канув, как камень в воду. Я замечаю, что мистер Ачесон, поборник госпожи Давенант, называет Тайлера преподобным. Допускаю, что познания свои в древнееврейском он приобрел, когда готовился в священники; в его одежде и манере держаться и в самом деле было что-то от священника или школьного учителя. Возможно, он и в самом деле принял сан. Однако ни об этом, ни о других своих личных делах он мне никогда ничего не говорил. Да и за

[1] Великим творением *(лат.)*.

мрачный пессимизм его вышибли бы из любой церкви, ныне существующей на Западе. Мы никогда не обсуждали с ним его личных дел, мы говорили о Шекспире, о Смуглой леди и Свифте, о Когелете, циклах и непостижимых моментах, когда у нас появляется тайное чувство, что все это с нами уже когда-то происходило; о поддельных экземплярах Пятикнижия, которые хотели продать Британскому музею, о литературе и вообще о вещах духовных. Он всегда подходил к моему столику в музее и заговаривал на одну из этих тем, так как ему, очевидно, редко встречались люди, склонные к подобным беседам. Он остается ярким островком памяти в море моей беспамятности, значительная душа в нелепом и безобразном теле.

ФРЭНК ХЭРРИС

Моей рецензии в «Пэл-Мэл Газет» я приписываю — уж не знаю, прав я или нет,— знакомство мистера Фрэнка Хэрриса с Мэри Фитон. Рассуждаю я так: мистер Хэррис написал пьесу о Шекспире и Мэри Фитон. Когда же я, почитая это своим долгом по отношению к духу Тайлера, напомнил человечеству, что фитоновской концепцией мы обязаны Тайлеру, Фрэнк Хэррис, явно понятия не имевший, откуда у него в голове взялась Мэри, видимо, решил, что я выкопал Тайлера специально для того, чтобы доставить ему неприятность. Значение, которое я придавал приоритету Тайлера, должно было казаться необъяснимым порождением коварного умысла, если исходить из того, что Тайлер для меня лишь одно из тысяч имен в каталоге Британского музея. Поэтому я и хочу разъяснить, что у меня были и есть личные мотивы помнить Тайлера и считать себя, так сказать, уполномоченным напомнить миру о его труде. Мне стало обидно за него, когда Мэри на портрете оказалась светловолосой, а мистер У. Г. снова из Пемброка стал Саутгемптоном. Но даже и теперь труд его не пропал даром: ведь лишь перепробовав все гипотезы, мы добираемся до той, которую можно доказать. И, в конце концов, неправильная дорога всегда куда-нибудь да выведет.

Фрэнк Хэррис написал пьесу задолго до меня. Я читал ее в рукописи до того, как обсуждался вопрос о Шекспировском мемориальном театре. И если что-то в моей пьесе, кроме фитоновской концепции (а она принадлежит Тайлеру), совпадает с чем-то в пьесе мистера Хэрриса, так это «что-то» заимствовал у него я, а не он у меня. Да и вообще все это неважно, так как пьеса моя — короткая безделка и к тому же полна за-

ведомо невозможных вещей, тогда как у мистера Хэрриса пьеса солидная и по размерам, и по замыслу, и по качеству. Но сама их природа исключает их сходство: Фрэнк видит Шекспира сломленным, печальным, невероятно сентиментальным, я же убежден, что он был очень похож на меня. Более того, родись я не в 1856 году, а в 1556-м, я пристрастился бы к белому стиху и показал бы Шекспиру, что такое настоящий конкурент,— я бы загонял его больше, чем все елизаветинцы, вместе взятые. При всем при том успех книги Фрэнка Хэрриса о Шекспире доставил мне истинное удовольствие.

Для тех, кому знаком литературный мир Лондона, в неоспоримом приговоре в пользу этой книги был сильный привкус едкой насмешки. В критической литературе существует одна награда, конкурс на которую всегда открыт, одна голубая лента, которая означает высший критический ранг. Чтобы получить эту награду, вы должны написать лучшую книгу вашего времени о Шекспире. Все без изъятия сознают, что для этого нужна некая высокая утонченность, безупречный вкус, корректность, верно найденные тон и манера, а также большие академические заслуги вкупе с обязательной ученой степенью и литературной репутацией. Поэтому на тех, кто притязает на эти качества, взирают с благосклонностью и ожиданием, что вот-вот они совершат великий подвиг. Итак, если есть на свете человек, который является полной противоположностью образа, составленного из вышеописанных качеств, человек, само существование которого оскорбляет этот идеальный образ, взор которого принижает, зычный голос осуждает, пренебрежительная манера оттесняет всякую благопристойность, всякий такт, вежливость, достоинство, всякий милый обычай мирной атмосферы взаимного восхищения, в какой только и может произрастать подлинное понимание Шекспира,— если есть такой человек, то это Фрэнк Хэррис. Вот кто безмерно одарен широчайшим диапазоном сочувствия и понимания — от разнузданности пирата до самой робкой нежности чувствительнейшей поэзии, кто создан для того, чтобы быть всеобщим союзником, но из гордой прихоти встает на сторону противников любого, кто увенчан славой или притязает на нее. Для архиепископа он атеист, для атеиста — католик и мистик, для империалиста бисмарковского толка — Анахарсис Клоотс, для Анахарсиса Клоотса — Вашингтон, для миссис Прауди — Дон Жуан, для Аспазии — Джон Нокс; короче говоря, для каждого он скорее необходимое дополнение, чем антитеза, и в то же время антагонист, а не собрат. Однако все это при одном условии, что оскорбляемые им — люди респектабельные. Софья Перовская, погибшая на эшафоте за

то, что разнесла на куски Александра II, вероятно, могла бы повторить гамлетовские слова:

Каким
Бесславием покроюсь я в потомстве,
Пока не знает истины никто! —

но Фрэнк Хэррис, написав свою Соню, уберег ее от несправедливости, поместив среди святых. Он совлек с чикагских анархистов дурную славу и показал, что по сравнению с убившим их капитализмом они герои и мученики. Сделал он это с неслыханной убедительностью. В его изложении история их неизбежно и непреодолимо вытесняет все вульгарные и подлые, недальновидные и недоброжелательные версии. Точный реализм и неулыбчивая, обдуманная, твердая прямота — вот что придает удивительное достоинство работе автора, который взял себе в обычай следовать неукротимому побуждению пинать общепринятое понятие достоинства при каждом удобном случае.

ХЭРРИС «DURCH MITLEID WISSEND»

Фрэнк Хэррис — кто угодно, только не юморист, и, судя по всему, не от недостатка ума, а оттого, что чувство презрения пересиливает в нем чувство юмора. Никому еще не приходило в голову упрекать мильтоновского Люцифера за то, что он не видит комической стороны своего падения; так, никто из читавших мистера Хэрриса не захочет облегчить его книгу главами, написанными рукой Артемуса Уорда. Однако Хэррис знает толк в юморе и цену ему. Он был одним из немногих писателей, высоко оценивших Оскара Уайлда, хотя и не был в рядах его ревностных поборников, до тех пор, пока мир не покинул Оскара в его позоре. Я как-то присутствовал при одной занятной встрече этих двоих: Хэррис накануне слушания дела Уайлда против Куинзбери предсказывал Уайлду с потрясающей точностью все, что сразу и случилось с ним, и советовал покинуть страну. Это было первое предсказание на моей памяти, которое сбылось. Уайлд, не заблуждавшийся, впрочем, относительно того, какую он сделал глупость, поддавшись на уговоры и затеяв бескорыстный судебный процесс, не рассчитал силы общественной мести, которую на себя обрушил, и вообразил, что сможет смягчить удар, если издатель «Сэтердей Ревью» (тогдашняя должность мистера Хэрриса) объявит, по его просьбе, роман

[1] Познающий через сочувствие *(нем.)*.

«Дориан Грей» высоконравственным (каковым он и является). Когда Хэррис предсказал Уайлду, что́ его ожидает, тот провозгласил Хэрриса малодушным другом, предавшим его в беде, и в гневе покинул комнату. Повышенная способность к жалости помешала Хэррису почувствовать или проявить обиду. А вскоре события доказали Уайлду, как безрассудно было следовать советам и возбуждать судебное дело и как верно Хэррис оценил ситуацию.

Та же способность к жалости движет Хэррисом в его работе над Шекспиром, которого, как я уже сказал, он жалеет, и даже слишком. Но о том, что юмор ему не чужд, свидетельствует не только то, что он оценил Уайлда, но и то, что в группе авторов, прославивших период его руководства «Сэтердей Ревью» (хвалить их мне не мешает тот факт, что к ним принадлежал и я сам), каждый на свой лад был юмористом.

ПЕМБРУКА МАТЬ, СИДНИ СЕСТРА...

А теперь вернемся к Шекспиру. Хотя мистер Хэррис вслед за Тайлером отождествил Смуглую леди с Мэри Фитон, а графа Пембрука с адресатом других сонетов и человеком, пользовавшимся успехом у любовницы Шекспира, он, как это ему свойственно, отказывается следовать Тайлеру только в одном пункте. Но вот убей меня бог, если я помню — шла ли речь об одной из догадок, высказанных Тайлером в печати, или только о той, по поводу которой тот советовался со мной, как он обычно делал, когда встречал неясные строки в сонетах.

Догадка состоит в том, что уговаривать Пембрука жениться побудила Шекспира «Пембрука мать, Сидни сестра», и в этом кроется объяснение того, почему в ранних сонетах с такой неестественной настойчивостью мистера У. Г. понуждают к супружеству. По-моему, это одна из самых блестящих гипотез Тайлера, потому что уговоры в сонетах действительно необъяснимы. Объяснить их можно лишь тем, что Шекспир написал их в угоду кому-то, кому хотел угодить и кто проявлял материнское участие в Пембруке. Гипотеза Хэрриса соблазнительна и еще одним. Самой очаровательной из шекспировских немолодых героинь, да по существу и всех шекспировских женщин вообще, старых и молодых, является графиня Русильонская в пьесе «Все хорошо, что хорошо кончается». По сравнению с остальными героинями Шекспира в ней так сильно чувствуется индивидуальность, что здесь явно присутствует портретное сходство. Мистер Хэррис утверждает, что все

приятные старые дамы у Шекспира списаны с его возлюбленной матери, но я лично не нахожу никаких указаний на то, что мать у Шекспира была такая уж приятная или что он так уж ее любил. Поверить не могу, чтобы она, как утверждает мистер Хэррис, была олицетворением непомерной материнской гордости, какой была — по Плутарху — мать Кориолана. С таким же успехом она могла и не простить сыну того, что он «пошел в комедианты, которые представляют всякие непотребства», и опозорил Арденов. Как бы там ни было, а в качестве возможного прообраза графини Русильонской я предпочитаю тот, о котором Джонсон писал:

Пембрука мать, Сидни сестра!
Хоть жертву другую смерть унесла,—
Ту, что блистала умом и красой,—
Но время к тебе подступает с косой.

Но о таком варианте Фрэнк и слышать не хотел, так как его идеальный Шекспир смахивал на моряка в мелодраме, а моряк в мелодраме непременно обожает мать. Я вовсе не собираюсь принижать подобных моряков — они символы человеколюбия. Но Шекспир-то не был символом, он был человеком и автором «Гамлета», а Гамлет не питал иллюзий относительно своей матери. В минуты душевной слабости мне иногда прямо-таки хотелось, чтобы они у него были.

ПОЛОЖЕНИЕ ШЕКСПИРА В ОБЩЕСТВЕ

По поводу спорного вопроса о положении Шекспира в обществе мистер Хэррис замечает, что Шекспир «не воспользовался привилегией среднего сословия и не получил буржуазного воспитания». Я выскажу предположение, что Шекспир упустил эту сомнительную привилегию не потому, что помехой оказалось его чересчур низкое происхождение, а как раз потому, что он убедил себя в принадлежности к высшему классу. Пусть-ка мистер Хэррис на миг окинет взором мир современной журналистики. Он увидит немало людей с теми же свойствами характера, которые, по его утверждению, делали незавидным общественное положение Шекспира, не получившего должного буржуазного воспитания. Шумные, грубые озорники и скандалисты, любящие уснащать свои статьи непристойными мальчишескими анекдотами, они отличные мастера в особого вида шантаже, который состоит в беспощадном поношении и очернительстве каждого писателя, чьи взгляды достаточно ере-

ничны. Они пользуются тем, что такой писатель не может рискнуть обратиться с жалобой в предвзятый ортодоксальный суд присяжных, не боясь распроститься на пять лет со своим скудным доходом. В жестком и подлом поведении они видят лишь уморительно веселый розыгрыш, а ведь им нельзя отказать в подлинных литературных способностях, в преданности литературе и даже в наличии своеобразной совести художника. Однако вне этой категории, в среде, расположенной ниже по социальной лестнице, Хэррис не найдет ни одной модели подобного типа, взирающей на среднее сословие не смиренно и с завистью, а нагло, свысока. Мистер Хэррис и сам отмечает презрение Шекспира к торговцам и ремесленникам, его неисправимое пристрастие к непристойным шуткам. Мистер Хэррис делает общественно полезную работу, сметая метлой привычный довод бардопоклонникуса невеждимуса (доказывающего, что грубость Шекспира в его эпоху была общепринятой нормой поведения) и метко указывая на одно-единственное имя — Спенсера,— которое само собой разоблачает эту клевету на елизаветинское благопристойное общество. Ничто решительно не мешало Шекспиру быть столь же пристойным, как Мор до него или Беньян после, и относиться к себе с таким же самоуважением, как Рали или Сидни,— не мешало ничто, кроме традиции его слоя, выходцы из которого безусловно могут добиться образования и государственной должности, если есть у них к тому склонность, но чья наглость, зубоскальство, распутство, непотребные шутки, долговые обязательства и шумное озорство беспрерывно оскорбляют чувства набожных, серьезных, трудолюбивых, платежеспособных буржуа. Никакой другой слой не бывал ослеплен настолько, чтобы считать, будто джентльменами родятся, а не становятся в результате очень сложного культурного процесса. Даже королей с самого раннего возраста обучают, натаскивают и муштруют, чтобы подготовить к их будущей роли. Но человек из родовитой семьи (каким, я убежден, считал себя Шекспир) ринется в общество, не научившись держать себя за столом, в политику — не взяв ни единого урока истории, в деловую сферу — не имея понятия о коммерции, и в армию — не получив представления о чести.

Когда желают доказать, что Шекспир происходил из трудовой семьи, обращают внимание на то, что он едва выводил свое имя. Почему же? А потому, что он «не воспользовался привилегией среднего сословия и не получил буржуазного воспитания». Сам Шекспир устами Гамлета сообщает нам, что джентльмены нарочно писали скверно, чтобы их не приняли за писцов. Но большинство из них писали (как водится и в наши

дни) скверно оттого, что лучше не умели. Короче говоря, весь набор причуд Шекспира — порочность, презрение к торговцам и ремесленникам, убежденность, что остроумный разговор обязан состоять из непристойностей, подхалимство перед вышестоящими и высокомерное обращение с нижестоящими, фамильярные отношения со слугами, о чем можно судить не только по отношениям двух веронцев и их слуг, но и по той любви и уважению, какие внушал такой замечательный слуга, как Адам,— все это характерно для Итона и Харроу, но не для начальных закрытых или государственных коммерческих школ. Как и все, что мы знаем о Шекспире, это указывает на то, что он мнил семьи Шекспиров и Арденов благородными, а себя джентльменом в стесненных обстоятельствах из-за отцовского невезения в делах. Но ни одной минуты не считал себя выходцем из простонародья. В этом кроется объяснение и одновременно оправдание его снобизма. Он не был выскочкой, старающимся прикрыть свое низкое происхождение покупным гербом,— он был джентльменом, пожелавшим вернуть себе принадлежащее ему по праву положение, едва только заработал средства, чтобы поддерживать его.

ПОЧТИ ДО ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Есть и еще одна вещь, над которой следовало бы поразмыслить мистеру Хэррису. Он говорит, что «современники не очень уважали Шекспира». Он даже расценивает изречение Джонсона «мало знал латынь и еще меньше греческий» как насмешку, хотя это суждение, несомненно, взято из искреннего панегирика Шекспиру, написанного после его смерти и безусловно предназначенного для того, чтобы усилить впечатление громадности природного дарования Шекспира, подчеркнуть, что схоластическая образованность тут ни при чем. Вообще говоря, в каком-то смысле Хэррис прав: Шекспира действительно мало ценили его современники, а если на то пошло, то и все последующие поколения тоже. Барочники на Риджент-канале что-то не распевают стихов Шекспира, как, по слухам, распевают гондольеры Венеции стихи Тассо (обычай этот по какой-то причине был отменен на время моего пребывания в Венеции; во всяком случае, при мне ни один гондольер этого не делал.). Шекспир не более популярный драматург, чем Роден — популярный скульптор или Рихард Штраус — популярный композитор. Но Шекспир был, разумеется, не такой простак, чтобы ожидать, что Томы, Дики и Гарри его эпохи будут интересоваться дра-

матической поэзией, равно как Ньютон позднее не ожидал, что они будут интересоваться флюксиями.[1] *И когда мы задумываемся — а может быть Шекспиру не хватало той уверенности, какую все великие люди черпают у своих наиболее одаренных и восприимчивых современников, уверенности в том, что они великие,— то слова Бена Джонсона раз и навсегда кладут конец столь невероятным домыслам: «И я любил этого человека почти до идолопоклонства, как и другие». Отчего, во имя здравого смысла, сделал он оговорку «почти», если не было идолопоклонства, причем настолько чрезмерного, что оно раздражало самого Джонсона и он даже счел нужным отказаться от него? Джонсона-каменщика, вероятно, обижало, когда Шекспир говорил и писал о каменщиках как о существах низших Наверное, ему казалось немножко несправедливым, что он, человек более образованный и, возможно, более храбрый и сильный физически, был не так уж удачлив и не так любим, как Шекспир. Но, несмотря на это, он восхвалял Шекспира со всем пылом отпущенного ему красноречия; более того, он не переставал любить его «почти до идолопоклонства».*

Следовательно, если уж Джонсон почувствовал необходимость разубедить современников в своей до нелепости преувеличенной оценке Шекспира, то, надо полагать, было немало людей, поклонявшихся Шекспиру так же, как нынче американские дамы поклоняются Падеревскому, и доводивших бардопоклонничество уже при жизни поэта до такого уровня, что более трезвым его поклонникам грозила опасность прослыть глупцами.

ПЕССИМИЗМ ШЕКСПИРА

Я обращаю внимание мистера Хэрриса на следующее: исключая идолопоклонство и, как возможный результат, уверенность Шекспира в том, что публика все от него стерпит, он исключает и более правдоподобное объяснение недостатков такой пьесы, как «Тимон Афинский»,— куда более правдоподобное, чем его гипотеза, будто страсть Шекспира к Смуглой леди «разъедала и терзала гордую плоть и довела его до помешательства и нервного срыва». В «Тимоне» интеллектуальное банкротство налицо: Шекспир слишком часто пытался строить пьесы на дешевом пессимизме, который перерастал в безысходность при сопоставлении подлинной человеческой натуры с отвлеченной моралью, подлинного правосудия и администрирования с абстрактной законностью и тому подобное. Но представление Шекспира

[1] Производными *(мат.)*.

о том, что все люди (если подходить к ним с тем же нравственным мерилом, какое они прикладывают к другому человеку и с помощью которого оправдывают наказания, применяемые к другому) — дураки и мерзавцы, представление это восходит не к периоду неприятностей со Смуглой леди; Шекспир, судя по всему, с ним родился. Если в «Комедии ошибок» и в пьесе «Сон в летнюю ночь» персонажи не так легко идут на предательство и убийство, как Лаэрт, да и сам Гамлет (не говоря уже о целой процессии головорезов, проходящей через поздние драмы), то это, разумеется, не оттого, что они больше чтят закон или религию. Из всех пьес Шекспира только в одной есть место, где стыд выступает как свойство человеческого характера, а именно сцена, где стыдится Гамлет, притом не какого-то своего поступка, а связи его матери с дядей. Сцена эта абсолютно неестественна: сын осыпает упреками мать, да и вообще способен обсуждать со своей матерью такую тему — это еще омерзительнее, чем даже ее отношения с братом покойного мужа.

И вот здесь-то Шекспир в кои веки обнаруживает свою религиозность: Гамлет, испытывающий муки стыда, объявляет, что поведение его матери «делает пустым набором слов обряды церкви». Не будь этих строк, мы бы и впрямь могли вообразить, что представление Шекспира о религии исчерпывалось радостным чувством, возникающим в воскресное утро на природе, что так прекрасно описывает Орландо в «Как вам это понравится». Я говорю «и впрямь», ибо все-таки Изабелла в «Мере за меру» обладает религиозным обаянием, несмотря на условно-театральную предпосылку, что женская религиозность означает фанатически суровое целомудрие. Однако большей частью Шекспир проводит различие между своими героями и злодеями скорее на основании того, как они поступают, а не того, что собой представляют. Дон Хуан в «Много шума» — настоящий злонамеренный злодей, но такой унылый тупица, что на роль главного действующего лица непригоден; когда же мы доходим до таких крупных злодеев, как Макбет, выясняется, что они, как подтверждает и мистер Хэррис, тождественны героям: Макбет — тот же Гамлет, только совершающий неуместные убийства и любящий вступать в рукопашные схватки. А Гамлет, который и не помышляет извиняться за три совершенных им убийства, вечно извиняется за то, что еще не совершил четвертого, и, в конце концов, к великому своему удивлению, обнаруживает, что ему не хочется его совершать.

Не желчь в моей печенке голубиной,— говорит он.
Позор не злит меня, а то б давно

Я выкинул стервятникам на сало
Труп изверга.

Право, я склонен заподозрить, что, когда Шейлок задает вопрос:

А можно ль ненавидеть тех, кого
Убить не хочешь? —

он выражает естественные и уместные чувства, свойственные роду человеческому, как его понимает Шекспир, а вовсе не мстительные чувства театрального еврея.

ВЕСЕЛОСТЬ ГЕНИЯ

Ввиду перечисленного неосторожно было бы выдавать пессимизм Шекспира за доказательство отчаяния, в которое он впал после того, как Смуглая леди разбила ему сердце. Неукротимая веселость гения дает возможность его сердцу выносить всю тягость людских несчастий не дрогнув. У него всегда наготове смех, чтобы отомстить за слезы удрученности. В строках, которые мистер Хэррис приводит лишь для того, чтобы объявить, что он их не понимает, и осудить как нехарактерные, Ричард III, пожалев себя:

Никто меня не любит.
Никто, когда умру, не пожалеет,

тут же добавляет с усмешкой:

Как им жалеть, когда в самом себе
К себе я жалости не нахожу?

Позвольте мне снова напомнить мистеру Хэррису про Оскара Уайлда. Все мы страшились читать «De Profundis»,[1] нас тянуло заткнуть уши или бежать прочь, чтобы не слышать вопля разбитого, хотя отнюдь не кающегося сердца. Но мы напрасно растрачивали нашу жалость. «De Profundis» оказалось действительно бездной: Уайлд — слишком умелый драматург, чтобы упустить такой могучий эффект. Но бездна эта была выдающейся, de profundis in excelsis.[2] Между строк этой поэмы скрывалось больше смеха, чем в тысяче фарсов иных бесталанных авторов. Уайлд, подобно Ричарду и Шекспиру, не нахо-

---

[1] **Из бездны** *(лат.)*.

[2] **Из бездны высокой** *(лат.)*.

дил в самом себе жалости к себе. Ничто так безошибочно не отмечает прирожденного драматурга, как дар увидеть комическое в собственных невзгодах. Воздействие этого комизма почти сравнимо с воздействием пафоса, с которым человек заурядный возвещает о своих невзгодах. Убейте меня, если я усматриваю разбитое сердце в последних творениях Шекспира. «Чу! Жаворонка песнь звончей несется с высоты» — так не пишет человек сломленный; и еще: замечание Клотена, что, если на Имогену это не подействует, «значит, уши у нее с изъяном и, сколько ни пиликай конским волосом по бараньей кишке,— не поможет», не похоже на шутку человека опечаленного. Да разве не очевидно, что до последней минуты в Шекспире сохранялись неистребимое, божественное легкомыслие, неиссякаемая радость, насмехавшиеся над печалью? Подумайте, каково было бедной Смуглой леди противостоять этой невыносимой способности из всего извлекать мрачное веселье. Послушать мистера Хэрриса, так на долю Шекспира приходились все страдания, а на долю Смуглой леди — все жестокие поступки. Но почему бы ему хоть на миг не поставить себя на место Смуглой леди, как он успешно ставил себя на место Шекспира? Вообразите себе, с какими чувствами читает она сто тридцатый сонет!

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Вот вам образец того сорта комплиментов, которых она могла ждать от Шекспира в любой момент. Примите во внимание, что она не сочиняла комедий; что обычай елизаветинской эпохи обходиться с брюнетками как с уродинами сделал ее весьма обидчивой, когда дело шло о цвете ее лица; что никакому человеческому существу, будь то мужчина или женщина, не может понравиться, когда прохаживаются насчет запаха твоего тела; что отвращение к любви проявлялось у Шекспира так же

бурно, как и любовный восторг, и выражал он это с той же до ужаса реалистической силой, какая заставляет Гамлета сказать, что небеса тошнит, когда они взирают на поведение королевы,— примите во внимание все это и потом спросите у мистера Хэрриса, какая женщина могла бы выносить долго такое обращение или считать, что «медовый» комплимент стоит жестоких ран, стоит раздирания сердца надвое — то есть того, что Шекспиру казалось столь же естественным и забавным, как и пародирование его эпических сочинений Пистолем, проповедей — Фальстафом, а стихов — Клотеном и Оселком.

ЮПИТЕР И СЕМЕЛА

Это не означает, что Шекспир был человеком жестоким; судя по всему, он им не был, но ведь не от жестокости Юпитер испепеляет Семелу, просто он не мог перестать быть богом, а она — смертной. Уж чем-чем, а идолопоклонством (как в одном месте книги назвал ее мистер Хэррис) страсть Шекспира к Смуглой леди не была. В противном случае Смуглая леди, наверное, смогла бы ее вынести. Мужчина, который «догадывается и любит, подозревает и боготворит», терпим даже с точки зрения избалованной и деспотичной возлюбленной. Но какая женщина способна терпеть мужчину, который любит, но который не просто подозревает, а знает и при этом смеется над нелепостью собственной страсти к женщине, чьи недостатки видны ему все до единого? Мужчину, чей кладбищенский юмор вечно заставляет его перемигиваться с черепом Йорика и приглашать свою владычицу посмеяться вместе над тем смешным фактом, что она кончит, как Йорик, хоть накладывай она белила в дюйм толщиной (как, вероятно, Смуглая леди и поступала). Смуглой леди Шекспир, должно быть, порой казался безжалостным чудовищем — так сказать, интеллектуальным Калибаном. Да, да, Калибаном, который способен сказать:

Ты не пугайся: остров полон звуков —
И шелеста, и шепота, и пенья;
Они приятны, нет от них вреда.
Бывает, словно сотни инструментов
Звенят в моих ушах; а то бывает,
Что голоса я слышу, пробуждаясь,
И засыпаю вновь под это пенье.
И золотые облака мне снятся.

И льется дождь сокровищ на меня...
И плачу я о том, что я проснулся.

И звучит это очаровательно, но у Смуглой-то леди уши, возможно, были с тем самым изъяном, которого опасался Клотен: к этой красоте она была глуха, зато уж, будьте уверены, ни одно словечко из сонета «Ее глаза на звезды не похожи...» не прошло для нее незамеченным.

И можно ли после этого предполагать, что Шекспир был слишком глуп или слишком скромен и так и не понял, что его случай — вариант Юпитера и Семелы? В этом смысле Шекспир безусловно скромностью не отличался. Никто никогда не слыхал от него скромного покашливания второстепенного поэта:

Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов.

Таких строк много. Находя, по-видимому, острое удовольствие и забаву в том, чтобы шокировать скромных кашлюнов, он громогласно заявлял здесь о своем месте и своей власти в «широком мире, что грезит о грядущем дне». Вероятнее всего, Смуглой леди это его качество казалось невыносимым самомнением,— нет причин предполагать, что ей пьесы Шекспира нравились больше, чем Минне Вагнер нравились музыкальные драмы Рихарда. Вполне возможно, что «Испанская трагедия», по ее мнению, стоила шести «Гамлетов».

Не был Шекспир и глуп; если бы не классовые ограничения и не профессия, которые отрезали его от настоящего участия в государственных делах и свели его возможности интеллектуальной и политической практики к частным беседам в таверне «Русалка», он, может статься, сделался бы одним из талантливейших государственных деятелей своей эпохи, а так он сделался просто талантливейшим драматургом. Можно было бы предположить, что Шекспир обнаружил, что умственные способности Смуглой леди так же не поспевают за его разумом, как не поспевали они у Энн Хетеуэй, будь у нас хоть какое-нибудь свидетельство о прекращении их дружбы после того, как он прекратил писать ей сонеты. Собственно говоря, переход страсти в прочную устойчивую близость обычно кладет конец сонетам.

Гипотеза, что Смуглая леди разбила Шекспиру сердце (как настаивает мистер Хэррис), уж очень не вяжется с Шекспиром. «Люди время от времени умирали, и черви их поедали, но случалось все это не от любви»,— говорит Розалинда. Ричард Глостер, в которого Шекспир вложил все свое озорное презрение к вульгарным чувствам, восклицает:

И пусть любовь, что бороды седые
Зовут святой, живет в сердцах людей,
Похожих друг на друга,— не во мне.
Один я.

У Гамлета не находится ни одной слезинки для Офелии. В связи с ее смертью у него возникает лишь яростное отвращение к сентиментальному поведению Лаэрта на могиле; когда Гамлет вскоре обсуждает эту сцену с Горацио, он уже успел забыть Офелию, ему только совестно, что он не сдержался, и поэтому он охотно соглашается выступить в состязании на рапирах, чтобы сгладить неприятный осадок. Как бы в опровержение такой точки зрения мистер Хэррис выставляет Ромео, Орсино и даже Антонио, и глубокая проникновенность, с какой он это делает, убеждает вас в том, что Шекспир в этих персонажах не раз выдавал себя с головой. Но одно дело — выдать себя с головой, а другое — нарисовать себя во весь рост, как он это делает в Гамлете и Меркуцио. Шекспир никогда «не видел» себя (по актерскому выражению) в Ромео, Орсино или Антонио. В пьесе у мистера Хэрриса Шекспир изображен с трогательнейшей нежностью. Трагическая фигура — ожесточенный, вызывающий жалость, несчастный и сломленный человек среди толпы здоровяков, состоящей из всяких Джонсонов и Елизавет. Но для меня он не Шекспир, мне не хватает шекспировской саркастичности и веселости. Отнимите их у него — и Шекспир перестанет быть собой, исчезнут хватка, горячность, сила, мрачное упоение своей способностью смотреть со смехом в лицо страшным фактам; останется лишь самая что ни на есть наводящая уныние жертва. А теперь подумайте сами: похож ли Шекспир на обиженного неудачника? Даже когда речь идет о самом устойчивом и вдохновенном из шекспировских увлечений — о любви к музыке (которую мистер Хэррис хотя бы в какой-то степени оценил по достоинству первым), чувствуется налет издевки. «Поплюйте и настраивайте снова», «...божественная песня! И душа его воспарит! Не странно ли, что овечьи кишки способны так вытягивать из человека душу?» В этих репликах столько же Шекспира, сколько и в неизменной цитате о трепете ветра и фиалках.

Такой упор на шекспировскую саркастичность, на озорное упоение пессимизмом, на способность бурно радоваться тому, что разбивает сердца людей обыкновенных, я делаю не только оттого, что все это симптоматично для сгустка жизненной энергии, который мы называем гением, но и потому, что отсутствие иронии — единственный вопиющий недостаток

в остальных отношениях удивительно глубокой книги мистера Хэрриса. К счастью, это упущение книгу не калечит, как, на мой взгляд, оно калечит героя пьесы, ибо из пьесы автор исключил себя, тогда как книгу он заполняет собой в полной мере,— язвительный, звучноголосый, с тем особым, несокрушимым стилем, который и есть человек.

ИДОЛ БАРДОПОКЛОННИКОВ

Есть даже польза в том, что появилась книга о Шекспире, в которой оставлена без внимания шекспировская ирония. Я не говорю, что опущенную главу не следует вставить в следующее издание,— пробел слишком велик, читателю не по себе от трогательного образа пресмыкающегося червя на месте неуязвимого гиганта. Но, может быть, мистер Хэррис иначе не сумел бы подобраться к своему герою. Ибо, в конце-то концов, в чем состоит секрет безнадежной неудачи академических бардопоклонников, не сумевших дать нам правдоподобного или хотя бы заслуживающего интерес Шекспира, и победы, легко достигнутой мистером Хэррисом, давшим нам и того и другого Шекспира? Да просто мистер Хэррис исходил из того, что имеет дело с человеком, а другие вообразили, будто пишут о боге, вследствие чего они отмели все факты, все соображения традиции или интерпретации, которые бы указывали на человеческие недостатки их героя. В результате материала у них не хватает и им приходится начинать с оговорки, что о Шекспире известно очень мало. Тогда как на самом деле, имея в распоряжении пьесы и сонеты, мы знаем о Шекспире много больше, чем о Диккенсе и Теккерее. Сложность лишь в том, что мы намеренно утаиваем сведения, так как они доказывают, что Шекспир не только не был похож на бога, каким его представляют в Клэпеме, но даже (по той же мерке) на человека порядочного. Академический взгляд основывается на предпосылке, что Шекспир не позволял себе непристойностей, а значит, стихи про «бесстыжую Люси» не могли быть написаны им и аналогичные пассажи в пьесах — либо просто мазки в обрисовке характеров, либо актерская отсебятина. Этот идеальный Шекспир по своей чрезмерной благовоспитанности просто не мог напиться пьяным, поэтому традиционную версию о том, что смерть его была ускорена совместной попойкой с Джонсоном и Дрейтоном, следует отвергнуть, а раскаяние Кассио надо рассматривать как нечто наблюденное, а не пережитое. Мало того, пользуясь отвращением Гамлета к пьянству в Дании, Шекспира выдают

ча величайшего из трезвенников, превосходившего самообладанием Александра.

Надо сказать, эта система — сперва выдумать великого человека, а потом отбросить все данные, которые с выдуманным образом не согласуются, в результате чего приходится пускаться на нелепое утверждение, будто никаких материалов нет вообще (в то время как ваша мусорная корзина ломится от них),— система эта приводит к тому, что Шекспир оказывается с незаслуженно скверной репутацией. Конечно, не очень важно, написал он слова «бесстыжая Люси» или нет; совсем неважно, нативался ли он в компании с Джонсоном и Дрейтоном, когда кутил с ними ночь напролет, но зато сонеты поднимают щекотливый вопрос, который весьма немаловажен. И нежелание академических бардопоклонников обсуждать или даже мельком упоминать этот вопрос было равносильно молчаливому приговору Шекспиру. Мистер же Хэррис обсуждает эту тему открыто и с легкостью убеждает нас в том, что Шекспир был человеком нормального сексуального склада, а никакая не жертва самого жестокого и злосчастного из капризов природы — каприза, подменяющего нормальный объект влечения неким другим. Замалчивание этой темы означает осуждение, а осуждение на современном этапе является всеобщим, хотя достаточно было мистеру Хэррису бесстрашно взяться за вопрос, чтобы с этим нездоровым и очень неприятным современным обычаем было покончено.

Против людей знаменитых всегда выдвигаются какие-нибудь шаблонные обвинения. Во время моего детства каждого известного человека обвиняли в том, что он бьет свою жену. Позднее, по какой-то необъяснимой причине, их стали обвинять в психопатических отклонениях. Причем мода бывает обращена в прошлое. Имена Шекспира и Микеланджело приводятся в подтверждение того, что каждый гений первой величины был страдальцем. А в Англии и Германии имеются круги, где эти отклонения нелепым образом чтут как признак мученического ореола героических личностей.

И все это вопиющая чушь. К несчастью, в случае с Шекспиром пуризм, который не мешает передавать обвинение из уст в уста шепотом, не дает прокричать опровержение вслух. Но мистеру Хэррису, обладателю зычного голоса, заткнуть рот не удается. Он с надлежащим презрением относится к глупости, возмутительным образом истолковывающей самые невинные и очевидные вещи. Например, пренебрежение Шекспира к «любовному ритуалу», предписывающему отдавать визиты, клясться, преподносить подарки, оказывать пустые знаки внимания,— то

есть делать все то, чем люди талантливые заниматься не желают и чему люди обидчивые и бесталанные придают такое значение. Никакой читатель, если только на него не оказали влияния маньяки, во всем усматривающие психопатизм, не даст этим пассажам дурного истолкования. Но в целом лексика сонетов, посвященных Пембруку (или кем там был «мистер У. Г.»), на современный вкус столь перегружена, что на поднятый вопрос вообще требуется дать развернутый ответ.

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ПОДХАЛИМСТВО И ИЗВРАЩЕННОСТЬ ШЕКСПИРА

Мистер Хэррис, не задумываясь, дает двойной ответ: во-первых, да, Шекспир в своем поведении по отношению к графьям был подхалимом; во-вторых, нормальность его сексуальных устремлений даже чересчур подтверждается его излишним пристрастием к нормальному влечению: в его творчестве это проявляется повсюду. Второй ответ вполне убедителен. В случае с Микеланджело, конечно, нельзя не признать, что если повесить его работы рядом с работами Тициана или Паоло Веронезе, то невольно бросится в глаза отсутствие у флорентийца той чувствительности к женской красоте, которая пронизывает картины венецианцев. Но, как показывает мистер Хэррис (он, правда, не пользуется этим именно сопоставлением), Паоло Веронезе просто анахорет по сравнению с Шекспиром. Язык сонетов к Пембруку, каким бы он ни казался нам экстравагантным, просто язык светской любезности, к тому же, несомненно, преображенный словесной магией Шекспира и гиперболизированный (гиперболическим Шекспир всегда кажется людям не с таким живым, как у него, воображением), но в то же время его нельзя принять не за что иное, кроме как за выражение дружбы — достаточно нежной и потому легко уязвимой, и мужской преданности — достаточно глубокой и потому ломающейся раз и навсегда. Но язык сонетов к Смуглой леди есть язык страсти — свидетельство тому их жестокость. Ничто не говорит о том, что Шекспир был способен хладнокровно совершить зло, но в своих обвинениях против любви он бывал злым, язвительным, даже безжалостным, не щадил ни себя, ни несчастную женщину, которая провинилась только тем, что привела великого человека к общему человеческому знаменателю.

Мистер Хэррис использовал эти два пункта с такой уверенностью и так умело пустил в ход свои данные, что мне

остается лишь представить доводы в пользу второго пункта, который я считаю более разумным. Некоторая, с моей точки зрения, слабость первого объясняется, я думаю, распространенным заблуждением относительно положения Шекспира в обществе или, если хотите, тем, что его истинное место в обществе — место сына бедного торговца, который пошел в актеры, чтобы зарабатывать на жизнь,— смешивают с его собственным представлением о себе как о джентльмене благородного происхождения. Я готов утверждать, что, хотя Шекспир и проявлял сентиментальность в изъявлении своей преданности мистеру У. Г. в форме, ставящей их обоих сегодня в нелепое положение, подхалимом его считать нельзя, если мистер У. Г. был в самом деле хорош собой и обаятелен и Шекспир был глубоко привязан к нему. Подхалим не говорит своему патрону, что слава о нем останется не в его поступках, а в его, подхалима, сонетах. Подхалим, когда патрон отбивает у него возлюбленную, не высказывает ему всего, что о нем думает. Кроме того, подхалим не сообщает патрону о состоянии всех своих чувств по каждому поводу. А между тем этой редкостной искренностью исполнены все сонеты. Шекспир, по отзывам, был «господин очень учтивый». Стало быть, его желание угождать людям, нравиться им и нежелание обидеть кого бы то ни было вынуждали его льстить из любезности, даже когда чувства его и не были затронуты. Если принять во внимание все это, а заодно и тот факт, что Шекспир испытывал и выражал все обуревавшие его эмоции с такой неистовостью, что подчас впадал в смехотворное преувеличение, заставляя своего Ричарда предлагать за коня королевство, а Отелло говорить о Кассио:

О, если б раб жил тысячею жизней!
Для полной мести мало мне одной,—

приняв все это во внимание, мы увидим больше учтивости и гиперболы, чем подхалимства, даже в ранних и более хладнокровных сонетах.

ШЕКСПИР И ДЕМОКРАТИЯ

Рассмотрим теперь обвинение, которое Толстой, покойный Эрнест Кросби и другие выдвигают против Шекспира как врага демократии и которое поддерживает мистер Хэррис. Состоятельно ли оно? Мистер Хэррис привлекает внимание к тем отрывкам, где Шекспир говорит о ремесленниках и даже о мелких лавочниках как о подлом люде, чья одежда засалена,

дыхание зловонно, а политическая неразвитость и непостоянство таковы, что Кориолан не мог удержаться и ответил римскому горожанину, требовавшему от него «добрых слов»:

Кто скажет слово доброе тебе,
Тот мерзкий льстец.

Будем, однако, честными. Как политическое кредо строки эти вызовут омерзение у всякого демократа. Но предположите, что это не политическое кредо! Предположите, что это просто констатация фактов. Джон Стюарт Милль объявил же нашим британским рабочим, что они большей частью лжецы. Карлейль оповестил нас всех о том, что мы большей частью глупцы. Мэтью Арнолд и Раскин высказывались более обстоятельно и в более оскорбительных выражениях. Всем, включая самих рабочих, известно, что рабочий люд грязен, пьет, сквернословит, пьянствует, невежествен, прожорлив, погряз в предрассудках, короче говоря, что он унаследовал специфические пороки бедности и рабства, равно как вместе с плутократией унаследовал все человеческие недостатки вообще. Даже Шелли двести лет спустя после того, как Шекспир написал «Кориолана», признал, что о всеобщем избирательном праве и речи быть не может.

Разумеется, истинным мерилом — не Демократии, она во времена Шекспира не была актуальным политическим вопросом,— а беспристрастия судящих классов (а это требуется и от великого поэта) служит не его умение льстить беднякам и осуждать богачей, а умение взвешивать тех и других на одних весах. Стоит прочесть «Лира» и «Меру за меру» — и уже не отделаться от впечатления такого ужаса перед опасностью облекания человека хотя бы небольшой и недолгой властью, такого беспощадного срывания пурпура с «бедного, голого двуногого животного», именующего себя царем и вообразившего себя богом, что прямо недоумеваешь, куда смотрели «Елизавета и наш Яков» и какие таинственные причины помешали им научить Шекспира почтительности по отношению к коронованным особам, так же как недоумеваешь, почему Толстого оставляли на свободе, когда столько менее грозных сторонников равенства пошло на каторгу или в Сибирь. У зрелого Шекспира мы уже не найдем сцен, исполненных такого деревенского снобизма, какая разыгрывается между театральным деревенским сквайром Александром Айденом и театральным бунтовщиком Джеком Кедом. Зато есть пастух в «Как вам это понравится» и целый ряд честных, храбрых, достойных, преданных слуг наряду с неизбежно комическими. Даже в ура-патриотической пьесе

«Генрих V» имеются Бетс и Уильямс, обрисованные со всем уважением и почтением к рядовым солдатам. В «Юлии Цезаре» Шекспир энергично продолжает линию Плутарха: прославляет цареубийство и в искаженном виде подает республиканцев. Надо сказать, почитатели героев так никогда и не простили Шекспиру того, что он принизил Цезаря и не увидел той стороны его убийства, из-за которой Гете осудил это убийство как бессмысленнейшее из преступлений.

Сопоставьте пьесу с «Карлом I» Уилса, где Кромвел развенчан до такой степени, что Джек Кед в «Генрихе VI» выглядит просто героем, и после этого уверуйте, если сможете, в то, что Шекспир был одним из тех, кто «гнет колени там, где раболепье приносит прибыль». Вспомните Розенкранца, Гильденстерна, Озрика, франта, досаждавшего Хотсперу, и десяток других мест, где речь идет о подобных же личностях! Если такого рода примеры что-нибудь доказывают (а мистер Хэррис повсюду опирается именно на такие), то Шекспир ненавидел придворных.

Если же, с другой стороны, обратить внимание на то, что шекспировские персонажи принадлежат к праздным классам, так ведь то же самое относится и к персонажам пьес мистера Хэрриса и моих. Промышленное рабство несовместимо с той свободой приключений, изысканностью облика и интеллектуальной культурой, с той широтой охвата, каких требует более высокая и утонченная драма. Даже Сервантесу пришлось в конце концов отказаться от возни Дон Кихота с трактирщиками, требовавшими с него уплаты за жилье и пропитание, и сделать его свободным от экономических тягот, каким был Амадис Гальский. Все, что происходило с Гамлетом, не могло случиться с паяльщиком. Бедняк на сцене призван выполнять ту же функцию, что и слепой, а именно возбуждать сострадание. Бедность аптекаря в «Ромео и Джульетте» производит сильное впечатление и даже позволяет вывести здоровую мораль: совесть для бедняка излишняя роскошь. Но если бы все действующие лица пьесы были так же бедны, как он, получилась бы мелодрама на манер тех, какими нас угощают сицилийские актеры, а это было бы не лучшее, что мог предложить Шекспир. Когда бедность будет уничтожена и праздная, вольготная жизнь станет доступна всем, то единственными пьесами, оставшимися от нашей эпохи, которые будут иметь хоть какое-то отношение к действительности (в понимании того времени), будут те, в которых никто из персонажей не терпит нужду и не влачит жалкое, нищенское существование. Наши пьесы о бедности и убожестве, которые сейчас одни только и воспро-

изводят правдиво жизнь большинства живущих, тогда попадут в разряд документов о скупцах и монстрах, и читать их станут только студенты, изучающие историю социальной патологии.

И вот в свете этого рассмотрим теперь шекспировских королей, лордов и джентльменов!

Разве имел бы основание сам Джон Болл или пророк Иеремия считать, что Шекспир польстил этим господам? Поистине, не проходило по сцене вереницы негодяев, развенчанных с большей беспощадностью! Даже монарх, который останавливает мятежника, сославшись на божественный ореол, охраняющий короля,— пьяница и похотливый убийца, и его вскоре с презрением приканчивают на наших глазах, несмотря на его божественный ореол.

Я мог бы написать не менее доказательную главу о диккенсовского толка предубежденности Шекспира против трона, знати и джентри в целом, чем это сделали мистер Хэррис и Эрнест Кросби, стоя на противоположных позициях. Я даже готов пойти дальше и утверждать, что Шекспир был неграмотен в своем понимании феодализма. И он, конечно же, не предвидел демократического коллективизма. Если не считать таких банальных понятий, как война и патриотизм, Шекспир был насквозь капером. Ни один человек в его пьесах, будь то король или горожанин, не выполняет никакого гражданского долга для блага общества и не имеет об этом ни малейшего понятия, разбираясь разве что в деле назначения констеблей; тут Шекспир привлекал внимание к злоупотреблениям совсем в духе фабианского общества. Его волновало пьянство, а также идолопоклонство и лицемерие в системе судопроизводства, но средство против них он видел только в индивидуальной трезвости и свободе от идолопоклонических иллюзий, насколько он вообще мог предложить какое-нибудь средство, а не просто потерять веру в человечество. Его первое и последнее слово о парламенте было: «Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй политик, что видишь то, чего не видишь ты».

Он и не представлял, с каким чувством сегодняшние поборники национализации земель относятся к тому, что он принимал участие в огораживании общинных земель в Уэлкоме. И объяснение тут не в его умственной отсталости, а в том, что английские земли в ту эпоху нуждались в индивидуальном владении и возделывании, а английская конституция нуждалась в принципах индивидуальной свободы, которые исповедовали виги.

Я отверг идею мистера Хэрриса о том, что Шекспир умер от разбитого сердца в «муках отвергнутой любви». Я привел свои доводы в пользу идеи, что Шекспир умер мужественно и даже в несколько легкомысленном настроении, которое показалось бы неуместным в епископе. О чем, однако, данные мистера Хэрриса свидетельствуют, так это о том, что у Шекспира был-таки повод для обиды, и весьма серьезный. Его могли бросить десять Смуглых леди, и он бы это перенес не моргнув глазом, но вот отношение к нему британской публики — дело иное. Идолопоклонство, смущавшее Бена Джонсона, ни в коей мере не было распространенным явлением, и к тому же, как всякое идолопоклонство такого типа, оно было обусловлено скорее магией шекспировского таланта, чем его воззрениями.

Начало его карьеры преуспевающего драматурга положила трилогия о Генрихе VI — сочинение, отличающееся оригинальностью, глубиной и тонкостью лишь постольку, поскольку эти качества свойственны чувствам и фантазиям простых людей. Шекспира это не удовлетворило. Какой прок быть Шекспиром, если тебе разрешается выражать лишь взгляды Автолика? Шекспиру виделся мир совсем не таким, как Автолику. Если он видел его и не вполне так, как Ибсен (да и мир ведь был не совсем тот), то, во всяком случае, постигал почти с ибсеновской силой понимания и со всем свифтовским ужасом перед его жестокостью и нечистоплотностью.

Так вот, с людьми таких дарований случается, что они вынуждены обрушивать всю мощь этих дарований на человечество, так как не могут создать популярное произведение. Возьмите, к примеру, Вагнера и Ибсена! Их ранние работы, несомненно, примитивнее поздних, и тем не менее популярными в свое время эти работы не были. Для Вагнера и Ибсена, в сущности, никогда не вставал вопрос — написать популярную вещь или нет: если бы они опустились до нее, они подобрали бы у ног людей гораздо меньше, чем им удавалось схватить поверх их голов. Но вот Гендель и Шекспир вели себя не лучшим образом. Они могли сочинить все, чего от них хотели, да еще с походом. Они поносили британскую публику и не могли простить ей того, что она пренебрегала их лучшими творениями и восторгалась их великолепными банальностями. Но они все равно продолжали сочинять свои банальности, которые получались великолепными просто за счет их животной способности к своему ремеслу.

Когда Шекспиру приходилось писать популярные пьесы, чтобы спасти театр от краха, он бунтовал, называя их «Как

вам это понравится» или «Много шума из ничего». И все равно он делал свое дело так хорошо, что и по сей день эти две гениальные вульгарности остаются главным шекспировским капиталом наших театров. Позднее могущество Бербеджа и популярность Шекспира как актера дали ему возможность освободиться от тирании кассы и высказываться свободнее в пьесах, представляющих собой, главным образом, монолог, произносимый каким-нибудь великим актером, от которого публика готова стерпеть многое. Таким образом, история шекспировских трагедий есть история длинной цепи знаменитых актеров, от Бербеджа и Бетертона до Форбса Робертсона. И человек, о котором рассказывают, что, «когда Бербедж произносил, что Ричард умер, и восклицал «коня! коня!», он плакал», стал отцом девяти поколений театралов-шекспировцев, толкующих про гарриковского Ричарда, киновского Отелло, ирвинговского Шейлока и Гамлета Форбса Робертсона, знать не зная (да и не пытаясь знать), сколько в них на самом деле от шекспировского Ричарда или шекспировского Отелло. А пьесы, в которых не было больших главных ролей, а именно «Троил и Крессида», «Все хорошо, что хорошо кончается» и «Мера за меру», провалились, как и вторая часть гетевского «Фауста» или «Кесарь и галилеянин» Ибсена.

Вот где была у Шекспира настоящая обида. И хотя описывать его как человека с разбитым сердцем вопреки безудержно веселым сценам и безмятежно счастливой поэзии последних пьес — сентиментальное преувеличение, тем не менее открытие того факта, что самые серьезные из его произведений имели успех только когда их вывозил на себе обворожительный актер (при этом безобразно переигрывающий), а серьезные пьесы, не содержавшие ролей, где было что переигрывать оставались лежать на полке, достаточно красноречиво объясняет, почему под конец жизни человечество и театр не рождали у Шекспира восторженного ликования. А это единственное, что мистер Хэррис может привести в подкрепление своей теории разбитого сердца. Но если бы даже Шекспир и не терпел неудач, все равно человек его таланта, наблюдая политическое и нравственное поведение своих современников, не мог не прийти к выводу, что они неспособны справляться с проблемами, поставленными их собственной цивилизацией. И их попытки проводить в жизнь законы и исповедовать религии, предлагаемые великими пророками и законодателями, всегда были и остаются до такой степени беспомощными, что ныне мы призываем сверхчеловека (новый, по существу, вид), чтобы он выручал человечество, спасая его от неумелого управления. Вот в чем ис-

тинное горе великих людей. Считать же, что, когда в словах великого человека слышна горечь, а на лице написана грусть, он будто бы разочарован в любви, кажется мне сентиментальной чепухой.

Если читатель вместе со мной добрался до этого места, он убедится, что, как бы ни была тривиальна моя пьеска, набросок этот полнее дает образ Шекспира, чем можно было бы ожидать при его легковесности. Увы! содержащийся в ней призыв создать Национальный театр как памятник Шекспиру не тронул глупцов, не понимающих, что Национальный театр стоит иметь ради Национальной души. Я, к сожалению, показал Шекспира хранящим и использующим (как и я это делаю) те сокровища бессознательно музыкальной речи, которые простые люди растрачивают каждодневно, и это приняли за умаление «оригинальности» Шекспира. Ну почему мне достались такие современники? Почему из Шекспира делают посмешище такие потомки?

Шестнадцатый век на исходе. Июньская ночь. Терраса Уайтхоллского дворца, выходящая на Темзу. Дворцовые часы, отзвонив четыре четверти, бьют одиннадцать. Лейб-гвардеец часовой на посту.. К нему подходит неизвестный в плаще.

Часовой. Стой! Кто идет? Пароль!

Неизвестный. Пресвятая дева! Не знаю. Забыл, совсем забыл.

Часовой. Значит, не пройдете. По какому делу? Кто вы такой? Верный ли человек?

Неизвестный. О нет, приятель. Я что ни день, то меняю обличье: то я Адам, то Бенволио, а то и Дух.

Часовой *(отшатнувшись)*. Дух! Да охранят нас ангелы господни!

Неизвестный. Хорошо сказано, приятель. С вашего разрешения, я это запишу, ибо память у меня никуда не годная. *(Достает вощеные таблички и пишет.)* Сдается мне, хорошая это сцена: вы стоите один на посту, а я приближаюсь, как призрак в лунном сиянии. Не смотрите на меня так удивленно, но послушайте, что я вам скажу. У меня здесь сегодня свидание с одной смуглой леди. Она обещала мне подкупить часового. Я дал ей на это средства: четыре билета в театр «Глобус».

Часовой. Вот проклятая! Она дала мне только два.

Неизвестный *(отрывая табличку)*. Друг мой, только покажите эту табличку, и вас с радостью пропустят в театр в любой день, когда будет идти пьеса Уилла Шекспира. Приводите жену. Приводите друзей. Приводите хоть весь гарнизон. Свободного места всегда достаточно.

Часовой. Не люблю я эти новомодные пьесы. В них ни слова не понять. Одни разговоры. Вы бы лучше дали мне пропуск на «Испанскую трагедию».

Неизвестный. «Испанскую трагедию» показывают за деньги, приятель. Вот получите. *(Дает ему золотой.)*

Часовой *(потрясен)*. Золото! О сэр, вы платите лучше, чем ваша смуглая леди.

Неизвестный. Женщины бережливы, мой друг.

Часовой. Истинная правда, сэр. Да еще примите во внима-

ние, что даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что он покупает ежедневно. Этой леди чуть ли не каждый вечер приходится дарить что-нибудь часовому.

Неизвестный *(бледнеет)*. Это ложь.

Часовой. А вот вы, сэр, готов поклясться, и два раза в год не пускаетесь в такое приключение.

Неизвестный. Презренный! Ты что же, хочешь сказать, что моя смуглая леди не в первый раз так поступает? Что она и другим назначает свидания?

Часовой. Помилуй вас бог, как вы простодушны, сэр! Неужто вы думаете, что кроме вас нет красивых мужчин на свете? Веселая леди, сэр, уж такая вертихвостка! Да будьте спокойны: я не допущу, чтобы она водила за нос джентльмена, который дал мне золотой, ведь я их раньше и в руках не держал.

Неизвестный. Друг мой! Не странно ли, что мы, зная, как лживы все женщины, все же удивляемся, когда оказывается, что наша шлюха не лучше остальных?

Часовой. Не все, сэр. Много есть и порядочных.

Неизвестный *(убежденно)*. Нет, все лживы. Все. Если вы это отрицаете, вы лжете.

Часовой. Вы судите по тому, какие они при дворе, сэр. Вот там поистине можно сказать о ничтожности, что название ей — женщина.

Неизвестный *(опять достает таблички)*. Прошу вас, повторите, что вы сказали: вот это, насчет ничтожности Какая музыка!

Часовой. Музыка, сэр? Видит бог, я не музыкант.

Неизвестный. У вас в душе живет музыка, я нередко замечал это среди простых людей. *(Пишет.)* «Ничтожность, женщина тебе названье!» *(Повторяет, смакуя.)* «Женщина тебе названье».

Часовой. Ну что ж, сэр, всего четыре слова. Разве вы собиратель таких вот пустейших пустяков?

Неизвестный *(живо)*. Собиратель... *(Захлебывается.)* О! Бессмертная фраза! *(Записывает ее.)* Этот человек более велик, чем я.

Часовой. У вас та же привычка, что у милорда Пембрука, сэр.

Неизвестный. Очень возможно. Он мой близкий друг. Но что вы называете его привычкой?

Часовой. Сочинять сонеты в лунные ночи; да еще той же самой леди.

Неизвестный. Не может быть!

Часовой. Вчера вечером он был здесь по тому же делу, что и вы, и в таком же горе.

Неизвестный. И ты, Брут! А я считал его другом!

Часовой. Так всегда бывает, сэр.

Неизвестный. Так всегда бывает. Так всегда бывало. *(Отворачивается, подавленный.)* Два веронца. Иуда! Иуда!

Часовой. Неужто он настолько вероломен, сэр?

Неизвестный *(к нему вернулось обычное его спокойствие и человечность)*. Вероломен? О нет. Он просто человек, приятель, просто человек. Когда мы обижены, мы ругаем друг друга, как малые дети. Вот и все.

Часовой. Да, да, сэр. Слова, слова, слова. Все ветер, сэр. Наполняем желудки свои восточным ветром, сэр, как говорится в писании. Так каплуна не откормить.

Неизвестный. Хороший ритм. Разрешите... *(Записывает.)*

Часовой. А что это за штука – ритм, сэр? Я о ней никогда не слышал.

Неизвестный. Такая штука, с помощью которой можно править миром, друг.

Часовой. Чудно́ вы говорите, сэр, не во гнев вам будь сказано. Но вы мне нравитесь, вы очень учтивый джентльмен; бедного человека так и тянет к вам,– чувствуется, что вы не прочь поделиться с ним мыслями.

Неизвестный. Это мое ремесло. Но – увы! – мир отлично обходится без моих мыслей.

Дверь дворца отворяется изнутри, на террасу ложится полоса света.

Часовой. Вот и ваша леди, сэр. Я пойду в обход. Можете не торопиться: без предупреждения не вернусь, если только мой сержант не накроет меня. Сержант проворный, сэр, и с крепкой хваткой. Доброй ночи, сэр, желаю счастья! *(Уходит.)*

Неизвестный. «С крепкой хваткой»! «Сержант проворный»! *(Словно пробуя спелую сливу.)* О-о-о! *(Записывает.)*

Леди в темном плаще ощупью выходит из дворца и идет по террасе; она спит.

Леди *(трет руки, как будто моет их)*. Прочь, проклятое пятно! Вы мне все измажете этими белилами и притираньями. Бог дал вам одно лицо, а вы делаете себе другое. Думай о смерти, женщина, а не о том, чтобы приукрашать

себя. Все ароматы Аравии не отмоют добела эту руку наследницы Тюдоров.

Неизвестный. «Все ароматы Аравии»! «Приукрашать»! Целая поэма в одном только слове. И это моя Мария? *(Обращаясь к леди.)* Почему ты говоришь не обычным своим голосом и в первый раз твои слова звучат как поэзия? Ты захворала? Ты движешься как мертвец, восставший из могилы. Мария! Мария!

Леди *(как эхо)*. Мария! Мария! Кто бы мог подумать, что в этой женщине так много крови! Разве моя вина, что мои советчики нашептали мне кровавые дела? Фи! Будь вы женщиной, вы догадались бы поберечь ковер, а то посмотрите, какие гадкие пятна. Не поднимайте ее за голову: волосы-то фальшивые. Говорю вам еще раз: Мария погребена, она не встанет из могилы. Я не боюсь ее; с этими мерзавками, которые лезут на трон, когда им место только на коленях у мужчин, разговор должен быть короткий. Что сделано, то сделано. Прочь, говорю я. Фи! Королева — и вся в веснушках.

Неизвестный *(трясет ее за плечо)*. Мария, послушай! Ты спишь?

Леди просыпается, вздрагивает и чуть не теряет сознание. Неизвестный подхватывает ее.

Леди. Где я? Кто это?

Неизвестный. Смилуйтесь, умоляю вас. Я все время принимал вас за другую. Я думал, что вы моя Мария, моя любовница.

Леди *(вне себя)*. Какая дерзость! Как вы смеете?

Неизвестный. Не гневайтесь на меня, миледи. Моя любовница на редкость порядочная женщина. Но говорит она не так хорошо, как вы. «Все ароматы Аравии» — это было хорошо сказано. Произнесено с прекрасной интонацией и отменным искусством.

Леди. Разве я сейчас беседовала с вами?

Неизвестный. Ну да, прекрасная леди. Вы забыли?

Леди. Я спала.

Неизвестный. Никогда не просыпайтесь, о волшебница, ибо, когда вы спите, ваши слова текут, как мед.

Леди *(величественно и холодно)*. Ваши речи дерзки. Знаете ли вы, с кем разговариваете, сэр?

Неизвестный *(не смущаясь)*. Нет, не знаю, и не желаю знать. Вероятно, вы состоите при дворе. Для меня существует только два рода женщин: женщины с плени-

тельным голосом, нежным и звучным, и клохчущие куры, а те меня бессильны вдохновить. У вас в каждом извиве голоса таится прелесть. Не жалейте, что на короткое мгновение усладили меня его музыкой.

Леди. Сэр, вы слишком смелы. На миг умерьте ваше изумленье, и...

Неизвестный *(жестом останавливает ее)*. «На миг умерьте ваше изумленье»...

Леди. Грубиян! Вы смеете меня передразнивать?

Неизвестный. Это музыка. Разве вы не слышите? Когда хороший музыкант поет песню, разве вам не хочется петь ее еще и еще, пока вы не уловите и не запомните ее дивную мелодию? «На миг умерьте ваше изумленье». Бог ты мой! В одном этом слове «изумленье» — целая повесть человеческого сердца. «Изумленье»! *(Берет таблички.)* Как это? «На час оставьте ваше восхищенье...»

Леди. Очень неприятное нагромождение шипящих. Я сказала. «На миг умерьте...»

Неизвестный *(поспешно)*. На миг, да, конечно, на миг, на миг, на миг! Будь проклята моя память, моя несчастная память! Сейчас запишу. *(Начинает писать, но останавливается, так как память изменяет ему.)* Но как же получалось это нагромождение шипящих? Вы очень правильно это заметили; даже мой слух уловил его, пока предательский мой язык произносил эти слова.

Леди. Вы сказали: «на час». Я сказала: «на миг».

Неизвестный. «На миг»... *(Исправляет.)* Так! *(Пылко.)* А теперь будьте моей не на миг и не на час, а навеки.

Леди. Этого еще недоставало! Уж не вздумали ли вы докучать мне вашей любовью, низкий негодяй?

Неизвестный. Нет, любовь — не моя, это ваше порожденье; я только кладу ее к вашим ногам. Как мне не полюбить девушку, для которой так много значит правильно найденное слово. Так позволь, божественное чудо красоты... Нет, это я уже где-то говорил, а словесное одеяние моей любви к вам должно быть с иголочки новое.

Леди. Вы слишком много разговариваете, сэр. Предупреждаю вас: я больше привыкла заставлять себя слушать, чем выслушивать проповеди.

Неизвестный. Это обычно для тех, кто хорошо говорит. Но изъясняйтесь вы хоть ангельским языком — а оно поистине так, — все же знайте, что король над словом — я.

Леди. Король, ха!

Неизвестный. Именно. Жалкие созданья мы — мужчины и женщины.

Леди. Вы осмеливаетесь называть меня женщиной?

Неизвестный. Каким же более высоким именем мне назвать вас? Как иначе мне вас любить? А между тем у вас есть основания гнушаться этим именем: не сказал ли я только сейчас, что мы жалкие созданья? Но есть могучая сила, которая может спасти нас.

Леди. Покорно вас благодарю за проповедь, сэр. Хочу надеяться, что я знаю свои обязанности.

Неизвестный. Это не проповедь, а живая правда. Сила, о которой я говорю, это сила бессмертной поэзии. Ибо знайте, что хоть этот мир и мерзок и хоть мы всего-навсего черви, но стоит только облечь всю эту мерзость в волшебные одежды слов, как сами мы преображаемся, и души наши парят высоко, и земля цветет, как миллионы райских садов.

Леди. Вы испортили ваши райские сады этими миллионами. Вы безрассудны. Надо же соблюдать какое-то чувство меры, когда говоришь.

Неизвестный. Вот это вы сказали как Бен.

Леди. Что это еще за Бен?

Неизвестный. Ученый каменщик, который воображает, что небо не выше его лестницы, а потому считает своим долгом попрекать меня тем, что я летаю. Говорю вам: еще не создано слово, еще не пропета мелодия, достаточно безрассудная и величественная для той славы, которую нам могут открыть прекрасные слова. Отрицать это — ересь! Разве вас не учили, что в начале было слово? Что слово было у бога, даже больше — что слово было бог?

Леди. Смотрите, сударь, поосторожнее со священным писанием. Королева — глава церкви.

Неизвестный. Вы глава моей церкви, когда говорите так, как говорили вначале. «Все ароматы Аравии»! Разве королева может сказать что-либо подобное? Говорят, она хорошо играет на спинете. Пусть сыграет мне, и я буду целовать ей руки. Но до тех пор вы моя королева, и я буду целовать эти губы, которые усладили мое сердце музыкой. *(Обнимает ее.)*

Леди. Вот непомерная наглость! Прочь руки, если жизнь вам дорога.

Смуглая леди, пригнувшись, крадется позади них по

террасе, как бегущая куропатка. Увидев их, она гневно выпрямляется во весь рост и ревниво прислушивается.

Неизвестный *(не замечая смуглую леди)*. Тогда сделайте так, чтобы руки у меня не дрожали от потоков жизни, которые вы вливаете в них. Вы притягиваете меня, как Полярная звезда притягивает железо; меня влечет к вам. Мы погибли, и вы и я; отныне ничто не в силах разлучить нас.

Смуглая леди. А вот посмотрим, лживый ты пес, обманщик, ты и твоя грязная тварь! *(Двумя энергичными ударами отталкивает их друг от друга.)*

Неизвестный, которому на горе достался удар правой рукой, растягивается на плитах террасы.

Вот вам обоим!

Леди в плаще *(в неистовой ярости сбрасывает плащ и обращает к обидчице лицо, на котором написано оскорбленное величие)*. Государственная измена!

Смуглая леди *(узнает ее и в раболепном ужасе падает на колени)*. Уилл, я погибла: я ударила королеву.

Неизвестный *(приподнимается со всем достоинством, какое допускает его бесславная поза)*. Женщина, ты ударила Уильяма Шекспира!

Королева Елизавета *(ошеломленная)*. Вот это мне нравится!!! Ударила Уильяма Шекспира, скажите на милость! А кто такой, во имя всех потаскух, и девок, и распутниц, и обманщиц, от которых в моих владениях проходу не стало, этот Уильям Шекспир?

Смуглая леди. Ваше величество, он всего лишь актер. Ах, я готова дать отрубить себе руку...

Королева Елизавета. Возможно, что и придется, голубушка. А вы не подумали о том, что я, может быть, прикажу отрубить вам и голову?

Смуглая леди. Уилл, спаси меня! О, спаси меня!

Елизавета. Спасти! Хорош спаситель! Слово королевы, я думала, этот человек по крайней мере дворянин, ибо я надеялась, что даже самая дрянная из моих приближенных не обесчестит мой двор, распутничая с каким-то безродным слугою.

Шекспир *(с трудом встает на ноги, возмущенно)*. Безродный! Это я, потомок стратфордских Шекспиров! Я, чья мать носила имя Арден! Безродный! Не забывайтесь, ваше величество!

Елизавета *(в ярости)*. Гром и молния! Это я забываюсь! Я вам покажу...

Смуглая леди *(встает с колен и бросается разнимать их)*. Уилл, ради всего святого, перестань гневить ее. Это смерть. Ваше величество, не слушайте его.

Шекспир. Даже для спасения твоей жизни, Мария, не говоря уже о моей, я не стану льстить королевской особе, которая позволила себе оскорбить мою семью. Я не отрицаю, что мой отец к концу жизни стал нищим; это все его благородная кровь, он был слишком великодушен, чтобы заниматься торговлей. Ни разу он не отрекся от своих долгов. Правда, он не платил их, но каждый мог подтвердить, что, беря в долг деньги, он давал в обмен векселя. Эти-то векселя в руках низких корыстолюбцев и погубили его.

Елизавета *(свирепо)*. Сын вашего отца скоро узнает, как вести себя в присутствии дочери Генриха Восьмого.

Шекспир *(с надменным презрением)*. Не упоминайте имени этого развратника рядом с именем самого достойного олдермена Стратфорда. Джон Шекспир был женат только один раз, а Генрих Тюдор имел шесть жен. Вы должны бы стыдиться произносить его имя.

Смуглая леди, Елизавета *(вместе)*. Уилл, умоляю тебя!.. Наглый пес!..

Шекспир *(обрывая их)*. Откуда вы знаете, что король Генрих действительно был вашим отцом?

Елизавета, Смуглая леди *(вместе)*. Тысяча дьяволов! Клянусь... *(Скрежещет зубами от ярости.* Она прикажет прогнать меня кнутом через весь город. О боже О боже!

Шекспир. Научитесь вернее судить о себе, ваше величество. Я честный дворянин, никто не усомнится в моем происхождении, и я уже принял меры, чтобы мне дали герб, который мне по праву принадлежит. Можете ли вы сказать то же о себе?

Елизавета *(едва владея собой)*. Еще одно слово, и я своими руками начну дело, которое завершит палач.

Шекспир. Вы не настоящая Тюдор: у этой вот дряни столько же прав на ваш королевский трон, как и у вас. Что позволило вам удержаться на английском престоле? Ваш прославленный ум? Ваша мудрость, перед которой бессильны самые лукавые государственные мужи всего христианского мира? Нет! Счастье, случайное счастье, кото-

рое могло бы выпасть на долю любой скотницы. Каприз природы, сделавшей вас образцом совершеннейшей красоты, какой еще не видывал мир.

Елизавета, уже занесшая кулак, чтобы ударить его, опускает руку.

Вот поэтому все мужчины и оказались у ваших ног, и трон ваш зиждется на неприступной скале вашего гордого сердца, каменистого острова в море желания. Вот вам, ваше величество, слова, сказанные по простоте, от чистого сердца. А теперь делайте со мной что хотите.

Елизавета *(с достоинством)*. Мистер Шекспир, ваше счастье, что я милостивый монарх. Я оказываю вам снисхождение; вы росли в деревне и мало знаете. Но впредь запомните, что есть слова, пусть даже правдивые, с которыми все же не подобает обращаться... не скажу к королеве, ибо вы меня таковой не считаете,— но к девственнице.

Шекспир *(без запинки)*. Не моя вина, что вы девственница, ваше величество, это только моя беда.

Смуглая леди *(опять в испуге)*. Ваше величество, заклинаю вас, не удостаивайте его больше вашей беседой. У него вечно на языке какая-нибудь непристойная шутка. Вы слышали, как он обращается со мной! В присутствии вашего величества назвал меня дрянью.

Елизавета. А что до вас, голубушка, то я еще не спросила, почему вы оказались здесь в такой поздний час и каким образом вы могли настолько увлечься актером, что из ревности к нему, как безумная, подняли руку на вашу королеву?

Смуглая леди. Ваше величество, клянусь жизнью, клянусь надеждой на вечное спасение...

Шекспир *(язвительно)*. Ха!

Смуглая леди *(гневно)*. Да, да, уж скорее спасусь я, чем ты, который и верит-то разве только в черную магию слов да стихов... Так вот, ваше величество, клянусь жизнью, что я пришла сюда, чтобы навсегда порвать с ним. Ах, ваше величество, если вы хотите узнать, что такое страдание, слушайте этого человека, который и больше, чем обыкновенный человек, и меньше. Он свяжет вас и будет копаться у вас в душе, он исторгнет у вас кровавые слезы унижения, а потом будет лечить ваши раны лестью, против которой не устоит ни одна женщина.

Шекспир. Лесть?! *(Опускается на колено.)* О, ваше величество, позвольте мне сложить мои грехи к вашим ногам. Я сознаюсь во многом. У меня грубый язык, я неотесан, я кощунствую против святости миропомазанного монарха, но скажите, о моя королева, неужели я льстец?

Елизавета. В этом я вас не виню. Вы слишком прямодушны.

Шекспир встает с колен, благодарный.

Смуглая леди. Ваше величество, он и сейчас вам льстит.

Елизавета *(грозно сверкая глазами)*. Это правда?

Шекспир. Ваше величество, она ревнует, и — да простит меня бог! — не без оснований. О, вы сказали, что вы милостивый монарх, но вы поступили жестоко, когда, застав меня здесь, скрыли ваше королевское достоинство. Ибо разве может меня удовлетворить эта черноволосая, чернобровая, черномазая чертовка после того, как я видел истинную красоту, истинное величие?!

Смуглая леди *(вне себя от обиды и отчаяния)*. Сколько раз он мне клялся, что настанет день, когда черноволосых женщин, при всем их мерзком виде, будут больше ценить в Англии, чем рыжих. *(Шекспиру, злобно.)* Попробуй скажи, что этого не было. О, он весь соткан из лжи и насмешек. Я устала от его прихотей: то он возносит меня до небес, то тянет вниз, в преисподнюю. Я горю от стыда, что унизилась до любви к человеку, которому мой отец не позволил бы держать мне стремя, который треплет мое имя перед всем светом, который выносит мою любовь и мой позор на посмешище в своих пьесах, так что я готова сгореть от стыда, который пишет обо мне такие сонеты, что под ними не подписался бы ни один благородный человек... У меня голова идет кругом; я сама не знаю, что говорю вашему величеству, нет женщины несчастнее меня!..

Шекспир. Ага! Наконец-то горе выжало из тебя музыкальную фразу. «Нет женщины несчастнее меня». *(Записывает.)*

Смуглая леди. Ваше величество, умоляю вас, дозвольте мне уйти. Мой разум мутится от стыда и горя. Я...

Елизавета. Идите.

Смуглая леди пытается поцеловать ей руку.

Не нужно. Идите.

Смуглая леди уходит, потрясенная.

Вы жестоко обошлись с этой бедной любящей женщиной, мистер Шекспир.

Шекспир. Я не жесток, ваше величество, но вы знаете предание о Юпитере и Семеле. Не моя вина, что мои молнии опалили ее.

Елизавета. Вы много мните о себе, сэр; это не нравится вашей королеве.

Шекспир. О, ваше величество, разве прилично мне напоминать о себе скромным покашливанием, как второстепенному поэту, умаляя ценность своего вдохновения и сводя на нет величайшее чудо вашего царствования? Я сказал, что «замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше» тех слов, которыми я по своей воле изображаю мир то полным великолепия, то глупым и смешным. Кроме того, я хотел бы быть достаточно великим в ваших глазах, чтобы вы удостоили меня одной милости.

Елизавета. Я надеюсь, что это милость, о которой можно просить, не оскорбив королеву-девственницу, сэр. Вы так дерзки, что я не доверяю вам и прошу вас помнить: я не потерплю, чтобы человек вашего звания — не в обиду будь сказано вашему родителю-олдермену — зашел слишком далеко.

Шекспир. О, ваше величество, я не позволю себе забыться еще раз; хотя, клянусь жизнью, будь я властен превратить вас в служанку, вы остались бы королевой и девственницей ровно столько времени, сколько нужно молнии, чтобы пересечь Темзу. Но раз уж вы королева и не желаете знать ни меня, ни Филиппа Испанского, ни какого другого смертного мужчины, мне приходится сдерживать себя по мере сил и просить вас лишь о монаршей милости.

Елизавета. Монаршая милость? Так скоро? Вы становитесь царедворцем, как и все остальные. Вы жаждете отличий.

Шекспир. «Жаждете отличий». С разрешения вашего величества, — фраза, достойная королевы. *(Собирается записать.)*

Елизавета *(вышибает табличку у него из рук)*. Ваши таблички мне надоели, сэр. Я не затем пришла сюда, чтобы писать за вас ваши пьесы.

Шекспир. Вы пришли сюда, чтобы вдохновлять их, ваше величество. Это, наряду с другими делами, предназначено

вам свыше. Но милость, которой я домогаюсь,— это чтобы вы отпустили средства на постройку большого дома для представлений или, если вы разрешите мне изобрести для него ученое название,— Национального театра для просвещения и услаждения подданных вашего величества.

Елизавета. Стоит ли, сэр, разве мало театров на Бэнксайд и в Блекфрайерс?

Шекспир. Ваше величество! Их держат необеспеченные, на все готовые люди, которые, чтобы не умереть с голоду, показывают глупцам то, что им больше всего по нраву; а по нраву им, видит бог, отнюдь не то, что возвышает их душу и служит их просвещению, как то являет нам пример церквей, куда народ нужно загонять силой, хотя они и открыты для всех и вход бесплатный. Только если в пьесе есть убийство, или заговор, или красивый юноша в юбке, или грязные проделки каких-нибудь распутников, только тогда ваши подданные согласны оплачивать дорогих, хороших актеров и их наряды, да так, чтобы и театру что-то осталось. В доказательство моих слов расскажу вам, что я написал две прекрасные, возвышенные пьесы, в которых вывел женщин, наделенных таким же благородным сердцем и плодотворным рвением, как вы, ваше величество: одна искусная целительница, другая — послушница в монастыре, посвятившая себя добрым делам. А еще я украл из одной пустой, непотребной книжки две самые пустые нелепицы: одна — о женщине, что ходит в мужском платье и бесстыдно ухаживает за своим кавалером, а он радует партер тем, что сбивает с ног знаменитого борца, другая — о красотке, что щеголяет своим умом, преподнося без счета непристойности вельможе, столь же развратному, как и она сама. Я написал их, чтоб помочь друзьям, но не скрыл своего презрения к таким глупым выдумкам и к тем, кто их восхваляет, ибо одну я назвал «Как вам это понравится», подразумевая, что это не так, как нравится мне, а другую — «Много шума из ничего», чем она и является. И теперь эти две непотребные пьесы изгнали со сцены своих более благородных собратьев, так что свою целительницу, например, я совсем не могу показать — такая порядочная женщина не по вкусу нашей публике. Поэтому, ваше величество, я обращаюсь к вам с покорной просьбой: прикажите выделить из государственных доходов средства на создание театра, где я мог бы ставить те

мои пьесы, которые не берет ни один театральный делец, хорошо зная, что ему гораздо выгоднее ставить скверные вещи, чем хорошие. Это будет также поощрением для других, пьесы начнут писать люди, которые сейчас презирают это занятие и целиком отдают его в руки тех, чьи писания не могут прославить вашу корону. Ибо сочинение пьес – серьезное дело, ведь так сильно влияние театра на склонности людей и их умы, что все происходящее на сцене они принимают всерьез и стремятся перенести в действительный мир, который есть не что иное, как большая сцена. Еще не столь давно, как вам известно, церковь поучала народ при помощи представлений; но народ шел смотреть только такие пьесы, в которых показывали всякие нелепые чудеса да мучеников в кровавых язвах, так что церковь, и так уже понесшая убытки от политики вашего венценосного отца, отказалась от театрального искусства и перестала поощрять его. И таким образом оно угодило в руки нищих актеров и алчных дельцов, которые заботятся не о славе вашего королевства, а лишь о своем кармане. И теперь вашему величеству следует продолжить доброе дело, от которого ваша церковь отказалась, и восстановить былое достоинство театра и его высокое назначение.

Елизавета. Мистер Шекспир, я поговорю об этом с лордом-казначеем.

Шекспир. Тогда я пропал, ваше величество, ибо не было еще лорда-казначея, у которого нашелся бы сверх необходимых правительственных расходов хоть один пенни на что-либо, кроме войны или жалованья собственному племяннику.

Елизавета. Мистер Шекспир! Вы сказали истинную правду, но не в моих силах как-либо помочь делу. Я не могу обидеть моих беспокойных пуритан, взвалив на жителей Англии расходы по такому развратному учреждению, как театр; и есть тысяча вещей, которые нужно сделать здесь, у меня в Лондоне, прежде чем в казне найдется хоть пенни для вашей поэзии. Поверьте, мистер Уилл, пройдет триста лет, а может быть, и того больше, пока мои подданные поймут, что не одним хлебом жив человек, но и словом, исходящим из уст тех, кого вдохновляет всевышний. К тому времени мы с вами будем прахом под копытами лошадей, если, конечно, тогда еще будут лошади и люди будут ездить на них, а не летать

по воздуху. Впрочем, к тому времени и ваши произведения, быть может, обратятся в прах.

Шекспир. Они пребудут в веках, ваше величество, за них не опасайтесь.

Елизавета. Возможно. Но в одном я уверена,— ибо я знаю моих соотечественников,— пока все другие страны христианского мира вплоть до варварской Московии и селений невежественных германцев не станут содержать театры за счет казны, Англия ни за что не решится на такой шаг. А если наконец решится, то лишь потому, что она всегда стремится следовать моде и смиренно и послушно проделывать все, что проделывают на ее глазах другие. Пока же довольствуйтесь тем, что есть, ставьте эти две пьесы, которые вы считаете самыми скверными из всего вами написанного, но которые ваши соотечественники, уверяю вас, будут с пеной у рта причислять к лучшим вашим творениям. Одно я скажу: если б было в моей власти обратиться через века к нашим потомкам, я искренне посоветовала бы им исполнить вашу просьбу. Ибо правильно сказал шотландский менестрель, что создающий песни народа могущественнее, чем создающий его законы. И то же самое можно сказать относительно интермедий и пьес.

Часы бьют первую четверть. Часовой возвращается с обхода.

А теперь, сэр, настал час, когда королеве-девственнице более подобает быть в постели, чем беседовать наедине с самым дерзким из своих подданных. Эй, люди! Кто сегодня охраняет покои королевы?

Часовой. Я, ваше величество.

Елизавета. Так смотрите, впредь охраняйте их получше. Вы пропустили очень опасного кавалера к самым дверям нашей королевской опочивальни. Выведите его да известите меня, когда накрепко запрете за ним ворота; я не решусь снять одежды, пока дворцовая ограда не разделит нас.

Шекспир *(целует ей руку)*. Я ухожу через ворота во тьму, ваше величество, но мысли мои следуют за вами.

Елизавета. Что? К моему ложу?

Шекспир. Нет, ваше величество, к вашим молитвам, в которых я прошу вас помянуть и мой театр.

Елизавета. С этой молитвой я обращаюсь к потомству. А сами вы не забудьте вознести молитву к богу. Доброй ночи, мистер Уилл.

Шекспир. Доброй ночи, великая Елизавета! Боже, храни королеву!

Елизавета. Аминь!

Расходятся: она — в свои покои; он, под охраной часового, — к воротам, что обращены к Блекфрайерс.

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ФАННИ

Легкая пьеса
для маленького театра

1911

FANNY'S FIRST PLAY

Конец зала в старомодном загородном доме (Флоренс Тауэрс, владелец – граф О'Дауда) отделен занавесом, образуя сцену для любительского спектакля. Лакей в великолепной испанской ливрее появляется перед занавесом, с левой стороны от актеров.

Лакей *(докладывает)*. Мистер Сесил Сэвоярд.

Сесил Сэвоярд входит; средних лет, во фраке и в пальто на меху. Он удивлен, что никто его не встречает Удивлен и лакей.

О, простите, сэр! Я думал, что граф здесь. Да он и был здесь, когда я о вас докладывал. Должно быть, он через сцену ушел в библиотеку. Пожалуйста сюда, сэр. *(Направляется к проходу между полотнищами занавеса.)*

Сэвоярд. Подождите минутку.

Лакей останавливается.

В котором часу начинается спектакль? В половине девятого?

Лакей. В девять, сэр.

Сэвоярд. Прекрасно. Будьте добры, позвоните в гостиницу «Джордж», моей жене, что спектакль начнется не раньше девяти.

Лакей. Слушаю, сэр. Миссис Сесил Сэвоярд, сэр?

Сэвоярд. Нет, миссис Уильям Тинклер. Не забудьте.

Лакей. Миссис Тинклер, сэр. Слушаю, сэр.

Граф выходит из-за занавеса.

А вот и граф, сэр! *(Докладывает)*. Мистер Сесил Сэвоярд, сэр. *(Уходит.)*

Граф О'Дауда *(красивый мужчина лет пятидесяти, в изысканно элегантном костюме, устаревшем на сто лет; приветливо улыбаясь, подходит, чтобы пожать руку гостю)*. Прошу извинить меня, мистер Сэвоярд. Я вдруг вспомнил, что все шкафы в библиотеке заперты; в сущности, они не открывались с тех пор, как мы приехали из Венеции. Но ведь наши гости – литераторы и, вероятно, будут широко пользоваться библиотекой. Вот я и поторопился все отпереть.

Сэвоярд. А-а-а... вы имеете в виду театральных критиков! М-да... Курительная комната, полагаю, здесь есть?

Граф. К их услугам мой кабинет. Дом, знаете ли, старомодный. Садитесь, мистер Сэвоярд.

Сэвоярд. Благодарю.

Они садятся.

(*Глядя на вышедший из моды костюм графа, продолжает.*) Я понятия не имел, что вы сами участвуете в спектакле.

Граф. Я не участвую. Этот костюм я ношу потому, что... но, пожалуй, я вам все объясню, если это вас интересует.

Сэвоярд. Разумеется.

Граф. Видите ли, мистер Сэвоярд, я — как бы чужестранец в вашем мире. Смею сказать, я отнюдь не современный человек. И в сущности, не англичанин: мой род ирландский, всю жизнь я прожил в Италии, преимущественно в Венеции, и даже титул мой иностранный: я граф Священной Римской империи.

Сэвоярд. А где это?

Граф. В настоящее время — нигде. Только воспоминание и идеал.

Сэвоярд почтительно склоняет голову перед идеалом.

Но я отнюдь не мечтатель. Я не довольствуюсь прекрасными грезами, мне нужны прекрасные реальности.

Сэвоярд. Хорошо сказано! Я вполне с вами согласен, если только их можно найти.

Граф. А почему бы их не найти? Трудность заключается не в том, что прекрасных реальностей нет, мистер Сэвоярд. Трудность в том, что очень немногие из нас узнают их, когда мы их видим. Мы унаследовали от прошлого великую сокровищницу прекрасного — нетленные шедевры поэзии, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, изысканный стиль одежды, мебели, убранства домов... Мы можем созерцать эти сокровища! Можем воспроизвести многие из них! Можем купить несколько неподражаемых оригиналов! Мы можем выключить девятнадцатый ве...

Сэвоярд (*поправляет его*). Двадцатый.

Граф. Век, который я выключаю, для меня всегда будет девятнадцатый, — так же как вашим национальным гимном всегда останется «Боже, храни королеву», сколько бы королей ей ни наследовало. Англию я нашел осквернённой

индустриализмом. Ну что ж! Я поступил, как Байрон: я попросту отказался в ней жить. Помните слова Байрона: «Я уверен, что кости мои не обретут покоя в английской могиле и мой прах не смешается с землей этой страны. Мне кажется, я бы сошел с ума на смертном одре при одной мысли, что у кого-либо из моих друзей хватит низости перевезти мой труп на английскую землю. Даже ее червей я бы не стал кормить, будь это в моей воле».

Сэвоярд. Неужели Байрон это сказал?

Граф. Да, сэр, сказал.

Сэвоярд. Это на него не похоже. Одно время я очень часто с ним встречался.

Граф. Вы? Как же это могло быть? Вы слишком молоды.

Сэвоярд. Ну конечно, я был еще молокосос. Но я участвовал в постановке «Наших мальчиков».

Граф. Дорогой сэр, это не тот Байрон! Лорд Байрон — поэт.

Сэвоярд. Ах, простите! Я думал, вы говорите об известном Байроне. Так, значит, вы предпочитаете жить за границей?

Граф. Англию я нахожу уродливой и пошлой. Ну что ж, я в Англии не живу. Современные дома я нахожу уродливыми: я в них не живу; у меня есть дворец на Grand canal. Современную одежду я нахожу прозаической: я не ношу ее, вернее, ношу только вне дома. Гнусавая лондонская речь оскорбляет мой слух: я живу там, где ее не слышно, говорю по-итальянски и слушаю итальянскую речь. Бетховен, по моему мнению, груб и неистов, а Вагнер лишен смысла и отвратителен. Я их не слушаю. Я слушаю Чимарозу, Перголези, Глюка и Моцарта. Ничего не может быть проще, сэр.

Сэвоярд. Конечно, если ваши средства это позволяют.

Граф. Средства! Дорогой мистер Сэвоярд, если вы обладаете чувством прекрасного, вы можете устроить для себя земной рай в Венеции за полторы тысячи фунтов в год, тогда как наши вульгарные промышленники-миллионеры тратят двадцать тысяч на развлечения, достойные маркеров. Могу вас уверить, что по современным масштабам — я человек небогатый. Однако я всегда имел лучшее, что может дать жизнь. Мне посчастливилось: у меня красивая и очаровательная дочь; и поскольку это от меня зависело, сэр, она не видела ни одного безобразного зрелища, не слышала ни одного безобразного звука. И уж конечно, она никогда не носила безобразных плать-

ев и не прикасалась к грубой пище и плохому вину. Она жила во дворце, а ее детской коляской была гондола. Теперь вы знаете, что мы за люди, мистер Сэвоярд. И можете себе представить, как мы живем здесь.

Сэвоярд. Так сказать, вдали от всего? Да?

Граф. Вдали от всего! Вдали от чего, сэр?

Сэвоярд. Ну... от всего.

Граф. Вдали от копоти, тумана, грязи и восточного ветра, вдали от вульгарности и уродства, лицемерия и жадности, суеверий и глупости! Да, вдали от этого всего! Но в ярком солнечном свете, в зачарованной стране, которая открыта только великим художникам,— в священной стране Байрона, Шелли, Браунингов, Тёрнера и Раскина. Вы не завидуете мне, мистер Сэвоярд?

Сэвоярд. Кое-кому приходится, знаете ли, жить в Англии хотя бы только для того, чтобы жизнь здесь не замирала. А кроме того,— но заметьте, я не говорю, что это плохо с точки зрения высокого искусства и так далее...— кроме того, я лично от такой жизни через три недели впал бы в меланхолию. Впрочем, я рад, что вы мне это сказали: теперь я понимаю, почему вы не вполне ориентируетесь в Англии. Кстати, ваша дочь, надеюсь, осталась довольна?

Граф. Кажется, она довольна. Она мне говорила, что присланные вами актеры прекрасно справляются со своими ролями и с ними очень приятно работать. Насколько мне известно, на первых репетициях у нее были какие-то затруднения с джентльменом, которого вы называете режиссером, но только потому, что он не читал пьесы, а как только он разузнал, в чем там дело, все пошло гладко.

Сэвоярд. А вы сами разве не бывали на репетициях?

Граф. О нет! Мне было запрещено даже встречаться с актерами. Могу вам сообщить только одно: герой — француз.

Сэвоярд слегка шокирован.

Я ее просил не выводить героя-англичанина. Вот все, что мне известно. *(С грустью.)* Со мною даже о костюмах не советовались, хотя здесь, мне кажется, я бы мог быть полезен.

Сэвоярд *(в недоумении)*. Да ведь никаких костюмов нет.

Граф *(потрясенный)*. Как! Нет костюмов! Неужели вы хотите сказать, что это современная пьеса?

Сэвоярд. Не знаю. Не читал. Я передал ее Билли Бэрджой-

су – это режиссер – и предоставил ему выбор актеров и все прочее. Но заказывать костюмы пришлось бы мне, если бы они были нужны. Их нет.

Граф *(успокаиваясь и улыбаясь)*. Понимаю! Костюмы она взяла на себя. Она знаток по части красивых костюмов. Кажется, я могу вам обещать, мистер Сэвоярд, что вы увидите балет с картины Ватто, в стиле Людовика Четырнадцатого. Героиней будет изысканная Коломбина, ее возлюбленным – изящный Арлекин, ее отцом – колоритный Панталоне, а лакеем, который водит за нос отца и устраивает счастье влюбленных, – гротескный, но обладающий вкусом Пульчинелло, или Маскариль, или Сганарель.

Сэвоярд. Понимаю! Три мужские роли, затем шут и полисмен – всего пять. Вот почему вам понадобилось пять мужчин в труппе.

Граф. Дорогой сэр, неужели вы предположили, что я говорю об этом вульгарном, безобразном, глупом, бессмысленном, порочном и вредном зрелище – об арлекинаде из английской рождественской пантомимы девятнадцатого века? В конце концов, что это, как не дурацкая попытка идти по стопам гениального Гримальди, который имел такой успех сто лет назад? Моя дочь понятия не имеет о подобных вещах. Я говорил о грациозных и очаровательных гротесках итальянской и французской сцены семнадцатого и восемнадцатого веков.

Сэвоярд. Ах, простите! Совершенно согласен с вами: арлекинады – вздор. От них отказались во всех хороших театрах. Но из слов Билли Бэрджойса я понял, что ваша дочь прекрасно здесь ориентируется и видела много пьес. Он понятия не имел о том, что она все время жила в Венеции.

Граф. О, не все время! Я забыл сказать, что два года назад моя дочь рассталась со мной, чтобы закончить образование в Кембридже. Я сам учился в Кембридже. Конечно, в мое время там не было женщин, но мне казалось, что если дух восемнадцатого века еще сохранился где-нибудь в Англии, то только в Кембридже. Месяца три назад она в письме спросила меня, хочу ли я сделать ей подарок ко дню рождения. Конечно, я ответил утвердительно; и тогда она меня удивила и обрадовала: она сообщила, что написала пьесу и просит разрешить ей исполнение этой пьесы в домашнем кругу силами профессиональных актеров и в присутствии профессиональных критиков.

Сэвоярд. Да, вот это-то меня и поразило. Пригласить труппу для спектакля в домашнем кругу — задача несложная, это делается довольно часто; но пригласить критиков — вот это было ново! Я просто не знал, как взяться за дело. Они никогда не получают таких приглашений, и, стало быть, у них нет агентов. Вдобавок, я понятия не имел, сколько им предложить. Я знал, что они берут меньше, чем актеры, у них ангажементы на большие сроки — иногда на сорок лет, — но это не имеет отношения к данному случаю, когда речь идет о случайной работе. А затем — критиков такое множество! На премьеры они расхватывают все кресла в первых рядах, вы для родной матери не найдете приличного билета. И нужно целое состояние, чтобы пригласить всю ораву.

Граф. Конечно, я и не помышлял о том, чтобы звать всех. Только нескольких, первоклассных знатоков театра.

Сэвоярд. Вот именно! Вы хотите выслушать всего несколько отзывов, так сказать характерных. Из сотни рецензий всегда найдется не больше четырех, непохожих на остальные. Ну-с, так вот я и раздобыл для вас нужную четверку. А как вы думаете, сколько это мне стоило?

Граф (*пожимая плечами*). Не имею ни малейшего представления.

Сэвоярд. Десять гиней плюс расходы. Эту десятку пришлось дать Флонеру Банелу. На меньшее он бы не пошел. А запросил он пятьдесят. Я должен был дать ему десять, потому что, если бы не пришел он, не пришли бы и другие.

Граф. Но как же остальные, если мистер Фланел...

Сэвоярд (*шокированный*). Флонер Банел!..

Граф. ...если мистер Банел получил все десять гиней?

Сэвоярд. О, это я уладил! Так как спектакль великосветский, то прежде всего я пошел к Тротеру.

Граф. Ах, вот как! Я очень рад, что вы получили согласие мистера Тротера. Я читал его «Веселые впечатления».

Сэвоярд. Видите ли, я его немножко побаивался. Он не из тех, кого я называю доступными, и сначала он держал себя довольно холодно. Но когда я ему все объяснил, сказал, что ваша дочь...

Граф (*с беспокойством перебивая*). Надеюсь, вы не сказали, что она автор пьесы?

Сэвоярд. Нет, это хранится в глубокой тайне. Я сказал только, что ваша дочь просила поставить настоящую пьесу настоящего автора и с настоящим критиком и прочими аксессуарами. Как только я упомянул о дочери, он

стал шелковым. У него самого есть дочь. Он и слышать не хотел о плате! Пожелал прийти только для того, чтобы доставить ей удовольствие. Обнаружил человеческие чувства. Я был изумлен.

Граф. Чрезвычайно любезно с его стороны.

Сэвоярд. Затем я отправился к Воэну; он вдобавок и музыкальный критик,— а вы говорили, что, по вашему мнению, там есть музыка. Я ему сказал, что Тротеру будет скучно без него, и он, молодчина, тотчас же обещал приехать. Затем я подумал, что вам захочется видеть у себя одного из самых передовых — из тех ребят, которые смотрят последние новинки и клянутся, что это старомодно. И я залучил Гилберта Гона. Словом, четверка хоть куда! Кстати *(взглянув на часы)*, они сейчас придут.

Граф. До их прихода, мистер Сэвоярд, не можете ли вы сообщить мне какие-нибудь сведения о них? Это помогло бы мне поддерживать с ними беседу. В Англии, как вы изволили заметить, я держусь вдали от всего этого и могу, по неведению, сказать что-нибудь бестактное.

Сэвоярд. Что бы вам такое сообщить? Так как англичан вы не любите, то вряд ли вы споетесь с Тротером: он англичанин до мозга костей. Счастлив только в Париже и по-французски говорит до того безупречно, что, стоит ему раскрыть рот, в нем немедленно узнают англичанина. Очень остроумен и тому подобное. Делает вид, будто презирает театр, и говорит, что люди слишком носятся с искусством.

Граф крайне возмущен.

Но, понимаете ли, это он только из скромности, ведь искусство — его специальность... и, пожалуйста, не дразните его Аристотелем.

Граф. Почему бы я стал его дразнить Аристотелем?

Сэвоярд. Ну, этого я не знаю, но так уж принято его дразнить. Впрочем, вы с ним поладите: он человек светский и неглупый. Но вот с Воэном следует быть осторожным.

Граф. В каком смысле, разрешите спросить?

Сэвоярд. Видите ли, Воэн лишен чувства юмора, и, если вы с ним шутите, он думает, будто вы умышленно его оскорбляете. Заметьте: это не значит, что он не понимает шутки. Нет, шутку он понимает, но она ему неприятна. От комической сцены ему становится тошно, он уходит из театра сам не свой и шельмует всю пьесу.

Граф. Не кажется ли вам, что это очень серьезный недостаток для человека его профессии?

Сэвоярд. Еще бы! Но Воэн честен, он не заботится о том, нравится ли кому-нибудь то, что он говорит, или не нравится. А вам нужен хоть один человек, который будет говорить то, чего никто другой не скажет.

Граф. Мне кажется, что в данном случае принцип разделения труда проведен слишком основательно — как будто честность и прочие качества несовместимы. А можно узнать, какова специальность мистера Гона?

Сэвоярд. Гон — интеллигент.

Граф. А разве не все они интеллигенты?

Сэвоярд. Что вы! Боже сохрани! Вы должны быть осторожны в этом отношении. Я бы не хотел, чтобы меня кто-нибудь назвал интеллигентом; и вряд ли это придется по вкусу хоть одному англичанину! Интеллигенты, знаете ли, в счет не идут, но тем не менее важно их залучить. Гон — из молодых интеллигентов. Он сам пишет пьесы. Он полезен, потому что разносит старых интеллигентов, которые ему мешают. Но можете мне поверить, что ни один из этих трех молодчиков, в сущности, не имеет значения. Флонер Банел — вот кто вам нужен. Банел — действительно представитель английских зрителей. Если пьеса ему нравится, можно поручиться, что она понравилась бы и сотне тысяч лондонцев, узнай они только о ней. Вдобавок, Банел знаком с закулисной стороной театра. Мы его знаем, и он нас знает. Он знает все входы и выходы, знает, чего хочет, знает, о чем говорит.

Граф *(с легким вздохом)*. Должно быть, умудрен годами и опытом?

Сэвоярд. Годами! Я бы ему дал двадцать лет, никак не больше. Но в конце концов, это ведь работа не для стариков, не так ли? Быть может, Банел и не задирает нос, как Тротер и прочие, но к нему я прислушиваюсь больше, чем к кому бы то ни было в Лондоне. Он рядовой обыватель, — а это как раз то, что вам нужно.

Граф. Я готов пожалеть, что вы не удовлетворили требование этого джентльмена. Я охотно заплатил бы пятьдесят гиней за здравое суждение. Как бы он не подумал, что его обсчитали!

Сэвоярд. Пусть думает. Это уже чересчур — запрашивать пятьдесят. В конце концов, кто он такой? Всего-навсего газетчик. Это для него большая удача — заработать де-

сять гиней. Я уверен, что за такую же точно работу он частенько брал полфунта.

Фанни О'Дауда стремительно выходит из-за занавеса; она возбуждена и нервничает. Девятнадцатилетняя девушка в платье той же эпохи, что и костюм отца.

Фанни. Папа, приехали критики! Один из них в треуголке и со шпагой, как... *(Замечает Сэвоярда.)* Ах, простите!

Граф. Это мистер Сэвоярд, твой импресарио, моя милая.

Фанни *(протягивая руку)*. Здравствуйте.

Сэвоярд. Очень рад познакомиться с вами, мисс О'Дауда. Пусть треуголка вас не пугает. Тротер — член нового Академического комитета. Он уговорил их там ввести мундиры, как во Французской академии, а я попросил его явиться в мундире.

Лакей *(докладывает)*. Мистер Тротер, мистер Воэн, мистер Гон, мистер Флонер Банел.

Входят четыре критика. Тротер — в мундире, со шпагой и треуголкой; ему лет пятьдесят. Воэну — сорок. Гону — тридцать. Флонеру Банелу — двадцать, и он резко отличается от остальных: в тех можно с первого взгляда узнать профессионалов, Банел — человек, не нашедший себе применения в коммерции; он ухитряется зарабатывать на жизнь благодаря своеобразному мужеству, которое делает его беззаботным, веселым и дерзким, а этому мужеству помогает некоторая способность к писательству, тогда как удобное невежество и отсутствие интуиции скрывают от него все опасности и унижения, страх перед которыми сковывает людей более тонких. Граф радушно идет им навстречу.

Сэвоярд. Граф О'Дауда, джентльмены. Мистер Тротер.

Тротер *(глядя на костюм графа)*. Я имею удовольствие приветствовать коллегу?

Граф. Нет, сэр. У меня нет никаких прав на этот костюм, если не считать, что любовь к прекрасному дает мне право одеваться красиво. Добро пожаловать, мистер Тротер.

Тротер кланяется на французский манер.

Сэвоярд. Мистер Воэн.

Граф. Как поживаете, мистер Воэн?

Воэн. Прекрасно. Благодарю.

Сэвоярд. Мистер Гон.

Граф. Очень рад познакомиться с вами, мистер Гон.

Гон. Очень приятно.

Сэвоярд. Мистер Флонер Банел.

Граф. Благодарю вас, что вы согласились прийти, мистер Банел.

Банел. Не стоит благодарности.

Граф. Джентльмены, это моя дочь.

Все кланяются.

Мы глубоко признательны вам, джентльмены, за то, что вы столь любезно согласились потворствовать ее капризу.

Звонок — переодеваться к обеду. Граф смотрит на часы.

Переодеваться к обеду, джентльмены! Наш спектакль начнется в девять, и я вынужден был немного передвинуть обеденный час. Разрешите проводить вас в ваши комнаты?

Он выходит, за ним все мужчины, кроме Тротера, которого задерживает Фанни.

Фанни. Мистер Тротер, я хочу кое-что сказать вам об этой пьесе.

Тротер. Это не полагается. Вы не должны суфлировать критику...

Фанни. О, у меня и в мыслях не было повлиять на вашу оценку...

Тротер. Но вы это делаете, вы влияете на меня самым возмутительным образом! Вы меня приглашаете в этот прекрасный дом, где я буду наслаждаться прекрасным обедом, а перед самым обедом меня отводит в сторону прекрасная молодая леди, чтобы потолковать о пьесе. Можно ли ждать после этого, что я буду беспристрастен? Упаси меня бог выступить в роли судьи или посягнуть на большее, чем простой отчет о своих впечатлениях! Но и на мои впечатления можно влиять,— и в данном случае вы на них влияете без зазрения совести.

Фанни. Не пугайте меня, мистер Тротер, я и так нервничаю. Если бы вы знали, каково мне!

Тротер. Вполне понятно: это ваш первый прием, ваше первое выступление в Англии в роли хозяйки. Но вы прекрасно справляетесь со своей ролью. Не волнуйтесь. Все нюансы безупречны.

Фанни. Как мило, что вы так говорите, мистер Тротер. Но

не это меня беспокоит. Дело в том, что мой отец будет ужасно шокирован пьесой.

Тротер. С прискорбием должен сказать, что ничего необычайного в этом нет. Добрая половина всех молодых леди в Лондоне занимается тем, что водит своих отцов на спектакли, которые не подобает смотреть пожилым людям.

Фанни. Ах, мне это неизвестно, но вы не понимаете, как это может повлиять на папу. Вы не так невинны, как он.

Тротер *(протестуя)*. Дорогая леди...

Фанни. Я говорю не о морали: всякий, кто читал ваши статьи, знает, что вы невинны, как агнец.

Тротер. Что?!

Фанни. Ну конечно, мистер Тротер! Я неплохо узнала жизнь с тех пор, как приехала в Англию, и могу вас уверить: вы сущий младенец, милый, добрый, благонамеренный, остроумный, очаровательный, и все-таки — крошечный ягненок в мире волков. Кембридж уже не тот, каким он был при моем отце.

Тротер. Однако, скажу я вам!

Фанни. Вот именно! Это одна из наших рубрик в Кембриджском фабианском обществе.

Тротер. Какие рубрики? Не понимаю.

Фанни. Мы распределяем наших старых тетушек по категориям. И одна из категорий называется «Однако, скажу я вам».

Тротер. Я беру назад «однако, скажу я вам». Вместо этого я говорю: «Черт бы побрал моих кошек!» Нет: «Черт бы побрал моих котят!» Заметьте, мисс О'Дауда,— котят! Я готов повторить еще раз, наперекор всему Кембриджскому фабианскому обществу,— котят! Дерзких маленьких котят! Черт бы их побрал! Их надо отшлепать. Я догадываюсь, что лежит у вас на совести. Вы заманили меня на одну из тех пьес, в которых члены фабианских обществ обучают своих бабушек искусству доить уток. А теперь вы боитесь, что ваш отец будет шокирован. Ну что ж, я надеюсь, так оно и будет! И если он спросит моего мнения, я ему порекомендую отшлепать вас хорошенько и отправить спать!

Фанни. Это одна из ваших чудеснейших литературных поз, мистер Тротер, но на меня она не действует. Я, видите ли, лучше вас знаю, что вы собой представляете. Мы вас

основательно проанализировали в Кембридже, а вы себя никогда не анализировали, правда?

Тротер. Я...

Фанни. Ну конечно не анализировали. Стало быть, и нечего вам со мной тротерствовать.

Тротер. Тротерствовать!

Фанни. Да, как это называется у нас в Кембридже.

Тротер. Не будь это самым откровенным театральным штампом, я бы сказал: «К черту Кембридж!» Но лучше уж я отправлю к черту своих котят. А теперь разрешите вас предостеречь: если вы намерены быть очаровательной, здоровой молодой англичанкой — я могу попасться на вашу удочку. Если же вы намерены быть сварливой бесполой фабианкой — я буду обращаться с вами, как с человеком, равным мне по уму, как обращался бы с мужчиной.

Фанни *(с обожанием)*. А как мало мужчин, равных вам по уму, мистер Тротер!

Тротер. От этого мне не легче.

Фанни. О нет! Почему вы так говорите?

Тротер. Разрешите вам напомнить, что сейчас будет звонок к обеду.

Фанни. Ну так что же? Мы оба готовы. А я вам еще не сказала, что мне от вас нужно.

Тротер. И не склонили меня исполнить вашу просьбу разве что из чистого великодушия. Ну, в чем же дело?

Фанни. Я нисколько не боюсь, что эта пьеса явится для моего отца моральным шоком. Ему полезно получать моральные шоки. Единственное, что молодежь может сделать для стариков, — это шокировать их и приближать к современности. Но эта пьеса должна шокировать его как художника, вот что меня пугает! Из-за моральных разногласий пропасть между нами не разверзнется — рано или поздно он мне все простит; но в области искусства он не пойдет на уступки. Я не смею признаться ему, что люблю Бетховена и Вагнера. Что касается Штрауса, то, услышь он три такта из «Электры» — и между нами все кончено! А вас я хочу попросить вот о чем: если он очень рассердится, если будет возмущен пьесой — пьеса-то ведь современная, — скажите ему, что это не моя вина, что и стиль ее, и композиция, и все прочее считаются теперь самым высоким искусством. Скажите, что автор написал ее так, как полагается писать для репертуарных

театров самого высокого разряда, — вы понимаете, какие пьесы я имею в виду?

Тротер *(настойчиво)*. Я, кажется, понимаю, какого рода представления вы имеете в виду. Но, пожалуйста, не называйте их пьесами. Я не считаю себя непогрешимым, но, во всяком случае, я доказал, что эти произведения, как их ни назови, конечно не пьесы.

Фанни. Авторы и не называют их пьесами.

Тротер *(с жаром)*. Мне известно, что один автор — со стыдом признаюсь, это мой личный друг — без стеснения прибегает к трусливой уловке: называет их диалогами, дискуссиями и так далее, с явным намерением избегнуть критики. Но меня такими фокусами не обезоружить! Я говорю, что это не пьесы. Если хотите — диалоги, быть может, изображение характеров — в особенности характера самого автора. Пожалуй — беллетристика, но с той оговоркой, что здесь выводятся иногда реальные лица и, стало быть, нарушается святость частной жизни. Но только не пьесы. Нет! Не пьесы! Если вы с этим не согласны, я не могу продолжать наш разговор. Я к этому отношусь серьезно. Это вопрос принципиальный. И прежде чем мы продолжим наш разговор, я должен вас спросить, мисс О'Дауда, считаете ли вы эти произведения пьесами?

Фанни. Уверяю вас, не считаю.

Тротер. Без всяких оговорок?

Фанни. Без всяких оговорок. Я терпеть не могу пьес.

Тротер *(разочарованный)*. Это последнее замечание все дело портит. Вы восхищаетесь этим... этим новым театральным жанром? Он вам нравится?

Фанни. А вам?

Тротер. Конечно нравится. Неужели вы меня за дурака принимаете? Думаете, что я предпочитаю популярные мелодрамы? Да разве я не писал самых похвальных рецензий? Но повторяю — это не пьесы. Не пьесы! Я ни секунды не могу остаться в этом доме, если мне хотят подсунуть под видом пьесы нечто, имеющее хотя бы отдаленное сходство с этими подделками.

Фанни. Я вполне согласна с тем, что это не пьесы. Я только прошу вас сказать моему отцу, что в наше время пьесы — это не пьесы. Во всяком случае, не пьесы в том смысле, какой вы придаете этому слову.

Тротер. А, вы опять о том же! Не в том смысле, какой

я придаю этому слову! Вы думаете, что моя критика — только субъективное впечатление, что...

Фанни. Вы сами всегда это говорили.

Тротер. Простите, не по этому поводу. Если бы вы получили классическое образование...

Фанни. Да я получила его!

Тротер. Вздор! Это в Кембридже-то? Если бы вы учились в Оксфорде, вы бы знали, что точное и научное определение пьесы существует уже две тысячи двести шестьдесят лет. Когда я говорю, что такой вид увеселений — не пьесы, я употребляю это слово в том смысле, какой был дан ему на все времена бессмертным Стагиритом.

Фанни. А кто такой Стагирит?

Тротер *(потрясенный)*. Вы не знаете, кто был Стагирит?

Фанни. Простите! Никогда о нем не слыхала.

Тротер. Вот оно — кембриджское образование! Ну-с, дорогая леди, я в восторге, что есть вещи, которых вы не знаете. И я не намерен вас портить, рассеивая невежество, каковое, по моему мнению, чрезвычайно идет вашему возрасту и полу. Стало быть, мы на этом покончим.

Фанни. Но вы обещаете сказать папе, что очень многие пишут такие же пьесы, как эта, и мой выбор был продиктован не одной только жестокостью?

Тротер. Решительно не знаю, что именно я скажу вашему отцу о пьесе, пока не видел пьесы. Но могу вам сообщить, что я ему скажу о вас. Я скажу, что вы глупенькая молодая девушка, что вы попали в сомнительную компанию и что чем скорее он вас возьмет из Кембриджа и Фабианского общества, тем лучше.

Фанни. Как забавно, когда вы пытаетесь играть роль сурового отца! В Кембридже мы вас считаем bel esprit,[1] остряком, безответственным, аморальным парижанином, très chic.[2]

Тротер. Меня?

Фанни. Есть даже Тротеровский кружок.

Тротер. Да что вы говорите?!

Фанни. Они увлекаются приключениями и называют вас Арамисом.

Тротер. Да как они смеют!

---

[1] Утонченным *(франц.)*.

[2] Шикарным *(франц.)*.

Фанни. Вы так чудесно высмеиваете серьезных людей. Ваша insouciance.[1]

Тротер *(вне себя)*. Не говорите со мной по-французски: это неподобающий язык для молодой девушки. О боже! Как могло случиться, чтобы невинные шутки были так ужасно истолкованы? Всю жизнь я старался быть простым, искренним, скромным и добрым. Моя жизнь безупречна Я поддерживал цензуру, презирая насмешки и оскорбления. И вдруг мне говорят, что я центр аморализма! Современного распутства! Высмеиваю самое святое! Ницшеанец! Чего доброго, еще и шовианец!!!

Фанни. Мистер Тротер, неужели вы хотите сказать, что вы действительно на стороне серьезных людей?

Тротер. Конечно, я на стороне серьезных людей. Как вы смеете задавать мне такой вопрос?

Фанни. Так почему же вы их не поддерживаете?

Тротер. Я их поддерживаю, но, разумеется, стараюсь не попадать в смешное положение.

Фанни. Как! Вы не хотите даже ради великого дела оказаться в смешном положении? О мистер Тротер, это vieux jeu.[2]

Тротер *(кричит на нее)*. Не говорите по-французски! Я этого не допущу!

Фанни. Но боязнь показаться смешным ужасно устарела. Кембриджское Фабианское общество...

Тротер. Я вам запрещаю упоминать о Фабианском обществе.

Фанни. Его девиз: «Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным».

Тротер. На коньках! При чем тут коньки?

Фанни. Я не кончила. А дальше так: «Лед жизни скользок».

Тротер. Лед жизни! Скажите пожалуйста! Вы бы лучше ели мороженое и этим развлекались. Больше ни слова не хочу слышать!

Входит граф.

Граф. Дорогая моя, мы ждем в гостиной. Неужели ты все это время задерживала мистера Тротера?

Тротер. Ах, простите! Я должен привести себя в порядок. Я... *(Поспешно уходит.)*

---

[1] Небрежная манера *(франц.)*.

[2] Устарело *(франц.)*.

Граф. Милая, ты должна была бы сидеть в гостиной. Тебе не следовало удерживать его здесь.

Фанни. Знаю. Не брани меня. Мне нужно было сказать ему очень важную вещь.

Граф. Я посажу его рядом с тобой.

Фанни. Да, пожалуйста, папа. Ох, я надеюсь, что все сойдет хорошо.

Граф. Да, милочка, конечно. Идем!

Фанни. Один вопрос, папа, пока мы одни. Кто такой Стагирит?

Граф. Стагирит! Неужели ты не знаешь?

Фанни. Понятия не имею.

Граф. Стагирит — это Аристотель. Кстати, не упоминай о нем в разговоре с мистером Тротером.

Идут в столовую.

Дом в Дэнмарк-хилле. В столовой пожилая леди завтракает и читает газету. Она сидит в конце обеденного стола. Против нее, на другом конце стола, свободный стул; за стулом — камин. Рядом с камином, ближе к задней стене,— дверь. Рядом с ведерком для угля — кресло. Посредине задней стены — буфет, стоящий параллельно столу. Обстановку столовой довершают стулья, выстроенные вдоль стен, и детская качалка в том конце комнаты, где сидит леди. Леди — благодушная особа. Ее муж, мистер Робин Гилби, отнюдь не благодушный, неистово врывается в комнату с письмом в руке.

Гилби *(скрежеща зубами)*. Нечего сказать, веселенькая история. Это... черт...

Миссис Гилби *(перебивает)*. Пожалуйста, не продолжай. Что бы там ни случилось, руганью все равно не поможешь.

Гилби *(с горечью)*. Да, конечно, сваливаешь, по своему обыкновению, вину на меня! Заступаешься за своего сына! *(Падает на стул против нее.)*

Миссис Гилби. Когда он ведет себя хорошо, он — твой сын. Когда плохо — мой. Ты что-нибудь узнал о нем?

Гилби. Не хотелось бы говорить тебе.

Миссис Гилби. Ну так не говори. Должно быть, его нашли. Это, во всяком случае, утешительно.

Гилби. Нет, его не нашли. Мальчик, может быть, лежит на дне реки, а тебе и дела нет! *(Слишком взволнованный, чтобы сидеть спокойно, встает и мечется по комнате.)*

Миссис Гилби. А что это у тебя в руке?

Гилби. Я получил письмо от монсеньора Грэнфела из Нью-Йорка. Он порывает с нами. Не желает поддерживать знакомство. *(Злобно поворачивается к ней.)* Веселенькая история, не правда ли?

Миссис Гилби. Но почему?

Гилби *(идет к своему стулу.)* Откуда мне знать, почему?

Миссис Гилби. А что он пишет?

Гилби *(садится и сердито надевает очки)*. Вот что он пишет: «Дорогой мистер Гилби. Весть о Бобби последовала за

мной через Атлантический океан и дошла до меня только сегодня. Боюсь, что он неисправим. Мой брат, как вы легко можете себе представить, считает, что эта последняя эскапада перешла все границы. Да и мое мнение таково. Бобби нужно дать почувствовать, что подобные выходки не проходят безнаказанно...» «Как вы легко можете себе представить»! А мы знаем не больше, чем новорожденный младенец!

Миссис Гилби. Что он еще пишет?

Гилби. «Мне кажется, моему брату есть в чем и себя упрекнуть, и, стало быть, говоря между нами, я думаю со временем простить Бобби, сделав ему соответствующее внушение. Но сейчас нужно дать ему понять, что он в немилости и наши добрые отношения кончились. Остаюсь преданный вам...» *(Снова не может справиться с волнением.)* Хорошее дело – получить пощечину от человека, занимающего такое положение! И этим я обязан твоему сыну!

Миссис Гилби. А я нахожу, что это очень милое письмо. Ведь он, в сущности, говорит тебе, что только притворяется возмущенным и делает это для блага Бобби.

Гилби. О, прекрасно! Можешь вставить письмо в рамку и повесить над камином, как диплом.

Миссис Гилби. Не говори глупостей, Роб. Ты лучше радовался бы, что мальчик жив. Ведь уже неделя, как он пропал.

Гилби. Неделя! Ты хочешь сказать – две недели. Что за бесчувственная женщина! Вчера минуло четырнадцать дней.

Миссис Гилби. Ах, не говори так! Четырнадцать дней, как будто мальчик сидит в тюрьме!

Гилби. Откуда ты знаешь, что он не в тюрьме? У меня так расстроены нервы, что я даже этому готов поверить.

Миссис Гилби. Не болтай чепухи, Роб. Бобби, как и всякий мальчик, может попасть в беду, но он не способен на низость.

Входит Джогинз, лакей, с визитной карточкой на подносе. Джогинз – немного мрачный человек лет тридцати пяти, если не старше; красив, хорошие манеры, железная выдержка.

Джогинз *(подавая поднос мистеру Гилби)*. Леди хочет видеть родителей мистера Бобби, сэр.

Гилби *(указывая на миссис Гилби)*. Вот родительница мистера Бобби. Я от него отрекаюсь.

Джогинз. Слушаю, сэр. *(Подает поднос миссис Гилби.)*

Миссис Гилби. Не обращайте внимания на хозяина, Джогинз, он это не серьезно. *(Берет визитную карточку и читает.)* Однако!

Гилби. Ну, что еще случилось?

Миссис Гилби *(читает)*. «Мисс Д. Дилейни. Милочка Дора». Тут так и написано — в скобках. Что это за особа, Джогинз?

Гилби. Какой ее адрес?

Миссис Гилби. Вест Сэкюлер-роуд. Это респектабельный район, Джогинз?

Джогинз. Очень многие респектабельные люди живут на Вест Сэкюлер-роуд, мадам, но адрес еще не является гарантией респектабельности.

Гилби. Так вот до чего он докатился!

Миссис Гилби. Не торопись с выводами, Роб. Ведь ты ничего не знаешь. *(Джогинзу.)* Эта особа — леди, Джогинз? Вы понимаете, о чем я говорю?

Джогинз. В том смысле, в каком вы употребляете это слово, — нет, мадам.

Миссис Гилби. Все-таки попытаюсь, не удастся ли мне что-нибудь узнать от нее. *(Джогинзу.)* Просите ее. Роб, ты не возражаешь?

Гилби. Не возражаю, если ты не убежишь, оставив меня с ней наедине. *(Встает и занимает наблюдательный пост на коврике перед камином.)*

Джогинз выходит.

Миссис Гилби. Интересно, что ей нужно, Роб.

Гилби. Если ей нужны деньги, она их не получит. Ни единого фартинга. Веселенькая история — все видят ее у нашего подъезда! Одна надежда, что она сообщит нам что-нибудь о мальчике, иначе я приказал бы Джогинзу выбросить эту девку на улицу.

Джогинз *(возвращается и докладывает)*. Мисс Дилейни. *(Ждет приказания, чтобы подать гостье стул.)*

Мисс Дилейни входит. Смешливая молодая особа, миловидная и в сногсшибательном костюме. Она так приветлива и непосредственна, что единственное средство удержать ее на расстоянии — это вышвырнуть за дверь.

Дора *(сразу переходя на интимный тон и выступая на середину комнаты)*. Как поживаете? Я приятельница Бобби. Как-то, в минуту откровенности, он мне все рассказал

о вас. Конечно, в полицейском суде он скрыл, кто он такой.

Гилби. В полицейском суде?

Миссис Гилби *(опасливо поглядывая на Джогинза)*. Тс... Джогинз, подайте стул.

Дора. Ох, я уже все выболтала! *(Одобрительно рассматривает Джогинза, когда тот ставит для нее стул между столом и буфетом.)* Но он молодчина, сразу видно. *(Берет его за пуговицу.)* Ведь вы не разболтаете там, внизу? Правда, старина?

Джогинз. Господа могут положиться на меня. *(Уходит.)*

Дора *(грациозно усаживается)*. Понятия не имею, что вы мне скажете. Я, знаете ли, никакого права не имела приходить сюда; но что мне было делать? Вы святого Джо знаете? Учителя Бобби? Ну конечно, вы его знаете!

Гилби *(с достоинством)*. Я знаю мистера Джозефа Грэнфела, брата монсеньора Грэнфела, если это вы о нем говорите.

Дора *(крайне изумленная, широко раскрывает глаза)*. Да что вы?!! У этого старикашки есть брат монсеньор? И вы католики? Понятия не имела, а ведь с Бобби мы давным-давно знакомы! Впрочем, так всегда бывает: о религии своих друзей узнаешь в последнюю очередь. Правда?

Миссис Гилби. Мы не католики. Но когда Сэмюэлсы поручили воспитание своего мальчика сыну архидиакона, мистеру Гилби захотелось сделать что-нибудь в этом роде и для Бобби. А монсеньор – наш клиент. Мистер Гилби посоветовался с ним о Бобби, и он порекомендовал своего брата, которому не повезло в жизни, хотя и не по его вине.

Гилби *(томимый неизвестностью)*. Ее это не интересует, Мэри. *(Доре.)* По какому делу вы пришли?

Дора. Боюсь, что это я во всем виновата.

Гилби. В чем вы виноваты? Я с ума схожу! Я не знаю, что случилось с мальчиком! Вот уже четырнадцать дней как он пропал, и...

Миссис Гилби. Две недели, Роб.

Гилби. ...и с тех пор мы ничего о нем не знаем.

Миссис Гилби. Не волнуйся, Роб.

Гилби *(кричит)*.). Я не могу не волноваться! У тебя нет сердца! Тебе все равно, что сталось с мальчиком! *(Вне себя от волнения садится на стул.)*

Дора *(успокоительно)*. Вы беспокоились о нем? Ну конечно. Какая я глупая! Нужно было начать с того, что он

в безопасности. Да, он, можно сказать, находится в самом надежном месте: сидит под замком.

Гилби *(в ужасе и тоске)*. О боже! *(У него прерывается дыхание.)* Стало быть, говоря о полицейском суде, вы имели в виду скамью подсудимых? О Мэри! О господи! Что он натворил? Какой ему вынесли приговор? *(В отчаянии.)* Вы будете отвечать или хотите, чтобы я вот тут, на этом самом месте, сошел с ума?

Дора *(ласково)*. Отвечу, отвечу, миленький...

Миссис Гилби *(пораженная такой фамильярностью)*. Однако!

Дора *(продолжает)*. Все расскажу, но вы не беспокойтесь: он цел и невредим. Я сама вышла только сегодня утром. А какая собралась толпа! И оркестр! Подумайте только: меня приняли за суфражистку! Дело, видите ли, было так: святой Джо рассказал, как он был чемпионом-спринтером в колледже.

Миссис Гилби. Кем?

Дора. Спринтером. Он говорит, что был лучшим в Англии бегуном на сто ярдов. Мы все отправились в тот вечер в старый коровник.

Миссис Гилби. А что это за старый коровник?

Гилби *(со стоном)*. Да говорите же скорее.

Дора. Ах, какая я глупая! Ну конечно, откуда вам знать! Это такой модный мюзик-холл в Степни. Мы его называем «старый коровник».

Миссис Гилби. Разве мистер Грэнфел водит Бобби по мюзик-холлам?

Дора. Нет, Бобби его водит. Но святой Джо это любит; милый старичок, его хлебом не корми... Ну-с, так вот, Бобби и говорит мне: «Милочка...»

Миссис Гилби *(благодушно)*. Почему он вас называет милочкой?

Дора. О, меня все называют милочкой! Такое уж у меня прозвище — «Милочка Дора». Так вот он и говорит: «Милочка, если ты заставишь старого Джо пробежать сто ярдов, я тебе презентую этот сквиффер с золочеными кнопками».

Миссис Гилби. Неужели он в глаза называет своего учителя святым Джо?

Гилби в нетерпении хватается за голову.

Дора. А как же его еще называть? Святой Джо и есть святой Джо, а мальчики все одинаковы.

Миссис Гилби. А что такое сквиффер?

Дора. Ах, простите! Такое вульгарное выражение! Это концертино. В магазине на Грин-стрит есть один замечательный – инкрустация из слоновой кости, с золочеными кнопками, а самый мех из юфти. Бобби знал, как я о нем мечтаю, но он, бедняжка, не мог пойти на такие расходы, хотя я знаю, что ему ужасно хотелось мне его подарить.

Гилби. Мэри, если ты будешь задавать дурацкие вопросы, я за себя не ручаюсь. Мальчик сидит в тюрьме, я опозорен, а тебе понадобилось знать, что такое сквиффер!

Дора. Вы не забудьте – кнопки у него золоченые. И за него хотят пятнадцать фунтов, и ни пенни меньше. Это инструмент для подарка.

Гилби *(кричит на нее)*. Где мой сын? Что случилось с моим сыном? Вы мне ответите или будете трещать о своем сквиффере?

Дора. Какой нетерпеливый! Впрочем, миленький, это вам делает честь. А волноваться нечего: никакого позора нет. Бобби держал себя как настоящий джентльмен. Вдобавок я одна во всем виновата. Уж так и быть, признаюсь: я выпила слишком много шампанского. Не то чтобы я была пьяна, нет, только навеселе, ну и разошлась немножко. И – каюсь – я хотела пофорсить перед Бобби: ему приглянулась какая-то актриса на сцене, а она дала понять, будто согласна на все. Видите ли, вы слишком строго воспитывали Бобби, и когда он закусит удила, никакого удержу нет. В первый раз вижу юнца, который бы так умел наслаждаться жизнью.

Гилби. Не беспокойтесь о том, как его воспитывали, это мое дело. Расскажите о том, как его перевоспитали, вот это ваших рук дело.

Миссис Гилби. О Роб, будь вежлив с леди.

Дора. Я к этому и веду, миленький, не нужно так горячиться. Ну-с, так вот, ночь была прекрасная, лунная, а кеба под рукой не оказалось. Вот мы и пошли пешком; очень было весело, шли под руку, приплясывали, пели... и мало ли что еще делали. Выходим на Джемайка-сквер, а там, на углу, стоит молодой фараон. Вот я и говорю Бобби: «Милый мальчик, если я заставлю Джо пробежаться – сквиффер мой?» – «Твой, твой, милочка,– отвечает он,– я тебя люблю». Я напустила на себя самый светский вид и подхожу к фараону. «Будьте добры, сэр,– говорю я,– скажите, как пройти на Карик-майнс-сквер?» У меня был такой аристократический вид и говорила

я так любезно, что он тотчас же попался на удочку. «Я, говорит, никогда не слыхал о таком месте».— «Ну,— говорю я,— и дурачок же вы после этого!» Щелкнула его сзади по каске, нахлобучила ее на нос ему и задала лататы.

Миссис Гилби. Что задали?

Дора. Лататы. А святой Джо за мной! И пари держу, что милый старикашка никогда так не бегал в своем колледже. Он так-таки и удрал! Когда он догонял меня на площади, раздался свисток. Тут он пустился во всю прыть, только я его и видела. А меня сцапали. Вот уж не повезло, правда? Я напустила на себя самый невинный и благородный вид, но меня подвела шляпа Бобби.

Гилби. А что случилось с мальчиком?

Дора. Нет, вы подумайте только! Он замешкался, чтобы посмеяться над фараоном! Бедная овечка, он думал, что фараон оценит шутку. Об этом-то он и разглагольствовал, когда те двое, что сцапали меня, подошли узнать, почему был дан свисток, и меня с собой притащили. Конечно, я клялась, что никогда в глаза его не видела, но на нем была моя шляпа, а на мне — его. Фараоны взбесились и выложили все, что могли: будто мы были пьяны, и безобразничали, и напали на полицию... Я получила четырнадцать дней без права замены штрафом, потому что, понимаете... Ну да уж так и быть, скажу вам: я и раньше один раз попалась и получила предупреждение. Бобби был под судом в первый раз и мог отделаться штрафом, но у бедного мальчика не осталось денег, а вас он не хотел подводить и потому не назвал свою фамилию. Ну и, конечно, он не мог откупиться, а меня оставить в тюрьме. Вот он и отсиживает свой срок. За него нужно внести четыре фунта. А у меня есть только двадцать восемь шиллингов. Если я заложу свои платья, мне уж больше ничего не заработать. Значит, я не могу заплатить штраф и вызволить его. Но если вы дадите три фунта, я прибавлю еще фунт, и конец делу. А если вы добрые люди, вы уплатите целиком весь штраф... Но я не хочу на вас нажимать, я ведь не отрицаю, что одна во всем виновата.

Гилби *(мрачно)*. Мой сын в тюрьме!

Дора. Э, миленький, бодритесь! Ему это не повредит. Посмотрите на меня: я четырнадцать дней отсидела — и только отдохнула за это время. Незачем вам впадать в тоску.

Гилби. Позор – вот что меня убивает! И на нем до конца жизни останется клеймо.

Дора. Чепуха! Вы не бойтесь. Я немножко воспитала Бобби: теперь он не такой неженка, каким был у вас.

Миссис Гилби. Бобби совсем не неженка. Его хотели записать в фехтовальный кружок Христианского союза молодежи, но я, конечно, воспротивилась: ему могли выбить глаз.

Гилби *(сердито обращаясь к Доре)*. Эй, вы, послушайте

Дора. Ух, какой сердитый!

Гилби. Ваше веселье неуместно. Это порядочный дом. Явились вы и довели до беды моего бедного невинного мальчика. Вот такие, как вы, и губят таких, как он!

Дора. Вы, милые старички, всегда так говорите. А думаете совсем другое. Бобби сам пришел ко мне, – я к нему не ходила.

Гилби. А разве он бы пришел, если бы вас не было под рукой? Отвечайте. Надо полагать, вы знаете, почему он к вам пришел.

Дора *(сострадательно)*. Бедняжка! Он так скучал дома.

Миссис Гилби. О нет! Я принимаю в первый четверг каждого месяца. А по пятницам у нас обедают Ноксы. Маргарет Нокс и Бобби почти что помолвлены. Мистер Нокс – компаньон моего мужа. Миссис Нокс очень религиозна, но она совсем не скучная. Мы обедаем у них по вторникам. Значит, каждую неделю – два приятных вечера.

Гилби *(чуть не плача)*. Мы делали для сына все, что было в наших силах. Мы его нисколько не стесняли, мы только устраняли все соблазны. Чего ему еще нужно?

Дора. Видите ли, миленький, ему нужна я, и все тут... И должна вам сказать, что вы не очень-то со мной любезны. Я его усовещивала, как родная мать, изо всех сил старалась, чтобы он не сбился с толку. Но что уж тут скрывать – я сама люблю повеселиться! И у нас обоих голова кружится, когда на душе легко. Да, боюсь, что мы с ним два сапога пара.

Гилби. Не говорите глупостей! Какая там пара! Кто вы и кто он? Как он был воспитан? Изо дня в день видел перед собой такую религиозную женщину, как миссис Нокс! Понять не могу, как он дошел до того, чтобы появляться с вами на улице! *(Жалея самого себя.)* Я этого не заслужил. Я исполнил свой родительский долг. Я его оберегал от опасности. *(Воспламеняется гневом.)* Таких

тварей, как вы, которые пользуются невинностью ребенка, следовало бы кнутом гонять по всем улицам!

Дора. Ну, какая бы я там ни была, я все-таки леди и не позволяю себе забываться. И вряд ли Бобби понравится, если я вам выложу свое мнение о вас; ведь если я уж начну говорить, что у меня на уме, мне иной раз не обойтись без словечек, которые ниже моего достоинства. Но сейчас не до того: мне нужны деньги, чтобы выручить Бобби, а если вы не хотите раскошелиться, я разыщу святого Джо — пускай он выудит их у своего брата, монсеньора!

Гилби. Не суйтесь не в свое дело. Мой поверенный все уладит. Я не желаю, чтобы вы платили штраф за моего сына, словно вы ему свой человек.

Дора. Отлично. Стало быть, вы его освободите сегодня?

Гилби. А как по-вашему, могу я оставить моего мальчика в тюрьме?

Дора. Мне хотелось бы знать, когда его выпустят.

Гилби. Хотелось бы? Вы намереваетесь встретить его у ворот тюрьмы?

Дора. Так поступила бы любая женщина, которая умеет чувствовать, как леди. Верно?

Гилби *(с горечью)*. Ах, знаю, знаю! Ну что же! Придется, видно, заплатить за спасение мальчика. Сколько вы возьмете за то, чтобы убраться восвояси и оставить его в покое?

Дора *(жалея Гилби и очень добродушно)*. Что толку, миленький? Ведь есть, знаете ли, и другие.

Гилби. Правда. Я должен отправить его куда-нибудь.

Дора. Куда?

Гилби. Все равно куда, только бы подальше от вас и вам подобных.

Дора. Э, миленький, боюсь, что вам придется отправить его на тот свет! Мне вас жаль, хотя вы этому, может быть, и не поверите. И по-моему, такие чувства делают вам честь. Но не могу же я от него отказаться только для того, чтобы он попал в руки людей, которым я не доверяю, ведь правда?

Гилби *(вскакивает вне себя)*. Где же полиция? Где правительство? Где церковь? Где респектабельность и здравый смысл? Какой от них прок, если мне приходится спокойно смотреть, как вы присваиваете себе моего сына, словно он ваш раб, а сами только что сидели в тюрьме за пьянство и дебош! До чего мы дожили!

Дора. Это, миленький, лотерея.

Гилби в бешенстве выбегает из комнаты.

Миссис Гилби *(невозмутимо)*. Где вы купили эти белые кружева? Мне нужно подобрать кружево к воротничку а у Пэрри и Джона я ничего не нашла.

Дора. У Нага и Пэнтла. Шиллинг четыре пенса. Это машинная работа, но совсем как ручная.

Миссис Гилби. Я никогда не плачу больше шиллинга двух пенсов. Но вы, должно быть, от природы мотовка. Моя сестра Марта была точь-в-точь такая же. Платила, сколько бы с нее ни запросили.

Дора. В конце концов, миссис Бобби, что такое для вас два пенса?

Миссис Гилби *(поправляет ее)*. Миссис Гилби.

Дора. Ну конечно, миссис Гилби. Ах, какая я глупая!

Миссис Гилби. Должно быть, у Бобби был уморительный вид в вашей шляпе? Зачем вы поменялись шляпами?

Дора. Не знаю. Просто так.

Миссис Гилби. Я никогда этого не делала. И чего только люди не выдумывают! Не понимаю их. А Бобби мне ни разу не говорил, что встречается с вами. Родной матери не сказал!

Дора *(не удержавшись)*. Простите, ну как тут не улыбнуться!

Входит Джогинз.

Джогинз. Мистер Гилби поехал в Уормвуд-Скрабз, мадам

Миссис Гилби. Джогинз, вам случалось бывать в полицейском суде?

Джогинз. Да, мадам.

Миссис Гилби *(слегка шокированная)*. Надеюсь, вы ни в чем не были замешаны, Джогинз.

Джогинз. Был, мадам. Я был замешан в нарушении закона

Миссис Гилби. А, вот что! Скажите, почему женщину в мужской шляпе приговаривают к двум неделям, а мужчину в дамской шляпе к одному месяцу?

Джогинз. Я об этом не знал, мадам.

Миссис Гилби. Ведь это как будто несправедливо? Правда, Джогинз?

Джогинз. Конечно, мадам.

Миссис Гилби *(Доре, вставая)*. Ну, до свидания. *(Пожимает ей руку.)* Очень рада, что познакомилась с вами

Дора *(встает)*. Что вы, что вы! Это я должна благодарить вас за то, что вы меня вообще приняли.

Миссис Гилби. Простите, я должна пойти распорядиться насчет завтрака. *(Идет к дверям.)* Скажите, как это вы называете концертино?

Дора. Сквиффер, дорогая моя.

Миссис Гилби *(задумчиво)*. Сквиффер... ну конечно. Как забавно! *(Уходит.)*

Дора *(заливается неудержимым смехом)*. Ах, боже мой! Какая прелестная старушка! Как это вы ухитряетесь не смеяться?

Джогинз. За это мне платят жалованье.

Дора *(конфиденциально)*. Послушайте, мой милый, ваша фамилия не Джогинз. Нет такой фамилии – Джогинз!

Джогинз. Мисс Дилейни, мне приказано, чтобы вас здесь не было, когда мистер Гилби вернется из Уормвуд-Скрабз.

Дора. Иными словами, не суйся не в свое дело? Ладно, ухожу. Прощай, миленький Чарли! *(Посылает ему воздушный поцелуй и уходит.)*

Днем, в тот же день. Миссис Нокс пишет письма в гостиной за письменным столом, который стоит у левой стены. Справа — дверь, слева — окно. Миссис Нокс сидит ближе к авансцене, спиной к старомодному фортепиано у противоположной стены. Рядом с фортепиано — диван. Посреди комнаты — маленький столик, на нем книги и альбомы с золотым обрезом, у стола несколько стульев. Незаметно входит мистер Нокс, он взволнован. Ему лет пятьдесят; он более резок, худощав и некрасив, чем его компаньон Гилби. Гилби — довольно плотный человек с седой головой и тонкой гладкой кожей, а у Нокса жесткие черные волосы и синий подбородок, который не может побелеть, как бы его ни брили. Миссис Нокс — некрасивая женщина, одевается не заботясь о моде. У нее задумчивые глаза и сдержанные манеры,— это создает вокруг нее атмосферу безмятежную и слегка торжественную. Она удивлена, видя, что муж вернулся домой в служебное время.

Миссис Нокс. Почему ты пришел так рано? Узнал что-нибудь?

Нокс. Нет. А ты?

Миссис Нокс. Ничего. А что случилось?

Нокс *(садясь на диван)*. Мне кажется, что Гилби все известно.

Миссис Нокс. Почему ты так думаешь?

Нокс. Видишь ли, я и сам не знаю. Я не хотел тебе говорить, у тебя и без того много забот. Но с тех пор как это случилось, Гилби ведет себя очень странно. Я не могу сосредоточиться на делах и все время полагался на него, а он еще хуже меня. Решительно ни за чем не следит и меня избегает. Чувствуется какая-то натянутость. Он не пригласил нас обедать и даже не заикнулся о том, почему мы его не пригласили, хотя все эти годы мы дважды в неделю обедаем вместе. У меня такое впечатление, будто Гилби пытается порвать со мной. А зачем бы он стал это делать, если ему ни о чем не известно?

Миссис Нокс. Странно! И Бобби к нам не заглядывал — вот чего я не могу понять.

Нокс. Ну, это ничего не значит. Я ему сказал, что Маргарет в Корнуэлле, у тетки.

Миссис Нокс *(укоризненно)*. Джо! *(Достает из письменного стола носовой платок и всхлипывает.)*

Нокс. Что ж поделаешь, пришлось солгать. Ведь ты лгать не станешь. А кто-нибудь должен был им объяснить.

Миссис Нокс *(пряча носовой платок)*. Вот и получается, что мы не знаем, чему верить. Миссис Гилби сказала мне, что Бобби поехал в Брайтон подышать морским воздухом. Тут что-то не так. Гилби нипочем не отпустил бы мальчика одного, без учителя, в такое веселое место, как Брайтон, где на каждом шагу соблазны; а учителя я видела на Кенсингтон-Хай-стрит в тот самый день, когда она мне об этом сказала.

Нокс. Если Гилби что-то узнали, значит, все кончено между Бобби и Маргарет и между ними и нами.

Миссис Нокс. Все кончено между нами и всем светом. Если девушка вот так убегает из дому, можно себе представить, что говорят о ней и ее родителях.

Нокс. Она жила счастливо, в хорошей семье, все у нее...

Миссис Нокс *(перебивая его)*. Незачем повторять все сначала, Джо. Если в самой девушке не заложен источник счастья, она нигде не будет счастлива. Ты лучше вернулся бы в магазин и постарался отвлечься.

Нокс *(нервно встает)*. Не могу. Мне все время чудится, будто все об этом знают и втихомолку хихикают. Мне легче здесь. С тобой я успокаиваюсь, а быть на людях для меня пытка.

Миссис Нокс *(подходит к нему и берет под руку)*. Полно, Джо, полно! Конечно, мне бы хотелось, чтобы ты все время был со мной. Но ничего не поделаешь! На божьей ниве нужно работать изо дня в день, что бы там ни случилось. Мы должны нести свой крест.

Нокс *(под руку с ней идет к окну)*. Посмотри — люди снуют по улице как ни в чем не бывало. В этом есть что-то неестественное: кажется, будто они знают, но им нет дела.

Миссис Нокс. Если бы они знали, Джо, перед нашими окнами собралась бы толпа зевак. Старайся не думать об этом.

Нокс. Я знаю, что не надо об этом думать! У тебя, Эмили, есть религия. Я очень рад, что она тебя поддерживает А у меня этого нет. Я упорно работал, чтобы завоевать себе положение и быть респектабельным. А сколько молоденьких приказчиц я уволил из магазина за то, что они

по вечерам опаздывали на полчаса! И вдруг моя собственная дочь исчезает на две недели и не дает о себе знать, телеграфирует только, что она жива и просит нас не беспокоиться!

Миссис Нокс *(показывает на улицу)*. Джо! Смотри!

Нокс. Маргарет! С мужчиной!

Миссис Нокс. Джо, беги скорей! Догони ее, спаси ее!

Нокс *(медлит)*. Пожимает ему руку... идет к подъезду...

Миссис Нокс *(энергично)*. Слушайся меня! Задержи этого человека, пока он не ушел.

Нокс выбегает из комнаты. Миссис Нокс с тревогой смотрит на улицу, потом открывает окно и высовывается. Входит Маргарет Нокс, возбужденная и раздосадованная. Это сильная, мускулистая девушка восемнадцати лет с широкими ноздрями и дерзким подбородком. Веселая, решительная, даже заносчивая, когда она чем-то раздражена, как сейчас.

Маргарет. Мама!

Миссис Нокс отступает от окна и поворачивается к дочери.

Миссис Нокс *(сурово)*. Что скажете, мисс?

Маргарет. Ах, мама, пойди удержи папу, чтобы он не делал сцены на улице. Он бросился к нему и кричит: «Вы увели мою дочь!» Все останавливаются. Скоро перед домом соберется толпа. Постарайся его успокоить.

Нокс возвращается с красивым молодым морским офицером.

Маргарет. Ах, мосье Дювале, мне так неприятно, так стыдно. Мама, это мосье Дювале, он был так добр ко мне. Мосье Дювале, это моя мать.

Дювале кланяется.

Нокс. Француз! Этого еще недоставало!

Маргарет *(раздраженно)*. Папа, пожалуйста, будь вежлив с джентльменом, который оказал мне большую услугу. Что он о нас подумает?

Дювале *(непринужденно)*. Но это вполне естественно. Я прекрасно понимаю мистера Нокса. *(По-английски он говорит лучше, чем Нокс, так как изучал этот язык и в Англии и в Америке)*.

Нокс. Если я ошибаюсь, я готов принести извинение. Но

я желаю знать, где моя дочь провела последние две недели.

Дювале. Могу вас уверить, что она была в самом надежном месте.

Нокс. Быть может, вы мне скажете, что это за место? Я сам могу судить, насколько оно надежно.

Маргарет. Холоуэйская тюрьма. Достаточно надежно?

Нокс и миссис Нокс. Холоуэйская тюрьма!

Нокс. Ты связалась с суфражистками?

Маргарет. Нет. И жаль, что не связалась. Я бы могла испытать то же самое, но только в более приятной компании. Пожалуйста, садитесь, мосье Дювале. *(Садится между столом и диваном.)*

Миссис Нокс, ошеломленная, садится против нее за стол. Нокс остается посреди комнаты.

Дювале *(садясь на диван)*. Это пустяки. Маленькое приключение. Пустяки.

Маргарет *(упрямо)*. Задержана за пьянство и нападение на полицию! Сорок шиллингов или месяц тюрьмы!

Миссис Нокс. Маргарет! Кто обвинил тебя в этом?

Маргарет. Полисмен, на которого я напала.

Нокс. Ты хочешь сказать, что ты действительно это сделала?

Маргарет. Да. Это удовольствие я себе, во всяком случае, доставила. Я ему выбила два зуба.

Нокс. И ты преспокойно сидишь здесь и говоришь мне такие вещи?

Маргарет. А где я, по-твоему, должна сидеть? Какой смысл в том, что ты говоришь?

Нокс. Моя дочь в Холоуэйской тюрьме!

Маргарет. Все женщины в Холоуэйской тюрьме — чьи-то дочери. Право же, папа, ты должен примириться с этим. Если бы ты просидел в камере четырнадцать дней, пытаясь с этим примириться, ты бы понял, что я совсем не в таком настроении, чтобы на меня таращили глаза, пока ты стараешься убедить себя, будто этого не могло быть. Такие вещи случаются каждый день, о них читаешь в газете — и думаешь, что так и полагается. Ну так вот: это случилось со мной, и дело с концом.

Нокс *(слабея, но не сдаваясь)*. Но с тобой это не должно было случиться! Неужели ты не понимаешь?

Маргарет. Мне кажется, это ни с кем не должно случаться. Однако случается. *(Порывисто встает.)* Право же, я, кажется, лучше пойду и поколочу еще какого-нибудь полис-

мена и вернусь в Холоуэй, чем толковать без конца все об одном и том же. Если ты хочешь выгнать меня из дому, выгоняй, и чем скорее, тем лучше.

Дювале *(вскакивает с места)*. Это немыслимо, мадемуазель. Ваш отец должен думать о своем положении. Если он выставит дочь за дверь, это его погубит в глазах общества.

Нокс. А, так это вы ее подстрекали? А разрешите спросить, при чем здесь вы?

Дювале. Я здесь, потому что вы меня пригласили, и притом очень настойчиво. Но на мой счет вы можете не беспокоиться. Я принимал участие в печальном инциденте, который привел вашу дочь в тюрьму. Меня приговорили к двум неделям без права замены штрафом на том нелепом основании, что я должен был ударить полисмена кулаком. Знай я об этом, я бы с удовольствием это сделал, но я не знал и ударил его по уху башмаком – должен сказать, что это был великолепный мулине ногой. Мне сообщили, что я повинен в гнусном поступке, но из уважения к Entente cordiale[1] мне будет оказано снисхождение. Однако мисс Нокс, которая пустила в ход кулаки, получила месяц, но с правом замены штрафом. Я об этом не знал, пока меня не выпустили, после чего первым делом уплатил штраф. А затем мы явились сюда.

Миссис Нокс. Джо, ты должен вернуть джентльмену его деньги.

Нокс *(покраснев)*. Разумеется. *(Достает деньги.)*

Дювале. О, что вы! Это неважно.

Нокс сует ему два соверена.

Ну, если вы настаиваете... *(Прячет деньги.)* Благодарю вас.

Маргарет. Я вам так благодарна, мосье Дювале.

Дювале. Не могу ли я быть вам еще чем-нибудь полезен, мадемуазель?

Маргарет. Пожалуй, если вам все равно, вы лучше уходите сейчас, а уж мы тут до чего-нибудь договоримся.

Дювале. Разумеется. Мадам! *(Поклон.)* Мадемуазель! *(Поклон.)* Мосье! *(Поклон. Выходит.)*

Миссис Нокс. Не звони, Джо! Ты сам можешь проводить джентльмена.

---

[1] «Сердечному согласию» *(франц.)*.

Нокс поспешно выпроваживает Дювале. Мать и дочь, не говоря ни слова, растерянно смотрят друг на друга. Миссис Нокс медленно садится. Маргарет следует ее примеру. Снова смотрят друг на друга. Мистер Нокс возвращается.

Нокс *(отрывисто и сурово)*. Эмили, ты сама должна поговорить с ней. *(Обращаясь к Маргарет.)* Я оставляю тебя с матерью. Я свое слово скажу, когда узнаю, что ты ей сообщишь. *(Уходит, величественный и оскорбленный.)*

Маргарет *(с горьким смешком)*. Вот об этом-то мне и говорила суфражистка в Холоуэе. Он все сваливает на тебя.

Миссис Нокс *(укоризненно)*. Маргарет!

Маргарет. Ты знаешь, что это правда.

Миссис Нокс. Маргарет, если ты так ожесточена, я не вижу смысла говорить с тобой!

Маргарет. Я, мама, не ожесточена, но я не могу болтать чепуху. Видишь ли, для меня это все очень реально. Я это выстрадала. Со мной грубо обращались. Мне выкручивали руки и иными способами заставляли меня кричать от боли. Швырнули в грязную камеру к каким-то несчастным женщинам, словно я мешок угля, который высыпают в погреб. А между мной и другими была только та разница, что я давала сдачи. Да, давала! И я еще хуже делала. Я держала себя совсем не как леди. Я ругалась. Говорила скверные слова. Я сама слышала, как у меня срывались слова, которых я как будто и не знала, словно их говорил кто-то другой. Полисмен повторил их на суде. Судья сказал, что отказывается верить. Тогда полисмен протянул руку и показал два зуба, которые я у него выбила. Я сказала, что так оно и было, что я сама ясно слышала, как говорю эти слова, а в школе я три года подряд получала награду за примерное поведение. Бедный старенький судья приставил ко мне священника, чтобы тот узнал, кто я такая, и установил, в своем ли я уме. Конечно, ради вас я не хотела назвать себя. И я не сказала, что раскаиваюсь, прошу прощения у полисмена, хочу вознаградить его или еще что-нибудь в этом роде. Я не раскаивалась! Если что и доставило мне удовольствие, то именно этот удар по зубам, — и я так и сказала. Священник доложил, что я, по-видимому, ожесточена, но, посидев день в тюрьме, конечно, назову себя. Тогда мне вынесли приговор. Теперь ты видишь, что я совсем не та девушка, какой ты меня считала. И совсем не та,

какой я сама себя считала. И в сущности, я не знаю, что ты за человек и что за человек мой отец. Интересно, как бы он поступил, если бы разъяренный полисмен одной рукой скрутил ему руку, а другой тащил его за шиворот! Он не смог бы размахнуться ногой и, описав полный круг, сбить с ног полисмена чудесным ударом по каске. О, если бы все дрались, как мы двое, мы бы их побили!

Миссис Нокс. Но как это случилось?

Маргарет. Ах, не знаю! Кажется, в тот вечер были гребные гонки.

Миссис Нокс. Гребные гонки! Но какое ты имеешь отношение к гребным гонкам? Ты пошла со своей теткой в Альберт-холл на праздник Армии спасения. Она посадила тебя в автобус, который проезжает мимо нашего дома. Почему ты вышла из автобуса?

Маргарет. Не знаю. Собрание почему-то подействовало мне на нервы. Должно быть, всему виной пение: ты знаешь, как я люблю петь наши ритмичные бодрые гимны. И вот я почувствовала, что нелепо ехать домой в автобусе после того, как мы так чудесно пели о золотых ступенях, по которым мы всходим на небо. Мне хотелось еще музыки... счастья... жизни. Хотелось, чтобы рядом был человек, который чувствовал бы то же, что и я. Я была возбуждена, мне казалось недостойным бояться чего бы то ни было. В конце концов, что могли мне сделать против моей воли? Кажется, я немножко рехнулась. Словом, я вышла из автобуса у Пикадилли-серкус, потому что там было очень светло и людно. Я свернула на Лестер-сквер и вошла в какой-то большой театр.

Миссис Нокс *(в ужасе)*. В театр!

Маргарет. Да. Очень много женщин входило туда без мужчин. Пришлось заплатить пять шиллингов.

Миссис Нокс *(не веря своим ушам)*. Пять шиллингов!

Маргарет *(сконфуженная)*. Да, ужасно дорого. Там было очень душно. И публика мне не понравилась,— мне казалось, что она скучает, но на сцене было чудесно, и музыка упоительная. Я заметила этого француза, мосье Дювале. Он прислонился к барьеру и курил папиросу. Он казался таким безобидным, ну и вдобавок он красив и настоящий моряк. Я подошла и стала рядом с ним, надеясь, что он со мной заговорит.

Миссис Нокс *(потрясенная)*. Маргарет!

Маргарет *(продолжает)*. И он заговорил так, как будто мы давным-давно знакомы. Мы болтали, как старые друзья.

Он спросил, не хочу ли я шампанского, а я сказала, что оно слишком дорого стоит, но что потанцевать мне ужасно хочется. Я мечтала о том, чтобы поплясать на сцене с актерами. Там была одна чудесная танцовщица! Он мне сказал, что пришел сюда специально, чтобы посмотреть на нее, а потом мы можем пойти куда-нибудь, где танцуют. Так мы и сделали; он привел меня в какой-то зал, там на галерее играл оркестр, а внизу танцевали. Танцующих было очень мало,— женщины хотели только показывать свои туалеты; но мы танцевали без конца, и, глядя на нас, многие тоже стали танцевать. А мы просто удержу не знали и в конце концов выпили-таки шампанского. Я никогда еще так не веселилась. А потом все испортили студенты из Оксфорда и Кембриджа, приехавшие на гонки. Они напились, стали буянить, и явилась полиция. Тут началось что-то ужасное. Студенты полезли в драку с полисменами, а те вдруг озверели и начали выбрасывать всех на улицу. Они налетали на женщин, которые ни в чем не были виноваты, и обращались с ними так же грубо, как со студентами. Дювале возмутился и вступил в спор с полисменом, который толкал женщину, хотя та преспокойно шла к выходу. Полисмен вышвырнул женщину за дверь, а потом повернулся к Дювале. Вот тогда-то Дювале ударил полисмена ногой, и тот упал. А на француза набросились трое, схватили его за руки и за ноги и понесли лицом вниз. Двое других подлетели ко мне и стали толкать к двери. Меня это взбесило. И одному из них я изо всех сил дала в зубы. Дальше было ужасно. Меня тащили по улицам к полицейскому участку. Подталкивали коленями, выкручивали мне руки, издевались надо мной, оскорбляли, осыпали руганью. А я им напрямик сказала, что я о них думаю, и вывела их из терпения. Одно хорошо, когда тебя побьют: после этого крепко спится. В грязной камере, в обществе каких-то пьяниц, я спала лучше, чем дома. Нет слов, чтобы описать, как я себя чувствовала на следующее утро. Это было отвратительно. А в полиции хохотали; все утверждали, что это развлечение в английском духе, и вспоминали прошлогодние гребные гонки, когда было еще хуже. Я была вся в синяках, чувствовала себя больной и несчастной. Но странное дело — я не раскаивалась. И сейчас не раскаиваюсь. И по-моему, я ничего плохого не сделала. *(Встает и потягивается, вздыхая глубоко, с облегчением.)* Теперь, когда все кончено, я даже горжусь не-

множко. Хотя я теперь знаю, что я не леди. Но я не знаю, почему это так. Быть может, потому, что мы только лавочники. Или потому, что нельзя быть леди, если с тобой не обращаются, как с леди. *(Садится в угол дивана.)*

Миссис Нокс *(в полном недоумении)*. Но как ты могла дойти до этого, Маргарет? Я не браню тебя, я хочу только понять. Как ты могла дойти до этого?

Маргарет. Не знаю, что тебе ответить. Я сама не понимаю. После молитвенного собрания я почувствовала себя свободной. Не будь молитвенного собрания, я бы ни за что этого не сделала.

Миссис Нокс *(глубоко потрясенная)*. Ох, не говори таких вещей! Я знаю, что молитва нас освобождает, хотя ты меня не понимала, когда я говорила тебе об этом, но она освобождает нас для добрых дел, а не для дурных.

Маргарет. Ну, значит, я ничего дурного не сделала. А может быть, я получила свободу и для хорошего и для дурного. Как говорит папа: всего сразу не получишь. Дома и в школе я была – пользуясь вашим языком – хорошей, но не свободной. А когда я получила свободу, мало кто назвал бы меня хорошей. Но я не вижу ничего дурного в том, что я сделала, тогда как мне причинили много зла.

Миссис Нокс. Надеюсь, ты не воображаешь себя героиней романа?

Маргарет. О нет! *(Снова садится к столу.)* Я героиня реальной жизни, если уж ты называешь меня героиней. А реальная жизнь жестокая, грязная, когда приходится с ней сталкиваться. И все-таки она чудесна. Такая настоящая и полная!

Миссис Нокс. Маргарет, мне не нравится твое настроение. Мне не нравится, что ты говоришь со мной таким тоном.

Маргарет. Ничего не поделаешь, мама. Тебя и папу я люблю ничуть не меньше, но разговаривать с вами по-старому я уже не могу. Я, можно сказать, побывала в чертовом пекле.

Миссис Нокс. Маргарет, какие слова!

Маргарет. Ты бы послушала, какие слова произносили в тот вечер! Ты бы поговорила с людьми, которые других слов даже не знают. Но это выражение – чертово пекло – я употребила совсем не в ругательном смысле. Я говорила очень серьезно, как проповедник.

Миссис Нокс. Проповедники говорят совсем другим тоном – благоговейным.

Маргарет. Знаю, и этот тон показывает, что понятие «пекло» для них нереально. И для меня оно было нереально. А теперь оно стало реальным, как брюква. И мне кажется, навсегда таким останется. Я действительно побывала в аду. И вот что я теперь думаю: единственное, что стоит делать, это спасать людей от ада.

Миссис Нокс. Они будут спасены, как только захотят уверовать в это.

Маргарет. А что толку в таком спасении, если они в него не верят? И ты сама не веришь, иначе ты бы не стала платить полисменам за то, чтоб они выкручивали людям руки. Какой смысл притворяться? Вся наша респектабельность — это притворство, притворство и притворство! Слава богу, из меня ее выбили раз навсегда!

Миссис Нокс *(в сильном волнении)*. Маргарет, не говори так. Я не могу слышать от тебя такие греховные речи. Я еще могу вынести, когда дети мира сего говорят суетно и безумно на языке сего мира. Но когда я слышу, как ты, оправдывая свою порочность, призываешь имя божие, это ужасно! Кажется, будто дьявол высмеивает религию. Я учила тебя познавать счастье, даруемое религией. Я все ждала, когда ты поймешь, что счастье в нас самих, а не в мирских забавах. Ты не знаешь, как часто я молилась о том, чтобы на тебя снизошел свет. Но если все мои надежды и молитвы привели к тому, что мои слова и мысли перепутались у тебя с соблазнами дьявола, тогда я не знаю, что мне делать. Не знаю! Меня это убьет!

Маргарет. Напрасно ты молилась о том, чтобы на меня снизошел свет, если ты не хотела для меня этого света. Уж коли на то пошло, мне кажется, все мы хотим, чтобы наши молитвы исполнялись только наполовину: приятную половину. А твоя молитва, мама, была исполнена целиком. Ты получила этого света больше, чем рассчитывала. Мне уже не быть такой, как раньше. Я никогда не буду говорить по-старому. Меня выпустили на свободу из этой дурацкой жалкой норы со всем ее притворством. Теперь я знаю, что я сильнее, чем ты и папа. Я не нашла этого вашего счастья, которое будто бы в вас самих, зато я нашла силу. Я обрела свободу и для добра и для зла, и теперь меня не может удержать то, что удерживало раньше.

Входит Нокс; у него не хватило терпения дождаться

Нокс. Ты еще долго будешь меня томить, Эмили? По-твоему, я что, железный? Что натворила эта девчонка? Что мы теперь будем делать?

Миссис Нокс. Она вышла из-под моей власти, Джо, и ты над ней не властен. Теперь я даже молиться за нее не могу, потому что хорошенько не знаю, о чем молиться.

Нокс. Не говори глупостей, сейчас не время молиться. Кто-нибудь об этом знает? Вот о чем надо думать. Если бы только нам удалось это скрыть, я бы ни о чем не беспокоился.

Маргарет. Брось пустые надежды, папа: я всем скажу. Об этом нужно говорить, нужно!

Нокс. Молчи, девчонка! Или убирайся сию же минуту вон из моего дома!

Маргарет. Охотно. *(Берет шляпу и поворачивается к дверям.)*

Нокс *(загораживает ей дорогу)*. Стой! Куда ты идешь?

Миссис Нокс *(встает)*. Не выгоняй ее, Джо! Если она уйдет, я уйду вместе с ней.

Нокс. Да кто ее выгоняет? Но ведь она хочет нас погубить! Хочет, чтобы все узнали про ее стыд и позор! Хочет лишить меня того положения, которое я сорок лет с таким трудом создавал для себя и для тебя!

Маргарет. Да, я хочу все это разрушить, оно стоит между нами и жизнью. Я всем скажу.

Нокс. Мэгги, дитя мое, не доводи своего отца до могилы. Я одного хочу: скрыть это все. Я, твой отец, я на коленях прошу тебя, можно сказать в ногах у тебя валяюсь: не говори никому!

Маргарет. Я все скажу.

Нокс — в глубоком отчаянии. Миссис Нокс пробует молиться и не может. Маргарет стоит с неумолимым видом.

Снова в столовой Гилби. После полудня. Обеденный стол покрыт суконной скатертью, на нем чернильница, ручка, тетрадь и учебники. Бобби Гилби, съежившись в кресле у камина, читает иллюстрированную газету. Это красивый юноша с потугами на аристократизм, сильный и мужественный от природы; но он не тренирован и не развит, ибо его родители воображали, что воспитание сводится к системе запретов. Благодаря такой системе у него развилась только привычка ускользать от нее путем обмана. Он встает, чтобы позвонить, затем снова усаживается в кресло. На звонок является Джогинз.

Бобби. Джогинз!

Джогинз. Что прикажете, сэр?

Бобби *(угрюмо и саркастически)*. К черту сэра!

Джогинз *(бодро)*. О нет, сэр!

Бобби. Я сидел в тюрьме, а вы ничем себя не запятнали.

Джогинз. Это ничего не значит, сэр. Ваш отец платит мне за то, чтобы я называл вас сэром, а я беру деньги и не должен нарушать договор.

Бобби. А вы называли бы меня сэром, если бы вам за это не платили?

Джогинз. Нет, сэр.

Бобби. Я говорил о вас с Дорой.

Джогинз. Неужели, сэр?

Бобби. Да. Дора уверяет, будто ваша фамилия не Джогинз и будто у вас манеры джентльмена. А я всегда думал, что у вас нет никаких манер. Во всяком случае, они непохожи на манеры джентльмена моего круга.

Джогинз. Так и должно быть, сэр.

Бобби. Вы, кажется, не расположены обсуждать точку зрения Доры?

Джогинз. Да, сэр.

Бобби *(швыряет газету на пол и, перебросив ноги через ручку кресла, поворачивается лицом к лакею)*. По договору вы должны немножко прислуживать мне, не так ли?

Джогинз. Да, сэр.

Б о б б и. Ну-с, так вот, не укажете ли вы мне пристойный способ порвать помолвку с девушкой так, чтобы не доводить дело до скандала за нарушение обещания жениться и не быть последним негодяем?

Д ж о г и н з. Нет, сэр. Не будучи негодяем, вы можете порвать помолвку лишь в случае, если леди сама не согласится выйти за вас замуж.

Б о б б и. Но она не будет со мной счастлива, раз я не люблю ее по-настоящему.

Д ж о г и н з. Женщины не всегда думают о счастье, когда выходят замуж, сэр. Часто они это делают для того, чтобы быть замужними женщинами, а не старыми девами.

Б о б б и. Но как же мне быть?

Д ж о г и н з. Жениться на ней, сэр, или поступить как негодяй.

Б о б б и *(вскакивает)*. Ну, так я на ней не женюсь – коротко и ясно! А что бы вы сделали на моем месте?

Д ж о г и н з. Я сказал бы молодой леди, что не могу выполнить принятые на себя обязательства.

Б о б б и. Но ведь нужен, знаете ли, какой-то повод. Мне хочется сделать это по-джентльменски: сказать, что я не достоин или что-нибудь в этом роде.

Д ж о г и н з. Это не по-джентльменски, сэр. Как раз наоборот.

Б о б б и. Ничего не понимаю! Вы хотите сказать, что это не совсем так?

Д ж о г и н з. Это совсем не так, сэр.

Б о б б и. Я мог бы сказать, что никакая другая девушка не будет для меня тем, чем была она! Ведь это правда, потому что мы были в исключительных условиях. А она подумает, что я ее люблю больше, чем могу полюбить другую. Видите ли, Джогинз, джентльмен должен щадить чувства девушки.

Д ж о г и н з. Если вы хотите пощадить ее чувства, сэр, вы можете на ней жениться. А если вы ее оскорбляете отказом, то лучше уж не притворяться, прикрываясь деликатностью: это ей не понравится. И начнутся разговоры, от которых вам же будет хуже.

Б о б б и. Но послушайте, ведь я действительно не достоин ее.

Д ж о г и н з. Вероятно, она никогда и не считала вас достойным, сэр.

Б о б б и. Послушайте, Джогинз, вы пессимист.

Д ж о г и н з *(собираясь уйти)*. Прикажете еще что-нибудь, сэр?

Б о б б и *(ворчливо)*. Не очень-то вы мне помогли. *(Безутешно бродит по комнате.)* Обычно вы меня учили корректному поведению.

Джогинз. Уверяю вас, сэр, корректных способов бросить женщину нет. Это само по себе некорректно.

Бобби *(оживляясь)*. Вот что я сделаю: я ей скажу, что не вправе связывать ее судьбу с человеком, который сидел за решеткой! И конец делу! *(Усаживается на стол, успокоенный и повеселевший.)*

Джогинз. Это очень опасно, сэр. Ни одна женщина не откажет себе в романтическом удовольствии пожертвовать собой и простить, если ей это приятно. Почти наверно она скажет, что после вашего несчастья вы стали ей еще дороже.

Бобби. Какая досада! Просто не знаю, что делать. Послушайте, Джогинз, ваши хладнокровные и упрощенные методы действия не имели бы успеха в Дэнмарк-хилле.

Джогинз. Не отрицаю, сэр. Конечно, вы предпочли бы придать этому такой вид, будто вы жертвуете собой ради нее, или спровоцировать ее, чтобы она сама порвала помолвку. И то и другое было испробовано не раз, но, насколько мне известно, без всякого успеха.

Бобби. Черт возьми! Как хладнокровно вы устанавливаете законы поведения. В моем кругу приходится слегка маскировать свои поступки. Дэнмарк-хилл это, знаете ли, не Кэмберуэлл.

Джогинз. Я заметил, сэр, что, по мнению Дэнмарк-хилла, чем выше вы стоите на социальной лестнице, тем меньше вам разрешается быть искренним, а вполне искренни только бродяги и подонки общества. Это ошибка. Бродяги часто бывают бесстыдны, но искренни – никогда. Хлыщи – если разрешите воспользоваться этим термином для высших классов – гораздо чаще ведут игру в открытую. Если вы скажете молодой леди, что хотите ее бросить, а она назовет вас свиньей, тон переговоров, возможно, оставляет желать лучшего; но все же так будет менее по-кэмберуэллски, чем если вы скажете, что недостойны ее.

Бобби. Никак не могу вам втолковать, Джогинз: ведь эта девушка – не судомойка. Я хочу сделать это деликатно.

Джогинз. Ошибка, сэр, поверьте, если только у вас нет к этому природного таланта... Простите, сэр, кажется, звонят. *(Уходит.)*

Бобби, очень озабоченный, засовывает руки в карманы и слезает со стола, уныло глядя перед собой; потом не-

охотно возвращается к своим книгам, садится и что-то пишет. Входит Джогинз.

Джогинз *(докладывает)*. Мисс Нокс.

Маргарет входит. Джогинз удаляется.

Маргарет. Все еще готовитесь к экзамену в Общество искусств, Бобби? Все равно провалитесь.

Бобби *(вставая)*. Нет, я писал вам.

Маргарет. О чем?

Бобби. Так, пустяки. А впрочем... Ну, как поживаете?

Маргарет *(подходит к другому концу стола и кладет на него номер «Лойдз Уикли» и сумочку)*. Прекрасно, благодарю вас. Весело было в Брайтоне?

Бобби. В Брайтоне? Я не был в... Ах да, конечно. Ничего, недурно. А ваша тетка здорова?

Маргарет. Моя тетка? Вероятно. Я целый месяц ее не видела.

Бобби. А я думал, вы гостили у нее.

Маргарет. А, так вот что они вам сказали!

Бобби. Да. А разве вы были не у нее?

Маргарет. Нет. Я вам хочу что-то сказать. Садитесь, устраивайтесь поудобней.

Она усаживается на край стола. Он садится рядом с ней и лениво обнимает ее за талию.

Бобби, незачем это делать, если вам не хочется. Давайте отдохнем разок от наших обязанностей и посмотрим, как это получится.

Бобби. Обязанностей? О чем вы говорите?

Маргарет. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Бобби, разве вы когда-нибудь хоть чуточку любили меня по-настоящему? Не увиливайте, пожалуйста. Я-то к вам совершенно равнодушна.

Бобби *(обиженно отдергивает руку)*. Простите, пожалуйста, я этого не знал.

Маргарет. Не знали? Бросьте! Не притворяйтесь. Ведь я сказала напрямик. Если хотите, можете свалить все на меня, но я не верю, что вы мной интересуетесь больше, чем я вами.

Бобби. Вы хотите сказать, что нас толкали к этому папы и мамы?

Маргарет. Да.

Бобби. Но это все же не значит, что я к вам равнодушен. Видите ли, ни одна девушка не может заменить мне вас, но

ведь мы выросли вместе и относимся друг к другу скорее как брат и сестра, чем... чем как-нибудь иначе. Правда?

Маргарет. Совершенно верно. Как это вы обнаружили, что есть разница?

Бобби *(покраснев)*. Ну, Мэгги...

Маргарет. Я узнала от француза.

Бобби. Мэгги! *(В ужасе соскакивает со стола.)*

Маргарет. А вы — от француженки? Видите ли, об этом всегда от кого-нибудь узнают.

Бобби. Она не француженка. Она очень славная женщина. Но ей не повезло в жизни. Она дочь священника.

Маргарет *(в испуге)*. Ой, Бобби! Такая женщина!

Бобби. Какая женщина?

Маргарет. Глупый мальчик, неужели вы поверили, что она дочь священника? Ведь это ходячая фраза.

Бобби. Иными словами, вы мне не верите?

Маргарет. Нет, я не верю ей.

Бобби *(заинтересованный, снова подсаживается к ней на край стола)*. Что вы можете знать о ней? Что вы вообще можете знать о таких вещах?

Маргарет. О каких вещах, Бобби?

Бобби. Ну, скажем, о жизни.

Маргарет. Я много пережила с тех пор, как мы в последний раз виделись. Я и не думала гостить у тетки, пока вы были в Брайтоне.

Бобби. Я не был в Брайтоне, Мэг. Уж лучше я вам все скажу, все равно рано или поздно вы узнаете. *(Смиренно начинает свою исповедь, избегая встречаться глазами с Маргарет.)* Мэг, в сущности, это ужасно, вы сочтете меня последним негодяем. Я сидел в тюрьме.

Маргарет. Вы?!

Бобби. Да, я. За пьянство и нападение на полицию.

Маргарет. Вы хотите сказать, что вы... ох, как это досадно! *(Спрыгивает со стола и, безутешная, падает на стул.)*

Бобби. Конечно, после этого я не могу связывать вас. Я как раз вам писал, что вы можете порвать со мной. *(Тоже слезает со стола и медленно идет к камину.)* Должно быть, вы меня считаете последним мерзавцем.

Маргарет. Выходит, что все сидели в тюрьме за пьянство и нападение на полицию? Долго вас держали?

Бобби. Две недели.

Маргарет. Столько же и я высидела.

Бобби. О чем вы говорите? Где?

Маргарет. За решеткой.

Бобби. Но я не шучу. Я говорю серьезно. Честное слово, я..

Маргарет. Что вы сделали фараону?

Бобби. Ничего. Ровно ничего. Он возмутительно преувеличивал, я только посмеялся над ним.

Маргарет *(с торжеством вскакивает)*. Я вас перещеголяла! Я выбила ему два зуба. И один из них у меня. Он мне его продал за десять шиллингов.

Бобби. Пожалуйста, перестаньте дурачиться, Мэг. Говорю вам, что я не шучу. *(Надувшись, садится в кресло.)*

Маргарет *(берет номер «Лойдз Уикли» и идет к Бобби)*. И я вам тоже говорю, что я не шучу. Смотрите. Вот тут все сказано. Ежедневные газеты никуда не годятся, зато воскресные – просто прелесть. *(Садится на ручку кресла.)* Слушайте. *(Читает.)* «Неисправима в восемнадцать лет. Скромно одетая, приличная на вид девушка, которая отказывается назвать свою фамилию...» Это я!

Бобби *(на секунду отрываясь от газеты)*. Вы хотите сказать, что пустились во все тяжкие только из озорства?

Маргарет. Я ничего плохого не сделала. Я пошла посмотреть чудесные танцы, я познакомилась с очень славным человеком и тоже танцевала. Что могло быть невиннее и очаровательнее? А вот другие поступали скверно и, если хотите, делали это из чистого озорства. Как бы там ни было, Бобби, а мы с вами оба посидели за решеткой и навеки опозорены. Какое облегчение, не правда ли?

Бобби *(с упорным видом встает)*. Но для девушки это, знаете ли, не так просто. Мужчина может делать то, что женщине не прощается. *(Стоит на коврике перед камином, спиной к огню.)*

Маргарет. Вы шокированы, Бобби?

Бобби. А неужели вы воображали, Мэг, что мне это понравится? Вот уж не думал, что вы такая!

Маргарет *(вскакивает, возмущенная)*. Я не такая! Пожалуйста, не притворяйтесь, будто вы считаете меня дочерью священника.

Бобби. Очень прошу вас не шутить этим! Вспомните, какой разразился скандал, когда вы проболтались, что восхищаетесь Джогинзом!

Она быстро поворачивается к нему спиной.

Лакеем! А что это за француз?

Маргарет *(снова повернулась к нему лицом)*. О французе я знаю только то, что он славный малый, умеет размахи-

вать ногой как маятником и сбил ею полисмена. Он сидел вместе с вами в Уормвуд-Скрабз, а я была в Холоуэе.

Бобби. Конечно, можете потешаться, сколько вам угодно, Мэг, но это, знаете ли, уж слишком.

Маргарет. Вы хотите сказать, что не могли бы жениться на женщине, которая сидела в тюрьме?

Бобби *(поспешно)*. Нет, я этого не говорил. Пожалуй, это даже дает женщине больше прав на мужчину. Любая девушка может попасть в беду, если она легкомысленная и выпьет лишнее. Всякий, кто ее знал, должен понять, что ничего плохого в этом нет. Но вы не из тех, которые любят проказничать. Во всяком случае, вы не были такой.

Маргарет. Я не такая. И никогда не буду такой. *(Подходит к нему.)* Я не проказничала, Боб. Я это сделала по наитию. Потому что я — такой человек. Я это сделала под влиянием религиозного настроения. Я ведь неисправима в восемнадцать лет. Ну, так как же теперь насчет нашей помолвки?

Бобби. Знаете, Мэг, мне кажется, вы не имеете права на ней настаивать. Конечно, смешно, если бы я вздумал возмущаться. Я ни в кого не могу бросить камень, да и не собираюсь. Я могу понять шутку, могу простить промах, если все согласны в том, что это шутка или промах. Но быть распущенной из принципа, связывать это с религией... Да, Мэг, должен сказать, что, на мой взгляд, это уж слишком. Надеюсь, вы говорите не серьезно?

Маргарет. Бобби, вы безнадежны. Мне вы, во всяком случае, не нужны.

Бобби *(обиженно)*. Очень жаль, мисс Нокс.

Маргарет. До свиданья, мистер Гилби. *(Поворачивается на каблуках и идет к другому концу стола.)* Вероятно, вы не захотите познакомить меня с дочерью священника?

Бобби. Вряд ли ей это понравится. В конце концов, есть какие-то границы. *(Садится за стол и углубляется в свои учебники: намек, чтобы она уходила.)*

Маргарет *(направляясь к двери)*. Бобби, позвоните и скажите Джогинзу, чтобы он меня проводил.

Бобби *(краснея)*. Я не хам, Мэг.

Маргарет *(подходя к столу)*. Ну, так и ведите себя получше, чтобы нам потом было не противно вспоминать об этом разговоре. Пожалуй, вам следует поцеловать меня. Ведь больше вам никогда не понадобится это делать.

Бобби. Не понимаю, какое это вам доставит удовольствие, если я безнадежен.

Маргарет. О, это не для удовольствия! Если бы я думала о том, что вы называете удовольствием, я попросила бы француза поцеловать меня... или обратилась бы к Джогинзу.

Бобби *(встает и отступает к камину)*. Не говорите гадостей, Мэг! Не будьте вульгарны!

Маргарет *(твердо решив добиться своего)*. Ну, так я вас заставлю поцеловать меня, в наказание. *(Хватает его за руку, тянет к себе и обнимает за шею.)*

Бобби. Нет! Оставьте! Пустите меня, слышите?

Джогинз появляется в дверях.

Джогинз. Мисс Дилейни, сэр.

Входит Дора. Джогинз уходит. Маргарет поспешно отпускает Бобби и идет в другой конец комнаты.

Дора *(вслед уходящему Джогинзу)*. Ну, видно, вы никудышный лакей, если впускаете меня, когда тут гости. *(Обращаясь к Маргарет и Бобби.)* Не беспокойтесь, душенька, не беспокойся, дорогой: я подожду в буфетной у Джогинза, пока ты освободишься.

Маргарет. Вы не узнаете меня?

Дора *(выходит на середину комнаты и пристально смотрит на нее)*. Как, да это номер четыреста шесть!

Маргарет. Совершенно верно.

Дора. Ну ни за что бы я вас не узнала, когда вы сняли казенное платье! Как вы оттуда выбрались? Ведь вас засадили на месяц?

Маргарет. Мой ухажер уплатил за меня штраф, как только его самого выпустили.

Дора. Настоящий джентльмен! *(Указывая на Бобби, который стоит разинув рот.)* Посмотрите на него! Он никак не может это переварить.

Бобби. Должно быть, Мэг, вы с ней познакомились в тюрьме? Но уж если дело дошло до ухажера... нечего сказать!

Маргарет. Да, я научилась жаргону, и он мне нравится. Еще один барьер рухнул.

Бобби. Тут дело не в жаргоне, Мэг, но я думаю... *(Смотрит на Дору и умолкает.)*

Маргарет *(угрожающе)*. Что вы думаете, Бобби?

Дора. Он думает, деточка, что вам не годится разговаривать

со мной запросто. Это делает ему честь: он, знаете ли, всегда был джентльменом.

Маргарет. Делает ему честь? Когда он вас так оскорбляет?! Бобби, да скажите же, что вы этого не думали!

Бобби. Я не сказал, что я это думал.

Маргарет. Ну, так скажите, что она ошибается.

Бобби. Мне бы не хотелось говорить при Доре, но я действительно думаю, что это не одно и то же — мое знакомство с ней и ваше.

Дора. Конечно, не одно и то же, миленький. *(Обращаясь к Маргарет.)* Я пока смоюсь и вернусь через полчаса. А вы тут успеете сговориться. Я и в самом деле неподходящая для вас компания, душечка, я вам не ровня. *(Идет к двери.)*

Маргарет. Постойте. А он, по-вашему, мне ровня?

Дора. Ну, уж я-то не скажу ничего такого, что помешало бы девушке сделать хорошую партию, а порядочному молодому человеку остепениться. У меня есть совесть, хотя я, может быть, и не так разборчива, как некоторые.

Маргарет. По-моему, вы очень порядочный человек, а Бобби ведет себя как сволочь.

Бобби *(очень обиженный)*. Прелестное словечко!

Дора. Эх, душечка, мужчинам каких только подлостей не приходится делать, чтоб поддержать свою репутацию. Но разве можно их в этом винить? Я как-то встретила Бобби, когда он шел с матерью, и, конечно, он меня не узнал. Не буду врать — мне это не понравилось, но что ему было делать, бедняжке?

Маргарет. А теперь он хочет, чтобы и я поддерживала его репутацию и не узнавала вас. А я этого не сделаю, хотя бы тут были все мои родные. Но его-то я не буду узнавать, пока он не научится обращаться с вами прилично. *(С угрожающим видом направляется к Бобби.)* Я вас еще воспитаю, грубое вы животное!

Бобби *(взбешенный, идет к ней навстречу)*. Кого это вы называете грубым животным?

Маргарет. Вас.

Дора *(умиротворяюще)*. Полно, миленькие.

Бобби. Берегитесь, если не хотите получить затрещину!

Маргарет. Берегитесь, не то зуб полисмена послужит только началом коллекции.

Дора. Успокойтесь, детки!

Бобби, забыв о том, что он взрослый и должен держать

себя с достоинством, показывает Маргарет язык. Маргарет, взбешенная не меньше его, дает ему пощечину. Он бросается на нее. Они борются.

Бобби. Язва! Я тебя проучу!

Маргарет. Свинья! Скотина! *(Припирает его к столу.)* Ну, кто кого проучит?

Дора *(кричит)*. Джогинз, Джогинз! Они убьют друг друга!

Джогинз *(распахнув дверь, докладывает)*. Мосье Дювале.

Дювале входит. Внезапное прекращение военных действий и мертвая тишина. Противники расходятся в противоположные концы комнаты. Джогинз уходит.

Дювале. Кажется, я вам помешал?

Маргарет. Нисколько. Бобби, вы действительно свинья: мосье Дювале подумает, что я всегда дерусь.

Дювале. Практикуетесь в джиу-джитсу или новой исландской борьбе? Великолепно, мисс Нокс! Атлетическая молодая англичанка служит примером для всей Европы. *(Указывая на Бобби.)* Должно быть, ваш тренер? Мосье... *(Кланяется.)*

Бобби *(неловко кланяясь)*. Здравствуйте.

Маргарет *(обращаясь к Бобби)*. Мне очень жаль, Бобби; я забыла сказать вам, что просила мосье Дювале зайти за мной сюда. *(Знакомит.)* Мосье Дювале, мисс четыреста семь. Мистер Бобби Гилби.

Дювале кланяется.

Право, не знаю, как вам объяснить наши взаимоотношения. Мы с Бобби – как брат и сестра.

Дювале. Превосходно. Я это заметил!

Маргарет. Бобби и мисс... мисс...

Дора. Дилейни, дорогая моя... *(С обворожительной улыбкой обращаясь к Дювале.)* А для близких друзей – Милочка Дора.

Маргарет. Бобби и Дора, они... они... ну, словом, они не брат и сестра.

Дювале *(проявляя исключительную понятливость)*. Превосходно.

Маргарет. Бобби провел последние две недели в тюрьме. Вас это не смущает?

Дювале. Нет, конечно. Я сам провел последние две недели в тюрьме.

Разговор обрывается. Маргарет с трудом возобновляет его.

Маргарет. Дора провела последние две недели в тюрьме.

Дювале. Вот как! Поздравляю мадемуазель с освобождением.

Дора. Trop merci,[1] как говорят в Булони. Стало быть, мы можем друг с другом не церемониться, верно?

Входит Джогинз.

Джогинз. Прошу прощения, сэр! Мистер и миссис Гилби подходят к дому.

Дора. Я улетучиваюсь! *(Идет к двери.)*

Джогинз. Если вы хотите уйти незаметно, пройдите в буфетную и подождите там.

Дора. Правильно! *(Поет.)*

В шкаф меня запрячьте, пока пройдет фараон.
Тихонько засвистите, когда подкрадется он.

(Уходит на цыпочках.)

Маргарет. Я здесь не останусь, если она должна прятаться. Я посижу с ней в буфетной. *(Идет за Дорой.)*

Бобби. Пойдемте все вместе. Здесь с мамашей будет скучно. Послушайте, Джогинз, вы нам подадите чай в буфетной?

Джогинз. Конечно, сэр.

Бобби. Вот и отлично. Матери ни слова не говорите. Вы не возражаете, мосье Дювале?

Дювале. Я буду в восторге.

Бобби. Чудесно! Пошли! *(В дверях.)* И пожалуйста, Джогинз, принесите из моей комнаты концертино.

Джогинз. Слушаю, сэр.

Бобби уходит. Дювале следует за ним.

Вы понимаете, сэр, что мисс Нокс — леди вполне comme il faut?[2]

Дювале. Несомненно. А та, другая?

Джогинз. Ту, другую, сэр, вы называете на вашем языке точно и милосердно: дочь радости.

Дювале. Я так и думал. Эти английские семейные дома очень интересны. *(Уходит. За ним Джогинз.)*

Входят мистер и миссис Гилби, занимают свои

[1] Благодарю! *(франц., вульг.)*

[2] Из приличного общества *(франц.)*.

обычные места: он на коврике перед камином, она в том конце стола, что дальше от камина.

Миссис Гилби. Роб, ты почувствовал запах духов в холле?

Гилби. Нет, не почувствовал. И не желаю чувствовать. Не выдумывай новых забот, Мэри.

Миссис Гилби *(втягивает носом пропитанный духами воздух)*. Она здесь была.

Гилби звонит.

Зачем ты звонишь? Хочешь спросить?

Гилби. Нет. Не хочу. Сегодня утром Джогинз сказал, что хочет со мной поговорить. Если он сам мне скажет, пусть говорит, но спрашивать я не намерен. И ты не спрашивай.

В дверях появляется Джогинз.

Вы хотели мне что-то сказать.

Джогинз. Когда вам будет удобно, сэр.

Гилби. Ну, в чем дело?

Миссис Гилби. Джогинз, мы ждем к чаю мистера и миссис Нокс.

Гилби. Это он знает. *(Садится. Обращается к Джогинзу.)* Ну, говорите.

Джогинз *(подходя к столу)*. Вы не будете возражать, сэр, если я вас предупрежу за месяц об уходе?

Гилби *(застигнутый врасплох)*. Как! Что такое? Вы чем-нибудь недовольны?

Джогинз. Вполне доволен, сэр. Уверяю вас, дело не в том, что я ищу лучшего места.

Гилби. В таком случае зачем же вам уходить? Ищете худшего места?

Джогинз. Нет, сэр. Дом у вас прекрасный, отношение ко мне самое хорошее, и я был бы очень огорчен, если бы вы или миссис Гилби подумали, что я чем-нибудь недоволен.

Гилби *(отеческим тоном)*. Послушайте, что я вам скажу, Джогинз. Ведь я старше вас. Знаете поговорку: не выплескивайте грязную воду, пока у вас нет чистой. Всяк сверчок знай свой шесток. Вы похожи на всех нынешних слуг: думаете, что стоит вам протянуть руку — и к вашим услугам полдюжины лучших мест. Но к вам не везде будут относиться так, как здесь. Спать вы ложитесь не

позже одиннадцати часов, у нас почти никто не бывает, кроме как один раз в месяц – в приемный день миссис Гилби; мужской прислуги нет, и никто вам не мешает. Пожалуй, живем мы скучновато, но вы уже не в том возрасте, чтобы искать развлечений. Послушайте моего совета: хорошенько подумайте. Вы мне подходите, а если вы чем-нибудь недовольны, я готов удовлетворить ваши требования – в пределах благоразумия, конечно.

Джогинз. Я понимаю все эти преимущества, сэр, но у меня есть особые причины...

Гилби *(сердито перебивает его и с негодованием занимает позицию на коврике перед камином)*. А, понимаю! Прекрасно, уходите. Чем скорее, тем лучше.

Миссис Гилби. Нет, сначала мы подыщем кого-нибудь. Он должен остаться на месяц.

Гилби *(саркастически)*. Ты хочешь погубить его репутацию, Мэри? Думаешь, я не понимаю, в чем тут дело? Мы свели знакомство с тюрьмой. Мы побывали в полицейском суде. *(Джогинзу.)* Ну, вам лучше знать свою выгоду. Я принимаю ваше предупреждение: можете уйти через месяц или раньше, как угодно.

Джогинз. Поверьте, сэр...

Гилби. Довольно, в извинениях я не нуждаюсь. Я вас не упрекаю. Можете идти вниз, если у вас нет больше ко мне никаких вопросов.

Джогинз. Право же, сэр, я не могу оставить это так. Уверяю вас, я ничего не имею против того, что молодой мистер Гилби сидел в тюрьме. Вы сами можете отсидеть хоть шесть месяцев, сэр, на здоровье, я и слова не скажу. Я ухожу только потому, что мой брат, который понес тяжелую утрату, просил меня провести первые несколько месяцев с ним, чтобы ему было не так тоскливо.

Гилби. И все это время он будет вас содержать? Или вы, утешая его, будете тратить свои сбережения? Да образумьтесь же, любезный! Разве это вам по карману?

Джогинз. Мой брат имеет возможность содержать меня, сэр. По правде сказать, ему вообще не нравится, что я служу лакеем.

Гилби. Но можно ли ставить себя в зависимость от него? Не делайте этого, Джогинз! Трудитесь, как честный человек, и не сидите на шее у брата, пока вы в состоянии зарабатывать себе кусок хлеба.

Джогинз. Это очень разумно, сэр. Но, к несчастью, в моей

семье существует такая традиция, чтобы младшие братья жили в значительной мере за счет старших.

Гилби. Если так – чем скорее вы откажетесь от этой традиции, тем лучше.

Джогинз. Радикальная точка зрения, сэр. Но тем не менее превосходная.

Гилби. Радикальная! Что вы хотите сказать? Не позволяйте себе вольностей, Джогинз, хотя вы и знаете, что нам не хочется вас отпускать. Ваш брат, знаете ли, не герцог.

Джогинз. К несчастью, он именно герцог, сэр.

Гилби
Миссис Гилби } (*в один голос*). Джогинз!
Что такое?

Джогинз. Простите, сэр, звонят. *(Выходит.)*

Гилби *(ошеломленный)*. Мэри, ты слышала? Он сказал, что его брат – герцог!

Миссис Гилби. Подумать только, что он снизошел до нас! Может быть, если ты предложишь ему прибавку и пообещаешь обращаться, как с членом семьи, он согласится остаться?

Гилби. Чтобы мой собственный слуга был выше меня! Э, нет! Куда мы катимся? Тут еще Бобби и...

Джогинз *(входит и докладывает)*. Мистер и миссис Нокс.

Нокс ы входят. Джогинз берет два стула, стоящих у стены, и ставит их к столу, между хозяином и хозяйкой, затем уходит.

Миссис Гилби *(обращаясь к миссис Нокс)*. Как поживаете, дорогая?

Миссис Нокс. Прекрасно, благодарю вас. Здравствуйте, мистер Гилби.

Обмениваются рукопожатиями. Она садится рядом с миссис Гилби, мистер Нокс занимает другой стул.

Гилби *(садится)*. Я только что говорил, Нокс: куда мы катимся?

Нокс *(обращаясь за подтверждением к жене)*. А что я говорил не дальше чем сегодня утром?

Миссис Нокс. Странные настали времена. Я не из тех, кто толкует о светопреставлении, но посмотрите, что творится вокруг!

Нокс. Землетрясения!

Гилби. Сан-Франциско!

Миссис Гилби. Ямайка!

Нокс. Мартиника!

Гилби. Мессина!

Миссис Гилби. Чума в Китае!

Миссис Нокс. Наводнение во Франции!

Гилби. Мой Бобби в Уормвуд-Скрабз!

Нокс. Маргарет в Холоуэе!

Гилби. А мой лакей заявляет мне, что у него брат — герцог!

Нокс, Миссис Нокс (*вместе*). Что такое? Не может быть!

Гилби. Да, объявил как раз перед вашим приходом. Герцог! Все было, как положено, со дня, так сказать, сотворения мира и по сей день, и вдруг все пошло вверх дном.

Миссис Нокс. Как в апокалипсисе. Но вот что я вам скажу: если люди не находят счастья в самих себе, никакие землетрясения, наводнения, тюрьмы не сделают их по-настоящему счастливыми.

Нокс. Сейчас не только диковинные вещи творятся, но вдобавок еще общество относится к ним очень странно. С тех пор как Маргарет побывала в тюрьме, она не успевает отвечать на приглашения, причем в такие дома, куда ее раньше никогда не звали.

Гилби. Не думал я, что можно жить и потеряв респектабельность.

Миссис Гилби. Ах, Роб, что за фантазия! Кто говорит, что мы не респектабельны?

Гилби. Ну, я бы не сказал, что это респектабельно, если дети то и дело попадают в тюрьму.

Нокс. Полноте, Гилби! Если с нами и случилось, так сказать, несчастье, это еще не значит, что мы бродяги.

Гилби. Что толку притворяться, Нокс? Смотрите правде в глаза. Я вам говорил когда-нибудь, что у меня отец был пьяница?

Нокс. Нет. Но я это знал. Мне сказал Симонс.

Гилби. Да, он никогда не умел держать язык за зубами: мне он сказал, что ваша тетка страдала клептоманией.

Миссис Нокс. Это неправда, мистер Гилби. У нее была привычка подбирать носовые платки, когда они попадались ей под руку, но серебро вы могли ей доверить.

Гилби. Мой дядя Фил был трезвенник. А отец мне говорил: «Роб, смотри, чтобы у тебя не было никаких слабостей. Если подметишь у себя какую-нибудь слабость, сейчас же делай из нее добродетель. Твой дядя Фил не любит спиртных напитков, — из этого он сделал добродетель и избран председателем комитета Синей Ленты. А я люблю спиртные напитки и тоже делаю из этого добро-

детель, – и теперь я король Какаду в Обществе Веселых Какаду. Никогда, говорит, не признавай за собой вины». Бывало, я хвастался тем, какой наш Бобби хороший мальчик. Теперь похваляюсь тем, какой он негодник, а людям и то и другое нравится одинаково. Ну и жизнь!

Нокс. Сначала у меня кровь стыла в жилах, когда я слышал, как Маргарет рассказывает знакомым о Холоуэе; но это пользуется бóльшим успехом, чем ее пение.

Миссис Нокс. Мне всегда казалось, что поет она нéважно, хотя мы столько платили за уроки.

Гилби. Да, Нокс, повезло нам, что мы с вами вместе попали в беду! Я вам прямо скажу: не будь Бобби опозорен, я бы вышел из фирмы.

Нокс. Я вас не осуждаю: я сделал бы то же самое хотя бы ради Маргарет. Когда человек связан приличиями, словно в корсет затянут, кругозор его суживается. Кстати, как быть с этой рекламой гигиенических корсетов, которую Вайнс и Джексон хотят поместить в нашей витрине? Я сказал Вайнсу, что эта реклама неприлична и мы не можем выставлять ее у себя в магазине. Я его даже отчитал слегка. А что я теперь ему скажу, если он явится и станет издеваться над нами?

Гилби. Да выставьте эту рекламу. Теперь мы можем немножко распуститься.

Миссис Гилби. Ты уже и так порядком распустился, Роб. *(Обращаясь к миссис Нокс.)* Теперь он по утрам валяется в постели, а ведь всегда вставал ровно в семь.

Миссис Нокс. Ты слышишь, Джо? *(Обращаясь к миссис Гилби.)* А он пристрастился к виски с содовой. Выпивает целую пинту за неделю! А пиво пьет по-прежнему!

Нокс. Да хватит тебе проповедовать, старушка!

Миссис Нокс *(обращаясь к миссис Гилби)*. Это он теперь начал меня так называть. *(Ноксу.)* Слушай, Джо, тебе это совсем не к лицу. Можешь называть мои слова проповедями, а все-таки это правда. Я говорю, что, если не находишь счастья в самом себе, незачем искать его в другом месте, тратить деньги на выпивку, театры, дурную компанию и в конце концов оставаться несчастным. Ты можешь сидеть дома и быть счастливым; можешь работать и быть счастливым. Если в тебе это заложено, дух божий дарует тебе свободу делать то, что ты хочешь, и поведет по правому пути. Но если в тебе этого нет, то лучше уж будь респектабельным и придерживайся пра-

вил, которые тебе даны, потому что они только и помогают не сбиться с дороги.

Нокс *(с раздражением)*. Неужели человеку и повеселиться нельзя? Посмотри, что у тебя получилось с дочерью! Ей приходилось довольствоваться этим твоим счастьем, о котором ты вечно толкуешь. А куда завел ее дух божий? В тюрьму, за пьянство и нападение на полицию! А разве я нападал когда-нибудь на полицию?

Миссис Нокс. У тебя на это храбрости не хватит. Я ее не осуждаю.

Миссис Гилби, Гилби *(вместе)*. О, Эмили! Что вы говорите? Как это вы! Такая благочестивая!

Миссис Нокс. Она пошла туда, куда ее повел дух. А о том, что было в этом дурного, она не знала.

Гилби. Полноте, миссис Нокс! В конце концов, девушки совсем не так невинны.

Миссис Нокс. Я не говорю, что она была невинна. Но, конечно, она не знала того, что знаем мы: я говорю об искушениях, возникающих на пути человека так внезапно, что против них бессильны и добродетель и выдержка. От этих искушений она была спасена — и получила жестокий урок; и я утверждаю, что защитой ей служила неземная сила. Но вы, мужчины, не воображайте, что она и вас защитит, если вы, ссылаясь на Маргарет, вздумаете вести себя так, как вам хотелось бы, не опасайся вы погубить свою репутацию. Вами дух руководить не будет, потому что его ни в одном из вас нет и никогда нё было!

Гилби *(с иронической смирением)*. Покорно вас благодарю за хорошее мнение обо мне, миссис Нокс.

Миссис Нокс. О вас, мистер Гилби, я вот что скажу: вы лучше, чем мой муж. Он закоснелый язычник, вот кто такой мой Джо, да поможет мне бог! *(Начинает потихоньку всхлипывать.)*

Нокс. Не принимай все это так близко к сердцу, Эмили. Ты ведь знаешь, я всегда говорил, что ты права в вопросах религии. Но должен же был один из нас позаботиться и о других материях, иначе мы бы с голоду умерли — и мы и ребенок!

Миссис Нокс. Откуда тебе известно, что ты умер бы с голоду? И все другое могло быть дано тебе.

Гилби. Полноте, миссис Нокс, не называйте Нокса грешником. Мне лучше известно. Я уверен, что, случись с ним что-нибудь, вы первая пожалели бы.

Нокс *(с горечью, обращаясь к жене)*. У тебя всегда был зуб против меня. И в чем тут дело – никто, кроме тебя, понять не может.

Миссис Нокс. Мне нужен был человек, который обрел в себе счастье. Ты давал мне понять, будто оно у тебя есть. А все сводилось только к тому, что ты был влюблен в меня.

Миссис Гилби. И за это вы его осуждаете?

Миссис Нокс. Я никого не осуждаю. Но пусть он не воображает, будто может держаться на собственных ногах. Я говорю, что стоит ему отказаться от респектабельности, и он скатится на самое дно. У него нет внутренней силы, которая держала бы его. Так пусть же он цепляется за внешние силы.

Нокс *(вскакивая, сердито)*. Да кто говорит о том, чтобы отказаться от респектабельности? И все это из-за пинты виски, которой хватает на неделю! Интересно, на сколько бы ее хватило Симонсу?

Миссис Нокс *(ласково)*. Довольно об этом, Джо. Я не буду тебя пилить. *(Садится.)* Ты никогда не понимал и никогда не поймешь. Почти никто не понимает, – даже Маргарет не понимала, пока не побывала в тюрьме. А теперь поняла, и после долгих лет одиночества у меня, наконец, будет близкий человек в доме.

Нокс *(плачет)*. Я делал все, чтобы ты была счастлива! Я ни разу не сказал тебе грубого слова!

Гилби *(с негодованием встает)*. Какое право вы имеете так трётировать человека? Честного, безупречного мужа? Словно он не человек, а червяк какой-то.

Нокс. Оставьте ее в покое, Гилби.

Гилби, возмущенный, садится.

Миссис Нокс. Да, ты мне дал все, что мог дать, Джо, и не твоя вина, что это было не то, чего я хотела. Но лучше бы ты остался таким, как раньше, пока не пристрастился к виски с содовой.

Нокс. Не хочу я никакого виски с содовой. Если тебе угодно, могу дать обет трезвости!

Миссис Нокс. Нет, пиво ты будешь пить, потому что ты его любишь. А виски – это только для хвастовства. Мистер Гилби, если вы не хотите со мной поссориться, вы завтра встанете в семь часов утра.

Гилби *(вызывающе)*. Будь я проклят, если это сделаю!

Миссис Нокс *(с кротким состраданием)*. Откуда вам знать, мистер Гилби, что вы будете делать завтра утром?

Гилби. А почему бы мне не знать? Дети мы, что ли? Почему мы не можем делать то, что нам хочется, когда наши собственные сыновья и дочери выкидывают такие коленца? *(Обращаясь к Ноксу)*. Я никогда не вмешивался в отношения мужа и жены, Нокс, но если бы Мэри вздумала вот так командовать мной...

Миссис Гилби. Не греши, Роб! Не следует восставать против религии.

Гилби. Да кто восстает против религии?

Миссис Нокс. Неважно, восстаете вы против нее или нет, мистер Гилби. Если она против вас восстанет, вам придется вступить на предназначенный путь. Не стоит спорить из-за этого со мной – такой же великой грешницей, как вы.

Гилби. Ах, вот как! А кто вам сказал, что я грешник?

Миссис Гилби. Роб, ведь ты знаешь, что все мы грешники. Иначе что же такое религия?

Гилби. Я ничего не говорю против религии. Должно быть, мы все, как говорится, грешники, но я не люблю, когда мне об этом твердят, словно я бог знает что сделал.

Миссис Гилби. Миссис Нокс говорит для твоего же блага, Роб.

Гилби. Ну, а мне не нравится, когда так говорят для моего блага. Да и кому это понравится!

Миссис Нокс. Стоит ли обижаться, когда никто не хотел вас обидеть, мистер Гилби? Поговорим о чем-нибудь другом. От этих разговоров мало толку, если их ведут такие люди, как мы.

Нокс. Такие, как мы! Ты нам напоминаешь, что твои родные были оптовиками и, по их мнению, Нокс и Гилби недостаточно хороши для тебя?

Миссис Нокс. Нет, Джо, ты же знаешь, что я этого не думала! Чем мои родные были лучше твоих, как бы они там ни чванились? Но вот что я всегда замечала: мы невежественны. Мы, в сущности, не знаем, что хорошо, а что плохо. Мы очень хорошие люди, пока все идет ровно и гладко, как шло всегда. Детей мы воспитываем так же, как нас самих воспитывали: ходим в церковь, как ходили наши родители, и говорим то же, что все говорят; и все идет прекрасно, пока не случится что-нибудь из ряда вон выходящее: ссора в семье, кто-нибудь из детей сбился с пути, отец запил, тетка сошла с ума или один из

нас поймал себя на таком поступке, который всегда казался ему недопустимым. Ты сам знаешь, что тогда происходит: жалобы, ссоры, придирки, обиды, ругань, уныние и полное смятение, словно в нас бес вселяется. Вот тогда-то мы замечаем, что, несмотря на всю нашу респектабельность и благочестие, у нас нет подлинной веры и мы не умеем отличать добро от зла. У нас нет ничего, кроме наших привычек, а что нам делать, когда мы выбиты из колеи? Вспомните, как Петр в бурю пытался идти по водам и обнаружил, что не может.

Миссис Гилби *(благочестивым тоном)*. Вот-вот. Он-то обнаружил.

Гилби *(почтительно)*. Я никогда не отрицал, что вы очень умная женщина, миссис Нокс...

Миссис Нокс. Бросьте, Гилби! Уж если вы заговорили о моем уме... Дайте нам чаю, Мэри. Я свое сказала. И прошу прощения у всей компании — говорила я долго и скучно.

Миссис Гилби. Позвони, Роб.

Гилби звонит.

Постой! Джогинз подумает, что это мы ему звоним.

Гилби *(в ужасе)*. Поздно! Я уже позвонил.

Миссис Гилби. Роб, ступай вниз и извинись перед ним.

Нокс. Это тот самый, о котором вы говорили, что у него брат...

Входит Джогинз с чайным подносом. Все встают. Он несет поднос миссис Гилби.

Гилби. Я не хотел вас беспокоить, мистер Джогинз. Я не подумал и позвонил.

Миссис Гилби *(пытается взять у него поднос)*. Дайте мне, Джогинз.

Джогинз. Прошу вас сядьте, мадам. Разрешите мне исполнять свои обязанности, как всегда, сэр. Уверяю вас, это вполне прилично.

Все садятся, смущенные. Он ставит поднос на стол и уходит за пирожными.

Нокс *(понизив голос)*. Да верно ли это, Гилби? Ведь сыном герцога может быть кто угодно. Законный ли он сын?

Гилби. Ах боже мой, я об этом и не подумал!

Джогинз возвращается с пирожными. Его встречают подозрительными взглядами.

Гилби *(шепчет Ноксу)*. Спросите его.

Нокс *(Джогинзу)*. Послушайте, любезный: ваша мать была замужем за вашим отцом?

Джогинз. Полагаю, что так, сэр. Я не присутствовал при бракосочетании. Это случилось до моего рождения.

Гилби. Да, но видите ли... *(Мнется.)*

Джогинз. Что прикажете, сэр?

Нокс. Я знаю, как браться за дело, Гилби. Предоставьте это мне. *(Джогинзу.)* Ваша мать была герцогиней?

Джогинз. Да, сэр. Уверяю вас, все было как полагается, сэр. *(Обращаясь к миссис Гилби.)* Это молоко, мадам. А вот вода.

Она перепутала молочник и чайник. Все таращат на Джогинза глаза в полной растерянности.

Миссис Нокс. А что я вам говорила? Случилось нечто из ряда вон выходящее с лакеем, и никто из нас не знает, как держать себя.

Джогинз. Это очень просто, мадам. Я лакей, и ко мне нужно относиться как к лакею. *(Спокойно исполняет свои обязанности; миссис Нокс разливает чай, он передает чашки.)*

Снизу доносятся взрывы смеха.

Миссис Гилби. Что за шум? Разве мистер Бобби дома? Мне послышался его смех.

Миссис Нокс. А я слышала смех Маргарет.

Гилби. Ничуть не бывало. Это смеялась та женщина.

Джогинз. Разрешите объяснить, сэр. Простите такую вольность, но я принимаю гостей у себя в буфетной и угощаю их чаем.

Миссис Гилби. И вы принимаете у себя мистера Бобби?

Джогинз. Да, мадам.

Гилби. А кто еще с ним?

Джогинз. Мисс Нокс, сэр.

Гилби. Мисс Нокс? Вы уверены? И больше никого?

Джогинз. Только морской офицер, француз, сэр, и... э... мисс Дилейни. *(Ставит перед Гилби чашку чаю.)* Леди, которая заходила по делу мистера Бобби, сэр.

Нокс. Так вы говорите, что у них прием там, внизу, а у нас прием наверху, и мы ничего не подозреваем?

Джогинз. Да, сэр. И у меня немало хлопот по приему гостей мистера Бобби, сэр.

Гилби. Нечего сказать, веселенькое положение!

Нокс. Но какой в этом смысл? Для чего они это делают?
Джогинз. Должно быть, для того, чтобы повеселиться, сэр.
Миссис Гилби. Повеселиться! Слыханное ли это дело?
Гилби. Дочь Нокса принимают у меня в буфетной!
Нокс. Маргарет водит знакомство с французами и с лакеем... *(Вдруг сообразив, что этот самый лакей предлагает ему пирожное.)* Ведь она на знает о... о его светлости.
Миссис Гилби. Быть может, и не знает. Она знает, мистер Джогинз?
Джогинз. Другая леди подозревает меня, мадам. Они меня называют Рудольфом или Пропавшим Наследником.
Миссис Гилби. Это гораздо лучше, чем Джогинз. Пожалуй, я тоже буду вас так называть, если вы не возражаете.
Джогинз. Нисколько, мадам.

Взрывы смеха долетают снизу.

Гилби. Ступайте и скажите им, чтобы они перестали хохотать. Какое право они имеют поднимать такой шум?
Джогинз. Я просил их, сэр, не смеяться так громко, но джентльмен-француз все время их смешит.
Нокс. Вы хотите сказать, что мою дочь смешат шутки француза?
Гилби. Знаем мы эти французские шутки!
Джогинз. Уверяю вас, не знаете, сэр. Они начали смеяться, когда француз сказал, что у кошки коклюш...
Миссис Гилби *(смеясь от души)*. Вот выдумал!
Гилби. Не глупи, Мэри. Послушайте, Нокс, мы должны это прекратить. Такое поведение недопустимо!
Нокс. То же самое и я говорю.

К взрыву смеха присоединяются звуки концертино.

Миссис Гилби *(оживленно)*. Это сквиффер. Он купил ей в подарок!
Гилби. Что за скандальная...

Хохот еще громче.

Нокс. Я это прекращу. *(Выходит на площадку лестницы и кричит.)* Маргарет!

Сразу мертвая тишина.

Маргарет!
Голос Маргарет. Что, папа? Подняться нам всем к вам? С удовольствием.

Нокс. Идите сюда! Как вам не стыдно: ведете себя, как дикие индейцы!

Голос Доры *(визг)*. Ой-ой-ой! Перестань, Бобби Ох!

Разбежавшись, Дора стремительно влетает в комнату, запыхавшаяся и слегка смущенная при виде гостей.

Дора. Простите меня, миссис Гилби, что я так ворвалась но, когда я поднимаюсь по лестнице, а Бобби идет за мной, он уверяет, будто кошка кусает меня за лодыжки, и я не могу не визжать.

Бобби и Маргарет входят более робко, но, несомненно, в прекрасном настроении. Бобби становится рядом с отцом на коврике перед камином, потом садится в кресло.

Маргарет. Здравствуйте, миссис Гилби! *(Становится за стулом матери.)*

Входит Дювале, держит себя безупречно. Следом за ним Нокс.

Маргарет. Позвольте вас познакомить. Мой друг лейтенант Дювале. Миссис Гилби. Мистер Гилби.

Дювале кланяется и садится слева от мистера Нокса на стул, который пододвинул для него Джогинз.

Дора. Ну, Бобби, будьте паинькой, представьте и меня.
Бобби *(слегка нервничая, но стараясь не падать духом)*. Мисс Дилейни. Мистер и миссис Нокс.

Нокс встает, отвечает сдержанным поклоном и снова садится. Миссис Нокс степенно кланяется, зорко смотрит на Дору и беспристрастно оценивает ее.

Дора. Очень приятно познакомиться.

Джогинз ставит для нее детскую качалку справа от миссис Гилби, напротив миссис Нокс.

Благодарю вас. *(Садится и поворачивается к миссис Гилби.)* А Бобби все-таки подарил мне сквиффер. *(Обращаясь ко всей компании.)* Знаете, что они там выделывали внизу? *(Заливается неудержимым смехом.)* Ни за что не угадаете! Учили меня, как держать себя за столом! Лейтенант и Рудольф говорят, что я настоящая свинья. А ведь я понятия не имела, что мне чего-то не хватает.

Век живи, век учись! *(Обращаясь к Гилби.)* Верно, миленький?

Джоганз. Миленький... это неприлично, мисс Дилейни. *(Отходит к буфету у двери.)*

Дора. Ах, отстаньте! Должна же я как-нибудь называть человека! Он не сердится. Правда, Чарли?

Миссис Гилби. Его зовут не Чарли.

Дора. Простите. Я всех называю Чарли.

Джоганз. Напрасно.

Дора. Ну, на вас не угодишь. Хоть вовсе рта не раскрывай, а как бы вы об этом пожалели! Ах боже мой, что ж это я трещу, как сорока! Не сердитесь на меня, миссис Гилби.

Нокс. Я хотел бы знать, чем это кончится. Не мое дело, Гилби, вмешиваться в ваши отношения с сыном. Несомненно, он знает, чего хочет, и, быть может, уже сообщил вам о своих намерениях. Но у меня есть дочь, о которой я должен заботиться. И мой родительский долг заставляет меня поговорить о ней начистоту. Нет смысла играть в прятки! Я спрашиваю лейтенанта... по-французски я не говорю и фамилию не могу выговорить...

Маргарет. Мистер Дювале, папа.

Нокс. Я спрашиваю мистера Дувале, какие у него намерения.

Маргарет. Ах, папа, что ты говоришь?

Дювале. Боюсь, что мое знание английского языка ограниченно. Намерения?

Маргарет. Он хочет знать, намерены ли вы жениться на мне.

Миссис Гилби, Нокс, Дора (*вместе*). Как можно это говорить?! Молчать, мисс! Вот это напрямик!

Дювале. Но я уже женат. У меня две дочери.

Нокс *(встает в благородном негодовании)*. Вы волочились за моей дочерью, а теперь сидите здесь и преспокойно говорите мне, что вы женаты!

Маргарет. Папа, так не принято говорить.

Нокс мрачно садится.

Дювале. Простите... Волочился? Что это значит?

Маргарет. Это значит...

Нокс *(стремительно)*. Молчи, бесстыдница! Не смей объяснять, что это значит.

Дювале *(пожимая плечами)*. А что это значит, Рудольф?

Миссис Нокс. Если ей не подобает говорить, то не должен

говорить и мужчина. Мистер Дувалей, вы женаты, у вас есть дочери. Вы разрешили бы им разгуливать с посторонним человеком — а таковым вы являетесь для нас, — не убедившись сначала в том, намерен ли он вести себя благородно?

Дювале. Ах, мадам, мои дочери — француженки! Это совсем другое дело. Француженке неприлично идти куда-нибудь одной и разговаривать с мужчинами, как это делают англичанки и американки. Вот почему я так восхищаюсь англичанами. Вы так свободны, у вас нет предрассудков, ваши женщины так смелы и откровенны, склад ума у них такой... как бы это сказать? — здоровый. Я хочу, чтобы мои дочери получили воспитание в Англии. Только в Англии я мог встретить в театре «Варьете» прелестную молодую леди, вполне респектабельную, и танцевать с ней в публичном танцевальном зале. А где, кроме Англии, женщины умеют боксировать и выбивать зубы полисменам в знак протеста против несправедливости и насилия? *(Встает и продолжает с большим подъемом.)* Ваша дочь, мадам, великолепна! Ваша страна служит примером для всей Европы! Будь вы на месте француза, задушенного жеманством, лицемерием и семейной тиранией, вы поняли бы, как восхищается вами просвещенный француз, как завидует вашей свободе, широте взглядов и тому, что домашний очаг, можно сказать, не существует в Англии! Вы положили конец родительскому деспотизму! Семейный совет вам неведом! Здесь, на ваших островах, можно наслаждаться возвышающим душу зрелищем: мужчины ссорятся со своими братьями, бросают вызов своим отцам, отказываются разговаривать со своими матерями. Во Франции мы не мужчины: мы только сыновья, взрослые дети. Здесь мужчина — человек, он сам по себе ценен! О, миссис Нокс, если бы ваш военный гений был равен вашему моральному гению, если бы не Франция, а Англия завоевала Европу, открывая новую эру после революции, — о, каким просвещенным был бы теперь мир! Мы, к сожалению, умеем только сражаться. Франция непобедима. Мы навязываем всему миру наши узкие идеи, наши предрассудки, наши устаревшие учреждения, наш нестерпимый педантизм, — навязываем, пользуясь грубой силой — этим тупым военным героизмом, который показывает, как недалеко мы ушли от дикаря... нет — от зверя! Мы умеем нападать, как быки! Умеем наскакивать на наших врагов, как бой-

цовые петухи! Когда нас губит предательство, мы умеем драться до последнего вздоха, как крысы! И у нас хватает глупости гордиться этим! А чем, в сущности, гордиться? Разве быку доступен прогресс? Разве возможно цивилизовать бойцового петуха? Есть ли будущее у крысы? Даже сражаться разумно мы не умеем, битвы мы проигрываем потому, что у нас не хватает ума понять, когда мы разбиты. При Ватерлоо — знай мы, что нас разбили, — мы бы отступили, испробовали другой план и выиграли бы битву. Но нет! Мы были слишком упрямы и не хотели признать, что есть вещи, невозможные для француза. Мы были довольны, когда под нашими маршалами убивали по шесть коней и наши глупые старые служаки умирали сражаясь, вместо того чтобы сдаться, как подобает разумным существам. Вспомните вашего великого Веллингтона! Вспомните его вдохновенные слова, когда некая леди спросила его, случалось ли английским солдатам обращаться в бегство. «Все солдаты бегут, сударыня, — сказал он, — но это не беда, если есть резервы, на которые они могут опереться». Вспомните вашего прославленного Нелсона, всегда терпевшего поражения на суше, всегда побеждавшего на море, где его людям некуда было бежать. Вас не ослепляют и не сбивают с толку ложные идеалы патриотического восторга: ваши честные и разумные государственные деятели требуют для Англии соотношения морских сил два к одному, даже три к одному. Они откровенно признают, что разумнее сражаться трем против одного, тогда как мы, глупцы и хвастуны, кричим, что каждый француз — это армия и если один француз нападает на трех англичан, он совершает такую же подлость, как мужчина, который бьет женщину. Это безумие, вздор! На самом деле француз не сильнее немца, итальянца, даже англичанина. Сэр! Если бы все француженки были похожи на вашу дочь, если бы все французы обладали здравым смыслом, способностью видеть вещи, как они есть, спокойной рассудительностью, ясным умом, философской жилкой, предусмотрительностью и подлинной храбростью — качествами, столь свойственными вам, англичанам, что вы почти не замечаете их у себя, — французы были бы величайшей нацией в мире!

Маргарет. Да здравствует старая Англия! *(Горячо пожимает ему руку.)*

Бобби. Ура-а-а! Все мы с вами согласны!

Дювале, пылко пожав руку Маргарет, целует Джогинза в обе щеки и падает на стул, вытирая вспотевший лоб.

Гилби. Нет, такие разговоры выше моего понимания. Вы что-нибудь разобрали, Нокс?

Нокс. Суть сводится, по-видимому, к тому, что он не может законным образом жениться на моей дочери, хотя следовало бы, после того как он побывал с ней в тюрьме.

Дора. Я готова выйти замуж за Бобби, если это поможет делу.

Гилби. Ну нет. На это я не согласен.

Миссис Нокс. Ему следует жениться на ней, мистер Гилби.

Гилби. Ну, если к тому сводится ваша религия, Эмили Нокс, то я не желаю больше о ней слышать. Вы пригласите их в свой дом, если он на ней женится?

Миссис Нокс. Он должен на ней жениться, приглашу я их или нет.

Бобби. Я чувствую, что должен, миссис Нокс.

Гилби. Молчи! Не суйся не в свое дело.

Бобби *(вне себя)*. Если мне не позволят на ней жениться, я окончательно себя опозорю. Я пойду в солдаты.

Джогинз *(сурово)*. Это не позор, сэр.

Бобби. Для вас – может быть. Но ведь вы только лакей. А я джентльмен.

Миссис Гилби. Бобби, как ты смеешь так непочтительно разговаривать с мистером Рудольфом? Стыдись!

Джогинз *(подходя к столу)*. Считать службу своей родине позором – не джентльменская точка зрения. Жениться на леди, за которой вы ухаживаете, – джентльменский поступок.

Гилби *(в ужасе)*. Мой сын должен жениться на этой женщине и быть изгнанным из общества?!

Джогинз. Ваш сын и мисс Дилейни, по неумолимому приговору респектабельного общества, проведут остаток своих дней как раз в той компании, которая им, по-видимому, больше всего нравится и где они чувствуют себя как рыба в воде.

Нокс. А моя дочь? Кто женится на моей дочери?

Джогинз. Ваша дочь, сэр, вероятно, выйдет замуж за того, кого выберет себе в мужья. У нее очень решительный характер.

Нокс. Да, если он возьмет ее с ее характером и испорченной репутацией. Кто на это согласится? Вы – брат герцога. Ну, вот вы...

Бобби, Маргарет, Дювале, Дора (*вместе*). Что такое? Джогинз — герцог? Comment?[1] А что я вам говорила?

Нокс. Да, брат герцога. Вот он кто такой. *(Джогинзу.)* Ну вот вы, женились бы вы на ней?

Джогинз. Я, мистер Нокс, только что хотел предложить вам такое разрешение проблемы.

Миссис Гилби, Нокс, Миссис Нокс (*вместе*). Однако! Вы серьезно? Жениться на Маргарет!

Джогинз *(продолжает)*. Как младший сын, живущий в праздности, неспособный себя содержать или хотя бы оставаться в гвардии, состязаясь с внуками американских миллионеров, я не мог бы просить руки мисс Нокс. Но как трезвый, честный, старательный слуга, которым, смею надеяться, доволен его хозяин *(кланяется мистеру Гилби)*, я чувствую себя достойным. Решать должна мисс Нокс!

Маргарет. Однажды мне устроили ужасный скандал за то, что я восхищалась вами, Рудольф.

Джогинз. Мне самому устроили бы такой же скандал, мисс, если бы я не скрывал своего восхищения вами. Я с нетерпением ждал этих еженедельных обедов.

Миссис Нокс. Но почему вы, джентльмен, унизились до положения лакея?

Дора. Он унизил себя, чтобы победить.

Маргарет. Молчите, Дора, я хочу знать!

Джогинз. Я объясню, но поймет меня только миссис Нокс. Однажды я сгоряча оскорбил слугу. Он был человек верующий. Он упрекнул меня за то, что я заигрывал с девушкой из его круга. Я сказал ему, чтобы он помнил, кто он такой и с кем говорит. Он отвечал, что бог этого не забудет. Я немедленно его уволил.

Гилби. Так и следовало.

Нокс. Какое право он имел заговаривать с вами о таких вещах?

Миссис Гилби. До чего дошли наши слуги!

Миссис Нокс. И его слова сбылись?

Джогинз. Они ранили меня, как отравленная стрела. Рана болела много месяцев. Потом я сдался. Поступил в учение к нашему бывшему дворецкому, который открыл

[1] Что? (*франц.*)

отель. Он обучил меня моей теперешней профессии и нашел мне место лакея у мистера Гилби. Если я встречу когда-нибудь того человека, мне не стыдно будет смотреть ему в глаза.

Миссис Нокс. Маргарет, дело не в том, что он герцог, это суета сует. Но послушайся моего совета и выходи за него.

Маргарет *(берет его под руку)*. Я полюбила Джогинза, как только его увидела. Я инстинктивно почувствовала, что он служил в гвардии. Мистер Гилби, будете вы отпускать его со мной?

Нокс. Не будь вульгарной, дочка. Подумай о своем новом положении. *(Джогинзу.)* Полагаю, ваши намерения серьезны, мистер... мистер Рудольф?

Джогинз. С вашего разрешения, я намерен сегодня же начать ухаживать за моей невестой, если миссис Гилби может обойтись без меня.

Гилби *(в припадке зависти, обращаясь к Бобби)*. Долго придется ждать, пока ты женишься на сестре герцога! Эх ты, шалопай!

Дора. Не кипятитесь, миленький! Рудольф обучит меня аристократическим манерам. Вот это я называю счастливым концом! Верно, лейтенант?

Дювале. Во Франции это было бы немыслимо. Но здесь... Ах! *(Посылает воздушный поцелуй.)* La belle Angleterre![1]

---

[1] Прекрасная Англия! *(франц.)*

Перед занавесом. Четыре критика встают, усталые и со скучающим видом. Граф, ошеломленный и взволнованный, спешит к ним.

Граф. Джентльмены, не говорите мне ни слова. Умоляю вас, не высказывайте своего мнения. У меня не хватит сил выслушать его! Я не верил своим глазам. Неужели это пьеса? Неужели это имеет какое-то отношение к искусству? Доставляет удовольствие? Может принести какую-то пользу? Щадит человеческие чувства? Неужели есть на свете такие люди? Простите меня, джентльмены: это вопль раненого сердца! Есть тайные причины, объясняющие мое волнение. Эта пьеса насыщена темными, несправедливыми, недобрыми упреками и угрозами по адресу всех нас – родителей.

Тротер. Пустяки, вы это принимаете слишком близко к сердцу. В конце концов, в пьесе есть занимательные места. А все остальное отбросьте как дерзость.

Граф. Мистер Тротер, вам легко сохранять спокойствие. Ежегодно вы видите сотни таких пьес. Но у меня, который никогда не видал ничего похожего на эту пьесу, она вызывает страшную тревогу. Сэр, будь это одна из тех пьес, которые принято называть безнравственными, я бы нимало не возражал.

Воэн шокирован.

Любовь освещает какой угодно вымысел и оправдывает любую смелость.

Банел важно кивает головой.

Но есть умолчания, которые обязательны для всех. Есть правила благопристойности слишком тонкие, чтобы можно было выразить их словами, но без них человеческое общество было бы невыносимым. Нельзя разговаривать друг с другом, как разговаривают эти люди! Ни один сын не станет разговаривать со своим отцом... ни одна девушка не станет разговаривать с юношей... никто не станет срывать покровы... *(Обращаясь к Воэну, ко-*

торый стоит слева от него, вторым после Гона.) Ведь правда, сэр?

Воэн. Ну, не знаю.

Граф. Вы не знаете! Не чувствуете! *(Обращаясь к Гону.)* Сэр, я взываю к вам.

Гон *(с нарочитой вялостью)*. На меня эта пьеса произвела впечатление самой обыкновенной старомодной ибсеновской болтовни.

Граф *(поворачиваясь к Тротеру, который стоит справа, между ними и Банелом)*. Мистер Тротер, неужели и вы скажете, что не были поражены, потрясены, возмущены, оскорблены в лучших, благороднейших чувствах каждым словом этой пьесы, каждой интонацией, каждым намеком? И не дрожали всем телом в ожидании каждой следующей реплики?

Тротер. Конечно нет! Любая неглупая современная девушка могла бы писать такие пьесы.

Граф. В таком случае, сэр, завтра же я уезжаю в Венецию, уезжаю навсегда! Я не могу вам не верить. Я вижу: вы не удивлены, не встревожены, не озабочены. И мой ужас – да, джентльмены, ужас, подлинный ужас! – кажется вам непонятным, смешным, нелепым; даже вам, мистер Тротер, а ведь вы почти мой ровесник! Сэр, если бы молодежь заговорила со мной так, как она говорит в этой пьесе, я умер бы от стыда, я бы не вынес! Я должен уехать! Жизнь прошла мимо меня, и я остался за бортом. Примите извинения старого, несомненно смешного поклонника искусства – искусства минувших дней, когда еще была какая-то красота в мире и какая-то тонкая прелесть в семейной жизни. Но я обещал своей дочери узнать ваше мнение и должен сдержать слово. Джентльмены! Вы избранные и передовые умы нашего времени! Вы живете в двадцатом веке, ничему не удивляясь, и созерцаете странные его порождения без всякого страха. Вынесите свой приговор! Мистер Банел, как вам известно, в военном суде младший офицер должен высказать свое суждение первым, чтобы не подпасть под влияние старших. Вы здесь самый молодой. Каково ваше мнение о пьесе?

Банел. А кто автор?

Граф. Пока это секрет.

Банел. Как же я могу знать, что говорить о пьесе, если я не знаю, кто автор?

Граф. Но почему вы не можете?

Банел. Почему, почему! Допустим, вы должны написать рецензию на пьесу Пинеро и на пьесу Джонса. Неужели вы напишете о них одно и то же?

Граф. Думаю, что нет.

Банел. А как же писать, если не знаешь, какая из них Пинеро, а какая Джонса? И еще: какого рода эта пьеса? Вот что я хотел бы знать. Что это – комедия или трагедия? Фарс или мелодрама? Какая-нибудь чепуха для репертуарного театра или настоящая ходкая пьеса?

Гон. Разве вы не можете судить на основании того, что видели?

Банел. Видеть-то я видел, но откуда мне знать, как нужно к ней отнестись? Это серьезная пьеса или мистификация? Если автор знает, что это за пьеса, пусть он нам скажет. А если не знает, пусть не жалуется, что я тоже не знаю. Я-то не автор.

Граф. Но хорошая ли это пьеса, мистер Банел? Вопрос, кажется, простой.

Банел. Очень простой, когда вам известен автор. Если автор хороший – стало быть и пьеса хорошая. Это само собой разумеется. Кто автор? Ответьте мне, и я вам дам детальнейшую оценку пьесы.

Граф. К сожалению, я не имею права назвать имя автора. Он хочет, чтобы пьесу ценили только за ее достоинства.

Банел. Но какие могут быть у нее достоинства, кроме достоинств самого автора? Как вы думаете, Гон, кто это написал?

Гон. А вы как думаете? Мы видели дрянную старомодную семейную мелодраму, разыгранную обычными марионетками. Герой – лейтенант флота. Все мелодраматические герои – лейтенанты флота. Героиня, бросая вызов властям, попадает в беду (не попади она в беду, не было бы и драмы) и на протяжении всей пьесы из кожи вон лезет, чтобы добиться сочувствия публики. Ее добрая старая благочестивая мать нападает на жестокого отца, когда тот хочет выгнать ее из дому, и заявляет, что она тоже уйдет. Затем комические роли: лавочник, жена лавочника, лакей, оказывающийся переодетым герцогом, и молодой повеса, который дает автору возможность вывести молодую особу легкого поведения. Все это старо и не первой свежести, как жареная рыба, выставленная на прилавке в зимнее утро.

Граф. Но...

Гон *(перебивая его)*. Я знаю, что вы хотите сказать, граф. Вы

хотите сказать, что вам пьеса кажется и новой, и необычной, и оригинальной. Лейтенант флота – француз, который превозносит англичан и ругает французов: это старый избитый прием Шоу. Действующие лица – не герцоги и миллионеры, а мелкие буржуа. Героиня вывалялась в грязи – в самой настоящей грязи. Никакой интриги нет. Соблюдены все старые сценические правила, выведены старые марионетки, но нет былой изобретательности и веселья. И все это с легким душком интеллектуальной претенциозности, с целью внушить вам, что автор слишком умен, чтобы снизойти до банального, и только потому не написал хорошей пьесы. А вы, трое искушенных людей, смотрели пьесу от начала до конца и не можете мне сказать, кто ее написал! Да ведь под каждой строчкой стоит подпись автора!

Банел. Кто же он?

Гон. Конечно Гренвилл-Баркер. Старик Гилби взят прямо из «Мадрасского дома».

Банел. Бедный Баркер!

Воэн. Какая чепуха! Неужели вы не видите разницы в стиле?

Банел. Нет.

Воэн *(презрительно)*. А вам известно, что такое стиль?

Банел. Вероятно, костюм Тротера вы назовете стильным. Но если уж вы хотите знать – это не мой стиль.

Воэн. Для меня совершенно очевидно, кто написал эту пьесу. Начать с того, что она чрезвычайно неприятна. Стало быть, автор не Барри, несмотря на лакея, который списан с Великолепного Кричтона. Тот, если помните, был графом. Вы замечаете также оскорбительную манеру автора говорить глупейшие фразы, которые, если в них вдуматься, совершенно бессмысленны,– говорить только для того, чтобы дураки в театре хихикали. Далее, к чему это все сводится? К попытке разоблачить предполагаемое пуританское лицемерие английских мелких буржуа, таких же, в сущности, людей, как и сам автор. Ну, разумеется, выведена неизбежная фривольная особа: та же миссис Тэнкерей Айрис, и так далее. А если вы и теперь не угадали автора, то, значит, вы допустили ошибку при выборе своей профессии. Вот все, что я могу сказать.

Банел. Почему вы так нападаете на Пинеро? А что вы скажете о приеме, который отметил Гон? Длинный монолог француза? Мне кажется, это Шоу.

Гон. Вздор!

Воэн. Чепуха! Можете выбросить эту мысль из головы, Ба-

нел. Как ни плоха пьеса, в ней есть нотка страсти. Чувствуется, что, несмотря на все свое напускное легкомыслие, эта жалкая бездомная женщина по-настоящему любит Бобби и будет ему хорошей женой. А я не раз доказывал, что Шоу физиологически не способен на страсть.

Банел. Знаю. Интеллект — и никаких эмоций. Правильно! То же самое и я говорю. Если желаете знать мое мнение, у него гигантский мозг и нет сердца.

Гон. Ах, перестаньте, Банел! Эта грубая средневековая психология сердца и мозга — Шекспир сказал бы: печень и ум — годится для школьников. Довольно с нас Шопенгауэра из вторых рук! Даже такой отсталый, вышедший из игры старик, как Ибсен, и тот постыдился бы ее. Сердце и мозг — выдумают тоже!

Воэн. У вас нет ни того, ни другого, Гон. Вы декадент.

Гон. Декадент! Как я люблю это словечко эпохи раннего викторианства!

Воэн. Во всяком случае, вы не можете отрицать, что действующие лица в этой пьесе отличаются друг от друга. Вот доказательство, что автор не Шоу. Все герои Шоу — это он сам; марионетки, высокопарно цитирующие Шоу. Только актеры делают их как будто непохожими одна на другую.

Банел. Какие же тут могут быть сомнения? Это всем известно. Но Шоу пишет свои пьесы не так, как другие. У него одна цель — оскорбить всех и каждого и заставить нас говорить о нем.

Тротер *(устало)*. И сейчас мы, разумеется, говорим о нем. Ради бога, давайте переменим тему.

Воэн. Однако мои статьи о Шоу...

Гон. Ах, бросьте, Воэн! Довольно. Я вам всегда говорил, что Шоу...

Банел. Ну вот, вы опять начинаете — Шоу, Шоу, Шоу! Перестаньте. Если вы хотите знать мое мнение о Шоу...

Тротер, Воэн, Гон } *(кричат)*. Нет, благодарю вас, не хотим! Замолчите, Банел! Да перестаньте же!

Оглушенный граф, стоящий в центре группы, затыкает уши и прячется за спину Воэна.

Банел *(надувшись)*. Ну что же... превосходно. Простите, что заговорил.

Тротер
Воэн
Гон } (*дружно начинают*). Шоу...

Они умолкают, когда из-за занавеса выходит Фанни. Она чуть не плачет.

Фанни *(подходит к группе и становится между Тротером и Гоном)*. Я так огорчена, джентльмены! А пьеса пользовалась таким успехом, когда я читала ее в кембриджском Фабианском обществе!

Тротер. Мисс О'Дауда, я как раз хотел сообщить этим джентльменам то, о чем догадался еще до поднятия занавеса: автор пьесы – вы...

Общее изумление и смятение.

Фанни. А вы все находите ее ужасной! Вас она возмущает. Вы думаете, что я тщеславная идиотка и никогда не напишу ничего хорошего. *(Готова расплакаться.)*

Критиков захлестывает волна сочувствия.

Воэн. Нет, нет! Я вот только сейчас говорил, что автор пьесы несомненно Пинеро. Говорил я это, Гон?

Фанни *(очень польщенная)*. Неужели?

Тротер. Я считал, что Пинеро слишком популярен для кембриджского Фабианского общества.

Фанни. Да, конечно, но все-таки... О, неужели вы это сказали, мистер Воэн?

Гон. Я должен извиниться перед вами, мисс О'Дауда: я сказал, что автор – Баркер.

Фанни *(сияет)*. Гренвилл-Баркер! Нет, не может быть, чтобы все оценили ее так высоко!

Банел. А я назвал Бернарда Шоу.

Фанни. Ну конечно, там есть кое-что от Бернарда Шоу. Знаете – фабианский налет.

Банел *(поощрительным тоном)*. Очень милая пьеса, мисс О'Дауда. Заметьте: я не сравниваю ее с пьесами Шекспира – с «Гамлетом» или с «Леди из Лиона», но все-таки прекрасная вещица. *(Пожимает ей руку.)*

Гон *(следуя примеру Банела)*. Позвольте и мне поздравить вас, мисс О'Дауда. Прекрасно! Замечательно!

Рукопожатия.

Воэн *(с сентиментальной торжественностью)*. Будьте только верны себе, мисс О'Дауда. Оставайтесь серьезной! От-

кажитесь от глупых острот! Сохраняйте нотку страсти! И вы создадите великие вещи.

Фанни. Вы думаете, у меня есть будущее?

Тротер. У вас есть прошлое, мисс О'Дауда.

Фанни *(пугливо взглянув на отца)*. Тссс...

Граф. Прошлое? Что вы хотите сказать, мистер Тротер?

Тротер *(обращаясь к Фанни)*. Меня вы не обманете. Эта стычка с полицией списана с натуры. Вы суфражистка, мисс О'Дауда. Вы участвовали в той депутации.

Граф. Фанни, это правда?

Фанни. Правда. Я отсидела месяц с леди Констэнс Литон. И я этим горжусь так, как никогда ничем не гордилась и не буду гордиться.

Тротер. И по этой-то причине вы пичкаете меня гадкими пьесами?

Фанни. Да. Теперь вы будете знать, как себя чувствуешь, когда тебя кормят насильно.

Граф. Она никогда не вернется в Венецию. Так же было у меня на душе, когда рухнула Кампанилья.

Сэвоярд выходит из-за занавеса.

Сэвоярд *(графу)*. Не пойдете ли вы поздравить актеров? Они слегка растеряны, их ни разу не вызвали.

Граф. Да, да, конечно! Боюсь, что я сделал промах. Джентльмены, пожалуйте на сцену.

Занавес раздвигается. Декорация последнего акта. Актеры на сцене. Граф, Сэвоярд, критики и Фанни присоединяются к ним, пожимают руки и поздравляют.

Граф. Что бы мы ни думали о пьесе, джентльмены, но относительно исполнения двух мнений быть не может. Не сомневаюсь, что вы со мной согласны.

Критики. Правильно! Правильно! *(Начинают аплодировать.)*

АНДРОКЛ И ЛЕВ

Пьеса-притча

1912

ANDROCLES AND THE LION

Увертюра: шум леса, львиное рычание, чуть слышный гимн христиан.

Тропинка в густой чаще. В глубине раздается скорбный, унылый львиный рык; он приближается. Из-за деревьев, хромая, выходит лев, правая передняя лапа поджата, в ней торчит огромный шип. Лев садится и внимательно рассматривает лапу. Лижет ее. Трясет. Скребет ею по земле, пытаясь избавиться от занозы, но только усиливает боль. Жалобно скулит. Снова лижет лапу. Из глаз его катятся слезы. С трудом ковыляя на трех лапах, сходит с тропинки и, обессилев от боли, ложится под деревом. Испустив долгий вздох, словно воздух вышел из тромбона, засыпает.

На тропинке появляются Андрокл и его жена Мегера. Он невысокий, тощий, смешной человечек без возраста, ему можно дать и тридцать лет, и все пятьдесят пять. У него рыжеватые волосы, водянисто-голубые добрые глаза, нервные ноздри и внушительный лоб; но на этом и кончаются его привлекательные черты: его руки, ноги, да и все тело — в общем-то сильные — кажутся высохшими от истощения. Он тащит огромный тюк, очень плохо одет и выглядит усталым и голодным.

Его жена — изнеженная, пухлая неряха в расцвете лет, недурна собой. У нее нет никакой поклажи, только палка, на которую она опирается на ходу.

Мегера *(внезапно кидая палку на землю)*. Я не сделаю больше ни шагу.

Андрокл *(с усталой мольбой)*. О, не начинай все снова, моя ненаглядная. Какой смысл останавливаться каждые две мили и говорить, что ты больше не сделаешь и шагу? Нам нужно к ночи добраться до следующего селения. В этом лесу водятся дикие звери; говорят, даже львы есть.

Мегера. Сказки. Ты вечно пугаешь меня дикими зверями, чтобы заставить идти, когда я еле ноги волочу; а я и так чуть жива. Мы еще ни одного льва не видели.

Андрокл. А тебе хотелось бы его увидеть, моя ненаглядная?

Мегера *(срывая тюк у него со спины)*. Ах ты, скотина, тебе

плевать, что я устала, плевать, что со мной будет *(кидает тюк на землю)*: ты думаешь только о себе. Ты! Ты! Ты! Всегда только ты! *(Садится на тюк.)*

Андрокл *(с печальным видом опускается на землю и, опершись локтями на колени, обхватывает голову руками)*. Всем нам приходится порой думать о себе, моя ненаглядная.

Мегера. Мужчина должен иногда подумать и о жене.

Андрокл. Это не всегда от него зависит, моя ненаглядная. Ты-то не даешь мне забывать о тебе. Но я тебя не виню.

Мегера. Не виню! Еще бы ты стал меня винить! Моя это вина — что я вышла за тебя замуж?

Андрокл. Нет, ненаглядная, — моя.

Мегера. Хорошенькие вещи ты мне говоришь! Ты разве со мной не счастлив?

Андрокл. Я не жалуюсь, моя любовь.

Мегера. Постыдился бы!

Андрокл. Я и стыжусь, моя ненаглядная.

Мегера. Вовсе нет, ты гордишься.

Андрокл. Чем, любимая?

Мегера. Всем. Тем, что превратил меня в рабыню, а себя в посмешище. Разве это честно? Из-за твоих смиренных речей да повадок, словно ты и воды не замутишь, люди прозвали меня ведьмой. Только потому, что на вид я здоровая, крупная женщина, добродушная и немного вспыльчивая, а ты вечно доводишь меня до поступков, о которых я потом сама сожалею, люди говорят: «Бедняга, ну и собачья жизнь у него с этой женой!» Побыли бы они в моей шкуре! Думаешь, я не знаю? Прекрасно знаю. Знаю! Знаю! *(Визжит.)* Знаю!

Андрокл. Да, моя ненаглядная, я знаю, что ты знаешь.

Мегера. Так почему ты не относишься ко мне как положено, почему не хочешь быть хорошим мужем?

Андрокл. Что я могу поделать, моя ненаглядная?

Мегера. Что можешь поделать? Ты можешь вспомнить о своем долге, вернуться к домашнему очагу и друзьям, совершать жертвоприношения богам, как все добропорядочные люди, а не подвергать нас травле за то, что мы грязные богохульники, атеисты, о которых никто доброго слова не скажет.

Андрокл. Я не атеист, моя ненаглядная; я — христианин.

Мегера. Разве это не то же, только хуже в десять раз? Всем известно, что христиане — последние из последних.

Андрокл. В точности как мы, моя ненаглядная.

Мегера. Говори о себе. Как ты смеешь сравнивать меня со всяким сбродом? У моего отца был собственный трактир; будь проклят день, когда ты появился впервые у нашей стойки.

Андрокл. Не спорю, я был привержен, моя ненаглядная. Но я бросил пить, когда сделался христианином.

Мегера. Лучше бы оставался пьянчугой. Я могу простить человеку, что он привержен к спиртному, это вполне естественно; что греха таить, я и сама не прочь пропустить глоточек. Но я не могу перенести, что ты привержен к христианству. И хуже того – ко всякому зверью. Как можно держать дом в чистоте, если ты тащишь в него бродячих кошек и потерявших хозяев дворняг и вообще разных «убогоньких» со всей округи? Ты вырывал хлеб у меня изо рта, чтобы их накормить, сам знаешь, вырывал, и не пытайся спорить.

Андрокл. Только когда они были голодны, а тебя стало чересчур разносить, моя ненаглядная.

Мегера. Давай, оскорбляй меня, не стесняйся. *(Поднимаясь.)* Ох, я больше не вынесу. Ты сидел и часами разговаривал с этими бессловесными тварями, а для меня и словечка не находил.

Андрокл. Они никогда мне не отвечают, моя ненаглядная. *(Встает и снова взваливает тюк на спину.)*

Мегера. Что же, если звери тебе дороже, чем собственная жена, живи с ними тут, в лесу. С меня довольно. Я устала от них и от тебя. Я ухожу. Я возвращаюсь домой.

Андрокл *(преграждая ей путь)*. Не надо, моя ненаглядная, не расстраивайся ты так. Мы не можем вернуться. Мы все продали; мы умрем с голоду; меня отправят в Рим и кинут львам...

Мегера. Так тебе и надо! Желаю львам приятного аппетита! *(Визжит.)* Ты уйдешь с дороги или нет? Пустишь меня обратно домой?

Андрокл. Нет, моя ненаглядная...

Мегера. Тогда я пойду прямо через лес; и когда меня сожрут дикие звери, ты поймешь, какую жену ты потерял. *(Бросается в лес и чуть не падает, споткнувшись о спящего льва.)* Ой! Ой! Ой! Энди! Энди!

Мегера неверными шагами идет обратно и обрушивается в объятия Андрокла; тот под ее тяжестью падает на свой тюк.

Андрокл *(высвобождаясь из-под нее, в сильном волнении, похлопывая ее по рукам)*. Что с тобой, моя драгоценная, моя лапушка? Что случилось? *(Приподнимает ей голову.)*

Онемев от ужаса, она тычет пальцем в спящего льва. Андрокл осторожно крадется к тому месту, куда она указала. Мегера с усилием поднимается на ноги и, шатаясь, идет следом.

Мегера. Не надо, Энди: он тебя убьет. Вернись.

Лев заливисто храпит. Андрокл видит льва и, отпрянув, падает без чувств в объятия Мегеры. Мегера валится на тюк Андрокла. Они раскатываются в разные стороны и лежат, вытаращив друг на друга глаза. Слышно, как тяжко стонет в лесу лев.

Андрокл *(шепотом)*. Ты видела? Лев!

Мегера *(в отчаянии)*. Боги послали его нам в наказание за то, что ты христианин. Забери меня отсюда, Энди. Спаси меня.

Андрокл *(поднимаясь)*. Мегги, для тебя есть только один шанс спастись. Ему понадобится минут двадцать, а то и больше, чтобы меня съесть,— я ведь довольно жилистый и жесткий,— удирай, тебе этого времени за глаза хватит.

Мегера. Ох, не говори так.

Лев поднимается с громким стоном и, хромая, идет к ним.

Ах! *(Падает в обморок.)*

Андрокл *(дрожа всем телом, но заслоняя от льва Мегеру)*. Не подходи к моей жене, слышишь?

Лев стонет. Андрокл еле держится на ногах от страха.

Мегги, беги. Спасайся! Если я отведу от него глаза, нам конец.

Лев поднимает раненую лапу и жалобно машет ею перед носом Андрокла.

Ох, он хромой, бедняжка. У него в лапе колючка. Ужасная, огромная колючка. *(Полон сочувствия.)* Бедняжка! Нам забралась гадкая колючка в лапку-тяпку? Нам так плохо, что мы даже не можем проглотить на завтрак вкусного маленького христианина? Ну, сейчас добрый

христианин вытащит нам эту колючку, и мы сможем потом проглотить доброго маленького христианина и его вкусную большую, мягкую-премягкую женушку-помпонушку.

Лев отвечает жалобными стонами.

Да, да, да, да, да. Ну-ка, ну-ка. *(Берет лапу в руки.)* Мы не станем кусаться и царапаться не станем, даже если будет чуть-чуть-чуть больно. Ну-ка, сделай бархатные лапки. Умница. *(Осторожно тянет к себе занозу.)*

Лев, сердито взревев от боли, так резко вырывает лапу, что Андрокл падает на спину.

Спокойненько! Этот гадкий, злой маленький христианин сделал лапке бо-бо?

Лев стонет утвердительно и вместе с тем словно оправдываясь.

Ну, дернем еще один малюсенький разочек, и все будет позади. Малюсенький-крохотусенький, и станем потом жить-поживать да добро наживать. *(Снова дергает колючку.)*

Лев громко лязгает зубами.

Мы не будем пугать нашего доброго, хорошего доктора, нашу заботливую нянюшку. Ведь не больно было, ни капельки не больно. Еще разок. Покажем, что большой храбрый лев совсем не боится боли, не то что этот плакса-вакса, рева-корова христианин. Оп-ля! *(Выдергивает занозу.)*

Лев ревет от боли и размахивает во все стороны лапой.

Видишь? *(Показывает льву колючку.)* Там больше ничего нет. Теперь полижем лапку, чтобы не получилось гадкого воспаления. Погляди. *(Лижет себе руку.)*

Лев понятливо кивает головой и принимается усердно лизать лапу.

Умненький маленький левчик-ревчик. Мы поняли нашего доброго старого друга Энди-Рэнди.

Лев лижет его лицо.

Да, мы сделаем Энди-Рэнди чмок-чмок!

Лев, изо всех сил виляя хвостом, поднимается на задние лапы и обнимает Андрокла. С перекошенным от боли лицом тот кричит.

Бархатные лапки! Бархатные лапки!

Лев втягивает когти.

Умница.

Андрокл обнимает льва. Лев подхватывает хвост лапой и обнимает ею Андрокла за талию, Андрокл берет другую лапу льва, вытягивает вперед руку, и оба они в полном восторге принимаются вальсировать круг за кругом, пока не скрываются в лесу.

Мегера *(которая пришла в это время в себя)*. Ах ты трус, со мной ты уже много лет не танцуешь, и — нате вам! — отплясываешь с этой огромной дикой тварью, которую десять минут назад и в глаза не видал и которая хотела съесть твою собственную жену. Трус! Трус! Трус! *(Бросается следом за ним в гущу леса.)*

Вечер. Площадь у городских ворот Рима, где сходятся три дороги. Каждую из них у площади перекрывает триумфальная арка. Глядя сквозь арки, видишь, как дороги тремя длинными пыльными колеями прорезают римскую низину. По обеим сторонам площади — длинные каменные скамьи. На восточной стороне сидит старый нищий с миской для подаяния у ног. Из-под восточной арки, громко топая, выходит взвод римских солдат, сопровождающих партию пленников-христиан всех возрастов и обоего пола; среди них — Лавиния, красивая, решительная молодая женщина, судя по всему, занимавшая более высокое общественное положение, чем остальные пленники. Справа от солдат устало тащится командующий ими центурион с жезлом из виноградной лозы в руке. Все они изнурены и покрыты пылью, но солдаты угрюмы и безразличны, а христиане веселы и полны решимости смотреть на свои невзгоды как на потеху и поддерживать друг друга. Позади, с дороги, где идет вся остальная когорта, слышен звук рожка.

Центурион *(останавливаясь)*. Стой! Приказ капитана.

Все останавливаются и ждут.

Эй вы, христиане, чтобы никаких штучек! К нам идет капитан. Ведите себя как положено. Никаких песен. Постарайтесь иметь приличный вид! Серьезный вид, если вы на это способны. Видите вон то большое здание? Это Колизей. Там вас кинут на съедение львам или заставят сражаться с гладиаторами. Завтра же. Подумайте об этом, и вам будет легче вести себя как следует перед капитаном.

Появляется капитан.

Смирно! Отдать честь!

Солдаты приветствуют капитана.

Один из христиан *(радостно)*. Да благословит вас господь, капитан!

Центурион *(возмущенно)*. Молчать!

Капитан — патриций, красивый, аристократической внешности мужчина лет тридцати пяти, холодный, надменный и властный — поднимается на каменную скамью на западной стороне площади, за спиной у центуриона, чтобы всем было его хорошо видно и слышно.

Капитан. Центурион.

Центурион *(становясь по стойке «смирно» и отдавая ему честь)*. Сэр?

Капитан *(сдержанно, официально)*. Напомните своим подчиненным, центурион, что мы входим в Рим. Уведомьте их о том, что, войдя в ворота Рима, они оказываются в присутствии императора. Разъясните им, что слабая дисциплина, которая наблюдалась в походе, здесь недопустима. Проинструктируйте их, что бриться надо раз в день, а не раз в неделю. Особенно четко вы должны внедрить в их сознание, что необходимо положить конец этому богохульству и кощунству — распеванию на марше христианских гимнов. Я должен наложить на вас дисциплинарное взыскание за то, что вы не только разрешали им петь, но и сами пели с ними.

Центурион *(извиняющимся тоном)*. Люди быстрее шагают, капитан!

Капитан. Несомненно. Вот почему сделано исключение для гимна под названием «Вперед, Христово воинство!» Его петь можно,— только не на форуме и не возле императорского дворца,— но слова следует заменять другими: «Отдать их на съеденье львам».

Христиане, к возмущению и ужасу центуриона, разражаются неудержимым смехом.

Центурион. Молчать. Мол-л-лчать! Как вы себя ведете? Разве так положено слушать офицера? *(Капитану.)* Вот что нам приходится терпеть от этих христиан, сэр, каждый день. Без конца смеются и шутят, просто ужас! Никакого страха божия, вот в чем дело.

Лавиния. Но, по-моему, капитан и хотел нас посмешить, центурион. Это было так забавно.

Центурион. Вот будет вам забавно, когда вас бросят завтра львам. *(Капитану: у того недовольный вид.)* Простите, сэр. *(Христианам.)* Мол-л-л-л-лчать!

Капитан. Вы должны дать своим подчиненным указание, чтобы они прекратили всякое панибратство с христианами. Они привыкли во время похода зависеть от пленни-

ков, в особенности от пленниц, которые готовили им пищу, чинили обмундирование, писали письма и давали советы в личной жизни. Такая зависимость недопустима для римского солдата. Пока мы в городе, я не желаю этого видеть. Далее, я приказываю вам, чтобы, обращаясь к христианам, ваши подчиненные всем своим тоном и видом выражали гадливость и презрение к ним. Любое небрежение в этом плане будет рассматриваться как нарушение дисциплины. *(Оборачивается к пленникам.)* Пленники!

Центурион *(громовым голосом)*. Плен-н-ники! Смирно! Молчать!

Капитан. Я обращаю ваше внимание, пленники, на тот факт, что вас могут вызвать в императорский цирк в любое время, начиная с завтрашнего утра и далее, согласно требованию администрации. Могу сообщить вам также, что — поскольку сейчас наблюдается нехватка христиан — вам не придется долго ждать вызова.

Лавиния. Что с нами сделают, капитан?

Центурион. Молчать!

Капитан. Женщин препроводят на арену, где их встретят дикие звери из императорского зверинца, что приведет к соответствующим последствиям. Мужчины, способные по своему возрасту носить оружие, получат это оружие, чтобы сразиться, если они пожелают, с императорскими гладиаторами.

Лавиния. Капитан, есть ли надежда, что эта жестокая расправа...

Центурион *(шокирован)*. Молчать! Придержи язык. Расправа! Вот уж, действительно!..

Капитан *(равнодушно и несколько саркастически)*. «Расправа» — неподходящий термин, когда речь идет о действиях императора. Император — поборник веры. Бросая вас на растерзание львам, он защищает интересы религии Рима. Вот если бы вы бросили его на растерзание львам это, несомненно, была бы расправа.

Христиане снова от всей души хохочут.

Центурион *(в ужасе)*. Молчать! Кому говорят! Соблюдайте тишину, вы, там! Ну слыхано ли что-нибудь подобное!

Лавиния. Капитан, когда нас не станет, некому будет оценить ваши шутки.

Капитан *(непоколебимый, тем же официальным тоном)*.

Я обращаю внимание пленницы по имени Лавиния на тот факт, что, поскольку император – лицо богоравное, обвинять его в жестокости не только государственное преступление, но и святотатство. А также подчеркиваю то, что у нее нет никаких оснований выдвигать это обвинение, ибо император вовсе не хочет причинять страданий пленникам, и христиане сами наносят себе вред своим упрямством. Единственное, что от них требуется, – совершить жертвоприношение: простая и необременительная церемония, которая заключается в том, что пленник кидает на алтарь щепотку фимиама, после чего немедленно становится свободным. При таких условиях вам некого винить в своих страданиях, кроме собственного безрассудства и несговорчивости. Если вам трудно сжечь крупицу фимиама, ибо это противоречит вашим убеждениям, не вступайте хотя бы в противоречие с хорошим вкусом и не оскорбляйте религиозных убеждений своих сограждан. Я знаю, что вы, христиане, вряд ли принимаете в расчет подобные соображения, но мой долг – привлечь к ним ваше внимание, дабы у вас не было оснований жаловаться на плохое обращение или обвинять императора в жестокости, когда он выказывает вам редкое снисхождение. Если смотреть на это с такой точки зрения, каждый христианин, который гибнет на арене цирка, фактически кончает жизнь самоубийством.

Лавиния. Капитан, ваши шутки слишком мрачны. Не думайте, что нам легко умирать. Наша вера делает жизнь более удивительной и крепче привязывает нас к ней теперь, чем в те дни, когда мы блуждали во мраке и нам не для чего было жить. Смерть тяжелее для нас, чем для вас; агония мученика столь же жестока, сколь сладостно его торжество.

Капитан *(утеряв бесстрастие, обращается к ней взволнованно и серьезно)*. Мученик, Лавиния, это глупец. Ваша смерть ничего не докажет.

Лавиния. Тогда зачем меня убивать?

Капитан. Я хочу сказать, что истина, если она вообще существует, не нуждается в мучениках.

Лавиния. Да; но моя вера, как и ваш меч, нуждается в испытании. Вы можете испытать свой меч, не рискуя жизнью?

Капитан *(внезапно снова возвращаясь к официальному тону)*. Я обращаю внимание пленницы на тот факт, что христианам запрещено вовлекать офицеров императорской

армии в словопрения и задавать вопросы, на которые воинский устав не содержит ответов.

Пленники тихо смеются.

Лавиния. Капитан, как вы можете?

Капитан. Я особенно обращаю внимание пленницы на тот факт, что офицерами нашего полка ей были предложены на выбор четыре комфортабельных дома, любой из которых к ее услугам, стоит ей только совершить жертвоприношение, как это делают все благовоспитанные дамы Рима. Больше мне ей нечего сказать.

Центурион. Разойтись!.. Но оставаться на месте.

Капитан. Центурион, вы пробудете здесь со своими солдатами и поднадзорными до прибытия еще трех христиан, находящихся под охраной конвоя из десятого легиона. Проверьте: там должен быть оружейник по имени Ферровий, человек буйного нрава и большой физической силы, и портной – грек по имени Андрокл, колдун, как говорят. Добавите этих трех к своим поднадзорным и отведете всех в Колизей, где передадите их под охрану начальника гладиаторов, в чем и получите от него расписку, заверенную смотрителем зверинца, а также и. о. главного администратора. Вы поняли полученные инструкции?

Центурион. Да, сэр.

Капитан. Разойтись. *(Оставляет свой торжественный вид и спускается со скамьи.)*

На скамью садится центурион, намереваясь вздремнуть. Солдаты стоят по команде «вольно». Христиане, радуясь передышке, опускаются на землю. Одна Лавиния продолжает стоять и обращается к капитану.

Лавиния. Капитан, этот человек, который должен к нам присоединиться, и есть тот самый знаменитый Ферровий, который столь чудесно обращал в христианство на севере?

Капитан. Да. Нас предупредили, что он силен, как слон, и яростен, как бешеный бык. А также, что у него не все дома. Не очень-то образцовый христианин.

Лавиния. Если он христианин, вам нечего бояться его, капитан.

Капитан *(холодно)*. Я и так его не боюсь, Лавиния.

Лавиния *(в ее глазах пляшут чертики)*. Как это смело с вашей стороны, капитан.

Капитан. Вы правы, я сказал глупость. *(Понизив голос, настойчиво, с чувством.)* Лавиния, христиане умеют любить?

Лавиния *(невозмутимо)*. Да, капитан, они любят даже своих врагов.

Капитан. А это легко?

Лавиния. Очень легко, капитан, когда их враги так же красивы, как вы.

Капитан. Лавиния, вы насмехаетесь надо мной.

Лавиния. Над вами, капитан? Ну что вы!

Капитан. Значит, вы флиртуете со мной, что еще хуже. Будьте благоразумны!

Лавиния. Но такой красивый капитан!

Капитан. Неисправима. *(Настойчиво.)* Послушайте меня. Завтра в цирке соберутся гнуснейшие из сластолюбцев — люди, в которых прекрасная женщина вызывает лишь одно похотливое желание: видеть, как ее растерзают на части, слышать, как она кричит. Потворствовать этой их страсти — преступление. Все равно что отдать себя на поругание всему уличному сброду Рима и подонкам из императорского дворца. Неужели это лучше преданной любви и брачного союза с почтенным человеком?

Лавиния. Они не могут надругаться над моей душой. А я надругаюсь, если принесу жертву ложным богам.

Капитан. Так принесите ее истинному богу. Какое значение имеет имя?! Мы называем его Юпитер. Греки называют его Зевс. Назовите его как угодно, когда будете кидать на алтарь фимиам. Он вас поймет.

Лавиния. Нет, ничего не выйдет. Странно, капитан, что щепотка фимиама играет такую роль. Религия — это так огромно, что, когда я встречаю истинно религиозного человека, мы сразу становимся друзьями; неважно, каким именем мы называем ту божественную силу, которая нас создала и движет нами. О, неужели вы думаете, что я, женщина, стала бы спорить с вами из-за жертвоприношения богине Диане, если бы Диана значила для вас то же, что для меня Христос? Нет, мы бы преклонили колени рядом, как дети, перед ее алтарем. Но когда люди, которые так же не веруют в своих богов, как и в моего бога... люди, которые даже не понимают, что значит слово «религия»... когда эти люди силой тащат меня к подножию железной статуи, ставшей символом ужаса и мрака, в котором они блуждают, символом их жестокости и алчности, их ненависти к богу и угнетения людей... ког-

да они требуют, чтобы я поклялась перед всеми спасением души, что этот чудовищный идол — бог и что все их злодеяния и ложь — божественная правда, я не могу этого сделать, даже если мне грозит тысяча мучительных смертей. Поверьте мне, это физически невозможно. Послушайте, капитан, вы пробовали когда-нибудь взять в руки мышь? Некогда у нас в доме был прелестный мышонок, он играл у меня на столе, в то время как я читала. Мне хотелось погладить его, и иногда он забирался между книг и не смог бы убежать, если бы я протянула руку. И я не раз протягивала руку, но рука сама отдергивалась назад. В душе я не боялась мышонка, но рука отказывалась коснуться его, для руки это было противоестественно. Так вот, капитан, если бы я взяла щепотку фимиама и протянула руку к жертвенному огню, рука сама отдернулась бы прочь. Тело осталось бы верным моему богу, даже если бы вы растлили мне душу. Но все равно даже в Диану я веровала бы намного сильнее, чем мои гонители когда бы то ни было хоть во что-то. Вы можете это понять?

Капитан *(просто)*. Да, я понимаю. Но моя рука не отдернулась бы. Рука, держащая меч, приучена ничего не бояться. Она кладет меч в ножны только после победы.

Лавиния. Ничего не бояться? Даже смерти?

Капитан. Меньше всего смерти.

Лавиния. Значит, я тоже не должна бояться смерти. Женщина должна быть более храброй, чем солдат.

Капитан. Более гордой, вы хотите сказать.

Лавиния *(удивленно)*. Гордой! Вы называете наше мужество гордостью?

Капитан. Мужества не существует, есть только гордость. Вы, христиане, самые большие гордецы на свете.

Лавиния *(задетая)*. Тогда молю бога, чтобы моя гордость не превратилась в ложную гордость. *(Отворачивается, словно хочет прекратить разговор, но смягчается и говорит с улыбкой.)* Спасибо за то, что вы пытаетесь меня спасти.

Капитан. Я знал, что это бесполезно, но иногда делаешь попытку, хоть и знаешь, что она обречена.

Лавиния. Значит, что-то шевелится даже в железной груди римского солдата?

Капитан. Скоро я снова буду крепче железа. Я не раз видел, как умирают женщины, и забывал про них через неделю.

Лавиния. Помните обо мне две, красавчик капитан. Возможно, я буду глядеть на вас сверху.

Капитан. С неба? Не обманывайте себя, Лавиния. Вас ничто не ждет за могилой.

Лавиния. Какое это имеет значение? Неужели вы думаете, что я просто бегу от ужасов земной жизни на уютные небеса? Даже если бы меня ничто там не ждало или ждали вечные муки, я бы поступила точно так же. Надо мной десница божия.

Капитан. Что ж, в конечном счете, мы оба — патриции, Лавиния, и должны умереть за то, во что мы верим Прощайте.

Протягивает ей руку, Лавиния пожимает ее. Он удаляется, спокойный, подтянутый. Она следит за ним взглядом, пока он не исчезает под восточной аркой, и безмолвно плачет. С западной дороги доносится звук трубы.

Центурион *(просыпаясь и вставая со скамьи)*. Конвой десятого легиона с пленниками. Четверо за мной!

Направляется к западной арке, за ним четыре солдата по двое.

С западной стороны на площадь выходят Лентулий и Метеллий в сопровождении нескольких слуг. Оба они — молодые придворные, одетые по последнему слову моды. Лентулий — стройный, белокурый, женоподобный. Метеллий — крепкого сложения, мужественный, смуглый молчаливый.

Лентулий. Христиане, клянусь Юпитером. Давай их подразним.

Метеллий. Жуткие скоты. Если бы ты знал о них столько, сколько я, ты бы не захотел с ними связываться. Предоставь их львам.

Лентулий *(указывая на Лавинию, которая все еще смотрит под арку вслед капитану)*. А у этой недурственная фигурка. *(Проходит мимо нее, стараясь поймать ее взгляд, но Лавиния поглощена своими мыслями и не замечает его.)* Если тебя поцелуют в одну щеку, ты подставляешь другую?

Лавиния *(вздрагивает)*. Что?

Лентулий. Когда тебя поцелуют в одну щеку, ты подставляешь другую, прелестная христианка?

Лавиния. Не будьте дураком. *(Метеллию, стоящему справа от нее, так что она оказывается между ними.)* Пожа-

луйста, не позволяйте своему другу вести себя по-хамски на глазах у солдат. Как они могут уважать патрициев и подчиняться им, если те ведут себя, как уличные мальчишки? *(Резко Лентулию.)* Подтянитесь, юноша. Поднимите голову. Не распускайте губы. И обращайтесь ко мне уважительно. За кого вы меня принимаете?

Лентулий *(нерешительно)*. Послушайте... знаете... Я... вы... я...

Лавиния. Ерунда! Уходите-ка отсюда. Займитесь своими делами. *(Решительно отворачивается от него и садится рядом с товарищами, оставив его в смущении.)*

Метеллий. Не многого ты от нее добился. Говорил я тебе, что они — скоты.

Лентулий. Норовистая кобылка! Да плевать мне на нее, пусть не воображает.

С безразличным видом идет вместе с Метеллием к восточной части площади и останавливается там, глядя на возвращающегося через западную арку центуриона и его солдат, которые сопровождают трех пленников: Ферровия, Андрокла и Спинто. Ферровий — могучий, вспыльчивый человек в расцвете лет, с раздувающимися ноздрями крупного носа, лихорадочным взглядом выпуклых глаз и бычьей шеей, столь обидчивый и горячий, что это почти граничит с безумием. Спинто — распутник и пьяница, жалкая тень красивого в прошлом мужчины, опустившегося на дно. Андрокл, объятый горем, с трудом удерживается от слез.

Центурион *(Лавинии)*. Вот вам новые дружки. Этот крошка — Ферровий, о котором вы так много толкуете.

Ферровий с угрозой оборачивается к нему. Центурион предостерегающе поднимает указательный палец.

Помни, что ты христианин и должен воздавать за зло добром!

Ферровий сдерживается, хотя его всего передергивает судорогой, и уходит подальше от искушения на восточную сторону площади; неподалеку от Лентулия он стискивает руки в беззвучной молитве и падает на колени.

Вот как с ними надо управляться, а? Этот красавец *(указывает на Андрокла, который подходит к нему слева и с убитым видом приветствует Лавинию)* — колдун. Грек-портной. Настоящий колдун, будьте уверены. У де-

сятого легиона во главе колонны идет леопард, так этот грек взял его в любимцы и теперь распустил нюни из-за того, что их разлучили.

Андрокл жалобно шмыгает носом.

Не так ли, приятель? Подбодрись, во главе нашего легиона идет козел...

Лицо Андрокла проясняется.

...который убил двух леопардов и съел индюка. Можешь его взять в любимчики, если хочешь.

Андрокл, вполне утешенный в своем горе, проходит мимо центуриона к Лавинии и с довольным видом садится на землю слева от нее.

Эта грязная собака Спинто *(берет его за шиворот)* — настоящий христианин. Кто разоряет храмы? — Он! *(При каждом обвинении встряхивает Спинто.)* Кто пьяный в стельку все там крушит? — Он! Кто крадет золотые сосуды? — Он! Кто насилует жриц? — Он... Ф-фу! *(Швыряет Спинто в группу сидящих пленников.)* Глядя на таких, как ты, с удовольствием выполняешь свой долг.

Спинто *(еле переводя дух)*. Вот-вот, душите меня. Пинайте ногами. Бейте. Осыпайте бранью. Нашего спасителя тоже били и осыпали бранью. Это мой путь на небо Каждый мученик попадает на небеса, как бы он ни вел себя на земле. Ведь так, брат?

Центурион. Ну, если ты собрался на небеса, моей ноги там не будет. Не желаю, чтобы меня видели в твоем обществе.

Лентулий. Ха-ха! Неплохо. *(Указывая на коленопреклоненного Ферровия.)* Это тоже один из джентльменов «подставь-вторую-щеку», центурион?

Центурион. Да, сэр. И это ваше счастье, сэр, если вы собираетесь позволить себе с ним какие-нибудь вольности.

Лентулий *(Ферровию)*. Говорят, когда вас ударят по одной щеке, вы подставляете другую.

Ферровий *(медленно поднимая на него глаза)*. Да, по данной мне от бога благодати я теперь делаю так.

Лентулий. Не из трусости, разумеется, из чистого благочестия?

Ферровий. Я страшусь бога больше людей; по крайней мере, стараюсь.

Лентулий. Что ж, посмотрим. *(Бьет его по щеке.)*

Андрокл пытается вскочить и вмешаться, но Лавиния удерживает его на месте, не сводя глаз с Ферровия. Тот, не дрогнув, подставляет Лентулию вторую щеку. Лентулий в некотором замешательстве, он глупо хихикает и снова ударяет Ферровия, куда слабее.

А вот мне было бы стыдно, если бы я позволил себя ударить и проглотил оскорбление. Но ведь я не христианин, я мужчина.

Ферровий встает и нависает над ним, огромный, как башня. Лентулий бледнеет от страха, на какой-то миг щеки его принимают зеленоватый оттенок.

Ферровий *(со спокойствием парового молота)*. Я не всегда был так тверд в своей вере. Первый человек, который ударил меня, как это сделал сейчас ты, был крепче тебя, и ударил он меня сильнее, чем я ожидал. Я подвергся искушению и не устоял перед ним; вот тогда я впервые познал горький стыд. У меня не было ни одной счастливой минуты, пока я не вымолил у него прощения... на коленях перед его кроватью в больнице. *(По-отечески кладя руки на плечи Лентулия.)* Но теперь мне дарованы свыше силы противостоять искушению. Я больше не испытываю ни стыда, ни гнева.

Лентулий *(смущенно)*. Э-э... всего хорошего. *(Пытается уйти.)*

Ферровий *(сжимая его плечи)*. О, не ожесточай своего сердца, юноша. Не упрямься. Попробуй, не лучше ли поступать так, как мы. Я сейчас ударю тебя по одной щеке, а ты обратишь ко мне вторую. Вот увидишь, насколько у тебя будет легче на душе, чем если бы ты поддался гневу. *(Держит его одной рукой, другую поднимает для удара.)*

Лентулий. Центурион, я взываю к вам о помощи.

Центурион. Сами напросились, сэр. Это нас не касается. Вы его два раза смазали. Лучше дайте ему какую-нибудь мелочишку, уладьте дело миром.

Лентулий. Да. Конечно. *(Ферровию.)* Это была просто шутка, уверяю вас, я не хотел вас обидеть. Возьмите. *(Протягивает золотую монету.)*

Ферровий *(берет ее и бросает старику нищему, который хватает монету на лету и поскорее ковыляет прочь)*. Блажен, кто дает бедному от хлеба своего. Полно, друг, не трусь, возможно, я причиню минутную боль твоему

телу, но твоя душа возрадуется победе духа над плотью. (*Готовится нанести удар.*)

Андрокл. Полегче, Ферровий, полегче; тому, последнему, ты сломал челюсть.

Лентулий, стеная от ужаса, пытается спастись бегством, но Ферровий безжалостно держит его.

Ферровий. Верно, но я спас его душу. Что по сравнению с этим сломанная челюсть?

Лентулий. Не троньте меня, слышите? Закон...

Ферровий. Закон бросит меня завтра на съедение львам. Может он сделать мне хуже, даже если я убью тебя? Уповай на господа, и он тебе поможет.

Лентулий. Пустите меня. Ваша религия запрещает вам меня бить.

Ферровий. Напротив, она приказывает мне ударить тебя. Как ты сможешь подставить вторую щеку, если тебя не ударят сперва по первой?

Лентулий *(чуть не плача)*. Но вы меня уже убедили в своей правоте. Я прошу прощения за то, что я вас ударил.

Ферровий *(чрезвычайно довольный)*. Сынок, я смягчил твое сердце? Доброе семя упало на плодородную почву? Твои стопы обратились на праведный путь?

Лентулий *(униженно)*. Да, да. В том, что вы говорите, много разумного.

Ферровий *(сияя от радости)*. Вступи в наши ряды. Отдайся львам. Отдайся мукам и смерти.

Лентулий *(падая на колени и разражаясь слезами)*. Помогите! Мама! Мама!

Ферровий. Эти слезы увлажнят твою душу, сынок, и принесут благие плоды. Господь благословил мои старания, мне дано обращать людей. Рассказать тебе о чуде... да, о чуде... сотворенном мной в Каппадоккии? Юноша... такой же, как ты, с такими же золотыми кудрями... насмехался надо мной и ударил меня точно так же, как ты. Я просидел с этим юношей всю ночь, не смыкая глаз, сражался за его душу, и к утру он не только был христианином, но его волосы побелели как снег.

Лентулий падает в глубокий обморок.

Ай-яй-яй! Заберите его. Дух переборол его тело; бедный мальчик. Отнесите его осторожно домой и предоставьте остальное небу.

Центурион. Заберите его домой.

Слуги, напуганные, поспешно уносят Лентулия. Метеллий идет было за ними следом, но тут Ферровий кладет руку ему на плечо.

Ферровий. Ты его друг, юноша? Ты присмотришь, чтобы его доставили домой в целости и сохранности.

Метеллий *(преисполненный глубокого почтения)*. Конечно, сэр. Я сделаю все, что вы скажете, сэр. Счастлив был с вами познакомиться. Можете на меня положиться. Всего хорошего, сэр.

Ферровий *(с чувством)*. Да благословит господь вас обоих.

Метеллий идет следом за Лентулием. Центурион возвращается на скамью, чтобы продолжить прерванный сон. Все присутствующие объяты благоговейным страхом и удивлением. Ферровий с глубоким счастливым вздохом подходит к Лавинии и протягивает ей руку.

Лавиния *(пожимает ее)*. Вот как, значит, ты обращаешь людей, Ферровий?

Ферровий. Да. На моих трудах божье благословение, хотя я и не достоин того, ведь я не раз оступался из-за моего дурного, сатанинского нрава. Вот этот человек...

Андрокл *(поспешно)*. Не хлопай меня по спине, брат. Она знает, что ты обо мне говоришь.

Ферровий. Как бы я хотел быть слабым, как этот наш брат! Быть может, я был бы тогда таким же кротким и смиренным. И все же по соизволению божию мои испытания не столь тяжки, как его. Я слышу рассказы о том, что чернь насмехается над нашими братьями, осыпает их камнями и бранью, но когда появляюсь я, этому всему наступает конец: я успокаиваю страсти толпы; язычники слушают меня в молчании и нередко после задушевного разговора с глазу на глаз обращаются в истинную веру. С каждым днем я чувствую себя счастливей, увереннее в себе. С каждым днем легче становится тяжкий груз великого страха.

Лавиния. Великого страха? Что это?

Ферровий качает головой и не отвечает. Он садится на землю слева от Лавинии и в мрачном раздумье закрывает лицо руками.

Андрокл. Понимаешь, сестра, он себе не доверяет. А вдруг в последний момент на арене один из гладиаторов, го-

товых с ним сразиться, скажет что-нибудь ему не по вкусу, и он забудется и собьет его с ног?

Лавиния. Это было бы великолепно.

Ферровий *(в ужасе вскакивая)*. Что?

Андрокл. О, сестра...

Ферровий. Великолепно предать Спасителя, как это сделал Петр! Великолепно вести себя как последний негодяй в день испытания! Женщина, ты не христианка. *(Отходит от нее на середину площади, словно соседство с ней может его осквернить.)*

Лавиния *(смеясь)*. Да, Ферровий, я не всегда христианка. Я думаю, и остальные так. Бывают мгновения, когда я забываю, что я христианка, и тогда у меня сами собой вырываются такие вот слова.

Спинто. Не все ли равно, что сказать? Если умрешь на арене, ты будешь мучеником, а мученики попадают на небеса, как бы они ни вели себя на земле. Правда ведь, Ферровий?

Ферровий. Да, если мы до конца тверды в своей вере.

Лавиния. А я не очень в этом убеждена.

Спинто. Не говори так. Это богохульство. Не говори так, прошу тебя. Мы спасемся, как бы мы ни вели себя здесь.

Лавиния. Возможно, вы, мужчины, и вознесетесь на небеса на триумфальных колесницах, гордо подняв головы, под приветственные звуки золотых труб. Но мне разрешат протиснуться в щелочку райских врат, только если я как следует попрошу. Я не всегда хорошая, я хорошая лишь временами.

Спинто. Ты болтаешь глупости, женщина. Говорю тебе, мученичество все спишет.

Андрокл. Будем надеяться на это, брат, ради тебя. Ты ведь хорошо повеселился, когда разорял храмы? Боюсь, для человека с твоим темпераментом на небесах будет скучновато.

Спинто угрожающе ворчит.

Не сердись, я просто хочу тебя утешить, если ты умрешь вдруг сегодня ночью естественной смертью у себя в постели. В городе чума.

Спинто *(поднимается и, жалкий в своем страхе, начинает бегать по площади)*. Об этом я и не подумал. О боже, пощади меня, дай мне принять мученический венец! О, заронить такую мысль в голову своего брата! Дай мне принять муки сегодня, сейчас. А то я умру ночью и попа-

ду в ад. Ты колдун, ты заронил в мою душу смерть. Будь ты проклят! Будь ты проклят! *(Пытается схватить Андрокла за горло.)*

Ферровий *(беря его железной хваткой)*. Это что такое брат? Гнев? Насилие? Поднять руку на брата-христианина!

Спинто. Тебе легко. Ты сильный. Нервы у тебя в порядке А я весь пронизан заразой.

Ферровий инстинктивно отдергивает руку, на его лице отвращение.

Я пропил свои нервы. Теперь меня всю ночь будут мучить кошмары.

Андрокл *(сочувственно)*. Не расстраивайся так, брат. Все мы грешны.

Спинто *(хнычущим голосом, стараясь найти в его словах утешение)*. Да, если бы правда вышла на свет, верно, вы оказались бы не лучше меня.

Лавиния *(презрительно)*. Это тебя утешает?

Ферровий *(сурово)*. Молись, брат, молись.

Спинто. Что толку молиться? Если мы примем муки, мы попадем на небеса, не так ли? Неважно, молились мы или нет.

Ферровий. Это еще что?! Не хочешь молиться?! *(Снова хватая его.)* Сейчас же молись, собака, пес шелудивый, слизкая змея, грязный козел, или...

Спинто. На, бей меня, топчи меня. Я тебе прощаю, помни об этом.

Ферровий *(отталкивая его, с отвращением)*. Фу!

Спинто, покачнувшись, падает перед Ферровием.

Андрокл *(протягивая руку и дергая Ферровия за полу туники)*. Любезный брат, если тебе не трудно... ради меня.

Ферровий. Ну?

Андрокл. Не называй его именами животных. У нас на это нет права. У меня были такие друзья среди псов! Домашняя змея – лучшая компания. Я вскормлен козьим молоком. Разве справедливо по отношению к ним называть такого... псом, змеей или козлом?

Ферровий. Я имел в виду только то, что у них нет души.

Андрокл *(в сильном волнении, протестующе)*. О, поверь мне, есть. Как и у тебя, и у меня. Право, я, наверно, не согласился бы жить в раю, если бы знал, что там не бу-

дет животных. Подумай, как они страдают здесь, на земле.

Ферровий. Верно. Это справедливо. Они должны получить свою долю вечного блаженства.

Спинто поднялся с земли и теперь крадется слева от Ферровия; насмешливо фыркает.

(Гневно оборачивается к нему.) Что ты сказал?

Спинто *(съеживаясь от страха)*. Ничего.

Ферровий *(сжимая кулак)*. Животные попадут на небеса или нет?

Спинто. Я же не говорил, что не попадут.

Ферровий *(неумолимо)*. Да или нет?

Спинто. Да! Да! *(Пробравшись наконец мимо Ферровия.)* А, будь ты проклят! Так меня напугал!

Слышен звук рожка.

Центурион *(просыпаясь)*. Смирно! В колонну становись! Эй, пленные! Поднимайтесь, пора двигаться.

Солдаты строятся; христиане встают с земли. Через среднюю арку вбегает человек с воловьим стрекалом в руке.

Погонщик волов. Эй, солдат, дорогу императору!

Центурион. Императору! Где тут император? Может, это ты, а?

Погонщик волов. Я обслуживаю зверинец. Моя воловья упряжка везет в Колизей нового льва. Прочь с дороги!

Центурион. Что? Идти сзади вас в пыли, среди кучи зевак, которые сбегутся со всего города смотреть на льва? Держи карман шире. Мы пойдем первыми.

Погонщик волов. Обслуживающий персонал зверинца входит в свиту императора. Дорогу, говорю тебе.

Центурион. Ты говоришь? Мне? Ну, так я тебе тоже кое-что скажу. Если персонал, обслуживающий зверей, входит в императорскую свиту, то обед, насыщающий их, также входит в нее. Это *(указывая на христиан)* — обед твоего льва. Убирайся к своим волам подобру-поздорову и знай свое место. Шагом марш!

Солдаты трогаются.

Эй вы, христиане, не отставать.

Лавиния *(отбивая шаг)*. Ну-ка, обед, за мной. Я буду оливки и анчоусы.

Один из христиан *(смеясь)*. Я буду суп.

Другой. Я буду рыба.

Третий. Ферровий будет жареный кабан.

Ферровий *(тяжеловесно)*. Неплохая шутка. Да, да, я буду жареный кабан. Ха, ха! *(Старательно смеется и уходит вместе со всеми.)*

Андрокл *(следуя за ним)*. Я буду сладкий пирог.

Каждое заявление встречается все более громкими взрывами смеха остальных христиан, которым шутка пришлась по вкусу.

Центурион *(возмущенно)*. Молчать! Подумайте о своем положении. Разве мученикам пристало так себя вести? *(Обращаясь к Спинто, который, дрожа всем телом, плетется позади.)* Я знаю, чем будешь ты на этом обеде — рвотным. *(Грубо подталкивает его вперед.)*

Спинто. Это ужасно! Я не гожусь для смерти.

Центурион. Больше, чем для жизни, грязная свинья.

Они уходят с площади в западном направлении. Под центральной аркой появляется упряжка волов, тянущих повозку, на которой стоит огромная деревянная клетка со львом.

Место позади императорской ложи в Колизее, где собираются перед выходом участники представления. Посредине широкий проход на арену, идущий под императорской ложей. С обеих сторон от него к входу в ложу поднимаются лестницы, сходящиеся у площадки, образующей над проходом мост. В начале прохода, с двух сторон от него, бронзовые зеркала. На западной лестнице, справа от выходящих из ложи и стоящих на площадке, сидят мученики. Лавиния на средних ступеньках; она задумчива, старается подготовить себя к тому, чтобы достойно принять смерть. Слева от нее — Андрокл ласкает кошку, ища себе утешения. Феррovий стоит позади них, глаза его сверкают, тело напряжено; он полон решимости. У подножия лестницы, в ужасе от приближающихся мук, скорчился, обхватив голову руками, Спинто.

С другой стороны прохода спокойно стоят и сидят гладиаторы, дожидаясь, как и христиане, своего выхода на арену. Один из них (Ретиарий) почти обнажен. У него в руке сеть и трезубец. Другой (Секутор) — в кольчуге, в одной руке меч, в другой — шлем с опущенным забралом. Немного в стороне от них на стуле сидит эдитор. В проходе появляется мальчик, вызывающий актеров на сцену.

Мальчик. Шестой номер программы. Ретиарий против Секутора.

Гладиатор с сетью поднимает ее с пола. Гладиатор со шлемом надевает его на голову; оба идут на арену, первый — причесываясь на ходу щеткой, второй — затягивая потуже ремни шлема и расправляя плечи. Оба, перед тем как выйти, глядятся в зеркало.

Лавиния. Они действительно убьют друг друга?

Спинто. Да, если зрители опустят большие пальцы.

Эдитор. Ничего-то ты не знаешь. Велика важность — зрители. Неужто ты думаешь, чтобы угодить всякому сброду, мы дадим убить человека, который стоит не меньше пятидесяти талантов? Попробовал бы кто-нибудь из моих парней это сделать!

Спинто. Я думал...

Эдитор *(презрительно)*. Ты думал! Кому интересно, что ты думал? Ну, тебя-то убьют, не волнуйся.

Спинто стонет и снова закрывает лицо руками.

Лавиния. Значит, здесь никого не убивают, кроме нас, несчастных христиан.

Эдитор. Если весталки опустят большие пальцы, тогда другое дело. Весталки — высокопоставленные дамы.

Лавиния. А император не вмешивается?

Эдитор. Еще как! Мигом поднимет палец, если увидит, что весталки хотят загубить кого-нибудь из его любимцев.

Андрокл. А они не притворяются, что убивают друг друга? Почему бы не сделать вид, что ты умер, а когда тебя выволокут за ноги с арены, встать и пойти домой — как актер?

Эдитор. Послушай-ка, приятель, ты слишком много хочешь знать. С тебя хватит того, что новый лев притворяться не станет. Он голоден.

Спинто *(со стоном ужаса)*. О боже, перестаньте говорить об этом. Нам и без того тошно.

Андрокл. А я рад, что он голоден. Не потому, что желаю ему, бедняжке, мучиться от голода, просто он с бóльшим удовольствием меня съест. Нет худа без добра.

Эдитор *(вставая и направляясь большими шагами к Андроклу)*. Послушай, не упрямься. Пойдем со мной, брось щепотку фимиама на алтарь. Только брось — и ты свободен.

Андрокл. Не могу. Очень вам благодарен, но, поверьте мне, не могу.

Эдитор. Что?! Даже ради спасения жизни?

Андрокл. Предпочел бы этого не делать. Я не могу приносить жертву Диане: она охотница и убивает животных.

Эдитор. Неважно. Выбери любой алтарь. Принеси жертву Юпитеру. Он любит животных, он обращается в животное в неслужебные часы.

Андрокл. Вы очень любезны, но, право, я чувствую, что не могу спасти себе жизнь такой ценой.

Эдитор. Я не прошу тебя сделать это ради спасения жизни, сделай это в порядке личного одолжения.

Андрокл *(поднимаясь на несколько ступенек, в сильнейшем волнении)*. О, пожалуйста, не говорите так. Это ужасно. Вы желаете мне добра, а я вынужден отказать вам в вашей просьбе. Мне очень неприятно. Если бы вы могли

так устроить, что никто не увидит, как я приношу жертву, я бы согласился. Но я все равно должен выйти на арену вместе со всеми. Понимаете – дело чести.

Эдитор. Дело чести! Честь портного?

Андрокл *(извиняющимся тоном)*. Да, возможно, «честь» здесь – слишком сильное слово. И все же, знаете, я бы не хотел, чтобы из-за меня пострадала репутация портных.

Эдитор. Ты все это забудешь, когда лев обдаст тебя своим дыханием и ты увидишь его огромную пасть, готовую сомкнуться у тебя на шее.

Спинто *(поднимаясь с воплем ужаса)*. Я не вынесу этого. Где алтарь? Я совершу жертвоприношение!

Ферровий. Собака! Вероотступник! Искариот!

Спинто. Я потом покаюсь. Я всем сердцем хочу умереть на арене; я умру мучеником и вознесусь на небеса... В другой раз, не сейчас, когда у меня так расстроены нервы. К тому же я слишком молод, я хочу еще хоть разок порадоваться жизни.

Гладиаторы смеются над ним.

О, неужели никто не скажет мне, где здесь алтарь? *(Бросается к проходу и исчезает.)*

Андрокл *(эдитору, указывая на Спинто)*. Брат, я не могу так поступить, даже чтобы сделать вам одолжение. Не просите меня.

Эдитор. Что ж, если ты решил умереть, дело твое. Но меня бы такая свинья, как он, не сбила.

Ферровий. Изыди, сатана. Ты – соблазн.

Эдитор *(вспыхивая от гнева)*. Да я с удовольствием сам бы вышел сегодня на арену, чтобы тебя проучить. Как ты смеешь так со мной разговаривать?!

Ферровий кидается к нему.

Лавиния *(быстро встает между ними)*. Брат, брат, ты забылся.

Ферровий *(сдерживаясь огромным усилием воли)*. О, мой характер, мой дурной характер! *(Эдитору, в то время как Лавиния, успокоенная, опять садится.)* Прости меня, брат. Мое сердце исполнилось злобы. Мне следовало бы думать о твоей бесценной душе...

Эдитор. Да ну? *(С презрением поворачивается к Ферровию спиной и идет на свое место.)*

Ферровий *(продолжает)* ...а я про все забыл, я хотел предложить сразиться с тобой, привязав одну руку за спину.

Эдитор *(оборачиваясь с воинственным видом)*. Что?!

Ферровий *(раздираемый религиозным пылом и бешеной яростью)*. О, не уступай гордыне и гневу, брат. Для меня это было бы так легко. Так...

Их расталкивает в разные стороны главный смотритель зверинца, выбежавший из прохода вне себя от злости.

Смотритель зверинца. Хорошенькое дело! Кто выпустил отсюда этого христианина, когда мы переводили льва в клетку возле арены?

Эдитор. Никто его не выпускал. Он сам себя выпустил.

Смотритель зверинца. Ну, так лев его съел.

Все в ужасе. Христиане в волнении вскакивают со ступеней. Гладиаторы остаются безучастно сидеть; им смешно. Все говорят, плачут и смеются сразу. Общий шум и суматоха.

Лавиния. Ах, бедняга!

Ферровий. Вероотступник погиб. Хвала богу праведному!

Андрокл. Бедное животное умирало от голода. Оно не могло удержаться.

Христиане. Что? Съел его? Какой ужас! Он даже не успел покаяться! Будь милосерден к нему, грешному, господь! О, я не могу думать об этом! Погрязший во грехе! Ужасно! Ужасно!

Эдитор. Так ему, подлецу, и надо!

Гладиаторы. Сам напросился. Теперь он получил свои муки сполна. Ну и лев! Молодец! О, старому Джоку это не по вкусу, вы поглядите на его рожу. И черт с ним. Вот посмеется император, когда услышит... Ну и умора! Ха-ха-ха!!!!!

Смотритель зверинца. Теперь у льва на целую неделю испорчен аппетит, он даже смотреть на другого христианина не захочет.

Андрокл. А вы не могли спасти его, брат?

Смотритель зверинца. Спасти! Спасти от льва, который обезумел от голода! Дикого льва, которого привезли из леса всего месяц назад! Да он проглотил его — я и глазом моргнуть не успел.

Лавиния *(снова садясь)*. Бедный Спинто! Такая смерть даже за мученичество не сойдет!

Смотритель зверинца. Пусть пеняет на себя! Кто его просил лезть раньше времени в пасть моему льву?

Андрокл. Может быть, теперь лев не станет есть меня?

Смотритель зверинца. Вот вам типичный христианин: только о себе и думает. А что *мне* делать? Что мне сказать императору, когда на его глазах один из моих львов выйдет на арену полусонным?

Эдитор. Ничего не надо ему говорить. Дай льву слабительного и кусочек соленой рыбки, чтобы разжечь аппетит. *(Смех.)*

Смотритель зверинца. Да, тебе легко смеяться, а...

Эдитор *(вскакивая на ноги)*. Ш-ш-ш... Смирно! Император!

Смотритель зверинца стремительно бросается в проход. Гладиаторы браво вскакивают и строятся в одну шеренгу.

Император входит с той стороны, где сидят христиане; он беседует с Метеллием; за ним идет свита.

Гладиаторы. Здравствуй, кесарь! Идущие на смерть приветствуют тебя.

Кесарь. Доброе утро, друзья.

Метеллий пожимает руку эдитору, который принимает эту честь с грубовато-добродушным почтением.

Лавиния. Благословение, кесарь, и прощение.

Кесарь *(удивленно оборачивается, услышав это приветствие)*. Христианам нет прощения.

Лавиния. Ты меня неправильно понял, кесарь. Я имела в виду, что мы прощаем тебя.

Метеллий. Невероятная вольность! Ты разве не знаешь, женщина, что император всегда прав, а следовательно, не нуждается в прощении?

Лавиния. Я полагаю, император имеет на этот счет свое мнение. Во всяком случае, мы его прощаем.

Христиане. Аминь!

Кесарь. Видишь теперь, Метеллий, к чему приводит излишняя строгость? У этих людей не осталось надежды, поэтому ничто не мешает им говорить мне все что они хотят. Они дерзки, почти как гладиаторы. Который из них греческий колдун?

Андрокл *(смиренно дотрагиваясь до завитка волос на лбу)*. Я, ваша милость.

Кесарь. Ваша милость! Славно. Новый титул. Ну, какие же ты можешь творить чудеса?

Андрокл. Я умею выводить бородавки, потерев их моим

портновским мелком, и я могу жить со своей женой и не бить ее.

Кесарь. И только-то?

Андрокл. Ты не знаешь ее, кесарь, иначе ты бы так не говорил.

Кесарь. Ну что же, мой друг, мы поможем тебе от нее благополучно избавиться. Который из них Ферровий?

Ферровий. Я, кесарь.

Кесарь. Я слышал, ты славный боец.

Ферровий. Биться нетрудно, кесарь. Я и не то могу: я могу и умереть.

Кесарь. Это еще легче, не так ли?

Ферровий. Не для меня, кесарь. Моя плоть с трудом приемлет смерть, а дух с легкостью приемлет битву. *(Стеная, бьет себя в грудь.)* О, грешник, великий грешник! *(Падает на ступени в глубоком унынии.)*

Кесарь. Метеллий, я бы хотел видеть этого человека в гвардии преторианцев.

Метеллий. А я — нет, кесарь. Он из тех, кто портит всем настроение. Есть люди, в чьем присутствии не повеселишься: не люди, а ходячая совесть. Нам было бы при нем не по себе.

Кесарь. И по этой причине тоже неплохо было бы видеть его среди вас. Чем больше у императора совестливых, тем лучше. *(Ферровию.)* Послушай, Ферровий.

Ферровий трясет головой и упорно смотрит в землю.

Сегодня на арене силы будут равны. Ты и твои товарищи получите оружие, и на каждого христианина придется один гладиатор. Если ты останешься жив, я благосклонно отнесусь к любой твоей просьбе и предоставлю тебе место в гвардии преторианцев. Даже если ты попросишь не спрашивать тебя о вере, я, вполне вероятно, не откажу тебе.

Ферровий. Я не буду сражаться. Я умру. Лучше стоять в ряду архангелов, чем в строю преторианцев.

Кесарь. Не думаю, чтобы архангелы — кто бы они ни были — отказались пополнить свои ряды преторианцами. Однако как тебе будет угодно. Идем, посмотрим представление.

В то время как император со свитой поднимаются по ступеням, в проходе появляются Секутор и Ретиа-

рий, возвращающиеся с арены. Секутор покрыт пылью и очень сердит; Ретиарий ухмыляется.

Секутор. Ха! Император! Вот теперь увидим! Кесарь, скажи: честно со стороны Ретиария вместо того, чтобы, как положено, накинуть на меня сеть, возить ею по земле, пока я чуть не ослеп от пыли, а потом поймать меня? Если бы весталки не подняли пальцы, я был бы уже мертв.

Кесарь *(останавливаясь на ступенях)*. В правилах это не запрещено.

Секутор *(с негодованием)*. Кесарь, это грязный трюк. Разве не так?

Кесарь. Это пыльный трюк, дружок.

Подобострастный смех.

В следующий раз гляди в оба.

Секутор. Это он пусть глядит в оба. В следующий раз я кину меч ему под ноги и удушу его собственной его сетью прежде чем он вскочит. *(Ретиарию.)* Так и знай. *(Уходит, мрачный и разгневанный.)*

Кесарь *(посмеивающемуся Ретиарию)*. Эти трюки неумны, мой друг. Зрители любят видеть мертвеца во всем его блеске и великолепии. Если ты вымажешь ему лицо и перепортишь оружие, они выкажут свое неудовольствие тем, что не дадут тебе его убить. А когда настанет твой черед, они это тебе припомнят и опустят вниз большие пальцы.

Ретиарий. Может, потому я и сделал так, кесарь. Секутор поспорил со мной на десять сестерций, что победит меня. Если бы мне пришлось его убить, я бы потерял эти деньги.

Кесарь *(умиленно смеясь)*. Ах вы, плутишки, нет конца вашим проделкам. Я всех вас распущу и стану устраивать слоновьи бои. Слоны дерутся честно.

Поднимается к своей ложе и стучит в дверь. Дверь открывает капитан; он вытягивается во фронт, пропуская императора. В проходе появляется мальчик, вызывающий на арену участников представления, за ним — три униформиста; у первого в руках связка мечей у второго — несколько шлемов, у третьего — латы и другие детали доспехов; они кидают все это в общую кучу.

Мальчик. С вашего позволения, кесарь, одиннадцатый номер программы! Гладиаторы и христиане!

Ферровий вскакивает, готовый принять мученический венец. Остальные христиане реагируют каждый по-своему: одни — радостно и бесстрашно, другие — сдержанно и горделиво, третьи — беспомощно заливаясь слезами, четвертые — горячо обнимая друг друга.

Мальчик уходит.

Кесарь *(оборачиваясь у дверей ложи)*. Час настал, Ферровий. Пойду в ложу, посмотрю, как тебя убьют, раз ты пренебрег моими преторианцами. *(Входит в ложу.)*

Капитан закрывает изнутри дверь ложи. Метеллий и остальные члены свиты расходятся по своим местам. Христиане во главе с Ферровием идут к проходу.

Лавиния *(Ферровию)*. Прощай.

Эдитор. Спокойненько! Вы, христиане, должны сражаться. Ну-ка, вооружайтесь!

Ферровий *(поднимая с земли меч)*. Я умру с мечом в руке, чтобы показать людям, что я мог бы сражаться, будь на то воля божия; мог бы убить того, кто убьет меня, если бы захотел.

Эдитор. Надень доспехи.

Ферровий. Никаких доспехов.

Эдитор *(грубо)*. Делай что велят! Надень доспехи!

Ферровий *(сжимая меч, с угрозой)*. Я сказал — никаких доспехов.

Эдитор. А что отвечу я, когда меня спросят, почему я выставил голого человека против своих людей в доспехах?

Ферровий. Отвечай молитвой, брат, и не бойся земных властелинов.

Эдитор. Пф-ф! Упрямый осел! *(Кусает губы в нерешительности, не зная, как ему быть.)*

Андрокл *(Ферровию)*. Прощай, брат, встретимся когда-нибудь в райских кущах.

Эдитор *(Андроклу)*. Ты тоже идешь. Возьми там меч и надень доспехи, какие подойдут тебе по росту.

Андрокл. Право, не могу. Я не могу драться, никогда не мог, не могу заставить себя *так* ненавидеть. Меня надо кинуть на съедение львам вместе с этой леди.

Эдитор. Тогда не путайся под ногами и придержи язык.

Андрокл послушно отходит в сторону.

Ну, все готовы?

С арены доносится звук трубы.

Ферровий *(вздрогнув)*. Господь всемогущий, укрепи мои силы.

Эдитор. Ага, испугался?

Ферровий. Брат, для меня нет ужаснее звука. Когда я слышу зов трубы, или дробь барабана, или лязг стали, или свист каменного ядра, вылетающего из катапульты, по моим жилам пробегает огонь; я чувствую, как кровь горячей волной заливает мне глаза, я должен нападать, я должен бить, я должен побеждать; сам кесарь не будет в безопасности на своем императорском троне, если этот дух овладеет мною. О братья, молитесь! Увещевайте меня! Напомните мне, что стоит мне поднять меч, и я обесчещен, а наш Спаситель снова распят на кресте.

Андрокл. Ты думай о том, как больно ты можешь поранить бедных гладиаторов.

Ферровий. Когда убиваешь человека, ему не больно.

Лавиния. Тебя не спасет ничто, кроме веры.

Ферровий. Веры? Которой? Есть две веры. Наша вера и вера воина, вера в битву, вера, для которой бог в мече. Что если эта вера окажется сильней?

Лавиния. Ты найдешь свою истинную веру в час испытания.

Ферровий. Этого я и боюсь. Я знаю, что я воин. Как мне быть уверенным в том, что я христианин?

Андрокл. Брось меч, брат.

Ферровий. Не в силах. Он льнет к моей ладони. Мне было бы легче отторгнуть от себя женщину, которую я люблю. *(Вздрогнув.)* Кто произнес это кощунство? Неужели я?

Лавиния. Я не могу помочь тебе, друг. Не могу сказать, чтоб ты не сражался за свою жизнь. Помимо воли мне хочется видеть, как ты мечом проложишь себе путь на небеса.

Ферровий. Ха!

Андрокл. Но если ты собираешься отступиться от нашей веры, брат, почему бы не сделать этого, никому не причиняя боли? Не бейся с ними. Воскури фимиам.

Ферровий. Воскурить фимиам! Никогда!

Лавиния. В тебе говорит гордость, Ферровий. Только гордость.

Ферровий. Только гордость! Что благороднее гордости? *(Охваченный угрызениями совести.)* О, я погряз в грехе Я горжусь своей гордостью.

Лавиния. Говорят, мы, христиане,— самые большие гордецы; только слабые смиренны. О, я еще хуже! Мне следовало бы напутствовать тебя на смерть, а я искушаю тебя.

Андрокл. Брат, пусть они воюют во гневе, мы мужественно примем свои муки. Ты должен идти туда, как агнец на заклание.

Ферровий. Да, да, ты прав. Но не как ягненок под нож мясника, а как мясник, который подставляет горло *(глядит на эдитора)* глупому барану, которому он может свернуть шею одним движением.

Прежде чем эдитор успевает ему ответить, в проход вбегает мальчик. Из императорской ложи выходит капитан и спускается по ступеням.

Мальчик. А ну, побыстрей на арену. Зрители ждут.

Капитан. Император ждет. *(Эдитору.)* Ты что, заснул, приятель? Немедля отправь своих людей.

Эдитор. Слушаю, сэр. Это христиане волынят, они трусят.

Ферровий *(громовым голосом)*. Лгун!

Эдитор *(не обращая на него внимания)*. Шагом марш!

Гладиаторы, отобранные для сражения с христианами, маршируют по проходу к арене.

Эй вы, там, идите за ними.

Христиане, мужчины и женщины *(прощаются друг с другом)*. Будь стоек духом, брат. Прощай. Поддержи нашу веру, брат. Прощай. Да откроются перед тобой врата рая, любимый. Прощай. Помни, мы молимся за тебя. Прощай. Будь мужествен, брат. Прощай. Не забывай, Христова любовь и наша любовь с тобой. Прощай. Ничто не может причинить тебе зла, брат. Прощай. Да осенит тебя неземное блаженство, любимый. Прощай.

Эдитор *(вне себя от нетерпения)*. Подтолкните их к дверям.

Оставшиеся гладиаторы и мальчик пытаются приблизиться к христианам.

Ферровий *(становясь перед ними)*. Коснитесь их, собаки, и мы умрем здесь и лишим язычников зрелища, которого они ждут. *(Христианам.)* Братья, великий миг настал. Этот проход — ваш путь на Голгофу. Всходите на нее храбро, но кротко, и помните: ни слова упрека, ни одного удара, никакого сопротивления. Идите. *(Уходят по проходу. Он оборачивается к Лавинии.)* Прощай!

Лавиния. Ты забыл: я должна выйти, когда твое тело еще не охладеет.

Ферровий. Верно. Не завидуй мне, что я раньше тебя вкушу райское блаженство. *(Уходит по проходу.)*

Эдитор *(мальчику)*. Отвратительная у меня должность. Почему бы их всех не бросать на съедение львам? Это не занятие для мужчины. *(Угрюмо бросается в кресло.)*

Оставшиеся гладиаторы равнодушно возвращаются на свои места. Мальчик пожимает плечами и опускается на корточки у начала прохода, неподалеку от эдитора. Лавиния и остальные христиане, охваченные горем, снова садятся на ступени; одни беззвучно плачут, другие молятся, третьи спокойно ждут уготованной им участи. Андрокл присаживается у ног Лавинии. Капитан стоит на лестнице и с любопытством наблюдает за ней.

Андрокл. Я рад, что мне не надо биться. Это было бы для меня самой тяжкой мукой. Мне повезло.

Лавиния *(глядя на него с раскаянием)*. Андрокл, воскури фимиам, и тебя простят. Дай мне умереть за нас обоих. У меня такое чувство, будто это я убиваю тебя.

Андрокл. Не думай обо мне, сестра. Думай о себе. Это укрепит твое сердце.

Капитан саркастически смеется.

Лавиния *(вздрагивает; она совсем забыла о нем)*. Вы все еще здесь, красавчик капитан? Вы пришли посмотреть, как я умру?

Капитан *(подходя ближе)*. Я нахожусь, Лавиния, при исполнении служебных обязанностей.

Лавиния. И в число ваших служебных обязанностей входит смеяться над нами?

Капитан. Нет, Лавиния, это входит в число моих личных развлечений. Ваш друг — шутник. Я засмеялся потому, что он сказал: думай о себе, это укрепит твой дух. Я бы сказал: подумай о себе и воскури фимиам.

Лавиния. Он не шутник, он прав. Вам бы следовало это знать, капитан, вы встречались лицом к лицу со смертью.

Капитан. Не с неминуемой смертью, Лавиния. Только со смертью в битве, которая больше щадит людей, чем смерть в постели. А вас ждет неминуемая смерть. У вас не осталось ничего, кроме веры в это наваждение — христианство. Неужели ваши христианские сказки правдивее, чем наши сказки о Юпитере и Диане, в которые, при-

знаюсь, я верю не больше, чем император или любой другой образованный человек в Риме.

Лавиния. Капитан, все это теперь для меня — пустой звук. Не в том дело, что смерть ужасна, а в том, что она необычайно реальна, и когда она вплотную приближается к тебе, все остальное, все фантазии — сказки, как вы их называете, — кажутся сном рядом с этой единственной неумолимой реальностью. Теперь я знаю, что умираю не за сны или сказки. Вы слышали о том, что произошло, пока мы тут ожидали?

Капитан. Я слышал, что один из ваших парней пустился наутек и угодил прямо в пасть льва. Я очень смеялся. Мне и сейчас смешно.

Лавиния. Значит, вы не поняли, что означает этот ужасный случай?

Капитан. Он означает, что лев съел на завтрак трусливого пса.

Лавиния. Он означает больше, капитан. Он означает, что человек не может умереть за сказку или за сон. Никто из нас не верил так свято во все сказки и сны, как бедный Спинто, но он не мог посмотреть в лицо великой реальности. Пока я здесь сижу, смерть подходит все ближе и ближе. Моя вера — или то, что он так бы назвал, — иссякает с каждой минутой, реальность становится все более реальной, а сказки и сны тают и превращаются в ничто.

Капитан. Значит, вы умрете за «ничто».

Лавиния. Да, в этом — самое чудо. Теперь, когда все сказки и сны ушли, я уверена: я должна умереть за то, что гораздо больше всех снов и сказок.

Капитан. За что же?

Лавиния. Не знаю. Если бы это было настолько мало, что я знала бы, что это, оно было бы слишком мало, чтобы за него умереть. Думаю, я умру за бога. Только он для этого достаточно реален.

Капитан. Что такое бог, Лавиния?

Лавиния. Когда мы это узнаем, капитан, мы сами станем богами.

Капитан. Лавиния, спуститесь на землю. Воскурите фимиам и выйдите за меня замуж.

Лавиния. Красавчик капитан, а вы бы взяли меня в жены, если бы я подняла белый флаг в день битвы и воскурила фимиам? Говорят, сыновья похожи на матерей. Вы бы хотели, чтобы ваш сын был трусом?

Капитан *(очень взволнованно)*. Клянусь Дианой, я бы задушил вас своими руками, если бы вы сейчас отступили.

Лавиния *(опуская руку на голову Андрокла)*. Над всеми нами десница божия, капитан.

Капитан. Какая все это бессмыслица! И как чудовищно, что вы умрете за эту бессмыслицу, а я буду беспомощно смотреть на вашу смерть, когда все во мне вопиет против нее. Умирайте, если не можете иначе, а мне остается одно — перерезать глотку императору, а потом себе, когда я увижу вашу кровь.

Император сердито распахивает дверь ложи и появляется на пороге. Он в ярости. Эдитор, мальчик и гладиаторы вскакивают с места.

Император. Христиане не желают драться, а твои подлые псы не решаются первыми напасть на них. Это все из-за того мужлана с ужасными глазами. Пошлите за плетьми.

Мальчик опрометью кидается выполнять приказ императора.

Если их и плеть не расшевелит, принесите раскаленное железо. Этот человек стоит как гора.

Сердито уходит в ложу и со стуком захлопывает дверь. Возвращается мальчик; с ним человек в чудовищной этрусской маске с плетью в руке. Оба бегут по проходу к арене.

Лавиния *(поднимаясь)*. О, это низко! Неужели его не могут убить, не подвергая унижению?

Андрокл *(поспешно поднимаясь и выбегая на свободное пространство между двумя лестницами)*. Это ужасно. Теперь даже я готов биться. Я не могу видеть плеть. Один-единственный раз в жизни я ударил человека за то, что он хлестал плетью старую лошадь. Это было ужасно. Я повалил его и топтал ногами. Ферровия нельзя ударить; я пойду на арену и убью палача!

Бросается к проходу. В этот момент с арены доносятся громкие крики, затем неистовые рукоплескания. Гладиаторы прислушиваются и вопросительно смотрят друг на друга.

Эдитор. Что там еще стряслось?

Лавиния *(капитану)*. Что случилось, как вы думаете?

Капитан Что может случиться... Вероятно, их убивают.

Андрокл с криками ужаса вбегает по проходу обратно, закрыв глаза руками.

Лавиния. Андрокл! Андрокл! Что там?

Андрокл. О, не спрашивай, не спрашивай меня. Это так страшно! О!.. *(Скорчился возле нее и, рыдая, прячет лицо в складках ее плаща.)*

Мальчик *(снова влетая с арены по проходу)*. Веревки и крючья! Веревки и крючья!

Эдитор. Есть из-за чего волноваться!

Взрыв рукоплесканий.
По проходу к арене торопливо проходят два раба в этрусских масках с веревками и крючьями.

Один из рабов. Сколько убитых?

Мальчик. Шестеро.

Раб свистит два раза, и еще четверо рабов пробегают по арене с такими же приспособлениями.

И корзины. Принесите корзины.

Раб трижды свистит и выбегает по проходу следом за товарищами.

Капитан. Для кого корзины?

Мальчик. Для палача. Он разорван в клочья. Они все почти разорваны в клочья.

Лавиния закрывает лицо руками.
Входят еще два раба в масках с корзинами в руках и идут за первыми на арену; мальчик, измученный, оборачивается к гладиаторам.

Мальчик. Ребята, он их чуть не всех перебил!

Император *(снова выскакивая из ложи, на этот раз в бурном восторге)*. Где он? Великолепно! Он получит лавровый венок.

По проходу, бешено размахивая обагренным кровью мечом, бежит Ферровий. Он в отчаянии. За ним следуют остальные христиане и смотритель зверинца. Смотритель зверинца подходит к гладиаторам. Те встревоженно вытаскивают мечи.

Ферровий. Погиб. Погиб навеки. Предал Спасителя. Отрубите мне правую руку, она ввергла меня в пучину греха. У вас есть мечи, братья, поразите меня...

Лавиния. Нет, нет. Что ты совершил, Ферровий?

Ферровий. Я не знаю; кровь бросилась мне в голову, и кровь на моем мече. Что это значит?

Император *(на площадке перед ложей, восторженно)*. Что это значит? Это значит, что ты – самый великий человек Рима. Это значит, что на тебя возложат лавровый венок из золота. Непревзойденный воин, я почти готов уступить тебе трон. Ты побил все рекорды. Мое имя навсегда останется в истории. Однажды при Домициане некий галл убил на арене троих и получил свободу. Но чтобы один обнаженный человек убил шестерых вооруженных бойцов, да еще храбрейших из храбрых,– такого не бывало! Если христиане так умеют сражаться, я прекращу гонения на них. Я только христиан буду брать в свою армию. *(Гладиаторам.)* Приказываю всем вам стать христианами. Слышите?

Ретиарий. Нам все едино, кесарь. Был бы я там со своей сетью, другую бы он песенку запел.

Капитан *(внезапно хватает Лавинию за руку и тащит ее по ступеням к императору)*. Кесарь, эта женщина – сестра Ферровия. Если ее бросят на съедение львам, он расстроится. Он похудеет, потеряет форму...

Император. На съедение львам? Глупости! *(Лавинии.)* Мадам, я счастлив с вами познакомиться. Это для меня большая честь. Ваш брат – слава Рима.

Лавиния. А мои друзья? Они должны умереть?

Император. Умереть? Конечно нет. Никто не собирался причинить им ни малейшего вреда. Леди и джентльмены, вы свободны. Прошу вас, мадам, пройдите в зрительный зал, в первые ряды, и насладитесь зрелищем, в которое ваш брат внес такой великолепный вклад. Капитан, сделайте милость, проводите всех на места, резервированные для моих личных друзей.

Смотритель зверинца. Кесарь, мне нужен один христианин для льва. Народу обещали его. Они разнесут весь цирк, если мы обманем их ожидания.

Император. Верно, верно, нам нужен кто-нибудь для нового льва.

Ферровий. Киньте льву меня. Пусть богоотступник погибнет.

Император. Нет, нет, мой друг, ты разорвешь его на куски, а мы не можем себе позволить бросаться львами, словно это простые рабы. Но нам действительно кто-нибудь нужен. Получается крайне неловко.

Смотритель зверинца. Почему бы не взять этого маленького грека; он не христианин, он колдун.

Император. Как раз то, что надо. Он вполне подойдет.

Мальчик *(выбегая из прохода)*. Двенадцатый номер программы. Христианин для нового льва.

Андрокл *(поднимается, печально, но стараясь взять себя в руки)*. Что же, чему быть, того не миновать.

Лавиния. Я пойду вместо него, кесарь. Спросите капитана, он скажет вам, что публике больше по вкусу, когда лев рвет на куски женщину. Он мне вчера сам это сказал.

Император. В ваших словах что-то есть, безусловно, что-то есть... если бы только я был уверен, что ваш брат не расстроится.

Андрокл. Нет, у меня не будет тогда ни одной счастливой минуты. Клянусь верой христианина и честью портного, я принимаю выпавший мне жребий. Если появится моя жена, передайте ей от меня привет, пусть она будет счастлива со своим следующим мужем, беднягой. Кесарь, возвращайтесь в ложу и смотрите, как умирает портной. Дорогу двенадцатому номеру. *(Четко печатая шаг, уходит по проходу.)*

Зрители, сидящие в огромном амфитеатре, видят, что император снова входит в ложу и садится на место, в то время как из прохода на арену — отчаянно испуганный, но все еще с достойным жалости рвением, печатая шаг,— выходит Андрокл и оказывается в центре тысяч жадно устремленных на него глаз. Слева от него львиная клетка с тяжелой подъемной решеткой. Император подает сигнал. Звучит гонг. При этом звуке Андрокл вздрагивает всем телом, падает на колени и начинает молиться. Решетка с лязгом поднимается. Лев одним прыжком выскакивает на арену. Носится по ней кругами, радуясь свободе. Видит Андрокла. Останавливается; тело его поднимается на напряженных лапах; втягивает носом воздух, как пойнтер, держа горизонтально хвост, и издает леденящий душу рык. Андрокл приникает к земле и закрывает лицо руками. Лев весь подбирается для прыжка и, предвкушая удовольствие, восторженно бьет хвостом по пыльной земле. Андрокл вскидывает руки, взывая к небесам. Увидев лицо Андрокла, лев вдруг застывает. Затем медленно приближается к нему, нюхает, выгибает спину, урчит, как автомобиль, наконец, трется об Андрокла, опрокидывая его. Андрокл, приподнявшись на локтях, боязливо

смотрит на льва. Лев делает, хромая, несколько шагов на трех лапах, протянув вперед четвертую, точно она поранена. На лице Андрокла вспыхивает воспоминание. Он машет рукой, изображая, будто вытаскивает из нее занозу и ему больно. Лев несколько раз кивает головой. Андрокл протягивает льву руки, тот подает ему обе лапы, и Андрокл восторженно пожимает их. Они заключают друг друга в пылкие объятия и, наконец, принимаются вальсировать под аккомпанемент оглушительных рукоплесканий; делают несколько кругов по арене, затем по проходу и исчезают. Император изумленно глядит на них затаив дыхание, затем выбегает из ложи и в сильнейшем волнении спускается по лестнице.

Император. Друзья, произошло невероятное, удивительное событие. Я больше не сомневаюсь в истинности христианства.

Христиане радостно окружают его.

Этот христианский колдун...

С воплем бросается бежать при виде Андрокла и льва, которые, вальсируя, приближаются к нему по проходу. Несется во всю прыть по лестнице и, вскочив в ложу, захлопывает дверь. Христиане и гладиаторы дружно спасаются бегством: гладиаторы мчатся на арену, христиане разбегаются по всем направлениям. Все исчезают со сказочной быстротой.

Андрокл *(наивно)*. Интересно, почему они все от нас убежали?

Лев попеременно зевает, мурлычет и рычит, что вместе отдаленно напоминает смех.

Император *(стоя на стуле внутри ложи и глядя через перегородку)*. Колдун, приказываю тебе немедленно умертвить этого льва. Он виновен в государственной измене. Твое поведение весьма небла...

Лев бросается вверх по ступеням.

На помощь! *(Исчезает.)*

Лев становится на задние лапы, заглядывает за перегородку и рычит. Император стрелой вылетает из дверей и несется к Андроклу; лев — по пятам за ним.

Андрокл. Не надо убегать, сэр, он не сможет удержаться и прыгнет, если вы будете бежать. *(Хватает императора и заслоняет его собой от льва; тот немедленно останавливается.)* Не бойтесь его.

Император. Я его не боюсь.

Лев приседает на задние лапы и рычит.

(Вцепляется в Андрокла.) Стой между нами.

Андрокл. Никогда не бойтесь животных, ваша милость, в том-то и секрет. Он будет кротким, как ягненок, когда поймет, что вы ему друг. Стойте спокойно и улыбайтесь, пусть он вас как следует обнюхает, это его успокоит. Понимаете, он сам вас боится и должен как следует вас осмотреть, прежде чем довериться вам. *(Льву.)* Полно, Томми, разговаривай с императором вежливо, с нашим великим, добрым императором, который прикажет отрубить нам головы, если мы не станем вести себя очень-преочень уважительно.

Лев издает ужасающий рык. Император бросается, как безумный, вверх по лестнице, пересекает площадку и бежит вниз с другой стороны; лев преследует его. Андрокл кидается вслед за львом, настигает его, когда тот спускается по ступеням, и, прыгнув ему на спину, старается затормозить его бег, волоча по земле ноги. Однако лев успевает схватить зубами развевающийся конец императорской мантии.

Андрокл. Фу, нехороший, гадкий Томми! Гоняться за императором! Отпустите мантию, сэр, немедленно; как вы себя ведете?!

Лев рычит и дергает мантию.

Не тащите к себе мантию, ваша милость. Он просто играет. Я на тебя правда рассержусь, Томми, если ты не отпустишь.

Лев снова рычит.

Я скажу вам, в чем дело, ваша милость: он думает, что мы с вами не в дружбе.

Император *(пытаясь расстегнуть брошь)*. Не в дружбе! Проклятый негодяй!

Лев рычит.

Не пускай его. Черт подери эту брошь! Никак не отцепить.

Андрокл. Нельзя, чтобы он довел себя до бешенства, мы не можем этого допустить. Надо показать ему, что вы мой близкий друг... если вы снизойдете до этого. *(Хватает руку императора и горячо пожимает ее.)* Погляди, Томми, славный император – самый лучший друг, который есть у Энди-Рэнди на всем белом свете; он любит его как брата.

Император. Ах ты, мерзкая скотина, грязный пес в портновском обличье, я велю сжечь тебя живьем за то, что ты осмелился коснуться священной особы императора!

Лев рычит.

Андрокл. О, не надо так говорить, сэр. Он понимает каждое ваше слово; все животные понимают... по тону.

Лев рычит и бьет хвостом.

Я думаю, он собирается прыгнуть на вашу милость. Может быть, вы все же попробуете сказать мне что-нибудь ласковое.

Лев рычит.

Император *(как безумный, пожимая руку Андрокла)*. Мой дражайший мистер Андрокл, мой любезнейший друг, мой вновь обретенный брат! Приди в мои объятия! *(Обнимает Андрокла.)* О, что за чудовищный запах чеснока!

Лев отпускает мантию и валится на спину, кокетливо сцепив передние лапы над мордой.

Андрокл. Ну вот, видите, ваша милость, теперь с ним даже малый ребенок может поиграть. Поглядите! *(Почесывает льву живот. Лев в восторге катается по земле.)* Подойдите, погладьте его.

Император. Я должен превозмочь этот недостойный кесаря страх. Только не отходи от него. *(Похлопывает льва по груди.)*

Андрокл. О, сэр, мало кто отважился бы на это.

Император. Да, это требует некоторого мужества. Давай позовем придворных, попугаем их. На него можно положиться, как ты думаешь?

Андрокл. Теперь вполне, сэр.

Император *(величественно)*. Эй вы, там!.. Все, кто меня слышит, возвращайтесь без страха. Кесарь приручил льва.

Все убежавшие осторожно крадутся обратно. Смотритель зверинца появляется в проходе вместе со служителями, вооруженными железными палками и трезубцами.

Император. Уберите это прочь. Я укротил зверя. *(Ставит ногу на льва.)*

Ферровий *(робко подходя к императору и с благоговейным страхом глядя на льва)*. Как странно, что я, кому не страшен ни один человек, страшусь льва.

Капитан. Каждый человек чего-нибудь страшится, Ферровий.

Император. А как теперь насчет преторианской гвардии?

Ферровий. В юности я поклонялся Марсу, богу войны. Я отвернулся от него, чтобы служить христианскому богу, но сегодня христианский бог покинул меня; Марс оказался сильнее и вернул себе то, что ему причиталось. Время христианского бога еще не пришло. Оно придет, когда и Марс, и я превратимся в прах. Я же должен служить тем богам, которые есть, а не тому, который будет. Я согласен вступить в преторианскую гвардию, кесарь.

Император. Умные слова приятно слышать. Все рассудительные люди согласны в том, что равно неразумно быть слепо приверженным старому и очертя голову кидаться на новое; надо использовать наивыгоднейшим образом заветы и того и другого.

Капитан. А что вы, Лавиния, скажете на это? Вы будете благоразумны?

Лавиния *(на лестнице)*. Нет, я буду бороться за приход бога, которого еще нет.

Капитан. Вы разрешите мне время от времени вас навещать и вести с вами споры?

Лавиния. Да, красавчик капитан.

Он целует ей руку.

Император. Друзья мои, хотя я, как вы видите, и не боюсь этого льва, его присутствие держит нас в напряжении, ведь никто не может с уверенностью сказать, что ему вздумается сделать в следующую минуту.

Смотритель зверинца. Кесарь, отдайте колдуна-грека нам в зверинец. У него есть подход к диким зверям.

Андрокл *(в расстроенных чувствах)*. Только если они не в клетках. Их нельзя держать в клетках. Их надо всех выпустить на волю.

Император. Я отдаю этого человека в рабы первому, кто дотронется до него.

Смотритель зверинца и гладиаторы кидаются к Андроклу. Лев вскакивает и смотрит на них. Они отбегают назад.

Император. Ты видишь, Андрокл, как мы, римляне, великодушны. Мы отпускаем тебя с миром.

Андрокл. Благодарю, ваша милость. Благодарю вас всех, леди и джентльмены. Томми, Томми. Пока мы вместе, тебе не грозит клетка, а мне – рабство.

Уходит вместе со львом, все пятятся от них в стороны, оставляя широкий проход.

В этой пьесе я показал один из случаев преследования ранних христиан не как конфликт между истинной теологической доктриной и ложной, а как пример того, чем по своей сути являются такие преследования: попыткой пресечь пропаганду учения, угрожающего установленному «законному» порядку вещей, операцией, подготовленной и проверенной во имя бога и справедливости политиканами, которые являются типичными соглашателями-собственниками. Все те, в ком горит свет, кто своим внутренним взором провидит в будущем лучший мир, чей дух стремится к более возвышенной и полной жизни для всех, а не для себя за счет других, естественно, внушают страх, а потому и ненависть соглашателям-собственникам, у которых всегда есть наготове против них два верных оружия. Первое — это остракизм, травля, гонения, порожденные тем стадным инстинктом, который заставляет людей с отвращением и ненавистью смотреть на любой отход от общепринятых норм и путем самым жестоких наказаний и самой дикой клеветы принуждать всех, кто отклоняется с проторенного пути, не только вести себя так же, как все остальные, но и во всеуслышание заявлять об этом; надо лишь спровоцировать толпу на эти гонения, организовать ее и вооружить. Второе — повести стадо на войну. Захлестнутые волной собственной воинственности, слепые и глухие ко всему, кроме собственного страха, они немедленно и неминуемо забывают обо всем, даже о завоеванных тяжким трудом и столь дорогих для них гражданских свободах, даже о своих личных интересах.

Нет никаких оснований полагать, что в гонениях на христиан в Риме было заложено нечто большее. Римский император и личный состав его приближенных смотрели на вероотступников почти так же, как министр внутренних дел современной нам Великобритании смотрит на выходцев из мелкой буржуазии, которых какой-нибудь благочестивый полисмен обвиняет в приверженности к Дурному Тону, обозначаемому у нас термином «богохульство». Дурной Тон в данном случае является нарушением Хорошего Тона, другими словами, фарисейства. Министр внутренних дел и судьи, ведущие процесс, обычно куда больше скептики и богохулы, чем бедняги, сидящие на скамье подсудимых, и тот напускной ужас, с которым они слушают собственные мысли, откровенно высказанные вслух, мерзок всем, кто знает им истинную цену и кто сохранил хоть

искру настоящего религиозного чувства. Однако правящие классы одобряют и санкционируют такие процессы,— разумеется, если закон против богохульства не затрагивает их самих,— поскольку это позволяет им выдавать свои привилегии за непреложные заповеди религии.

Поэтому мои мученики — это мученики всех времен, мои гонители — это гонители всех времен. Мой император, который неспособен понять, что жизнь обыкновенных людей имеет свою ценность, и развлекается, столь же бездумно милуя, сколь и убивая,— чудовище, но мы можем превратить в такое чудовище любого не слишком глупого и не слишком умного джентльмена, если сделаем из него кумира. Мы до сих пор так легко поддаемся обману и поклоняемся кумирам, что один из столпов нонконформистской церкви в Лондоне осудил эту пьесу на том основании, что император, подвергающий христиан гонениям, славный малый, а гонимые им христиане смешны. Из чего я делаю вывод, что кафедра популярного проповедника может быть не менее губительна для души человека, нежели императорский трон.

Все мои христиане (не статисты), как заметит читатель, черпают свой религиозный экстаз из различных источников и считают его единой религией лишь потому, что их объединяет общий протест против официальной религии и, следовательно, ждет общая судьба. Андрокл — натуралист-гуманист, взгляды которого равно удивляют всех остальных. Лавиния, умная и бесстрашная вольнодумка, шокирует последователя святого Павла Феррovия, человека сравнительно недалекого и терзаемого муками совести. Спинто, распутник и пьяница, являет собой типичного христианина того периода, если верить святому Августину, который, по-видимому, на каком-то из этапов своего жизненного пути пришел к заключению, что большинство христиан, как мы теперь говорим, «темные личности». Без сомнения, он в какой-то степени прав: я уже неоднократно указывал, что всякое революционное движение привлекает к себе не только тех, кто слишком хорош для общепринятых установлений, но и тех, кто для них недостаточно хорош.

Однако сейчас самой интересной чертой пьесы является злободневность, привнесенная настоящей войной. У нас был мир, когда, избрав в глашатаи Ферровия, я указал дорогу честным людям, которые, услышав зов трубы, обнаруживают, что они не могут идти по стопам Христа. За много лет до того в «Ученике дьявола» я затронул эту тему еще более определенно и показал священника, который навсегда сбросил с себя черную рясу, когда увидел на поле брани, что он прирожденный во-

итель. За последнее время многие англиканские священнослужители оказались в положении Феррови и Энтони Андерсона. Они обнаружили, что ненавидят не только наших врагов, но и всех тех, кто не разделяет их ненависти, что им хочется сражаться самим и заставлять сражаться других. Они превратили церкви в приемные пункты для новобранцев, а ризницы — в мастерские по изготовлению боеприпасов. Но им и в голову не приходит снять черные рясы и честно сказать: «Я постиг в час испытания, что нагорная проповедь — ерунда и что я не христианин. Я прошу прощения за ту непатриотическую ересь, которую я проповедовал все эти годы. Будьте добры, дайте мне револьвер и назначение в полк, где капеллан должен быть служителем бога Марса, моего бога». Ничуть не бывало. Они прилипли к своим приходам и служат Марсу во имя Христа на позор всему религиозному человечеству. Когда архиепископ Йорка поступил как джентльмен и ректор Итона произнес истинно христианскую проповедь, а подонки осыпали их бранью, эти служители Марса подстрекали подонков. Они не привели тому хоть каких-либо объяснений или оправданий. Они просто дали волю своим страстям, точно так же, как они всегда давали волю своим классовым предрассудкам и блюли свои коммерческие интересы, ни на минуту не задумываясь, по-христиански это или нет. Они не протестовали даже тогда, когда общество, называющее себя «Антигерманская Лига» (очевидно, не заметив, что его уже опередили Британская империя, Французская республика и королевства Италии, Японии и Сербии), добилось закрытия церкви на Форест-Хилл, где богу молились на немецком языке. Можно было бы предположить, что это нелепое надругательство над нормами приличия, принятыми среди всех верующих, вызовет протест даже у наименее богобоязненных из членов епископата. Но нет: по-видимому, епископам казалось столь же естественным разгромить церковь, раз бог допустил, чтобы в ней говорили по-немецки, как ограбить булочную, на вывеске которой значится немецкое имя. Фактически их приговор был таков: «Так богу и надо, раз он создал немцев». Это было бы невозможно, если бы рядом с церковью, столь могущественной, как англиканская, в стране существовал хоть проблеск католицизма, противостоящего «племенной» религии. Но, так как этого нет, случай такой произошел, и, насколько мне известно, единственные, кто пришел в ужас,— это атеисты.

Итак, мы видим, что даже среди людей, для которых религия является профессией, большинство столь же ревностно поклоняется Марсу, как и их прихожане. Обыкновенный священнослужитель — это чиновник, который зарабатывает себе на

хлеб тем, что крестит младенцев, сочетает узами брака взрослых, совершает богослужение и делает то, что в его силах (если ему велит это его совесть), руководя, как заведено, воскресной школой, посещая больных и бедных и организуя благотворительные мероприятия в приходе, для чего вовсе не обязательно быть христианином, разве что на словах. Истинно религиозный священник, являющийся исключением из общего правила, может быть последователем святого Павла, «душеспасителем»-евангелистом: в этом случае образованные из его прихожан относятся к нему с неприязнью и говорят, что ему следовало бы перейти к методистам. Он может быть художником, выражающим религиозное чувство без посредства интеллектуальных дефиниций через музыку, поэзию, церковное облачение и архитектуру и вызывающим религиозный экстаз при помощи таких «физических» средств, как посты и всенощные бденья; в этом случае его отвергают как «ритуалиста». Он может быть унитарием-деистом, как Вольтер или Том Пейн, или более современной разновидностью англиканского теософа, для которого святой дух — это бергсоновский «жизненный порыв», а святой отец и святой сын — выражение того факта, что мы — многосторонни, а наши функции множественны, что все мы — сыновья и реальные или потенциальные отцы в одном и том же лице; в этом случае более правоверные последователи «душеспасительства»-евангелизма полагают, что он ничем не лучше атеиста. Все эти индивидуумы вызывают определенную, не всегда доброжелательную, реакцию. Они могут пользоваться большой популярностью у своей паствы, но обыкновенный средний англичанин смотрит на них как на чудаков, заслуживающих только насмешки. Церковь, как и общество, органом которого она является, держится в равновесии и устойчивости огромной массой филистеров, для которых теология как доктрина — нечто далекое и смутное, хотя и достойное самой высокой похвалы, и, вне сомнения, представляющее собой большую ценность, наравне с греческой трагедией, или классической музыкой, или высшей математикой; все они очень рады, когда церковная служба оканчивается и можно идти домой к ленчу или обеду, ибо у них нет никаких собственных религиозных убеждений — да в практической жизни они и не нужны, — и они равно готовы закидать камнями бедного атеиста за то, что он не считает святого Иакова безгрешным, и отправить в тюрьму любого из членов секты «Особенных» за то, что он смотрит на святого Иакова чересчур серьезно.

Короче говоря, христианского мученика бросали на съедение львам не потому, что он был христианин, а потому, что он

был чудак, другими словами, не такой, как все. И толпы людей, не менее цивилизованных и симпатичных, чем мы, собирались, чтобы посмотреть, как лев его съест, точно так же, как мы толпимся в зоопарке перед клетками львов во время кормежки. Не потому, что им было дело до Дианы или Христа и они могли бы мало-мальски разумно и правильно объяснить, в чем их разногласия, а просто потому, что хотели быть свидетелями любопытного и волнующего зрелища. Возможно, мой уважаемый читатель, вы сами бегали смотреть на пожар, и, если бы сейчас к вам домой зашли и сказали, что на вашей улице лев гоняется за человеком, вы бы тут же кинулись к окну. И если бы кто-нибудь заметил, что вы так же жестоки, как те, кто выпустил на человека льва, вы бы воспылали справедливым негодованием. Теперь, когда нам не показывают больше, как вешают людей, мы собираемся у ворот тюрьмы, чтобы увидеть, как поднимут черный флаг. Таков наш более скучный вариант развлечений в добром старом римском духе. И если правительство решит бросать на съедение львам всех тех, кто придерживается непопулярных и эксцентрических взглядов, избрав для этого Альберт-холл или Эрлскорт, можете не сомневаться, что там не будет ни одного свободного места. Но вряд ли кто из зрителей сможет хотя бы в общих чертах объяснить, в чем заключаются взгляды тех, кто отдан на съедение. И не такое уже бывало! Спору нет, если произойдет подобное возрождение старых обычаев, мучеников станут набирать не в еретических религиозных сектах: это будут противники вивисекции, сторонники взгляда, что земля плоская, скептики, подсмеивающиеся над науками, или неверные, отказывающиеся преклонять колени перед процессией врачей. Но зубы львов будут так же остры, как у тех римских львов, и зрители будут так же наслаждаться зрелищем, как римские зрители.

Не так давно в берлинских газетах писали, что во время первого представления «Андрокла» в Берлине кронпринц поднялся и ушел из театра, не в силах выслушать (так я надеюсь) то четкое и беспристрастное описание самодержавного империализма, которое римский капитан давал своим пленникам-христианам. Ни один английский империалист здесь, в Лондоне, не оказался достаточно умен и честен, чтобы сделать то же. Если сообщение газет соответствует истине, я подтверждаю логический вывод кронпринца и радуюсь, что меня так хорошо поняли. Но я могу заверить его, что, когда я писал «Андрокла», империя, служившая мне образцом, была, как он теперь убеждается на горьком опыте, куда ближе ко мне, чем Германия.

ОХВАЧЕННЫЕ СТРАСТЬЮ

Пьеса-демонстрация

1912

OVERRULED

В укромном углу гостиной курортного отеля сидят вдвоем на большом мягком диване джентльмен и дама. Стеклянные двери позади них открыты настежь; летний вечер. Терраса выходит на залитую лунным светом гавань. В гостиной полутьма. Свет электрической лампы падает откуда-то сверху на диван с серебристо-серой обивкой и на две фигуры в вечерних туалетах, однако стены, оклеенные темно-зелеными обоями, остаются в тени. С обоих концов дивана стоит по стулу. Справа от джентльмена и позади него, у окна,— незатопленный камин. Слева от дамы — дверь. Джентльмен сидит по правую руку от дамы.

Дама очень привлекательна, у нее музыкальный голос и мягкие, приятные манеры. Она молода, то есть вы сразу видите, что ей меньше тридцати пяти и больше двадцати четырех. Джентльмен выглядит тоже не старше. Он довольно красив и рискует причесываться с оттенком поэтического дендизма, насколько это может позволить себе в Англии человек, не имеющий отношения к актерской профессии. Он явно сильно влюблен в свою даму и, уступая непреодолимому порыву, готов схватить ее в свои объятия.

Дама. Не надо — будьте же хорошим. Пожалуйста, мистер Ланн! *(Вскакивает и ускользает за диван.)* Обещайте мне, что будете хорошим.

Грегори Ланн. А я и так хороший, миссис Джуно. Я и не собираюсь быть нехорошим. Я вас люблю, вот и все. Я невероятно счастлив.

Миссис Джуно. Вы в самом деле будете паинькой?

Грегори. Я буду всем, чем вы хотите, чтобы я был. Говорю же вам — я люблю вас. Мне нравится любить вас. Я вовсе не хочу испытывать ни неловкости, ни досады, а так было бы, если б я поступал нехорошо. Я не хочу, чтобы и вам было бы неловко и досадно. Идите сюда и садитесь снова.

Миссис Джуно *(возвращаясь на диван)*. Вы уверены, что не желаете ничего, чего не следует?

Грегори. Совершенно уверен. Я желаю вас.

Она шарахается в сторону.

Не пугайтесь. Мне нравится, что я вас желаю. Пока есть желания, есть основания жить. Удовлетворение — это смерть.

Миссис Джуно. Да, но стремление к такому самоубийству подчас бывает непреодолимым.

Грегори. Вы — дело другое.

Миссис Джуно. Как???

Грегори. О, это получается нелюбезно, но по-настоящему тут нет ничего такого. Знаете ли вы, почему половина пар, оказывающихся в таком положении, как сейчас мы с вами, поступают нехорошо?

Миссис Джуно. Потому что им не справиться с собой, если они позволят себе зайти слишком далеко.

Грегори. Ничего подобного. Потому что им не остается ничего другого и у них нет другого способа поразвлечь друг друга. Вы понятия не имеете, что значит остаться наедине с женщиной, у которой ни на грош красоты и еще меньше уменья разговаривать. Что тогда мужчине делать? Интересно говорить она не может, а если он сам говорит интересно, она его не понимает. Глядеть на нее он не может, а если посмотрит, так видит только, что она некрасива. Не пройдет и пяти минут, как оба они ужасно соскучатся. Спасти положение можно только одним способом, и это то, что вы называете нехорошим. С красивой, остроумной, доброй женщиной у вас не остается времени для таких безумств. Ведь смотреть на нее, слушать ее голос, понимать все, что она хочет сказать,— это такое наслаждение, что больше ничего и не случается. Вот почему женщина, за которой будто бы числится тысяча любовников, редко имеет хотя бы одного, а глупые, неизящные бабы имеют их дюжинами.

Миссис Джуно. Вот как! Правда, когда чувствуешь приближение опасности, болтаешь как сумасшедшая, чтобы ее отвести, даже если не так уж хочется отвести ее.

Грегори. Никогда не бывает, чтобы так уж хотелось отвести опасность. Опасность приятна. А смерть — вовсе нет. Мы играем с опасностью; но настоящее наслаждение, в конце концов,— это ускользать от нее.

Миссис Джуно. Нам, пожалуй, лучше прекратить этот разговор. Опасность вполне хороша, когда в конце концов удается ускользнуть от нее, но иногда ведь не удает-

ся. Скажу вам откровенно, я себя не чувствую так уверенно, как вы – если вы действительно уверены в себе.

Грегори. Разумеется, миссис Джуно, вы вольны поступать как вам вздумается, и никто не может быть на вас в обиде. В том-то и тайна вашего необыкновенного очарования для меня.

Миссис Джуно. Не понимаю.

Грегори. Уж не знаю, как мне и подступиться к объяснению. Вся суть в том, что я, как говорится, человек порядочный.

Миссис Джуно. Я сама так думала, пока вы не стали ухаживать за мной.

Грегори. Да ведь вы же все время знали, что я люблю вас.

Миссис Джуно. Конечно, знала. Но я полагалась на вас, считала, что вы мне этого не станете говорить, я ведь думала, что вы человек порядочный. Теперь, когда вы вдруг выложили это, все испорчено. Кроме того, это было безнравственно.

Грегори. Вовсе нет. Видите ли, я уже столько лет не смел позволить себе влюбиться. Я знаю тьму очаровательных женщин, но беда в том, что все они замужем. На мой вкус женщины становятся очаровательными, только достигнув полного развития, а к этому времени – если они действительно приятные женщины – их уже перехватили, они уже замужем. И тут мне, как человеку порядочному, приходится ставить предел своему расположению к ним. Если повезет, я могу добиться у них дружбы и даже очень горячего чувства; но порядочность по отношению к их мужьям, к их семейному очагу, к их счастью заставляет меня провести черту и не переходить ее. Разумеется, я очень высоко ценю нежные привязанности такого рода. Вокруг меня много женщин, очень милых моему сердцу. Но около каждой из них – если позволено так выразиться – торчит столб с надписью: «Нарушители будут преследоваться по закону». Как нам всем ненавистно такое предупреждение! У каждого прекрасного сада, перед каждой лощинкой с цветущими подснежниками, на каждом прелестном зеленом склоне мы натыкаемся на эту проклятую дощечку! И всегда тут же неподалеку сторож. Но каково видеть эту мерзкую надпись на каждой красивой женщине и знать, что неподалеку муж? Эта проклятая дощечка всегда оказывалась между мной и каждой славной и желанной женщиной, и наконец я стал думать, что

для меня уже потеряна возможность разрешить себе когда-либо по-настоящему и без памяти влюбиться.

Миссис Джуно. А вдовы вам не попадались?

Грегори. Нет. Вдовы чрезвычайно редки в современном обществе. Теперь мужья живут дольше, чем бывало. А если и умирают, так у их вдов уже заготовлен целый список возможных мужей, стоящих на очереди.

Миссис Джуно. Ну, а что вы скажете о молодых девушках?

Грегори. Ах, кому нужны молодые девушки? Они несимпатичны. Они еще зеленые. Они меня не привлекают. Я их побаиваюсь.

Миссис Джуно. Это приятно слышать женщине моих лет. Но все это не объясняет, почему, встретив меня, вы как будто отложили вашу щепетильность в сторонку?

Грегори. Ну, это ясно. Я...

Миссис Джуно. Нет, нет — пожалуйста, не объясняйте. Я не хочу знать. Мне достаточно вашего слова. Да это и не важно теперь. Путешествие наше закончилось, и завтра я отправляюсь на север, к моему бедному отцу в его имение.

Грегори *(удивленно)*. К вашему бедному отцу! Я думал — он жив.

Миссис Джуно. Он и жив. С чего вы взяли, будто его нет на свете?

Грегори. Вы сказали: к вашему *бедному* отцу.

Миссис Джуно. Ах, это у меня такая привычка. Довольно глупая привычка, пожалуй. Но, по-моему, в мужчинах всегда есть что-то жалкое, и я говорю нечаянно «бедный» тот-то и тот-то, когда с ними ничего и не случилось.

Грегори *(слушая ее со все возрастающим беспокойством)*. Но... я... как же... О господи!

Миссис Джуно. Что случилось?

Грегори. Ничего.

Миссис Джуно. Как «ничего»! *(Вскакивает в волнении.)* Что за глупости — вы больны?

Грегори. Нет. Это из-за вашего покойного мужа.

Миссис Джуно. Моего *покойного* мужа! Что вы хотите сказать? *(Вцепляясь в него, с ужасом)*. Неужели он умер?

Грегори *(подымается, тоже перепугавшись)*. Неужели он жив?

Миссис Джуно. Ох, зачем вы меня так пугаете. Конечно он жив. Но может быть, вам сообщили что-нибудь?

Грегори. В день нашей первой встречи – на пароходе – вы говорили о вашем «бедном дорогом муже».

Миссис Джуно *(отпуская его и совершенно успокаиваясь)*. И это все?

Грегори. Ну, а после вы называли его «бедный Топс». Всегда «бедный Топс» или «бедный милый Топс». Что мне было думать?

Миссис Джуно *(усаживаясь по-прежнему)*. Как вы меня напугали – ведь я-то нехорошо поступала по отношению к нему. И вы тоже.

Грегори *(в изнеможении опускаясь на свое место)*. Значит, вы хотите сказать, что вы не вдова!

Миссис Джуно. Боже мой, ну конечно нет! Я же не в трауре.

Грегори. Значит, я все время вел себя как мерзавец! Я нарушил слово, данное матери. Теперь совесть у меня никогда не будет чиста.

Миссис Джуно. Простите, пожалуйста. Я думала, вы знаете.

Грегори. Вы думали, я распутник?

Миссис Джуно. Нет, если б я так думала, то, разумеется, не стала бы и говорить с вами. Я думала, что нравлюсь вам, но считала, что вы знаете и будете держать себя по-хорошему.

Грегори *(тянется к ней)*. А я думал, что это бремя – быть хорошим – наконец спадет с моей души. Я видел только грудь, на которой я могу найти покой. Грудь прекрасной женщины, о которой я мог бы мечтать без чувства вины. И что же я вижу?

Миссис Джуно. Совершенно то, что вы видели раньше.

Грегори *(с отчаянием)*. Нет, нет.

Миссис Джуно. Что же другое?

Грегори. «Нарушители будут преследоваться по закону».

Миссис Джуно. Не будут, если придержат свои языки. Не надо быть таким трусом. Мой муж не съест вас.

Грегори. Меня не пугает ваш муж. Меня пугает моя совесть.

Миссис Джуно *(теряя терпение)*. Вот что: я вовсе не считаю себя обиженной или оскорбленной, так как между нами не произошло ничего такого, что выходило бы за границы приличий и дружеских бесед. Подумать только: взрослый человек толкует об обещаниях, данных матери!

Грегори *(прерывая ее)*. Да, да, все это мне известно: получается без романтики, не по Дон Жуану, не по-передово-

му, но все-таки это чувствуется. Это засело в нашей плоти и крови гораздо глубже, чем всякий романтический вздор. Мой отец однажды попал в скандальную историю: вот почему моя мать заставила меня дать ей слово никогда не ухаживать за замужней женщиной. И теперь, когда это со мной случилось, я не могу считать себя честным человеком. Не делайте вид, будто вы презираете меня или насмехаетесь надо мной. У вас тоже такое ощущение. Вы сейчас сказали, что собственная ваша совесть заговорила, когда вы вспомнили о своем муже. А что же будет, когда вы подумаете о моей жене?

Миссис Джуно *(вскакивая в ужасе)*. О вашей жене!!! И вы смеете преспокойно объявлять мне, что вы женаты!

Грегори. Я никогда не уверял вас, что я не женат.

Миссис Джуно. О-о-о! Вы мне ни разу не намекнули, что у вас есть жена.

Грегори. Нет, намекал. Я обсуждал с вами вещи, понятные по-настоящему лишь людям, состоящим в браке.

Миссис Джуно. О-о!

Грегори. Я полагал, что это самый деликатный способ объяснить вам мое положение.

Миссис Джуно. Ну, знаете, вы просто великолепны. По-моему, это вульгарно. Подумать только! И еще говорить о порядочности! Однако теперь, когда мы все знаем друг о друге, остается сделать одно: не соблаговолите ли вы уйти?

Грегори *(нерешительно поднимается)*. Мне бы *следовало*...

Миссис Джуно. Вот и уходите.

Грегори. Да. Э-э... *(Пытается уйти.)* Я-я-я как-то не могу уйти. *(Беспомощно садится снова.)* Совесть моя действенна, воля моя парализована. Это по-настоящему ужасно. Вам не трудно позвонить и велеть, чтобы меня выставили отсюда? Вам бы это следовало сделать.

Миссис Джуно. Как! Устроить скандал на весь отель? Ни за что. Не говорите глупостей.

Грегори. Да-да; но я не могу уйти.

Миссис Джуно. Тогда я могу. Прощайте.

Грегори *(вцепляясь в ее руку)*. Вы в самом деле можете?

Миссис Джуно. Разумеется. Я... *(Колеблется.)* Ох, боже мой!

Они беспомощно глядят друг на друга.

Я не могу. *(Опускается на диван.)*

Грегори *(продолжает держать ее руку)*. Ради всего святого, соберитесь с духом. Дело в самообладании.

Миссис Джуно *(отнимая руку и отодвигаясь в угол дивана)*. Нет, дело в расстоянии. Самообладание хорошо, когда между вами два-три ярда или на пароходе, где все на вас смотрят. Ближе не придвигайтесь.

Грегори. Ужасная история. Я хочу уйти. И не могу.

Миссис Джуно. Я считаю, вам следует уйти.

Он делает усилие, и она тотчас добавляет.

Попробуйте только, и я кинусь вам на шею и опозорю себя. Умоляю вас: сидите тихо и будьте паинькой.

Грегори. Умоляю вас – бегите прочь. Надеюсь, я окажусь в силах позволить вам уйти ради вашего же блага. Но сердце мое будет разбито.

Миссис Джуно. Я не хочу разбивать ваше сердце. Я и подумать не могу, что вы будете сидеть тут один. Я и подумать не могу, что буду сидеть одна где-нибудь в другом месте. Это так бессмысленно, так нелепо – когда мы могли бы быть так счастливы. Я не хочу быть ни безнравственной, ни жестокой. Но вы мне очень нравитесь. И мне хочется быть нежной и доброй.

Грегори. Мне следует поставить предел.

Миссис Джуно. Да, да, следует, мой дорогой. Скажите мне: я вам в самом деле нравлюсь? Я не спрашиваю, *любите* ли вы меня – любить вы могли бы и горничную...

Грегори *(пылко)*. Нет!

Миссис Джуно. Да, да, могли бы. Да разве это важно? Вы в самом деле влюблены в меня? Мы ведь друзья, товарищи? Вам было бы жалко, если б я умерла?

Грегори *(вздрагивая)*. Ах, не надо!

Миссис Джуно. А вдруг это обыкновенная пустая мужская забава? Простой флирт на пароходе?

Грегори. О нет, нет – ничего такого плохого, вульгарного, дурного не было. Уверяю вас, я только хотел быть вам приятным. Я и сам не заметил, как чувство овладело мной.

Миссис Джуно. И вы охотно позволяли ему овладевать вами?

Грегори. Я позволял ему овладевать мною, потому что думал, будто еще есть время...

Миссис Джуно. Ах, к черту это все! Сибторп дороже...

Грегори. Сибторп?

Миссис Джуно. Сибторп — имя моего мужа. Теперь, говоря с вами, мне не годится называть его Топс.

Грегори *(хихикнув)*. Я подумал, что это какой-нибудь напиток. Но я не вправе смеяться над ним. Мое имя Грегори, это похоже на название пудры.

Миссис Джуно *(обескураженно)*. Чего еще ждать от мужчины? Предлагаешь ему от глубины сердца самые горячие, самые дружественные чувства, а ему в голову приходят разные дурацкие шутки. Из-за такой шутки вы способны забыть меня.

Грегори. Забыть вас! О, если б я только мог!

Миссис Джуно. А если б могли, то и забыли бы?

Грегори *(устыдившись и закрывая лицо руками)*. Нет — лучше умереть. Я ненавижу сам себя.

Миссис Джуно. А я собой горжусь. Так весело быть безрассудной. Интересно, а мужчина может быть безрассуден?

Грегори *(отважно выпрямляясь)*. Нет. Я не безрассуден. Я знаю, что делаю: совесть моя бодрствует. Но где же любовное опьянение? где безумства? где исступление, заставляющее мужчину отказаться от целого мира ради обожаемой женщины? Ничего подобного я не испытываю. Я вижу, что не стоит и стараться, что все это неправильно. Никогда в жизни не был я так хладнокровен, так практичен.

Миссис Джуно *(раскрывая ему свои объятия)*. Но вы не в силах устоять передо мной.

Грегори. Я должен устоять. Мне бы следовало. *(Бросается в ее объятия.)* О, моя дорогая, сокровище мое, мы еще пожалеем об этом.

Миссис Джуно. Мы можем простить это себе. А простили бы мы себе, если б упустили такой миг?

Грегори. Я все-таки возражаю. Я — против. Что-то толкнуло меня в пропасть. Я не виноват. Это безумное счастье, эта чудесная нежность, этот взлет к небесам способны наполнить меня трепетом до самых глубин души...

Она в восторге прячет лицо у него на груди.

...но все это не может заставить сдаться мой разум и не может обольстить мою совесть, которая вопиет к небесам, что не по своей воле я допускаю это недостойное поведение. Я отвергаю блаженство, которое вы дарите мне.

Миссис Джуно. Да бросьте вы свою совесть. Говорите мне, как вы счастливы.

Грегори. Нет, нет, я призываю вас вспомнить о своем долге. Но ах! — я охотно бы отдал вам жизнь, скажи вы только, что испытываете ко мне миллионную часть того, что я чувствую сейчас к вам.

Миссис Джуно. О да, о да! Удовлетворитесь же этим. Не требуйте бóльшего. Пустите меня.

Грегори. Не могу. У меня нет воли. Сейчас нами правит то, что сильнее и вас и меня. Ничто ни на земле, ни на небе не может разлучить нас теперь. Вы знаете это, ведь знаете?

Миссис Джуно. Ах, не заставляйте меня произносить эти слова. Конечно, знаю. Ничто, ни жизнь, ни смерть, ни позор, *ничто* не может разлучить нас.

В коридоре раздается прозаичный мужской голос: «Отлично. Это, наверно, здесь».
Вздрогнув, оба приходят в себя, отпускают друг друга и отскакивают в разные стороны к стенам гостиной.

Грегори. Вот что разлучило нас.

Миссис Джуно *(страшным шепотом)*. Ш-ш-ш! Это голос моего мужа.

Грегори. Не может быть: это просто наша нечистая совесть.

Женский голос: «Вот дверь в гостиную. Я помню ее».

Грегори. Господи боже! Мы оба сошли с ума. Это голос моей жены.

Миссис Джуно. Быть не может! Все как во сне. Мы...

Дверь открывается; и в розовом свете, льющемся из коридора, оклеенного к тому же красноватыми обоями, словно оперный Тангейзер на пороге Венериного грота, появляется Сибторп Джуно вместе с миссис Ланн. Он — энергичный, суетливый человечек, старающийся придать себе бравый вид тем, что подкручивает кончики усов и весьма обдуманно одевается. Она — высокая, внушительная, красивая томная женщина со сверкающими черными глазами и длинными ресницами. Они направляются к дивану, не замечая в полутьме двух дрожащих фигур, прижавшихся к боковым стенам гостиной. Фигуры бесшумно выскальзывают в стеклянные двери и исчезают.

Джуно *(учтиво)*. Ну вот. *(Подходит к дивану.)* Располагайтесь. Уверен, что вы устали.

Она садится.

Вот так. *(Садится слева от нее.)* Ой! *(Вскакивает.)* Диван совсем теплый.

Миссис Ланн *(со скукой)*. В самом деле? Я не заметила. Наверно, солнце его нагрело.

Джуно. Я почувствовал вполне определенно – я ведь одет легче, чем вы. *(Садится и начинает со вздохом облегчения.)* Какое счастье сойти с парохода и получить отдельную комнату! Хуже всего на пароходе – это быть все время под наблюдением.

Миссис Ланн. Чем же это плохо?

Джуно. Да, конечно, плохого ничего нет; по крайней мере, я предполагаю, что нет. Но знаете ли, романтика путешествия отчасти в том, что все время ожидаешь, будто что-то может случиться, а чего же ждать, когда вокруг тьма народу и ровно ничего случиться не может.

Миссис Ланн. Мистер Джуно, романтика хороша на борту корабля, но, едва вы ступаете на почву Англии, романтике приходит конец.

Джуно. Нет, это обычное заблуждение иностранцев. Мы – англичане – самый романтический народ на свете. Да ведь само мое присутствие здесь – уже романтика.

Миссис Ланн *(чуть иронически)*. В самом деле?

Джуно. Да. Вы догадались, разумеется, что я женат.

Миссис Ланн. О, это ничего. А я замужем.

Джуно. Вот и слава богу. На мой взгляд, взгляд англичанина, страсть без чувства вины – не настоящая страсть. Я человек пылкий, миссис Ланн, тут уж ничего не поделаешь. Трагедия моей жизни в том, что я совсем молодым женился на женщине, которую не мог не полюбить. Я мечтал о греховной страсти, о чем-то настоящем, безнравственном, но мне не хотелось и глядеть ни на одну женщину, когда рядом была моя жена. Шли годы, я чувствовал, как уходит моя молодость, а в жизни моей не случалось ничего романтического. Брак – дело хорошее, но это не романтика. В нем, знаете ли, нет ничего безнравственного.

Миссис Ланн. Бедняжка! Как вы, вероятно, страдали!

Джуно. Нет. Беда в том, что все было так мирно. Я хотел страдать. Счастливый брак так надоедает. Распадаются

всегда именно счастливые браки. В конце концов мы с женой решили, что нам нужен отпуск.

Миссис Ланн. Но разве вы не уезжали куда-нибудь каждый год?

Джуно. Ах, к морю и все такое! Нет, мы думали о другом. Нам нужен был отпуск друг от друга.

Миссис Ланн. Как странно!

Джуно. Она сказала, что это чудная мысль. Что домашнее благополучие превращает нас в полных идиотов. Что ей тоже нужен отпуск. И мы решили пуститься в кругосветное путешествие в противоположных направлениях. Я отправился в Суэц в тот день, когда ее пароход отплыл в Нью-Йорк.

Миссис Ланн *(вдруг начиная проявлять внимание)*. Это как раз то, что сделали мы с Грегори. Интересно знать, а вдруг ему понадобился отпуск от меня! Он-то говорил, что мечтает о радостной встрече со мной после длительной разлуки.

Джуно. Что может быть романтичней? Кто, кроме англичанина, додумается до такого? Пожалуй, я кажусь не очень темпераментным вам, с вашей бурной южной кровью...

Миссис Ланн. Что-о-о?

Джуно. С вашей южной кровью. Помните, в тот вечер на пароходе, когда я пел в салоне «Прощайте, прощайте, Испании милые девы», вы мне сказали, что вы по рождению дева Испании? Ваша дивная андалузская красота говорит сама за себя.

Миссис Ланн. Вздор! Я родилась на Гибралтаре. Моим отцом был капитан Дженкинс. Служил в артиллерии.

Джуно *(пылко)*. Темперамент определяется климатом, а не национальностью. Огненное солнце Испании пылало над вашей колыбелью; громы британских пушек качали ее.

Миссис Ланн. Какое красноречие! Вы напоминаете мне моего мужа, когда он был влюблен, — до того как мы поженились. Вы влюблены?

Джуно. Да, и в ту же женщину.

Миссис Ланн. Ну разумеется, я и не предполагала, что вы влюблены в двух женщин сразу.

Джуно. Вы, кажется, меня не поняли. Я хотел сказать, что влюблен в вас.

Миссис Ланн *(впадая в глубочайшую скуку)*. Ах, вот что! Мужчины в меня влюбляются. Они все, вероятно, принимают меня за существо с вулканическими страстями — право, не знаю почему. Ведь все вулканические женщины,

каких я знаю, маленькие, рыженькие, некрасивые созданьица. Вулканы среди людей, по-моему, это не респектабельно. И мне так надоела эта тема! У нас в доме всегда толкутся женщины, влюбленные в моего мужа, и мужчины, влюбленные в меня. Мы не возражаем, потому что приятно ведь иметь общество.

Джуно. И ваш муж отличается тем же бесчувствием, что и вы?

Миссис Ланн. О, Грегори вовсе не бесчувственный, далеко нет. Только я для него единственная женщина на свете.

Джуно. А вы-то? Вы на самом деле такая бесчувственная, как вы уверяете?

Миссис Ланн. Ничего подобного я не говорила. Я по природе вовсе не бесчувственная. Но — не знаю, заметили ли вы — я, как говорится, довольно хороша собой.

Джуно *(пламенно)*. Заметил ли я! О, миссис Ланн! Способен ли я замечать что-либо иное с тех пор, как мы встретились!

Миссис Ланн. Вот и пошло́ и пошло́, как у всех остальных! Подумайте, можно ли надеяться, что женщина не станет бесчувственной, когда она с семнадцати лет по три раза в неделю слышит такие речи? Сначала это меня расстраивало и пугало, потом стало нравиться. С Грегори все дошло до высшей точки — потому-то я и вышла за него замуж. Дальше это сделалось просто забавой, о которой и беспокоиться не стоило. Затем раз или два это мне пригодилось в качестве укрепляющего средства, когда мне было плохо. Теперь это просто отчаянная скука. Я не сержусь на ваше любовное признание — вам, кажется, оно доставило даже некоторое удовольствие. Вполне понимаю — вы меня обожаете, но, уж простите меня, я предпочла бы, чтобы вы не твердили больше об этом.

Джуно. И для меня нет никакой надежды?

Миссис Ланн. О, пожалуйста. Грегори придумал, чтобы замужние женщины составляли списки мужчин, за которых они могли бы выйти замуж, оставшись вдовами. Я вас запишу для вашего спокойствия.

Джуно. А список длинный?

Миссис Ланн. Вы имеете в виду настоящий список? Не тот, что я показываю Грегори: в том сотни имен, но короткий, мой собственный тайный список, которого ему лучше не видеть, да?

Джуно. Неужели вы запишете меня в него? Пожалуйста, запишите!

Миссис Ланн. Ну, может быть, и запишу.

Он целует ей руку.

Однако зачем же сразу злоупотреблять своей привилегией?

Джуно. Можно мне называть вас по имени?

Миссис Ланн. Ах нет, оно слишком длинное. Нельзя все время называть женщину Серафита.

Джуно *(с восхищением)*. Серафита!

Миссис Ланн. Дома меня звали Салли, но, когда я вышла замуж за человека по фамилии Ланн, разумеется, это получалось как-то неловко. Я люблю так пошутить. Зовите меня для краткости миссис Ланн. И давайте сменим тему, не то я засну.

Джуно. Я не могу сменить тему. Нет для меня другой темы. Зачем же вы вносили меня в свой список?

Миссис Ланн. Потому, что вы поверенный по делам. Грегори — поверенный. Я привыкла, что у меня муж — поверенный и что он рассказывает мне то, чего нельзя рассказать никому другому.

Джуно *(уныло)*. И это все? Не может быть, чтобы зов любви никогда не пробуждал вас.

Миссис Ланн. Нет — ее зов усыпляет меня.

Джуно всем своим влюбленным видом решительно протестует.

Не стоит, мистер Джуно, я безнадежно респектабельна — все Дженкинсы такие. Неужто вы не понимаете, что, не будь большинство женщин таково, мир не мог бы идти своим путем?

Джуно *(угрюмо)*. Вы думаете, что это респектабельный путь? Но как поверенный могу сказать вам...

Миссис Ланн. Чепуха! Конечно, все нереспектабельные люди, запутавшиеся в каком-нибудь деле, идут к вам, так же как все больные идут к доктору, но большинство людей никогда не обращаются к поверенному.

Джуно *(встает с места и говорит с нарастающим чувством обиды)*. Вот что, миссис Ланн: вы считаете, что сердце мужчины — это картофелина? Или репа? Или клубок шерсти для вязания? И что вы можете так швыряться им?

Миссис Ланн. Я не швыряю клубков шерсти для вязания.

А сердце мужчины, по-моему, очень похоже на губку: вбирает грязную воду так же, как чистую.

Джуно. Никогда в жизни со мной так не обращались. Я, я — женатый человек, имеющий привлекательнейшую жену, жену, которую я обожаю и которая обожает меня, которая, с тех пор как мы поженились, даже не взглянула ни на одного мужчину. И вот я прихожу и бросаю все это к вашим ногам. Я! Я — поверенный по делам! Ведь я рискую, что ваш муж вызовет меня в суд, доведет до развода, превратит в нищего и отверженного. Я делаю все это ради вас. А вы держитесь так, словно я не приношу никакой жертвы, как будто я вам говорю: «Ах, какая хорошая погода!» — или предлагаю чашку чаю. Это бесчеловечно. Это неправильно. У любви есть права, так же как и у респектабельности. *(Мрачно усаживается поодаль.)*

Миссис Ланн. Глупости! Нате! Вот вам цветочек! *(Протягивает ему цветок.)* Идите и мечтайте над ним, пока не проголодаетесь. Ничто так не отрезвляет, как голод.

Джуно *(разглядывает цветок без всякого восторга)*. Что в нем проку?

Миссис Ланн *(вырывает цветок у него из рук)*. О, вы меня ни капельки не любите.

Джуно. Нет, люблю. Или, по крайней мере, любил. Но я — англичанин. И полагаю, что вам следует уважать обычаи английской жизни.

Миссис Ланн. Но я их уважаю. А вы — нет.

Джуно. Простите меня. Я, может быть, поступаю неправильно, но — прилично и привычно. Вы, может быть, поступаете правильно, но — необычно и странно. Я не согласен это терпеть. Со мной можно обращаться плохо: я не младенец и могу постоять за себя. И разумеется, со мной можно обращаться хорошо. Единственное, чего я не могу выносить, это если со мной будут обращаться неожиданным образом. Это вне моей схемы жизни. Так вот! Вам придется вести себя со мной естественно и прямодушно. Вы можете ради меня бросить мужа, детей, дом, друзей, свою страну и отправиться со мной на какой-нибудь остров в Южных морях или, скажем, в Южную Америку, где мы можем быть всем друг для друга. Либо вы можете все рассказать мужу и предоставить ему раскроить мне голову, если ему удастся. Но — будь я проклят! — странностей я не потерплю. Это неприлично.

Грегори *(появляясь с террасы и важно подходя к дивану с той стороны, где сидит его жена)*. Не будете ли вы так

добры, сэр, умерить свое раздражение, обращаясь к этой даме, и воздержаться от сквернословия?

Миссис Ланн *(вскакивая в восторге)*. Грегори! Дорогой мой! *(Заключает его в свои поместительные объятия.)*

Джуно *(вставая с места)*. Вы нежничаете с другим у меня на глазах!

Миссис Ланн. Да ведь он мой муж.

Джуно. Тогда для такого поведения не остается уже никаких оправданий. Хорош будет наш мир, если женатые люди станут нежничать у всех на виду!

Грегори. Но это нелепо. Какого черта вы путаетесь в то, что происходит между мною и моей женой? Ведь вы ей не муж?

Джуно. Пока — нет. Но я в списке. Я ее предполагаемый муж; а вы только действительный. Я — предвкушение, вы же — обманутая надежда.

Миссис Ланн. О, мой Грегори вовсе не «обманутая надежда». *(Нежно.)* Не правда ли, милый?

Грегори. Погоди-ка, душечка. Сейчас я рассчитаюсь за тебя с этим типом. *(Высвобождается из ее объятий и обращается к Джуно; она безмятежно устраивается на диване.)* Вы меня назвали обманутой надеждой, не так ли? Ну, я полагаю, каждый муж является обманутой надеждой. А вы-то сами? Не делайте вид, будто вы не женаты. Я случайно познакомился с дамой, которую разочаровали *вы*. Я путешествовал на одном пароходе с нею. И...

Джуно. И вы в нее влюбились.

Грегори *(растерянно)*. Кто вам сказал?

Джуно. Ага, признаетесь! Ну, если хотите знать, никто мне не говорил. Все влюбляются в мою жену.

Грегори. А вы влюбляетесь в жену любого мужа?

Джуно. Разумеется нет. Только в вашу.

Миссис Ланн. Но к чему вы говорите это, мистер Джуно? Я замужем за ним, и все тут.

Джуно. Ничего подобного. Вы можете получить развод.

Миссис Ланн. Зачем?

Джуно. Из-за его неверности. Он с моей женой...

Грегори *(глубоко возмущенный)*. Как вы смеете, сэр, чернить имя очаровательной дамы? Дамы, которую я взял под свою защиту?

Джуно. Защиту!

Миссис Джуно *(быстро вбегая)*. Знаете, мистер Ланн, вам в самом деле следует осторожней говорить обо мне.

Джуно. Сокровище мое! *(Обнимает ее.)* Прошу простить мне эти изъявления чувств. Я не видел мою жену уже несколько недель, и я очень люблю ее.

Грегори. По-моему, это просто нахальство. Кто теперь нежничает со своей собственной женой на людях, разрешите спросить?

Миссис Ланн. Вы не представите меня своей жене, мистер Джуно?

Миссис Джуно. Как вы поживаете?

Они обмениваются рукопожатием, и миссис Джуно садится рядом с миссис Ланн, слева от нее.

Миссис Ланн. Мне очень приятно видеть, что вы делаете честь вкусу Грегори. Я, естественно, довольно привередлива к женщинам, в которых он влюбляется.

Джуно *(строго)*. Так нельзя относиться к неверности своего мужа. *(К Ланну)*. Вам следовало бы лучше воспитывать свою жену. Какая черствость! Просто неслыханно.

Грегори. А что вы скажете о собственном поведении?

Джуно. Я его не оправдываю, и делу конец.

Грегори. Ну, знаете! Что с того, что вы его не оправдываете?

Джуно. Разница существенная. Серьезным людям я мог бы показаться безнравственным. Я себя не оправдываю — я безнравственен, хотя в глубине души и не дурной человек. Легкомысленным людям я мог бы показаться даже смешным. Ну что ж — смейтесь надо мной: я не скрываюсь. Но у миссис Ланн, видимо, нет обо мне никакого мнения. Она, видимо, не знает, дурной я человек или смешной. Ей, видимо, все равно. У нее нет нравственного чувства. Я считаю — это неправильно. Повторяю: я виновен и готов понести заслуженное наказание.

Миссис Джуно. Ты в самом деле виновен, Топс?

Миссис Ланн *(ласково)*. Не помню, чтобы вы были виновны — у меня на мелочи ужасно плохая память; но полагаю, это-то я бы запомнила — если дело идет обо мне.

Джуно *(в ярости)*. Мелочи! Я влюбился в чудовище!

Грегори. Не смейте называть мою жену чудовищем!

Миссис Джуно *(быстро вскакивает и становится между ними)*. Пожалуйста, мистер Ланн, не выходите из себя, я не позволю обижать моего Топса.

Грегори. Тогда пусть он не хвастает, будто согрешил с моей женой. *(Порывисто поворачивается к своей жене, помо-*

гает ей встать и гордо становится с ней рука об руку.)
Как смеет он претендовать на такую честь?

Джуно. Я повинен в умысле.

Миссис Джуно отходит от него и, успокоившись, садится на свое место.

Я повинен, как если бы согрешил в действительности. И я настаиваю, чтобы меня считали таковым и ни ваша жена и никто другой не обходились бы со мною, как если бы я ничего не совершил.

Миссис Ланн *(презрительно)*. Тьфу! *(Садится снова.)*

Джуно *(в бешенстве)*. Я не позволю унижать себя!

Миссис Ланн *(к миссис Джуно)*. Надеюсь, вы теперь приедете к нам погостить, раз вы с Грегори так подружились, миссис Джуно?

Джуно. Ваше полоумное великодушие...

Миссис Ланн. Вам не кажется, мистер Джуно, что вы уже достаточно наговорили? Это дело нам, женщинам, надо уладить между собой. Вы пошли бы прогуляться по пляжу с моим Грегори, пока мы тут все обговорим. Грегори так прекрасно умеет слушать.

Джуно. Не думаю, чтобы из беседы между мной и мистером Ланном вышел какой-либо прок. Трудно надеяться, чтобы нам удалось исправить друг друга. *(Проходит позади дивана к тому концу, где сидит миссис Ланн, хватает стул, вталкивает его между Грегори и миссис Ланн и усаживается, скрестив руки на груди, полный решимости не отступить ни на йоту.)*

Грегори. Ах вот как! Ну ладно. Раз вы дошли до такого... *(Идет к миссис Джуно, ставит стул рядом с ней и садится так же решительно.)*

Джуно. Теперь мы оба одинаково повинны.

Грегори. Простите. Я не повинен.

Джуно. В умысле. Не увертывайтесь. Вы так же повинны в умысле, как я.

Грегори. Нет. Я бы скорей определил свое положение как виновного фактически, но без умысла.

Джуно, Миссис Джуно, Миссис Ланн *(вскакивают и восклицают вместе)*. Что-о-о? Но как же? Грегори!!

Грегори. Да. Я утверждаю, что ответственен только за намерения, а не за непроизвольные действия, над которыми я не властен.

Миссис Джуно, застыдившись, садится.

Я дал обещание моей матери, что никогда не стану лгать и никогда не буду ухаживать за замужней женщиной. Я никогда не сказал слова неправды...

Миссис Ланн *(с укором)*. Грегори! *(Садится снова.)*

Грегори. Да, никогда. Во многих случаях я прибегал к уклонениям, но в важных случаях я всегда говорил правду. Я рассматриваю этот случай как важный. И никакие запугивания не заставят меня нарушить мой обет. Торжественно заявляю: до этого вечера я не знал, что миссис Джуно замужем. Она подтвердит, если я скажу, что с той минуты мои намерения были строго и решительно честными, хотя мое поведение, которым я не мог управлять и за которое, следственно, не отвечаю, было недостойным или сделалось бы таковым, если бы этот джентльмен не вошел сюда и не стал ухаживать за моей женой перед самым моим носом.

Джуно *(грохаясь на свой стул)*. Вот это мне нравится!

Миссис Ланн. Ох, душечка, тут уж лучше помалкивать.

Грегори. Когда ты говоришь «душечка», к кому из нас ты обращаешься, хотел бы я знать?

Миссис Ланн. Я, право, и сама не знаю. Я, кажется, безнадежно запутываюсь.

Джуно. А почему же вы не даете ничего сказать моей жене? Я считаю, что ее нельзя так уж оттеснять в сторону.

Миссис Ланн. О, простите, конечно, конечно. *(К миссис Джуно.)* Извините меня, дорогая.

Миссис Джуно *(задумчиво)*. Не знаю, что сказать, мне надо подумать обо всем. Я всегда бывала довольно строга к таким вещам, но когда доходило до дела, я поступала не так, как, по-моему, мне следовало поступать. Я не собиралась быть безнравственной, но, так или иначе, Природа, или как еще там это называть, не считалась с моими намерениями.

Грегори инстинктивно ищет ее руку и пожимает ее.

И я в самом деле, Топс, думала, что я для тебя единственная женщина на свете.

Джуно *(весело)*. Ничего, сокровище мое. Миссис Ланн думала, что она единственная женщина на свете для него.

Грегори *(задумчиво)*. Так и есть, в некотором смысле.

Джуно *(вспыхивая)*. И моя жена тоже. И не утверждайте, будто вы более образцовый муж, чем я, ничуть вы не лучше. Я признался, что поступаю дурно, а вы не признаетесь.

Миссис Ланн. Грегори, ты просишь прощения?

Грегори *(ошеломленно)*. Прощения?

Миссис Ланн. Да, прощения. Я считаю, тебе пора попросить прощения и помириться с мистером Джуно. И тогда мы все вместе пообедаем.

Грегори. Я обещал, Серафита, моей матери...

Миссис Джуно *(невольно)*. Да подите вы со своей матерью! *(Опоминаясь.)* Извините меня.

Грегори. Обещание есть обещание. Я не могу преднамеренно лгать. Я знаю, что мне следует испытывать чувство вины; но факт остается фактом — я не испытываю чувства вины. Так или иначе, но между моими моральными принципами и моим поведением получается какое-то злосчастное расхождение.

Джуно. Ничего тут нет злосчастного. Ваше поведение не имеет значения, если в порядке ваши принципы.

Грегори. Ерунда! Ваши принципы не имеют значения, если в порядке ваше поведение.

Джуно. Но ваше поведение не в порядке, а мои принципы в порядке.

Грегори. Какой прок от того, что ваши принципы в порядке, если они не действуют?

Джуно. Они *будут* действовать, сэр, если вы способны пойти на самопожертвование.

Грегори. Да, да — если, если, если... Вы отлично знаете, что самопожертвование тоже не действует, когда вам чего-нибудь очень хочется. Да вы-то сами часто ли жертвовали собой?

Миссис Ланн. О, очень часто, Грегори. Не будь так груб. Мистер Джуно очень приятный джентльмен. Он был весьма любезен со мной во время путешествия.

Грегори. И миссис Джуно весьма приятная дама. Ей не следовало бы быть приятной, но она приятная.

Джуно. Почему это ей не следует быть приятной дамой, разрешите узнать?

Грегори. Я хочу сказать, ей не следовало быть приятной со мной и вам не следовало быть приятным с моей женой. А вашей жене не следовало любить меня. А моей жене не следовало любить вас. А если уж они любили, тогда им не следовало любить нас. А мне не следовало любить вашу жену. А вам не следовало любить мою. А тогда нам уж не следовало продолжать любить их. А мы все-таки любим, все мы. Не следовало бы, а мы все-таки любим.

Джуно. Однако, друг мой, если признать, что мы поступали дурно, тогда в чем же беда? Мы несовершенны; но пока мы сохраняем свои идеалы...

Грегори. Как это?

Джуно. Да тем, что мы признаем, что мы поступали дурно.

Миссис Ланн *(выйдя из себя, вскакивает и нетерпеливо бегает по гостиной)*. Ну, знаете, я должна наконец пообедать. Эти двое мужчин с их добродетелью, их обещаниями, данными матерям, их признаниями, что, мол, они поступали дурно, их прегрешениями и страданиями, с тем, как они наскакивают друг на друга, словно в этом есть какой-нибудь смысл или это что-нибудь может значить, — все это действует мне на нервы. *(Перегибается через спинку дивана и обращается к миссис Джуно.)* Если вы были бы так добры и занимались бы по временам моим сентиментальным мужем — я была бы рада сбыть его с рук и была бы так благодарна вам, моя дорогая. Я вижу, вам больше по плечу мужская сентиментальность, чем мне. *(Переходя к камину.)* Я, со своей стороны, постараюсь развлекать вашего превосходного мужа, когда он вам очень надоест.

Джуно. По-моему, это полиандрия.

Миссис Ланн. Мне бы хотелось, чтобы вы не называли невинные вещи оскорбительными именами, мистер Джуно. А как вы назовете собственное поведение?

Джуно (*вставая*). Повторяю: я признаю...

Грегори, Миссис Джуно, Миссис Ланн (*вместе*). Какой прок твердить все это? Ах, нет, больше не надо, пожалуйста! Топс, я закричу, если ты опять повторишь все это!

Джуно. Ну что ж, раз вы не желаете слушать меня! *(Садится опять.)*

Миссис Джуно. Каково же сейчас действительное положение вещей?

Миссис Ланн пожимает плечами, не собираясь разгадывать эту загадку. Грегори смотрит на Джуно. Джуно надменно отворачивается в сторону.

Я хочу сказать — что же нам сейчас делать?

Миссис Ланн. Что бы вы посоветовали, мистер Джуно?

Джуно. Я бы посоветовал вам развестись с мужем.

Миссис Ланн. Вы хотите, чтобы я тащила вашу жену в суд и позорила ее?

Джуно. Нет, я забыл. Простите меня, я чуть не подумал, что мы с вами женаты.

Грегори. Я полагаю, нам лучше предать прошлое забвению. *(Обращаясь к миссис Джуно, очень нежно.)* Вы простите меня, не правда ли? Зачем нам из-за минуты безумия отравлять горечью всю нашу будущую жизнь?

Миссис Джуно. Но ведь это миссис Ланн должна простить вас.

Грегори. Ох, черт побери, я забыл. Это становится нелепо.

Миссис Ланн. А мне становится голодно.

Миссис Джуно. Вам действительно все равно, миссис Ланн?

Миссис Ланн. Дорогая миссис Джуно, Грегори один из тех ужасно любящих мужей, которым нужно иметь десять жен. Если бы по временам мне удавалось сбыть его на день-другой какой-нибудь по-настоящему приятной женщине, я была бы ей чрезвычайно благодарна.

Грегори. Серафита, ты ранишь меня в самое сердце! *(Плачет.)*

Миссис Ланн. Так тебе и надо! Ты хотел бы, чтобы *я* была ранена в самое сердце.

Миссис Джуно. А мне надо избавлять вас от Сибторпа, миссис Ланн?

Джуно *(вскакивая)*. И ты думаешь, что я допущу это?

Миссис Джуно. Ты признал, что поступал дурно, Топс. Что после этого можешь ты допускать или не допускать?

Джуно. Я не признаю, что поступал дурно. Я признаю, что то, что я делал, было дурно.

Грегори. А вы можете объяснить, какая тут разница?

Джуно. Это и дураку понятно. Когда вы мне говорите, будто я сделал что-то дурное,— вы меня оскорбляете. Но если вы говорите, что нечто, сделанное мной, дурно, вы только поднимаете вопросы морали. Заявляю напрямик, что, если вы говорите, будто я сделал что-то дурное, вам придется драться со мной. По правде говоря, я считаю, нам все равно придется драться. Не то чтобы мне этого так уж хотелось; однако я чувствую — Англия ждет этого от нас.

Грегори. Я драться не стану. Если вы побьете меня, моя жена разделит мое унижение. Если я побью вас, она будет жалеть вас и возненавидит меня за жестокость.

Миссис Ланн. Уж не говоря о том, что, поскольку мы не лесная дичь и не домашняя птица, если двое мужчин по-

зволят себе подраться из-за нас, нам потом будет неприлично говорить ни с одним из них.

Грегори. А кроме того, ни один из нас не побьет другого, потому что мы оба не умеем драться. Мы только наставили бы синяков друг другу и сваляли бы дурака.

Джуно. Не согласен. Каждый англичанин вправе действовать кулаком.

Грегори. Вы же англичанин: вы умеете действовать кулаком?

Джуно. Полагаю, — хоть никогда не пробовал.

Миссис Джуно. Ты никогда не говорил, Топс, что не умеешь драться. Я считала тебя опытным боксером.

Джуно. Сокровище мое, я никогда не давал тебе никаких оснований для подобного убеждения.

Миссис Джуно. Ты всегда говорил так, будто это само собой разумеется. Ты с великим презрением отзывался о мужчинах, которые не спускают других с лестницы.

Джуно. Да ведь не могу же я спустить мистера Ланна с лестницы: мы — на первом этаже.

Миссис Джуно. Ты мог бы сбросить его в море.

Грегори. Ах, вы хотите, чтобы меня сбросили в море?

Миссис Джуно. Нет. Я просто хочу доказать Топсу, что он валяет ужасного дурака.

Грегори *(недовольно поднимается и начинает ходить взад-вперед между диваном и стеклянными дверьми)*. Мы все валяем дурака.

Джуно *(идя следом за ним)*. Ну хорошо, если мы не станем драться, я должен настоять, по крайней мере, чтобы вы никогда больше не говорили с моей женой.

Грегори. А какой вам вред от моих разговоров с вашей женой?

Джуно. Но это был бы надлежащий образ действий. *(Выразительно.)* Мы все-таки *должны* вести себя прилично.

Миссис Ланн. И вы, мистер Джуно, никогда больше не станете говорить со мною?

Джуно. Я согласен обещать никогда не делать этого. Полагаю, ваш муж имеет право требовать этого. Тогда, если я заговорю с вами, это будет не по его вине. Это будет нарушение обещания, данного мною. И я не буду пытаться оправдывать свое поведение.

Грегори *(наскакивая на него)*. Я буду говорить с вашей женой всякий раз, как она разрешит мне.

Миссис Джуно. У меня нет никаких возражений, чтобы вы говорили со мной, мистер Ланн.

Джуно. Тогда я предприму шаги.

Грегори. Какие шаги?

Джуно. Шаги. Меры. Действия. Такие шаги, какие могут оказаться желательными.

Миссис Ланн *(обращаясь к миссис Джуно)*. А ваш муж может позволить себе скандал?

Миссис Джуно. Нет.

Миссис Ланн. И мой не может.

Грегори. Миссис Джуно! Я очень жалею, что впутал вас во все это. Сам не понимаю, как мы допустили, чтобы чувство, такое, как наше, которое кажется мне прекрасным и священным, которое служит источником таких увлекательных и волнующих переживаний, закончилось такими вульгарными спорами и унизительными сценами.

Джуно. Я отказываюсь признать свое поведение вульгарным или унизительным.

Грегори. Я дал обещание...

Джуно. Послушайте-ка, дружище: я не стану ничего говорить против вашей матери, и я сожалею, что она умерла; но, знаете, ведь большинство женщин — матери, и все они умирают раньше или позже. Однако ведь это не делает их непогрешимыми авторитетами в вопросах морали, не правда ли?

Грегори. Я сам собирался сказать то же самое. Позвольте мне добавить, что, если вы делаете что-либо только потому, что думаете, будто другой дурак считает, что вы должны сделать это, а он считает, что вы сделаете это потому, что он думает, будто вы считаете, что он считает, что вы сделаете это,— все это кончится тем, что всякий будет делать то, чего никто не хочет делать и что я назвал бы глупейшим положением дел.

Джуно. Вот что, Ланн: я люблю вашу жену, и точка.

Грегори. Вот что, Джуно: я люблю вашу. Что же дальше?

Джуно. Очевидно, она не должна больше видеться с вами.

Миссис Джуно. Почему же?

Джуно. Как это почему! Ты меня удивляешь, моя дорогая.

Миссис Джуно. Значит, мне можно видеться только с теми мужчинами, которым я не нравлюсь?

Джуно. Да. Я полагаю, что в этом, собственно говоря, и состоит долг замужней женщины.

Миссис Джуно. Тогда я не стану выполнять его — это уж наверняка. Мне нравится, когда я нравлюсь. Мне нравится, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы все вокруг люби-

ли меня. Я не хочу встречаться или разговаривать с теми, кому я не нравлюсь.

Джуно. Но, сокровище мое, это ужасно безнравственно.

Миссис Ланн. А я не намерена прекращать видеться с вами, мистер Джуно. Вы меня очень забавляете. Мне не нравится, когда меня любят, это наводит скуку. Но мне нравится, когда меня забавляют.

Джуно. Надеюсь, мы будем встречаться очень часто. Но я надеюсь также, что мы не будем оправдывать свое поведение.

Миссис Джуно *(подымаясь с места)*. Это невыносимо. Мы все играем в любовь. И неужели нам из-за этого надо болтать вздор?

Джуно *(негодующе)*. Не знаю, что ты называешь вздором...

Миссис Джуно *(обрывая его)*. Знаешь, знаешь. Ты болтаешь вздор. Мистер Ланн болтает вздор. Не можете ли вы признать, наконец, что мы просто люди, и покончить с этим?

Джуно. Я все время признавал это. Я...

Миссис Джуно *(почти кричит)*. Так перестань молоть вздор.

Звук обеденного гонга.

Миссис Ланн *(вставая)*. Слава богу! Идемте обедать. Грегори, предложите руку миссис Джуно.

Грегори. Но ведь мне подобает вести к столу нашу гостью, а не собственную жену.

Миссис Ланн. Так миссис Джуно тебе вовсе и не жена!

Грегори. Ах, правда, прошу прощения. Я совершенно запутался. *(Боязливо предлагает руку миссис Джуно.)*

Миссис Джуно. Вы, меня, кажется, ужасно боитесь. *(Берет его под руку.)*

Грегори. Боюсь. Я просто обожаю вас.

Выходят вместе. В дверях он поворачивается и вызывающе обращается к другой парочке.

Я только что сказал миссис Джуно, что я просто обожаю ее. *(Гордо шествует с ней.)*

Миссис Ланн *(вслед ему)*. Да, дорогой. Она – прелесть. *(Обращаясь к Джуно.)* Ну, Сибторп...

Джуно *(учтиво подает ей руку)*. Вы назвали меня Сибторп! Благодарю вас. Я считаю, что поведение Ланна в полной мере оправдывает меня и дает мне право разрешить вам это.

Миссис Ланн. Да, а теперь, я думаю, вы можете позволить себе двинуться, наконец.

Джуно. Серафита, не могу выразить, как я обожаю вас.

Миссис Ланн. Сибторп, не могу описать, как вы забавляете меня. Идемте же.

Вместе идут обедать.

ПИГМАЛИОН

Роман-фантазия
в пяти действиях

1912 – 1913

PYGMALION

Как мы увидим дальше, «Пигмалион» нуждается не в предисловии, а в продолжении, которым я и снабдил пьесу в должном месте.

Англичане не уважают родной язык и упорно не желают учить детей говорить на нем. Написание слов у них столь чудовищно, что человеку не научиться самому произносить их. Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать к себе ненависти или презрения у другого англичанина. Немецкий и испанский языки вполне доступны иностранцам, но английский недоступен даже англичанам. Энергичный энтузиаст-фонетист — вот кто требуется сейчас Англии в качестве реформатора, потому-то я и сделал такового главным действующим лицом моей ныне столь популярной пьесы. Герои такого толка, тщетно вопиющие в пустыне, уже случались в последнее время. Когда к концу 1870-х годов я заинтересовался этой темой, прославленный Александр Мелвил Бел, изобретатель Наглядной Речи, уже давно эмигрировал в Канаду, где сын его изобрел телефон. Но Александр Дж. Элис еще оставался лондонским патриархом, его величественную голову прикрывала неизменная бархатная шапочка, за что он изысканно извинялся перед аудиторией. Он и Тито Пальярдини, еще один ветеран-фонетист, принадлежали к тем людям, к которым невозможно испытывать неприязнь. Генри Суит, тогда еще молодой человек, отнюдь не отличался присущей им мягкостью: к обыкновенным смертным он относился примерно так же снисходительно, как Ибсен или Сэмюэл Батлер. Его талант фонетиста (а на мой взгляд, он лучше их всех знал свое дело) дал бы ему право на высокое официальное признание и, вероятно, возможность популяризировать любимую науку, если бы не его сатанинское презрение к академическим должностным лицам и вообще ко всем тем, кто греческий ставил выше фонетики. В те дни, когда в Южном Кенсингтоне возник Имперский институт и Джозеф Чемберлен расширял пределы империи, я подбил как-то раз одного издателя ежемесячного журнала заказать Суиту статью о значении его науки для Британской империи. Присланная им статья не содержала ничего кроме издевательских нападок на профессора языка и литературы, чью должность, по мнению Суита, имел право занимать исключительно специалист по фонетике. Статью печатать было невозможно по причине ее па-

сквильного характера, и ее пришлось вернуть автору, а мне пришлось отказаться от мечты вытащить ее автора на сцену. Когда много лет спустя я встретил его после долгого перерыва, я, к удивлению моему, увидел, что он ухитрился из молодого человека вполне сносной наружности превратить себя (по чистому пренебрежению) в воплощенное отрицание Оксфорда и всех его традиций. Суита, очевидно назло ему, втиснули в должность преподавателя фонетики. Будущее фонетики, возможно, и принадлежит его ученикам — все они молились на него,— но самого учителя ничто не могло примирить с университетом, за который, пользуясь своим святым правом, он тем не менее цеплялся, как самый типичный оксфордец. Смею предположить, что его записки, если он таковые после себя оставил, содержат кое-какие сатиры, которые можно будет опубликовать без особых разрушительных последствий лет этак через пятьдесят. Он, как мне кажется, вовсе не был недоброжелательным, скорее, я бы сказал, наоборот, но просто он не выносил дураков.

Те, кто его знал, угадают у меня в III акте намек на изобретенную им систему стенографии, с помощью которой он писал открытки и которую можно изучить по руководству ценой в четыре шиллинга шесть пенсов, выпущенному Кларендон Пресс. Именно такие открытки, о которых упоминает миссис Хигинс, я и получал от Суита. Расшифровав звук, который кокни передал бы как «зерр», а француз как «се», я затем писал Суиту, требуя с некоторой запальчивостью разъяснить, что именно, черт его подери, он хотел сказать. С безграничным презрением к моей тупости Суит отвечал, что он не только хотел, но и сказал слово «результат» и что ни в одном из существующих на земле языков нет другого слова, содержащего этот звук и имеющего смысл в данном контексте. Думать, что менее квалифицированным смертным требуются более подробные разъяснения — это уже было свыше суитовского терпения. Задуман его Универсальный алфавит был для того, чтобы безупречно изображать любой звук в языке, как гласный, так и согласный, держа при этом руку под любым наиболее удобным углом и делая самые легкие и беглые движения, какие нужны для написания не только «м» и «н», но также «у», «л», «п» и «к». Однако неудачная идея использовать этот оригинальный и вполне удобочитаемый алфавит еще и как стенографию превратила его в суитовских руках в самую неразборчивую из криптограмм. Первоначальной задачей Суита было снабдить исчерпывающим, аккуратным, удобочитаемым шрифтом наш благородный, но плохо экипированный язык. Но Суита

увело в сторону презрение к популярной Питменовской системе стенографии, которую он окрестил ямографией. Торжество Питмена было торжеством умелой организации дела: еженедельная газета убеждала вас изучать систему Питмена; вам предоставлялись дешевые пособия и сборники упражнений и расшифровки стенограмм речей, а также школы, где опытные педагоги натаскивали вас до необходимого уровня. Суит же не умел подобным образом организовать спрос на себя. Его скорее можно уподобить сивилле, разорвавшей листы со своим пророчеством оттого, что ее никто не желал слушать. Учебник за четыре шиллинга шесть пенсов, собственноручно им написанный и залитографированный, никогда не имел пошлой рекламы. Быть может, однажды его и подхватит какой-нибудь синдикат и навяжет обществу, как «Таймс» навязал читателям Британскую Энциклопедию, но до тех пор, пока этого не произошло, его системе безусловно не одержать верха над Питменовской. За свою жизнь я купил три экземпляра Суита. Через издательство мне известно, что учебник его продолжает упорно вести здоровое затворническое существование. Я овладевал системой Суита дважды, в разные периоды своей жизни, и, однако, эти вот строки записаны по системе Питмена. Причина в том, что моя секретарша не умеет стенографировать по Суиту, так как волею обстоятельств обучалась по школе Питмена. Вот Суит и нападал в своих речах на Питмена так же тщетно, как Терсит на Аякса, и хотя язвительные нападки, может статься, и облегчали его душу, но повальной моды на Универсальный алфавит не обеспечили.

Пигмалион-Хигинс не есть портрет Суита, вся история с Элизой Дулитл для Суита была бы невозможна. Но, как вы увидите, в Хигинсе присутствуют черты Суита. Обладай тот телосложением и темпераментом Хигинса, он сумел бы поджечь Темзу. Будучи же самим собой, Суит как профессионал произвел на Европу такое впечатление, что сравнительная безвестность и непризнание Оксфордом суитовских заслуг до сих пор остаются загадкой для иностранных специалистов в этой области. Я не виню Оксфорд, так как считаю, что Оксфорд вправе требовать от своих питомцев хотя бы толики светской вежливости (видит бог, ничего непомерного нет в этом требовании!). Хотя я хорошо понимаю, как трудно человеку талантливому, чью науку недооценивают, поддерживать безоблачно дружелюбные отношения с теми, кто ее недооценивает и отводит лучшие места менее важным дисциплинам (которые преподают без оригинальности и подчас не имея должных способностей), все же, коль скоро ты изливаешь презрение и ярость,

вряд ли следует ожидать, что тебя будут осыпать почестями.

О последующих поколениях фонетистов я знаю мало. Среди них высится Поэт-лауреат, которому, возможно, Хигинс обязан своим увлечением Мильтоном, но и тут я опять-таки отрицаю всякое портретное сходство. Если моя пьеса доведет до сознания общества, что есть на свете такой народ — фонетисты и что они принадлежат в современной Англии к самым нужным людям, то она сделала свое дело.

Хочу похвастаться: «Пигмалион» пользуется большим успехом во всей Европе и Северной Америке и даже у себя на родине. Пьеса столь интенсивно и нарочито дидактична и тема ее слывет столь сухой, что я с наслаждением сую ее в нос умникам, которые как попугаи твердят, что искусство ни в коем случае не должно быть дидактичным. Она льет воду на мою мельницу, подтверждая, что искусство иным и быть не должно.

И в заключение, чтобы подбодрить тех, кого акцент лишает возможности сделать служебную карьеру, добавлю, что перемена, которую произвел профессор Хигинс в цветочнице, не является чем-то несбыточным и необычным. В наш век дочь консьержа, которая играет королеву Испании в «Рюи Блазе» в Комеди Франсез, осуществляя свои честолюбивые мечты,— лишь одна из многих тысяч (женщин и мужчин), отбросивших родные диалекты, как сбрасывают старую кожу, и приобретших новый язык. Но совершать превращение надо по-научному, иначе последняя стадия обучения может оказаться безнадежнее первой: честный природный диалект трущоб вынести куда легче, чем попытку фонетически необученной личности подражать вульгарному жаргону членов гольф-клуба. А я с сожалением должен признать, что, невзирая на усилия нашей Королевской академии драматического искусства, на сцене нашей до сих пор слишком много поддельного английского, заимствованного именно из гольф-клубов, и слишком мало благородного английского языка Форбса Робертсона.

Ковент-Гарден. 11.15 вечера. Лето. Проливной дождь. Со всех сторон отчаянные гудки автомобилей. Прохожие бегут к рынку и к церкви св. Павла, под портиком которой уже укрылось несколько человек. Среди них дама с дочерью, обе в вечерних туалетах. Все мрачно взирают на потоки дождя, и только один человек, стоящий спиной к остальным, по-видимому, целиком поглощен своей записной книжкой; он торопливо делает какие-то заметки.

Бьет четверть двенадцатого.

Дочь *(стоит между двумя центральными колоннами портика, ближе к левой)*. Я продрогла до костей. Куда пропал Фредди? Вот уже двадцать минут как он ушел.

Мать *(справа от дочери)*. Положим, не двадцать. Но такси он бы все-таки мог уже найти.

Прохожий *(справа от дамы)*. Раньше половины двенадцатого никакого такси он вам не достанет, мэм, и не надейтесь; сейчас все из театров разъезжаются.

Мать. Но нам очень нужно. Мы не можем стоять здесь до половины двенадцатого. Какое безобразие!

Прохожий. А я чем виноват?

Дочь. Будь у него голова на плечах, он давно бы нашел такси у театра.

Мать. Ну что ты хочешь от бедного мальчика?

Дочь. Все достают такси. А он почему не может?

Под потоками дождя со стороны Саутгемптон-стрит вылетает Фредди и становится между ними, закрывая зонтик, с которого стекает вода. Это молодой человек лет двадцати в вечернем костюме, брюки у него мокры по щиколотку.

Дочь. Ну, достал-таки?

Фредди. Нигде ни одного, ни за какие деньги.

Мать. Ах, Фредди, машину всегда можно достать. Ты просто плохо искал.

Дочь. Боже, как мне все надоело. Уж не прикажешь ли нам самим идти за такси?

Фредди. Я же вам говорю, все машины расхватали. Дождь

начался внезапно, никто его не ожидал, и все кинулись искать такси. Я дошел до Черинг-кросс, потом повернул и добрался почти до самого Ледгет-серкус: нигде ни одной свободной машины.

Мать. А на Трафальгар-сквер?

Фредди. И на Трафальгар-сквер ни одной.

Дочь. А ты там был?

Фредди. Я был на Черингкросском вокзале. Ты, вероятно, ожидала, что я пробегусь до Хамерсмита?

Дочь. Никуда ты не ходил.

Мать. Ты в самом деле ужасно беспомощен, Фредди. Иди опять и, пока не найдешь такси, не возвращайся.

Фредди. Только зря вымокну до нитки.

Дочь. А мы? По-твоему, мы всю ночь будем стоять здесь на ветру, в одних платьях? Это свинство. Эгоист несчастный!

Фредди. Ну, ладно, ладно, иду.

Раскрывает зонтик и бросается в сторону Стрэнда, но по дороге сталкивается с уличной цветочницей, которая спешит укрыться от дождя, и выбивает у нее из рук корзину с цветами. Ослепительная вспышка молнии, сопровождаемая оглушительным раскатом грома, служит фоном для этого происшествия.

Цветочница. Ты что, очумел, Фредди? Не видишь, куда прешь!

Фредди. Виноват... *(Убегает.)*

Цветочница *(подбирая рассыпанные цветы и укладывая их в корзинку)*. А еще называется образованный! Все мои фиялочки копытами перемял.

Усаживается у подножия колонны справа от дамы и начинает приводить в порядок цветы. Привлекательной ее не назовешь. Лет ей восемнадцать — двадцать, не больше. На ней маленькая матросская шапочка из черной соломки, с многочисленными следами лондонской пыли и копоти, явно скучающая по щетке. Ее давно не мытые волосы приобрели какой-то неестественный мышиный цвет. Поношенное черное пальто, узкое в талии, едва доходит до колен. На ней коричневая юбка и грубый фартук. Башмаки тоже знавали лучшие дни. Нельзя сказать, что она не старается быть по-своему опрятной, но по сравнению с окружающими ее дамами выглядит настоящей грязнулей. Черты ее лица не хуже, чем у них, но кожа оставляет желать лучшего. К тому же девушка явно нуждается в услугах зубного врача.

Мать. Простите, откуда вы знаете, что моего сына зовут Фредди?

Цветочница. Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как положено, так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом смыться и денег не заплатить. Вот вы теперь и гоните монету!

Приношу извинения, но попытка воспроизвести ее отчаянный диалект без фонетической транскрипции неосуществима за пределами Лондона.

Дочь. Только этого еще не хватало!

Мать. Не вмешивайся, Клара. Есть у тебя мелочь?

Дочь. Шестипенсовик. Мельче нет.

Цветочница *(с надеждой)*. Так я вам его разменяю, леди.

Мать *(Кларе)*. Дай сюда.

Дочь неохотно подчиняется.

Так. *(Цветочнице.)* Вот вам за цветы, милая.

Цветочница. Премного благодарна...

Дочь. Пусть она даст сдачи. Такому букетику красная цена — пенни.

Мать. Помолчи, Клара. *(Цветочнице.)* Сдачу оставьте себе.

Цветочница. У...у...у...х, спасибо вам, леди.

Мать. А теперь скажите мне, откуда вам известно имя этого молодого человека?

Цветочница. Да я его и не знаю.

Мать. Но я слышала, как вы назвали его по имени. Не обманывайте меня.

Цветочница *(возражая)*. А чего мне вас обманывать? Ну, Фредди, Чарли — не все одно? Надо же из вежливости как-то назвать человека. *(Усаживается возле своей корзины.)*

Дочь. Зря только выбросили шесть пенсов. Право, мама, тут уж вы могли бы пощадить Фредди. *(Брезгливо отступает за колонну.)*

Пожилой джентльмен — привлекательный тип старого военного — спешит укрыться от дождя, закрывая на ходу зонтик, с которого льет вода. У него, как и у Фредди, брюки внизу совершенно мокрые. Он в вечернем костюме и легком пальто. Занимает освободившееся место у колонны слева.

Джентльмен. Уфф!

Мать *(джентльмену)*. Ну, как там, сэр? Просвета все еще не видно?

Джентльмен. Ни малейшего намека. Напротив, дождь усиливается. *(Подходит к тому месту, где сидит цветочница, ставит ногу на плинтус колонны и, нагнувшись, подвертывает мокрые брюки.)*

Мать. О господи! *(Огорченно отходит к дочери.)*

Цветочница *(пользуется соседством пожилого джентльмена, чтобы завязать с ним дружеские отношения)*. Раз опять припустил, значит, конец видать. Не огорчайтесь, кэптен, купите лучше букетик у бедной девушки.

Джентльмен. К сожалению, у меня нет мелочи.

Цветочница. Я вам разменяю, кэптен.

Джентльмен. Соверен? Мельче у меня нет.

Цветочница. Ух ты! Купите цветочек, кэптен, купите! Полкроны я еще разменяю. Возьмите вот этот – всего два пенса.

Джентльмен. Не приставай ко мне, девочка, – это нехорошо. *(Шарит по карманам.)* У меня в самом деле нет мелочи... Постой-ка! Вот три монетки по полпенса, если тебя устроит... *(Переходит к другой колонне.)*

Цветочница *(разочарованно, но понимая, что полтора пенса лучше, чем ничего)*. Спасибо вам, сэр.

Прохожий *(цветочнице)*. Эй ты, полегче, взяла деньги – так дай ему цветок. Видишь вон того типа за колонной? Он записывает каждое твое слово.

Все оборачиваются к человеку с записной книжкой.

Цветочница *(испуганно вскакивая)*. Что я худого сделала? Ну, заговорила с джентльменом – так я имею право продавать цветы, если на тротуар не лезу. *(Истерически.)* Я девушка порядочная! Я ничего такого ему не сказала – просто попросила купить цветочек...

Общий шум. Большая часть публики сочувствует цветочнице, но осуждает ее чрезмерную чувствительность. Люди пожилые, солидные треплют ее по плечу, бросая ободряющие реплики вроде: «Чего расхныкалась? Кто тебя трогает? Кому ты нужна? К чему шум поднимать? Ну-ну, успокойся. Будет, будет!» Менее терпеливые рекомендуют ей заткнуть глотку или сердито спрашивают, чего, собственно, она разоралась? Те, кто стояли далеко и не знают, в чем дело, спешат к месту происшествия и усугубляют суматоху расспросами

и объяснениями: «Что за шум? Что она натворила? Где он? Да вот, застукал ее легавый. Какой? Да вон тот, за колонной. Деньги у джентльмена выманила». И так далее. Цветочница, оглушенная и растерянная, протискивается сквозь толпу к джентльмену и громко вопит.

Цветочница. Ой, сэр, пожалуйста, не велите ему заявлять на меня. Вы не знаете, что мне за это будет! У меня отберут патент, меня выкинут на улицу за приставанье к мужчинам. Они мне...

Человек с записной книжкой *(выходит вперед, толпа окружает его)*. Ну, хватит, хватит! Кто вас обижает, глупая вы девчонка! За кого вы меня принимаете?

Прохожий. Все в порядке. Это джентльмен – поглядите, какие у него ботинки. *(Объясняет человеку с записной книжкой.)* Она думала, сэр, что вы легавый.

Человек с записной книжкой *(с живым интересом)*. А что значит «легавый»?

Прохожий *(не находя определения)*. Легавый – это... это... ну, одним словом, легавый. Как его иначе назовешь? Ну, вроде сыщика или полицейского агента.

Цветочница *(все еще истерически)*. Да я на Библии могу присягнуть, что ничего такого...

Человек с записной книжкой *(повелительно, но добродушно)*. Довольно! Замолчите наконец. Разве я похож на полицейского?

Цветочница *(далеко не успокоенная)*. А зачем тогда записывали каждое слово? Почем я знаю, что вы там накатали? А ну-ка, покажите, что у вас там обо мне накарякано?

Он раскрывает записную книжку и сует ей под нос. Толпа, пытаясь прочесть написанное через его плечо, напирает так, что человек послабее не устоял бы на ногах.

Чего это? Написано-то не по-нашему. Я не разбираю...

Человек с записной книжкой. Зато я разберу. *(Читает, точно воспроизводя ее выговор.)* «Ни огарчайтись, кэптин, купитя лучше пукетик у бенной девушки».

Цветочница *(в полном смятении)*. Может, вы за то, что я его назвала «кэптен»? Так я ж ничего плохого не думала. *(Джентльмену.)* Ах, сэр, не велите ему на меня заявлять, за одно только слово. Вы...

Джентльмен. О чем заявлять? Я вас ни в чем не обвиняю.

(К человеку с записной книжкой.) Право, сэр, хоть вы и сыщик, вам вовсе незачем ограждать меня от приставаний, пока я сам не попрошу. Слепому ясно, что у девушки не было дурных намерений.

Голоса в толпе *(протестующе против полицейского произвола)*. Правильно! Чего он суется? Пусть лучше занимается своим делом! Не видите, что ли? Он выслужиться захотел! Каждое слово за человеком записывает! Девушка с ним слова не сказала! А хоть бы и сказала! Хорошенькое дело, девушке уж и от дождя нельзя укрыться, чтобы ее не оскорбили. *(И т. д. и т. п.)*

Прохожие, настроенные наиболее сочувственно, отводят цветочницу обратно к колонне, где она снова усаживается, стараясь побороть волнение.

Прохожий. Никакой он не сыщик. Просто любит соваться в чужие дела. Я же вам говорю, посмотрите на его ботинки.

Человек с записной книжкой *(обернувшись к нему, сердечно)*. Как поживают ваши родные в Селси?

Прохожий *(подозрительно)*. А кто вам сказал, что мои родные из Селси?

Человек с записной книжкой. Неважно кто. Ведь это же так. *(К цветочнице.)* А вас как занесло так далеко на восток? Вы ведь родились в Лисонгрове.

Цветочница *(ошеломленная)*. А что такого, если я уехала из Лисонгрова? Я там в конуре вонючей жила, — у свиньи хлев и то лучше, — а платила четыре шиллинга шесть пенсов в неделю. *(Заливается слезами.)* О... о... о... ой... ой... ой.

Человек с записной книжкой. Живите где угодно, только прекратите реветь.

Джентльмен *(девушке)*. Ну полно, полно! Он не тронет тебя, ты имеешь право жить где хочешь.

Саркастический прохожий *(протискиваясь между человеком с записной книжкой и джентльменом)*. Например, в собственном особняке на Парк-лейн. А знаете, я не прочь обсудить с вами жилищную проблему.

Цветочница *(пригорюнившись над корзиной, потихоньку причитает)*. Я девушка честная. Да, честная.

Саркастический прохожий *(не обращая на нее внимания)*. Ну, а откуда я родом, вы знаете?

Человек с записной книжкой *(не моргнув глазом)*. Из Хокстона.

В толпе хихикают. Интерес к человеку с записной книжкой явно возрастает.

Саркастический прохожий *(пораженный)*. Угадал, ничего не скажешь. Черт побери, да вы действительно всезнайка.

Цветочница *(все еще переживая нанесенную ей обиду)*. Нет у него таких правов, чтобы лезть в чужие дела. Чего он ко мне пристал?

Прохожий *(цветочнице)*. Верно! Вот ты ему и не спускай. *(К человеку с записной книжкой.)* Послушайте, а на каком таком основании вы все знаете о людях, которые с вами не желают иметь дела? Где ваше удостоверение?

Несколько человек из толпы *(ободренные ссылкой на статью закона)*. Точно! Где у вас удостоверение?

Цветочница. А пусть его болтает чего вздумается! Не хочу я с ним связываться.

Прохожий. А все потому, что вы нас за людей не считаете. С джентльменом вы бы себе шутки шутить не позволили.

Саркастический прохожий. Верно! Если уж взялись ворожить, так скажите нам – откуда он взялся? *(Указывает на пожилого джентльмена.)*

Человек с записной книжкой. Челтенхем, Харроу, Кембридж, позднее Индия.

Джентльмен. Совершенно верно.

Толпа разражается хохотом. Теперь сочувствие явно на стороне человека с записной книжкой. Раздаются восклицания: «Все насквозь знает! Так и отрезал! Слыхали, как он ему выложил что, да как, да где?» И т. д.

Джентльмен. Позвольте спросить, сэр. Вы, наверно, из мюзик-холла? Зарабатываете этим номером на жизнь?

Человек с записной книжкой. Я уже подумывал об этом. Возможно, когда-нибудь попробую.

Дождь прекратился, и толпа понемногу начинает расходиться.

Цветочница *(недовольная переменой общего настроения не в ее пользу)*. Никакой он не порядочный. Порядочный не станет обижать бедную девушку.

Дочь *(потеряв терпение, бесцеремонно проталкивается вперед)*. Куда же пропал Фредди? Я схвачу воспаление легких, если еще постою на этом сквозняке.

Пожилой джентльмен, вежливо сторонясь, отступает за колонну.

Человек с записной книжкой *(поспешно делает отметку, повторив про себя)*. Эрлкорт.

Дочь *(возмущенно)*. Попрошу держать при себе свои дерзости.

Человек с записной книжкой. Неужели я сказал что-либо вслух? Простите, это невольно. Но матушка ваша, несомненно, из Эпсома.

Мать *(подходит к дочери и становится между ней и человеком с записной книжкой)*. Подумайте, как интересно! Я действительно выросла в Широкаледи-парк, неподалеку от Эпсома.

Человек с записной книжкой *(весело смеясь)*. Ха-ха-ха! Черт, ну и название. *(К дочери)*. Простите, вам, кажется, нужно такси?

Дочь. Как вы смеете обращаться ко мне!

Мать. Клара, Клара!

Дочь сердито пожимает плечами и, не удостоив ответом, с надменным видом отходит в сторону.

Мы были бы страшно признательны вам, сэр, если бы вы достали для нас такси.

Человек с записной книжкой вытаскивает свисток. Мать отходит к дочери. Человек с записной книжкой пронзительно свистит.

Саркастический прохожий. Видали? Я же говорил, что это шпик, только в штатском.

Прохожий. Нет, у него не полицейский свисток, а спортивный.

Цветочница *(все еще негодуя)*. Нет у него таких правов, чтобы забрать мой патент. Мне нужен патент, как и всякой леди.

Человек с записной книжкой. Кстати, вы заметили, что дождь уже перестал?

Прохожий. И верно. Чего же вы раньше не сказали? А то мы торчим здесь и теряем время: слушаем ваши глупости. *(Уходит по направлению к Стрэнду.)*

Саркастический прохожий. А я могу сказать, откуда вас самих принесло. Из психической лечебницы. Возвращайтесь-ка туда.

Человек с записной книжкой *(поправляя)*. Психиатрической.

Саркастический прохожий *(стараясь говорить изысканно)*. Весьма признателен, господин учитель. Ха-ха-ха! Всего наилучшего! *(Издевательски-почтительно приподымает шляпу и уходит.)*

Цветочница. Людей только пугает! Самого бы его пугнуть.

Мать. Дождя нет, Клара. Теперь можно добраться до автобуса. Идем. *(Подбирает юбку и торопливо уходит по направлению к Стрэнду.)*

Дочь. А как же такси...

Мать уже не слышит ее.

Ах, как мне все надоело! *(С раздраженным видом следует за матерью.)*

Вся публика постепенно разошлась. Остались только человек с записной книжкой, джентльмен и цветочница, которая сидит и, укладывая в корзину цветы, продолжает тихо жаловаться на судьбу.

Цветочница. Бедная ты девушка! И так тебе жизни нет, а тут еще каждый цепляется да надсмехается.

Джентльмен *(возвращаясь на свое прежнее место, слева от человека с записной книжкой)*. Могу я узнать, как это у вас получается?

Человек с записной книжкой. Фонетика и еще раз фонетика. Наука о произношении. Моя профессия и моя страсть. Поистине счастлив тот, кому любимое занятие дает средства к жизни. Ирландца или йоркширца легко узнать по акценту. Но я могу определить место рождения человека с точностью до шести миль, а в Лондоне — двух. Иногда даже в пределах двух улиц.

Цветочница. Стыда на вас нет, бессовестный!

Джентльмен. Неужели этим можно заработать на жизнь?

Человек с записной книжкой. Конечно можно. И на вполне приличную жизнь. Наш век — это век выскочек. Есть люди, которые начинают в Кентиштауне, живя на восемьдесят фунтов, а кончают в особняке на Парк-лейн, имея сто тысяч годового дохода. Они хотят отделаться от Кентиштауна, но стоит им раскрыть рот, как они выдают себя. Я же могу научить их...

Цветочница. Занимался бы лучше своим делом, чем мучить бедную девушку.

Человек с записной книжкой *(вспылив)*. Женщина! Сейчас же прекрати свое мерзкое нытье или ищи себе место на другой паперти.

Цветочница *(с робким вызовом)*. Я имею право тут сидеть, как и вы.

Человек с записной книжкой. Женщина, издающая такие омерзительные и убогие звуки, не имеет права сидеть где бы то ни было. Она вообще не имеет права жить. Не забывайте, что вы человеческое существо, наделенное душой и божественным даром членораздельной речи. Ваш родной язык — язык Шекспира, Мильтона и Библии. А вы тут сидите и квакаете, как простуженная лягушка.

Цветочница *(совершенно подавленная, боясь поднять голову, искоса смотрит на него со смешанным чувством удивления и осуждения)*. Ай... о... о... у... у... а!

Человек с записной книжкой *(хватаясь за карандаш)*. Боже мой! Что за звуки! *(Записывает, затем, глядя в книжку, читает, точно воспроизводя сочетание звуков.)* Ай... о... о... у... у... у... а!

Цветочница *(довольная представлением, невольно смеется)*. Ух ты!

Человек с записной книжкой. Взгляните на эту девчонку! Слышали вы, на каком жаргоне она говорит? Этот жаргон навсегда приковал ее к панели. Так вот, сэр, дайте мне три месяца, и эта девушка сойдет у меня за герцогиню на приеме в любом посольстве. Я даже смогу устроить ее горничной или продавщицей в магазин, где надо говорить совсем уж безукоризненно. Нашим миллионерам я оказываю услуги именно этого рода, а на заработанные деньги веду научные изыскания в области фонетики и немножко занимаюсь поэзией — в духе Мильтона.

Джентльмен. Я сам изучаю индийские диалекты и...

Человек с записной книжкой *(с нетерпением)*. Серьезно? А не знаете ли вы случайно полковника Пикеринга, автора «Разговорного санскрита»?

Джентльмен. Я и есть полковник Пикеринг. А кто вы?

Человек с записной книжкой. Генри Хигинс — изобретатель «Универсального алфавита Хигинса».

Пикеринг *(восторженно)*. Я же приехал из Индии, чтобы повидаться с вами!

Хигинс. А я собирался в Индию, чтобы встретиться с вами!

Пикеринг. Где вы живете?

Хигинс. Уимпол-стрит, двадцать семь «а». Жду вас у себя завтра же.

Пикеринг. Я остановился в отеле «Карлтон». Идемте ко мне, мы еще успеем перекинуться словечком за ужином.

Хигинс. С восторгом!

Цветочница *(Пикерингу, когда он проходит мимо)*. Купите цветочек, добрый джентльмен, а то мне за квартиру платить нечем.

Пикеринг. К сожалению, у меня в самом деле нет мелочи. *(Уходит.)*

Хигинс *(возмущенный лживостью девушки)*. Лгунья! Вы же говорили, что можете разменять полкроны.

Цветочница *(в отчаянии вскакивая)*. Сердце у вас каменное, вот что! *(Швыряет к его ногам корзину.)* Нате, забирайте всю эту чертову корзину за шесть пенсов.

Часы на колокольне бьют половину двенадцатого.

Хигинс *(услышав в этом бое укор свыше за фарисейскую жестокость к бедной девушке)*. Глас божий! *(Торжественно приподнимает шляпу, затем бросает в корзину пригоршню монет и уходит вслед за Пикерингом.)*

Цветочница *(вытаскивая полкроны)*. Ау... у... у... ох! *(Вытаскивает два флорина.)* У... а... а... ооу! *(Вытаскивая еще несколько монет.)* Ую... ю... ю... ай! *(Вытаскивая полсоверена.)* А... а... а... ха... ха... ха... ой!

Фредди *(выскакивая из такси)*. Наконец-то достал! Хелло! *(Цветочнице.)* Тут стояли две дамы. Не знаете, где они?

Цветочница. А как дождь кончился, так они к автобусу и потопали.

Фредди. Безобразие! А что я буду делать с такси?

Цветочница *(величественно)*. Не беспокойтесь, молодой человек. На вашей такси поеду домой я.

Проплывает мимо Фредди к машине. Шофер при виде ее поспешно захлопывает дверцу. Понимая его сомнения, она гордо показывает ему пригоршню монет.

Видал, Чарли? Восемь пенсов для нас – кха, тьфу!

Шофер ухмыляется и открывает ей дверцу.

Энджел-корт, Друри-Лейн, за керосиновой лавкой. И жми на всю железку!

С шумом захлопывает дверцу. Такси трогается.

Фредди. Вот это номер!

Одиннадцать утра. Кабинет Хигинса на Уимпол-стрит. Это комната в первом этаже, окнами на улицу, первоначально предназначавшаяся под гостиную. Посередине задней стены — двустворчатая дверь: входя через нее, видишь справа у стены два высоких картотечных шкафа, стоящих под прямым углом друг к другу. Там же письменный стол, где громоздятся фонограф, ларингоскоп, батарея тонких органных труб с воздуходувными мехами, ряд газовых горелок под ламповыми стеклами, подсоединенных резиновым шлангом к газовому рожку на стене, несколько разного размера камертонов, муляж человеческой головы в натуральную величину, показывающий голосовые органы в разрезе, и коробка с запасными восковыми валиками для фонографа.

По эту же сторону — камин; возле него, ближе к двери,— удобное кожаное кресло и ящик для угля. На каминной доске — часы. Между письменным столом и камином — журнальный столик.

По левую руку от двери — шкафчик с неглубокими ящиками; на нем телефон и телефонная книга. Почти вся остающаяся часть левого угла занята концертным роялем, расположенным хвостом к двери; перед роялем не табурет, как обычно, а скамейка во всю длину клавиатуры. На рояле ваза с фруктами и сладостями, преимущественно шоколадными конфетами.

Середина кабинета пуста. Кроме кресла, скамейки и двух стульев у письменного стола, в комнате есть лишь еще один стул, не имеющий определенного назначения. Сейчас он придвинут к камину. На стенах гравюры, в основном Пиранези, и портреты мецца-тинто. Картин нет.

Пикеринг, сидя у стола, раскладывает по местам камертон и карточки, которыми только что пользовался. Хигинс, стоя рядом, у картотеки, водворяет обратно выдвинутые ящики. Сейчас, при дневном свете, видно, что это крепкий, жизнерадостный, отменного здоровья мужчина лет сорока, в костюме, свидетельствующем о принадлежности к определенной профессии,— черный сюртук, крахмальный воротничок, черный шелковый галстук. Он один из тех энергичных людей науки, которые глубоко, даже страстно интересуются всем, что может служить

предметом научного исследования, и в то же время равнодушны к себе и ближним, а заодно и к их чувствам. Несмотря на возраст и внушительную комплекцию, он, в сущности, очень похож на непоседу ребенка, который шумно и бурно реагирует на все, что привлекает его внимание, и за которым нужно внимательно присматривать, чтобы он не натворил беды. По-детски неустойчиво и его поведение: добродушная ворчливость в минуты хорошего настроения мгновенно сменяется у него яростными вспышками, как только ему что-нибудь не по нраву; но он так непосредствен и бесхитростен, что симпатичен даже тогда, когда заведомо не прав.

Хигинс *(задвигая последний ящик)*. Ну вот, как будто и все.

Пикеринг. Поистине потрясающе. Но знаете, я не воспринял даже половины.

Хигинс. Хотите снова прослушать на выбор?

Пикеринг *(встает, подходит к камину и становится спиной к огню)*. Нет, спасибо, больше не могу. На сегодня хватит.

Хигинс *(идет за ним и становится рядом, с левой стороны)*. Устали слушать звуки?

Пикеринг. Да. Ужасное напряжение. А я-то гордился, что могу отчетливо произнести двадцать четыре гласных. Но ваши сто тридцать сразили меня. В большинстве случаев я даже не могу уловить разницу между ними.

Хигинс *(посмеиваясь, отходит к роялю и берется за конфеты)*. Вопрос привычки. Вначале вы не улавливаете разницы; но вслушайтесь хорошенько и вскоре убедитесь, что они отличаются друг от друга, как А от Б.

В комнату заглядывает миссис Пирс, экономка Хигинса.

В чем дело, миссис Пирс?

Миссис Пирс *(колеблясь: она явно растеряна)*. Какая-то юная особа желает вас видеть, сэр.

Хигинс. Юная особа? А что ей угодно?

Миссис Пирс. Видите ли, сэр, она утверждает, что вы очень обрадуетесь, когда узнаете, зачем она пришла. Совсем простая девушка, сэр. Из самых простых. Я бы сразу выпроводила ее, но подумала, может быть, она вам нужна, чтобы наговаривать в ваши машины. Не знаю, правильно ли я поступила, но к вам иногда приходят такие странные люди... Надеюсь, вы меня извините, сэр...

Хигинс. Ничего, ничего, миссис Пирс. А у нее забавное произношение?

Миссис Пирс. Кошмарное, сэр, просто кошмарное. Не понимаю, как вы можете интересоваться такими вещами.

Хигинс *(Пикерингу)*. Давайте послушаем. Тащите ее сюда, миссис Пирс. *(Бросается к письменному столу и достает новый валик для фонографа.)*

Миссис Пирс *(подчиняясь не без внутренней борьбы)*. Слушаю, сэр. Как вам угодно. *(Уходит.)*

Хигинс. Какая удача! Я покажу вам, как делаю запись. Заставим ее говорить — я запишу ее сначала по системе Белла, а затем латинским алфавитом. Потом запишем ее на фонограф, и вы сможете прослушивать запись сколько захотите, сравнивая звук с транскрипцией.

Миссис Пирс *(возвращаясь)*. Вот эта юная особа, сэр.

Входит цветочница. Она в полном параде. На голове у нее шляпа с тремя страусовыми перьями: оранжевого, небесно-голубого и красного цвета. Ее передник почти чист, и грубошерстное пальто подверглось воздействию щетки.

Пафос этой жалкой фигурки, с ее наивным тщеславием и видом важной дамы, трогает Пикеринга, который и так уже выпрямился в кресле при появлении миссис Пирс. Что касается Хигинса, то ему безразлично, с мужчиной или женщиной он имеет дело; разница заключается лишь в том, что в тех случаях, когда он не воздевает руки к небу в отчаянии от тупости какого-нибудь небесного создания или же не помыкает им, он заискивает перед женщиной, как ребенок перед своей нянькой, когда ему хочется выпросить у нее что-нибудь.

Хигинс *(сразу узнав цветочницу и не скрывая своего разочарования, которое у него, как у ребенка, превращается в смертельную обиду)*. Это же та девчонка, которую я записал вчера вечером. Она нам не нужна. У меня достаточно записей с лисонгровским жаргоном. Нет смысла тратить на нее еще один валик. *(Цветочнице.)* Уходите, вы нам не нужны.

Цветочница. А вы не задирайте нос раньше времени! Вы еще не знаете, зачем я пришла.

К миссис Пирс, которая остановилась в дверях, ожидая дальнейших приказаний.

Вы сказали ему, что я приехала на такси?

Миссис Пирс. Какие глупости, моя милая! Неужели вы думаете, что такому джентльмену, как мистер Хигинс, не все равно, на чем вы приехали?

Цветочница. Ого, какие мы гордые! А ведь он не брезгует давать уроки; я сама слышала, как он говорил. Ну так вот! Я сюда не кланяться пришла. Если мои денежки вам не по вкусу, я пойду к другому.

Хигинс. При чем здесь ваши деньги?

Цветочница. Как при чем? При том, что я пришла брать уроки. Теперь расчухали? И платить за них собираюсь, не сумлевайтесь!

Хигинс *(ошеломлен)*. Ну, знаете! *(С трудом переводя дыхание.)* И чего же вы ожидаете от меня?

Цветочница. А были бы вы джентльменом, так для начала предложили бы мне сесть. Я ведь уже сказала, что дам вам заработать.

Хигинс. Пикеринг, как мы поступим с этим пугалом? Предложим ей сесть или вышвырнем ее за окно?

Цветочница *(в ужасе отступает за рояль, готовая отчаянно защищаться)*. А-а-оо-уу. *(Оскорбленная в своих лучших чувствах, хнычет.)* Что вы обзываете меня пугалом? Я же сказала, что буду платить, как всякая другая леди.

Мужчины, остолбенев, растерянно смотрят на нее.

Пикеринг *(мягко)*. Чего вы хотите, дитя мое?

Цветочница. Я хочу быть продавщицей в цветочном магазине, а не торговать фиалками на углу Тотенхэм Кортроуд. А меня туда не возьмут, если я не буду выражаться по-образованному. А он сказал, что берется научить меня. Я не прошу никаких одолжениев, понятно? Я могу заплатить, а он меня обзывает, словно я дрянь последняя.

Миссис Пирс. Как можно быть такой глупой, невежественной девушкой? Неужели вы думаете, что вы в состоянии брать уроки у мистера Хигинса?

Цветочница. А почему бы нет? Я не хуже вас знаю, почем стоят уроки, и согласна платить.

Хигинс. Сколько?

Цветочница *(приближаясь к нему, торжествующе)*. Наконец-то заговорил по-людски. Я ведь знала: стоит вам увидеть, что можно вернуть хоть часть того, что вы швырнули мне вчера вечером, вы сразу станете посговор-

чивее. *(Доверительно.)* Малость подзаложили за галстук, а?

Хигинс *(повелительно)*. Сядьте!

Цветочница. Только выкиньте из головы, что мне из милости...

Хигинс *(громовым голосом)*. Кому я сказал? Сядьте!

Миссис Пирс *(строго)*. Садитесь, моя милая. Делайте, что вам велят.

Придвигает свободный стул к камину между Хигинсом и Пикерингом и становится за ним, ожидая, пока девушка сядет.

Цветочница. А... аааооу...у. *(Стоит ошеломленная, но с вызывающим видом.)*

Пикеринг *(с изысканной вежливостью)*. Не присядете ли?

Цветочница *(неуверенно)*. Что ж, это можно. *(Садится.)*

Пикеринг возвращается к камину.

Хигинс. Как вас зовут?

Цветочница. Элиза Дулитл.

Хигинс *(торжественно декламирует)*.

Элиза, Элизабет, Бетси и Бесс
Удрали за птичьими гнездами в лес.

Пикеринг. В гнезде там четыре яйца отыскали.

Хигинс. Оставили три, а по штучке забрали.

Оба заливаются хохотом, довольные своим остроумием.

Элиза. Хватит дурить-то!

Миссис Пирс. Так, милая, с джентльменами говорить не полагается.

Элиза. А чего он со мной не по-людски разговаривает?

Хигинс. Вернемся к делу. Сколько же вы намерены платить за уроки?

Элиза. Да уж я знаю, сколько положено. Моя подружка берет уроки французского языка по восемнадцать пенсов за час. Так то у настоящего француза. А у вас ведь не хватит нахальства брать с меня за мой родной язык столько же. Вот я и не дам больше шиллинга. Хотите – берите, не хотите – как хотите.

Хигинс *(расхаживает по комнате и, засунув руки в карманы, позванивает ключами и мелочью)*. Знаете, Пикеринг, если рассматривать шиллинг не просто как шиллинг, а как некий процент с ее заработка, то он для нее то же, что

шестьдесят-семьдесят фунтов для какого-нибудь миллионера.

Пикеринг. То есть как?

Хигинс. А вот так — посчитайте сами. Миллионер имеет примерно сто пятьдесят фунтов в день. Она зарабатывает примерно полкроны.

Элиза *(заносчиво)*. Кто это вам сказал, что я зарабатываю только...

Хигинс *(продолжая)*. Она предлагает мне за уроки две пятых своего дневного дохода. Две пятых дневного дохода миллионера составили бы примерно шестьдесят фунтов. Недурно! Нет, черт побери, колоссально! Это, пожалуй, самый высокий гонорар в моей жизни.

Элиза *(вскочив в ужасе)*. Шестьдесят фунтов! Что вы такое городите! Я и не думала предлагать вам шестьдесят фунтов. Откуда мне их взять...

Хигинс. Придержите язык!

Элиза *(плача)*. Нету у меня столько...

Миссис Пирс. Не плачьте, глупенькая. Сядьте. Никто не возьмет ваших денег.

Хигинс. Зато кто-то возьмет метлу и всыпет вам как следует, если не перестанете реветь. Сядьте.

Элиза *(нехотя повинуется)*. О-о-о...ааy. Полегче — вы мне пока что не отец!

Хигинс. Если уж я возьмусь вас учить, то буду пострашнее двух отцов. Нате. *(Протягивает ей свой шелковый носовой платок.)*

Элиза. Это еще для чего?

Хигинс. Чтобы вытирать глаза. Вытирать нос, вытирать все, что окажется мокрым; и запомните: вот это — платок, а это — рукав. Не путайте их, если хотите стать леди и поступить в цветочный магазин.

Окончательно сбитая с толку, Элиза беспомощно смотрит на него.

Миссис Пирс. Бесполезно с ней говорить, мистер Хигинс: она же вас не понимает. Кроме того, вы не правы, она рукавом не утирается. *(Берет у нее носовой платок.)*

Элиза *(вырывая платок)*. Еще чего! Отдавайте платок! Он не вам его дал, а мне.

Пикеринг *(смеясь)*. Верно. Боюсь, миссис Пирс, что платок теперь придется рассматривать как ее собственность.

Миссис Пирс *(подчиняясь силе обстоятельств)*. Так вам и надо, мистер Хигинс.

Пикеринг. Послушайте, Хигинс! Мне пришла в голову интересная мысль. Помните, вы похвастались, что сумели бы выдать ее за герцогиню на приеме в посольстве? Если вам это удастся, я признаю, что вы лучший педагог в мире. Держу пари на все издержки по эксперименту, что вам это не удастся. Я даже согласен платить за ее уроки.

Элиза. Вот это добряк! Спасибо, кэптен.

Хигинс *(соблазненный предложением, смотрит на Элизу)*. Чертовски соблазнительно! Она так неподражаемо вульгарна, так невероятно грязна.

Элиза *(с возмущением)*. Оау-ооооо. И совсем я не грязная. Я мыла и лицо и руки, а потом уж пошла к вам. Вот!

Пикеринг. Вы, безусловно, не вскружите ей голову комплиментами, Хигинс.

Миссис Пирс *(с беспокойством)*. Не скажите, сэр. Есть много способов вскружить голову девушке, и нет человека, который бы умел это делать лучше, чем мистер Хигинс, пусть даже не всегда умышленно. Надеюсь, сэр, вы не толкнете его на безрассудные поступки.

Хигинс *(зажигаясь идеей Пикеринга)*. Что такое жизнь, как не ряд безрассудных поступков? Вот повод для них найти труднее. Никогда не упускай случая: он подворачивается не каждый день. Согласен! Я сделаю герцогиню из этой чумички, из этого грязного, вонючего окурка!

Элиза *(энергично протестуя против такой оценки ее особы)*. Ооооааау!

Хигинс *(с увлечением)*. Через полгода, да нет, через три месяца, если у нее хороший слух и гибкий язык — я свезу ее куда угодно и выдам за кого угодно. Начнем сегодня же! Сейчас! Сию минуту! Миссис Пирс, возьмите ее и отмойте хорошенько! Не поможет мыло, трите наждаком! Плиту вы уже затопили?

Миссис Пирс *(протестуя)*. Да, но...

Хигинс *(неистово)*. Сорвите с нее все эти тряпки и немедленно сожгите. Позвоните к Уайтли или в любой магазин и велите прислать все новое! А пока не привезут — заверните ее в газету.

Элиза. Вы не джентльмен, никакой вы не джентльмен, если говорите такие вещи. Я честная девушка, да, честная. Знаю я таких, как вы! Видала!

Хигинс. Вот что, милая, хватит с меня вашей лисонгровской добродетели. Вы должны теперь учиться вести себя как герцогиня. Уведите ее, миссис Пирс. Если она не будет слушаться, вздуйте ее!

Элиза *(вскакивает и бросается к Пикерингу, ища защиты)*. Нет! Я позову полицию, вот увидите, позову!

Миссис Пирс. Но у меня нет для нее места.

Хигинс. Суньте ее в мусорное ведро!

Элиза. Ааоооооооу!

Пикеринг. Ну-ну, Хигинс! Будьте же благоразумны!

Миссис Пирс *(решительно)*. Вы должны быть благоразумны, мистер Хигинс, право, должны. Нельзя так третировать людей.

Хигинс, получив нагоняй, стихает. Ураган переходит в ласкающий ветерок изумления.

Хигинс *(с профессиональной изысканностью модуляций)*. Я третирую людей! Дорогая моя миссис Пирс, дорогой мой Пикеринг, я не имел ни малейшего намерения третировать кого бы то ни было. Наоборот! Я считаю, что все мы должны как можно лучше отнестись к этой бедной девушке. Мы должны подготовить ее к новому образу жизни и помочь ей освоиться с ним. Если я недостаточно вразумительно высказывался, то делал это лишь из боязни ранить ее или ваши чувства.

Элиза, успокоившись, пробирается на свое прежнее место.

Миссис Пирс *(Пикерингу)*. Нет, вы слыхали что-либо подобное, сэр?

Пикеринг *(смеясь от души)*. Никогда, миссис Пирс, никогда.

Хигинс *(терпеливо)*. А в чем, собственно, дело?

Миссис Пирс. А дело в том, что нельзя же вот так просто подобрать девушку, как подбирают камешек на пляже.

Хигинс. А почему бы нет?

Миссис Пирс. Как почему? Да ведь вы ничего о ней не знаете. Кто ее родители? К тому же она может быть замужем.

Элиза. Черта с два!

Хигинс. Вот именно. Как совершенно справедливо выразилась девушка — черта с два! Какой там замужем! Разве вы не знаете, что женщина ее происхождения, пробыв год замужем, выглядит как пятидесятилетняя поденщица.

Элиза. Да кто на мне женится!

Хигинс *(внезапно переходя на самые волнующие, низкие ноты своего голоса и к самым убедительным приемам своего красноречия)*. Клянусь вам, Элиза, еще прежде чем я ус-

пею обучить вас, улицы у вашего дома будут усеяны трупами мужчин, застрелившихся от безумной любви к вам.

Миссис Пирс. Хватит, сэр. Вам не следует так разговаривать с ней.

Элиза *(решительно встает и выпрямляется)*. Я ухожу. У него у самого не все дома! Ясно! Не нужно мне тронутых учителей!

Хигинс *(оскорбленный до глубины души тем, что она осталась глуха к его красноречию)*. Ах вот как! Я сумасшедший, не так ли? Прекрасно. Миссис Пирс, не заказывайте ей новые платья. Вышвырните ее.

Элиза *(хнычет)*. Легче, легче... Нет у вас таких прав, чтобы меня трогать.

Миссис Пирс. Видите, к чему приводит дерзость. *(Указывая на дверь.)* Сюда, пожалуйста.

Элиза *(чуть не плача)*. Я и не просила платьев. Я бы все равно их не взяла. *(Бросает платок Хигинса.)* Я сама могу себе платья купить.

Хигинс *(ловко подхватывает платок и загораживает ей дорогу)*. Вы дрянная, неблагодарная девчонка. Вот как вы мне платите за то, что я хотел вытащить вас из грязи, красиво одеть и сделать настоящей леди.

Миссис Пирс. Довольно, мистер Хигинс! Я этого не допущу. Дурно поступаете вы, а не она. Возвращайтесь домой к родителям, дитя мое, и скажите им, чтобы они лучше смотрели за вами.

Элиза. Нет у меня никаких родителей. Они сказали, что я уже взрослая, сама могу прокормиться, и выгнали меня.

Миссис Пирс. А где ваша мать?

Элиза. Нет у меня матери. А выгнала меня моя мачеха... шестая. Ну и наплевать – я и без них обхожусь. Но вы не думайте, я девушка честная.

Хигинс. Вот и прекрасно! К чему тогда весь шум? «Нет у нее никаких родителей». Девушка никому не принадлежит и никому не нужна, кроме меня. *(Подходит к миссис Пирс и вкрадчиво убеждает.)* Вы же можете удочерить ее, миссис Пирс. Иметь дочку – такая радость. А теперь довольно болтовни. Тащите ее вниз и...

Миссис Пирс. Но что станется с ней? Собираетесь ли вы платить ей? Опомнитесь же, сэр.

Хигинс *(нетерпеливо)*. Да платите вы ей сколько положено; можете занести это в графу хозяйственных расходов. А зачем, черт побери, ей деньги? У нее будет вдоволь еды и платьев. А если дать ей денег, она запьет.

Элиза *(набрасываясь на него)*. Совести у вас нет! Все вы врете! В жизни никто не видел, чтобы я хоть каплю спиртного в рот взяла. *(Возвращается к своему стулу и с вызывающим видом садится.)*

Пикеринг *(с добродушным упреком)*. А вам не приходит в голову, Хигинс, что у девушки могут быть какие-то чувства?

Хигинс *(критически осматривая ее)*. Нет, вряд ли. Во всяком случае, не такие, которые следовало бы принимать во внимание. *(Весело.)* Есть у вас какие-нибудь чувства, Элиза, а?

Элиза. У меня чувства такие, как у всех людей.

Хигинс *(задумчиво)*. Понимаете вы, Пикеринг, в чем трудность?

Пикеринг. Что? Какая трудность?

Хигинс. Исправить произношение легко. Научить грамотно говорить — куда труднее.

Элиза. Не желаю я грамотно говорить. Я хочу говорить как леди.

Миссис Пирс. Мистер Хигинс, прошу вас, не уклоняйтесь в сторону. Я должна знать, на каких условиях остается здесь девушка. Собираетесь вы платить ей жалованье? Что станет с ней, когда вы кончите ее учить? Надо же хоть немного смотреть вперед, сэр.

Хигинс *(нетерпеливо)*. А что станет с ней, если я оставлю ее в канаве? Ответьте-ка мне на этот вопрос, миссис Пирс.

Миссис Пирс. Это дело ее, а не ваше, мистер Хигинс.

Хигинс. В таком случае, когда я закончу обучение, мы сможем выбросить ее обратно в канаву, и это снова станет ее делом, так что все в порядке.

Элиза. Сердца у вас нет; на всех вам наплевать, кроме себя. *(Встает и решительно объявляет.)* Хватит с меня, я ухожу. *(Направляется к двери.)* Постыдились бы вы, да, постыдились.

Хигинс *(берет конфету из вазы на рояле, глаза его лукаво блестят)*. Возьмите шоколадку, Элиза.

Элиза *(колеблется, поддаваясь соблазну)*. Почем я знаю, что там внутри? Такие вот, как вы, отравили не одну порядочную девушку. Я знаю, слышала.

Хигинс вынимает перочинный нож, разрезает конфету, кладет половинку в рот и, смакуя ее, протягивает вторую половинку девушке.

Хигинс. Вот, смотрите, в залог доверия, одну половину вам, другую — мне.

Элиза хочет что-то возразить, Хигинс всовывает ей в рот конфету.

Вы будете получать шоколад коробками, бочками, каждый день. Вы только им и будете питаться. Ну как?

Элиза *(наконец проглатывает конфету, чуть не подавившись ею)*. Сдалась мне ваша конфета! Я бы и не стала ее есть, только я слишком хорошо воспитана, чтобы плеваться.

Хигинс. Послушайте, Элиза, вы, кажется, приехали в такси?

Элиза. Ну, а если приехала? Я что, не имею права на такси ездить, как все?

Хигинс. Имеете, имеете, Элиза. Теперь вы будете ездить в такси сколько захотите. Можете хоть каждый день кататься по всему городу и вдоль, и поперек, и вокруг. Подумайте об этом, Элиза.

Миссис Пирс. Мистер Хигинс, вы искушаете девушку. Это нехорошо. Ей надо думать о будущем.

Хигинс. В ее возрасте! Вздор! О будущем она успеет подумать тогда, когда впереди уже не будет будущего. Нет, Элиза, берите пример с этой леди: думайте о чужом будущем, но никогда не размышляйте о своем собственном. Думайте лучше о шоколаде и такси, о золоте и бриллиантах.

Элиза. Не хочу я вашего золота и бриллиантов. Я порядочная девушка, вот! *(Снова садится, пытаясь принять позу, исполненную достоинства.)*

Хигинс. Вы и останетесь порядочной девушкой — об этом позаботится миссис Пирс. А замуж вы выйдете за гвардейского офицера с пышными усами. Он окажется сыном маркиза, и отец сначала лишит его наследства за то, что он женился на вас, а потом, тронутый вашей красотой и добродетелью, смягчится и...

Пикеринг. Простите, Хигинс, но я обязан вмешаться. Миссис Пирс, безусловно, права. Раз девушка намерена довериться вам на полгода, то есть на время вашего опыта, она должна ясно понимать, что делает.

Хигинс. Невозможно! Она решительно неспособна понимать что бы то ни было. Да и вообще, кто из нас понимает, что делает? Мы бы никогда ничего не сделали, если бы понимали, что делаем.

Пикеринг. Очень остроумно, Хигинс, но маловразумительно. *(Элизе.)* Мисс Дулитл...

Элиза *(ошеломленная)*. А... у... у... у... о!..

Хигинс. Ну вот! Это все, что можно выжать из Элизы. А... у... у... у... о! Объяснять ей что-либо — бесполезно. Вы должны понимать это, как человек военный. Ей надо приказывать — вот и все, что требуется. Элиза, вы будете жить здесь полгода и учиться красиво говорить, как леди из цветочного магазина. Если вы будете слушаться и делать то, что вам скажут, вы будете спать в хорошей спальне, есть вволю, покупать конфеты и разъезжать в такси. Если вы будете непослушной и ленивой, вы будете спать в чулане с черными тараканами, и миссис Пирс будет колотить вас метлой. Через полгода вы наденете роскошное платье и в карете поедете в Бэкингэмский дворец. Если король увидит, что вы не настоящая леди, он прикажет полицейским засадить вас в Тауэр, где вам отрубят голову в назидание другим дерзким цветочницам. Если же никто ничего не узнает, вы получите в подарок семь шиллингов шесть пенсов, поступите продавщицей в цветочный магазин и начнете новую жизнь. Если вы откажетесь от моего предложения, значит, вы самая неблагодарная и злая девчонка на свете, и ангелы будут плакать, глядя на вас. *(Пикерингу.)* Надеюсь, теперь вы удовлетворены, Пикеринг? *(Миссис Пирс.)* Я полагаю, что объяснил все предельно ясно и просто. Не так ли, миссис Пирс?

Миссис Пирс *(терпеливо)*. Позвольте мне лучше, сэр, поговорить с девушкой с глазу на глаз. Не знаю, смогу ли я взять на себя заботу о ней и вообще соглашусь ли я на эту затею. Конечно, я уверена, что вы не желаете ей зла, но уж если вы заинтересуетесь произношением человека, так забываете обо всем на свете. Пойдемте со мной, Элиза.

Хигинс. Отлично, миссис Пирс, благодарю вас. Тащите ее в ванну.

Элиза *(неохотно вставая, подозрительно)*. Невежа вы, вот кто. Не понравится мне здесь, так я и не останусь, а уж бить себя метлой никому не дам. Не просилась я в ваш Бэкнемский дворец. А с полицией никогда делов не имела, никогда. Я девушка порядочная...

Миссис Пирс. Нельзя возражать старшим, моя милая. Вы не поняли этого джентльмена. Пойдемте, пойдемте. *(Ведет Элизу и распахивает перед ней дверь.)*

Элиза *(на пороге)*. А чего там, я правду сказала. И не стану я соваться ни к какому королю, пусть мне хоть голову

отрубят. Знала бы я, что здесь получится, ни за какие коврижки не пришла бы. Я всегда была девушка честная, к нему я не лезла, ничего я ему не должна, наплевать мне, не позволю над собой измываться, и какие у всех людей чувства, такие и у меня...

Миссис Пирс закрывает дверь, и причитаний Элизы больше не слышно. Пикеринг отходит от камина и, усевшись верхом на стул, кладет локти на спинку.

Пикеринг. Простите за откровенный вопрос, Хигинс. Порядочный ли вы человек в отношениях с женщинами?

Хигинс *(уныло)*. А вы встречали мужчин, которые были бы порядочны в отношениях с женщинами?

Пикеринг. Да, довольно часто.

Хигинс *(опершись ладонями на крышку рояля, подпрыгивает, с шумом усаживается и авторитетно объясняет)*. Ну, а я не встречал! Стоит только женщине сблизиться со мной, как она становится ревнивой, требовательной, подозрительной и чертовски надоедливой. Стоит только мне сблизиться с женщиной, как я превращаюсь в тирана и эгоиста. Женщины все ставят с ног на голову. Впустите только женщину в свою жизнь, и вы обязательно увидите, что ей всегда нужно одно, а вам — совершенно другое.

Пикеринг. Что же, например?

Хигинс *(в нетерпении спрыгивает с рояля)*. А черт его знает! Вероятно, женщина хочет жить своей жизнью, а мужчина своей, причем каждый старается свести другого с правильного пути. Один хочет ехать на юг, другой — на север, в результате оба вынуждены отправиться на восток, хотя оба не выносят восточного ветра. *(Садится на скамейку у рояля.)* Вот почему я старый убежденный холостяк и, по-видимому, таковым и останусь.

Пикеринг *(встает и, подойдя к нему, говорит серьезно)*. Бросьте, Хигинс! Вы прекрасно понимаете, что́ я имею в виду. Приняв участие в этой затее, я беру на себя ответственность за судьбу девушки. Надеюсь, вы не попытаетесь злоупотребить ее положением? Ясно?

Хигинс. Что? Ах, вот вы о чем! Дело свято — можете быть спокойны. *(Встает и объясняет.)* Поймите, она ведь будет моей ученицей, а научить чему-нибудь можно лишь при условии, что личность ученика — священна. Я научил десятки американских миллионерш правильно говорить по-английски, а это самые красивые женщины в мире.

Я человек закаленный. На уроке женщина для меня все равно что полено, и сам я не мужчина, а полено. Видите ли...

Миссис Пирс приоткрывает дверь. В руках у нее шляпа Элизы. Пикеринг усаживается в кресло перед камином.

(Живо.) Ну что, миссис Пирс? Все в порядке?

Миссис Пирс *(в дверях)*. Если разрешите, мистер Хигинс, я хотела бы сказать вам несколько слов.

Хигинс. Разумеется, миссис Пирс. Входите.

Она входит в комнату.

Не сжигайте это *(он берет у нее шляпу)*, я хочу сохранить ее как антикварную редкость.

Миссис Пирс. Только, пожалуйста, поосторожнее, сэр. Мне пришлось дать девушке слово, что я не сожгу эту шляпу, но немножко прокалить ее в печке отнюдь не мешает.

Хигинс *(поспешно кладет шляпу на рояль)*. Спасибо за предупреждение! Так что же вы хотите мне сказать?

Пикеринг. Я не помешаю?

Миссис Пирс. Нисколько, сэр. Мистер Хигинс, очень прошу вас тщательно выбирать выражения в присутствии этой девушки.

Хигинс *(строго)*. Разумеется. Я всегда чрезвычайно тщательно выбираю выражения. Почему вас это беспокоит?

Миссис Пирс *(невозмутимо)*. Нет, сэр, вы вовсе не выбираете выражения, особенно если что-нибудь ищете или теряете терпение. Для меня это не имеет значения: я привыкла. Но, право, вам не следует ругаться при девушке.

Хигинс *(возмущенно)*. Я — ругаюсь! *(С пафосом.)* Я никогда не ругаюсь. Терпеть не могу сквернословия. Какого черта вы имеете в виду?

Миссис Пирс *(бесстрастно)*. Как раз это я и имею в виду, сэр. Вы злоупотребляете бранными словами. С проклятиями я готова примириться: «к черту», «на черта», «какого черта», «какому черту» — это еще куда ни шло...

Хигинс. Миссис Пирс! Что за выражения я слышу от вас! Ну, знаете!

Миссис Пирс *(твердо)*. ...но есть одно слово, которое я самым настоятельным образом прошу не употреблять. Девушка только что сама произнесла это слово, стукнувшись о дверь. Кстати, оно начинается на ту же букву. Девушке простительно, сэр, она с детства ничего другого не слышала. Но она не должна слышать этого слова от вас.

Хигинс *(надменно)*. Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь произносил это слово, миссис Пирс.

Миссис Пирс пристально смотрит на него. Он вынужден добавить с мнимым беспристрастием судьи.

Разве в редкие минуты крайнего и справедливого возмущения.

Миссис Пирс. Еще сегодня утром, сэр, вы помянули этим словом свои ботинки, масло и хлеб.

Хигинс. Вот как! Но это же просто метафора, вполне естественная в устах поэта.

Миссис Пирс. Как бы это ни называлось, сэр, прошу вас не повторять этого слова при девушке.

Хигинс. Ну ладно, ладно, не буду. Это все?

Миссис Пирс. Нет, сэр. Присутствие девушки обязывает нас быть особенно аккуратными и опрятными.

Хигинс. Несомненно. Вы совершенно правы. Это очень важно.

Миссис Пирс. Ее нужно отучить от неряшливости в одежде и нельзя позволять ей разбрасывать повсюду свои вещи.

Хигинс *(подходя к ней, торжественно)*. Золотые слова! Я как раз хотел обратить на это ваше внимание. *(Отходит к Пикерингу, который наслаждается этим разговором.)* Именно такие мелочи, Пикеринг, имеют огромное значение. Береги пенсы, а фунты сами себя сберегут — эту пословицу можно в равной мере отнести и к нашим личным привычкам и к деньгам. *(Теперь Хигинс бросил якорь на коврике у камина с видом человека, занявшего неприступную позицию.)*

Миссис Пирс. Да, сэр. В таком случае я попрошу вас не выходить к завтраку в халате или, по крайней мере, возможно реже пользоваться им вместо салфетки. А если вы еще будете так любезны и перестанете есть все с одной тарелки, и запомните, что не следует ставить кастрюльку с овсянкой прямо на чистую скатерть, то у девушки перед глазами всегда будет полезный пример. Ведь на прошлой неделе вы чуть не подавились рыбьей костью, которая ни с того ни с сего очутилась в вашем варенье.

Хигинс *(снявшись с якоря, снова берет курс к роялю)*. Допускаю, что такое может произойти со мной — по рассеянности. Во всяком случае, не часто. *(Разозлившись.)* Кстати, от моего халата чертовски разит бензином.

Миссис Пирс. Верно, мистер Хигинс. Но если вы будете вытирать руки...

Хигинс *(вопит)*. Ну хорошо, хорошо, хорошо! Отныне я буду вытирать их о свои волосы.

Миссис Пирс. Надеюсь, вы не обиделись на меня, мистер Хигинс?

Хигинс *(смутясь при мысли, что его могли заподозрить в столь недобрых чувствах)*. Что вы, что вы, миссис Пирс! Вы совершенно правы. Я буду крайне осмотрителен при девушке. Теперь все?

Миссис Пирс. Нет, сэр. Не разрешите ли мне дать ей пока один из японских халатов, которые вы привезли из-за границы? Я просто не решаюсь снова надеть на нее старое платье.

Хигинс. Разумеется, разрешаю. Берите все, что хотите. А теперь, наконец, все?

Миссис Пирс. Теперь все. Благодарю вас, сэр. *(Уходит.)*

Хигинс. Знаете, Пикеринг, у этой женщины совершенно превратное представление обо мне. Я человек скромный и застенчивый. Мне до сих пор кажется, что я не такой взрослый и внушительный, как другие. И тем не менее она глубоко убеждена, что я деспот, домашний тиран и сумасброд. Почему – не понимаю.

Миссис Пирс возвращается.

Миссис Пирс. Ну вот, сэр, неприятности уже начинаются. Пришел мусорщик Элфрид Дулитл и хочет вас видеть. Он говорит, что здесь его дочь.

Пикеринг *(встает)*. Ого! Ну и ну! *(Отступает к камину.)*

Хигинс *(быстро)*. Впустите-ка этого прохвоста.

Миссис Пирс. Слушаю, сэр. *(Уходит.)*

Пикеринг. А может быть, он вовсе не прохвост, Хигинс?

Хигинс. Вздор! Конечно прохвост!

Пикеринг. Прохвост он или нет, но, боюсь, у вас будут неприятности.

Хигинс *(самоуверенно)*. Не думаю. А если уж будут, то скорее у него, чем у меня. И уж, конечно, мы услышим что-нибудь интересное.

Пикеринг. Насчет девушки?

Хигинс. Нет, я имею в виду его речь.

Пикеринг. О!

Миссис Пирс *(в дверях)*. Дулитл, сэр. *(Впускает Дулитла и уходит.)*

Элфрид Дулитл – пожилой, но еще крепкий мусорщик в рабочей одежде и в шляпе, поля которой закрывают

шею и плечи. У него энергичные, довольно интересные черты лица: он производит впечатление человека, которому одинаково чужды страх и совесть. У него на редкость выразительный голос — результат привычки давать волю своим чувствам. В данный момент весь его вид говорит об оскорбленном достоинстве и решимости.

Дулитл *(останавливается в дверях, стараясь понять, к кому из двоих он должен обратиться).* Профессор Хигинс?

Хигинс. Да. Доброе утро. Садитесь.

Дулитл. Доброе утро, хозяин. *(Опускается на стул с важностью сановной особы.)* Я пришел по очень важному делу, хозяин.

Хигинс *(Пикерингу).* Вырос в Хоунслоу, мать, вероятней всего, из Уэльса. *(Дулитлу, который смотрит на него разинув рот.)* Что вам нужно, Дулитл?

Дулитл *(угрожающе).* Мне нужна моя дочь, вот что мне нужно. Понятно?

Хигинс. Вполне. Вы ведь ее отец, верно? Кому же она еще нужна, кроме вас? Я рад, что в вас еще жива искра отцовского чувства. Ваша дочь здесь, наверху. Забирайте ее немедленно.

Дулитл *(встает, страшно обескураженный).* Чего?

Хигинс. Забирайте свою дочь! Неужели вы думали, что я буду нянчиться с нею вместо вас?

Дулитл *(протестуя).* Ну-ну, погодите же, хозяин, да разве так можно? Разве так поступают с человеком? Девчонка — моя, вы ее забрали себе, а я с чем остаюсь? *(Снова садится.)*

Хигинс. Ваша дочь имела наглость явиться ко мне и потребовать, чтобы я научил ее правильно говорить, иначе ей не получить места продавщицы в цветочном магазине. Разговор происходил при этом джентльмене и моей экономке. *(Наступая на него.)* Как вы смели явиться ко мне и шантажировать меня? Вы ее нарочно сюда подослали.

Дулитл. Что вы, хозяин! Я тут ни при чем.

Хигинс. Нет, подослали. Откуда вы иначе узнали, что она здесь?

Дулитл *(протестуя).* Легче, легче! Нельзя так сразу брать человека за горло!

Хигинс. Берегитесь, как бы за вас не взялась полиция! Чистой воды мошенничество! Он еще мне угрожает! Попытка выманить деньги налицо! Сейчас же звоню в поли-

цию. *(С решительным видом идет к телефону и открывает справочник.)*

Дулитл. Да разве я с вас хоть фартинг потребовал? Вот этот джентльмен пусть скажет. *(Пикерингу.)* Сказал я хоть слово о деньгах?

Хигинс *(бросает справочник и подходит к Дулитлу)*. Так зачем же вы пришли сюда?

Дулитл *(заискивающе)*. Зачем всякий пришел бы на моем месте? Будьте человеком, хозяин.

Хигинс *(обезоруженный)*. Элфрид, скажите, вы нарочно подослали ее сюда?

Дулитл. Не подсылал, хозяин, чтоб мне с места не сойти. Могу хоть на Библии присягнуть, я девчонку уже два месяца в глаза не видел.

Хигинс. Откуда же вы узнали, где она?

Дулитл *(«сладко, печально»)*. Сейчас объясню, хозяин, дайте только рот раскрыть. Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объяснить!

Хигинс. Пикеринг, да этот парень — прирожденный оратор! Обратите внимание на инстинктивную ритмичность его фразы: «Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объяснить». Сентиментальная риторика. Вот что значит примесь уэльской крови. Попрошайничество и жульничество отсюда же.

Пикеринг. Помилосердствуйте, Хигинс! Я ведь сам с Запада. *(Дулитлу.)* Откуда вы узнали, что девушка здесь, если не подослали ее?

Дулитл. Вот как получилось, хозяин. Дочка как поехала к вам, так взяла с собой мальчонку на такси прокатить. Он сынишкой ее квартирной хозяйке приходится. Вот он и болтался тут, думал, она его обратно тоже подвезет. А она, как узнала, что вы ее здесь оставляете, возьми да и пошли его домой за своим барахлишком, а он на меня и нарвался на углу Лонг-Экр и Эндел-стрит.

Хигинс. У пивной, не так ли?

Дулитл. Пивная — клуб для бедного человека, хозяин. Что ж тут дурного?

Пикеринг. Дайте же ему договорить, Хигинс.

Дулитл. Вот он и рассказал мне, какое дело вышло. Спрашиваю вас, что я должен был почувствовать, как поступить? Я же ей отец! Я говорю мальчонке: тащи сюда ее барахло, говорю я...

Пикеринг. А почему вы сами не пошли за вещами?

Дулитл. Да хозяйка мне их ни в жизнь не доверит. Бывают,

знаете, такие бабы. Мальчонка — и тот, поросенок, пенни сорвал, иначе ни в какую не хотел доверить. А я человек услужливый. Взял да и притащил вещички сюда. Вот и все.

Хигинс. Что это за вещи?

Дулитл. Музыкальный инструмент, хозяин, парочка фотографий, кое-какие побрякушки да птичья клетка. Платьев брать она не велела. Что я должен был подумать, а, хозяин? Я вас спрашиваю. Что я должен был подумать, как ее родитель, спрашиваю я вас.

Хигинс. Итак, вы пришли, чтоб спасти ее от позора более страшного, чем смерть? Не так ли?

Дулитл *(с заметным облегчением — он доволен тем, что его так хорошо поняли)*. Именно так, хозяин. Именно так.

Пикеринг. Но зачем же вы принесли ее вещи, если собираетесь взять ее отсюда?

Дулитл. А разве я сказал, что собираюсь? Заикнулся я хоть раз насчет этого?

Хигинс *(решительно)*. Вы ее заберете, и заберете немедленно. *(Подходит к камину и звонит.)*

Дулитл. Нет, хозяин, не надо так говорить. Не такой я человек, чтобы собственной дочке встать поперек дороги. Тут, можно сказать, перед ней карьера открывается, а я...

В дверях, ожидая приказаний, появляется миссис Пирс.

Хигинс. Миссис Пирс, за Элизой пришел ее отец. Он хочет увести ее. Выдайте ему девушку. *(Отходит к роялю с видом человека, решившего умыть руки.)*

Дулитл. Да нет, тут ошибка вышла, послушайте...

Миссис Пирс. Он не может увести ее, мистер Хигинс. Ей же не в чем идти — вы сами велели мне сжечь ее платье.

Дулитл. Правильно! Не могу же я тащить девчонку по улицам в чем мать родила, как какую-нибудь мартышку! Ну, сами посудите, разве это можно?

Хигинс. Вы заявили мне, что требуете свою дочь. Вот и заберите ее. А если она сидит без платья — пойдите и купите.

Дулитл *(в отчаянии)*. А где платье, в котором она пришла к вам? Кто его сжег — я или эта ваша мадам?

Миссис Пирс. В этом доме я, с вашего позволения, не мадам, а экономка. Я послала за платьем для вашей дочери. Когда его принесут, можете взять ее домой. Подождите на кухне. Сюда, пожалуйста.

Расстроенный Дулитл идет за ней к двери, затем останавливается и после некоторого колебания вкрадчиво обращается к Хигинсу.

Дулитл. Да погодите минутку, хозяин, не торопитесь. Мы ведь с вами люди воспитанные, верно?

Хигинс. Вот оно что! Мы — люди воспитанные! Вам, пожалуй, лучше пока уйти, миссис Пирс.

Миссис Пирс. Я тоже так думаю, сэр! *(С достоинством удаляется.)*

Пикеринг. Слово за вами, мистер Дулитл.

Дулитл *(Пикерингу)*. Спасибо, хозяин. *(Хигинсу, который пытается укрыться на стуле у рояля: он избегает чрезмерной близости к посетителю, потому что от Дулитла исходит свойственный его профессии запах.)* А знаете, хозяин, по правде говоря, вы мне здорово нравитесь. Если девчонка вам так уж нужна, пусть остается. Только давайте договоримся с вами честь по чести. Ведь если глядеть на нее как на женщину, ей-богу, она годится по всем статьям — хорошая, красивая девка. А как дочь — ее прокормить себе дороже станет. Я с вами начистоту говорю и только одного прошу — не забывайте мои отцовские права! Вы, я вижу, человек справедливый, хозяин! Не хотите же вы, чтобы я уступил ее просто так, за здорово живешь? Что для вас пять фунтов? И что для меня Элиза! *(Возвращается к стулу и торжественно садится.)*

Пикеринг. Вам следует знать, Дулитл, что у мистера Хигинса вполне благородные намерения.

Дулитл *(Пикерингу)*. Само собой благородные, хозяин. Иначе я запросил бы пятьдесят фунтов.

Хигинс *(возмущенно)*. Вы хотите сказать, бессердечный негодяй, что продали бы родную дочь за пятьдесят фунтов?

Дулитл. Продавать ее заведенным порядком мне ни к чему. Другое дело, услужить такому джентльмену, как вы. Тут я готов на все, верьте слову.

Пикеринг. Неужели вы начисто лишены моральных устоев?

Дулитл *(откровенно)*. Я не могу позволить себе такую роскошь, хозяин. Да и вы не смогли бы, окажись вы в моей шкуре. Да и что тут особенного? Как, по-вашему, уж если Элизе перепало кой-что, почему бы и мне не попользоваться? А?

Хигинс *(озабоченно)*. Право, не знаю, что и делать, Пикеринг. Дать этому типу хоть фартинг — с точки зрения морали равносильно преступлению. И в то же время

я чувствую, что в его требованиях есть какая-то первобытная справедливость.

Дулитл. То-то и оно, хозяин. Вот и я так думаю. Отцовское сердце, как ни скажите.

Пикеринг *(Хигинсу)*. Я понимаю вашу щепетильность, но едва ли правильно будет...

Дулитл. Зачем так говорить, хозяин. Вы на это дело взгляните с другой стороны. Кто я такой? Я вас спрашиваю, кто я такой? Я бедняк и человек недостойный, вот я кто. Вдумайтесь-ка, что это значит? А это значит, что буржуазная мораль не для таких, как я. Если я чего-нибудь захотел в этой жизни, мне твердят одно и то же — ты человек недостойный, тебе нельзя. А ведь нужды у меня такие же, как у самой предостойной вдовы, которая в одну неделю получает деньги с шести благотворительных обществ за смерть одного и того же мужа. Мне нужно не меньше, чем достойному,— мне нужно больше. У меня аппетит не хуже, чем у него, а пью я куда больше. Мне и развлечься надо, потому что я человек мыслящий. Мне и на людях побыть охота, и песню послушать, и музыку, когда на душе худо. А дерут с меня за все, как с достойного. Чем же она оборачивается, ваша буржуазная мораль? Да это же просто предлог, чтобы мне ни шиша не дать. Поэтому я и обращаюсь к вам, как к джентльменам, и прошу поступить со мной по-честному. Я ведь с вами играю начистоту — не притворяюсь достойным. Был я всю жизнь недостойным, таким и останусь. Мне это даже нравится, если хотите знать. Так неужели вы обманете человека и не дадите ему настоящую цену за его родную дочь, которую он в поте лица растил, кормил и одевал, пока она не стала достаточно взрослой, чтобы заинтересовать сразу двух джентльменов? Разве пять фунтов такая уж крупная сумма? Я спрашиваю вас и жду вашего решения.

Хигинс *(подходит к Пикерингу)*. А знаете, Пикеринг, займись мы этим человеком, он уже через три месяца мог бы выбирать между постом министра и церковной кафедрой в Уэльсе.

Пикеринг. Что вы на это скажете, Дулитл?

Дулитл. Нет, уж увольте, хозяин, не подойдет. Доводилось мне слушать и проповедников и премьер-министров — потому человек я мыслящий и для меня всякая там политика, религия или социальные реформы — тоже развлечение. Но скажу вам одно: куда ни кинь — всюду жизнь

собачья. Так по мне уж лучше быть недостойным бедняком. Как сравнишь различные положения в обществе, то в моем, ну в общем на мой вкус, в нем хоть изюминка есть.

Хигинс. Дадим ему, пожалуй, пять фунтов.

Пикеринг. Боюсь, он истратит их без всякой пользы.

Дулитл. С пользой, хозяин, лопни мои глаза! Вы, может, боитесь, что я их припрячу и буду на них жить себе понемножку, не работая? Не беспокойтесь, к понедельнику от них уж пенни не останется, и потопаю я на работу, будто у меня их и не было. В нищие не скачусь, можете быть спокойны. Малость кутну со старухой, сам отведу душу и другим заработать дам. А вам приятно будет знать, что деньги не выброшены на ветер. Да вы и сами их разумнее не истратите.

Хигинс *(вынимая бумажник, подходит к Дулитлу)*. Нет, он неотразим. Дадим ему десять. *(Протягивает две кредитки.)*

Дулитл. Не надо, хозяин: у старухи не хватит духу истратить десятку. Да и у меня, пожалуй, тоже. Десять фунтов — большие деньги; заведутся они, и человек становится расчетливым, а тогда прощай счастье! Нет, дайте мне столько, сколько я прошу, хозяин, — ни больше, ни меньше.

Пикеринг. Дулитл, почему вы не женитесь на этой вашей старухе? Я не склонен поощрять безнравственность.

Дулитл. Вот вы ей это и скажите, хозяин, скажите! Я-то со всем удовольствием. Ведь сейчас кто страдает? Я. Власти у меня нет над ней: я и угождай ей, и подарки делай, и платья покупай. Грех да и только! Я раб этой женщины, хозяин, а все потому, что я ей не муж. И она это знает. Попробуйте-ка, заставьте ее выйти за меня. Послушайтесь моего совета, хозяин: женитесь на Элизе, пока она еще молодая и не смыслит, что к чему. Не женитесь — потом пожалеете. А женитесь — потом пожалеет она. Так уж пусть лучше она пожалеет, поскольку вы мужчина, а она всего-навсего баба и все равно своего счастья не понимает.

Хигинс. Пикеринг, если мы еще минуту послушаем этого человека, у нас не останется никаких убеждений. *(Дулитлу.)* Пять фунтов? Так вы, кажется, сказали?

Дулитл. Покорно благодарю, хозяин.

Хигинс. Итак, вы отказываетесь взять десять?

Дулитл. Сейчас отказываюсь. Как-нибудь в другой раз, хозяин.

Хигинс *(вручает ему кредитку)*. Получите.

Дулитл. Спасибо, хозяин. Счастливо оставаться.

Дулитл спешит к двери, чтобы поскорее улизнуть со своей добычей. На пороге он сталкивается с изящной, ослепительно чистой молодой японкой в скромном голубом кимоно, искусно вышитом мелкими белыми цветочками жасмина. За ней следует миссис Пирс. Он почтительно уступает ей дорогу и извиняется.

Прошу прощения, мисс.

Японка. Провалиться мне на этом месте! Родную дочку не признал!

Дулитл, Хигинс, Пикеринг *(одновременно)*. Лопни мои глаза! Элиза! Кто это? Она? Боже мой, ну и ну!

Элиза. А верно, я как придурковатая выгляжу?

Хигинс. Придурковатая?

Миссис Пирс *(у двери)*. Прошу вас, мистер Хигинс, не говорите лишнего, а то девушка бог весть что о себе возомнит.

Хигинс *(спохватившись)*. Ах да, да, совершенно верно, миссис Пирс. *(Элизе.)* Черт знает, что у вас за идиотский вид.

Миссис Пирс. Пожалуйста, сэр!

Хигинс *(поправляясь)*. Я хотел сказать, очень глупый вид.

Элиза. Вот надену шляпу, так будет получше. *(Берет свою шляпу, надевает ее и с непринужденностью светской дамы шествует к камину.)*

Хигинс. Ей-богу, новая мода! А ведь могло выглядеть ужасно!

Дулитл *(с отцовской гордостью)*. Батюшки, вот не думал, что ее можно отмыть до такой красоты, хозяин. Она делает мне честь, верно?

Элиза. Подумаешь, великое дело здесь мытой ходить! Вода в кране и тебе горячая, и холодная, плескайся, сколько влезет. Полотенца пушистые, а вешалка под ними такая горячая, что пальцы обожжешь, и щетки мягкие есть, чтобы тереться, а уж мыла полная чашка, и запах от него — ну, что твой первоцвет. Теперь понятно, почему все леди такие намытые ходят. Мытье им — одно удовольствие. Вот посмотрели бы они, как оно нам достается!

Хигинс. Очень рад, что моя ванна пришлась вам по вкусу.

Элиза. И вовсе не все мне по вкусу. Уж как там хотите, а я скажу – не постесняюсь. Вот миссис Пирс знает.

Хигинс. Какой-нибудь непорядок, миссис Пирс?

Миссис Пирс *(мягко)*. Пустяки, сэр. Право, не стоит говорить об этом.

Элиза. Покалечить я его хотела, вот что. Со стыда не знаешь, куда глаза девать. Потом-то я справилась, взяла да полотенце на него и навесила.

Хигинс. На кого?

Миссис Пирс. На зеркало, сэр.

Хигинс. Дулитл, вы слишком строго воспитали свою дочь.

Дулитл. Я? А я ее и не воспитывал. Так разве постегаешь ремнем для порядку. Вы уж не взыщите, хозяин. Не привыкла она еще – вот в чем штука. Поживет у вас, так научится свободному поведению, как в ваших кругах полагается.

Элиза. Не стану я учиться свободному поведению: я не какая-нибудь, я девушка порядочная.

Хигинс. Элиза, если вы еще раз скажете, что вы порядочная девушка, отец заберет вас домой.

Элиза. Как же, заберет! Держи карман шире! Плохо вы моего папашу знаете. Он сюда пришел, чтобы из вас деньжат выжать да нализаться как следует – только и всего.

Дулитл. А что мне еще с деньгами делать? В церковную кружку бросить, что ли?

Элиза показывает ему язык. Он так взбешен этим, что Пикерингу приходится встать между ними.

Ты у меня язык попридержи да смотри, не вздумай с этим джентльменом разные штучки откалывать, а то я тебе по первое число всыплю. Поняла?

Хигинс. Не хотите ли вы дать ей еще какие-нибудь наставления, Дулитл? Или, может быть, благословить ее на прощанье?

Дулитл. Нет, хозяин. Не такой я отпетый дурак, чтобы своим деткам выложить все, что знаю. С ними и без того не совладаешь. Хотите, чтоб Элиза ума набралась, возьмите ремень, хозяин, да поучите ее сами. Счастливо оставаться, джентльмены! *(Направляется к двери.)*

Хигинс *(повелительно)*. Стойте! Вы должны регулярно навещать свою дочь. Это ваш отцовский долг. У меня есть брат священник, он поможет вам направить ее.

Дулитл *(уклончиво)*. Ну как же, как же. Я приду, хозяин. На

этой неделе, правда, не смогу, работаю очень далеко. Но малюсть попозже можете на меня рассчитывать. Всего доброго, джентльмены! Всего доброго, мэм! *(Снимает шляпу перед миссис Пирс, но та не отвечает на его приветствие, и он направляется к двери. Обернувшись на пороге, он подмигивает Хигинсу, видимо, соболезнуя ему по поводу тяжелого характера миссис Пирс; затем уходит вслед за ней.)*

Элиза. Не верьте вы этому старому брехуну. Да он скорее согласится, чтобы вы на него бульдога напустили, чем священника. И не ждите — он сюда скоро не сунется.

Хигинс. Мы не очень жаждем видеть его, Элиза. А вы?

Элиза. А уж я и подавно. Век бы мне его не видеть. Срамит меня только — с мусором возжается, вместо того чтоб свое дело делать.

Пикеринг. Чем он занимается, Элиза?

Элиза. Людям зубы заговаривает, да денежки в свой карман перекачивает. А сам-то он — землекоп. Бывает, и теперь берется за лопату, когда поразмяться захочет, и хорошие деньги зашибает. А вы больше не хотите звать меня мисс Дулитл?

Пикеринг. Простите, мисс Дулитл, я оговорился.

Элиза. Да нет, я не обижаюсь. Просто очень уж это красиво получается — мисс Дулитл. А можно мне сейчас такси нанять и проехаться по Тотенхэм Корт-роуд? Я бы там вышла и велела подождать. Вот бы наши девчонки утерлись — пусть знают свое место. Разговаривать с ними я бы, понятное дело, не стала.

Пикеринг. Лучше подождите, пока вам принесут новое модное платье.

Хигинс. Кроме того, заняв высокое положение, не следует забывать старых друзей. Мы это называем снобизмом.

Элиза. Нет уж, вы меня теперь с ихней компанией не путайте. Было время, насмехались они надо мной почем зря, а теперь я им нос утру. Конечно, если я получу новые модные платья, можно и подождать. Больно мне заиметь их охота. Миссис Пирс говорит, что вы мне разные дадите — одни днем носить, другие ночью в постель надевать. А по-моему, чего деньги зря переводить, раз в них никому не покажешься? А потом мне и подумать страшно: зимой раздеваться да на ночь холодные вещи на себя напяливать!

Миссис Пирс *(возвращается)*. Идемте, Элиза. Там принесли платья, нужно примерить.

Элиза. Уух ты! А... а... а... ах! Уй... ий... й. *(Вылетает из комнаты.)*

Миссис Пирс *(следуя за ней)*. Не надо носиться сломя голову, моя милая. *(Закрывает за собой дверь.)*

Хигинс. Трудное нам предстоит дело, Пикеринг.

Пикеринг *(убежденно)*. Да, Хигинс. Очень трудное.

Приемный день у миссис Хигинс. Еще никого нет. Квартира ее расположена на набережной Челси, и гостиная всеми тремя окнами выходит на реку; только потолок в ней ниже, чем был бы в таком доме, будь он более старинной постройки. Окна — во всю стену. Они распахнуты, открывая доступ на балкон, уставленный цветами в горшках. Слева, если стоять лицом к окнам,— камин; в правой стене, поближе к углу,— дверь. Миссис Хигинс воспитана на Моррисе и Берн-Джонсе, и ее жилище разительно отличается от квартиры ее сына на Уимпол-стрит: ни лишней мебели, ни полочек, ни безделушек. Посреди комнаты — просторная тахта. Подушки и парчовое покрывало на ней, ковер на полу, моррисовские обои и моррисовские набивные занавеси на окнах — вот и все убранство гостиной, но оно настолько изысканно, что его грешно было бы прятать за нагромождением никому не нужных вещей. На стенах несколько хороших картин (в манере Берн-Джонса, а не Уистлера), лет за тридцать до этого выставлявшихся в галерее Гровнер. Пейзаж всего один: Сесил Лоусон в масштабах Рубенса. Здесь же портрет миссис Хигинс в молодости; на ней, наперекор тогдашней моде, один из тех очаровательных россетиевских костюмов, которым так карикатурно подражали невежды, чьими стараниями был насажден безвкусный эстетизм семидесятых годов.

В углу, наискосок от двери, за простым, но элегантным письменным столиком с пуговкой звонка под рукою, сидит миссис Хигинс и пишет письмо; ныне ей за шестьдесят, и она давным-давно не дает себе труда одеваться не так, как требует мода. В глубине, между столиком и окном,— чипендейлевский стул. На другой стороне комнаты, подальше от окна, елизаветинское кресло с грубой резьбой в духе Иниго Джонса. Там же рояль в чехле со строчкой. Между камином и окнами диванчик с обивкой из моррисовского кретона. Время — пятый час пополудни. Дверь с шумом распахивается, входит Хигинс в шляпе.

Миссис Хигинс *(тревожно)*. Генри! *(Укоризненно.)* За-

чем ты явился? Ты же обещал не приходить в мои приемные дни.

В то время как он наклоняется поцеловать ее, она снимает с него шляпу и подает ему.

Хигинс. А, черт! *(Швыряет шляпу на стол.)*

Миссис Хигинс. Сейчас же возвращайся домой.

Хигинс *(целуя ее)*. Знаю, знаю, мама. Я пришел нарочно.

Миссис Хигинс. И напрасно. Я не шучу, Генри. Ты распугал всех моих друзей. Стоит им встретиться с тобой, как они перестают бывать у меня.

Хигинс. Вздор! Светских разговоров я вести не умею, что верно то верно, но это никого не трогает. *(Садится на диван.)*

Миссис Хигинс. Ты так думаешь? Светские разговоры! А не светские ты умеешь вести? Нет, милый, уходи, я решительно настаиваю на этом.

Хигинс. Не могу. Вы должны помочь мне в одном деле... связанном с фонетикой.

Миссис Хигинс. Нет, милый. К сожалению, твои гласные выше моего понимания. Я с удовольствием получаю от тебя хорошенькие открытки, стенографированные по твоей системе, но читать мне приходится написанные обычными буквами подстрочники, которые ты предусмотрительно прикладываешь.

Хигинс. Тогда считайте, что мое дело не связано с фонетикой.

Миссис Хигинс. Но ты же сам так сказал.

Хигинс. То есть оно связано, но вы к ней не будете иметь отношения. Я тут подцепил девушку...

Миссис Хигинс. А не значит ли это, что девушка подцепила тебя?

Хигинс. Ничего подобного. О любви здесь и речи нет.

Миссис Хигинс. Очень жаль!

Хигинс. Почему?

Миссис Хигинс. Ты еще ни разу не влюблялся в женщину моложе сорока пяти. Когда наконец ты поймешь, что на свете есть немало прелестных девушек?

Хигинс. Не собираюсь возиться с девушками. Мой идеал — женщина, насколько это возможно похожая на вас. Ни одна девушка никогда мне всерьез не понравится: у меня свои привычки, а старые привычки трудно менять. *(Порывисто вскакивает, начинает шагать из угла в угол, по-*

брякивая ключами и мелочью в кармане.) Кроме того, все они дуры.

Миссис Хигинс. Знаешь, Генри, что бы ты сделал, если бы по-настоящему любил меня?

Хигинс. А, черт! Ну что еще? Женился бы, наверно, да?

Миссис Хигинс. Нет. Вынул бы руки из карманов и перестал носиться по комнате.

С жестом отчаяния он повинуется и снова усаживается на диван.

Вот пай-мальчик. А теперь расскажи мне о девушке.

Хигинс. Она сегодня явится к вам с визитом.

Миссис Хигинс. Не припоминаю, чтобы я ее приглашала.

Хигинс. Вы не приглашали. Пригласил я. Вы бы ее ни за что не пригласили, если бы знали, кто она.

Миссис Хигинс. Интересно! А почему?

Хигинс. Вот как обстоит дело. Она простая цветочница. Я подобрал ее на панели.

Миссис Хигинс. И пригласил ко мне в мой приемный день!

Хигинс *(подходит к матери, стараясь задобрить ее)*. Не беспокойтесь, все будет в порядке. Я научил ее правильно говорить и дал точные указания, как вести себя. Ей строго-настрого велено касаться только двух тем: погоды и здоровья. Словом, ничего не значащие фразы: «Как поживаете?» — «Сегодня прекрасный день» — и никаких рассуждений на общие темы. Уверяю вас, это совершенно безопасно!

Миссис Хигинс. Безопасно! Безопасно говорить о нашем здоровье! О внутренностях! Может быть, даже о внешности! Как мог ты так наглупить, Генри!

Хигинс *(нетерпеливо)*. Должна же она о чем-то говорить. *(Вовремя берет себя в руки и снова садится.)* Да не волнуйтесь вы, пожалуйста, из-за пустяков, все будет хорошо. Пикеринг тоже принимает в ней участие. Я держал с ним пари, что через полгода смогу выдать ее за герцогиню. Я работаю с ней всего несколько месяцев, но она уже сделала потрясающие успехи. Пари я непременно выиграю. У нее превосходный слух, и воспринимает она все куда лучше, чем мои ученики из буржуазных кругов, потому что ее приходится учить с самого начала, как учат чужому языку. Сейчас она уже говорит по-английски почти так, как вы по-французски.

Миссис Хигинс. Во всяком случае, это уже не так страшно.

Хигинс. И да и нет.

Миссис Хигинс. Как это понимать?

Хигинс. Видите ли, произношение она освоила. Но сейчас мне уже надо думать не только о том, как эта девушка произносит, но и о том, что она произносит. И вот тут-то...

Разговор их прерывает горничная, докладывающая о гостях.

Горничная. Миссис и мисс Эйнсфорд Хилл. *(Уходит.)*

Хигинс. Чтоб их черт побрал! *(Вскакивает, хватает со стола свою шляпу и спешит к двери, но прежде чем успевает до нее дойти, мать уже представляет его входящим.)*

Миссис и мисс Эйнсфорд Хилл — те самые мать и дочь, которые укрывались от дождя в Ковент-Гардене. Мать — хорошо воспитанная, спокойная женщина, но чувствуется, что она находится в постоянном напряжении, как все люди с ограниченными средствами. Дочь усвоила светский тон девушки, постоянно бывающей в обществе: бравада прикрашенной бедности.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(мистеру Хигинсу)*. Здравствуйте!

Здороваются.

Мисс Эйнсфорд Хилл. Здравствуйте.

Здороваются.

Миссис Хигинс *(представляя)*. Мой сын Генри.

Миссис Эйнсфорд Хилл. Ваш знаменитый сын! Я жаждала познакомиться с вами, профессор Хигинс.

Хигинс *(мрачно, не двигаясь с места)*. Очень рад. *(Облокачивается на рояль и небрежно кивает ей.)*

Мисс Эйнсфорд Хилл *(доверительно-фамильярно, приближаясь к нему)*. Здравствуйте.

Хигинс *(уставившись на нее)*. Я вас уже где-то видел. Где и когда — не имею представления, но голос ваш я тоже слышал. *(Мрачно.)* Впрочем, это совершенно безразлично. Что же вы стоите? Сели бы куда-нибудь.

Миссис Хигинс. К сожалению, должна признаться, что мой знаменитый сын совершенно не умеет вести себя. Не обижайтесь на него.

Мисс Эйнсфорд Хилл *(весело)*. Ну что вы! *(Садится в елизаветинское кресло.)*

Миссис Эйнсфорд Хилл *(слегка растерянно)*. Конечно, конечно. *(Садится на тахту слева от дочери и справа от миссис Хигинс, которая повернула к ним свое кресло у письменного стола.)*

Хигинс. Разве я нахамил? Простите, нечаянно. *(Подходит к окну и, став спиной к гостям, созерцает реку и цветы Бетерси-парка с таким видом, словно перед ним вечные льды.)*

Горничная возвращается с Пикерингом.

Горничная. Полковник Пикеринг. *(Уходит.)*

Пикеринг. Здравствуйте, миссис Хигинс.

Миссис Хигинс. Очень рада вас видеть. Вы знакомы? Миссис Эйнсфорд Хилл, мисс Эйнсфорд Хилл.

Обмен поклонами. Полковник ставит чипендейлевский стул между миссис Хигинс и миссис Эйнсфорд Хилл и усаживается.

Пикеринг. Генри рассказал вам о цели нашего визита?

Хигинс *(через плечо)*. Не успел досказать, черт побери.

Миссис Хигинс. Генри, Генри, прошу тебя.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(приподнимаясь)*. Может быть, мы помешали?

Миссис Хигинс *(встает и снова усаживает ее)*. Что вы, что вы! Напротив, вы пришли как раз вовремя. Мы хотим познакомить вас с одной нашей приятельницей.

Хигинс *(обрадованный, поворачивается к ним)*. Черт побери, а ведь верно! Нам нужно, чтоб было несколько человек. Вы вполне сойдете.

Горничная возвращается, за ней следует Фредди.

Горничная. Мистер Эйнсфорд Хилл.

Хигинс *(чуть ли не в полный голос)*. А, черт! Еще одного нелегкая принесла!

Фредди *(здороваясь с миссис Хигинс)*. Здрасте.

Миссис Хигинс. Очень рада вас видеть. *(Знакомит.)* Полковник Пикеринг.

Фредди *(кланяется)*. Здрасте.

Миссис Хигинс. Вы, вероятно, не знакомы с моим сыном, профессором Хигинсом?

Фредди *(подходя к Хигинсу)*. Здрасте.

Хигинс *(разглядывает его так, будто перед ним вор-карман-*

ник). Голову даю на отсечение, что и вас я где-то уже видел. Только вот где?

Фредди. Что-то не припомню.

Хигинс *(покорившись судьбе).* Впрочем, это не имеет значения. Садитесь. *(Пожимает руку Фредди и чуть ли не силой усаживает его на тахту. Сам переходит на другую сторону).* Ну вот, мы и уселись. *(Садится рядом с миссис Эйнсфорд Хилл, слева.)* О чем же, черт возьми, нам говорить до прихода Элизы?

Миссис Хигинс. Генри, на вечерах Королевского общества ты, вероятно, неотразим, но в менее торжественных случаях тебя трудно переносить.

Хигинс. В самом деле? Сожалею. *(Внезапно просияв.)* А знаете, наверно, действительно трудно. *(Хохочет.)* Ха-ха-ха!

Мисс Эйнсфорд Хилл *(которая находит Хигинса вполне приемлемым с матримониальной точки зрения).* Я понимаю вас. Я сама не умею вести светские разговоры. Ах, почему люди так редко бывают откровенны и говорят не то, что думают.

Хигинс *(мрачнея).* И слава богу!

Миссис Эйнсфорд Хилл *(перехватывая реплику дочери).* Но почему?

Хигинс. То, что, как люди полагают, они обязаны думать, видит бог, уже достаточно мерзко. А то, что они на самом деле думают, вообще ни в какие ворота не лезет. Вы полагаете, вам будет приятно, если я сейчас возьму и выложу все, что думаю на самом деле?

Мисс Эйнсфорд Хилл *(весело).* Неужели это так неприлично?

Хигинс. Неприлично? Куда к черту неприлично! Просто непристойно!

Миссис Эйнсфорд Хилл *(серьезно).* Я уверена, что вы шутите, мистер Хигинс.

Хигинс. Видите ли, все мы в той или иной мере дикари. Предполагается, что мы цивилизованны и культурны — разбираемся в поэзии, философии, науке, искусстве и прочее, и прочее. Но скажите, многие ли из нас знают, что представляют собой хотя бы одни эти названия? *(К мисс Хилл.)* Ну что вы, например, понимаете в поэзии? *(К миссис Хилл.)* Что вы знаете о науке? *(Указывая на Фредди.)* А вот он, что он смыслит в искусстве, науке и вообще в чем бы то ни было? А что я сам, черт побери, знаю о философии?

Миссис Хигинс *(предостерегающе)*. Или об умении вести себя в обществе.

Горничная *(открыв дверь)*. Мисс Дулитл. *(Уходит.)*

Хигинс *(поспешно вскакивает и бежит к матери)*. Мама, это она. *(Становится за креслом матери и, поднявшись на цыпочки, глазами показывает Элизе, кто из дам хозяйка дома.)*

Элиза, изысканно одетая, производит такое впечатление своей красотой и элегантностью, что все невольно встают. Направляемая сигналами Хигинса, она с заученной грацией подходит к миссис Хигинс.

Элиза *(произносит слова с педантичной чистотой, приятным, музыкальным голосом)*. Здравствуйте, миссис Хигинс. Мистер Хигинс передал мне ваше приглашение.

Миссис Хигинс *(приветливо)*. Да, да! Я очень рада вас видеть.

Пикеринг. Здравствуйте, мисс Дулитл.

Элиза. Если не ошибаюсь, полковник Пикеринг?

Миссис Эйнсфорд Хилл. Я уверена, что мы с вами уже встречались, мисс Дулитл. Я помню ваши глаза.

Элиза. Здравствуйте. *(Грациозно опускается на тахту, заняв место, которое только что освободил Хигинс.)*

Миссис Эйнсфорд Хилл *(знакомя)*. Моя дочь Клара.

Элиза. Здравствуйте.

Клара *(возбужденно)*. Здравствуйте! *(Садится рядом с Элизой, пожирая ее глазами.)*

Фредди *(подходя)*. Я уже имел счастье...

Миссис Эйнсфорд Хилл *(представляя)*. Мой сын Фредди.

Элиза. Здравствуйте.

Фредди кланяется и, совершенно покоренный, опускается в елизаветинское кресло.

Хигинс *(внезапно)*. Ах, черт побери, теперь я вспомнил!

Все уставились на него.

Ковент-Гарден! *(Сокрушенно)*. Вот нелегкая!

Миссис Хигинс. Генри! *(Заметив, что он собирается сесть на ее письменный столик.)* Не садись на мой письменный стол — сломаешь.

Хигинс *(хмуро)*. Прошу прощения.

Направляется к дивану, но по дороге спотыкается о каминную решетку и роняет щипцы. Ругаясь сквозь зубы,

приводит все в порядок и, завершив наконец свое неудачное путешествие, обрушивается на диван с такой силой, что диван трещит. Миссис Хигинс наблюдает за ним, но сдерживается и молчит. Долгая тягостная пауза.

Миссис Хигинс *(прерывая молчание)*. Как вы думаете, будет сегодня дождь?

Элиза. Незначительная облачность, наблюдавшаяся в западной части Британских островов, постепенно захватит и восточные районы. Судя по барометру, существенных перемен в состоянии атмосферы не предвидится.

Фредди. Ха-ха-ха! Как смешно!

Элиза. Что тут смешного, молодой человек? Держу пари, я все сказала как надо.

Фредди. Восхитительно!

Миссис Эйнсфорд Хилл. Надеюсь, в этом году не будет неожиданного похолодания! Кругом столько случаев инфлюэнцы. А наша семья так подвержена ей — каждую весну все заболевают.

Элиза *(мрачно)*. Тетка у меня померла, так тоже сказали — от инфлюэнцы.

Миссис Эйнсфорд Хилл сочувственно прищелкивает языком.

(Тем же трагическом тоном). А мое такое мнение — пришили старуху.

Миссис Хигинс *(озадаченно)*. Пришили?

Элиза. Факт! Боже ж ты мой, с чего бы это ей помирать от инфлюэнцы? Прошлый год она дифтеритом болела — и то как с гуся вода. Она аж посинела, я своими глазами видела. Все уж думали, ей крышка, а папаша мой возьми ложку да и начни ей в глотку джин лить, так она сразу очухалась и пол-ложки откусила.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(потрясенная)*. Господи!

Элиза *(нагромождая улики)*. Ну, скажите на милость, с чего бы такой здоровенной тетке вдруг помереть от инфлюэнцы! А куда девалась ее новая соломенная шляпа, что должна была достаться мне? Стибрили! Вот я и говорю: кто шляпу стибрил, тот и тетку пришил!

Миссис Эйнсфорд Хилл. А что это значит — пришил?

Хигинс *(поспешно)*. О, это модное светское выражение. Пришить человека — значит убить его.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(Элизе, в ужасе)*. Неужели вы серьезно думаете, что вашу тетушку убили?

Элиза. Велико дело! Да эта публика могла пристукнуть ее за шляпную булавку, не то что за целую шляпу.

Миссис Эйнсфорд Хилл. И все же вашему отцу не следовало вливать ей в горло алкоголь. Это действительно могло убить ее.

Элиза. Кого? Ее? Да для нее джин — что материнское молоко для младенца. Моему ли папаше не знать, что за штука джин? Он на своем веку немало за галстук залил.

Миссис Эйнсфорд Хилл. Вы хотите сказать, что ваш отец много пил?

Элиза. Пил? Лакал без передышки, черт бы его подрал!

Миссис Эйнсфорд Хилл. Как вы, должно быть, страдали!

Элиза. Нисколечко! Как я замечала, это ему только на пользу шло. Да он и не то чтобы подряд глушил, запоем. *(Весело.)* Так, бывало, загуляет время от времени. Он, когда выпивши, куда лучше становится. Вот сидит он без работы, а мать дает ему четыре пенса и велит домой не приходить, пока он не напьется, потому что тогда он веселый да ласковый. Многим женщинам приходится своих мужей поить, а то, пока они не выпивши, с ними и житья нет. *(Окончательно почувствовав себя как дома.)* Тут ведь какой переплет получается. Вот, к примеру, человек совесть имеет, так трезвого она его ух как заедает, и он от этого на стенку лезет. А долбанет стаканчик-другой, горя как не бывало. *(К Фредди, который корчится от сдерживаемого смеха.)* Эй, молодой человек! Вы чего ржете?

Фредди. Ах, эти модные светские выражения. До чего же здорово они у вас получаются!

Элиза. А если здорово, так чего зубы скалить. *(Хигинсу.)* Разве я сказала, чего не следует?

Миссис Хигинс *(опередив сына)*. Нет, что вы, мисс Дулитл!

Элиза. Слава тебе господи! *(С увлечением.)* Я ведь что говорю...

Хигинс *(поднимаясь и глядя на часы)*. Гм...

Элиза *(взглянув на него, понимает намек и встает)*. Простите, мне пора идти.

Все встают. Фредди направляется к двери.

Мне было так приятно познакомиться с вами. До свиданья. *(Прощается с миссис Хигинс).*

Миссис Хигинс. До свиданья.

Элиза. До свиданья, полковник Пикеринг.

Пикеринг. До свиданья, мисс Дулитл. *(Пожимает ей руку.)*

Элиза *(кивком головы прощаясь с остальными)*. И вам всем до свиданья.

Фредди *(распахивая перед ней дверь)*. Вы идете через парк, мисс Дулитл? Позвольте мне...

Элиза. Че-его? Пешком топать? К чертям собачьим!

Все потрясены.

Я в такси еду! *(Выходит.)*

Пикеринг, задохнувшись от изумления, падает в кресло. Фредди выбегает на балкон, чтобы еще раз взглянуть на Элизу.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(все еще не оправившись от потрясения)*. Все-таки я никак не могу привыкнуть к этой новой манере выражаться.

Клара *(с досадой бросаясь в елизаветинское кресло)*. Ну полно, мама, полно. Вы так старомодны, что люди подумают, будто мы никогда нигде не бываем.

Миссис Эйнсфорд Хилл. Вероятно, я действительно очень старомодна, но, надеюсь, Клара, ты не будешь употреблять таких выражений. Я уже привыкла к тому, что мужчин ты называешь «пройдохами», на каждом шагу говоришь «мерзость» и «свинство», хотя я лично считаю это неприличным и неженственным. Но то, что мы сейчас слышали, — это уж слишком! Как вы считаете, полковник Пикеринг?

Пикеринг. Меня не спрашивайте. Я несколько лет провел в Индии, и за это время манера держаться так изменилась, что, право, иногда не знаешь, где находишься — на званом обеде в респектабельном доме или в пароходном кубрике.

Клара. Дело привычки. Это ни хорошо ни плохо. И никто не придает этому никакого значения. Просто такая необычность придает особый шик тому, что само по себе не слишком остроумно. Я нахожу новую манеру выражаться прелестной и вполне безобидной.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(встает)*. Пожалуй, нам пора.

Пикеринг и Хиггинс встают.

Клара *(встает)*. Да, сегодня нам предстоит сделать еще три

визита. До свиданья, миссис Хигинс. До свиданья, полковник Пикеринг. До свиданья, профессор Хигинс.

Хигинс *(мрачно провожая ее до двери)*. До свиданья. Смотрите не забудьте на всех трех визитах испробовать новую манеру выражаться. Главное, не смущайтесь и валяйте вовсю.

Клара *(расплываясь в улыбке)*. Обязательно! До свиданья. Вся эта старомодная викторианская благовоспитанность – такая чушь!

Хигинс *(искушая ее)*. Будь она проклята!

Клара. К чертям ее собачьим!

Миссис Эйнсфорд Хилл *(содрогаясь)*. Клара!

Клара. Ха-ха-ха! *(Уходит, сияя оттого, что оказалась на уровне современных требований. С лестницы доносится ее звонкий смех.)*

Фредди *(ко всей вселенной)*. Нет, вы мне скажите... *(Не в силах справиться с нахлынувшими чувствами, прощается с миссис Хигинс.)* До свиданья.

Миссис Хигинс *(обмениваясь рукопожатием)*. До свиданья. Хотели бы вы снова встретиться с мисс Дулитл?

Фредди *(горячо)*. Да, да, ужасно хотел бы!

Миссис Хигинс. Милости просим. Вы знаете мои приемные дни.

Фредди. Благодарю вас. До свиданья. *(Уходит.)*

Миссис Эйнсфорд Хилл. До свиданья, мистер Хигинс.

Хигинс. До свиданья, до свиданья.

Миссис Эйнсфорд Хилл *(Пикерингу)*. Ничего не поделаешь, я никогда не сумею себя заставить употреблять эти ужасные выражения.

Пикеринг. И не старайтесь: это вовсе не обязательно. Вы прекрасно обойдетесь без них.

Миссис Эйнсфорд Хилл. Да вот Клара опять обрушится на меня за то, что я пренебрегаю самым модным жаргоном. До свиданья.

Пикеринг. До свиданья. *(Пожимают руки друг другу.)*

Миссис Эйнсфорд Хилл *(миссис Хигинс)*. Не сердитесь на Клару.

Пикеринг, услышав, что она понизила голос, деликатно отходит к окну, где стоит Хигинс.

Мы так бедны, и она так редко бывает в обществе, бедная девочка! Она просто не знает, как сейчас следует держаться.

Миссис Хигинс, заметив у нее на глазах слезы, сочувственно пожимает ей руку и провожает ее до двери.

Но Фредди у меня очень славный, правда?

Миссис Хигинс. Он очень мил, и я всегда буду рада ему.

Миссис Эйнсфорд Хилл. Благодарю вас, дорогая. До свиданья. *(Уходит.)*

Хигинс *(нетерпеливо)*. Ну как? Можно показывать Элизу в обществе? *(Тащит мать к дивану.)*

Миссис Хигинс садится на место Элизы, сын садится слева от нее. Пикеринг возвращается на свой стул справа.

Миссис Хигинс. Ну конечно нет, глупый мой мальчик. Она шедевр искусства — твоего и ее портнихи. Но если ты хоть на минуту сомневаешься в том, что она выдает себя каждой фразой, значит, ты просто помешан на ней.

Пикеринг. И вы полагаете, что ничего нельзя сделать? Неужели невозможно отучить ее от ругательств?

Миссис Хигинс. До тех пор, пока она будет находиться в обществе Генри,— нет.

Хигинс *(обиженно)*. По-вашему, моя манера выражаться неприлична?

Миссис Хигинс. Нет, дорогой, отчего же. Для грузовой пристани вполне прилична, но в гостях едва ли.

Хигинс *(глубоко оскорбленный)*. Ну, знаете...

Пикеринг *(прерывая его)*. Не кипятитесь, Хигинс, а лучше последите за собой. Таких словечек, как ваши, я не слыхал с тех пор, как производил смотры волонтеров в Гайд-парке лет двадцать назад.

Хигинс *(надувшись)*. Ну что ж, вероятно, я действительно не всегда выражаюсь, как епископ.

Миссис Хигинс *(успокаивая его жестом)*. Полковник Пикеринг, может быть, вы мне расскажете, что происходит на Уимпол-стрит.

Пикеринг *(весело, будто вопрос изменил тему разговора)*. Я переехал к Генри и живу у него. Мы вместе работаем над моей книгой «Индийские диалекты» — мы решили, что так нам будет удобнее...

Миссис Хигинс. Да, да, все это мне известно, и вы действительно все очень разумно устроили. Но где живет эта девушка?

Хигинс. Как где? Конечно у нас. Где же ей еще жить?

Миссис Хигинс. Но на каком положении? Она ваша горничная? А если нет, так кто?

Пикеринг *(медленно)*. Миссис Хигинс, я, кажется, начинаю понимать, что вы имеете в виду.

Хигинс. Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю. Одно ясно — три месяца я изо дня в день работаю над этой девушкой, чтобы привести ее в человеческий вид. Кроме того, она оказалась очень полезной: она знает, где найти мои вещи, помнит, когда и с кем я должен встретиться.

Миссис Хигинс. А как с ней ладит твоя экономка?

Хигинс. Миссис Пирс? Радуется, что с нее свалилось столько забот. Ведь до появления Элизы ей самой приходилось разыскивать мои вещи и напоминать мне о деловых свиданиях. И все-таки Элиза — это ее пунктик. Она без устали мне твердит: «Вы ни о чем не думаете, сэр». Правда, Пик?

Пикеринг. Да, это ее неизменная формула: «Вы ни о чем не думаете, сэр». Этими словами кончается каждый разговор об Элизе.

Хигинс. А я ни на секунду не перестаю думать об этой девушке и ее проклятых гласных и согласных. Я измучился, думая о ней, наблюдая за ней, за ее губами, зубами, языком, не говоря уже о ее душе,— а это самое непостижимое.

Миссис Хигинс. Ах, взрослые дети! Вы играете с куклой, но ведь она живая.

Хигинс. Хороша игра! Поймите же, мама, я еще никогда в жизни не брался за такую трудную работу. Вы даже не представляете себе, как интересно взять человека, наделить его новой речью и с помощью этой речи сделать его совершенно иным. Ведь это значит уничтожить пропасть, разделяющую классы и души людей.

Пикеринг *(придвигаясь к миссис Хигинс и даже наклоняясь к ней)*. Да, это поразительно интересно. Уверяю вас, миссис Хигинс, мы относимся к Элизе чрезвычайно серьезно. Каждую неделю — какое там!— почти каждый день в ней происходит новая перемена. *(Придвигается еще ближе.)* Мы фиксируем каждую стадию... Сотни записей и фотографий...

Хигинс *(атакуя с другой стороны)*. Черт побери, да это самый увлекательный эксперимент, какой мне приходилось ставить. Она заполнила всю нашу жизнь. Правда, Пик?

Пикеринг. Мы постоянно говорим об Элизе.

Хигинс. Учим Элизу.

Пикеринг. Одеваем Элизу.

Миссис Хигинс. Что?

Хигинс. Изобретаем новую Элизу.

(говорят вместе, стараясь перекричать друг друга).

Хигинс. Вы знаете, у нее поразительный слух.

Пикеринг. Уверяю вас, дорогая миссис Хигинс, эта девушка...

Хигинс. Настоящий попугай. Я проверил ее на все звуки...

Пикеринг. ...гениальна. Она уже очень мило играет на рояле.

Хигинс. ...встречающиеся в человеческой речи...

Пикеринг. Мы водим ее на концерты классической музыки и в мюзик...

Хигинс. ...в европейских и африканских языках, готтентотских...

Пикеринг. ...холлы. Представьте себе, вернувшись домой, она подбирает любую...

Хигинс. ...говорах. Звуки, произносить которые я сам учился годами, она...

Пикеринг. ...мелодию, будь то...

Хигинс. ...схватывает на лету, словно...

Пикеринг. ...Бетховен или Брамс, Легар или Лайонел Монктон...

Хигинс. ...всю жизнь только этим и занималась.

Пикеринг. ...хотя прежде никогда не подходила к роялю.

Миссис Хигинс *(затыкая уши, так как теперь они оба стараются перекричать друг друга).* Ш-ш-ш-ш-ш!

Они замолкают.

Пикеринг. Прошу прощения. *(Смущенно отодвигает свой стул.)*

Хигинс. Простите. Но когда этот Пикеринг начинает кричать, он слова никому не дает вставить.

Миссис Хигинс. Замолчи, Генри. Полковник Пикеринг, неужели вы не понимаете, что в тот день, когда Элиза переступила порог дома на Уимпол-стрит, с нею вместе вошло еще кое-что.

Пикеринг. Да, приходил ее отец, но Генри быстро выставил его.

Миссис Хигинс. Уместнее было бы, чтобы пришла ее мать. Но дело не в этом. Появилось нечто другое.

Пикеринг. Но что же? Что?

Миссис Хигинс *(бессознательно выдавая этим словом свои устаревшие понятия)*. Проблема!

Пикеринг. Ага, понял! Проблема – как выдать ее за светскую даму.

Хигинс. Я разрешу эту проблему. По существу, она уже наполовину разрешена.

Миссис Хигинс. Как безгранично тупы бывают порой мужчины! Проблема в том – что делать с Элизой после?

Хигинс. Не вижу здесь никакой проблемы. Будет жить как ей вздумается, пользуясь всеми преимуществами, которые я ей дам.

Миссис Хигинс. Да, будет жить, как живет та женщина, которая только что вышла отсюда! Ты дашь ей манеры и привычки светской дамы, которые лишат ее возможности зарабатывать на жизнь, но не дашь ей доходов светской дамы. И это ты называешь преимуществом?

Пикеринг *(снисходительно, ему стало скучно)*. Все как-нибудь уладится, миссис Хигинс. *(Встает.)*

Хигинс *(тоже встает.)* Мы подыщем ей какую-нибудь легкую работу.

Пикеринг. Она совершенно счастлива. Не беспокойтесь о ней. До свиданья. *(Пожимает ей руку с таким видом, словно утешает испуганного ребенка, и направляется к двери.)*

Хигинс. Так или иначе, сейчас уже поздно беспокоиться – дело сделано. До свиданья, мама. *(Целует ее и следует за Пикерингом.)*

Пикеринг *(в виде последнего утешения)*. Существует масса возможностей. Мы сделаем все, что полагается. До свиданья.

Хигинс *(Пикерингу, в дверях)*. Свезем-ка ее на Шекспировскую выставку в Эрлскорт.

Пикеринг. С удовольствием. Вы представляете себе ее замечания? Вот будет забавно!

Хигинс. А дома она начнет передразнивать публику.

Пикеринг. Великолепно!

Слышно, как оба, смеясь, спускаются по лестнице. Миссис Хигинс порывисто встает и подходит к письменному столу. Отодвигает в сторону разбросанные бумаги, садится и, вытащив из бювара листок чистой бумаги, решительно начинает писать письмо. Но, написав три строчки, бросает перо и сердито отталкивает стол.

Миссис Хигинс. Ах эти мужчины! Мужчины! Мужчины!

Кабинет Хигинса. Полночь. В комнате никого нет. Часы на камине бьют двенадцать. В камине нет огня. Теплая летняя ночь. На лестнице раздаются голоса Хигинса и Пикеринга.

Хигинс *(кричит Пикерингу)*. Послушайте, Пик, заприте, пожалуйста, входную дверь. Сегодня я больше никуда не пойду.

Пикеринг. Хорошо. А миссис Пирс можно идти спать? Нам больше ничего не понадобится?

Хигинс. Ни черта нам не надо. Пусть ложится.

В освещенном квадрате двери появляется Элиза. Она в роскошном вечернем туалете и бриллиантах. В руках у нее цветы, веер и прочие аксессуары. Она подходит к камину и включает свет. Видно, что она очень устала; темные глаза и волосы подчеркивают ее бледность; выражение лица у нее чуть ли не трагическое. Она сбрасывает накидку, кладет веер и цветы на рояль и опускается на козетку, печальная и притихшая. Входит Хигинс в вечернем костюме, пальто и цилиндре, в руках у него домашняя куртка, которую он захватил внизу. Он бросает цилиндр и пальто на журнальный столик, снимает смокинг и, облачившись в домашнюю куртку, устало разваливается в кресле у камина. Входит Пикеринг, тоже в вечернем костюме. Снимает цилиндр и пальто и уже собирается бросить их на вещи Хигинса, но спохватывается.

Пикеринг. Как бы нам не влетело от миссис Пирс за то, что мы бросили здесь вещи.

Хигинс. Спустите их по перилам в холл. Утром она найдет их и повесит на место. Подумает, что мы вернулись пьяные, и все тут.

Пикеринг. А мы действительно чуточку того. Писем не было?

Хигинс. Я не смотрел.

Пикеринг уносит пальто и шляпы. Хигинс между зевками напевает арию из La Fanciulla del Golden West. Внезапно он обрывает пение.

Куда, к дьяволу, запропастились мои домашние туфли?

Элиза мрачно смотрит на него, внезапно вскакивает и выходит из комнаты. Хигинс зевает и снова начинает напевать свою арию. Возвращается Пикеринг с пачкой писем в руках.

Пикеринг. Одни проспекты и любовное послание с графской короной для вас. *(Бросает проспекты в камин и, повернувшись, прислоняется к нему спиной.*

Хигинс *(взглянув на письмо)*. Ростовщик.

Письмо летит вслед за проспектами. Возвращается Элиза, в руках у нее большие стоптанные домашние туфли. Она ставит их на коврик перед Хигинсом и молча садится на прежнее место.

(Зевая.) О господи! Что за вечер! Что за люди! Что за дурацкий балаган! *(Поднимает ногу, чтобы расшнуровать ботинок, и замечает туфли. Оставив в покое ботинок, смотрит на них, будто они появились тут сами собой.)* А, вот они, оказывается, где!

Пикеринг *(потягиваясь)*. Признаюсь, я устал. Трудный был день. Прием, званый обед и еще вдобавок опера! Слишком много удовольствий сразу. Но пари вы, Хигинс, выиграли. Элиза справилась с ролью, да еще как!

Хигинс *(с жаром)*. Слава богу, все позади!

Элизу передергивает, но мужчины ничего не замечают. Она берет себя в руки и снова застывает.

Пикеринг. Вы нервничали на приеме? Я ужасно. А Элиза была совершенно невозмутима.

Хигинс. Она и не думала нервничать. Я вообще нисколько не беспокоился и был уверен, что все пройдет гладко. Просто я переутомился, и напряжение всех этих месяцев наконец сказалось. Вначале, когда мы занимались фонетикой, было довольно интересно, а потом мне смертельно надоело. Если бы не пари, я бы еще два месяца назад послал все к черту. Затея-то в общем глупая – сплошная скука.

Пикеринг. Не скажите! На приеме были захватывающие моменты. У меня даже сердцебиение началось.

Хигинс. Да, первые три минуты. А когда стало ясно, что мы выигрываем без боя, я почувствовал себя как медведь в клетке – слоняйся без дела из угла в угол. А обед и того хуже! Сиди и обжирайся целый час, и поговорить не с кем, кроме какой-то модной дуры. Нет, Пикеринг, с меня довольно. Поддельных герцогинь я больше изготовлять не собираюсь. Вся эта история обернулась настоящей пыткой.

Пикеринг. У вас просто не хватает тренировки для светского образа жизни. *(Направляясь к роялю.)* А я по временам люблю окунуться в эту атмосферу – начинаешь снова чувствовать себя молодым. Как бы там ни было, но это успех, потрясающий успех! Элиза так хорошо себя держала, что раза два мне даже стало страшно. Видите ли, настоящие герцогини часто вовсе не умеют держать себя. Эти дуры воображают, что хорошие манеры свойственны им от природы, и не желают ничему учиться. Когда же человек делает что-то безукоризненно хорошо, в этом всегда чувствуется профессиональная выучка.

Хигинс. Вот это меня и бесит. Эти дураки даже настоящими дураками быть не умеют. *(Встает.)* Во всяком случае, наше дело сделано и с ним покончено. По крайней мере, можно завалиться спать без боязни за завтрашний день.

Красота Элизы принимает зловещий вид.

Пикеринг. Пожалуй, и я отправлюсь на покой. Что ни говорите, а событие это – ваш полный триумф. Покойной ночи. *(Уходит.)*

Хигинс *(следуя за ним)*. Спокойной ночи. *(Обернувшись на пороге.)* Погасите свет, Элиза, и скажите миссис Пирс, чтобы утром она не варила кофе: я буду пить чай. *(Уходит.)*

Элиза старается взять себя в руки и остаться равнодушной. Она направляется к выключателю, но, дойдя до камина, уже находится на грани истерики. Она опускается в кресло Хигинса и сидит, крепко вцепившись в ручки. В конце концов силы ей изменяют, и в порыве бессильной злобы она бросается на пол. Хигинс орет за дверью.

Куда опять девались эти проклятые туфли? (*Появляется в дверях.*)

Элиза *(хватает туфли и одну за другой изо всей силы швыряет ему прямо в лицо)*. Вот вам ваши туфли! Вот вам! Берите ваши туфли и подавитесь ими!

Хигинс *(изумленный)*. Какого дьявола?.. *(Подходит к ней.)* Что случилось? Вставайте. *(Поднимает ее.)* Я спрашиваю вас, что-нибудь стряслось?

Элиза *(задыхаясь)*. Ничего не стряслось – с вами. Ничего! Я выиграла вам пари, не так ли? С вас этого достаточно. А до меня вам и дела нет.

Хигинс. Вы выиграли мне пари! Вы, дрянь вы этакая! Я выиграл его. Почему вы швырнули в меня туфлями?

Элиза. Потому что хотела расквасить вам физиономию. Я готова убить вас, скотина толстокожая! Почему вы не оставили меня там, где нашли,– на панели? Теперь вы благодарите бога, что все кончено и меня снова можно вышвырнуть на улицу, да? *(В отчаянии ломает руки.)*

Хигинс *(глядя на нее с холодным удивлением)*. Оказывается, у этого существа все-таки есть нервы.

Элиза со сдавленным воплем ярости бросается на Хигинса, готовая выцарапать ему глаза, но он хватает ее за руки.

Ах, вы царапаться? Прочь когти, кошка! Какое вы имеете право устраивать мне сцены? Садитесь, и чтобы я звука не слышал! *(Грубо швыряет ее в кресло.)*

Элиза *(подавленная его превосходством в силе и весе)*. Что со мной будет! Что со мной будет!

Хигинс. За каким чертом мне знать, что с вами будет? Не все ли мне равно, что с вами будет?

Элиза. Да, вам все равно! Я знаю, что вам все равно. Даже если я умру, это вас не тронет. Я для вас ничего не значу – меньше вот этих туфлев.

Хигинс *(громовым голосом)*. Туфель.

Элиза *(с горькой покорностью)*. Туфель. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения.

Пауза. Элиза безнадежно подавлена. Хигинс чувствует себя неловко.

Хигинс *(со всем высокомерием, на какое способен)*. С чего это вы вдруг взорвались? Позвольте узнать, вы недовольны отношением к вам?

Элиза. Нет.

Хигинс. Кто-нибудь плохо обращается с вами! Полковник Пикеринг? Миссис Пирс? Прислуга?

Элиза. Нет.

Хигинс. Надеюсь, вы не жалуетесь на то, что я третировал вас?

Элиза. Нет.

Хигинс. Рад слышать. *(Смягчаясь.)* Вы, вероятно, просто устали после напряженного дня. Хотите бокал шампанского? *(Направляется к двери.)*

Элиза. Нет. *(Вспомнив, как полагается вести себя.)* Благодарю вас, нет.

Хигинс *(снова придя в добродушное настроение)*. Это у вас накопилось за последние дни. Совершенно естественно: вы волновались в ожидании приема. Но теперь уже все позади. *(Снисходительно треплет ее по плечу. Она съеживается.)* Теперь больше не о чем беспокоиться.

Элиза. Да, вам больше не о чем беспокоиться. *(Внезапно встает и, отойдя от него, опускается на козетку у рояля, где сидит, закрыв лицо руками.)* Боже мой, как мне хочется умереть!

Хигинс *(глядя на нее с искренним изумлением)*. Но почему? Ради всего святого, объясните мне, почему? *(Подходя к ней, рассудительно.)* Послушайте, Элиза, ваше раздражение носит чисто субъективный характер.

Элиза. Не понимаю. Я слишком невежественна.

Хигинс. Вы все сами выдумали. Плохое настроение, и больше ничего. Никто вас не обижал, никто не собирается обижать. Будьте умницей, ложитесь, выспитесь — и все пройдет. Поплачьте немного, помолитесь — вам сразу станет легче.

Элиза. Вашу молитву я уже слышала: «Слава богу, все кончилось!»

Хигинс *(нетерпеливо)*. А вы разве не благодарите бога, что все кончилось? Теперь вы свободны и можете делать, что вам вздумается.

Элиза *(через силу, в отчаянии)*. На что я годна? К чему вы меня подготовили? Куда я пойду? Что будет дальше? Что со мной станет?

Хигинс *(он наконец уразумел, в чем дело, но это его нисколько не тревожит)*. Ах, так вот что вас волнует! *(Засовывает руки в карманы и, позвякивая по привычке их содержимым, начинает шагать по комнате. Лишь по доброте душевной он снисходит до такого тривиального разговора.)* На вашем месте я бы не беспокоился о будущем. Думаю, что вам будет нетрудно так или иначе устроиться, хотя, откровенно говоря, я еще как-то не представляю себе, что вы уйдете от нас.

Она бросает на него быстрый взгляд, но он ничего не за-

мечает. Он исследует вазу с фруктами, стоящую на рояле, и решает съесть яблоко.

В конце концов, вы можете выйти замуж. *(Откусывает большой кусок яблока и шумно жует его.)* Знаете, Элиза далеко не все мужчины такие убежденные старые холостяки, как мы с полковником. Большинство мужчин, увы, принадлежит к тем несчастным, которые женятся. А вы ведь совсем неплохо выглядите... Иногда на вас просто приятно смотреть — не сейчас, конечно: сейчас физиономия у вас зареванная и похожа черт знает на что. Но когда вы спокойны и довольны, я сказал бы даже, что вы привлекательны. То есть я хочу сказать — привлекательны для мужчин, склонных к браку. Отправляйтесь-ка в постель, отдохните как следует, а утром встаньте, посмотритесь в зеркало, и у вас сразу поднимется настроение.

Элиза, не двигаясь с места, молча пристально смотрит на него, но взгляд ее пропадает даром. Яблоко оказалось вкусным, и Хигинс с довольным видом жует его. Внезапно его осеняет блестящая идея.

Послушайте, мама найдет вам какого-нибудь подходящего парня! Ручаюсь!

Элиза. Как я низко пала после Тотенхэм Корт-роуд.

Хигинс *(очнувшись)*. Что вы имеете в виду?

Элиза. Там я продавала цветы, но не себя. Теперь, когда вы сделали из меня леди, мне не остается ничего другого, как торговать собой. Лучше бы вы оставили меня на улице.

Хигинс *(решительно бросает огрызок яблока в камин)*. Довольно нести вздор, Элиза. Не оскорбляйте человеческие отношения ханжескими рассуждениями о купле и продаже. Никто вас не заставляет выходить за него, если он вам не понравится.

Элиза. А что мне остается делать?

Хигинс. Да все что угодно. Помните, вы мечтали о цветочном магазине? Пикеринг может вам это устроить — у него куча денег. *(Хихикает.)* Ему еще придется заплатить за тряпки, которые вы сегодня надевали, а если к этому прибавить плату за прокат бриллиантов, то плакали его двести фунтов. Сознайтесь, ведь полгода назад вы и мечтать не смели о таком счастье, как собственный цветочный магазин. Ну, выше нос! Все будет в порядке

А теперь мне пора в постель — чертовски хочется спать. Да, кстати, я ведь за чем-то пришел... Будь я проклят, если помню, за чем...

Элиза. За туфлями.

Хигинс. Совершенно верно, за туфлями. А вы ими запустили в меня. *(Подбирает туфли и собирается уходить, но Элиза встает и задерживает его.)*

Элиза. Прежде чем вы уйдете, сэр...

Хигинс, услышав это обращение, роняет от неожиданности туфли.

Хигинс. А?

Элиза. Я хочу знать: мои платья принадлежат мне или полковнику Пикерингу?

Хигинс возвращается в комнату с таким видом, словно ему никогда не приходилось слышать более нелепого вопроса.

Хигинс. На кой черт нужны Пикерингу ваши платья?

Элиза. Они могут понадобиться ему для эксперимента над следующей девушкой, которую вы найдете.

Хигинс *(уязвленный)*. Так вот вы какого мнения о нас!

Элиза. Я не желаю больше разговаривать на эту тему. Я желаю лишь знать, что из вещей принадлежит мне. Мои вещи, в которых я пришла сюда, к сожалению, сожжены.

Хигинс. Да не все ли равно? С чего это вы вздумали задавать мне в час ночи дурацкие вопросы?

Элиза. Я хочу знать, что я могу взять с собой. Я не хочу, чтобы потом меня обвинили в воровстве.

Хигинс *(глубоко оскорбленный)*. В воровстве! Зачем вы так говорите, Элиза? Не думал я, что вы такая бесчувственная.

Элиза. Прошу прощения, но я простая, невежественная девушка, и в моем положении мне надо быть очень осторожной. Между такими, как вы, и такими, как я, не может быть никаких чувств. Прошу вас, скажите точно, что здесь принадлежит мне, а что нет.

Хигинс *(угрюмо)*. Выносите хоть весь дом, черт вас дери! Оставьте только бриллианты: они взяты напрокат. Вас это устраивает? *(Возмущенный, направляется к двери.)*

Элиза упивается его раздражением, как нектаром, и обдумывает, как еще спровоцировать Хигинса, чтобы продлить наслаждение.

Элиза. Погодите! *(Снимает с себя драгоценности.)* Будьте так любезны, возьмите их и спрячьте у себя. Я не хочу отвечать за них — вдруг что-нибудь пропадет.

Хигинс *(взбешенный)*. Давайте!

Она передает ему драгоценности.

Если бы они принадлежали мне, а не ювелиру, я бы заткнул ими вашу неблагодарную глотку. *(Яростно рассовывает украшения по карманам, не замечая, что украсил себя свешивающимися концами ожерелья.)*

Элиза *(снимая кольцо)*. Это кольцо не взято напрокат. Вы купили мне его в Брайтоне. Теперь оно мне больше не нужно.

Хигинс швыряет кольцо в камин и оборачивается к ней с таким угрожающим видом, что она прячется за рояль, вскрикивает и закрывает лицо руками.

Не бейте меня!

Хигинс. Бить вас, тварь вы этакая! Как вы смели подумать, что я ударю вас! Это вы ударили меня! Вы ранили меня в самое сердце!

Элиза *(трепеща от затаенной радости)*. Очень рада, что хоть немного поквиталась с вами.

Хигинс *(с достоинством, самым изысканным профессиональным тоном)*. Вы меня вывели из себя, что случается со мной чрезвычайно редко. На этом мы прервем наш разговор — я иду спать.

Элиза *(дерзко)*. Оставьте лучше записку миссис Пирс насчет кофе, я не собираюсь ничего передавать ей.

Хигинс *(педантично)*. К черту миссис Пирс! К черту кофе! К черту вас! К черту мою собственную глупость! Надо же было мне, идиоту, тратить свои упорным трудом приобретенные знания, сокровища своей души, свои чувства на бессердечную уличную девчонку! *(Величественно покидает комнату, но портит весь эффект, хлопнув изо всех сил дверью.)*

Элиза впервые за весь вечер улыбается и выражает свои чувства бурной пантомимой, то пародируя горделивый уход Хигинса, то упиваясь торжеством победы. В конце концов она опускается на колени перед камином и начинает искать в нем кольцо.

Гостиная миссис Хигинс. Хозяйка сидит за письменным столом. Входит горничная.

Горничная *(в дверях)*. Мистер Генри, мэм, и с ним полковник Пикеринг.

Миссис Хигинс. Просите.

Горничная. Они говорят по телефону, мэм. По-моему, вызывают полицию.

Миссис Хигинс. Что?

Горничная *(подходит ближе и понижает голос)*. Мистер Генри в расстроенных чувствах, мэм. Я сочла нужным вас предупредить.

Миссис Хигинс. Я удивилась бы гораздо больше, если бы узнала, что мистер Генри не в расстроенных чувствах. Попросите их подняться ко мне, когда они покончат свои дела с полицией. Мистер Генри, наверно, потерял что-нибудь.

Горничная. Слушаю, мэм. *(Направляется к двери.)*

Миссис Хигинс. Поднимитесь наверх и скажите мисс Дулитл, что мистер Генри и полковник здесь. Передайте, чтобы она не выходила, пока я не пришлю за ней.

Горничная. Слушаю, мэм.

Врывается Хигинс. Он, как правильно заметила горничная, пребывает в расстроенных чувствах.

Хигинс. Послушайте, мама, произошла дьявольская история!

Миссис Хигинс. Доброе утро, мой милый.

Он сдерживает свое нетерпение и целует ее, в то время как горничная покидает комнату.

Что же случилось?

Хигинс. Элиза сбежала.

Миссис Хигинс *(спокойно продолжая писать)*. Вы, наверно, напугали ее.

Хигинс. Как же! Ее напугаешь! Вздор! Вчера вечером она, как обычно, задержалась, чтобы погасить свет и всякое прочее, а потом вместо того, чтобы пойти спать, переоделась и сбежала. Ее постель даже не смята. Сегодня

рано утром она приехала на такси за своими вещами, и эта дура миссис Пирс, не сказав мне ни слова, отдала их. Что мне теперь делать?

Миссис Хигинс. Обходиться без нее, Генри. Девушка имела полное право уйти, если ей так хочется.

Хигинс *(блуждая по комнате)*. Но я не могу найти ни одной своей вещи. Я не знаю, с кем и когда у меня назначены встречи. Я...

Входит Пикеринг. Миссис Хигинс кладет перо и отодвигается от письменного стола.

Пикеринг. Доброе утро, миссис Хигинс. Генри уже рассказал вам? *(Садится на тахту.)*

Хигинс. Ну, что сказал этот осел инспектор? Вы предложили вознаграждение?

Миссис Хигинс *(встает в негодовании)*. Неужели вы серьезно собираетесь разыскивать Элизу через полицию?

Хигинс. Конечно! Для чего еще существует полиция? И что нам оставалось делать? *(Садится в елизаветинское кресло.)*

Пикеринг. Я с трудом договорился с инспектором. Он, кажется, заподозрил нас в не совсем чистых побуждениях

Миссис Хигинс. Безусловно. Вообще, какое вы имели право заявлять об этой девушке в полицию, как будто она воровка или потерянный зонтик? Безобразие! *(Снова садится, крайне возмущенная.)*

Хигинс. Но мы же хотим найти ее.

Пикеринг. Мы не допустим, чтобы она вот так ушла от нас Что же нам оставалось делать, миссис Хигинс?

Миссис Хигинс. Здравого смысла у вас столько же, сколько у двух младенцев. Почему...

Входит горничная, прервав начатый разговор.

Горничная. Мистер Генри, к вам какой-то джентльмен по срочному делу. Его направили сюда с Уимпол-стрит

Хигинс. А ну его ко всем чертям! Мне сейчас не до дел А кто он такой?

Горничная. Некий мистер Дулитл, сэр.

Пикеринг. Дулитл? Так ведь это мусорщик!

Горничная. Мусорщик? Что вы, сэр! Это джентльмен

Хигинс *(возбужденно вскочив с места)*. Черт побери, Пик Это, наверно, ее родственник, у которого она скрывается Кто-нибудь, кого мы еще не знаем. *(Горничной.)* Тащите его сюда, да поживее.

Горничная. Слушаю, сэр. *(Уходит.)*

Хигинс *(подходит к матери, нетерпеливо)*. Ну, сейчас мы кое-что услышим. *(Садится на чипендейлевский стул.)*

Миссис Хигинс. А вы знаете кого-нибудь из ее родных?

Пикеринг. Только отца. Помните, мы вам о нем рассказывали.

Горничная *(объявляет)*. Мистер Дулитл. *(Уходит.)*

Входит Дулитл. Он великолепно одет: новый, модный сюртук, белый жилет и серые брюки. Цветок в петлице сверкающий цилиндр и лакированные ботинки завершают картину. Войдя, он не замечает миссис Хигинс, так как целиком поглощен целью своего визита. Он направляется прямо к Хигинсу и обрушивает на него град упреков.

Дулитл *(указывая на свой костюм)*. Смотрите! Видите вы это? Все это вы наделали!

Хигинс. Простите, что «все»?

Дулитл. Вот это все, говорю я вам. Взгляните на меня! Взгляните на эту шляпу! Взгляните на этот костюм

Пикеринг. Элиза купила вам эти вещи?

Дулитл. Как же, Элиза! Держи карман шире! С какой это стати Элиза будет покупать мне тряпки?

Миссис Хигинс. Доброе утро, мистер Дулитл. Не угодно ли присесть?

Дулитл *(смущенный тем, что не заметил хозяйку дома)* Прошу прощения, мэм. *(Подходит к ней и пожимает протянутую руку.)* Благодарю вас. *(Усаживается на тахту справа от Пикеринга.)* Совсем я убит тем, что со мной приключилось, ни о чем другом думать не могу.

Хигинс. Что же, черт побери, с вами приключилось?

Дулитл. Да если б это со мной просто случилось, ну, что ж, как говорится, ничего не поделаешь, с каждым может случиться, на то и воля божья. Так ведь нет, не случилось, а вы это сами со мной сделали. Да, да, вы, лично вы, Генри Хигинс.

Хигинс. Вы нашли Элизу? Остальное неважно.

Дулитл. А вы ее потеряли?

Хигинс. Да.

Дулитл. Ваше счастье. Я ее не нашел, но теперь, после того что вы со мной сделали, она меня сама живо найдет

Миссис Хигинс. Но что же такое сделал с вами мой сын мистер Дулитл?

Дулитл. Что он со мной сделал? Сгубил меня. Лишил по-

коя. Связал меня по рукам и ногам и отдал в лапы буржуазной морали.

Хигинс *(встает и с негодующим видом подступает к Дулитлу)*. Вы бредите. Вы пьяны. Вы с ума сошли. Я дал вам пять фунтов, после чего имел с вами еще две беседы по полкроны в час. Больше я вас в глаза не видел.

Дулитл. Ах, я, значит, пьян? Да? Я с ума, значит, сошел? Да? А скажите-ка, писали вы письмо одному старому душегубу в Америке, который отвалил пять миллионов на то, чтобы по всему свету основать общества моральных реформ, и просил, чтобы вы придумали для него всемирный язык?

Хигинс. Что? Эзра Д. Уонафелер? Да ведь он умер. *(Успокоенный, снова усаживается.)*

Дулитл. Да, он умер, а я пропал. Писали вы ему или не писали? Нет, вы ответьте, писали вы ему, что, насколько вам известно, самый что ни на есть оригинальный моралист во всей Англии – это Элфрид Дулитл, простой мусорщик?

Хигинс. А ведь верно, после вашего последнего визита я, кажется, написал что-то в этом духе, ради шутки.

Дулитл. Ничего себе шутка! Она меня доконала, ваша шутка! Он ведь только и дожидался случая показать, что американцы нам не чета. Они, мол, признают и уважают человека за его достоинства, а из какого он класса, им начхать, пусть хоть из самых подонков. Вот эти самые слова черным по белому и записаны в его завещании. А по этому завещанию он из-за ваших дурацких шуток, Генри Хигинс, оставил мне пай в своем тресте «Пережеванный сыр» на три тысячи годового дохода при условии, что я буду читать лекции в его уонафелеровской «Всемирной лиге моральных реформ», когда меня пригласят, но не больше шести раз в год.

Хигинс. Черт побери! *(Внезапно развеселившись.)* Ну и потеха!

Пикеринг. Вам нечего опасаться, Дулитл: второй раз вас уже не пригласят.

Дулитл. Да тут не о лекциях речь. Я и глазом не моргну, а буду себе читать им эти лекции, пока они на стенку не полезут. Я ведь против чего возражаю – против того, что из меня порядбчного сделали. Кто его просил делать из меня порядочного? Жил я в свое удовольствие, был свободен как ветер, а когда хотел, мог из любого джентльмена деньжат вытянуть, вроде как из вас вытя-

нул, Генри Хигинс. Теперь я минуты покоя не знаю. Связан по рукам и ногам, и все кому не лень из меня деньги тянут. «Вам повезло»,— говорит мой адвокат. «Вот как,— говорю я.— Вы, верно, хотите сказать, что это вам повезло». Помню, когда я был бедняком, довелось мне раз иметь дело с адвокатом — оказалась, понимаете, в моем мусорном фургоне детская коляска. Так адвокат этот только и думал, как бы меня поскорее с рук сбыть. И с докторами та же история — я еще на ногах не держусь, а меня уже норовят из больницы вышвырнуть. Так это мне хоть денег не стоило. А теперь доктора находят, что здоровье у меня слабое и я помру, если они ко мне по два раза на дню не будут заглядывать. Дома мне пальцем не дают шевельнуть: все за меня делают другие, а я за это денежки гони. Год назад у меня на всем белом свете было два-три родственника, да и те со мной знаться не хотели. А теперь их объявилось штук пятьдесят, и всем жить не на что. Живи для других, а не для себя — вот она как обернулась, буржуазная-то мораль. Вы говорите, Элиза потерялась? Не беспокойтесь! Бьюсь об заклад, что она уже у моего подъезда торчит. А пока меня почтенным буржуа не сделали, она себе спокойно цветочки продавала и сама кормилась. Подходит день, когда и вы, Генри Хигинс, начнете из меня деньги тянуть. Придется вам меня учить разговаривать по-буржуазному, просто по-человечески мне теперь говорить не положено. Вот тут-то ваш черед и подойдет. Я так думаю, что вы всю эту штуку для того и подстроили.

Миссис Хигинс. Но, милый мистер Дулитл, если вы говорите серьезно, то зачем вам терпеть это? Никто не заставляет вас принять наследство. Вы можете отказаться от него. Не так ли, полковник Пикеринг?

Пикеринг. Несомненно.

Дулитл *(смягчая тон из уважения к даме)*. В том-то и трагедия, мэм. Легко сказать — отказаться. А если духа не хватает? Да и у кого хватило бы? Все мы запуганы, мэм,— вот оно что. Ну, допустим, я отказался, а под старость что? Ступай в работный дом? Мне уже сейчас приходится волосы красить, чтобы работу не потерять. А я всего-навсего мусорщик. Будь я достойным бедняком, я бы, конечно, имел кой-какие сбережения и тогда мог бы отказаться. Но опять-таки смысла нету, потому как достойным беднякам живется не лучше, чем миллионерам. Им даже не понять, что значит жить в свое удоволь-

ствие. А как я есть бедняк недостойный, то между мной и нищенской робой только и стоят что эти три тысячи в год. Будь они трижды прокляты – простите за выражение, мэм, но и вы на моем месте не удержались бы – они-то меня в буржуазное общество и спихнули. Вот и выходит – куда ни кинь, все клин: выбирать приходится между Скилией работного дома и Харбидией буржуазного класса, а выбрать работный дом рука не поднимается. Запуган я, мэм. Сдаться решил. Меня купили. Счастливцы будут вывозить мой мусор и тянуть из меня на чай, а я буду смотреть на них и завидовать. И все это подстроил мне ваш сынок. *(Смолкает от наплыва чувств.)*

Миссис Хигинс. Я очень рада, что вы не собираетесь делать глупости. Таким образом, будущее Элизы перестанет быть проблемой. Теперь вы можете обеспечить ее.

Дулитл *(с печальной покорностью)*. Да, мэм. Теперь я должен обеспечивать всех – и все на жалкие три тысячи в год.

Хигинс *(вскакивая)*. Вздор! Он не может обеспечить ее и не будет ее обеспечивать. Она ему не принадлежит: я заплатил за нее пять фунтов. Честный вы человек или мошенник, Дулитл?

Дулитл *(кротко)*. И того и другого есть понемногу. Как каждый из нас, Генри.

Хигинс. Но деньги-то вы за девушку взяли? Значит, не имеете права требовать ее обратно.

Миссис Хигинс. Генри, перестань глупить. Угодно тебе знать, где Элиза? Так вот, она у меня наверху.

Хигинс *(пораженный)*. Наверху? Ну, так я ее живо спущу вниз! (*Решительно направляется к двери.*)

Миссис Хигинс *(следует за ним)*. Успокойся, Генри. Сядь.

Хигинс. Я..

Миссис Хигинс. Сядь, милый, и выслушай меня.

Хигинс. Ну хорошо, хорошо, пожалуйста! *(С размаху бросается на тахту и отворачивается.)* Но вы могли все-таки сказать мне об этом еще полчаса назад.

Миссис Хигинс. Элиза пришла ко мне сегодня утром. Уйдя от вас, она в ярости металась по улицам, хотела утопиться, но не нашла в себе сил и остаток ночи провела в отеле «Карлтон». Она рассказала мне, как отвратительно вы поступили с ней.

Хигинс *(снова вскочив)*. Что-о?

Пикеринг *(тоже встает)*. Дорогая миссис Хигинс, поверьте, это сплошные выдумки. Никто с ней дурно не поступал. Мы вообще почти не разговаривали с ней и расстались самыми лучшими друзьями. *(Хигинсу.)* Хигинс, может быть, вы ее чем-нибудь допекли после моего ухода?

Хигинс. Как раз наоборот. Это она запустила в меня туфлями и вообще вела себя самым непозволительным образом. Я не дал ей ни малейшего повода, и вдруг бац! — не успел я слова сказать, как она влепила мне в физиономию сначала одну туфлю, потом другую. А сколько гадостей наговорила!

Пикеринг *(удивленный)*. Но за что? Что мы ей сделали?

Миссис Хигинс. А я прекрасно понимаю, что вы ей сделали. Девушка, вероятно, от природы очень чувствительна. Не правда ли, мистер Дулитл?

Дулитл. Сердце у нее чистый воск, мэм. В меня пошла.

Миссис Хигинс. Вот видите. Она привязалась к вам обоим. Она так старалась ради тебя, Генри! Ты даже представить себе не можешь, что значит для такой девушки умственная работа. Наконец наступает великий день. Она справляется с труднейшим испытанием без единого промаха, а вы возвращаетесь домой и, даже не замечая ее, начинаете рассказывать, как вам надоела вся эта история и как вы рады, что все наконец кончилось. И ты еще удивляешься, что она запустила в тебя туфлями? Я бы в тебя кочергой запустила!

Хигинс. Мы сказали только, что очень устали и хотим спать, вот и все. Правда, Пик?

Пикеринг *(пожимая плечами)*. Больше мы ничего не говорили.

Миссис Хигинс *(с иронией)*. Вы уверены?

Пикеринг. Абсолютно уверен. Ни слова больше.

Миссис Хигинс. И вы не поблагодарили ее, не сказали ей ласкового слова, не похвалили ее за то, что она так блистательно справилась со своей задачей?

Хигинс *(нетерпеливо)*. Все это ей и без того было известно. Если вы имеете в виду поздравительные речи, то мы их действительно не произносили.

Пикеринг *(испытывая угрызения совести)*. Возможно, мы были недостаточно внимательны. Она очень сердится?

Миссис Хигинс *(возвращаясь на свое место за письменным столом)*. Боюсь, что она не вернется больше на Уимпол-стрит, особенно теперь, когда мистер Дулитл

может обеспечить ей то положение, которое вы ей навязали. Однако она говорит, что готова забыть обиды и встретиться с вами по-дружески.

Хигинс *(взбешенный)*. Вот как! Она готова снизойти до нас!

Миссис Хигинс. Если ты обещаешь вести себя прилично, Генри, я попрошу ее спуститься сюда. Если – нет, отправляйся домой: ты и так уже отнял у меня много времени.

Хигинс. Прекрасно! Превосходно! Пик, прошу вас, ведите себя прилично. Облачимся в наши лучшие воскресные манеры ради девчонки, которую мы вытащили из грязи. *(Сердито бросается в елизаветинское кресло.)*

Дулитл *(с укором)*. Ах, Генри Хигинс, Генри Хигинс, пощадите мои буржуазные чувства.

Миссис Хигинс. Не забывай, Генри: ты обещал. *(Нажимает кнопку звонка на письменном столе.)* Мистер Дулитл, будьте любезны, пройдите пока на балкон. Я хочу, чтобы Элиза помирилась с этими джентльменами до того, как вы сообщите ей о своем новом положении. Вы не возражаете?

Дулитл. Как вам угодно, мэм. Я готов на все, лишь бы Генри избавил меня от нее. *(Скрывается за балконной дверью.)*

Появляется горничная. Пикеринг занимает место Дулитла.

Миссис Хигинс. Попросите, пожалуйста, мисс Дулитл.

Горничная. Слушаю, мэм. *(Уходит.)*

Миссис Хигинс. Смотри, Генри, будь умницей.

Хигинс. По-моему, я веду себя идеально.

Пикеринг. Он старается как может, миссис Хигинс.

Пауза. Хигинс откидывает голову, вытягивает ноги и начинает насвистывать.

Миссис Хигинс. Милый Генри, в этой позе ты выглядишь совсем не лучшим образом.

Хигинс *(подбирая ноги)*. А я и не стремлюсь выглядеть лучшим образом.

Миссис Хигинс. Дело не в этом, милый. Я просто хотела, чтобы ты заговорил.

Хигинс. А почему?

Миссис Хигинс. А потому, что, когда человек разговаривает, он не может свистеть.

Хигинс издает стон. Снова томительная пауза.

Хигинс *(потеряв терпение, вскакивает с места)*. Где же, черт побери, эта девчонка? Целый день нам ее дожидаться, что ли?

Входит невозмутимая, излучающая приветливость Элиза. Она в совершенстве владеет собой и держится с полной непринужденностью. В руках у нее рабочая корзинка. Видно, что она чувствует себя здесь как дома. Пикеринг так поражен, что не в силах двинуться с места.

Элиза. Здравствуйте, профессор Хигинс. Как вы себя чувствуете?

Хигинс *(поперхнувшись)*. Как я... *(Продолжать он не в состоянии.)*

Элиза. Ну конечно хорошо — вы ведь никогда не болеете. Как я рада вас видеть, полковник Пикеринг!

Пикеринг поспешно вскакивает и здоровается с ней.

Сегодня прохладно, не правда ли? *(Садится.)*

Пикеринг усаживается рядом с ней.

Хигинс. Со мной вы эти фокусы бросьте! Я сам вас всему научил, меня этим не возьмешь! Хватит дурака валять! Одевайтесь и домой.

Элиза вынимает из корзинки вышивание и начинает работать, не обращая на Хигинса ни малейшего внимания.

Миссис Хигинс. Право, ты очень мил, Генри! Ни одна женщина не устоит перед таким приглашением.

Хигинс. Оставьте вы ее, мама. Пусть говорит сама за себя. Вы очень скоро убедитесь, что у нее нет ни одной своей мысли, ни одного своего слова — всему научил ее я. Повторяю вам, я создал ее из рыночных отбросов, а теперь эта гнилая капустная кочерыжка разыгрывает передо мной знатную леди.

Миссис Хигинс *(успокаивающе)*. Да, да, мой милый, но, может быть, ты все-таки сядешь.

Разъяренный Хигинс садится.

Элиза *(продолжая работать и, по-видимому, не замечая его присутствия)*. Теперь вы меня, наверно, совсем забудете, полковник Пикеринг,— ведь ваш эксперимент окончен.

Пикеринг. Не надо так. Вы не должны об этом думать как об эксперименте. Мне больно это слышать.

Элиза. Правда, я ведь всего лишь гнилая капустная кочерыжка...

Пикеринг *(порывисто)*. Нет!

Элиза *(невозмутимо)*. ...но вы для меня столько сделали, что мне было бы очень горько, если бы вы меня забыли.

Пикеринг. Вы очень любезны, мисс Дулитл.

Элиза. Дело не в том, что вы платили за мои туалеты. Я знаю, вы не скупитесь на деньги. Но именно от вас я научилась хорошим манерам, а ведь без них нельзя стать настоящей леди, не правда ли? Знаете, мне было так трудно научиться прилично вести себя, находясь все время в обществе профессора Хигинса. Я с детства привыкла вести себя точно так же, как ведет себя он: не умела сдерживаться, кричала, ругалась по каждому поводу. Я бы так никогда и не узнала, как ведут себя настоящие леди и джентльмены, если бы не вы.

Хигинс. Ну и ну!

Пикеринг. Но ведь у него это получается непроизвольно. Он не хотел вам плохого.

Элиза. Вот и я непроизвольно делала то же самое, когда была цветочницей. Но все-таки делала – вот в чем беда.

Пикеринг. Ваша правда. Тем не менее именно он научил вас правильно говорить; я, знаете, с этим бы не справился.

Элиза *(небрежно)*. Да, конечно, но ведь это его профессия.

Хигинс. Ах, черт!

Элиза *(продолжая)*. Это все равно что научить танцевать модные танцы, не больше. Знаете вы, когда по-настоящему началось мое воспитание?

Пикеринг. Нет...

Элиза *(опуская вышивку)*. В тот день, когда я впервые пришла на Уимпол-стрит и вы назвали меня мисс Дулитл. С этой минуты я начала уважать себя. *(Снова берется за вышивание.)* Многих мелочей вы даже не замечали, так они были естественны для вас. Вы разговаривали со мной стоя, снимали передо мной шляпу, пропускали меня в дверях...

Пикеринг. Какие пустяки!

Элиза. Да, но эти пустяки говорили о том, что вы обо мне лучшего мнения, чем о какой-нибудь судомойке; хотя и с судомойкой, попади она в гостиную, вы, конечно, были бы так же вежливы. Вы, например, никогда не снимали при мне ботинок в столовой.

Пикеринг. Вы не должны обижаться за это на Хигинса: он снимает их всюду.

Элиза. Знаю. И не виню его. Это у него получается непроизвольно, не правда ли? Но для меня было так важно, что вы этого не делали. Видите ли, разница между леди и цветочницей заключается не только в умении одеваться и правильно говорить — этому можно научить, и даже не в манере вести себя, а в том, как себя ведут с ними окружающие. С профессором Хигинсом я навсегда останусь цветочницей, потому что он вел себя и будет вести себя со мной, как с цветочницей. Но с вами я могу стать леди, потому что вы вели себя и будете вести себя со мной, как с леди.

Миссис Хигинс. Генри, пожалуйста, не скрежещи зубами.

Пикеринг. Право, мне очень приятно это слышать, мисс Дулитл.

Элиза. Если хотите, можете называть меня просто Элизой.

Пикеринг. Благодарю. С наслаждением буду называть вас Элизой.

Элиза. А профессора Хигинса я просила бы называть меня мисс Дулитл.

Хигинс. Раньше подохнете.

Миссис Хигинс. Генри! Генри!

Пикеринг *(смеясь)*. Платите ему той же монетой, Элиза. Не церемоньтесь с ним, ему это на пользу.

Элиза. Не могу. Раньше смогла бы, а теперь не могу. Ночью, когда я бродила по улицам, ко мне обратилась какая-то девушка. Я попробовала заговорить с ней по-старому, но у меня ничего не вышло. Помните, вы мне рассказывали, что, когда ребенок попадает в другую страну, он быстро начинает говорить на чужом языке и забывает свой. Я — такой ребенок в вашей стране. Я забыла свой родной язык и могу говорить только на вашем. Именно теперь, когда я ушла с Уимпол-стрит, я навсегда покончила с Тотенхэм Корт-роуд.

Пикеринг *(встревоженно)*. Но вы же вернетесь на Уимпол-стрит, правда? Вы простите Хигинса?

Хигинс *(вскакивая)*. Черта с два я ей позволю прощать меня. Пускай убирается! Пускай попробует обойтись без нас. Без меня она через три недели скатится обратно на дно.

В комнате появляется Дулитл. Бросив на Хигинса пол-

ный достоинства и укоризны взгляд, он тихо подходит к дочери, которая стоит спиной к нему.

Пикеринг. Он неисправим, Элиза. Но вы ведь не скатитесь на дно, правда?

Элиза. Нет, никогда не скачусь. Я хорошо выучила свой урок. Я уже не могу издавать такие звуки, как раньше, даже если бы захотела!

Дулитл сзади кладет ей руку на плечо. От неожиданности она роняет вышивание, оборачивается и тут, при виде отца в шикарном костюме, ей сразу изменяет выдержка.

А... а... а... у... у... о... ой!

Хигинс *(издав торжествующий вопль)*. Ага! Правильно! А... а... а... у... у... о... ой! Победа! Победа! *(Растягивается на тахте, скрестив руки на груди.)*

Дулитл. Ну чего к девушке прицепились? Не смотри на меня так, Элиза. Я тут ни при чем. Просто у меня деньги завелись.

Элиза. Не иначе как тебе миллионер подвернулся?

Дулитл. Верно. Но сегодня я вырядился по особому случаю. Сейчас еду в церковь святого Георгия. Мачеха твоя за меня выходит.

Элиза *(сердито)*. И ты унизишься до брака с этой мерзкой, вульгарной бабой?

Пикеринг *(мягко)*. Это его долг, Элиза. *(Дулитлу.)* А почему она переменила свои намерения?

Дулитл *(грустно)*. Запугана, хозяин, запугана. Буржуазная мораль требует жертв. Не хочешь ли поглядеть, как меня окрутят, Элиза? Надевай шляпу и поехали.

Элиза. Если полковник считает это нужным, я... я... *(Чуть не плачет.)* Я поступлюсь своим достоинством. А в награду за это, наверно, наслушаюсь новых оскорблений.

Дулитл. Не бойся, теперь она больше ни с кем не лается. Как стала порядочной, так совсем духом пала.

Пикеринг *(слегка сжимая локоть Элизы)*. Не огорчайте их, Элиза. Сделайте что в ваших силах.

Элиза *(пытается выдавить улыбку, скрыв раздражение)*. Ну хорошо, я поеду. Пусть видят, что я не злопамятна. Подожди минутку, я сейчас вернусь. *(Уходит.)*

Дулитл *(подсаживаясь к Пикерингу)*. Как подумаю об этой церемонии, так меня страх и разбирает, полковник. Может, вы тоже поедете, чтобы подбодрить меня?

Пикеринг. У вас ведь уже есть опыт, старина. Вы же были женаты на матери Элизы.

Дулитл. Да кто это вам сказал?

Пикеринг. Мне, собственно, никто не говорил... Но, естественно, я полагал...

Дулитл. Ничего тут нет естественного. Просто у порядочных так принято. А я всегда поступал, как положено непорядочному. Только вы Элизе ничего не говорите. Она не знает: я ей из деликатности не говорил.

Пикеринг. И правильно сделали. Если не возражаете, забудем о нашем разговоре.

Дулитл. Ладно. А вы поедете со мной в церковь, полковник, и присмотрите, чтобы меня окрутили по всем правилам?

Пикеринг. С удовольствием. Не знаю только, будет ли от меня, холостяка, польза.

Миссис Хигинс. А меня вы не приглашаете, мистер Дулитл? Я бы тоже с удовольствием побывала на вашей свадьбе.

Дулитл. За большую честь сочту, мэм, если вы снизойдете. А старуха моя, так та на стенку от радости полезет. Очень уж она расстраивается, бедняжка, что кончились наши счастливые денечки.

Миссис Хигинс *(вставая)*. Тогда я велю подать коляску и пойду одеваться.

Мужчины встают, Хигинс не трогается с места.

Я задержу вас минут на пятнадцать, не больше.

Направляется к двери. Навстречу ей входит Элиза в шляпе и перчатках, которые она застегивает на ходу.

Элиза, я тоже отправляюсь в церковь на свадьбу вашего отца. Вам удобнее ехать со мной, а полковник Пикеринг может сопровождать жениха.

Миссис Хигинс уходит. Элиза проходит в комнату и останавливается между окном и тахтой. Пикеринг присоединяется к ней.

Дулитл. Жених! Ну и словечко! Скажешь такое, и сразу тебе ясно, на что идешь. *(Берет цилиндр и направляется к двери.)*

Пикеринг. Элиза, пока я не ушел, обещайте, что простите Хигинса и возвратитесь к нам.

Элиза. Боюсь, что папа не разрешит мне. Правда, папочка?

Дулитл *(опечаленный, но готовый проявить великодушие)* А ловко эти шутники обвели тебя вокруг пальца, Элиза. Имей ты дело с одним, ты бы уж его из рук не выпустила. Вся беда в том, что их оказалось двое, и один вроде как прикрывал другого. *(Пикерингу.)* Хитрей не придумаешь, полковник, но я не в претензии — я бы и сам так сделал. Всю жизнь я страдал от женщин; так уж если вам удалось выкрутиться, ваше счастье. Я в ваши дела не полезу. Ну, полковник, пора нам двигаться. До скорого, Генри. Элиза, увидимся в церкви. *(Уходит.)*

Пикеринг *(заискивающе)*. Оставайтесь с нами, Элиза. *(Идет вслед за Дулитлом.)*

Элиза хочет выйти на балкон, чтобы не оставаться наедине с Хигинсом. Он следует за ней. Она тут же возвращается в комнату, но он, пробежав вдоль балкона, успевает преградить ей путь.

Хигинс. Ну вот, Элиза, вы и поквитались со мной, по вашему выражению. Довольны вы, или вам еще мало? Может быть, вы хоть теперь образумитесь?

Элиза. Вы хотите, чтобы я вернулась только затем, чтобы подавать вам туфли, терпеть ваши вздорные причуды и быть у вас на побегушках?

Хигинс. Я не сказал, что хочу вашего возвращения.

Элиза. Ах вот как! В таком случае о чем нам вообще говорить?

Хигинс. О вас, не обо мне. Если вы вернетесь, я буду относиться к вам точно так же, как относился до сих пор. Я не могу переделать себя и не собираюсь менять свои манеры. Кстати, веду я себя нисколько не хуже, чем полковник Пикеринг.

Элиза. Неправда. Полковник Пикеринг ведет себя с цветочницей, как с герцогиней.

Хигинс. А я с герцогиней — как с цветочницей.

Элиза. Понятно. *(Спокойно садится на тахту лицом к окну, отвернувшись от него.)* Со всеми одинаково.

Хигинс. Совершенно верно.

Элиза. Совсем как мой отец.

Хигинс *(с усмешкой, но слегка сбавив тон)*. Я не совсем согласен с вашим сравнением, Элиза. Однако должен при-

знать, что отец ваш не страдает снобизмом и будет чувствовать себя одинаково свободно в любом положении, в каком может очутиться по воле своей капризной судьбы. *(Серьезно.)* Вы знаете, в чем секрет, Элиза? Не в том, что человек ведет себя плохо или хорошо, или еще как-нибудь, а в том, что он со всеми людьми ведет себя одинаково. Короче говоря, надо вести себя так, словно ты в раю, где нет пассажиров третьего класса и царит всеобщее равенство.

Элиза. Аминь. Вы прирожденный проповедник.

Хигинс *(раздраженно)*. Дело не в том, что я груб с вами, а в том, что я никогда ни с кем и не бываю иным.

Элиза *(очень искренне)*. Мне все равно, как вы со мной обращаетесь. Ругайте меня, бейте, пожалуйста,— я к этому привыкла. Но *(встает и смотрит на него в упор)* раздавить себя я не позволю.

Хигинс. Так прочь с моего пути. Я не собираюсь останавливаться из-за вас. С какой стати вы говорите обо мне так, словно я автобус?

Элиза. Вы и есть автобус. Завели мотор и поперли, а до других вам и дела нет. Но не думайте, я могу обойтись и без вас.

Хигинс. Знаю. Я сам говорил вам, что можете.

Элиза *(уязвленная, переходит к другому концу тахты и поворачивается к камину)*. Да, говорили, бездушный вы человек. Вы хотели избавиться от меня.

Хигинс. Врете.

Элиза. Спасибо. *(С достоинством садится.)*

Хигинс. А приходило вам когда-нибудь в голову, что я не могу обойтись без вас?

Элиза *(серьезно)*. Не пытайтесь снова меня опутать. Вам придется обходиться без меня.

Хигинс *(высокомерно)*. И обойдусь. Мне не нужен никто. У меня есть моя собственная душа, моя собственная искра божественного огня. *(С неожиданным смирением.)* Но мне будет недоставать вас, Элиза. *(Садится рядом с ней.)* Ваши идиотские представления о жизни многому меня научили — признаюсь покорно и с благодарностью. Кроме того, я привык к вашему голосу и к вашему виду, они мне даже нравятся.

Элиза. Ну что ж, у вас есть записи с моим голосом и мои фотографии. Когда вам станет скучно без меня, послушайте запись. У нее, по крайней мере, нет чувств, ей не причинишь боли.

Хигинс. Но я не услышу вашей души. Оставьте мне свою душу, а голос и лицо берите с собой. Они — не вы.

Элиза. О, да вы настоящий дьявол! Вы умеете вывернуть душу, как другие выворачивают руку, чтобы поставить человека на колени. Миссис Пирс предупреждала меня. Сколько раз она собиралась от вас уйти, но в последнюю минуту вам всегда удавалось уломать ее. А ведь она вас нисколько не интересует, так же, как не интересую вас я.

Хигинс. Но меня интересует человеческая природа и жизнь, а вы — частица этой жизни, которая встретилась мне на пути и в которую я вложил свою душу. Чего еще вы хотите?

Элиза. Я хочу быть безразличной к тому, для кого безразлична я.

Хигинс. Это торгашеский принцип, Элиза. Все равно что *(профессионально точно воспроизводит ее ковент-гарденскую манеру речи)* «фиялочки» продавать.

Элиза. С вашей стороны подло глумиться надо мной.

Хигинс. Я никогда в жизни ни над кем не глумился. Глумление не украшает ни человека, ни его душу. Я лишь выражаю свое справедливое возмущение торгашеским подходом к делу. В вопросах чувства я не признаю сделок. Вы называете меня бездушным, потому что не смогли купить меня тем, что подавали мне туфли и находили очки. Вы были дурой. Женщина, подающая мужчине туфли,— отвратительное зрелище. Разве я когда-нибудь подавал туфли вам? Вы намного выиграли в моих глазах, когда запустили этими самыми туфлями мне в физиономию. Нечего сперва раболепствовать передо мной, а потом возмущаться, почему я не интересуюсь вами. А кто может интересоваться рабом? Если вы хотите вернуться, возвращайтесь ради настоящей дружбы. Другого не ждите. Вы и так получили от меня в тысячу раз больше, чем я от вас. А если вы посмеете сравнивать свои собачьи повадки — вроде таскания туфель — с тем, что я создал из вас герцогиню Элизу, то я просто захлопну дверь перед вашим глупым носом.

Элиза. Зачем вы делали из меня герцогиню, если я вас не интересую?

Хигинс *(искренне)*. Так ведь это же моя работа.

Элиза. Вы даже не подумали, сколько беспокойства причините мне этим.

Хигинс. Мир никогда бы не был сотворен, если бы творец его боялся кого-нибудь обеспокоить. Творить жизнь —

значит причинять беспокойство. Есть один только путь избежать беспокойства: убийство. Вы заметили, трусы всегда требуют, чтобы беспокойных людей убивали.

Элиза. Я не проповедник, чтобы обращать внимание на такие вещи. Я обращаю внимание только на то, что вы не обращаете внимания на меня.

Хигинс *(разозлившись, вскакивает и начинает ходить по комнате)*. Элиза, вы идиотка! Я зря трачу сокровища своего мильтоновского ума, выкладывая их перед вами. Поймите раз и навсегда — я иду своим путем и делаю свое дело. А на то, что может случиться с любым из нас, мне решительно наплевать. Я не запуган, как ваш отец и ваша мачеха. Выбирайте сами — либо возвращайтесь, либо идите ко всем чертям.

Элиза. Зачем мне возвращаться?

Хигинс *(встав коленями на тахту, наклоняется к Элизе)*. Только ради собственного удовольствия. Из-за этого я и взял вас к себе.

Элиза *(отвернувшись)*. А завтра, если я не стану выполнять все ваши желания, вы вышвырнете меня обратно на улицу?

Хигинс. Да. Но вы тоже можете встать и уйти, если я не буду исполнять все ваши желания.

Элиза. Уйти и жить с мачехой?

Хигинс. Да. Или продавать цветы.

Элиза. Ах, если бы я могла опять вернуться к моей корзине с цветами! Я бы не зависела ни от вас, ни от отца, ни от кого на свете! Зачем вы отняли у меня мою независимость? Зачем я пошла на это! А теперь я просто жалкая раба, несмотря на все свои красивые платья.

Хигинс. Ничего подобного. Если хотите, я могу удочерить вас и положить на ваше имя деньги. А может быть, вы предпочитаете выйти замуж за Пикеринга?

Элиза *(свирепо)*. Я не вышла бы даже за вас, если бы вы меня попросили. А по возрасту вы мне больше подходите, чем они.

Хигинс *(мягко)*. Чем он, а не «чем они».

Элиза *(выйдя из себя, вскакивает)*. Буду говорить, как хочу. Вы мне больше не учитель.

Хигинс *(в раздумье)*. Нет, Пикеринг едва ли пойдет на это. Он такой же убежденный холостяк, как я.

Элиза. Я и не собираюсь замуж, не воображайте. У меня всегда хватало охотников жениться на мне. Вон Фредди Эйнсфорд Хилл пишет мне три раза в день, и не письма — целые простыни.

Хигинс *(неприятно пораженный)*. Черт знает что за нахал! *(Откидывается назад и оказывается сидящим на корточках.)*

Элиза. Он имеет право писать мне, раз ему так нравится. Бедный мальчик любит меня.

Хигинс *(слезая с тахты)*. Но вы не имеете права поощрять его.

Элиза. Каждая девушка имеет право на любовь.

Хигинс. На чью любовь? Вот таких идиотов?

Элиза. Фредди не идиот. А если он бедный и слабенький и я нужна ему, то, может быть, я буду с ним счастливее, чем с человеком, который стоит выше меня и которому я не нужна.

Хигинс. Весь вопрос в том, сможет ли он что-нибудь сделать из вас?

Элиза. А может быть, я сама могу что-нибудь сделать из него. Но я вообще никогда не задумывалась над тем, кто из кого будет что-то делать, а вы только об этом и думаете. Я хочу остаться такой, как я есть.

Хигинс. Короче говоря, вы хотите, чтобы я вздыхал по вас так же, как Фредди? Да?

Элиза. Нет, не хочу. Мне от вас нужно совсем другое чувство. Напрасно вы так уж уверены насчет меня или себя. Я могла бы стать скверной девушкой, если б хотела. Я в жизни такое видела, что вам и не снилось, несмотря на всю вашу ученость. Вы думаете, такой девушке, как я, трудно завлечь джентльмена? Только от этой любви назавтра в петлю полезешь.

Хигинс. Это верно. Так из-за чего же, черт побери, мы спорим?

Элиза *(с глубоким волнением)*. Мне хочется чуточку внимания, ласкового слова. Я знаю, я простая, темная, а вы большой ученый и джентльмен. Но ведь и я человек, а не ком грязи у вас под ногами. Если я чего и делала *(поспешно поправляется)*, если я что-нибудь и делала, то не ради платьев и такси. Я делала это потому, что нам было хорошо вместе, и я начала... я начала привязываться к вам... не в смысле любви или потому что забыла разницу между нами, а так просто, по-дружески.

Хигинс. Вот-вот! То же самое чувствуем и мы с Пикерингом. Элиза, вы дура.

Элиза. Это не ответ. *(Опускается в кресло у письменного стола, на глазах ее слезы.)*

Хигинс. Другого не ждите, пока не перестанете вести себя

как круглая дура. Желаете стать леди, так нечего хныкать, что знакомые с вами мужчины не проводят половину своего времени, вздыхая у ваших ног, а вторую половину – разукрашивая вас синяками. Если вам не под силу та напряженная, но чуждая страстей жизнь, которую веду я, – возвращайтесь обратно на дно. Гните спину до потери человеческого облика, потом, переругавшись со всеми, заползайте в угол и тяните виски, пока не заснете. Ах, хороша жизнь в канаве! Вот это настоящая жизнь, жаркая, неистовая – прошибет самую толстую шкуру. Чтобы вкусить и познать ее, не нужно ни учиться, ни работать. Это вам не наука и литература, классическая музыка и философия или искусство. Вы находите, что я – бесчувственный эгоист, человек с рыбьей кровью, так ведь? Вот и прекрасно. Отправляйтесь к тем, кто вам по душе. Выходите замуж за какого-нибудь сентиментального борова с набитым кошельком. Пусть он целует вас толстыми губами и пинает толстыми подошвами. Не способны ценить, что имеете, так получайте то, что способны ценить.

Элиза *(в отчаянии)*. Вы злой, вы тиран, вы деспот! Я не могу с вами говорить – вы все обращаете против меня, и выходит, что я же во всем виновата. Но в душе-то вы понимаете, что вы просто мучитель, и больше ничего. Вам отлично известно, что я не могу уже вернуться на дно, как вы говорите, и что на всем белом свете у меня нет настоящих друзей, кроме вас и полковника. Вы великолепно знаете, что после вас я буду не в состоянии жить с простым грубым человеком. Зачем же оскорблять меня, предлагая мне выйти за такого? Вы считаете, что мне придется вернуться на Уимпол-стрит, так как к отцу я не пойду, а больше мне некуда деться. Но не воображайте, что уже наступили мне на горло, что надо мной теперь можно издеваться. Я выйду замуж за Фредди, вот увидите, как только он сможет содержать меня.

Хиггинс *(садится рядом с ней)*. Вздор! Вы выйдете замуж за посла, за генерал-губернатора Индии, за наместника Ирландии, за любого короля! Я не потерплю, чтобы мой шедевр достался Фредди!

Элиза. Вы думаете доставить мне удовольствие, но я не забыла, что вы говорили минуту назад. Сладкими словами вы от меня ничего не добьетесь. Я не ребенок и не дурочка. Раз уж я не получу любви, то по крайней мере сохраню независимость.

Хигинс. Независимость! Это кощунственная мелкобуржуазная выдумка. Все мы, живые люди, зависим друг от друга.

Элиза *(решительно встает)*. А вот вы увидите, завишу я от вас или нет. Если вы способны проповедовать, то я способна преподавать. Я стану учительницей.

Хигинс. Хотел бы я знать, чему это вы собираетесь учить?

Элиза. Тому, чему учили меня вы,— фонетике.

Хигинс. Ха-ха-ха!

Элиза. Я пойду к профессору Непину и предложу ему свои услуги в качестве ассистентки.

Хигинс *(яростно вскакивая)*. Что! К этому мошеннику, к этому невежде, к этой старой каракатице! Раскрыть ему мои методы! Выдать мои открытия! Да я вам раньше шею сверну! *(Хватает ее за плечи.)* Слышите, вы?

Элиза *(не делая ни малейшей попытки сопротивляться)*. Сворачивайте! Мне все равно. Я знала, что когда-нибудь вы меня ударите.

Он выпускает ее, взбешенный тем, что забылся, и отшатывается так резко, что падает на тахту, на свое прежнее место.

Ага! Теперь я знаю, чем вас пронять. Боже, какая я была дура, что не догадалась раньше! Вам уже не отнять у меня моих знаний. А слух у меня тоньше, чем у вас,— вы это сами говорили. Кроме того, я умею вежливо и любезно разговаривать с людьми, а вы нет. Что? Пробрало вас наконец, Генри Хигинс! Теперь мне наплевать и на вашу ругань, и на все ваши высокопарные слова. *(Прищелкивает пальцами.)* Я дам объявление в газеты, что ваша герцогиня — простая цветочница, которую обучили вы, и что я берусь сделать то же самое из любой уличной девчонки — срок полгода, плата тысяча фунтов. Боже, когда вспоминаю, что пресмыкалась перед вами, что вы издевались надо мной, насмехались и мучили меня, а мне достаточно было пальцем шевельнуть, чтобы поставить вас на место,— я просто убить себя готова!

Хигинс *(пораженный, смотрит на нее)*. Ах вы наглая, бессовестная девчонка! Но все равно, это лучше, чем ныть, лучше, чем подавать туфли и находить очки, правда? *(Встает.)* Черт побери, Элиза, я сказал, что сделаю из вас настоящую женщину,— и сделал. Такая вы мне нравитесь.

Элиза. Да, теперь вы будете хитрить и заискивать. Поняли наконец, что я не боюсь вас и могу без вас обойтись.

Хигинс. Конечно понял, дурочка! Пять минут тому назад вы висели у меня на шее, как жернов. Теперь вы — крепостная башня, боевой корабль! Вы, я и Пикеринг — мы теперь не просто двое мужчин и одна глупая девочка, а три убежденных холостяка.

Возвращается миссис Хигинс, уже успевшая переодеться. Элиза тотчас же принимает спокойный, непринужденный вид.

Миссис Хигинс. Элиза, экипаж ждет. Вы готовы?

Элиза. Да, вполне. А профессор не едет?

Миссис Хигинс. Ну конечно нет. Он не умеет вести себя в церкви. Он постоянно отпускает во всеуслышание критические замечания по поводу произношения священника.

Элиза. Значит, мы больше не увидимся, профессор. Всего хорошего. *(Направляется к двери.)*

Миссис Хигинс *(подходя к Хигинсу)*. До свиданья, милый.

Хигинс. До свиданья, мама. *(Хочет поцеловать ее, но спохватывается и говорит вдогонку Элизе.)* Да, кстати, Элиза, закажите по дороге копченый окорок и головку стилтоновского сыра. И купите мне, пожалуйста, у «Ила и Бинмена» пару замшевых перчаток номер восемь и галстук к новому костюму — расцветка на ваше усмотрение. *(Его небрежный, веселый тон свидетельствует о том, что он неисправим.)*

Элиза *(презрительно)*. Ку́пите сами. *(Выплывает из комнаты.)*

Миссис Хигинс. Боюсь, вы слишком избаловали девушку, Генри. Но ты не волнуйся, милый: я сама куплю тебе галстук и перчатки.

Хигинс *(сияя)*. Нет, мама, можете быть спокойны: она купит все, что я просил. До свиданья. *(Целует мать.)*

Миссис Хигинс выходит. Хигинс, вполне довольный собой, с лукавой усмешкой позванивает в кармане мелочью.

Дальнейшие события показывать на сцене незачем, да, по правде говоря, незачем было бы и рассказывать о них, если бы не разленилось наше воображение; оно слишком привыкло полагаться на шаблоны и заготовки из лавки старьевщика, где Романтика держит про запас счастливые развязки, чтобы кстати и некстати приставлять их ко всем произведениям подряд. Итак, история Элизы Дулитл, хотя и названа романом из-за того, что описываемое преображение кажется со стороны невероятным и неправдоподобным, на самом деле достаточно распространена. Такие преображения происходят с сотнями целеустремленных честолюбивых молодых женщин с тех пор, как Нелл Гвин показала им пример, играя королев и очаровывая королей в том самом театре, где сперва продавала апельсины. Тем не менее самые разные люди полагают, что раз Элиза героиня романа — изволь выходить замуж за героя. Это невыносимо. Прежде всего, ее скромная драма будет испорчена, если играть пьесу, исходя из столь несообразного предположения, а кроме того, реальное продолжение очевидно всякому, кто хоть немного разбирается в человеческой природе вообще и в природе женской интуиции в частности.

Элиза, объявляя Хигинсу, что не пошла бы за него замуж, если б даже он ее просил, отнюдь не кокетничала, она сообщала ему глубоко продуманное решение. Когда холостяк интересует незамужнюю девицу, оказывает на нее влияние, обучает ее и становится необходимым ей, как Хигинс Элизе, то она, если только у нее хватает характера, всерьез задумается: а стоит ли еще делаться женой этого холостяка, тем более что любая решительно настроенная и увлеченная идеей брака женщина может его заарканить — так мало он думает о браке. Тут решение будет в значительной степени зависеть от того, насколько она свободна в своем выборе. А это, в свою очередь, будет зависеть от ее возраста и дохода. Если она не столь уж юна и не обеспечена средствами к существованию, то она выйдет за него замуж, так как вынуждена согласиться на любого, кто ее обеспечит. Но красивая девушка в возрасте Элизы не испытывает такой безотлагательности; она свободна в своем выборе и может проявлять разборчивость. И тут она руководствуется интуицией. Интуиция ей подсказывает не выходить за Хигинса. Но она не велит ей отказаться от него совсем. Нет никаких сомнений: на всю жизнь он останется одним из сильнейших ее

влечений. Чувство это жестоко пострадало бы, если бы другая женщина заняла ее место. Но поскольку в этом отношении она в нем уверена, то и не сомневается в правильности избранной ею линии поведения и не сомневалась бы, даже если бы между ними не было разницы в двадцать лет,— разницы, которая так велика с точки зрения юности.

Коль скоро ее решение к нашей интуиции не взывает, давайте попробуем обосновать его с точки зрения разума. Когда Хиггинс объясняет свое равнодушие к молодым женщинам тем, что они имеют сильнейшую соперницу в лице его матери, он дает ключ к своей холостяцкой закоренелости. Случай этот можно считать редким только в том смысле, что замечательные матери попадаются редко. Если у впечатлительного мальчика мать достаточно богата, наделена умом, изящной внешностью, строгим, но не суровым характером, тонким вкусом и умением из современного искусства извлечь лучшее, то он возьмет ее за образец, с которым мало кто из женщин сможет потягаться; к тому же она освобождает его привязанности, чувство красоты и идеализм от специфических сексуальных импульсов. Все это делает его ходячей загадкой для большинства людей с неразвитым вкусом, которых растили в безвкусных домах заурядные или несимпатичные родители и для которых поэтому литература, скульптура, музыка и нежные отношения нужны лишь как формы секса, если вообще нужны. Слово «страсть» означает для них только секс, и мысль, что Хиггинс испытывает страсть к фонетике и идеализирует мать, а не Элизу, кажется им нелепой и неестественной. И однако, посмотрев окрест себя, мы убедимся, что нет такого уродливого и несимпатичного человеческого существа, которое при желании не нашло бы себе жену или мужа, тогда как многие старые девы и холостяки возвышаются над средним уровнем благодаря своим высоким нравственным качествам и культуре. В результате всего этого нам трудно не заподозрить, что отделение секса от других человеческих связей, достигаемое людьми талантливыми путем чисто интеллектуального анализа, иногда осуществляется под воздействием родительского обаяния или же стимулируется им.

Так вот, хотя Элиза и не могла таким образом объяснить себе хиггинсовские могучие силы противостояния ее чарам, которые поверглн Фредди ниц с первого взгляда, она инстинктивно почувствовала, что никогда ей не завладеть Хиггинсом целиком, не встать между ним и его матерью (первое, что должна сделать замужняя женщина). Короче говоря, она догадалась, что по какой-то необъяснимой причине он не подходит для

роли мужа, то есть мужчины, для которого, соответственно ее представлению о муже, она стала бы объектом ближайшего, нежнейшего и самого горячего интереса. Даже при отсутствии соперницы-матери Элиза все равно не пожелала бы удовольствоваться таким интересом к себе, который стоял бы на втором месте после философских интересов. Даже если бы миссис Хигинс умерла, остался бы Мильтон и Универсальный алфавит. Высказывание Лэндора в том смысле, что любовь для тех, кто наделен сильнейшей способностью любить, играет второстепенную роль, не расположило бы к нему Элизу. Добавьте сюда возмущение, с каким она относилась к высокомерному деспотизму Хигинса, и как не доверяла его хитрой вкрадчивости, когда он старался обвести ее вокруг пальца и избежать ее гнева в тех случаях, когда обращался с нею чересчур запальчиво и грубо,— и вы увидите, что чутье Элизы с полным основанием предостерегало ее от брака с Пигмалионом.

Но тогда за кого же вышла Элиза? Ибо если Хигинсу на роду было написано оставаться холостяком, то Элиза вовсе не была создана для того, чтобы оставаться старой девой. Хорошо, коротко расскажем это для тех, кто сам не догадался, несмотря на некоторые намеки Элизы.

Почти сразу вслед за тем, как уязвленная Элиза провозглашает свое обдуманное решение не выходить за Хигинса, она упоминает, что молодой мистер Фредерик Эйнсфорд Хилл ежедневно объясняется ей в любви по почте. Что ж, Фредди молод, фактически на двадцать лет моложе Хигинса; он джентльмен (или же, говоря языком прежней Элизы, «барчук») и изъясняется как джентльмен. Полковник обращается с ним как с равным; Фредди непритворно любит Элизу и не командует ею и вряд ли будет командовать, несмотря на свое социальное превосходство. Элиза не признает дурацкого романтического традиционного представления о том, что всем женщинам нравится, чтобы ими повелевали, а то и в буквальном смысле силой принуждали к подчинению и били.

«Идешь к женщине — бери с собой плетку»,— говорит Ницше. Здравомыслящие деспоты никогда не прилагали этот совет к женщинам: они брали с собой плетку, когда имели дело с мужчинами, и мужчины, над чьей головой она свистела, рабски их боготворили, в гораздо большей степени, чем женщины. Бесспорно, бывают не только мужчины, но и женщины, любящие покоряться; они, как и мужчины, восхищаются теми, кто сильнее их. Но восхищаться сильной личностью — одно, а жить у него или у нее под пятой — совсем другое. Слабые личности, быть может, и не вы-

бывают восхищения и желания поклоняться, но зато они не вызывают и неприязни, от них не шарахаются, и они без малейших затруднений вступают в брак с теми, кто для них слишком хорош. Они могут подвести в минуту крайности, но поскольку жизнь не есть одна сплошная минута крайности, а представляет собою главным образом цепь ситуаций, не требующих никакой особенной силы, то справиться с ними могут даже сравнительно слабые люди, имея в помощь более сильного партнера. Равным образом все вокруг свидетельствует о том, что люди сильные (неважно, мужского или женского пола) не только не вступают в брак с еще более сильными, но даже не отдают им предпочтения, когда подбирают себе друзей. Когда один лев встречает другого, у которого еще более громкий рык, он относит его к разряду зануд. Мужчина или женщина, которые чувствуют в себе силы на двоих, ищут в партнере чего угодно, только не силы. Обратное положение вещей тоже верно. Люди слабые любят вступать в брак с сильными, лишь бы те не очень их пугали, и, таким образом, часто совершают ошибку, которую метафорически мы определяем как «орешек не по зубам». Они хотят слишком многого в обмен на слишком малое, и когда сделка становится неравноценной до бессмысленности, союз распадается: слабейшего партнера либо отвергают, либо волочат за собой как тяжелый крест, что еще хуже. В таких нелегких обстоятельствах обычно оказываются люди не просто слабые, но к тому же еще глупые или тупые.

Ну, а раз с человеческими отношениями дело обстоит таким образом, как же поступит Элиза, очутившись между Фредди и Хигинсом? Изберет ли себе уделом всю жизнь подавать домашние туфли Хигинсу или предпочтет, чтобы всю жизнь ей подавал туфли Фредди? Ответ не вызывает сомнений. Если только Фредди физически не отталкивает ее, а Хигинс не привлекает настолько, что чувство это пересилит все другие, то, если она за кого-нибудь из них и выйдет, это будет Фредди.

Именно так и поступила Элиза.

Последовали осложнения. Но экономического, а не романтического характера. У Фредди не было ни денег, ни профессии. Вдовья часть, последняя реликвия, оставшаяся от былого великолепия Толсталеди-парк, позволила его матери переносить превратности жизни в Эрлскорте с жантильным видом, но не позволила дать детям сколько-нибудь серьезного среднего образования, а тем более профессию сыну. Служить клерком за тридцать шиллингов в неделю было ниже его достоинства, и вообще непереносимо. Его виды на будущее заключались в надежде

на то, что, если соблюдать видимость благополучия, кто-нибудь что-нибудь для него сделает. «Что-нибудь» смутно рисовалось его воображению как частное секретарство или некая синекура. Матери это «что-то», вероятно, представлялось женитьбой на светской девушке со средствами, не устоявшей перед обаянием ее мальчика. Вообразите же чувства матери, когда Фредди женился на цветочнице, покинувшей свой класс при совершенно экстраординарных обстоятельствах, которые уже приобрели широкую известность.

Нельзя, правда, назвать положение Элизы полностью незавидным. Отец ее, в прошлом мусорщик, совершил фантастический прыжок из одной общественной категории в другую и стал необычайно популярен в фешенебельном обществе благодаря своему демагогическому таланту, восторжествовавшему над всеми предрассудками и всеми невыгодами его положения. Отвергнутый ненавистным ему классом буржуа, он в один миг угодил в высшие слои за счет своей смекалки, профессии мусорщика (которую он выставлял, как знамя) и ницшеанской позиции вне добра и зла. На званых герцогских обедах для узкого круга он помещался по правую руку от герцогини, а в загородных домах если не сидел за обеденным столом и не давал советы членам кабинета министров, то курил в буфетной и ему прислуживал дворецкий. Но оказалось, что ему так же трудно заниматься всем этим на четыре тысячи в год, как миссис Эйнсфорд Хилл существовать в Эрлскорте на ничтожно малый доход — доход настолько меньше дулитловского, что у меня духу не хватает предать гласности точную цифру. И он наотрез отказался добавить к своему бремени последнюю крупицу: взять на себя заботу о содержании Элизы.

Таким-то образом Фредди и Элиза, отныне мистер и миссис Эйнсфорд Хилл, провели бы медовый месяц без гроша в кармане, если бы полковник не поднес Элизе в качестве свадебного подарка пятьсот фунтов. Их хватило надолго, так как Фредди, денег никогда не имевший, тратить их не умел, а Элиза, получившая светское воспитание из рук двух застарелых холостяков, носила платья, пока они совсем не изнашивались, но все равно была хороша собой, и ее нисколько не беспокоило, что они давно вышли из моды. Однако на всю жизнь пятисот фунтов молодой паре хватить не могло, и оба знали, а Элиза еще и инстинктивно чувствовала, что нужно наконец обходиться без посторонней помощи. Она могла бы поселиться на Уимпол-стрит, так как там, по существу, был теперь ее дом. Но она вполне отдавала себе отчет в том, что Фредди селить там не следует, потому что для его характера это будет вредно.

Надо сказать, уимполстритовские холостяки не возражали против вселения молодой четы. Когда Элиза попросила у них совета, Хигинс просто отказался обсуждать жилищный вопрос не видя тут проблемы,— желание Элизы иметь в доме подле себя Фредди, с его точки зрения, заслуживало не более пристального внимания, чем, скажем, желание купить еще один предмет мебели для спальни. Соображения относительно характера Фредди и его морального долга самостоятельно зарабатывать на жизнь не произвели на Хигинса никакого впечатления. Он заявил, что характер у Фредди отсутствует и что, если он возьмется за полезную деятельность, какому-то компетентному лицу придется все исправлять, а такая процедура доставит чистый убыток обществу и огорчения самому Фредди, которого природа явно создала для легкой работы, а именно — развлекать Элизу, и это, по уверению Хигинса, куда полезнее и почетнее, чем служить в Сити.

Когда Элиза снова вернулась к своему прожекту обучать фонетике, Хигинс ни на йоту не умерил яростного сопротивления. Он утверждал, что ее по меньшей мере еще десять лет нельзя подпускать к преподаванию его любимой науки, и поскольку полковник, судя по всему, взял его сторону, Элиза поняла, что не сможет пойти против них в таком важном деле и что без согласия Хигинса она не имеет права использовать полученные от него знания (не будучи коммунисткой, она считала знания такой же личной собственностью, как, например, часы). Ко всему прочему она была до фанатизма предана им обоим, и после замужества еще безраздельнее и откровеннее, чем прежде

В конце концов разрешил проблему полковник, но стоило это ему многих мучительных сомнений. Как-то раз он довольно нерешительно спросил Элизу, отказалась ли она совсем от идеи поступить в цветочный магазин. Она ответила, что если раньше и думала об этом, то выбросила эту мысль из головы с того дня, как полковник объявил у миссис Хигинс, что это никуда не годится. Полковник сознался, что тогда он говорил под свежим впечатлением блистательного триумфа накануне. В тот же вечер они открыли свои замыслы Хигинсу Единственное замечание, какое он соизволил отпустить по этому поводу, чуть было всерьез не рассорило их с Элизой. Сводилось оно к тому, что из Фредди получится идеальный мальчик на побегушках.

Разузнали мнение Фредди. Как оказалось, Фредди и сам подумывал о магазине, но ему, привычному к нужде, магазин представлялся тесной лавчонкой, где на одном прилавке Элиза продает табак, а на противоположном — он торгует газетами.

Но он с готовностью согласился на цветочный магазин, сказав, что забавно будет ходить ранним утром вместе с Элизой на Ковент-гарденский рынок и покупать цветы на том месте, где они впервые встретились. За столь трогательные чувства он был вознагражден женой множеством поцелуев. Фредди добавил, что всегда боялся высказать вслух такое предположение из-за Клары — она закатила бы скандал, обвинив его в том, что он губит ее шансы на замужество, да и мать вряд ли одобрила бы такой шаг, раз столько лет она цеплялась за ту ступень общественной лестницы, на которой розничная торговля недопустима.

Это препятствие было устранено благодаря одному совершенно непредвиденному событию, которого мать Фредди никак не могла ожидать. Клара во время своих вторжений в наиболее высокие из доступных ей артистических кругов обнаружила, что в разговорную подготовку входит знание романов мистера Г. Д. Уэллса. Она принялась отовсюду брать их взаймы, и так энергично, что за два месяца проглотила все до единого. Результатом явилось обращение, в наше время весьма распространенное. Современные Деяния Апостолов составили бы целых пятьдесят Библий, найдись кто-нибудь, кто сумел бы их написать.

Бедная Клара, казавшаяся Хигинсу и его матери неприятной и нелепой особой, а собственной матери неудачницей, необъяснимым образом провалившейся в свете, не воспринимала сама себя ни той, ни другой, потому что, хотя над ней подтрунивали и ее передразнивали, как, впрочем, было вообще принято в Западном Кенсингтоне, ее тем не менее считали разумным и нормальным (или, так сказать, неизбежным?) человеческим существом. В худшем случае ее называли пробивной, но ни им, ни ей в голову не приходило, что пробивается она сквозь пустоту, и притом не в ту сторону. Однако счастливой она себя не чувствовала. Более того, она уже начинала приходить в отчаяние. Единственное ее достояние, а именно тот факт, что ее мать походила, по выражению зеленщика в Эпсоме, на «даму с выездом», очевидно, не имело ходовой ценности. Оно помешало ей получить образование, потому что рассчитывать Клара могла только на те знания, которые ей причиталось получать вместе с дочерью эрлскортского зеленщика. Поневоле ей пришлось искать общества людей того круга, откуда происходила ее мать. Но те попросту не хотели ее, так как она была гораздо беднее зеленщика и не могла себе позволить держать не то что собственную горничную, но даже прислугу в доме и вынуждена была обходиться приходящей прислугой, согласной на

скупое жалованье. При таких условиях ничто не могло придать ей вид подлинного продукта Толсталеди-парка. И тем не менее его традиции обязывали ее взирать на брак с кем-то в пределах ее досягаемости как на нестерпимое унижение. Дельцы и разного рода «люди со специальностью» мелкого пошиба были для нее неприемлемы. Она гонялась за художниками и романистами, но сама для них предмета очарования не составляла, ее манера подхватывать и смело пускать в ход словечки из мира художников и литераторов раздражала их. Короче говоря, она во всех отношениях была неудачницей — невежественная, ничего не умеющая, претенциозная, никому не нужная, отличающаяся снобизмом никчемная бесприданница. И хотя сама она ни в коей мере не допускала наличия у себя этих недостатков (ни один человек не желает признавать неприятных истин в приложении к себе, пока ему не забрезжит свет другого способа существования), она ощущала их воздействие на свою жизнь слишком остро, чтобы быть удовлетворенной положением вещей.

Сильнейшую встряску, открывшую ей глаза, Клара испытала, когда встретила девушку одного с ней возраста. Та произвела на нее ошеломляющее впечатление, пробудила ее, вызвала неудержимое желание взять ее себе за образец, завоевать ее дружбу. Но потом вдруг обнаружилось, что это утонченное создание вышло из трущоб и стало тем, чем оно стало, всего лишь в течение нескольких месяцев. Потрясение оказалось настолько сильным, что, когда мистер Г. Д. Уэллс приподнял ее на кончике своего могучего пера и с новой точки зрения показал ей в истинном свете жизнь, которую она вела, и общество, к которому льнула, показал, какое отношение они имеют к подлинным нуждам человечества и достойной социальной структуре, он добился такого разительного преображения и сознания греховности, что подвиг его можно сравнить лишь с самыми сенсационными подвигами генерала Бута и Джипси Смит. Клари снобизм как рукой сняло. Жизнь ее внезапно пришла в движение. Сама не зная как и почему, она начала приобретать друзей и врагов. Одни знакомые, для которых прежде она была скучной, или безразличной, или нелепой неизбежностью, бросили ее совсем; другие стали радушны. К своему изумлению, она обнаружила, что некоторые «очень порядочные» люди насквозь пропитаны уэллсовскими идеями, и в том, что они доступны новым идеям, и кроется секрет их порядочности. Люди, которых она считала глубоко религиозными и из подражания которым также пыталась встать на этот путь (причем с катастрофическими результатами), неожиданно заинтересовались ею, и она открыла в них враждебное отношение к общепринятой

религии, свойственное, как она раньше полагала, только отпетым личностям. Ее заставили прочесть Голсуорси, и тот обнажил перед нею всю тщеславность Толсталеди-парка и тем доконал ее. Ей невыносима стала мысль, что темница, где она изнывала долгие несчастливые годы, все это время была незаперта и что порывы, с которыми она так старательно боролась и которые подавляла для того, чтобы подлаживаться к обществу, одни только и могли помочь ей завязать настоящие человеческие отношения. В слепящем блеске этих открытий и сутолоке нахлынувших чувств она не раз ставила себя в глупое положение так же непосредственно и явно, как и в тот раз, в гостиной у миссис Хигинс, когда столь опрометчиво подхватила бранные слова Элизы. Это и понятно: новорожденной уэллсовке приходилось в поисках пути тыкаться во все стороны с детской бестолковостью. Но ведь младенец не вызывает неприязни своей бестолковостью и к нему не относятся хуже из-за того, что он попытался съесть спички. Потому и Клара не растеряла друзей из-за своих глупых выходок. На сей раз над нею смеялись открыто, так что она могла защищаться и что есть сил стоять на своем.

Когда Фредди явился в Эрлскорт (что он делал, только если нельзя было этого избежать) с сокрушительным известием, что они с Элизой намереваются бросить тень на фамильный герб Толсталеди, открыв цветочный магазин, он нашел обитателей дома в состоянии лихорадки: Клара опередила его, она тоже собиралась работать — в лавке подержанной мебели на Доувер-стрит, принадлежавшей ее сестре по духу, тоже покинувшейся Уэллсу. Этой службой Клара в конечном счете была обязана своим прежним пробивным способностям. Она давно уже забрала себе в голову во что бы то ни стало увидеть мистера Уэллса вживе и добилась своего на одном приеме в саду Ей повезло больше, чем того заслуживала ее вздорная затея Мистер Уэллс вполне оправдал ее ожидания. С годами он не увял, и его бесконечное разнообразие не могло приесться за полчаса. Его подкупающая опрятность и собранность, маленькие руки и ноги, богатый, щедрый ум, непритворная простота и какая-то тонкая понятливость, свидетельствовавшая о его способности воспринимать и чувствовать всем организмом — от любого волоска на макушке до кончиков ногтей на ногах,— был неотразимы.

Клара несколько недель подряд только о нем и говорила. И так как случайно она заговорила о нем с хозяйкой мебельной лавки, а та тоже больше всего на свете хотела познакомиться с мистером Уэллсом и продать ему что-нибудь

красивое, то она и предложила Кларе место у себя в лавке, рассчитывая через нее осуществить свою мечту.

Вот так и получилось, что удача продолжала сопутствовать Элизе, предполагаемое противодействие отпало. Магазин помещается в галерее вокзала неподалеку от музея Виктории и Альберта, и если вы живете в этом районе, вы в любой день можете зайти и купить у Элизы бутоньерку.

И вот тут-то остается последний шанс для романтической версии. Разве не хотелось бы вам удостовериться, что магазин процветал благодаря обаянию Элизы и ее былому опыту в цветочном деле с ковент-гарденских времен? Увы! правды не утаить: магазин долгое время не приносил дохода просто-напросто потому, что ни Элиза, ни Фредди не умели вести дела. Хорошо еще, что Элизе не надо было начинать все сначала,— все-таки она знала названия простых и более дешевых цветов. И радости ее не было границ, когда выяснилось, что Фредди, как и все молодые люди, учившиеся в дешевых, претенциозных и ровно ничего не дающих школах, чуть-чуть знает латынь. Малость, но вполне достаточно, чтобы он казался ей Порсоном или Бентли и без труда освоил ботаническую номенклатуру. К сожалению, больше он ничего не знал, а Элиза, хоть и умела сосчитать приблизительно до восемнадцати шиллингов и приобрела некоторое знакомство с языком Мильтона за время своих трудов во славу Хигинса, стараясь выиграть для него пари, не могла выписать счета, не скомпрометировав своего заведения. Умение Фредди сказать на латыни, что Бальб возвел стену, а Галлия делилась на три части, не означало еще умения вести бухгалтерские книги и вообще дела, так что пришлось полковнику Пикерингу объяснять ему, что такое чековая книжка и банковский счет. Притом парочка наша не так-то легко поддавалась обучению. Фредди поддерживал Элизу в ее упрямом нежелании нанять бухгалтера, который бы имел понятие о цветочных магазинах, и, так же как она, не верил, что это сэкономит им деньги. Каким образом, протестовали они, можно сэкономить деньги, пойдя на дополнительные расходы, когда и так не свести концы с концами? Но тут полковник, неоднократно сводивший для них концы с концами, мягко настоял на своем, и присмиревшая Элиза, стыдясь, что так часто вынуждена прибегать к его помощи, уязвленная бесцеремонными насмешками Хигинса, для которого образ преуспевающего Фредди был мишенью непрекращающихся шуток, постигла наконец следующую истину: профессии, как и фонетике, надо учиться.

Не стану останавливаться на жалостном зрелище, которое являли собой эта парочка, проводившая все вечера на курсах

стенографии и в политехнических классах, обучаясь бухгалтерии и машинописи вместе с начинающими младшими клерками и секретаршами, пришедшими из начальных школ. Не обошлось даже без занятий в лондонской экономической школе, где они смиренно обратились с личной просьбой к директору — рекомендовать им курс, имеющий отношение к цветочному делу. Директор, будучи шутником, рассказал им о методе, которым пользовался один джентльмен в знаменитом диккенсовском очерке о китайской метафизике: он сперва читал статью про Китай, потом статью про метафизику и сведения затем объединял. Директор предложил им соединить лондонскую экономическую школу с Кью-Гарденс. Элиза, которой способ диккенсовского джентльмена показался совершенно правильным (а так оно и было) и нисколько не смешным (и тут уж виновато было ее невежество), восприняла совет с полнейшей серьезностью. Наибольшие унижения ей доставила просьба, с которой она обратилась к Хигинсу. Следующей после стихов Мильтона вдохновенной страстью у него была каллиграфия, и сам он писал красивейшим почерком. Она попросила научить ее писать. Он объявил, что она от рождения неспособна изобразить хотя бы одну букву, достойную занять место в самом незначительном слове мильтоновского словаря. Но она настаивала, пока он опять не принялся со свойственным ему пылом обучать ее, проявляя при этом сочетание бурного натиска, сосредоточенного терпения и отдельных взрывов увлекательных рассуждений о красоте и благородстве, великой миссии и предназначении человеческого почерка. В конце концов Элиза приобрела крайне неделовую манеру писать, носившую отпечаток ее личной красоты, и стала тратить на бумагу втрое больше денег, чем другие. Она даже не соглашалась надписать конверт общепринятым способом, так как в этом случае поля выглядели как-то некрасиво.

Дни обучения коммерции явились для молодой пары периодом позора и разочарования: знаний о цветочных магазинах ничуть не прибавлялось. Наконец, отчаявшись, они бросили всякие попытки чему-то научиться и навсегда отряхнули прах стенографических курсов, политехнических классов и лондонской экономической школы со своих ног. А кроме того, их цветочная торговля каким-то непостижимым образом вдруг пошла сама собой. Они и не заметили, что позабыли о своем нежелании нанимать чужих людей. И пришли к выводу, что их путь — самый верный и что они обладают замечательными деловыми качествами. Полковник, который несколько лет принужден был держать на своем текущем счету в банке порядочную сумму,

чтобы покрывать их убытки, вдруг обнаружил, что запас этот больше не нужен,— молодые люди преуспевают. Говоря по совести, игра была не совсем честной,— они находились в более выгодном положении, чем их конкуренты по ремеслу: загородные уик-энды им ничего не стоили и сберегали средства на воскресные обеды благодаря тому, что автомобиль принадлежал полковнику и полковник с Хигинсом оплачивали еще и гостиничные счета. Манеры мистера Ф. Хилла, торговца цветами и зеленью (очень скоро молодые сделали открытие, что спаржа хорошо идет, а от спаржи перешли к другим видам овощей), придавали заведению шик, а в частной жизни он как-никак был Фредерик Эйнсфорд Хилл, эсквайр. Но Фредди никогда не зазнавался, и одна Элиза знала, что при рождении его нарекли Фредерик Чэлонер. Элиза-то как раз зазнавалась почем зря.

Вот, собственно, и все. Так обернулась эта история. Просто удивительно, до какой степени Элиза ухитряется по-прежнему вмешиваться в домашнее хозяйство на Уимпол-стрит, несмотря на магазин и свою семью. И можно заметить, что мужа она никогда не шпыняет, к полковнику привязана искренне, как любимая дочь, но так и не избавилась от привычки шпынять Хигинса, как повелось с того рокового вечера, когда она выиграла для него пари. Она откусывает ему нос по малейшему поводу и без оного. Он больше не смеет дразнить ее, утверждая, что Фредди находится на несравненно более низком уровне умственного развития, чем он. Он беснуется, угрожает, издевается, однако она всегда дает ему такой безжалостный отпор, что полковник подчас не выдерживает и просит быть подобрее к Хигинсу, и это единственная из его просьб, вызывающая на ее лице выражение ослиного упрямства. И ничто не изменит этого положения, кроме чрезвычайных обстоятельств или катастрофы такой силы (избави их бог от подобного испытания!), чтобы сломить симпатии и антипатии и воззвать к их общему человеколюбию. Она знает, что Хигинс не нуждается в ней, так же как не нуждался в ней ее отец. Именно та добросовестность, с какой он сообщил ей в тот день, что привык к ее присутствию, что он полагается на нее в разного рода мелочах и ему будет не хватать ее (Фредди или полковнику в голову бы не пришло говорить такие вещи), укрепляет ее уверенность в том, что она для него «ничто, хуже вот этих туфлей». И в то же время есть у нее ощущение, что безразличие его стоит большего, чем страстная влюбленность иных заурядных натур. Она безмерно заинтересована им. Бывает даже, у нее мелькает злорадное желание заполучить его когда-нибудь одного, на необитаемом острове, вдали от всяких уз, где ни

с кем не надо считаться, и тогда стащить его с пьедестала и посмотреть, как он влюбится — как самый обыкновенный человек. Всех нас посещают сокровенные мечты такого рода. Но когда доходит до дела, до реальной жизни в отличие от жизни воображаемой, то Элизе по душе Фредди и полковник и не по душе Хиггинс и мистер Дулитл. Все-таки Галатее не до конца нравится Пигмалион: уж слишком богоподобную роль он играет в ее жизни, а это не очень-то приятно.

ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА

Маленький скетч
из жизни русского двора
XVIII века

1913

GREAT CATHERINE

АВТОРСКАЯ ЗАЩИТА «ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

Многие выражают протест против названия этого явного балагана на том основании, что показанная здесь Екатерина — не Екатерина Великая, а та Екатерина, любовные интриги которой дают материал для самых фривольных страниц современной истории. Екатерина Великая, говорят мне, это женщина, чья дипломатия, чьи военные кампании и победы, чьи планы либеральных реформ, чья переписка с Гриммом и Вольтером позволили ей стать крупнейшей фигурой восемнадцатого столетия. В ответ я могу лишь признаться, что ни дипломатические, ни военные победы Екатерины меня не интересуют. Для меня ясно, что ни Екатерина, ни сановники, с которыми она разыгрывала свои каверзные партии в политические шахматы, не имели ни малейшего представления о реальной истории своего времени или о реальных силах, формировавших Европу того времени. Французская революция, столь быстро покончившая с вольтерьянством Екатерины, удивила и шокировала ее не меньше, чем она удивила и шокировала любую провинциальную гувернантку во французском замке.

Основное различие между нею и современным либеральным правительством заключается в том, что она вполне разумно говорила и писала о либеральных принципах до того, как страх заставил ее прибегнуть к телесным наказаниям за подобные разговоры и писания, а наши либеральные министры называют себя либералами, не зная значения этого слова и столь мало этим интересуясь, что они не говорят и не пишут о нем и принимают палочные законопроекты и организуют судебные процессы за антиправительственную агитацию и «богохульство», даже не подозревая, что такие действия непростительны с точки зрения настоящего либерала.

Потемкину ничего не стоило одурачить Екатерину, когда речь шла о положении в России, провезя ее через бутафорские деревни, построенные на скорую руку театральными декораторами, но в маленьком мирке интриг и династической дипломатии, которые процветали при европейских дворах,— единственном известном ей мире,— она могла потягаться не только с Потемкиным, но и со всеми остальными современниками. Однако в этих интригах и дипломатии не было ни романтики, ни научного политического интереса, ничего, что могло бы привлечь здравомыслящего человека, даже если бы он согласился по-

тратить время на специальное их изучение. А вот Екатерина — женщина, женщина с сильным характером и (как бы теперь сказали) совершенно аморальная, до сих пор очаровывает и забавляет нас точно так же, как очаровывала и забавляла своих современников. Все эти Петры, Елизаветы и Екатерины были великими сентиментальными комедиантами, которые исполняли свои роли царей и цариц, как актеры-эксцентрики, разыгрывая сцена за сценой безудержную арлекинаду, где монарх выступает то как клоун, то — прискорбный контраст — в застенке, как демон из пантомимы, пугающий нас злодеяниями, не забывая при том обязательных альковных похождений небывалого размаха и непристойности. Екатерина держала раскрытыми двери этого огромного театра ужасов чуть ли не полстолетия не как русская, а как весьма приверженная своему очагу цивилизованная немецкая дама, чей домашний уклад отнюдь не так сильно отличался от домашнего уклада королевы Виктории, как можно было бы ожидать судя по тому, сколь разно они представляли, что пристойно, что нет в любовных связях.

Короче говоря, если у вас создалось впечатление, что Байрон слишком мало сказал о Екатерине, да и это малое — не то, разрешите мне заверить вас, что это впечатление ложно и Байрон сказал все, что можно и следует о ней сказать. Его Екатерина — это моя Екатерина, это Екатерина каждого из нас. В байроновской версии молодой человек, заслуживший ее благосклонность, — испанский гранд. Я сделал его английским сквайром, который выпутывается из неприятного положения благодаря простодушию, искренности и твердости, которую ему придают первые два качества. Этим я оскорбил многих британцев, которые видят в себе героев, разумея под героем напыщенного сноба с невероятными претензиями, не имеющими под собой никакой почвы и однако принимаемыми с благоговейным страхом всем остальным человечеством. Они говорят, что я считаю англичанина дураком. Если так, они могут благодарить за это только себя.

Однако я не хочу делать вид, будто поводом для создания пьесы, которая оставит читателя в таком же неведении относительно русской истории, в каком он был до того, как перевернул несколько следующих страниц, послужило желание написать исторический портрет. К тому же моя зарисовка все равно была бы неполной, даже в отношении душевного и умственного склада Екатерины, раз я не касаюсь ее политической игры. Например, она написала горы пьес. Признаюсь, я еще не прочел ни одной из них. Дело в том, что эта пьеса возникла в результате отношений, существующих в театре между ав-

тором и актером. Как актерам порой приходится пускать в ход свое мастерство в качестве марионеток автора, а не для самовыражения, так и автору порой приходится пускать в ход свое мастерство в качестве портного актеров, подгоняющего под них роли, написанные не столько чтобы решить жизненные, нравственные или исторические проблемы, сколько чтобы показать виртуозность исполнителя. Формальные подвиги подобного рода могут льстить авторскому тщеславию, но в таких случаях автор обязан признать, что актер, для которого он пишет,— «единственный родитель» его произведения, а это — будем самокритичны — лишь увеличит долг драматургии исполнительскому искусству и его представителям. Те, кто видел мисс Гертруду Кингстоун в роли Екатерины, легко поверят, что своим существованием настоящая пьеса обязана ее, а не моему таланту. Однажды я дал мисс Кингстоун профессиональный совет играть королев. Как же быть, если в современной драме нет королев, чтобы их играть; а что касается более старой сценической литературы, разве не она побудила бывалую актрису в пьесе сэра Артура Пинеро «Трелани из Уэльса» заявить, что роль королевы не стоит ломаного гроша? Ответ мисс Кингстоун на мое предложение имел хотя и более изящную форму, но тот же смысл, и дело кончилось тем, что мне пришлось написать «Екатерину Великую», чтобы оправдать свой совет. Екатерина — единственная королева в истории, которая в состоянии противостоять нашим объединенным талантам.

При создании таких бравурных произведений автор ограничивает себя лишь диапазоном виртуоза, который намного превосходит скромные возможности природы. Если мои русские более московиты, чем любой русский, а мои англичане более островитяне, чем любой британец, я не буду, хоть и мог бы ссылаться на то, что у нас пока еще не отпала нужда в гротеске. Что столь возмущающий нас Потемкин — лишь робкий набросок своего оригинала и что капитан Эдстейстон — не более чем миниатюра, которая была бы вполне уместна на стенах любого английского загородного дома и по сей день. Художнику не пристало унижаться до того, чтобы оправдывать свое творение, сравнивая его с грубой природой, и я предпочитаю признать, что, согласно законам жанра, мои dramatis personae,[1] как тому и следует быть на сцене, сценичны и подзадоривают актера сыграть их, а если он сможет, то и переиграть. И чем смелее гипербола, тем лучше для спектакля.

---

[1] Действующие лица *(лат.)*.

Затаскивая этак читателя за кулисы, я нарушаю правило, которому до сих пор так неуклонно следовал, что никогда, даже в ремарках, не позволял себе ни единого слова, которое нанесло бы удар воображению читателя, напомнив ему о подмостках, рампе и заднике и о прочих театральных «лесах», которые я тем не менее должен учитывать столь же тщательно, как и старший плотник. Но даже рискуя коснуться узкопрофессиональных тем, честный драматург должен хоть раз воспользоваться возможностью во всеуслышание признать, что его искусство не только лимитируется искусством актера, но часто стимулируется и совершенствуется им. Ни один здравомыслящий и опытный драматург не станет писать пьес, ставящих неосуществимые задачи перед актером или постановщиком. Если, как иногда случается, он просит их сделать то, чего они никогда не делали раньше и считают невозможным на сцене (как, например, обстояло с Вагнером и Томасом Харди), всегда оказывается, что трудности вовсе не непреодолимы, так как автор провидел скрытые возможности как в актере, так и в публике, чье желание верить вымыслу творит самые невероятные чудеса. Таким образом, авторы способствуют развитию актерского и режиссерского искусства. Но и актер может расширить рамки драмы, проявив талант, не обнаруженный до того автором. Если лучшие из доступных автору актеров — только Горации, ему придется позабыть о Гамлете и довольствоваться в качестве героя Горацио. Различие между шекспировскими Орландо, Бассанио и Бертрамами, с одной стороны, и его Гамлетами и Макбетами — с другой, в какой-то мере объясняется, по-видимому, не только совершенствованием Шекспира как драматурга-поэта, но и совершенствованием Бербиджа как актера. Драматурги не пишут для идеального актера, когда на карту поставлены средства их существования; если бы они это делали, они бы писали роли для героев с двадцатью руками, как у индийских богов. Но бывает, что актер даже слишком влияет на автора; я еще помню времена (и не берусь утверждать, будто они полностью остались в прошлом), когда искусство написать модную пьесу заключалось, главным образом, в искусстве написать ее «вокруг» группы модных исполнителей, о которых Бербидж, несомненно, сказал бы, что их роли не нуждаются в исполнении. Во всем есть свои хорошие и дурные стороны.

Нужно только принять во внимание, что великие пьесы живут дольше великих актеров, хотя плохие пьесы живут еще меньше, чем самые худшие из их исполнителей. Следствием этого является то, что великий актер не давит на современных ему авторов, требуя обеспечить его героическими роля-

ми, а использует шекспировский репертуар и берет то, что ему нужно, из мертвой руки. В девятнадцатом веке появление таких актеров, как Кин, Макреди, Барри Салливен и Ирвинг, должно было бы привести к созданию героических пьес, равных по силе и глубине пьесам Эсхила, Софокла и Еврипида; но ничего подобного не произошло: эти актеры играли произведения усопших авторов или, очень редко, живых поэтов, которых вряд ли можно назвать профессиональными драматургами. Шеридан, Ноулз, Булвер-Литтон, Уилс и Теннисон выпустили в свет нескольких вопиюще искусственных «рыцарских коней» для великих актеров своего времени, но драматурги в узком смысле этого слова — те, кто сохраняют жизнь театру и кому театр сохраняет жизнь, не предлагают своего товара великим актерам: они не могут себе позволить тягаться с бардом, который принадлежит не только своему веку, но всем временам и который к тому же обладает необычайно привлекательной для антрепренеров чертой — он не требует авторского гонорара. В результате драматурги и великие актеры и думать забыли друг о друге. Том Робертсон, Ибсен, Пинеро и Барри могли бы жить в другой солнечной системе, Ирвингу от этого было бы ни холодно ни жарко; то же можно с полным правом сказать о предшествующих им современных друг другу актерах и драматургах.

Вот так и создалась порочная традиция; но я, со своей стороны, могу заявить, что она не всегда остается в силе. Если бы не было Форбса Робертсона, чтобы сыграть Цезаря, я бы не написал «Цезаря и Клеопатру». Если бы не родилась Эллен Терри, капитан Брасбаунд никогда не обратился бы на истинный путь. В «Ученике дьявола», который завоевал мне в Америке за мою стряпню звание cordon-bleu,[1] был бы другой герой, если бы Ричард Мэнсфилд был другим актером, хотя заказ написать эту пьесу я получил в действительности от английского актера Уильяма Терриса, убитого прежде, чем он оправился от смятения, в которое его поверг результат его опрометчивой просьбы. Ибо надо сказать, что актер или актриса, вдохновившие драматурга на новую пьесу, очень часто смотрят на нее, как Франкенштейн смотрел на вызванное им к жизни чудовище, и не хотят иметь ничего общего с ней. Однако драматург продолжает считать их истинными родителями одного из своих детищ.

Автору, который хоть немного любит свое дело и знает в нем толк, доставляет особую, острую радость предугадать и показать всем не замеченную ранее сторону актерского даро-

[1] Искусная повариха *(франц.)*.

вания, о которой не подозревал даже сам актер. Когда я украл у Шекспира мистера Луиса Кэлворта и заставил его, я думаю впервые в жизни, надеть на сцене сюртук и цилиндр, он никак не ожидал, что его исполнение роли Тома Бродбента позволит мне назвать его поистине классическим.

Миссис Патрик Кэмпбел была знаменита и до того, как я стал для нее писать, но не тем, что играла безграмотных цветочниц-кокни. И, возвращаясь к обстоятельству, спровоцировавшему меня на все эти дерзости, я не сомневаюсь, что мисс Гертруда Кингстоун, создавшая себе сценическую репутацию как воплощение восхитительно ветреных и пустоголовых инженю, сочла меня еще более, чем обычно, безумным, когда я уговорил ее играть Елену Еврипида, а затем помог сделать королевскую карьеру в качестве Екатерины Российской.

Говорят: позаботься о пенсах, а фунты сами о себе позаботятся; вряд ли, если мы станем заботиться только об актерах, пьесы сами позаботятся о себе; да и наоборот: вряд ли, если мы станем заботиться только о совершенстве пьес, актеры сами позаботятся о своем совершенстве. В этом деле нужно идти друг другу навстречу.

Я видел пьесы, написанные для актеров, которые вынуждали меня восклицать: «Как часто возможность совершить дурной поступок делает поступок дурным!» Но возможно, Бербидж размахивал суфлерским экземпляром перед носом Шекспира на десятой репетиции «Гамлета» и восклицал: «Сколь часто возможность совершить великий поступок делает драматурга великим!» Я говорю — на десятой, ибо я убежден, что на первой он заявил, будто его роль никуда не годится, считал монолог призрака нелепо длинным и хотел играть короля. Так и ли иначе, хватило у него ума произнести эти слова или нет, его похвальба была бы вполне обоснованна. Какой же отсюда вывод? Каждый актер должен был бы сказать: «Если я сотворю в самом себе героя, всевышний пошлет мне автора, который напишет его роль». Потому что в конечном итоге актеры получают авторов, а авторы — актеров, которых они заслужили.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

1776 год. Санкт-Петербург. Кабинет Потемкина в Зимнем дворце. Огромные апартаменты в стиле, принятом в России в конце XVIII века,— подражание Версалю при «короле-солнце». Непомерная роскошь, грязь и беспорядок. П о т е м к и н, человек гигантского роста и мощного телосложения, с одним глазом, который притом заметно косит, сидит с краю стола, где разбросаны бумаги и стоят остатки завтрака, скопившиеся за три или четыре дня. Перед Потемкиным столько кофе и коньяка, что их хватило бы на десятерых. Его расшитый драгоценными камнями мундир валяется на полу, упав с поставленного для посетителей стула у другого конца стола. Придворная шпага с перевязью лежит на стуле. Треуголка, тоже усыпанная бриллиантами,— на столе. Потемкин полуодет: на нем расстегнутая до пояса сорочка и огромный халат, некогда великолепный, теперь заляпанный едой и грязный, так как служит ему полотенцем, носовым платком, пыльной тряпкой и всем прочим, для чего может использовать его неопрятный человек. Халат не скрывает ни его волосатой груди, ни наполовину расстегнутых панталон, ни ног в шелковых чулках до колен; время от времени он подтягивает чулки кверху, но они тут же сползают от его беспокойных движений. Ноги его обуты в громадные расшитые бриллиантами домашние туфли, каждая из которых стоит несколько тысяч рублей. На первый взгляд Потемкин — необузданный, жестокий варвар, деспот и выскочка нестерпимого и опасного толка, уродливый, ленивый, с омерзительными повадками. Однако все иностранные послы докладывают, что он самый одаренный человек в России, причем единственный, кто пользуется хоть каким-то влиянием на еще более одаренную, чем он сам, императрицу Екатерину II. Она не русская, а немка, в ней нет ничего варварского, и она сдержанна в своих повадках. Мало того что Екатерина оспаривает у Фридриха Великого репутацию умнейшего монарха Европы, она вполне может притязать на то, чтобы слыть самой умной и привлекательной женщиной своего

времени. Она не только выносит Потемкина, хотя давно уже избавилась от своего романтического увлечения им, но высоко ценит его как советчика и верного друга. Его любовные письма признаны одними из лучших, известных в истории. У него огромное чувство юмора, он способен без удержу смеяться над собой так же, как над другими. В глазах англичанина, который сейчас ждет у него аудиенции, Потемкин, возможно, отъявленный негодяй. Он и есть отъявленный негодяй, независимо от того, кто на него смотрит, но его посетитель увидит, как рано или поздно видят все, кто имеет с ним дело, что с этим человеком нельзя не считаться, даже если вас не устрашают его бешеный нрав, физическая сила и высокое положение.

На диване, стоящем между тем концом стола, где сидит Потемкин, и дверью, полулежит хорошенькая девушка, любимая племянница Потемкина **Варенька**. *У нее недовольно надуты губки, возможно потому, что он делит свое внимание между бумагами и бутылкой с коньяком и ей остается лишь любоваться широкой спиной своего дяди.*

За диваном стоит ширма.

Входит старый **солдат**, *казацкий сержант.*

Сержант *(держась за ручку двери, тихо, Вареньке)*. Барышня-голубушка, его светлость князь очень заняты?

Варенька. Его светлость князь очень заняты. Он поет не в тон, словно ему слон на ухо наступил, он грызет ногти, он чешет голову, он поддергивает свои грязные чулки, он ведет себя так, что на него противно смотреть, и, хотя ничего сейчас не соображает, притворяется, будто читает государственные бумаги, потому что он слишком большой лентяй и эгоист, чтобы разговаривать, да еще любезно.

Потемкин ворчит, затем вытирает нос рукавом халата.

Свинья! Фу! *(Передернувшись от отвращения, сворачивается на диване калачиком и прекращает разговор.)*

Сержант *(крадется к мундиру, чтобы поднять его и повесить на спинку стула)*. Батюшка, там пришли английский офицер, которого вам так высоко рекомендовали старый Фриц Прусский и английский посол, и господин Вольтер, да горит он в вечном пламени по безграничной

божьей благости! *(Крестится.)* Они в передней дожидаются и испрашивают вашей аудиенции.

Потемкин *(неторопливо)*. К черту английского офицера, к черту старого Фрица Прусского, к черту английского посла, к черту господина Вольтера и тебя в придачу!

Сержант. Смилуйтесь, батюшка. У вас нынче головка болит. Вы пьете слишком много французского коньяка и слишком мало доброго русского кваса.

Потемкин *(вдруг взрываясь)*. Почему о важных посетителях докладывает сержант? *(Бросается к нему и хватает за горло.)* Что это значит, собака? Вот получишь у меня пять тысяч розог... Где генерал Волконский?

Сержант *(на коленях)*. Батюшка, вы спустили его светлость с лестницы.

Потемкин *(валит его на пол и пинает ногой)*. Врешь, пес, врешь!

Сержант. Батюшка, жизнь трудна для бедняка. Если вы говорите, что я вру, значит, вру. Его светлость упали с лестницы, я поднял их, и они дали мне пинка. Они все пинают меня, когда вы пинаете их. Видит бог, это несправедливо, батюшка.

Потемкин хохочет, как великан-людоед, затем возвращается к столу, все еще посмеиваясь.

Варенька. Дикарь! Мужлан! Какой позор! Чему тут удивляться, если французы насмехаются над нами за то, что мы варвары.

Сержант *(который прокрался вокруг стола к ширме и теперь стоит между Варенькой и спиной Потемкина)*. Как вы думаете, душенька-барышня, примут князь англичанина?

Потемкин. Они не примут никаких англичан. Поди к черту.

Сержант. Смилуйтесь, батюшка. Видит бог, англичанина надо принять. *(Вареньке.)* Замолвите словечко за него и за меня, барышня-красавица,— они мне целковый дали.

Потемкин. Ну, ладно, ладно, веди его сюда и больше не приставай. Ни минуты покоя!

Сержант радостно отдает честь и поспешно выходит из комнаты, догадавшись, что Потемкин с самого начала решил принять английского офицера и разыграл всю эту комедию, просто чтобы скрыть свой интерес к посетителю.

Варенька. И тебе не стыдно? Ты отказываешься принять самых высокопоставленных особ. Ты спускаешь князей

и генералов с лестницы. А потом принимаешь английского офицера только потому, что он дал рубль простому солдату. Стыд и срам.

Потемкин. Душенька-любушка, я пьян, но я знаю, что делаю. Я хочу быть у англичан на хорошем счету.

Варенька. И ты думаешь, что произведешь на него хорошее впечатление, если примешь его в таком виде, полупьяный?

Потемкин *(торжественно)*. Верно, англичане презирают людей, которые не умеют пить. Мне надо быть не полу-, а полностью пьяным. *(Делает большой глоток коньяка.)*

Варенька. Пропойца!

Возвращается сержант и вводит в комнату красивого, крепко сложенного английского офицера в драгунской форме. Судя по всему, он вполне доволен собой и не забывает о своем общественном положении. Англичанин пересекает комнату и, подойдя к концу стола, противоположному тому, где сидит Потемкин, спокойно ждет от этого государственного мужа положенных в таких случаях любезностей. Сержант благоразумно остается у двери.

Сержант *(отечески)*. Батюшка, это английский офицер, которого рекомендовали ее царскому величеству императрице. Они просят вас о помощи и протек... *(Стремительно исчезает, видя, что Потемкин собирается запустить в него бутылкой.)*

Офицер слушает эти предварительные переговоры с удивлением и неудовольствием, которые не становятся меньше, когда Потемкин, не удостаивая посетителя взглядом, однако успев критически его осмотреть, хрипло рычит.

Потемкин. Ну... чего надо?

Эдстейстон. Мое имя — Эдстейстон, капитан Эдстейстон королевского драгунского полка. Имею честь представить вашей светлости письмо английского посла, где вы найдете все необходимые сведения. *(Протягивает Потемкину рекомендательное письмо.)*

Потемкин *(вскрыв письмо и бросив на него мимолетный взгляд)*. Чего вам надо?

Эдстейстон. Письмо объяснит вашей светлости, кто я

Потемкин. Меня не интересует, кто вы. Чего вы хотите?

Эдстейстон. Аудиенции у императрицы.

Потемкин презрительно отбрасывает письмо.

(Вспыхивает и добавляет.) И немного учтивости, если вас не затруднит.

Потемкин *(с пренебрежительной усмешкой)*. Скажите!

Варенька. Мой дядя принимает вас необычайно учтиво, капитан. Он только что спустил с лестницы генерала.

Эдстейстон. Русского генерала, мадам?

Варенька. Конечно.

Эдстейстон. Я возьму на себя смелость сказать, мадам, что вашему дяде лучше не пробовать спускать с лестницы английского офицера.

Потемкин. Предпочитаете, чтобы я дал вам пинка вверх? На аудиенцию у императрицы?

Эдстейстон. Я ничего не говорил насчет пинков, сэр. Если дойдет до этого, мои сапоги постоят за меня. Ее величество выразила желание узнать о восстании в Америке. Я принимал участие в военных действиях против мятежников, и поэтому мне предписано предоставить себя в распоряжение ее величества и в приличествующей манере описать ей ход военных событий, свидетелем которых я был.

Потемкин. Знаю я вас! Думаешь, стоит ей на тебя поглядеть, на твою смазливую рожу и мундир,— и твоя судьба решена? Думаешь, если она терпит такого человека, как я, с одним глазом, да и тот кривой, так она с первого взгляда упадет к твоим ногам, да?

Эдстейстон *(шокированный и возмущенный)*. Ничего подобного я не думаю, сэр, и попрошу вас больше этого не повторять. Если бы я был русским подданным и вы позволили бы себе так говорить о моей королеве, я дал бы вам по физиономии.

Потемкин с бешеным ревом кидается на него.

Руки прочь, свинья!

Так как Потемкин, будучи гораздо выше ростом, пытается схватить Эдстейстона за горло, капитан, немного занимавшийся вольной борьбой, ловко подставляет ему подножку. Потемкин, не веря сам себе, падает во весь рост.

Варенька *(выбегая)*. Караул! На помощь! Англичанин убивает дядечку! На помощь! Караул! На помощь!

Вбегает страж и сержант. Эдстейстон вытаскивает из-за голенища сапог два небольших пистолета и на-

правляет один на сержанта, другой — на Потемкина, который сидит на полу, значительно протрезвев. Солдаты мнутся в нерешительности.

Эдстейстон. Не подходите. *(Потемкину.)* Прикажите им уйти, если не хотите, чтобы я продырявил вашу глупую голову.

Сержант. Батюшка-князь, скажите, что нам делать, в нашей жизни и смерти вы вольны, но, видит бог, вам не годится умирать.

Потемкин *(до странного спокойно).* Пошел вон!

Сержант. Батюшка...

Потемкин *(бешено орет).* Вон! Вон! Все до единого!

Солдаты уходят, очень довольные, что избежали встречи с пистолетами Эдстейстона.

(Пытается встать и снова валится на пол.) Эй, вы, помогите мне встать. Не видите, что я пьян и не могу сам подняться?

Эдстейстон *(недоверчиво).* Вы хотите меня схватить.

Потемкин *(смирившись, привалившись к стулу, на котором висит его мундир).* Ну и ладно, буду сидеть на полу, раз я пьян, а вы боитесь меня.

Эдстейстон. Я вас не боюсь, черт вас побери!

Потемкин *(восторженно).* Душенька, твоими устами глаголет истина. Послушайте теперь меня. *(Подчеркивает отдельные пункты своей речи смешными деревянными жестами, дергая руками и головой, словно марионетка.)* Вы — капитан Как-вас-там-звать, и ваш дядя — граф Как-там-его, а отец — епископ из Как бишь зовут это место, и вас ждет бле-блестящее бу-будущее (говорил я вам, что я пьян), вы получили образование в Оксфорде, а звание капитана — после славной битвы на Банкерз-Хилл. Отправлены из Америки по ранению, вернее, по просьбе тети Фанни, фрейлины королевы. Так?

Эдстейстон. Откуда вы все это знаете?

Потемкин *(коверкая язык самым фантастическим образом).* Из пись-пись-письма, душени-нька, из пись-ма, голубонь-ка, из пись... письма, которое я у тебя в-взял.

Эдстейстон. Но вы же его не прочли!

Потемкин *(гротескным движением машет перед ним пальцем).* Только один глаз, душенька. Кривой глаз. Все видит. Прочитал письмо много... много... многовенно. Будьте добры, передайте мне бу-бутылку с уксусом. Ту.

зеленую. Он меня про... протрез... вит. Слишком пьян, н-не м-могу говорить как н-надо. Будьте так любезны, душенька. Зеленую бутылку.

Эдстейстон, все еще не доверяя ему, качает отрицательно головой и держит пистолеты наготове.

Сам до-достану. *(Протягивает руку назад, ухватывает со стола зеленую бутылку и делает огромный глоток. Эффект поразителен. Его страшные гримасы и мучительная икота наводят на Эдстейстона ужас. Когда жертва поднимается наконец с пола — перед нами бледный пожилой вельможа, расслабленный, но абсолютно трезвый; он держится и говорит с большим достоинством, хотя время от времени речь его прерывается икотой.)* Молодой человек, быть пьяным, может, и не лучше, чем быть трезвым, но чувствуешь себя счастливей. Добродетель еще не есть счастье. Неплохо сказано, а? Но я переборщил. Я слишком трезв, чтобы быть хорошим собеседником. Нужно восстановить равновесие. *(Делает большой глоток коньяка, и к нему вновь возвращается веселость.)* Ага, так-то лучше. А теперь послушай, душенька. Не годится приходить ко двору с пистолетами в сапогах.

Эдстейстон. Они мне пригодились.

Готемкин. Глупости. Я вам друг. Вы неправильно меня поняли, потому что я был пьян. Теперь, когда я протрезвел... до некоторой степени... я докажу, что я вам друг. Возьмите у меня алмазов. *(Кричит.)* Эй вы, там! Собаки! Свиньи! Эй!..

Входит сержант.

Сержант. Слава богу, батюшка, господь сохранил вашу драгоценную жизнь.

Готемкин. Скажи, чтобы принесли алмазы. Да побольше. И рубины. Пошел вон! *(Прицеливается, чтобы дать сержанту пинка; тот убегает.)* Уберите пистолеты, душенька. Я подарю вам пару пистолетов с золотыми рукоятками. Я вам друг.

Эдстейстон *(нехотя пряча пистолеты)*. Ваша светлость понимает, что, если я исчезну или со мной что-нибудь случится, будут неприятности?

Потемкин *(восторженно)*. Называй меня «душенька»!

Эдстейстон. У нас, англичан, это не принято.

Потемкин. У вас, англичан, нет сердца! *(Хлопает себя по груди с правой стороны.)* Сердце! Сердце!

Эдстейстон. Прошу прощения, ваша светлость, сердце с левой стороны.

Потемкин *(удивленный, проникаясь к нему уважением)*. Да? Вы – ученый! Вы – доктор! Англичане – удивительные люди. Мы – варвары, пьяные свиньи. Екатерина этого не знает, но такие мы и есть. Екатерина – немка, но я дал ей русское сердце. *(Хочет снова хлопнуть себя по груди.)*

Эдстейстон *(деликатно)*. С другой стороны, ваша светлость.

Потемкин *(с пьяной сентиментальностью)*. Душенька, у русского человека сердце с обеих сторон.

Входит сержант, неся чашу, наполненную драгоценными камнями.

Потемкин. Пшел вон! *(Хватает чашу и дает сержанту пинка, не по злобе, а по привычке, даже не замечая, что он это делает.)* Душенька, возьми себе камушков. Хоть горсточку. *(Берет пригоршню камней и медленно высыпает их сквозь пальцы обратно в чашу, затем протягивает чашу Эдстейстону.)*

Эдстейстон. Благодарю вас, я не беру подарков.

Потемкин *(поражен)*. Вы отказываетесь!

Эдстейстон. Благодарю вашу светлость, но у английских джентльменов не принято брать подарки такого рода

Потемкин. А вы действительно англичанин?

Эдстейстон кланяется.

Вы первый англичанин из тех, кого я знавал, который отказывается взять то, что ему дают. *(Ставит чашу на стол, затем опять оборачивается к Эдстейстону.)* Послушай, душенька. Ты великолепно борешься. Ты положил меня на обе лопатки, как по волшебству. А ведь я могу поднять тебя одной рукой. Душенька, ты – гигант, ты – паладин.

Эдстейстон *(самодовольно)*. Да, в наших краях неплохо умеют бороться.

Потемкин. У меня есть турок военнопленный. Он тоже борец. Ты поборешься с ним для меня. Я поставлю на тебя миллион.

Эдстейстон *(вспыхивая)*. Черт вас побери! Вы что – принимаете меня за профессионального борца? Как вы смеете делать мне такое предложение?!

Потемкин *(уязвленно)*. Душенька, тебе не угодишь. Я тебе не нравлюсь?

Эдстейстон *(смягчившись)*. Нравитесь, пожалуй, хотя я и сам не пойму, почему. Но, согласно полученным мной инструкциям, я должен договориться об аудиенции с императрицей и...

Потемкин. Милуша, ты получишь аудиенцию у императрицы. Великолепная женщина, величайшая женщина в мире. Но позволь д-дать тебе со-совет... фу, все еще пьян. Мне разбавляют уксус водой. *(Встряхивается, прочищает горло и продолжает более трезво)*. Если ты приглянешься Екатерине, можешь просить у нее что угодно деньги, бриллианты, дворцы, титулы, чины, ордена.. Можешь домогаться любого звания: фельдмаршала, адмирала, министра – стать чем душе угодно... только не царем.

Эдстейстон. Говорю вам, я ни о чем не собираюсь ее просить. Вы что думаете, я авантюрист и нищий?

Потемкин *(жалобно)*. Почему бы и нет, голубчик? Я был авантюрист. Я был нищий.

Эдстейстон. О!.. Вы?!..

Потемкин. Чем я хуже?

Эдстейстон. Вы – русский. Это другое дело.

Потемкин *(экспансивно)*. Душенька, ты мужчина и я мужчина, а Екатерина – женщина. Женщина всех нас приводит к общему знаменателю. *(Посмеиваясь.)* Опять сострил. *(Серьезно.)* Надеюсь, вы поняли, что я сказал. Ты ходил в школу, душенька? Я – да.

Эдстейстон. Конечно. Я – бакалавр гуманитарных наук.

Потемкин. Хватит того, что ты бакалавр, душенька, и к тому же холостяк. Науку тебе преподаст Екатерина. Что? Еще одна острота? Я сегодня в ударе.

Эдстейстон *(смущен и немного обижен)*. Я должен попросить вашу светлость переменить предмет разговора. Как чужеземец в России, я – гость императрицы и должен вам прямо сказать, я не имею ни права, ни желания говорить о ее величестве в таком фривольном тоне.

Потемкин. Вас мучат угрызения совести?

Эдстейстон. Меня мучат угрызения джентльмена.

Потемкин. В России у джентльменов не бывает угрызений. В России мы смотрим фактам в лицо.

Эдстейстон. В Англии, сэр, джентльмен никогда не смотрит в лицо фактам, если они ему неприятны.

Потемкин. В реальной жизни, душенька, все факты неприятны. *(Очень довольный собой.)* Опять сострил. Где мой проклятый канцлер? Эти жемчужины следует зане-

сти в летописи и сохранить для потомства. *(Кидается к столу, садится и хватает перо. Затем, вспомнив о правилах хорошего тона.)* Но я еще не предложил вам сесть. *(Поднимается и идет ко второму стулу.)* Я — дикарь, я — варвар. *(Сбрасывает мундир со стула на пол, шпагу кладет на стол.)* Покорнейше прошу присесть, капитан.

Эдстейстон. Благодарю вас.

Они церемонно кланяются друг другу. Потемкин отвешивает такой нарочито глубокий поклон, что теряет равновесие и чуть не падает на Эдстейстона; тот удерживает его, затем садится на предложенный ему стул.

Потемкин *(тоже садясь)*. Кстати, вы не помните, какой совет я хотел вам дать?

Эдстейстон. Поскольку вы мне его не дали, я не знаю. Позвольте заметить, что я не просил у вас совета.

Потемкин. Я даю его вам без вашей просьбы, прелестный англичанин. Теперь я вспомнил. Вот что: не пытайтесь сделаться царем России.

Эдстейстон *(удивленно)*. У меня нет ни малейшего намерения...

Потемкин. Сейчас нет, но будет, помяните мое слово. У вас вдруг возникнут угрызения совести, вам покажется просто блестящей мысль, чтобы церковь благословила ваш союз с Екатериной.

Эдстейстон *(поднимаясь, в глубочайшем изумлении)*. Мой союз с Екатериной... Да вы с ума сошли!

Потемкин *(словно не слышит)*. Тот день, когда вы намекнете на это, будет днем вашего падения. К тому же быть мужем Екатерины — не такое уж счастье. Вы знаете, что случилось с Петром?

Эдстейстон *(кротко, снова садясь)*. Я не желаю этого обсуждать.

Потемкин. Вы думаете, она его убила?

Эдстейстон. Говорят.

Потемкин *(вскакивая на ноги, громовым голосом)*. Ложь! Его убил Орлов. *(Немного успокоившись.)* Он и мне глаз вышиб, но *(садится; безмятежно)* все равно я занял его место. И *(нежно похлопывая Эдстейстона по руке)* хотя мне и неприятно тебе это говорить, душенька, если ты станешь царем, тебя убью я.

Эдстейстон *(в свою очередь с ироническим видом похлопывая по руке Потемкина)*. Благодарю. У вас не будет к то-

му оснований. *(Встает.)* Имею честь откланяться, ваша светлость.

Потемкин *(вскакивая и преграждая ему путь)*. Та-та-та! Я отведу вас к императрице сейчас, не медля ни минуты.

Эдстейстон. В этих сапогах? Немыслимо. Я должен переодеться.

Потемкин. Глупости. Пойдете как есть. Еще успеете показать ей свои икры.

Эдстейстон. Но мне надо всего каких-нибудь полчаса, чтобы...

Потемкин. Через полчаса будет поздно, petit lever[1] уже кончится. Пошли, пошли, дружок. Черт подери, должен же я выполнить просьбу английского посла и французского посла, и старого Фрица, и господина Вольтера, и всей остальной шатии. *(Грубо кричит за дверь.)* Варенька! *(Эдстейстону, со слезами в голосе.)* Варенька вас уговорит, никто не может отказать Вареньке. Моя племянница. Сокровище, уверяю вас. Красавица! Преданная! Обворожительная! *(Снова кричит.)* Варенька, куда ты запропастилась, черт тебя подери!

Варенька *(входя в комнату)*. Я не позволю на себя кричать. Ревет, как медведь, выражается, как ломовой извозчик!

Потемкин. Те-те-те... Ангел мой, матушка, веди себя прилично перед английским капитаном.

Снимает халат и кидает его на бумаги и остатки завтрака, поднимает с полу мундир и скрывается за ширмой, чтобы завершить туалет.

Эдстейстон. Мадам! *(Кланяется.)*

Варенька *(приседая)*. Monsieur le Capitaine...[2]

Эдстейстон. Я должен принести свои извинения за то, что нарушил ваш покой, мадам.

Потемкин *(за ширмой)*. Не зови ее «мадам». Зови ее матушкой, душенькой, красавицей.

Эдстейстон. Мое уважение к даме не позволяет мне этого.

Варенька. Уважение! Как вы можете уважать племянницу дикаря?

Эдстейстон *(протестующе)*. О, мадам!

Варенька. Бог свидетель, батюшка-англичанин, нам нужен человек, который бы его не боялся. Он такой сильный.

---

[1] Малый утренний прием *(франц.)*.

[2] Господин капитан *(франц.)*.

Я надеюсь, вы будете сбивать его с ног еще много, много, много раз.

Потемкин *(за ширмой)*. Варенька!

Варенька. Да?

Потемкин. Пойди в парадную спальню ее величества, посмотри в замочную скважину: встала императрица или еще нет.

Варенька. Fi-donk.[1] Я не люблю подсматривать.

Потемкин *(выходит из-за ширмы; он застегнул сорочку и надел усыпанный бриллиантами мундир)*. Тебя плохо воспитали, душенька. Разве леди или джентльмен войдет в комнату без доклада, не посмотрев сперва в замочную скважину? *(Берет со стола шпагу и надевает ее.)* Величайшая вещь в жизни — быть простым. И простейшая вещь — подсматривать сквозь замочную скважину. Опять сострил, пятый раз за утро. Где этот осел канцлер? Секретин! Где Подыхайкин?

Эдстейстон с трудом подавляет смех.

(Довольный.) Душенька, вы оценили мою остроту.

Эдстейстон. Простите. Подыхайкин! Ха-ха-ха! Не могу удержаться. А кстати, как его настоящее имя, если нам доведется встретиться?

Варенька *(удивленно)*. Настоящее имя? Подыхайкин, конечно. Почему вы смеетесь, батюшка?

Эдстейстон. Да как же не смеяться, если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора! Подыхайкин! *(Корчится от хохота.)*

Варенька, глядя на дядю, многозначительно стучит себе пальцем по лбу.

Потемкин *(в сторону, Вареньке)*. Нет, просто англичанин. Он позабавит царицу. *(Эдстейстону.)* Пошли, расскажете об этой шутке Екатерине; она у нас тоже шутница, в своем роде. *(Берет Эдстейстона за руку и ведет к дверям.)*

Эдстейстон *(упираясь)*. Нет, право... Я в неподходящем...

Потемкин *(Вареньке)*. Уговори его, мой ангел.

Варенька *(беря Эдстейстона за другую руку)*. Да, да, да, батюшка-англичанин, бог свидетель — ваш долг быть храбрым и представиться императрице. Идемте.

Эдстейстон. Нет, я лучше...

---

[1] Фу! *(франц.)*.

Потемкин *(волочит его вперед)*. Идем, идем!

Варенька *(тянет Эдстейстона за собой, улещивая)*. Идем, миленький, идем, хорошенький. Прошу вас. Неужто вы мне откажете?

Эдстейстон. Но как же... в...

Потемкин. Почему нет? Не съест она тебя.

Варенька. Съест, но все равно надо пойти.

Эдстейстон. Уверяю вас... об этом не может быть и речи... В таком виде... мое платье...

Варенька. У вас превосходный вид.

Потемкин. Живо, душенька.

Эдстейстон *(упираясь)*. Не могу!

Варенька. Живенько! Живенько!

Эдстейстон. Нет. Поверьте мне... мне бы не хотелось... Я...

Варенька. Отнеси его, дядя.

Потемкин *(берет его на руки, как ребенка)*. Да, я вас отнесу.

Эдстейстон. Будь оно все проклято, это же смешно!

Варенька *(хватая его за щиколотки и приплясывая, в то время как Потемкин несет его к дверям)*. Придется вам пойти. Если вы станете брыкаться, наставите мне синяков!

Потемкин. Полно, детка, полно...

Они скрываются за дверью, и дальнейшие слова не достигают нашего слуха.

Утренний прием у императрицы. Центральные двери парадной спальни закрыты. Те, кто входят через них, видят налево от себя кровать под великолепным балдахином, стоящую на возвышении, куда ведут две широкие ступени. За ней дверь в деревянных панелях в будуар императрицы. У подножия кровати, посреди комнаты, золоченое кресло с резным императорским гербом и вышитым императорским вензелем.

Вдоль стены, противоположной кровати, двумя унылыми рядами выстроились придворные. Застыв от важности и скуки, они ожидают пробуждения императрицы. Княгиня Дашкова и еще две фрейлины стоят немного впереди остальных у императорского кресла. Молчание нарушается лишь зевками и шепотом придворных. У изголовья кровати гофмейстер граф Нарышкин.

Из-за балдахина слышится громкий зевок.

Нарышкин *(предостерегающе поднимает руку)*. Тс-с-с...

Придворные мгновенно перестают перешептываться, выравнивают ряды и застывают в неподвижности. Наступает мертвая тишина. Из-за балдахина раздается звон колокольчика. Нарышкин и княгиня торжественно раздвигают его, выставляя императрицу всем напоказ.

Екатерина переворачивается на спину и потягивается.

Екатерина *(зевает)*. О-хо-хо... а... а-а-а... о... ох... которое время? *(Говорит с немецким акцентом.)*

Нарышкин *(по всем правилам этикета)*. Ее императорское величество изволили проснуться. *(Придворные падают на колени.)*

Все. Доброе утро, ваше величество.

Нарышкин. Половина одиннадцатого, матушка-императрица.

Екатерина *(резким движением садясь на постели)*. Potztausend![1] *(Глядя на коленопреклоненных придворных.)* Ах, встаньте, встаньте.

---

[1] Черт возьми! Тьфу, пропасть! *(разг. нем.)*

Все встают.

Ваш этикет мне надоел. Не успею я раскрыть глаза, как он уже начинается. *(Снова зевает и сонно откидывается на подушки.)* Почему они это делают, Нарышкин?

Нарышкин. Видит бог, не ради вас, матушка-царица. Но поймите и вы их. Не будь вы великая императрица, они были бы никто.

Екатерина *(садясь)*. Они заставляют меня терпеть все это из-за собственного мелкого тщеславия? So? [1]

Нарышкин. Точно так. Ну и к тому же, если они не будут этого делать, вдруг ваше величество велят выпороть их розгами.

Екатерина *(энергично выпрастывая ноги из-под одеяла, садится на край кровати)*. Выпороть! Я! Либеральная императрица! Философ! Ты варвар, Нарышкин. *(Встает и обращается к придворным.)* И потом, мне этого вовсе не надо. *(Снова оборачивается к Нарышкину.)* Тебе бы следовало уже знать, что у меня открытый и самобытный характер, как у англичан. *(Раздраженно ходит по комнате.)* Нет, больше всего меня злит в этих церемониях то, что я единственная в России не испытываю никакого удовольствия оттого, что я императрица. Вы все купаетесь в моей славе, греетесь в моих улыбках, получаете от меня титулы, награды и милости, любуетесь моей блестящей короной и сверкающей мантией, радуетесь, когда я допускаю вас к своей особе, а когда я милостиво к вам обращусь, целую неделю рассказываете об этом каждому встречному. А мне какая радость? *(Бросается в кресло.)*

Нарышкин энергичными жестами выражает свое несогласие.

(Повторяет категорически.) Никакой! Я таскаю корону, пока у меня не заболит голова; я стою с величественным видом, пока у меня не подкосятся ноги; я вынуждена улыбаться старым уродливым послам и хмуро отворачиваться от молодых и красивых. Никто мне ничего не дарит. Когда я была всего-навсего великой княгиней, английский посол дарил мне деньги, когда я хотела... вернее, когда он хотел получить что-нибудь от моей священной предшественницы, императрицы Елизаветы.

---

[1] Так? *(нем.)*

Придворные кланяются до земли.

А теперь, когда я сама императрица, от него и копейки не дождешься. Когда у меня болит голова или колики в животе, я завидую последней судомойке. А вы ничуть не благодарны мне за всю мою заботу о вас, за мой труд, мои размышления, мою усталость, мои страдания.

Княгиня Дашкова. Видит бог, мы все умоляем ваше императорское величество не утомлять себя так, дать отдых голове. Потому ваше императорское величество и страдает головными болями. У господина Вольтера тоже часто болит голова, и по той же причине – от ума.

Екатерина. Дашкова, ну и врунья же ты!

Дашкова приседает с подчеркнутым достоинством.

Думаешь, ты мне польстила! А я вот что тебе скажу: я не дам и рубля за головы всех французских философов, вместе взятых... Что у нас в программе на сегодня?

Нарышкин. Новый музей, матушка. Но экспонаты будут готовы только к вечеру.

Екатерина *(нетерпеливо вставая с места)*. Да, музей. Просвещенной столице нужен музей. *(Шагает по спальне, погруженная в размышления о важности музея.)* Это будет одно из чудес света. Мне нужны экспонаты, экспонаты, экспонаты!

Нарышкин. У вас хорошее настроение сегодня, матушка-царица.

Екатерина *(с неожиданной веселостью)*. Я всегда в хорошем настроении, даже когда мне не подают туфель. *(Подбегает к стулу, садится и выставляет вперед ноги.)*

Фрейлины, стоящие рядом с Дашковой, бросаются к ней, каждая с туфлей в руках. Екатерина, собравшаяся было их надеть, приостанавливается, услышав какой-то шум в передней.

Потемкин *(неся англичанина через переднюю)*. Бесполезно бороться. Пошли, детка, пошли, душенька, пошли, красавчик. Пошли к нашей матушке. *(Поет.)*

Баю-баюшки, баю,
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок,
Схватит Чарли за бочок...

Варенька *(присоединяется к нему, на терцию выше)*.

Баю-баюшки, баю,
Не ложися на краю... — *(И т. д.)*

Эдстейстон *(стараясь их перекричать)*. Нет, нет! Ваша шутка слишком далеко зашла. Я настаиваю. Опустите меня. Черт подери, опустите вы меня, наконец?! Будь все проклято! Нет, нет. Хватит валять дурака! У нас, в Англии, такие шутки не в чести. Вы меня позорите. Пустите!

Екатерина *(в то же самое время)*. Что за ужасный шум? Нарышкин, посмотри, что там такое.

Нарышкин идет к дверям.

Екатерина *(прислушиваясь)*. Это князь Потемкин.

Нарышкин *(кричит от дверей)*. Матушка-царица, чужой!

Екатерина ныряет в постель и укрывается с головой одеялом. Потемкин, сопровождаемый Варенькой, вносит в комнату Эдстейстона, бухает его прямо на кровать к ногам Екатерины и, шатаясь, направляется к двери в будуар. Варенька присоединяется к придворным у противоположной стены. Екатерина, вне себя от ярости, сталкивает Эдстейстона с кровати на пол; выскакивает из постели и оборачивается к Потемкину с таким ужасным выражением лица, что все поспешно падают на колени; все, кроме Эдстейстона, который, сердитый и смущенный, все еще лежит на ковре.

Екатерина. Князь, как ты осмелился? *(Глядя на Эдстейстона.)* Что это?

Потемкин *(на коленях, слезливо)*. Н-не знаю, матушка-царица. Я пьян. Что это, Варенька?

Эдстейстон *(с трудом поднимаясь на ноги)*. Мадам, этот пьяный негодяй...

Потемкин. В-верно. П... ный ...годяй. Вос... восползо... ся, что я п... пяный. Сказал — отведи меня к нашему ан-ангелу, ма-матушке... ца-царице. Отведи к раскра-красавице императрице. Отведи к самой ве-ве-ликой жен-щине на свете. Так он сказал. Я и от-отвел. З-зря я это сделал. Я был п-пьян.

Екатерина. Сибирь протрезвляла людей и не за такие поступки, князь.

Потемкин. И поделом. Мер... зкая привычка. Спросите Вареньку.

Екатерина отворачивается от него к придворным. Они ви-

дят, что она с трудом удерживается от смеха. Знают по опыту, что она все равно рассмеется, и, успокоенные, улыбаясь, поднимаются.

Варенька. Верно. Он пьет, как свинья.

Потемкин *(жалобно)*. Нет, не как свинья. Как князь. Ма-матушка сделала По-потемкина князем. Зачем же и князем быть, если нельзя пи-пить?

Екатерина *(кусая губы)*. Ступай. Я сержусь.

Потемкин. Не брани меня, ма-матушка-царица.

Екатерина *(повелительно)*. Ступай.

Потемкин *(шатаясь, поднимается на ноги)*. Иду! Иду! Иду баиньки. Хочу бай-бай. Лу-лучше пойти бай-бай, чем в Си-сибирь! Бай-бай в ма-матушкиной кро-кроватке. *(Делает вид, будто хочет забраться в постель императрицы.)*

Екатерина *(энергично сталкивая его)*. Нет, нет. Князь, ты с ума сошел?

Он бревном падает на пол, судя по всему, пьяный в стельку.

Княгиня Дашкова. Неслыханно! Оскорбление вашего царского величества!

Екатерина. Дашкова, у тебя нет никакого чувства юмора. *(Спускается по ступеням и улыбаясь смотрит на Потемкина.)*

Он громко рыгает. Она с отвращением отшатывается.

Екатерина. Свинья! *(Изо всей силы пинает его ногой.)* Ой, я сломала об него палец! Скотина. Животное. Дашкова права. Ты слышишь?

Потемкин. Ес-сли меня спрашивают... мое мнение о Дашковой, мое мне-мнение, что она п-пяна. Неслыханно! Бедный По-потемкин пойдет бай-бай. *(Погружается в пьяный сон.)*

Несколько придворных хотят вынести его из комнаты.

Екатерина *(останавливая их)*. Пусть лежит. Пусть проспится. Если он уйдет, он отправится в кабак со всяким сбродом. *(Ласково.)* Ну-ка! *(Берет с кровати подушку и подкладывает ему под голову. Затем оборачивается к Эдстейстону, величественно обозревает его и спрашивает самым царственным тоном.)* Варенька, кто этот джентльмен?

Варенька. Иностранный капитан, мне не выговорить его имени. По-моему, он сумасшедший. Он явился к князю и заявил, что должен видеть ваше величество. Ни о чем другом и слышать не хотел. Мы не могли его удержать.

Эдстейстон *(потрясенный такой явной изменой)*. О, мадам, я совершенно нормален. Я действительно иностранец — англичанин. Я бы никогда не осмелился предстать пред вашим величеством без соответствующих верительных грамот. У меня есть рекомендательные письма от английского посла и от прусского посла. *(Наивно.)* Но все в один голос уверяли меня, что князь Потемкин всемогущ и через него легче к вам попасть, поэтому я, естественно, обратился к нему.

Потемкин прерывает разговор хриплым стоном, напоминающим крик осла.

Екатерина *(тоном рыночной торговки)*. Schweig du, Hund.[1] *(Снова с царственной величавостью.)* Разве вас никогда не учили, сэр, как должно входить к монарху?

Эдстейстон. Учили, мадам, но я не сам вошел к вам. Меня внесли.

Екатерина. Вы же просили князя Потемкина внести вас. Вы мне это сами сказали.

Эдстейстон. Вовсе нет, мадам. Я протестовал против этого изо всех сил. Я обращаюсь к этой леди с просьбой подтвердить мои слова.

Варенька *(наигранно негодующим тоном)*. Да, вы протестовали. А все равно, вам очень, очень, очень хотелось увидеть ее императорское величество. Вы краснели, когда князь говорил о ней. Вы пригрозили ударить его по лицу шпагой, потому что вам казалось, будто он отзывался о ней с недостаточным восторгом. *(Екатерине.)* Поверьте, ваше императорское величество, он уже где-то вас видел.

Екатерина *(Эдстейстону)*. Вы видели нас раньше?

Эдстейстон. Да, мадам, на параде.

Варенька *(торжествующе)*. Ага, так я и знала! Вы были, ваше величество, в гусарском мундире. Он увидел, как вы прекрасны и ослепительны. Он осмелился восхищаться вашим величеством. Невероятная дерзость!

Эдстейстон. Вся Европа повинна в этой дерзости, мадам.

Княгиня Дашкова. Вся Европа довольствуется тем, что

---

[1] Замолчи, собака *(нем.)*.

восхищается ее величеством на должном расстоянии. Вполне возможно восхищаться политикой ее величества, ее заслугами в литературе и философии, не проделывая акробатических трюков на ее кровати.

Эдстейстон. Мне ничего не известно о заслугах ее величества в литературе и философии, я ничего не понимаю в этих вещах. Я простой деловой человек. И я не подозревал, что у иностранцев тоже есть политика, я думал политикой занимается только мистер Питт.

Екатерина *(поднимая брови)*. So?[1]

Варенька. Так за что же еще, скажите на милость, вы осмелились восхищаться ее величеством?

Эдстейстон *(запинаясь)*. Ну, я... я... я... то есть я... *(Полностью запутавшись, умолкает.)*

Екатерина *(после безжалостной паузы)*. Мы ждем вашего ответа.

Эдстейстон. Но я вовсе не говорил, что восхищаюсь вашим величеством. Эта леди исказила мои слова.

Варенька. Значит, вы не восхищаетесь ее царским величеством?

Эдстейстон. Ну, я... естественно... конечно, я не могу отрицать, что мундир был вам очень к лицу... быть может, правда, он не совсем подходит женщине, но, с другой стороны...

Мертвая тишина. Екатерина и придворные уставились на него с каменными лицами. Он так растерян, что на него жалко смотреть.

Екатерина *(с ледяной величественностью)*. Это все, что вы имели сказать, сэр?

Эдстейстон. Ну, что дурного в том, чтобы заметить, что... э-э... что... э-э... *(Снова останавливается.)*

Екатерина. Заметить, что э-э?..

Он во все глаза глядит на нее, как кролик на удава.

(С жаром повторяет.) Что э-э?..

Эдстейстон *(вынужденный отвечать)*. Ну, что ваше величество были... были... *(Стараясь умилостивить ее.)* Разрешите мне выразить это так: не обязательно быть философом, чтобы восхищаться вашим величеством.

Екатерина *(неожиданно улыбаясь и протягивая ему руку для поцелуя)*. Льстец!

---

[1] Итак? *(нем.)*

Эдстейстон *(целуя ей руку)*. Вовсе нет. Ваше величество очень добры. Я был крайне неловок, но это не нарочно. Боюсь, я довольно глуп.

Екатерина. Глуп! Ни в коей мере. Смелее, капитан, мы вами довольны.

Он падает на одно колено. Сжав ладонями его щеки, она поднимает его лицо к себе и добавляет.

Мы очень довольны. *(Кокетливо шлепает его по щеке.)*

Он кланяется так, что чуть не стукается головой о собственное колено.

Petit lever окончен. *(Поворачивается, намереваясь удалиться в будуар, и спотыкается о распростертого на ковре Потемкина.)* Ах!

Эдстейстон вскакивает с колен, желая помочь ей; хватает Потемкина за ноги и отводит их в сторону, чтобы императрица могла пройти.

Мы благодарим вас, капитан.

Эдстейстон отвешивает Екатерине галантный поклон и получает в награду милостивую улыбку. Екатерина проходит в будуар; за ней следует княгиня Дашкова, которая у дверей оборачивается к Эдстейстону и приседает в глубоком реверансе.

Варенька. Счастливчик вы, батюшка. Не забудьте, что все это я вам устроила! *(Убегает вслед за императрицей.)*

Эдстейстон, несколько ошеломленный, пересекает комнату и подходит к придворным, которые встречают его с подозрительным подобострастием, каждый — низко кланяясь или приседая, перед тем как выйти через центральные двери. Эдстейстон судорожно кланяется в ответ, но, когда поворачивается в другую сторону, его ждет там очередной придворный и очередной поклон. Налетев на одного придворного, в то время как он кланялся другому, и вынужденный с поклоном просить у него прощения, он впадает в полное отчаяние. Но наконец они все уходят, кроме Нарышкина.

Эдстейстон. Уф!

Потемкин *(бодро вскакивая с пола)*. Браво, душенька! Великолепно. Грандиозно.

Эдстейстон *(удивленно)*. Разве вы не пьяны?

Потемкин. Пьян. Но не в стельку, душенька. В дипломатическую меру. Как пьяная свинья я за пять минут сделал для вас то, чего трезвый не сделал бы и за пять месяцев. Фортуна вам улыбнулась, вы понравились Екатерине

Эдстейстон. На черта мне это?

Потемкин. Что? Вы недовольны?

Эдстейстон. Доволен? Боже милостивый, приятель, я обручен.

Потемкин. Ну и что? Ведь ваша невеста в Англии?

Эдстейстон. Нет. Она только что приехала в Санкт-Петербург.

Княгиня Дашкова *(возвращаясь)*. Капитан Эдстейстон, императрица облачилась и требует вас к себе.

Эдстейстон. Скажите, что я ушел раньше, чем вы мне это передали. *(Выбегает из комнаты.)*

Трое оставшихся, слишком пораженные, чтобы его удержать, смотрят ему вслед в глубоком недоумении.

Нарышкин *(от дверей)*. Она велит запороть его. Он пропал

Княгиня Дашкова. Мне-то что делать? Я не могу передать императрице такой ответ.

Потемкин *(долгий выдох, переходящий в рычание)*. П-ф-ф-ф-р-р-р-р-р-р-р-р! Я должен дать кому-нибудь пинка.

Нарышкин *(поспешно убегая через центральные двери)*. Нет, нет. Пожалуйста.

Княгиня Дашкова *(бесстрашно кидаясь наперерез Потемкину, преследующему Нарышкина)*. Пните меня. Искалечьте. По крайней мере не придется возвращаться к ней Пните меня посильнее.

Потемкин. Иди ты... *(Толкает ее на кровать и выбегает из комнаты следом за Нарышкиным.)*

В саду, выходящем на Неву. Клэр, крепкая молодая англичанка, стоит, облокотившись о парапет. Услышав стук садовой калитки, выжидающе оборачивается. Поспешно входит Эдстейстон. С радостным криком она обвивает его шею руками.

Клэр. Душенька!

Эдстейстон *(поморщившись)*. Не называй меня душенькой.

Клэр *(неприятно удивлена)*. Почему?

Эдстейстон. Меня называли так все утро.

Клэр *(со вспышкой ревности)*. Кто?

Эдстейстон. Все. Одна гнусная свинья. И если мы не уедем из этого мерзкого города немедленно — слышишь, немедленно! — меня будет называть душенькой сама императрица.

Клэр *(с великолепным снобизмом)*. Не посмеет. Ты ей сказал, что мы обручены?

Эдстейстон. Конечно нет.

Клэр. Почему?

Эдстейстон. Потому что я не хочу, чтобы тебя засекли, а меня повесили или сослали в Сибирь.

Клэр. Что, ради всего святого, все это значит?

Эдстейстон. Ну, коротко говоря... не считай меня фатом, Клэр, но дело слишком серьезно, чтобы говорить обиняками... я виделся с императрицей и...

Клэр. Что тут такого? Ты же и хотел увидеть ее.

Эдстейстон. Да, но... императрица увидела меня.

Клэр. И влюбилась в тебя.

Эдстейстон. Откуда ты знаешь?

Клэр. Любимый, как будто можно в тебя не влюбиться!

Эдстейстон. Не надо смеяться надо мной. Я и так чувствую себя дураком. Но, хоть это и звучит самонадеянно, я все же льщу себя мыслью, что я красивее Потемкина и прочих свиней, к которым она привыкла. Так или иначе, я не рискую здесь оставаться.

Клэр. Как досадно! Мама будет вне себя, ей снова придется укладываться и не удастся пойти вечером на придворный бал.

Эдстейстон. Ничего не поделаешь. Нам нельзя терять ни секунды.

Клэр. Можно, я скажу ей, что ее высекут, если мы останемся?

Эдстейстон. Ради бога, любимая.

Он целует ее и отпускает, ожидая, что она побежит в дом.

Клэр *(останавливаясь в задумчивости)*. А она... она красивая, если смотреть на нее вблизи?

Эдстейстон. Тебе в подметки не годится, любимая.

Клэр *(ревниво)*. Значит, ты на самом деле близко ее видел?

Эдстейстон. Достаточно близко.

Клэр. В самом деле? Насколько близко?.. Нет, это просто глупо с моей стороны; пойду скажу маме.

В то время как она направляется к дому, в сад входят Нарышкин, сержант и взвод солдат.

Что вам здесь надо?

Сержант подходит к Эдстейстону, бухается на колени и вынимает пару великолепных пистолетов с золотыми рукоятками. Протягивает их Эдстейстону, держа за дула.

Нарышкин. Капитан Эдстейстон, его светлость князь Потемкин шлет вам пистолеты, которые он вам обещал.

Сержант. Возьми их, батюшка; и не забудь нас, бедных солдат, которые принесли их тебе; видит бог, нам редко удается выпить.

Эдстейстон *(нерешительно)*. Но я не могу принять такие дорогие подарки. Однако, черт подери, они хороши! Взгляни, Клэр, какая работа!

Он протягивает руку к пистолетам, но сержант внезапно роняет их на землю, кидается вперед и обхватывает Эдстейстона за ноги, чтобы помешать ему достать собственные пистолеты из-за сапог.

Сержант. Держите его, братцы. Скрутите ему руки. Я забрал его пистолеты.

Солдаты хватают Эдстейстона.

Эдстейстон. А, вы так! Будьте вы прокляты! *(Бьет сержанта коленом под ложечку и яростно дерется с солдатами.)*

Сержант *(катается по земле, громко стонет, не в силах вздохнуть)*. Ох! Ой! Убил! Святой Никола Угодник! Ох!

Клэр. Караул! Убивают! На помощь!

Нарышкин *(хватает ее и зажимает ей рот)*. Свяжите его по рукам и ногам. Десять тысяч розог, если упустите его.

Клэр высвобождается и, набросившись на Нарышкина, принимается яростно его колотить.

Ой... ай! Смилуйся, матушка.

Клэр. Негодяй! На помощь! На помощь! Полиция! Нас убивают! На помощь!

Сержант, поднявшись на ноги, приходит на выручку Нарышкину и хватает Клэр за руки, давая Нарышкину возможность снова зажать ей рот. Тем временем Эдстейстон и солдаты катаются по земле. Наконец солдаты валят его на землю и, заломив за спину руки, связывают их под коленями. Затем, обхватив ему грудь широким ремнем и продев через обе завязки шест, поднимают Эдстейстона, беспомощного, как цыпленок, приготовленный для жарки, чтобы унести. Все это время Эдстейстон, естественно, не молчит.

Эдстейстон *(с трудом переводя дух)*. Вы еще обо мне услышите. Развяжите меня, черт вас подери! Я пожалуюсь послу. Я напишу в «Правительственный вестник». Англия в щепки разобьет ваш игрушечный флот и погонит вашу оловянную армию до самой Сибири. Пустите меня! Черт вас подери! Будьте прокляты! Какого дьявола вы хотите? Я... я... я...

Солдаты уносят его, и дальнейшее нам не слышно.

Нарышкин *(с криком отдергивает руку от лица Клэр и, как безумный, трясет ею)*. Ай!

Сержант в удивлении отпускает Клэр.

Она укусила меня, маленькая чертовка!

Клэр *(с отвращением отплевываясь и вытирая рот)*. Как вы смеете совать свои грязные лапы мне в рот?! Тьфу!

Сержант. Смилуйся, ангел наш. Смилуйся, матушка.

Клэр. Не смейте называть меня так! Где полиция?

Нарышкин. А мы и есть полиция в Санкт-Петербурге, маленькая злючка.

Сержант. Видит бог, матушка, вас трогать не велено. Мы делаем, что приказано. Вы-то крепкие и здоровые, а

я так, видно, калекой и помру. Англичанин-батюшка сильный и могучий, ломит, как медведь. Они мне все кишки раздавили. Разве мы, люди бедные, можем драться с таким опасным противником!

Клэр. Так тебе и надо! Куда они понесли капитана Эдстейстона?

Нарышкин *(злорадно)*. К императрице, красотка. Он оскорбил императрицу. Он получит сто ударов кнутом. *(Смеется и выходит, потирая укушенный палец.)*

Сержант. Он почувствует только первые двадцать, барышня-голубушка, бог милосердный приберет его душу задолго до того, как они дойдут до конца.

Клэр *(находя поддержку в непобедимом снобизме)*. Они не посмеют тронуть английского офицера. Я сама пойду к императрице; она, верно, не знает, кто такой капитан Эдстейстон... кто такие мы.

Сержант. Подите, красавица, подите, помоги вам Никола Угодник.

Клэр. Без дерзостей! Как мне попасть во дворец?

Сержант. Во дворец может войти кто хочет, милушка.

Клэр. Но мне нужно увидеть императрицу. Я должна с ней поговорить.

Сержант. Увидите, увидите, матушка-голубушка. Дадите бедному старому сержанту целковый, и Никола Угодник велит ему вас спасти.

Клэр *(порывисто)*. Я дам тебе... *(она готова сказать: «пятьдесят рублей», но предусмотрительно удерживается)* ...что же, я готова дать тебе два рубля, если смогу поговорить с императрицей.

Сержант *(радостно)*. Благослови вас господь, матушка. Пойдемте. *(Идет впереди нее)*. Это дьявол попутал вашего любезного, что он попортил мне кишки и чуть дух не вышиб. Мы должны прощать своих ближних.

Треугольный альков, отделенный от огромной дворцовой бальной залы аркой, завешенной тяжелыми портьерами. Свет приглушен красными абажурами на свечах. В стене, примыкающей к той, где прорезана арка, дверь. Единственный предмет меблировки — очень красивое кресло у арки. В зале танцуют полонез под звуки военного оркестра.

В дверь входит Нарышкин, за ним солдаты, несущие Эдстейстона, все еще привязанного к шесту Измученный, угрюмый, он не издает ни звука.

Нарышкин. Стой! Снимите арестованного с шеста.

Солдаты плюхают Эдстейстона на пол и вытаскивают шест. Нарышкин склоняется над ним и говорит издевательски.

Ну, вы готовы к пыткам? Это личный застенок императрицы. Могу я быть чем-нибудь полезен? Вам стоит только намекнуть.

Эдстейстон. У вас все зубы целы?

Нарышкин *(удивленно)*. При чем тут?..

Эдстейстон. Его величество король Георг Третий потребует шесть из них, когда известие о том, что вы сделали со мной, достигнет Лондона. Так что берегитесь, черт вас подери!

Нарышкин *(испуганно)*. О, уверяю вас, я только выполняю приказ. Лично я ненавижу пытки и спас бы вас, если бы мог. Но императрица горда, а какая женщина простила бы нанесенное вами оскорбление?

Эдстейстон. Будьте вы прокляты!

Нарышкин *(чуть не со слезами)*. Право, я не виноват. *(Солдатам, грубо.)* Вы получили приказ? Помните, что должны делать, когда императрица отдаст распоряжение?

Солдаты отдают честь.

Нарышкин выходит, раздвинув на мгновение портьеры и впустив в альков звуки музыки и яркий свет канделябров из бальной залы. Когда портьеры смыкаются за ним свет исчезает, музыка приглушается. Внезапно оркестр

перестает играть; Нарышкин возвращается, делает предостерегающий жест; солдаты становятся по стойке «смирно». Нарышкин отводит портьеры в стороны, чтобы пропустить внутрь Екатерину. Она в пышном парадном облачении, при всех императорских регалиях. Екатерина останавливается с суровым видом у самого входа. Солдаты падают на колени.

Екатерина. Выполняйте приказ.

Солдаты хватают Эдстейстона и грубо бросают к ногам императрицы.

Екатерина *(холодно глядя на него.)* So![1] Мне пришлось посылать за вами дважды. Лучше бы вы пришли в первый раз.

Эдстейстон *(плаксиво-раздраженным тоном)*. Я не приходил ни в первый, ни во второй раз. Меня приносили. Чертовское нахальство, вот как я это называю.

Екатерина. Думайте, прежде чем говорить.

Эдстейстон. К чему? Полагаю, что вы очень величественны и красивы, но мне вас не видно, и я вас не боюсь. Я — англичанин, вы можете похитить меня, но не запугать.

Нарышкин. Не забывайте, к кому вы обращаетесь!

Екатерина *(в ярости от его вмешательства)*. Помни, что собаки должны молчать!

Нарышкин съеживается.

А, вы, капитан, помните, что, хоть я и славлюсь своим милосердием, есть пределы терпению даже у императрицы.

Эдстейстон. Как человек может хоть что-нибудь помнить, когда он связан по рукам и ногам таким дурацким образом? Я с трудом дышу. *(Делает безуспешную попытку освободиться.)* Видите? Будьте милосердны, ваше величество: велите меня развязать. Право, вы должны извиниться передо мной.

Екатерина. Думаете, вам удастся выйти сухим из воды, если будете апеллировать к моему чувству юмора, как Потемкин?

Эдстейстон. Чувству юмора?! Ха-ха-ха! Это мне нравится. Хорошенькое чувство юмора, превратить человека в чу-

---

[1] Итак *(нем.)*.

чело и ожидать, что он не отнесется к этому всерьез. Послушайте, велите распустить веревки; пожалуйста.

Екатерина *(садясь)*. С чего бы мне это велеть, скажите на милость?

Эдстейстон. С чего бы? Да с того, что они врезаются мне в тело.

Екатерина. Страдание многому нас учит. Хорошим манерам, к примеру.

Эдстейстон. Конечно, если вы просто злюка и нарочно причиняете мне боль, мне больше нечего сказать.

Екатерина. Монархам, сэр, иногда приходится прибегать к необходимой и даже целебной строгости...

Эдстейстон *(прерывая ее, раздраженно)*. Кря! Кря! Кря! Ква! Ква! Ква!

Екатерина. Donnerwetter![1]

Эдстейстон *(продолжает очертя голову)*. Это не строгость, это дурачество. И если вы думаете, что исправляете мой характер или чему-нибудь учите, то вы ошибаетесь. Возможно, это доставляет вам удовольствие... что ж, если так, это вам чести не делает.

Екатерина *(внезапно набрасывается на Нарышкина)*. Чего ухмыляешься?

Нарышкин *(в ужасе падает на колени)*. Смилуйся, матушка, я и так ни жив ни мертв.

Екатерина. Ты будешь не жив, а мертв, и очень скоро, если еще раз забудешь, в чьем ты находишься присутствии. Ступай вон! И забери своих людей.

Нарышкин крадется к дверям. Солдаты — за ним.

Стоп. Подкатите это *(указывая на Эдстейстона)* поближе.

Солдаты повинуются.

Не так близко. Я ведь не просила подать мне ножную скамеечку. *(Отпихивает Эдстейстона ногой.)*

Эдстейстон *(внезапно взвизгивает)*. А-а! Я должен попросить ваше императорское величество не тыкать меня вашей императорской ножкой под ребра. Я боюсь щекотки.

Екатерина. Вот как? Тем больше оснований относиться ко мне с уважением. *(Остальным.)* Ступайте вон! Сколько раз я должна повторять приказание, прежде чем его выполнят?!

---

[1] Черт возьми! *(нем.)*

Нарышкин. Матушка, мы принесли орудия пытки. Может, понадобятся?

Екатерина *(негодующе)*. Как ты смеешь упоминать о таких мерзостях передо мной, либеральной монархиней?! Ты всегда будешь дураком и дикарем, Нарышкин. Эти реликвии варварства похоронены, слава богу, в могиле Петра Великого. У меня более цивилизованные методы. *(Протягивает ногу к Эдстейстону и щекочет его).*

Эдстейстон *(истерически вопит)*. Ай! Ой! Уй! *(В бешенстве.)* Если ваше величество сделает так еще раз, я напишу в лондонский «Правительственный вестник».

Екатерина *(солдатам)*. Пошли вон! Ну! Пять тысяч розог тому, кто будет здесь, когда я скажу следующее слово!

Солдаты опрометью выбегают.

Нарышкин, ты что — кнута захотел?

Нарышкин, пятясь, поспешно выходит из алькова. Екатерина и Эдстейстон остаются одни. В руке Екатерины золотой скипетр. Вокруг него обернут свежий французский памфлет под названием «L'Homme aux Quarante Écus»[1]. *Она спокойно разворачивает его и, устроившись поудобнее, принимается читать, словно она одна в комнате. Несколько секунд проходит в полном молчании. Екатерина все больше и больше углубляется в чтение, памфлет все больше и больше забавляет ее.*

Екатерина *(очень довольная каким-то пассажем, переворачивает страницу)*. Ausgezeichnet![2]

Эдстейстон. Хм-хм!

Молчание. Екатерина продолжает читать.

Екатерина. Wie komisch.[3]

Эдстейстон. Гм-гм! Гм-гм!

Молчание.

Екатерина *(сама себе, восхищенно)*. Какой удивительный писатель — господин Вольтер! Как ясно он вскрывает безрассудство этого безумного плана — добывать весь государственный доход путем поземельного налога! Как он

---

[1] «Человек с сорока экю» *(франц.)*.

[2] Отлично! Превосходно! *(нем.)*

[3] Как забавно *(нем.)*.

уничтожает его своей иронией! Как он умеет одновременно убедить и рассмешить! Не сомневаешься, что его остроумие и проницательность в экономических вопросах убили это предложение раз и навсегда в глазах образованных людей.

Эдстейстон. Ради всего святого, мадам, неужели вы намерены держать меня здесь связанным, пока вы обсуждаете богохульства этого гнусного еретика? Ай!

Она снова пускает в ход носок туфли.

Ай! Ой! Ай!

Екатерина *(невозмутимо)*. Вы хотели сказать, что господин Вольтер — самый большой филантроп и самый великий философ, не говоря уж о том, что он самый остроумный человек в Европе? Я правильно вас поняла?

Эдстейстон. Разумеется нет. Я хочу сказать, что его книги следует сжечь на лобном месте.

Она щекочет его.

Ай! Ой, не надо. Я потеряю сознание. Ай... не могу больше...

Екатерина. Вы изменили свое мнение о господине Вольтере?

Эдстейстон. Как я могу изменить о нем свое мнение, когда я член англиканской церкви.

Она щекочет его.

Ай! Ой! О боже, он все что хотите. Филантроп, философ, красавец, ему надо поставить памятник, черт его подери!

Она щекочет его.

Ай! А-а-ай! Нет, нет. Бог его благослови!.. Боже, храни его; сильный и славный, здравствуй на радость нам, здравствуй на страх врагам... Пусть вечная слава осенит его чело! Пусть его имя занесут на скрижали истории. *(Без сил.)* Ну, теперь вы меня отпустите? И послушайте, когда вы меня щекочете, мне видны ваши щиколотки, это неприлично.

Екатерина *(вытягивая ногу и любуясь ею)*. Вам это зрелище неприятно?

Эдстейстон. Приятно, приятно, только *(подчеркивая каждое слово)*, ради всего святого, не щекочите меня больше.

Екатерина *(откладывая памфлет)*. Капитан Эдстейстон, почему вы не пришли, когда я послала за вами?

Эдстейстон. Мадам, я не могу разговаривать, когда я связан таким манером.

Екатерина. Вы все еще восхищаетесь мной так же, как утром?

Эдстейстон. Как я могу вам ответить, когда я даже не вижу вас как следует? Дайте мне подняться и посмотреть. Сейчас я не вижу ничего, кроме ваших и своих ног.

Екатерина. Вы все еще намерены написать обо мне в лондонский «Вестник»?

Эдстейстон. Нет, если вы отпустите веревки. Быстро развяжите их, у меня темнеет в глазах.

Екатерина. Право? *(Щекочет его.)*

Эдстейстон. Ай!.. Ой! Ведьма!

Екатерина. Что? *(Снова щекочет его.)*

Эдстейстон *(вопит)*. Нет, ангел, ангел!

Екатерина *(нежно)*. Geliebter.[1]

Эдстейстон. Я не понимаю по-немецки, но звучало это нежно. *(Истерически.)* Матушка, красавица, душенька, ангел, не будьте жестокосердны, развяжите меня. Прошу вас. Умоляю вас. Пожалейте меня. Я с ума сойду.

Екатерина. Вам и положено сойти с ума от счастья, если императрица обращает на вас свое благосклонное внимание. Когда императрица дозволяет вам видеть ее ноги, вы должны их целовать. Капитан Эдстейстон, вы бестолковы.

Эдстейстон *(негодующе)*. Ничего подобного! Обо мне даже в депешах упоминали как о весьма толковом офицере. И позвольте предупредить ваше величество, что я не так беспомощен, как вы думаете. Английский посол находится рядом в зале. Стоит мне закричать, и он будет здесь. Как тогда вы будете выглядеть, ваше величество?

Екатерина. Хотела бы я посмотреть, как английский посол или кто-нибудь другой посмеет войти сюда без моего разрешения. Эти портьеры покрепче, чем каменная стена в десять футов толщиной. Кричите сколько влезет. Плачьте. Ругайтесь. Визжите. Вопите. *(Безжалостно щекочет его.)*

Эдстейстон *(как безумный)*. Ай! Ой! А-а-а! Перестаньте! Боже! А-а-а-а!!!

---

[1] Любимый *(нем.)*.

В ответ на его крики в бальной зале поднимаются шум и суматоха.

Голоса из бальной залы. Назад. Сюда нельзя. Держите ее. Приказ императрицы. Об этом не может быть и речи. Нет, душенька, туда нельзя. Вы здесь не пройдете. Вы в Сибирь захотели? Не пускайте ее туда. Тащи ее назад. Вас запорют. Бесполезно, мадемуазель, вы должны подчиняться приказу. Эй, стража! Пришлите сюда несколько человек. Держите ее!

Голос Клэр. Пустите меня. Там пытают Чарлза. Я все равно пройду! Как вы можете танцевать, словно ничего не происходит?! Пустите меня, говорю вам! Пус... ти... те... меня! *(Вбегает через арку, никто не осмеливается последовать за ней.)*

Екатерина *(поднимаясь в сильнейшем гневе)*. Как ты посмела?! Я тебе покажу!

Клэр *(дерзко)*. Бабке своей показывай! Не пугайте, не страшно! Где мой Чарлз? Что тут с ним делают?

Эдстейстон *(кричит)*. Клэр, ради бога, развяжи меня скорей!

Клэр *(видит его и кидается на колени рядом с ним)*. О, как они посмели так связать тебя?! *(Екатерине.)* Злая ведьма! Русская дикарка! *(Принимается яростно распутывать веревки.)*

Екатерина *(овладевая собой огромным усилием воли)*. Держи себя в руках, Екатерина, держи себя в руках. Будь философом. Вся Европа смотрит на тебя. *(Заставляет себя сесть.)*

Эдстейстон. Тише, любимая, это императрица. Называй ее «ваше императорское величество». Называй ее «Северная Звезда; матушка-голубушка»,— она это любит,— только скорее освободи меня.

Клэр. Лежи спокойно, милый, я не могу распутать веревки, когда ты все время дергаешься.

Екатерина *(бесстрастно)*. Лежите спокойно, капитан. *(Щекочет его ногой.)*

Эдстейстон. Ай! Ой! А-а-а!

Клэр *(внезапно уясняет себе положение вещей и, охваченная ревностью, перестает сражаться с веревками)*. Так вот как тебя пытали?

Екатерина *(невозмутимо)*. Это любимый способ пытки Екатерины Второй, мадемуазель. По-моему, капитану он очень нравится.

Клэр. Ну, если ему это нравится, можете продолжать. Извините за беспокойство. *(Встает и хочет уйти.)*

Эдстейстон *(вцепляясь бульдожьей хваткой в подол ее платья)*. Не уходи. Не оставляй меня тут. Развяжи меня. *(Так он говорит, но во рту у него платье, и слова звучат нечленораздельно.)*

Клэр. Отпусти. Где твое достоинство? Хватит того, что ты смешон, хочешь еще и меня поставить в глупое положение? *(Вырывает у него платье)*.

Эдстейстон. Ой! Ты чуть не выдернула у меня все зубы; ты хуже, чем Северная Звезда! *(Екатерине.)* Матушка-голубушка, у вас доброе сердце, самое доброе во всей Европе. Сжальтесь надо мной. Смилуйтесь. Я вас люблю.

Клэр разражается слезами.

Развяжите меня.

Екатерина. Ну, чтобы доказать, насколько русская дикарка добрее английской, — хотя я, к сожалению, немка, — так и быть! *(Наклоняется, чтобы высвободить его из пут.)*

Клэр *(ревниво)*. Не беспокойтесь, благодарю вас. *(Набрасывается на веревки, и в четыре руки они освобождают Эдстейстона.)* Встань на ноги, будь любезен, и веди себя хоть с каким-то достоинством, если ты не окончательно деморализован.

Эдстейстон. С достоинством! Ой! Я не могу. У меня все онемело. Мне ни за что не встать! О боже, как больно!

Они хватают его за плечи и поднимают.

Ой! Ай! М-м-м-м-м!... Ангел мой, матушка-царица, никогда ни с кем так не делайте. Лучше выпорите кнутом, убейте, поджарьте на медленном огне, отдубасьте палками, отрубите голову, повесьте, четвертуйте, но не щекочите связанного.

Екатерина. Ваша барышня, видно, все еще думает, что вам это понравилось.

Клэр. Я сама знаю, что я думаю. Между нами все кончено. Ваше величество может оставить его себе: мне он не нужен.

Екатерина. Я не заберу его у вас ни за что на свете, хотя должна признаться, он — душенька. *(Треплет его по щеке.)*

Клэр *(фыркает)*. Душенька! Куда дальше!

Эдстейстон. Не сердись, любимая; в этой стране все так

называют друг друга. Я это тебе докажу. *(Екатерине.)* Будьте добры, ваше величество, позовите сюда князя Потемкина.

Екатерина *(с удивлением, высокомерно)*. Это еще зачем?

Эдстейстон. Затем, чтобы сделать мне одолжение.

Екатерина добродушно смеется, подходит к арке и раздвигает портьеры; оркестр начинает играть рейдовак.[1]

Екатерина *(повелительно)*. Потемкин!

Музыка внезапно обрывается.

Эй, князь! Ко мне! Играйте, болваны, чего встали?

Музыка возобновляется.
Из бальной залы вбегает сержант и подхватывает портьеры. Появляется Потемкин, танцующий в паре с Варенькой.

Екатерина *(Потемкину)*. Английский капитан хотел тебя видеть, душенька.

Екатерина вновь садится в кресло; Потемкин показывает преувеличенно низким поклоном, что он — к услугам английского капитана. Варенька проходит позади Эдстейстона и Клэр и становится справа от нее.

Эдстейстон. Вот, вот. *(Обращается к Клэр.)* Ты заметила, моя любовь, — «душенька». Если ее величество даже его называет «душенькой», виноват ли я, что она и меня так зовет?

Клэр. Все равно. Ты не должен был так делать. Я очень сердита и обижена на тебя.

Эдстейстон. Они связали меня, дорогая. Мне было с ними не справиться. Я дрался изо всех сил.

Сержант *(у входа)*. Они дрались, как лев, как медведь. Видит бог, барышня-красавица, они мне все кишки выдавили.

Эдстейстон. Неужели ты бросишь меня, Клэр *(умоляюще)*, Клэр, Клэр!

Варенька *(тронутая его горем, молит, сложив руки)*. Ах, душенька, ангелочек, ягненочек, он же любит вас, любовь так и светится в его глазах. Простите его.

Потемкин *(бросаясь от императрицы к Клэр и падая перед ней на колени)*. Простите его, простите его, херувимчик!

---

[1] Чешский танец.

Дикая уточка! Звездочка! Райская птичка! Бриллиант в небесной короне!

Клэр. Это просто смешно!

Варенька *(становясь на колени)*. Простите его, простите его, прелесть, куколка, фея, спящая на лепестках розы.

Клэр. Ну хорошо, хорошо, только оставьте меня в покое.

Сержант *(падая перед ней на колени)*. Простите его, простите его, барышня-красавица, не то всемогущий вас высечет. Видит бог, всем нам нужно прощение.

Клэр *(кричит во все горло)*. Прощаю! Прощаю!

Потемкин *(весело вскакивает с колен и, подойдя к Клэр сзади, хватает ее в охапку)*. Обними ее, герой славной битвы при Банкер-Хилл! Целуй ее, пока она не сомлеет!

Сержант. Получай ее, батюшка, во имя Николы Угодника!

Варенька. Она хочет, чтобы вы осыпали ее с ног до головы тысячью поцелуйчиков.

Клэр *(горячо)*. Ничего подобного!

Потемкин кидает ее в объятия Эдстейстона.

Ах!

Оба в замешательстве отскакивают друг от друга и стоят как истуканы.

Екатерина *(подталкивая Эдстейстона к Клэр)*. Ничего не поделаешь, капитан. Это Россия, а не Англия.

Эдстейстон *(собравшись с духом, церемонно целует Клэр в лоб)*. Я не против.

Варенька *(возмущенно)*. Только один поцелуй! И в лоб! Рыба! Поглядите, как я поцелую своего урода дядю. *(Обвивает шею Потемкина руками и осыпает его горячими поцелуями.)*

Сержант *(тронутый до слез)*. Святой Никола Угодник, благослови твоих агнцев!

Екатерина. Теперь вы понимаете, почему я люблю Россию больше всего на свете?

Нарышкин *(появляясь в дверях)*. Ваше величество, экспонат для нового музея прибыл.

Екатерина *(взволнованно встает и идет к завешенной арке)*. Идемте. Я ни о чем другом не могу думать, кроме моего музея.

Под аркой она останавливается и обращается к Эдстейстону, который бросился за ней следом, чтобы раздвинуть портьеры.

Капитан, желаю вам всего того счастья, которым вас наградит этот ангелочек. *(Тихо, на ухо.)* Я могла бы наградить вас еще большим, но вы не пожелали. Прощайте.

Эдстейстон *(целует ей руку и, вместо того чтобы выпустить ее, держит в обеих руках нежно и несколько покровительственно)*. Вы были так добры ко мне, ваше величество, что, право, я не могу с вами расстаться, не дав вам совета – простого здравого английского совета.

Екатерина, Потемкин, Нарышкин, Сержант, Варенька *(восклицают одновременно)*. *(выдергивает у него руку и отскакивает как ужаленная)*. Совета!!! Безумный, поберегись! Совет императрице! Никола Угодник! Ха-ха-ха! *(Приглушенный взрыв смеха.)*

Эдстейстон *(идя следом за императрицей и продолжая мягко, но назидательно)*. В конце концов, хотя ваше величество, конечно, великая императрица, я все-таки мужчина, а вы только женщина.

Екатерина. Только жен-н... *(У нее перехватывает дыхание.)*

Эдстейстон *(тем же тоном)*. Поверьте мне, это русское сумасбродство никуда не годится. Я вполне ценю ваше пылкое сердце, от которого оно проистекает, но вы заходите слишком далеко, это вряд ли назовешь хорошим вкусом, это... прошу прощения... просто неприлично.

Екатерина *(иронически)*. So?

Эдстейстон. Не думайте, что я не нахожу вам оправданий. Я знаю, что ваше величество были весьма несчастливы в браке...

Екатерина *(в ярости)*. Alle Wetter!!![1]

Эдстейстон *(сентиментально)*. Не говорите так, ваше величество. Не поминайте его лихом. В конце концов, он был вам муж, и, какие бы у него ни были недостатки, вам не пристало плохо думать о нем.

Екатерина *(задыхаясь от ярости)*. Я не выдержу!

Эдстейстон. Право, я уверен, что на самом деле он любил вас; и вы в глубине сердца любили его.

Екатерина *(овладевает собой величайшим усилием воли)*. Нет, Екатерина. Что скажет Вольтер?

Эдстейстон. Какое имеет значение, что скажет этот низкий насмешник? Покажите пример Европе, мадам, сделав то

---

[1] Черт возьми!!! *(нем.)*

же, что собираюсь сделать я. Вступите снова в брак. Выйдите замуж за хорошего человека, который будет вам опорой и поддержкой в старости.

Екатерина. В ста... *(Снова теряет дар речи.)*

Эдстейстон. Да, всем нам суждено состариться, даже самым прекрасным из нас.

Екатерина *(с трудом переводя дыхание, падает в кресло)*. Благодарю вас.

Эдстейстон. Вы еще больше поблагодарите меня, когда детки соберутся у ваших ног, а муженек будет зимним вечером сидеть у камина... да, я забыл, что у вас, несмотря на холода, нет каминов; какое слово тут лучше употребить — печка? плита?..

Екатерина. Какое хотите. Можно и печка.

Эдстейстон *(поддавшись порыву)*. Ах, мадам, упраздните печки. Поверьте мне, ничто не сравнится с добрым старым камельком. Домашний очаг, долг, счастье означают для нас одно, и нигде мы так этого не ощущаем, как в гостиной у камина. *(Оборачиваясь к Клэр.)* Ну, любовь моя, мы не должны задерживать императрицу, ей не терпится посмотреть новый экспонат для ее музея, которому мы, разумеется, желаем всяческого процветания.

Клэр *(холодно)*. Я лично ее не задерживаю.

Эдстейстон. Что ж, до свиданья. *(Трясет руку Потемкину.)* До сви-да-а-анья, князь; заходите к нам в гости, если будете в Англии: Спайер-вью, Дипдин, Литл Магфорд, Девон. Для вас мы всегда дома. *(Вареньке, целуя ей руку.)* До свиданья, мадемуазель, до свиданья, матушка, если мне будет позволено назвать вас так один разок.

Варенька подставляет лицо для поцелуя.

Э?.. Нет, нет, нет, нет, нет. Это, знаете, совсем ни к чему. Шалунья. *(Сержанту.)* До свиданья, мой друг. Выпей за наше здоровье. *(Дает ему на чай.)*

Сержант. Никола Угодник приумножит ваши плоды, батюшка.

Эдстейстон. До свиданья, до свиданья, до свиданья, до свиданья, до свиданья.

Они выходят, пятясь: Эдстейстон — кланяется Клэр — приседает; все остальные внимают им: Потемкин и Нарышкин — в полном ошеломлении, Варенька — в детском ужасе, Екатерина — с непроницаемым спокойствием. Когда Эдстейстон скрывается из виду, она

встает с кресла и, стиснув кулаки, поднимает глаза и руки к небу. Потемкин, пробудившись от оцепенения, одним прыжком, как тигр, кидается к ее ногам.

Потемкин. Что с ним сделать? Спустить с живого кожу? Отрезать веки и поставить на солнце? Вырвать язык? Что? Что?

Екатерина *(открывая глаза)*. Ничего. Но, ах! если бы я только могла заполучить его себе в... в...

Потемкин *(ревниво рычит)*. В любовники?!

Екатерина *(с не поддающейся описанию улыбкой)*. Нет, в экспонаты, в музей.

ЛЕЧЕНИЕ МУЗЫКОЙ

Совершенно пустячная пьеска

1913

THE MUSIC-CURE

Лорд Реджиналд Фицемби, одетый по последней моде довольно смазливый юноша двадцати двух лет, судорожно рыдает, распростершись на диване в большой гостиной отеля. Его доктор старается успокоить его. Доктор старше юного лорда лет на десять; по всему видно, что он считает себя еще молодым человеком, принадлежащим к хорошему обществу, которому он оказывает профессиональные услуги.

В средней стене гостиной высокие большие двери, в настоящее время запертые. Если бы все-таки кто-нибудь вошел через них, слева оказался бы рояль, клавиатурой повернутый к вошедшему, и дверь поменьше позади рояля. Справа было бы окно, а дальше диван, на котором валяется злополучный юноша; рядом с диваном — стул для доктора и маленький столик, на нем шляпа доктора, тарелка, склянка с лекарством, недопитый стакан и кнопка звонка.

Доктор. Ну, ну, будьте же мужчиной! Право, это глупо, в самом деле. Вы не должны так падать духом. Ведь с вами ничего не случилось. Плюньте вы на все это. Ведь не пришел же миру конец, оттого что вы купили несколько акций...

Реджиналд *(яростно прерывая его.)* Я вовсе не хотел ничего дурного, когда покупал эти акции. Я с удовольствием отдам их. О-о, я вовсе не хотел ничего дурного, когда покупал эти акции. *(Вцепляясь в доктора, умоляюще.)* Поверьте же мне, доктор. Я вовсе не хотел ничего дурного, когда покупал эти акции. Я вовсе...

Доктор *(вырываясь и не очень бережно снова укладывая Реджиналда на диван).* Конечно, вы не хотели. Я знаю, что не хотели.

Реджиналд. Я вовсе...

Доктор *(теряя терпение).* Да не долбите вы это снова и снова, не то вы сведете с ума и нас всех тоже. Все это просто нервы. Не забывайте, что вы в отеле. Они выставят вас, если вы будете устраивать скандалы.

Реджиналд *(слезливо).* Но вы не понимаете. Ах, почему никто не хочет понять меня? Я вовсе..

Доктор *(стараясь перекричать и утихомирить его)*. Вы вовсе не хотели ничего дурного, когда покупали эти акции. Вы это говорите в пятисотый раз.

Реджиналд *(неистово)*. Так зачем вы все задаете мне одни и те же вопросы? Это несправедливо. Я вам говорю, я вовсе не хотел ничего...

Доктор. Да, да, да! Знаю, знаю. Вы думаете, что вели себя глупо перед этой комиссией. Но это не так. Вы вели себя совсем неглупо. Хладнокровно, как айсберг, и жизнерадостно, как идиот, вы целую неделю стояли на своем. Все члены этой комиссии пытались вас обрабатывать, и каждый — а среди них были и самые ловкие лондонские мастера перекрестного допроса, — каждый принужден был отступить, сбитый с толку вашей дурацкой самоуверенностью и вашей огнеупорной неспособностью усвоить причину, почему вы не должны были покупать эти акции.

Реджиналд. Но почему же я не должен был покупать их? Я не делал никакой тайны из этой покупки. Когда премьер-министр стал разносить меня, я предложил ему эти акции по той же цене, что сам купил их.

Доктор. Да, да, после того как они упали на шесть пунктов. Но это неважно. Важно то, что вы заместитель военного министра. Вы узнали, что армию будут переводить на вегетарианскую диету и что акции Великобританского макаронного треста моментально взлетят вверх, едва это станет известно. И что же вы сделали?

Реджиналд. То, что сделал бы любой. Я накупил этих акций столько, сколько мне позволили средства.

Доктор. Вы накупили их гораздо больше, чем позволяли ваши средства.

Реджиналд. Но почему бы мне было не покупать их? Объясните мне. Я рад буду узнать. Я не хотел ничего дурного. И не вижу здесь ничего дурного. Неужели меня нужно травить потому, что подлые газеты оппозиции и все эти подлецы от оппозиции в той комиссии стараются нажить политический капитал на моем деле, уверяя, что это позорно? Какой же тут позор? Тут просто здравый смысл. Я не финансист, но вам не убедить меня, что, если вы случайно узнали, что какие-то акции пойдут вверх, вам нельзя их покупать. Не покупать их значило бы искушать судьбу. А они не хотели ничего понять. Притворялись, будто не понимают. Они приставали и при-

ставали ко мне, и спрашивали все одно и то же снова и снова, и писали обо мне мерзкие статьи...

Доктор. И вы одолели их всех, потому что не могли усвоить их точку зрения. Но чего я не могу постичь, это почему вы потом впали в такое расстройство.

Реджиналд. Все были против меня. Я считал эту комиссию кучей дураков и так и сказал им. Но все оказались на их стороне. Папаша заявил, что я опозорил имя рода. Братья говорили, что мне надо уйти из моих клубов. Мать сказала, что все ее надежды женить меня на богатой потерпели крах. А я не сделал ничего, абсолютно *ничего* такого, что мои приятели делают каждый день.

Доктор. Ну, короче говоря, дело в том, что чиновник военного министерства не должен играть на бирже.

Реджиналд. Да я и не играл. Я *знал* наверное. Какая же это игра, если вы знаете, что акции пойдут вверх. Это дело верное.

Доктор. Ну, я могу сказать вам только, что, не будь вы сыном герцога Данмоутского, вам пришлось бы подать в отставку, и...

Реджиналд *(срываясь)*. Ах, перестаньте вы говорить об этом! Оставьте вы меня в покое! Я не в состоянии выносить все это! Я вовсе не хотел ничего дурного, когда покупал те акции! Я вовсе не хотел ничего дурного...

Доктор. Ш-ш-ш-ш! Ну хорошо, мне не следовало поднимать снова этот вопрос. Примите-ка валерьянки. *(Подносит стакан ко рту Реджиналда.)* Вот так. Теперь вам лучше.

Реджиналд *(в изнеможении, но уже успокоившись)*. Почему валерьянка меня успокаивает, а кошек возбуждает? Над этим вопросом стоит поразмыслить. Знаете, меня надо было сделать философом.

Доктор. Философами родятся, а не делаются.

Реджиналд. Старая шутка. Все родятся, а не делаются.

Доктор. Вы становитесь почти умным. Мне это не нравится: вы сегодня на себя непохожи. Мне хотелось бы как-нибудь отвлечь вас от ваших неприятностей. Попробуйте поиграть немножко.

Реджиналд. Не могу. Пальцы меня не слушаются. И я не могу выносить звука рояля. Сегодня утром я задел одну ноту и просто закричал от этого!

Доктор. Тогда почему не заставить кого-нибудь поиграть вам?

Реджиналд. Кого я могу заставить играть, даже если бы я мог выносить музыку? Вы не умеете.

Доктор. Ведь я же не один на свете.

Реджиналд. Я сойду с ума, если вы приведете сюда кого-нибудь. Я выброшусь в окно. Я и думать не могу о музыке. Я ее боюсь, ненавижу, мне она отвратительна.

Доктор. Ну, знаете ли, это уж вовсе опасно.

Реджиналд. Почему опасно?

Доктор. Но что же с вами станется без вашего музыкального таланта? Ни в какой другой области у вас ведь нет абсолютно никаких способностей.

Реджиналд. Я сижу в парламенте. И я заместитель министра.

Доктор. Это оттого, что ваш отец герцог. Ни в одной республике вам не доверили бы и чистки сапог, разве что ваш отец был бы миллионером. Нет, Реджиналд, в тот день, как вы перестанете сочинять аккомпанементы и подбирать по слуху новейшие рэгтаймы, вы в обществе человек конченый.

Реджиналд *(возмущенно)*. Вот те на!

Доктор *(вставая)*. Впрочем, может быть, вам еще рано назначать лечение музыкой. Это придумала ваша матушка. Пойду к ней и посоветую повременить денек-другой. Она, кажется, собиралась прислать кого-то к вам играть. Мне пора. Зайду опять попозже. А пока спите сколько влезет. Или почитайте немножко.

Реджиналд. Что мне читать?

Доктор. Возьмите «Стрэнд-мэгэзин».

Реджиналд. Но это ужасно интеллектуально. Это будет для меня умственной перегрузкой.

Доктор. Да, пожалуй. Тогда спите. Лучше дать вам чего-нибудь, чтоб вам заснуть поскорее. *(Вынимает свою карманную аптечку.)*

Реджиналд. Что это? Веронал?

Доктор. Да не пугайтесь. Это старомодное средство — опиум. Вот, примите.

Реджиналд принимает таблетку.

Надеюсь, это поможет. Если через полчаса вы увидите, что это лишь возбуждает вас, примите другую. Я оставлю вам еще одну. *(Кладет таблетку на тарелку и убирает свою аптечку.)*

Реджиналд. Лучше оставьте побольше. Я люблю таблетки.

Доктор. Покорно благодарю. Я лечу вас вовсе не затем, чтобы попадать под следствие. Вам известно, не правда ли, что опиум — это яд?

Реджиналд. Да – опиум. Но ведь не таблетки же.

Доктор. Господи упаси, чтобы я – сам доктор – подрывал чью-то веру в таблетки. Однако оставлять вам столько таблеток, чтобы это могло отправить вас на тот свет, я не стану. *(Надевает шляпу.)*

Реджиналд. Вы им там велите, пожалуйста, никого не пускать сюда. Право, если войдет кто-нибудь чужой – я выброшусь из окна. Я с ума сойду.

Доктор. Нам всем до этого недалеко, мой юный друг. Ну пока! *(Направляется к средним дверям.)*

Реджиналд. Вам там не выйти. Я заставил маму запереть эти двери и забрать ключ. Не то, я боялся, они непременно впустят сюда кого-нибудь. Вам надо выйти тем ходом, каким вы вошли.

Доктор *(поворачивая обратно)*. Правильно. Теперь давайте посмотрим, как вы будете укладываться, пока я еще здесь. Я хочу, чтобы вы заснули при мне.

Реджиналд устраивается поудобней лицом к спинке дивана. Доктор идет на цыпочках к двери направо и выходит.

Реджиналд *(внезапно садится и, испуганно уставясь на рояль, отчаянно кричит)*. Доктор! Доктор! Спасите!!!

Доктор *(поспешно возвращаясь)*. Что такое?

Реджиналд *(опасливо оглядываясь на рояль)*. Ничего. *(Укладывается снова.)*

Доктор. «Ничего!» Наверное, было же что-то, раз вы завопили так. *(Переворачивает Реджиналда и заглядывает ему в лицо.)* Ну, что случилось?

Реджиналд. Да он ушел.

Доктор. Кто ушел?

Реджиналд. Крокодил.

Доктор. Крокодил??

Реджиналд. Да, крокодил, он засмеялся мне в лицо и начал играть хвостом на рояле.

Доктор. В малых дозах опиум вам не годится, мой юный друг. *(Берет с тарелки запасную таблетку.)* Придется дать вам вторую.

Реджиналд. А вдруг тогда явятся два крокодила?

Доктор. Не явятся. Если кто и явится, так на этот раз кто-нибудь очень красивый. Так действует опиум. Во всяком случае, через десять минут вы крепко заснете. Вот вам. Принимайте.

Реджиналд *(проглатывает лекарство)*. Ах, как мне неудобно... Только, знаете, я в самом деле видел его.

Доктор. Вам нечего беспокоиться, что вы там увидите с закрытыми глазами. *(Направляется к двери.)*

Реджиналд. Будьте милы, посмотрите под диван, а то вдруг там крокодил сидит?

Доктор. Почему бы вам не посмотреть самому? Было бы убедительней.

Реджиналд. Я не решаюсь.

Доктор. Вот никчемное существо! *(Смотрит под диван.)* Все в порядке. Никаких крокодилов нет. А теперь бай-бай. *(Уходит.)*

Реджиналд укладывается снова. Кто-то отпирает ключом средние двери. Входит красивая дама с букетом в руках. Оглядывается; вынимает письмо из сумочки, где она держит свои письма, и пускается в исследовательское путешествие по комнате, сверяя свои наблюдения с содержанием письма. Рояль, очевидно, кажется ей вполне удовлетворительным — она с одобрением кивает головой. Реджиналда она, вероятно, тоже ожидала найти здесь, она к нему не обращается. Уверившись, что попала туда, куда нужно, она идет к роялю и затем минут десять терзает застывшую в ожидании публику: кладет свои цветы на рояль, снимает перчатки и кладет их рядом с цветами, таким же образом снимает с полдюжины бриллиантовых колец; садится к клавиатуре, но ей неудобно: то слишком близко, то слишком далеко, то высоко, то низко; короче говоря, она перебирает все штучки профессионального пианиста, прежде чем наконец ударить по клавишам. Звучит блестящий вступительный пассаж. При первых звуках Реджиналд с воплем скатывается с дивана и в ужасных судорогах начинает извиваться на ковре. В удивлении она останавливается.

Реджиналд. О! О! О! Крокодилы! Перестаньте, перестаньте же! *(Оглядывается и видит даму у рояля.)* Вот те на!

Дама. Как вы смеете поднимать такой шум, когда я играю! Вы в своем уме? Какая невоспитанность!

Реджиналд *(сидя на полу)*. Прошу прощения.

Дама. «Прощения»! С чего вы так заорали?

Реджиналд. Мне показалось, вы крокодил.

Дама. Что за глупости! Похожа я на крокодила?

Реджиналд. Нет.

Дама. Играю я, как крокодил?

Реджиналд *(поднимается и робко подходит к ней)*. Видите ли, узнать, как играл бы крокодил, очень трудно.

Дама. Вздор! *(Опять играет.)*

Реджиналд. Пожалуйста! *(Останавливает ее, опуская крышку рояля.)* Кто вас впустил?

Дама *(угрожающе поднимается)*. А вам какое дело, хотела бы я знать?

Реджиналд *(робко отступая)*. Это, видите ли, моя комната.

Дама. Ничего подобного. Это комната герцогини Данмоутской. Я уверена, это именно та самая комната, потому что она дала мне ключ и он подошел.

Реджиналд. Но зачем она это сделала? И кто вы такая, смею спросить?

Дама. Нет, не смеете. Это не ваше дело. Впрочем, вам, пожалуй, лучше узнать, с кем вы говорите. Я Страйга Тэндридж.

Реджиналд. Как? Падеревский женского рода?

Страйга. Простите, это, кажется, мистера Падеревского называют «Тэндридж мужского рода». Однако настоящему джентльмену не пришло бы в голову повторять такие оскорбительные пошлости. Будьте любезны, отправляйтесь на свой диван и помалкивайте. Иначе я тотчас уйду.

Реджиналд. Но, знаете ли, я болен.

Страйга. Тогда ложитесь в постель и посылайте за доктором. *(Снова садится к роялю.)*

Реджиналд *(падая на колени)*. Вы не должны играть, в самом деле не должны играть! Я не могу этого выносить. Я просто сойду с ума, если вы начнете играть.

Страйга *(поднимая крышку)*. Тогда я начинаю сейчас же.

Реджиналд *(двигается к ней по полу на коленях и хватает за руки)*. Нет, нет, вы не будете играть.

Она поднимается в негодовании. Он держит ее за руки и вдруг вскрикивает в восторге.

Однако какие у вас красивые руки!

Страйга. Что за глупости! *(Отшвыривает его на ковер.*

Реджиналд *(с полу, уставясь на нее)*. Какая же вы сильная.

Страйга. Я развивала силу, играя левой рукой пассажи октавами — вот, например. *(Начинает играть «Лесного царя» Шуберта в переложении Листа.)*

Реджиналд затыкает уши пальцами, но не отводит от нее взгляда.

(Останавливаясь.) Я не в состоянии играть, когда вы затыкаете уши. Это оскорбительно. Уходите вон из комнаты.

Реджиналд. Но я же говорю вам, это моя комната.

Страйга *(вставая)*. Уходите вон, не то я позвоню и велю выбросить вас отсюда. *(Идет к столику и собирается нажать кнопку звонка.)*

Реджиналд *(бросаясь к ней)*. Не надо, не надо! Если вы позвоните, кто-нибудь придет, а я сойду с ума, когда войдет какой-нибудь чужой человек.

Она толкает его левой рукой, и он летит на ковер. Он жалобно хнычет.

Неужели вы не видите, что я болен?

Страйга. Я вижу, что вы душевнобольной. Только мне это все равно. Герцогиня Данмоутская пригласила меня прийти сюда и играть здесь два часа. Я никогда не нарушаю своих обязательств, особенно при оплате в двести пятьдесят гиней. *(Поворачивается к роялю.)*

Реджиналд. Разве она ничего не говорила вам обо мне?

Страйга *(снова поворачиваясь к нему)*. Она сказала, что в комнате будет один глупый молодой человек и что мне не надо обращать на него никакого внимания. Она уверяла, что вы не опасны ни для кого, кроме самого себя. *(Хватает его за шиворот и пригибает спиной к роялю.)* И я не потерплю никаких глупостей. Как это вы не хотите слушать моей игры? Весь мир слушает, когда я играю. Слушайте, либо убирайтесь.

Реджиналд *(беспомощно)*. Мне же придется сидеть на лестнице. Я боюсь идти в комнаты: там могут быть люди.

Страйга. Молодой человек, на лестнице тоже будут люди, уйма народу. Их там по шесть на каждой ступеньке, не считая тех, что сидят верхом на перилах в надежде послушать мою игру.

Реджиналд. Какой ужас! *(Плаксиво.)* Вы не имеете права обращаться со мной так грубо. Я же болен. Я не могу этого вынести. Я выброшусь в окно.

Страйга *(отпуская его)*. Ну и выбрасывайтесь! Вот это реклама! Это будет очень любезно с вашей стороны. *(Снова садится к роялю и собирается играть.)*

Реджиналд *(бежит через комнату к окну)*. Вы раскаетесь в своей жестокости, когда увидите мое изувеченное тело. *(Открывает окно, выглядывает на улицу, торопливо за-*

хлопывает его и отскакивает с криком.) Там целая толпа. Я боюсь.

Страйга *(сияя)*. Ждут, что я стану играть. *(Тихонько наигрывает.)*

Реджиналд *(с восхищением)*. Ах! Знаете ли, это по мне.

Страйга *(продолжает играть и иронически замечает)*. Благодарю вас.

Реджиналд. Дело в том, что я и сам немножко играю.

Страйга *(продолжая наигрывать)*. Вы, наверное, дилетант?

Реджиналд. Мне многие говорят, что, попробуй я, я мог бы этим зарабатывать на жизнь. Однако, разумеется, мужчине в моем положении не пристало опускаться так низко, становясь профессионалом.

Страйга *(обрывая игру)*. Удивительно тактично, нечего сказать. А что вы играете, разрешите спросить?

Реджиналд. О, всякую самую лучшую музыку.

Страйга. Например?

Реджиналд. Желал бы я, чтоб вы принадлежали мне.

Страйга *(вскакивая в гневе)*. Ах гаденыш! Да как вы смеете!

Реджиналд. Вы не поняли: это название одной песенки. Давайте я вам сыграю ее. *(Садится к роялю.)* Вы, кажется, думаете, что я не умею играть.

Страйга. Ну уж извините: я слышала, как в одном мюзик-холле лошадь играла на фисгармонии. Могу поверить чему угодно.

Реджиналд. Ага! *(Играет.)* Вам нравится?

Страйга. Что это? Это, по-вашему, музыка?

Реджиналд. Ах вы моя прелестная куколка!

Страйга. Получите. *(Наносит ему такой удар, что он тыкается носом в клавиши.)* «Прелестная куколка», не угодно ли!

Реджиналд. Вот те на! Постойте, ведь это тоже название песенки. Вам совершенно незнакома самая лучшая музыка. А вы не знаете «Рум-Тум-Тидл» и «Рэгтайм» в исполнении оркестра Александера и еще «В сад любви уведи меня снова» и «Наша Мэри так мила»?

Страйга. Молодой человек, я даже не слыхивала о такой дряни. А сейчас я займусь вашим музыкальным образованием и развитием. Я буду играть вам Шопена, и Брамса, и Баха, и Шумана, и...

Реджиналд *(испуганно)*. Вы имеете в виду классическую музыку?

Страйга. Именно.

Он одним прыжком бросается к центральным дверям.

(С отвращением.) Нахал! *(Снова садится к роялю.)*

Реджиналд *(врываясь обратно)*. Я забыл о тех людях на лестнице – целые толпы! О, что же мне делать? Ах, нет, нет, не играйте классической музыки! Обещайте, что не будете играть! Пожалуйста!

Страйга смотрит на него загадочно и тихо наигрывает вальс «Песни любви».

А знаете, это довольно мило!

Страйга. Нравится?

Реджиналд. Ужасно. И, вы знаете, я в самом деле желал бы, чтоб вы принадлежали мне.

Страйга внезапно начинает играть бурный этюд Шопена; он корчится в судорогах.

О, перестаньте! Пощадите! Спасите! Пожалуйста! Пожалуйста!

Страйга *(останавливается, задерживая руки над клавишами, и готовится вновь наброситься на струны)*. Вы посмеете повторить эти слова еще хоть раз?

Реджиналд. Никогда в жизни. Простите меня.

Страйга *(с удовлетворением)*. Ну то-то же. *(Опускает руки на колени.)*

Реджиналд *(вытирая пот со лба)*. Ох, это было что-то ужасно классическое.

Страйга. Вам надо научиться брать себя в руки, мой юный друг. Кроме того, я не могу принимать гонорар в двести пятьдесят гиней за то, что буду играть какой-то успокоительный сироп. Теперь приготовьтесь к худшему. Я намерена сделать из вас мужчину.

Реджиналд. Как?

Страйга. Полонезом Шопена ля бемоль. Ну вот, вообразите, что вы идете в бой.

Реджиналд убегает, как раньше.

Баба!

Реджиналд *(возвращаясь, как раньше)*. Толпа там гуще прежнего. Сжальтесь надо мной!

Страйга. Подите сюда. Не надо воображать, будто вы идете в бой. Вообразите, что вы только что вернулись с поля боя и подвигами дивной храбрости спасли свою отчизну

и что сейчас вы будете танцевать с прекрасными женщинами, которые гордятся вами. Можете вы вообразить себе все это?

Реджиналд. Р-р-разумеется. Я так всегда и воображаю себя.

Страйга. Отлично. Теперь слушайте. *(Играет первую часть полонеза.)*

Реджиналд сначала содрогается, но постепенно подбодряется, выпрямляется, принимает важный вид и выступает, откинув голову и похлопывая себя по груди.

Этак лучше. Совсем герой! *(Проиграв трудный пассаж.)* Тут приходится постараться, деточка. *(Переходя к аккордам, предваряющим начало средней части.)* Ну-ка, ну-ка!

Реджиналд *(не выдержав)*. О, это слишком чудесно! Дайте мне поиграть, не то мне не совладать с собой.

Страйга. Можете вы сыграть вот это? Только это. *(Играет пассаж октавами в басу.)*

Реджиналд. Только ридл-тидл, ридл-тидл, ридл-тидл, ридл-тидл? Только это?

Страйга. Сначала очень тихо, как тикают часы. Потом все громче и громче, словно вы чувствуете, как переполняется моя душа.

Реджиналд. Понимаю. Возьмите еще раз эти аккорды, чтобы мне настроиться.

Она повторяет аккорды, он играет октавные пассажи; и они дуэтом играют среднюю часть.

(При повторении вскрикивает.) Еще! Еще!

Страйга. Это и полагается сыграть еще раз. Вот так.

Повторяют. Когда часть подходит к концу, она сталкивает его со скамейки на пол и продолжает полонез уже одна.

Реджиналд. Вы необыкновенная женщина. Я должен сделать одно признание, раскрыть некий секрет. Ваша игра исторгает его из меня. О, послушайте, Страйга.

Она берет ужасающе фальшивый аккорд.

Я хотел сказать: мисс Тэндридж...

Страйга. Так лучше. Но я предпочла бы – «необыкновенная женщина».

Реджиналд. А вы и есть необыкновенная женщина, вот что.

Прелестнейшая, ничего, если я приму чуть-чуть валерьянки? Я в таком волнении. *(Отхлебывает из стакана.)* А-а-ах! Теперь, по-моему, я в состоянии говорить. Слушайте же, божество мое. Я так несчастлив. Мне отвратительна моя теперешняя жизнь. Я ненавижу парламент. Я вовсе не гожусь для общественной деятельности. А моя судьба — жить дома с пятью жестокими, грубыми сестрами, которых только и интересует что альпинизм, да мертвые петли над аэродромом, да устройство делегаций, да драки с полицейскими. И знаете, как они называют меня?

Страйга *(тихонько наигрывая)*. Как же они называют вас, милый?

Реджиналд. Они называют меня «прилипала». Ну что ж, признаюсь, я и есть «прилипала». Нельзя меня, беззащитного, вышвыривать одного в широкий мир, я не гожусь для этого. Меня надо беречь. Мне нужна чья-то сильная рука, на которую можно опереться, неустрашимое сердце, к которому я мог бы прильнуть, грудь, у которой меня берегли бы и лелеяли, мне нужен кормилец, на чей доход можно жить, не думая о низменной необходимости самому зарабатывать деньги. Я бедное слабое созданье, я сам знаю, Страйга, но я мог бы устроить уютный дом для вас. У меня хороший вкус, и я знаю толк в коврах и картинах. Я и стряпать умею отлично. После обеда я могу прекрасно поиграть для вас. Хотя вы можете мне и не поверить, но со слугами я умею проявить строгость и требовательность. Я прекрасно лажу с детьми, они никогда не говорят со мною так пренебрежительно, как взрослые. У меня настоящий талант к домашней жизни. И я не против, чтоб меня потиранили немножко,— мне это, по правде сказать, даже нравится. Тогда мне, по крайней мере, не приходится думать, что мне делать. О, Страйга, неужели вам не нужен милый домашний муженек, у кого не будет другой заботы, как стараться нравиться вам, другой мысли, как о нашем доме, кого не запятнал и не запачкал бы ничем грубый, бессердечный мир, кто никогда не пускался бы в политику и не стал бы тревожить вас вмешательством в вашу работу? Скажите, могу ли я надеяться?

Страйга *(вставая и отходя от рояля)*. Дитя мое! Я грубая, властная, независимая, сильная женщина. Что можете вы с вашим нежным, мягким характером любить во мне? Я могу оскорбить вас, испугать, даже — уж лучше мне

сознаться во всем, у меня ведь горячий нрав,— в приступе ярости я могу даже побить вас.

Реджиналд. Ах, побейте, побейте меня! Не смейтесь над таким глупым признанием, но уже с раннего детства во мне живет одно тайное желание, желание, чтобы меня безжалостно отколотила какая-нибудь великолепная, могучая, прекрасная женщина.

Страйга *(торжественно)*. Реджиналд — кажется, ваша матушка в разговоре называла вас Реджиналдом?

Реджиналд. Р-е-е-джи.

Страйга. И я, я тоже должна сделать одно признание. И мне тоже — как и вам — нужна музыка, чтобы легче было высказаться. Не будете ли вы так добры?

Реджиналд. Ангел мой! *(Бросается к роялю и играет в помощь ей, пока она говорит.)*

Страйга. Я тоже давно лелею одну мечту. Она утешала меня в трудные часы, когда приходилось играть гаммы по восемь часов в день. Эта мечта преследовала меня при аплодисментах восхищенных тысячных толп в Европе и Америке. Мечта о робком сердечке, которое трепещет рядом с моим сердцем, о нежном голоске, который приветствует меня по приходе домой, о шелковистых усиках, ласкающих мои усталые пальцы, когда я возвращаюсь после титанической борьбы с концертом соль мажор Чайковского; мечта о существе, которое полностью от меня зависит, полностью предано мне, полностью мне принадлежит и живет лишь ради того, чтобы я его берегла, и лелеяла бы, и поклонялась бы ему.

Реджиналд. Но подчас ведь вы могли бы и разгневаться? Вы стали бы страшны, великолепны, безжалостны, неистовы. И тогда вы могли бы швырнуть наземь существо, вами любимое, и топтать это существо, прильнувшее к вашим ногам.

Страйга. Да, да, о, зачем вы принуждаете меня сознаться и в этом? Исколотить его, превратить его в студень, а потом в приступе раскаяния обхватить трепещущее тельце и душить его страстными поцелуями.

Реджиналд *(не помня себя от радости)*. Пусть им буду я, я, я!

Страйга. И вы не содрогнетесь перед такой страшной судьбой?

Реджиналд. Я с радостью принимаю ее. Я обожаю тебя — я твой навеки. О, дай мне прильнуть, прильнуть, прильнуть к тебе!

Страйга *(страстно обнимая его)*. Теперь ничто не вырвет тебя из моих объятий.

Реджиналд. Ничто. Теперь судьба моя устроена. О, как обрадуется моя мамочка!

Страйга. Сокровище мое, назначь же день и час.

Он играет свадебный марш, она — басовую партию.

О'ФЛАЭРТИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ВИКТОРИИ

Воспоминание о 1915 годе.
Памфлет о воинской повинности

O'FLAHERTY,V.C.

Ирландская усадьба; фасад окруженного парком дома. Солнечный день; лето 1915 года. Белое крыльцо выходит прямо на подъездную аллею, дверь сбоку, в центре окно Крыльцо обращено на восток; дверь с северной стороны По другую сторону крыльца дерево. На дереве поет дрозд Под окном садовая скамья и два чугунных стула.
Издалека доносятся последние такты гимна «Боже, храни короля», потом троекратное ура. Оркестр начинает играть «Типерери», звуки постепенно удаляются и замирают. С северной стороны появляется р я д о в о й О' Ф л а э р т и, кавалер ордена Виктории. Он устало идет по аллее и в изнеможении опускается на садовую скамью. Дрозд, взяв тревожную ноту, улетает. Слышен приближающийся стук копыт.

Г о л о с д ж е н т л ь м е н а. Тим! Эй, Тим!

Слышно, как всадник спешивается.

Г о л о с р а б о т н и к а. Да, ваша честь?
Г о л о с д ж е н т л ь м е н а. Отведи-ка лошадь в конюшню
Г о л о с р а б о т н и к а. Слушаю, ваша честь! Но! Пшла. Пшла

Лошадь уводят.
Входит г е н е р а л с э р П и р с М э д и г а н, пожилой баронет. На нем военная форма цвета хаки. Он преисполнен воинского энтузиазма. О'Флаэрти встает и вытягивается перед ним.

С э р П и р с. Нет, нет, О'Флаэрти, сейчас это лишнее! Ты ведь у меня в гостях. Помни, хоть я и генерал и за плечами у меня сорок лет службы, твой маленький крест ставит тебя выше в списке славных.

О' Ф л а э р т и *(принимая более свободную позу)*. Благодарю вас, сэр Пирс, только не хотел бы я, чтобы люди думали, будто наш баронет позволяет обыкновенному солдату вроде меня, садиться при нем без разрешения.

С э р П и р с. Ну, ты ведь не совсем обыкновенный солдат О'Флаэрти, вернее, совсем не обыкновенный, и я горжусь, что сегодня ты у меня в гостях.

О'Флаэрти. Как же, сэр, понимаю. Вам и не то еще приходится спускать теперь таким, как я, чтобы навербовать побольше солдат. Вся знать здоровается со мной за руку, и все твердят, что гордятся знакомством со мной: точь-в-точь как сказал король, когда прикалывал мне крест. И провалиться мне на этом месте, сэр, королева сказала мне: «Я слышала, вы родились в поместье генерала Мэдигана, и сам генерал Мэдиган рассказывал, что вы всегда были гордостью вашего селения». «Ей-богу, мэм,— говорю я,— знай только генерал, сколько его кроликов я выловил, и сколько его лососей я выудил, и сколько его коров я выдоил тайком, уж он наверняка сделал бы меня за браконьерство гордостью нашей тюрьмы».

Сэр Пирс *(смеясь)*. Можешь и впредь не стесняться, мой мальчик. Садись же! *(Насильно усаживает его на садовую скамью.)* Садись и отдыхай — ты ведь в отпуску. *(Сам опускается на чугунный стул — тот, что дальше от двери.)*

О'Флаэрти. В отпуску, говорите! Да я не пожалел бы и пяти шиллингов, только бы снова очутиться в окопах и малость отдохнуть в тишине и покое. Вот уж не знал, что значит трудиться в поте лица, пока не взялся за эту вербовку. Подумать только, день-деньской на ногах, пожимаешь руки, произносишь речи или того хуже — слушаешь их сам! Кричишь «ура» королю и родине и салютуешь флагу, пока рука не онемеет! Слушаешь, как играют «Боже, храни короля» и «Типерери», да еще слезу из себя выжимаешь,— ну прямо солдатик с картинки! Вконец измотали, я даже сон потерял. Честное слово, сэр Пирс, мне и «Типерери» эту никогда не доводилось слышать, пока я не воротился из Фландрии, зато теперь она до того мне надоела, что раз вечером, когда какой-то ни в чем не повинный мальчонка вытянулся передо мной на улице, отдал честь и начал насвистывать «Типерери», я отвесил ему хорошую оплеуху, да простит мне господь.

Сэр Пирс *(умиротворяюще)*. Да, да, я тебя понимаю, прекрасно понимаю. Такие вещи действительно очень надоедают. Я и сам порой дьявольски устаю во время парадов. Но, видишь ли, с другой стороны, все это дает известное удовлетворение. Ведь это наш король и наша родина, не так ли?

О'Флаэрти. Конечно, сэр, как вам не называть ее вашей родиной, когда здесь ваше поместье. Ну а у меня ни черта здесь не было и нет. А что касается короля, да хранит

его бог, так мать спустила бы с меня шкуру, назови я своим королем кого-нибудь, кроме Парнела.

Сэр Пирс *(встает, потрясенный)*. Твоя мать! Что за вздор, О'Флаэрти! Она глубоко предана королю. Всегда была глубоко предана. Если кто-нибудь в королевской семье заболевает, она всякий раз при встрече со мной справляется о здоровье больного и так беспокоится, словно речь идет о тебе — ее единственном сыне.

О'Флаэрти. Что ж, она моя мать, сэр, и не мне говорить о ней худо. Но, по правде говоря, второй такой смутьянки, как она, не сыскать до самого креста из Моунастербойса. Она всегда была первейшей бунтовщицей и стояла за фениев и заставляла меня, бедного невинного ребенка, утром и вечером молиться святому Патрику, чтобы он очистил Ирландию от англичан, как когда-то — от змей. И удивлены же вы, наверно, сэр Пирс, всем, что я сейчас рассказал!

Сэр Пирс *(не в силах оставаться на месте, отходит на несколько шагов)*. Удивлен! Слишком мягко сказано, О'Флаэрти. Я потрясен до глубины души. *(Поворачивается к нему.)* Ты... ты не шутишь?

О'Флаэрти. Если бы вас вырастила моя мать, сэр, вы бы знали, что с ней шутки плохи. Все это истинная правда, сэр, но я не стал бы говорить об этом, да только ума не приложу, как мне выпутаться из дурацкого положения, когда моя мать явится сегодня смотреть на сына-героя. Ведь она все время думала, что я сражаюсь против англичан.

Сэр Пирс. Как прикажешь понимать тебя, О'Флаэрти? Неужели ты решился на чудовищную ложь и сказал матери, что сражаешься в немецкой армии?

О'Флаэрти. Я всегда говорил ей правду, ничего кроме правды, как под присягой. Я сказал ей, что иду драться за французов и русских. А что же еще делать французам и русским, как не драться с англичанами? Кто этого не понимает! Вот как было дело, сэр. И бедняжка поцеловала меня, а после весь день расхаживала по дому и пела дребезжащим голосом, что французы вышли в море оранжистам всем на горе, как предсказывала Шон Ван Вохт.

Сэр Пирс *(снова садится, подавленный обуревающими его чувствами)*. Да... кто бы мог подумать! Невероятно! Как ты полагаешь, что с ней будет, когда она узнает правду?

О'Флаэрти. Она не должна узнать правду, сэр. И не потому, что не посмотрит на мою хваленую силу и храбрость

и отколотит меня до полусмерти. Просто я люблю ее, и не могу разбить ей сердце. Вам, поди, трудно поверить, сэр, что взрослый мужчина любит так свою мать, которая драла его с тех пор, как он себя помнит, и до тех пор, пока не стала слишком старой, чтобы гоняться за ним. Но я люблю ее, сэр, и не стыжусь в этом признаться. И опять же, разве я получил бы этот крест, если бы не моя мать?

Сэр Пирс. Твоя мать! При чем здесь она?

О'Флаэрти. Да ведь это она меня так воспитала, сэр, что я больше боюсь убежать, чем драться. От природы я боязливый: когда меня обижали мальчишки, я всегда норовил зареветь и удрать. Но мать, не жалея сил, лупила меня, чтобы я не позорил род О'Флаэрти, и под конец я готов был драться хоть с самим чертом, только бы она не подумала, что я струсил. Так я и понял, сэр, что воевать куда легче, чем оно кажется, что другие боятся меня не меньше, чем я их, и что стоит мне подольше продержаться, как они падают духом и пускаются наутек. Вот я и сделался храбрецом. Ей-богу, сэр Пирс, если бы немецкую армию воспитывала моя мать, кайзер обедал бы сегодня в парадном зале Бэкингэмского дворца, а король Георг чистил бы в чулане его ботфорты.

Сэр Пирс. Но мне все это не по душе, О'Флаэрти. Нельзя же, чтобы ты и дальше обманывал мать. Нельзя!

О'Флаэрти. Это почему же нельзя, сэр? Плохо вы знаете, на что способен любящий сын! Вы, верно, не раз замечали, сэр, как я горазд врать?

Сэр Пирс. Ну, во время вербовки кому не случалось увлекаться. Я и сам порой склонен несколько преувеличивать. В конце концов, все делается во имя короля и родины. Но позволю себе заметить, О'Флаэрти, история о том, как ты один бился с кайзером и двенадцатью великанами из прусской гвардии, звучала бы куда убедительнее в более скромной редакции. Разумеется, я не прошу тебя совсем отказаться от твоей версии; вне всякого сомнения, она пользуется огромным успехом. И все же истина есть истина. Не кажется ли тебе, что можно навербовать не меньше солдат, сведя число гвардейцев, скажем, до полудюжины?

О'Флаэрти. Вам не так привычно врать, как мне, сэр. Я еще в родительском доме наловчился. Когда я был молодой и глупый, спасал свою шкуру, а когда вырос и поумнел – старался щадить мать. Вот так и повелось, что я,

можно сказать, с самого моего рождения и двух раз в году не говорил ей правды. Не хотите же вы, сэр, чтобы я вдруг переменился к ней и стал говорить все как есть, когда она только и мечтает пожить в мире и покое на старости лет.

Сэр Пирс *(желая успокоить свою совесть)*. Разумеется, все это не мое дело, О'Флаэрти. Но не лучше ли тебе побеседовать об этом с отцом Квинланом?

О'Флаэрти. Побеседовать с отцом Квинланом? А вы знаете, что отец Квинлан сказал мне нынче утром?

Сэр Пирс. Так, значит, ты уже видел его? Что же он тебе сказал?

О'Флаэрти. А вот что. Тебе известно, говорит, что долг доброго христианина и верного сына святой церкви любить своих врагов? Мне известно, говорю, что мой солдатский долг убивать их. Это верно, Динни, говорит он, совершенно верно. Но ведь можно убить их, а потом сделать им добро и проявить к ним свою любовь. И твой долг, говорит, заказать мессу за упокой души сотен немцев, которых, по твоим словам, ты убил, ибо среди них было немало баварцев, а они добрые католики. Это мне еще платить за мессу по бошам?! Ну нет, говорю, пусть английский король за нее платит. Это его война, а не моя.

Сэр Пирс *(горячо)*. Это война всех честных людей и настоящих патриотов, О'Флаэрти. И твоя мать, наверное, понимает это не хуже меня. Как-никак она ведь разумная, здравомыслящая женщина и вполне способна разобраться, кто в этой войне прав, а кто виноват. Почему бы тебе не объяснить ей, из-за чего мы воюем?

О'Флаэрти. Вот те на! А почем мне знать, из-за чего, сэр?

Сэр Пирс *(снова вскакивает и становится перед О'Флаэрти)*. Как! Ты отдаешь себе отчет в своих словах, О'Флаэрти? У тебя на груди орден Виктории — награда за то, что ты убил бог знает сколько немцев, — и ты смеешь говорить, что сам не знаешь, почему ты их убил?

О'Флаэрти. Прошу прощения, сэр Пирс, этого я не говорил. Я очень даже хорошо знаю, почему я убивал бошей: боялся, вот и убивал. Ведь если бы я не убил их, они убили б меня.

Сэр Пирс *(сраженный этим доводом, снова садится)*. Да, да, разумеется. Но разве тебе не понятны причины, которые вызвали эту войну? Не понятно, как много тут поставлено на карту? Как важны... я даже решусь сказать... да да, да, именно так я и позволю себе выразиться... священные

права, за которые мы сражаемся? Разве ты не читаешь газет?

О'Флаэрти. Читаю, когда попадаются, сэр. В окопах не на каждом шагу околачиваются мальчишки-газетчики. Но, конечно, я все-таки читал в этих самых газетах, что нам до тех пор не побить бошей, пока мы не сделаем лордом-наместником Англии Горацио Ботомли. Правда это, сэр Пирс, как вы думаете?

Сэр Пирс. Что за вздор ты городишь! В Англии нет никакого лорда-наместника. Наш лорд-наместник — король. Все дело в патриотизме. Неужели патриотизм ничего для тебя не значит?

О'Флаэрти. Совсем не то, что для вас, сэр! Для вас патриотизм — Англия и английский король. Для меня и таких, как я, быть патриотом — это значит ругать англичан такими же словами, какими английские газеты ругают бошей. А какая польза от этого Ирландии? Из-за этого патриотизма я остался неучем, потому что только им и была забита голова моей матери и ей казалось, что тем же надо забивать голову и мне. Из-за этого патриотизма Ирландия осталась нищей, потому что мы не старались сами стать получше, а все похвалялись, какие мы славные патриоты, раз честим почем зря англичан, которые ничуть не богаче, да, верно, и не хуже нас. Боши, которых я убивал, были, не в пример мне, ученые люди. А какой мне прок от того, что я их убил, да и кому от этого прок?

Сэр Пирс *(оскорбленный в своих лучших чувствах, говорит ледяным тоном)*. Весьма прискорбно, что ужасный опыт этой войны, самой великой из всех войн, известных человечеству, ничему тебя на научил, О'Флаэрти!

О'Флаэрти *(с чувством собственного достоинства)*. Вот уж не знаю, великая ли эта война, сэр. Большая война — спору нет, но ведь это не одно и то же. Новая церковь отца Квинлана — большая церковь; из нее можно выкроить не одну такую часовню, как наша старая. Но моя мать не раз говорила, что истинной веры куда было больше в старой часовне. И на войне я понял, что, может, мать и права.

Сэр Пирс *(мрачно фыркает)*. М-да...

О'Флаэрти *(почтительно, но настойчиво)*. И еще кое-что я понял на войне, сэр. Прошу прощения за смелость, но это касается вас и меня.

Сэр Пирс *(все так же мрачно)*. Надеюсь, О'Флаэрти, я не услышу от тебя ничего неподобающего?

О'Флаэрти. Нет, сэр, я только хотел сказать, что могу теперь сидеть и разговаривать с вами, не стараясь вас одурачить, а за всю вашу долгую жизнь, сэр, так с вами не разговаривал никто из ваших арендаторов или ихних ребятишек. Это и есть настоящее уважение. Правда, вам, может, больше по душе, чтобы я дурачил вас и врал вам по старой привычке. Ведь и здешние парни – храни их господь! – с утра до ночи готовы слушать, как я одолел кайзера, которого, всему свету известно, я и в глаза-то не видал, только бы не услыхать от меня правды. Но я не могу больше пользоваться вашей доверчивостью, пусть вам даже покажется, что я не очень почтителен или вовсе загордился оттого, что получил этот крест.

Сэр Пирс *(растроганно)*. Полно, О'Флаэрти, полно тебе!

О'Флаэрти. Да и то правда, на что мне этот крест, если бы к нему не полагалась пенсия?! Будто я не знаю, что есть сотни людей таких же храбрых, как я, только ничего им не перепало за всю их храбрость, кроме ругани сержанта да нагоняев за ошибки тех, кому по чину полагается быть умнее. Я научился большему, чем вы думаете, сэр. Да и откуда такому джентльмену, как вы, знать, какой я был жалкий самодовольный дурень, когда, заделавшись солдатом, ушел отсюда шагать по свету? Что проку от всего вранья, бахвальства и притворства? Все равно придет день, когда дружка твоего убьют рядом с тобой в окопе, а ты и не поглядишь в его сторону, пока не споткнешься о беднягу. Да и тогда разве что крикнешь санитарам, какого черта не уберут его с дороги. Зачем мне читать газеты, где меня морочат и обманывают те, кто спрятался за моей спиной, а меня послал под пули. Уж лучше не говорите вы ни мне, ни другому солдату, что это правая война. Правых войн не бывает. И вся святая вода отца Квинлана не сделает войну правым делом. Так-то оно, сэр! Вот вы и знаете, что думает кавалер ордена Виктории О'Флаэрти, и можете судить о нем лучше тех, кто знает только, что он сделал.

Сэр Пирс *(ему ничего не остается, как снова с добродушным видом повернуться к О'Флаэрти)*. Как бы то ни было, ты был мужественным и отважным солдатом.

О'Флаэрти. А уж это один бог ведает, генерал, ему виднее, чем нам с вами. Надеюсь, он не осудит меня слишком строго за мои дела.

Сэр Пирс *(сочувственно)*. Ну конечно! Кому из нас не случалось порой задумываться над такими вопросами, особенно когда мы несколько переутомлены. Боюсь, мы совсем измотали тебя этой вербовкой. Но на сегодня все отставим, а завтра воскресенье. Я и сам выдохся. *(Смотрит на часы.)* Пора пить чай. Не понимаю, что могло задержать твою матушку.

О'Флаэрти. Старушка, небось, совсем загордилась, что будет пить чай не на кухне, а за одним столом с вами. Уж она теперь разрядится в пух и в прах и станет заходить по пути во все дома, чтобы покрасоваться да рассказать, куда она идет. И весь приход будет локти кусать от зависти. А все-таки нехорошо, что она заставляет вас дожидаться ее, сэр!

Сэр Пирс. Ну, это пустяки, в такой день ей все простительно. Жаль, моя жена в Лондоне, она от души была бы рада твоей матушке.

О'Флаэрти. Знаю, сэр, знаю! Она всегда была добра к беднякам. Ее светлость, храни ее господь, вроде как в игру играла, ей и невдомек, какие мы пройдохи. Она ведь англичанка, сэр, в этом все дело. Она смотрела на нас все равно как я — на афганцев и негров, когда их в первый раз увидал. Мне тоже не верилось, что они такие же вруны, воры, сплетники и пьяницы, как мы или любые добрые христиане. Ее светлость просто не догадывалась, что у нее за спиной творится, да и откуда ей было догадаться? Когда я был еще малым ребенком, она как-то дала мне пенни — первый раз я держал в руках пенни! — и в тот же вечер я решил помолиться, чтоб господь обратил ее в истинную веру, в точности как мать заставляла меня молиться за вас.

Сэр Пирс *(ошеломленно)*. Что, что? Твоя мать заставляла тебя молиться о моем обращении в католичество?

О'Флаэрти. А как же, сэр! Она не хотела, чтобы такой достойный джентльмен, как вы, угодил в ад, ведь чтобы выкормить вашего сына, она отняла от груди мою сестренку Энни. Что тут поделаешь, сэр. Пусть она обкрадывала вас, и обманывала, и призывала божье благословение на вашу голову, продавая вам ваших же собственных грех гусей,— вы-то думали, их утащила лиса, как раз когда их кончили откармливать,— все равно, сэр, вы всегда были для нее как бы ее собственная плоть и кровь. Нередко она говаривала, что доживет еще до того дня, когда вы станете добрым католиком, и поведет

победоносные армии против англичан, и наденете на шею золотое ожерелье, которое Малахия отнял у гордого завоевателя. Да, она всегда была мечтательница, моя мать. Это уж точно.

Сэр Пирс *(в полном смятении)*. Я, право же, ушам своим не верю, О'Флаэрти. Я дал бы голову на отсечение, что твоя мать самая честная женщина на свете.

О'Флаэрти. Так оно и есть, сэр. Она сама честность.

Сэр Пирс. По-твоему, красть моих гусей — это честно?

О'Флаэрти. Она их и не крала, сэр. Их крал я.

Сэр Пирс. А какого черта ты их крал?

О'Флаэрти. Так ведь они нам были нужны, сэр! Нам частенько приходилось продавать своих гусей, чтобы внести арендную плату и покрыть ваши расходы. Почему же нам было не продать ваших гусей, чтобы покрыть свои расходы?

Сэр Пирс. Ну, знаешь!..

О'Флаэрти *(любезно)*. Вы же старались выжать из нас, что могли. Вот и мы выжимали, что могли, из вас. Да простит нам всем господь!

Сэр Пирс. Право, О'Флаэрти, мне кажется, что война сбила тебя немного с толку.

О'Флаэрти. Война научила меня думать, сэр, а мне это непривычно. Совсем как англичанам — патриотизм. У них и в мыслях не было, что надо быть патриотами, пока не началась война. А теперь на них напал вдруг такой патриотизм и до того это им в диковину, что они мечутся, как перепуганные цыплята, и несут всякую чепуху. Но, даст бог, после войны они начисто все забудут. Они и сейчас уже устали от своего патриотизма.

Сэр Пирс. Нет, нет, война вызвала у всех нас необыкновенный душевный подъем! Мир никогда уже не будет прежним. Это невозможно после такой войны.

О'Флаэрти. Все так говорят, сэр. Но я-то никакой разницы не вижу. Это все страх и возбуждение, а когда страсти поулягутся, люди опять примутся за старое и станут такими же пройдохами, как всегда. Это как грязь — потом отмоется.

Сэр Пирс *(решительно поднимается и становится позади садовой скамьи)*. Короче говоря, О'Флаэрти, я отказываюсь принимать участие в дальнейших попытках обманывать твою мать. Я совершенно не одобряю ее неприязни к англичанам. Да еще в такой момент! И даже если политические симпатии твоей матери действительно таковы, как

ты их рисуешь,— я полагаю, чувство благодарности к Гладстону должно было бы излечить ее от подобного рода нелояльных настроений.

О'Флаэрти *(через плечо)*. Она говорит, что Гладстон — ирландец, сэр. А то чего бы он стал соваться в дела Ирландии.

Сэр Пирс. Какой вздор! Не воображает ли она, что и мистер Асквит ирландец?

О'Флаэрти. Она и не верит, что гомруль его заслуга. Она говорит, это его Редмонт заставил. Она говорит, вы сами ей так сказали.

Сэр Пирс *(побитый своими же доводами)*. Право, я никогда не думал, что она так странно истолкует мои слова. *(Доходит до края садовой скамьи и останавливается слева от О'Флаэрти.)* Придется мне поговорить с ней как следует, когда она придет. Я не позволю ей болтать всякий вздор.

О'Флаэрти. От этого не будет никакого толку, сэр. Она говорит, что все английские генералы — ирландцы. Она говорит, что все английские поэты и великие люди были ирландцы. Она говорит, что англичане не умели читать своих собственных книг, пока их не научили мы. Она говорит, что мы потерянное колено израилево и богом избранный народ. Она говорит, что богиня Венера, та, что родилась из пены морской, вышла из вод Килени-бэя неподалеку от Брейхеда. Она говорит, что наши семь церквей построены Моисеем и что Лазарь похоронен в Глазневине.

Сэр Пирс. Чушь! Откуда она знает, что он похоронен там? Спрашивал ты ее когда-нибудь?

О'Флаэрти. А как же, сэр, не раз.

Сэр Пирс. И что она тебе отвечала?

О'Флаэрти. А она спрашивала меня, откуда я знаю, что он похоронен не там, и давала мне хорошую затрещину.

Сэр Пирс. Ты что же, не мог назвать какого-нибудь знаменитого англичанина и спросить ее мнение о нем?

О'Флаэрти. Мне на ум пришел только Шекспир, сэр, а она говорит, что он родился в Корке.

Сэр Пирс. Сдаюсь. Сдаюсь. *(Обессиленно опускается на ближайший стул.)* Эта женщина настоящая... впрочем, не важно.

О'Флаэрти *(сочувственно)*. Вот именно, сэр, она тупоумная и упрямая — что есть то есть. Она, как англичане, сэр: они ведь тоже думают, что лучше их на свете нет. Да и немцы такие же, хотя они люди ученые и уж вроде бы

должны понимать. Не будет в этом мире покоя, пока из всего рода человеческого не вышибут патриотизм.

Сэр Пирс. Однако мы...

О'Флаэрти. Ш-ш-ш, сэр, ради бога! Она!

Генерал вскакивает. Входит миссис О'Флаэрти и становится между двумя мужчинами. Она опрятно и очень тщательно одета. На ней старомодный крестьянский наряд: черный чепец с венцом оборок и черная накидка.

О'Флаэрти *(поднимается с застенчивым видом)*. Добрый вечер, мать!

Миссис О'Флаэрти *(строго)*. Поучись себя вести и помолчи, покуда я буду приветствовать его честь! *(Сэру Пирсу, сердечно.)* Как поживаете, ваша честь? Как поживают ее светлость и молодые леди? А мы-то все здесь рады-радешеньки снова видеть вашу честь, да еще в добром здоровье.

Сэр Пирс *(сделав над собой усилие, отвечает ей с предельной приветливостью)*. Благодарю вас, миссис О'Флаэрти. Вот мы и вернули вам сына целым и невредимым. Надеюсь, вы гордитесь им.

Миссис О'Флаэрти. Еще бы, ваша честь, еще бы! Он у меня храбрый парень. А и как ему не быть храбрым, раз он вырос в вашем поместье и у него всегда был такой пример перед глазами, как вы, сэр,— лучший солдат во всей Ирландии. Подойди и поцелуй свою старуху мать, Динни, голубчик!

О'Флаэрти смущенно повинуется.

Сыночек ты мой дорогой! Ох, погляди, сколько ты пятен-то насажал на новый красивый мундир! Чего тут только нет: и портер, и яичница. *(Вынимает носовой платок, плюет на него и трет им отворот.)* Эх, ты, как был, так и остался неряхой. Ну вот! На хаки не больно заметно, это вам не то что прежний красный мундир. Там каждое пятнышко было видно. *(Сэру Пирсу.)* Слыхала я в привратницкой, будто ее светлость сейчас в Лондоне и будто мисс Агнесса выходит замуж за славного молодого лорда. Верно, вашей чести на роду написано быть счастливым отцом. Дурная весть для многих здешних молодых господ, сэр. А у нас все поговаривали, что она выйдет замуж за молодого Лоулеса.

Сэр Пирс. За Лоулеса? За этого... чурбана?

Миссис О'Флаэрти *(с шумным восхищением)*. Уж ваша честь как скажет — всегда в точку попадет. Вот уж истинная правда — чурбан! И подумать только, сколько раз я говорила: будет наша мисс Агнесса миледи, как и ее матушка. Помнишь, Динни?

Сэр Пирс. Ну, миссис О'Флаэрти, я полагаю, вам надо о многом поговорить с Деннисом без свидетелей. А я пойду и распоряжусь, чтобы подавали чай.

Миссис О'Флаэрти. Зачем же вашей чести затрудняться из-за нас. Я могу поговорить с мальчиком и во дворе

Сэр Пирс. Что вы, что вы, какое же это затруднение! Да и Деннис теперь уже не мальчик. Как-никак завоевал себе место в первом ряду. *(Уходит в дом.)*

Миссис О'Флаэрти. Золотые слова, ваша честь. Да благословит господь вашу честь! *(Как только генерал скрывается с глаз, она грозно поворачивается к сыну и, меняясь с той характерной для ирландцев быстротой, которая всегда приводит в изумление и шокирует людей, принадлежащих к менее гибким нациям, восклицает.)* На что ты надеялся, бесстыжий врун, когда сказал мне, что идешь драться с англичанами? Ты что же, думал, я дура, которая ничего дальше своего носа не видит? Ведь в газетах только про то и пишут, как ты в Бэкингэмском дворце пожимал руку английскому королю.

О'Флаэрти. Не я ему пожимал руку, а он мне. Что ж, по-твоему, я должен был оскорбить такого вежливого человека в его собственном доме, на глазах у его собственной жены, да еще когда у нас с тобой в карманах его денежки?

Миссис О'Флаэрти. Как же это у тебя совести хватило пожимать руку тирана, запятнанную кровью ирландцев?

О'Флаэрти. Будет тебе нести околесицу, мать: он и вполовину не такой тиран, как ты, храни его бог. Его рука была куда чище моей, на которой, может, еще кровь его родни.

Миссис О'Флаэрти *(угрожающим тоном)*. Да разве так разговаривают с матерью, щенок ты паршивый?

О'Флаэрти *(решительно)*. Придется тебе привыкать, если сама не перестанешь молоть чепуху. Виданное ли дело, чтобы парня, с которым носились короли и королевы, которому в разных столицах пожимали руку самые знатные господа, бранила и попрекала его собственная мать, стоило ему приехать домой на побывку. Да за кого хочу, за того и буду драться, и каким королям захочу

тем и буду пожимать руку! А если твой сын нехорош для тебя, пойди и поищи себе другого. Ясно?

Миссис О'Флаэрти. Это ты у бельгийцев, что ли, понабрался такого наглого бесстыдства?

О'Флаэрти. Бельгийцы хорошие люди, и французам впору быть с ними полюбезней, да еще теперь, когда боши их почти прикончили.

Миссис О'Флаэрти. Хорошие люди!.. Нечего сказать, хорошие люди! Чуть их ранят, приезжают сюда, потому что мы католическая страна, и потом ходят в протестантскую церковь, потому что с них там ни гроша не берут. А другие и вовсе в церковь носа не кажут. Это, по-твоему, хорошие люди?

О'Флаэрти. Ты, конечно, здорово разбираешься в политике! Эх, много ты знаешь о бельгийцах, о чужих странах и о мире, в котором живешь, да хранит тебя бог!

Миссис О'Флаэрти. Да уж, конечно, побольше твоего! Ведь я как-никак тебе матерью прихожусь!

О'Флаэрти. Ну и что?! Как ты можешь знать больше моего о том, чего никогда и в глаза не видала? Ты думаешь, я зря на этом европейском материке полгода сидел в окопах и три раза был заживо похоронен в них, когда нас накрывали снаряды?! Уж я-то знаю, что к чему. У меня свои причины участвовать в этой великой стычке. Мне стыдно было бы сидеть дома, когда все кругом дерутся.

Миссис О'Флаэрти. Если тебе так хотелось драться, отчего ты не пошел в немецкую армию?

О'Флаэрти. Там платят всего пенни в день.

Миссис О'Флаэрти. А коли так, разве нет на свете французской армии?

О'Флаэрти. Там платят всего полпенни.

Миссис О'Флаэрти *(сбитая со своих позиций)*. Вот грабители! Ну и крохоборы же эти французы, а, Динни?!

О'Флаэрти *(насмешливо)*. Может, ты еще хотела, чтобы я пошел в турецкую армию и стал поклоняться язычнику Магомету, который сунул себе в ухо зерно, а когда прилетел голубь и склевал его, сделал вид, будто это знамение свыше? Я пошел туда, где матерям дают самое большое пособие, и вот мне благодарность.

Миссис О'Флаэрти. Большое пособие, говоришь? А ты знаешь, что со мной сделали эти выжиги? Приходят ко мне и говорят: «Много ли ваш сын ест?» А я и говорю: «Такой едок, что никак не напасешься; и на десять шил-

лингов в неделю не прокормить». Я-то думала, чем больше скажу, тем они больше и платить станут. А они говорят: «Тогда мы будем удерживать десять шиллингов из вашего пособия, потому что теперь его кормит король». «Вот как? — говорю я. — А будь у меня шестеро сыновей, вы удерживали бы по три фунта в неделю и считали бы, что не вы мне должны платить, а я вам?» «У вас, — говорят, — логика хромает».

О'Флаэрти. Что-о?

Миссис О'Флаэрти. Логика, так и сказал. А я ему тогда говорю: «Не знаю, что там у меня хромает, сэр, а только я честная женщина, и можете оставить при себе свои поганые деньги, если вашему королю жалко их дать бедной вдове. И будь на то воля божья, англичан еще побьют за такой смертный грех, за то, что бедняков притесняют». Сказала, да и захлопнула дверь перед самым их носом.

О'Флаэрти *(в ярости)*. Ты говоришь, они удерживают десять шиллингов в неделю на мои харчи?

Миссис О'Флаэрти *(утешая его)*. Нет, сынок, всего полкроны. Я уж не стала с ними спорить, ведь у меня есть еще моя пенсия по старости, а они-то хорошо знают, что мне всего шестьдесят два стукнуло. Все равно я одурачила их на полкроны.

О'Флаэрти. Да, чудной у них способ вести дела. Сказали бы прямо, сколько станут платить, — и никто не был бы на них в обиде. Так нет же, если есть двадцать способов сказать правду, а один — надуть, правительство обязательно постарается надуть. Так уж устроены все правительства, что не могут не надувать.

Из дома выходит горничная Тереза Дрискол.

Тереза. Вас зовут в гостиную чай пить, миссис О'Флаэрти.

Миссис О'Флаэрти. Смотри, голубушка, не забудь оставить мне глоток крепкого чаю на кухне. У меня от их жидкого господского пойла живот пучит, если я его потом не запью. *(Уходит в дом, оставляя молодых людей наедине.)*

О'Флаэрти. Это ты, Тесси? Как поживаешь?

Тереза. Спасибо, хорошо. А ты?

О'Флаэрти. Слава богу, не жалуюсь. *(Достает золотую цепочку.)* Посмотри, что я тебе привез.

Тереза *(отступая на шаг)*. Мне даже страшно к ней притронуться, Динни. А ты не с мертвеца ее снял?

О'Флаэрти. Нет, я снял ее с живого. И как еще он был бла-

годарен мне, что уцелел и заживет теперь припеваючи у нас в плену, пока я буду драться, каждую минуту рискуя шкурой.

Тереза *(беря цепочку)*. Ты думаешь, это настоящее золото?

О'Флаэрти. Во всяком случае, настоящее немецкое золото.

Тереза. Но серебро у немцев не настоящее, Динни.

О'Флаэрти *(лицо его мрачнеет)*. Ну, во всяком случае, это лучшее, что нашлось у боша.

Тереза. А можно, я покажу ее в следующий базарный день ювелиру?

О'Флаэрти *(хмуро)*. А хоть самому черту!

Тереза. Чего ты злишься? Мне просто хочется знать. А то хороша я буду, если стану щеголять в этой цепочке, а она возьми да и окажись медной!

О'Флаэрти. Сдается мне, ты могла бы сказать «спасибо».

Тереза. Да ну? Сдается мне, ты мог бы сказать что-нибудь поласковее, чем: «Это ты, Тесси?» Почтальона и того так не встречают.

О'Флаэрти *(лицо его проясняется)*. Вон оно что! А ну-ка, подойди и поцелуй меня, чтобы отшибить вкус меди. *(Хватает ее и целует.)*

Тереза, не роняя своего ирландского достоинства, принимает поцелуй, оценивая его, как знаток — вино, затем вместе с О'Флаэрти садится на скамью.

Тереза *(в то время как он обнимает ее за талию)*. Слава богу, что нас не видит священник.

О'Флаэрти. Во Франции не больно-то думают о священниках.

Тереза. А скажи, что было надето на королеве, когда она разговаривала с тобой во дворце?

О'Флаэрти. На ней была шляпка, такая, без завязок, и по всей груди вышивка. Талия у нее там, где полагается, а не там, где у других леди. В ушах у нее маленькие висюльки, хотя вообще-то бриллиантов на ней куда меньше, чем на миссис Салливен, процентщице из Дрампога. Волосы у нее спущены на лоб вроде челки. Брови почти как у ирландки. И она не знала, что мне сказать, бедняжка! А я не знал, что ей сказать, прости господи!

Тереза. Теперь тебе будут платить пенсию, раз у тебя этот крест, верно, Динни?

О'Флаэрти. Шесть пенсов три фартинга в день.

Тереза. Не так уж и много.

О'Флаэрти. Остальное мне причитается славой.

Тереза. А если тебя ранят, тебе будут еще платить пенсию как инвалиду, а, Динни?

О'Флаэрти. Да, благодарение богу.

Тереза. И ты ведь снова пойдешь воевать, а, Динни?

О'Флаэрти. Ничего не поделаешь. Не пойду – мне влепят пулю как дезертиру, а пойду – могут угостить пулей боши. Не одно, так другое, никак не отвертишься.

Миссис О'Флаэрти *(кричит из дома)*. Тесси, Тесси! Голубушка!

Тереза *(выскальзывает из его объятий и встает)*. Надо подавать чай. Но уж ранят тебя или нет, пенсия у тебя все равно будет, а, Динни?

Миссис О'Флаэрти. Иди скорей, доченька!

Тереза *(нетерпеливо)*. Да иду же! *(Улыбается Динни – улыбка у нее не очень убедительная – и уходит в дом.)*

О'Флаэрти *(один)*. А хоть я и получу эту пенсию, тебе-то все равно ни черта не достанется!

Миссис О'Флаэрти *(выходя на крыльцо)*. Как тебе не совестно задерживать девушку, когда у нее там столько дел. Смотри, попадет она из-за тебя в беду.

О'Флаэрти. Ну и пусть, не моя забота. Жаль мне того парня, из-за которого она попадет в беду. Всю жизнь ему потом каяться.

Миссис О'Флаэрти. Что это ты болтаешь, Динни? Никак ты с ней рассорился, а у нее ведь десять фунтов приданого.

О'Флаэрти. Пусть оставит их при себе. Да я к ней и кочергой не притронусь, будь у нее хоть тысяча, хоть миллион.

Миссис О'Флаэрти. Стыда в тебе нет, Динни! Кто же так говорит о честной, порядочной девушке, да еще из Дрисколов.

О'Флаэрти. А как мне о ней говорить? Она ведь только о том и думает, чтобы снова загнать меня на войну да чтобы меня там ранило, и тогда эта девчонка, будь она неладна, сможет проматывать мою пенсию.

Миссис О'Флаэрти. Что это на тебя нашло, сынок?

О'Флаэрти. Знание жизни ко мне пришло, мать, вот что! И принесли его – горе, страх и страдания. С малых лет меня морочили и водили за нос. Я думал, эта девчонка – небесный ангел, а она жадная ведьма. Нет уж, если я и женюсь теперь, так только на француженке.

Миссис О'Флаэрти *(в ярости)*. Посмей только! Чтобы я этого больше не слыхала!

О'Флаэрти. Как бы не так! Да я уж не на одной француженке был все равно что женат.

Миссис О'Флаэрти. Господи спаси и помилуй, что ты там еще натворил, негодяй?

О'Флаэрти. Я знал француженку, которая каждый день стряпает такие кушанья, какие в Ирландии никому и во сне не снились. Сам сэр Пирс пальчики бы облизал. Я женюсь на француженке, так и знай; и когда я заделаюсь фермером, у меня будет ферма на французский лад — с Европу величиной. Такая, что и десятка ваших паршивых полей не хватит, чтобы засыпать у меня одну канаву.

Миссис О'Флаэрти *(свирепо)*. Тогда бери себе и в матери француженку, мне ты и даром не нужен.

О'Флаэрти. Если бы не мои сыновние чувства, я бы сказал: не велика потеря. Ты же всего-навсего глупая, темная старая крестьянка, хоть и берешься рассуждать про Ирландию. А ведь сама никогда и шагу не сделала дальше клочка земли, где родилась.

Миссис О'Флаэрти *(ковыляет к садовой скамье; по всему видно, что вот-вот расплачется)*. Динни, голубчик, как ты со мной обращаешься? Что с тобой сталось?

О'Флаэрти *(мрачно)*. Скажи, что сталось со всеми? Что сталось с тобой, которую я так уважал и боялся? С сэром Пирсом: я-то считал его великим генералом, а теперь вижу, он может командовать армией не лучше, чем старая курица? С Тесси, которую я год назад до смерти хотел взять в жены, а теперь и знать не желаю, хотя бы она принесла мне в приданое всю Ирландию? Говорю тебе, весь божий мир рушится вокруг меня, а ты спрашиваешь, что со мной сталось?

Миссис О'Флаэрти *(громко причитает)*. Ох! Ох! Мой сын отказался от меня! Что же мне, старой, делать? Что же мне делать? Ох! Ох!

Сэр Пирс *(выбегая из дома)*. Почему такой дьявольский шум? Что здесь, в конце концов, происходит?

О'Флаэрти. Тише, тише, мать. Разве ты не видишь его честь?

Миссис О'Флаэрти. Ох, сэр, пришла моя погибель! Ох, поговорите с Динни, сэр! Он ранил меня в самое сердце. Он хочет привести мне в дом француженку, и уехать в чужие края, и бросить мать, и предать родину. Совсем он там в уме повредился, оттого что кругом пушки грохочут, и он убивает немцев, и немцы, чтоб им пусто было,

норовят убить его! У меня отняли моего сына, и он отказался от меня. Кто же теперь позаботится обо мне на старости лет, а я-то сколько для него сделала. Ох! Ох!

О'Флаэрти. Перестань кричать, слышишь? Кто тебя бросает? Я заберу тебя с собой. Ну, теперь ты довольна?

Миссис О'Флаэрти. Ты что же это надумал, завезти меня в чужие края, к язычникам и дикарям, когда я не знаю ни словечка по-ихнему, а они по-моему?

О'Флаэрти. И слава богу, что не знают. Может, подумают, что ты говоришь что-нибудь путное.

Миссис О'Флаэрти. И ты хочешь, чтобы я умерла не в Ирландии, да? И чтобы, когда ангелы прилетят за мной, они не нашли меня?

О'Флаэрти. А ты хочешь, чтобы я жил в Ирландии, где меня морочили и держали в невежестве и где меня сам дьявол даром не возьмет, когда я умру, не то что ангелы? Можешь ехать со мной, можешь оставаться здесь. Живи своим старым умом или моим молодым. Но черта с два я останусь в этих краях, среди никудышных лентяев, которые только глазами хлопают, покуда скот пасется на их полях, а когда весь хлеб уже вытоптан, начинают городить каменные стены. А ведь сэр Горацио Планкет каждый божий день повторяет им, не жалея сил, что они могли бы обрабатывать свои поля не хуже, чем французы и бельгийцы.

Сэр Пирс. Он прав, миссис О'Флаэрти, на этот раз он безусловно прав.

Миссис О'Флаэрти. Что ж, сэр, войне, слава богу, конца не видно, и, может, я еще помру раньше, чем она кончится и у меня отнимут мое пособие.

О'Флаэрти. Только это тебя и заботит. С тех пор как началась война — пропади пропадом те, кто ее затеял! — женщины смотрят на нас все равно что на дойных коров, им лишь бы пособие с нас тянуть, а больше ни до чего и дела нет.

Тереза *(спускается с крыльца и становится между генералом и миссис О'Флаэрти)*. Ханна послала меня сказать вам, сэр, что, если вы сейчас же не придете, чай перестоится, а кекс остынет и будет невкусный.

Миссис О'Флаэрти *(ее опять прорывает)*. Тесси, голубушка, что такое тебе угораздило сказать Динни? Ох! Ох!

Сэр Пирс *(теряя терпение)*. Поговорим об этом где-нибудь в другом месте. А то сейчас и Тесси начнет.

О'Флаэрти. Правильно, сэр. Гоните их.

Тереза. Я ему ни слова не сказала. Он...

Сэр Пирс. Замолчи! Иди в комнаты и разлей чай!

Тереза. Но ведь правда же, ваша честь, я ему ни слова не сказала. Он даже подарил мне красивую золотую цепочку. Смотрите, ваша честь, вот она, я ведь не вру.

Сэр Пирс. Что это значит, О'Флаэрти? Ты ограбил какого-нибудь пленного офицера?

О'Флаэрти. Нет, сэр, я украл у него эту цепочку с его согласия.

Миссис О'Флаэрти. Скажите ему, пожалуйста, ваша честь, что перво-наперво он должен все отдавать матери. Зачем такой девчонке золотая цепочка на шею?

Тереза *(язвительно)*. Затем, что у меня шея как шея, а не как у индюка.

Услышав эту злополучную реплику, миссис О'Флаэрти вскакивает, и тут начинается настоящее извержение бранных слов. Уговоры и приказания сэра Пирса, равно как протесты и угрозы О'Флаэрти, только усиливают шум. Вскоре они уже все кричат что есть мочи.

Миссис О'Флаэрти *(соло)*. Ах ты телка бессовестная, да как ты смеешь говорить мне такие слова!

Тереза, вконец взбешенная, отвечает ей в том же тоне; вмешиваются мужчины, и соло превращается в квартет фортиссимо.

У меня прямо руки чешутся надавать тебе оплеух, тогда будешь знать, как себя вести! Хотя бы людей постыдилась. Да ты помнишь, с кем разговариваешь? Господи, прости меня грешную, никак я в толк не возьму, о чем ты думал, когда сотворял таких, как она? Ох, и не поздоровится тебе, если я хоть раз увижу, что ты строишь глазки моему сыну. Да не было еще О'Флаэрти, который унизился бы до того, чтобы заводить шашни с поганой Дрискол. А будешь околачиваться возле моего дома — полетишь вверх тормашками в канаву. Так и знай!

Тереза. Это меня ты так обзываешь, ты, ленивая старая свинья с грязным языком и погаными мыслями?! Да я не хочу о тебя мараться, а то сказала бы сэру Пирсу, кто ты есть и что про тебя говорит вся округа. Ты и твои О'Флаэрти! Смеют еще равняться с Дрисколами, которые даже и на ярмарке-то не станут с вами разговаривать. Очень мне нужен твой урод, твой скупердяй сын!

Подумаешь, невидаль какая! Простой солдат! Господи, сжалься над бедняжкой, которой он достанется в мужья! Вот тебе, выкуси, миссис О'Флаэрти! Чтоб тебе кошка расцарапала твою мерзкую старую рожу.

Сэр Пирс. Замолчи, Тесси! Ты что, не слышала, что я приказал тебе идти в комнаты? Миссис О'Флаэрти! *(Повышая голос.)* Миссис О'Флаэрти! Опомнитесь, прошу вас! *(Приходя в ярость.)* Женщины, вы слышите, что я вам говорю? Вы что, человеческие существа или дикие звери? Немедленно прекратите шум! *(Орет.)* Да вы собираетесь исполнять мои приказания или нет? Стыд и позор! Вот что получается, когда обращаешься с вами как с людьми. Гони их в дом, О'Флаэрти! Вон отсюда, черт вас всех подери!

О'Флаэрти *(обращаясь к женщинам)*. Ну, будет вам, перестаньте, перестаньте! Полегче, слышите? Попридержи язык, мать, а то потом пожалеешь! *(Терезе.)* Разве пристало выражаться так приличной девушке? *(Приходя в отчаяние.)* Ради господа бога, заткнитесь вы, слышите? Да неужто в вас ни крошки уважения не осталось ни к самим себе, ни к генералу? *(Повелительным тоном.)* Чтобы я этого больше не слыхал, понятно?! Видно, в этих баб сам бес вселился. Ну-ка, убирайтесь сейчас же в дом, а там, на кухне, можете, коли вам охота, хоть глаза друг другу выцарапать. Проваливайте!

Мужчины хватают обеих женщин, которые продолжают осыпать друг друга бранью, и вталкивают в дом. Сэр Пирс изо всех сил захлопывает за ними дверь. Немедленно воцаряется блаженная тишина тихого летнего дня. Мужчины садятся, еле переводя дух, и долгое время не произносят ни слова. Сэр Пирс сидит на одном из чугунных стульев. О'Флаэрти — на скамье. Раздается нежное пение дрозда. О'Флаэрти прислушивается и поднимает голову. Его озабоченное лицо расплывается в улыбке. Сэр Пирс с глубоким вздохом вытаскивает трубку и начинает ее набивать.

(Мечтательно.) Какое неблагодарное животное человек, сэр! Не прошло и месяца с тех пор, как я был в тихой сельской местности на фронте, где ни звука не слыхать, только иногда птицы запоют, и вдалеке замычит корова, и в небе белые облачка от шрапнели, и снаряды посвистывают, да разве что раз-другой раздастся стон, когда угодит в одного из нас. И, поверите ли, сэр, я жало-

вался там на шум и хотел хоть часок провести тихо и мирно у себя дома. Ну, эти две бабы хорошо меня проучили. Нынче утром, сэр, когда я говорил здешним ребятам, будто хочу снова попасть на фронт и драться за короля и родину, я, как вам известно, врал без зазрения совести. Сейчас я могу пойти и повторить то же самое с чистой душой. Кто любит военные тревоги, а кто домашнюю жизнь. Я попробовал и то и другое, сэр, и теперь стою за военные тревоги. Я всегда был смирный парень, таким уж я уродился.

Сэр Пирс. Строго между нами, О'Флаэрти,— как солдат солдату...

О'Флаэрти отдает честь, но делает это непринужденно, не вытягиваясь.

...Неужели ты думаешь, мы сумели бы, не вводя воинскую повинность, навербовать армию, будь семейная жизнь таким уж раем, как о ней принято говорить?

О'Флаэрти. Что ж, строго между нами, сэр Пирс, я думаю, чем меньше мы будем говорить об этом, пока идет война, тем лучше. *(Подмигивает генералу.)*

Генерал чиркает спичкой. Поет дрозд, смеется сойка. Разговор обрывается.

ИНКА ПЕРУСАЛЕМСКИЙ

Почти историческая
одноактная комедия, сочиненная членом
Королевского литературного общества

1916

THE INCA OF PERUSALEM

Напоминаю читателю, что, когда я сочинял эту пьесу, цезарь, послуживший прототипом ее главного героя, еще не лежал у наших ног, низложенный и побежденный, а командовал победоносными легионами, с которыми мы отчаянно сражались. Многим он внушал такой страх, что они не могли простить мне моего бесстрашия; считалось, что я легкомысленно и глупо играю с огнем. Однако я прекрасно отдавал себе отчет в своих поступках. И цезарь в моей пьесе тоже отдает себе отчет в том, что происходит. Но во время войны наше общественное мнение заняло очень странную позицию: стоило человеку усомниться в абсолютном совершенстве немецкого государственного устройства, или в макиавеллиевской мудрости немецкой дипломатии, или во всеведении немецкой науки, или в безусловном понимании немцами исторических процессов — стоило человеку высказать малейшее сомнение в том, что для борьбы со столь превосходно оснащенным противником надо, не давая себе ни минуты отдыха, непрестанно и яростно трудиться, энергично суетиться, попрошайничать и блефовать (даже если это лишь поглощает наши силы и подтачивает нашу решимость) — и этого человека обвиняли в прогерманских настроениях.

Теперь, когда все это позади и исход сражений показал, что мы вполне могли себе позволить смеяться над обреченным Верховным Инкой, я снова попадаю в затруднительное положение: теперь может создаться впечатление, что я бью лежачего. Вот почему я предваряю эту пьесу напоминанием, что, когда она писалась, цезарь еще не был повержен. Я внимательно перечитал текст, и на всякий случай вычеркнул все, в чем можно усмотреть нечестные приемы боя. Я, разумеется, воспользовался старинной привилегией комедии высмеивать причуды цезаря — и при этом достаточно свободно и даже нагло пользовался вымыслом, дабы освободить себя и своего героя от необходимости следовать историко-биографическим фактам. Но я, конечно, предал бы эту пьесу огню, а не суду публики, если бы в ней содержался хоть один выпад против поверженного врага, на который я не решился бы в 1913 году.

Раздвижной занавес закрыт. Из-за занавеса появляется английский архидиакон. Он чрезвычайно раздражен. Говорит, обращаясь к кому-то позади занавеса

Архидиакон. Запомни раз и навсегда, Эрминтруда: мне не по карману твоя привычка к роскоши. *(Подходит к лестнице, ведущей со сцены в партер, и с мрачным видом садится на верхнюю ступеньку.)*

Из-за занавеса появляется модно одетая дама; она смотрит на архидиакона с молчаливым упрямством.

(Продолжает ворчливым тоном.) Дочери английского священника должно быть вполне достаточно ста пятидесяти фунтов в год, тем более что мне стоит большого труда выделять тебе эту сумму из семейного бюджета.

Эрминтруда. Ты не простой священник, а архидиакон.

Архидиакон *(сердито)*. И все-таки мои доходы не позволяют мне содержать дочь в роскоши, не подобающей даже особе королевской крови! *(Вскакивает на ноги и раздраженно оборачивается к ней.)* К чему вы это сказали, мисс?

Эрминтруда. Ну, знаешь, отец! «Мисс»! Стыдно тебе так обращаться со вдовой.

Архидиакон. Стыдно тебе так обращаться с отцом! Твой злополучный брак был чудовищным безрассудством. Тебя приучили к образу жизни, который тебе решительно не по средствам – который *мне* не по средствам,– у тебя вообще нет никаких средств. Почему ты не вышла за Мэтью, моего лучшего викария?

Эрминтруда. Я хотела, а ты мне не позволил. Ты настоял, чтобы я вышла за Рузенхонкерса-Пипштейна.

Архидиакон. Я хотел устроить тебя как можно лучше, дитя мое. Рузенхонкерс-Пипштейн был миллионером.

Эрминтруда. Откуда ты знал, что он миллионер?

Архидиакон. Да ведь он приехал из Америки! Конечно, он был миллионером. К тому же он доказал моим поверенным, что в момент заключения брака у него было пятнадцать миллионов долларов.

Эрминтруда. Мне эти поверенные доказали, что в момент

смерти у него было шестнадцать миллионов. Он действительно был миллионером и остался им до конца.

Архидиакон. О мамон, мамон! Я наказан за то, что преклонил колена перед богатством. Неужели от твоей доли наследства ничего не осталось? Мы считали, что тебе обеспечено пятьдесят тысяч долларов в год. И ведь только половина ценностей казалась спекулятивной — остальные деньги были в гарантированных акциях! Куда все это делось?

Эрминтруда. Спекулятивные акции все время падали, а гарантированные приходилось продавать, чтобы платить долги по спекулятивным, — пока вся эта лавочка не лопнула.

Архидиакон. Эрминтруда! Как ты выражаешься!

Эрминтруда. О господи! Как бы ты выражался, если бы у тебя отняли пятьдесят тысяч в год? Короче говоря, я не могу жить в нищете, как у вас принято.

Архидиакон. В нищете!

Эрминтруда. Я привыкла к удобствам.

Архидиакон. К удобствам!

Эрминтруда. К богатству, если тебе угодно. К роскоши, если желаешь. Называй как хочешь. Я не могу жить в доме, на содержание которого тратят меньше ста тысяч долларов в год.

Архидиакон. В таком случае, моя дорогая, тебе придется найти себе еще одного жениха-миллионера, а пока можешь пойти в горничные к принцессе!

Эрминтруда. Отличная идея! Я так и сделаю. *(Уходит за занавес.)*

Архидиакон. Что? Вернитесь, мисс! Эрминтруда! Вернись сейчас же.

Свет на сцене меркнет.

Что ж, прекрасно. Я высказал все, что хотел. *(Спускается в зрительный зал и идет к двери, все время ворча.)* Безумная, бессмысленная расточительность! *(Вскрикивает.)* Пустое транжирство!!! *(Бормочет.)* Я не намерен больше мириться с этим. Платья, шляпы, перчатки, автомобили; счета, как снег на голову сыплются; а деньги исчезают, как вода. Необузданные прихоти... никакого контроля над собой... полное неприличие... *(Кричит.)* Я говорю, полное неприличие! *(Снова бормочет.)* Хорошенькое будущее нас ожидает! Куда катится мир! Ну нет, я не намерен со всем этим мириться. Пусть делает,

что хочет. Я больше за нее не отвечаю. Не собираюсь умирать в работном доме из-за никчемной, безответственной, расточительной девчонки! И чем скорее это станет ясно окружающим, тем лучше для всех нас... *(Исчезает из виду.)*

Гостиная в номере отеля. В центре стол. На столе телефон. Возле стола два кресла, одно против другого. Позади стола дверь. Над каминной полкой зеркало.
Входит принцесса, незамужняя дама в шляпе и перчатках. Ее сопровождает управляющий отелем, элегантный мужчина, который держится с профессиональной корректностью, но с принцессой обращается всего лишь любезно; его снисходительная манера граничит с непочтительностью.

Управляющий. Мне очень жаль, что я не могу разместить ваше высочество на втором этаже.

Принцесса *(застенчиво и нервно)*. О, не беспокойтесь, прошу вас. Здесь очень мило. Очень мило. Благодарю вас.

Управляющий. Мы могли бы приготовить комнату в боковом...

Принцесса. Нет, нет. Мне здесь вполне удобно.

Снимает шляпу и перчатки, кладет их на стол и садится.

Управляющий. Комнаты здесь ничуть не хуже, чем внизу. И тут не так шумно. А подниматься можно на лифте. Если вашему высочеству понадобится что-нибудь, вот телефон...

Принцесса. Нет, нет, спасибо, мне ничего не нужно. С телефоном так сложно обращаться. Я к нему не привыкла.

Управляющий. Что прикажете подать? Чаю?

Принцесса. Да, да, спасибо... я бы хотела немного чаю, если можно... если вам не трудно.

Управляющий выходит. Звонит телефон. Принцесса в ужасе вскакивает с кресла и отбегает подальше от телефона.

О боже!

Телефон снова звонит. Принцесса по-прежнему боится его. Еще звонок. Она робко приближается к столу. Телефон опять звонит. Принцесса вдруг с отчаянным видом подбегает к телефону и, подняв трубку, прикладывает ее к уху.

Кто тут? Что мне делать? Я не привыкла к телефону, я не умею... Что? О, я вас слышу очень хорошо. *(Садится; вид у нее довольный, она принимает позу, удобную для разговора.)* Как чудно! Что? Дама? А, девушка! Да, да, я знаю. Да, пожалуйста, пришлите ее сюда. Мои слуги еще не кончили завтракать? Нет, нет, не беспокойте их, не надо. Это неважно. Благодарю вас. Что? Да, очень просто. Я и не знала... Повесить трубку туда же, где она висела? Спасибо. *(Вешает трубку.)*

Входит Эрминтруда. Она выглядит скромно и степенно — на ней длинная накидка с капюшоном, закрывающим головной убор. Подходит к противоположной стороне стола.

Прошу прощения — я только что говорила по телефону. Было очень хорошо слышно, хотя я никогда раньше не пробовала. Вы не присядете?

Эрминтруда. Нет, благодарю вас, ваше высочество. Мне не пристало сидеть в вашем присутствии. Я слышала, что вам нужна горничная.

Принцесса. О нет, не говорите так! Мне ничего не нужно. Теперь непатриотично в чем-то нуждаться — ведь идет война... Я отказалась от своей горничной ради отечества. Она вышла за солдата, и у нее скоро будет, как сейчас говорится, дитя военных лет. Но я не могу без нее. Я очень старалась, но у меня ничего не выходит. Меня все обманывают, так что никакой экономии все равно не получается. Я решила продать рояль и взять другую горничную. Вот это будет настоящая экономия, потому что я вовсе не люблю музыку и только ради приличия притворяюсь. Как вы считаете?

Эрминтруда. Я с вами полностью согласна, ваше высочество. Вы совершенно правы. Это будет экономия и самопожертвование одновременно и вдобавок благодеяние по отношению ко мне, потому что я сейчас без места.

Принцесса. Я очень рада, что вы одобрили мой план. Нельзя ли мне... нельзя ли мне узнать, из-за чего вы лишились прежнего места?

Эрминтруда. Из-за войны, ваше высочество, из-за войны.

Принцесса. Да, да, конечно. Но каким обра...

Эрминтруда *(достает платок и горестно подносит его к глазам)*. Моя бедная госпожа...

Принцесса. Прошу вас — ни слова более. Забудьте о моем вопросе, он был бестактен.

Эрминтруда *(справившись со своими чувствами и улыбаясь сквозь слезы)*. Ваше высочество так добры.

Принцесса. А как вам кажется — вы могли бы быть счастливы со мной? Я придаю этому большое значение.

Эрминтруда *(убежденно)*. Я уверена, что буду очень счастлива, ваше высочество.

Принцесса. Вы не должны рассчитывать на какие-то необыкновенные условия. У меня есть дядя, он ужасно строгий и решительный. И он мой опекун. Однажды я взяла горничную, которая мне очень нравилась, но после первого же раза он отказал ей от места.

Эрминтруда. В каком смысле после первого же раза, ваше высочество?

Принцесса. Она что-то такое сделала. Я уверена, что это случилось с ней впервые и конечно никогда не повторилось бы, потому что она извинялась и раскаивалась.

Эрминтруда. В чем, ваше высочество?

Принцесса. Видите ли, ее молодой человек пригласил ее на один не очень респектабельный бал, и она надела мои драгоценности и мое платье. А дядя увидел ее там.

Эрминтруда. Значит, ваш дядя тоже был на этом балу, ваше высочество?

Принцесса *(поражена этим умозаключением)*. Да, вероятно. Мне в голову не приходило! Как вы, однако, догадливы! Надеюсь, вы не слишком догадливы.

Эрминтруда. Горничная должна быть догадлива, ваше высочество. *(Достает какие-то письма.)* Ваше высочество, наверное, хотели бы видеть мои рекомендации. Это от архидиакона. *(Подает письма.)*

Принцесса *(принимая их)*. У архидиаконов тоже бывают горничные? Как интересно!

Эрминтруда. Нет, ваше высочество, у них бывают дочери. Я принесла отличные рекомендации от архидиакона и его дочери.

Принцесса *(читая)*. Дочь пишет, что вы настоящее сокровище. А архидиакон — что он ни за что не отпустил бы вас, но вы оказались ему не по средствам. Отзывы более чем удовлетворительные.

Эрминтруда. Значит ли это, что вы меня берете, ваше высочество?

Принцесса *(встревоженно)*. О, я, право же, не знаю! Конечно, если вы хотите... Вы думаете, мне следует вас взять?

Эрминтруда. Естественно, ваше высочество. По-моему, следует. Вне всякого сомнения.

Принцесса. Что ж, если вы так считаете, возможно, так и надо сделать. Надеюсь, вы не обидитесь, если я вас спрошу: какое вы хотели бы получать... ммм?..

Эрминтруда. Такое же, как та девушка, что ездила на бал. Чтобы расходы вашего высочества остались прежними.

Принцесса. Да, да. Вначале она, конечно, получала меньше. Но ей надо было содержать огромную родню! У меня сердце разрывалось. Мне приходилось все время прибавлять ей жалованье.

Эрминтруда. Мне хватит и того, что ей платили вначале. Я не кормлю родню и на балы готова ездить в своих собственных платьях.

Принцесса. О, это было бы прекрасно! Едва ли дядя станет возражать. Или, вы думаете, станет?

Эрминтруда. Если у него возникнут какие-нибудь возражения, пусть обращается ко мне. Я считаю, что деловые разговоры с вашим дядей входят в мои обязанности.

Принцесса. В самом деле? Вы, наверное, ужасно храбрая.

Эрминтруда. Значит ли это, что вы меня берете, ваше высочество? Я хотела бы теперь же приступить к своим обязанностям.

Принцесса. Да, да, наверное. Да, конечно. Я...

Входит официант с чаем. Ставит поднос на стол.

Принцесса. О, благодарю вас.

Эрминтруда *(поднимая салфетку и глядя на кекс)*. Сколько времени все это простояло на лестничной площадке?

Принцесса *(в ужасе)*. Нет, нет, зачем вы так? Это совсем не важно!

Официант. Вы ошибаетесь, мадам. Уверяю вас — кекс только что испечен.

Эрминтруда. Пришлите сюда управляющего.

Официант. Управляющего! Зачем вам управляющий?

Эрминтруда. Я буду говорить с ним — а уж потом он все вам объяснит. Как вы посмели обойтись подобным образом с ее высочеством? Или здесь деревенский трактир? Где вас учили обхождению с приличными людьми? Сейчас же унесите все это — и чай и кекс давно остыли. Отдайте их горничной, с которой вы флиртовали, пока ее высочество вас дожидались. И тотчас же велите приготовить свежий чай. Не вздумайте подавать сами. Пришлите

порядочного официанта, который, в отличие от вас, обучен прислуживать дамам, а не коммивояжерам.

Официант. Увы, мадам, я не обучен прислуживать даже коммивояжерам. Два года назад я был известным врачом. Каждый день, с девяти до шести, моя приемная была полна – ко мне являлась знать и самые сливки буржуазии. И вот из-за войны моим клиентам было велено отказаться от роскоши. Они отказались от врачей, но по-прежнему развлекаются в отелях, и теперь единственное, что мне остается, – это работать официантом. *(Прикладывает руку к чайнику, проверяя его температуру, а другой рукой автоматически достает часы, словно собирается считать пульс.)* Вы правы. Чай холодный. Его заваривала жена некогда модного архитектора. Кекс недопечен; чего можно ожидать от разорившегося портного, который открыл было комиссионный магазин, но в прошлый вторник прогорел? Неужели у вас хватит мужества пожаловаться на нас управляющему? Разве мы мало пострадали? Или наши несчастья никог...

Входит управляющий.

О боже, вот и он сам! *(Уныло уходит, забрав поднос.)*

Управляющий. Прошу прощения, ваше высочество, но одна высокопоставленная английская семья настоятельно требует у меня комнаты, и я беру на себя смелость спросить, как долго вы намерены оказывать нам честь своим присутствием.

Принцесса *(обеспокоенно встает)*. О! Я кому-то мешаю?

Эрминтруда *(строго)*. Сядьте, ваше высочество.

Принцесса испуганно садится. Эрминтруда надменно смотрит на управляющего.

Эта комната потребуется ее высочеству еще на двадцать минут.

Управляющий. На двадцать минут?

Эрминтруда. Да, нам понадобится не меньше двадцати минут, чтобы найти подходящий номер в приличной гостинице.

Управляющий. Не понимаю.

Эрминтруда. Прекрасно понимаете. Как вы смели предложить ее высочеству номер на третьем этаже?

Управляющий. Но ведь я объяснил. Второй этаж занят Во всяком случае...

Эрминтруда. Да? Что «во всяком случае»?

Управляющий. Второй этаж занят.

Эрминтруда. Не смейте говорить неправду ее высочеству. Второй этаж не занят. Вы просто ждете прибытия пятичасового экспресса, потому что надеетесь подцепить какого-нибудь крупного военного подрядчика, который выпьет все ваше дрянное шампанское – по двадцать пять франков за бутылку! – и согласится платить за все вдвойне, потому что ему удалось попасть в один отель с ее высочеством и он может похваляться, что ради него у нее отняли лучший номер!

Управляющий. Но ее высочество оказали нам любезность. Я не знал, что ее высочество недовольны.

Эрминтруда. Вы злоупотребили любезностью ее высочества. Вы вводите ее в заблуждение своими выдумками. Вы отводите ей комнату, которая и собаке не годится. Вы посылаете к ней какого-то опустившегося врача, которого переодели официантом, и он подает ее высочеству остывший чай. Не думайте, что вам это сойдет. Я знакома с горничными и камердинерами всех европейских аристократов и американских миллионеров. Стоит мне рассказать им, что за дыра ваша гостиница, и ни один приличный человек к вам не поедет. Будете сдавать комнаты викариям с целыми выводками детей. Ноги моей не будет больше в вашем заведении. Прикажите снести вниз багаж!

Управляющий *(взывает к принцессе)*. Неужели ваше высочество готовы верить, что я на такое способен? Или я имел несчастье обидеть ваше высочество?

Принцесса. О нет, я вами вполне довольна. Прошу вас...

Эрминтруда. Значит, ваше высочество недовольны *мной?*

Принцесса *(испуганно)*. Нет, нет! Прошу вас, не говорите так! Я только хотела сказать...

Эрминтруда *(управляющему)*. Вы слышали? Или вы ждете, что ее высочество будут учить вас обращению с клиентами? Эта работа больше подходит горничной!

Управляющий. Ах, оставьте, мадемуазель. Поверьте, мы хотим лишь одного – чтобы вы не испытывали никаких неудобств. Но вследствие войны вся королевская семья придерживается строгой экономии и требует, чтобы с ней обращались, как с беднейшими подданными.

Принцесса. Да, да, вы совершенно правы...

Эрминтруда *(перебивает)*. Вот именно. Ее высочество прощают вас. Но смотрите, чтобы это не повторялось. Отправляйтесь вниз, дружок, и приготовьте ваш лучший но-

мер на втором этаже. И велите подать чаю — настоящего чаю. И отопление включите, чтобы в комнатах было тепло и приятно. А в спальни пусть отнесут горячую воду...

Управляющий. Там раковины; горячая и холодная вода подается из водопровода.

Эрминтруда *(презрительно)*. Водопровод! Этого следовало ожидать. Теперь куда ни придешь — везде в спальнях раковины и трубы, которые грохочут, свистят и булькают каждый раз, когда кто-нибудь моет руки. Уж мне-то все это знакомо.

Управляющий *(галантно)*. Вам трудно угодить, мадемуазель.

Эрминтруда. Не труднее, чем многим другим. Но когда мне не угодили, я не считаю ниже своего достоинства объявить об этом. Вот и вся разница. Ступайте, больше нам ничего не нужно.

Управляющий смиренно пожимает плечами, низко кланяется принцессе и идет к двери; украдкой посылает Эрминтруде воздушный поцелуй и выходит.

Принцесса. Чудесно! Как у вас хватило мужества?

Эрминтруда. На службе у вашего высочества я не ведаю страха. Ваше высочество могут предоставить мне переговоры со всеми неприятными людьми.

Принцесса. О, это было бы прекрасно! Но, к сожалению, самые ужасные переговоры мне придется вести самой.

Эрминтруда. Смею ли я спросить, ваше высочество, что это за переговоры?

Принцесса. Я выхожу замуж. За мной придут сюда, в этот отель, чтобы выдать меня за человека, которого я еще даже не видела. За мальчика, который тоже еще не видел меня. За одного из сыновей Верховного Инки Перусалемского.

Эрминтруда. В самом деле? А за кого именно?

Принцесса. Я не знаю. Это еще не решено. Быть принцессой просто ужасно. Выдают замуж — и даже неизвестно, за кого. Верховный Инка придет, чтобы посмотреть на меня и решить, какой из его сыновей мне больше всех подходит. И тогда везде, кроме Перусалема, меня будут считать врагом и иностранкой, потому что Верховный Инка всем на свете объявил войну. А мне придется притворяться, что все на свете объявили *ему* войну. Я этого не вынесу.

Эрминтруда. И все же муж есть муж. Я и такому была бы рада.

Принцесса. О, как вам не стыдно говорить такое? Наверное, вы непорядочная женщина!

Эрминтруда. Ваше высочество обеспечены, а я — нет.

Принцесса. Даже если бы вы могли стерпеть прикосновение мужчины, нельзя об этом говорить.

Эрминтруда. Я больше никому не скажу, ваше высочество. Может быть, только самому мужчине.

Принцесса. Какие у вас ужасные мысли! Не понимаю, как можно позволять себе такие грубости. Пожалуй, вы мне все-таки не подойдете. Мне кажется, вы знаете о мужчинах больше, чем следует.

Эрминтруда. Я вдова, ваше высочество.

Принцесса *(потрясена)*. О, простите меня! Как я не догадалась, что раз вы говорите такие вещи, значит, уже были замужем! Это совсем другое дело, правда? Ради бога, извините меня.

Возвращается управляющий; он бледен, испуган, едва в состоянии говорить.

Управляющий. Ваше высочество! Вас желает видеть офицер, представляющий Верховного Инку Перусалемского.

Принцесса *(растерянно встает)*. Нет, нет, я не могу! Ах, что же мне делать?

Управляющий. Он говорит, что по важному делу, ваше высочество. Некто капитан Дюваль.

Эрминтруда. Дюваль! Какой вздор! Обычная история — это сам Верховный Инка, инкогнито.

Принцесса. Ах, скажите, чтобы он ушел. Я так боюсь его! И я не могу принимать его в этом платье, он такой обидчивый. Он меня на неделю посадит под домашний арест. Скажите, пусть приходит завтра. Скажите, что я больна. Я не могу... не хочу... не смею... отошлите его как-нибудь.

Эрминтруда. Предоставьте его мне, ваше высочество.

Принцесса. Вы его испугаетесь!

Эрминтруда. Я англичанка, ваше высочество, и если надо, могу справиться даже с дюжиной инков. Я все устрою. *(Управляющему.)* Проводите ее высочество в спальню, а потом представьте мне капитана Дюваля.

Принцесса. О, я вам так благодарна! *(Идет к двери.)*

Эрминтруда замечает на столе ее шляпу и перчатки и, схватив их, догоняет принцессу.

Ах, благодарю вас! Вы знаете, если уж мне суждено выйти за его сына, я предпочла бы блондина, и пусть он не бреется, пусть у него будут мягкие волосы и борода. Я не вынесу, чтобы меня целовал кто-нибудь колючий. *(Выбегает из комнаты.)*

Управляющий кланяется ей вслед и тоже выходит. Эрминтруда сбрасывает накидку и прячет ее. Быстро прихорашивается перед зеркалом. Управляющий возвращается с большой шкатулкой в руках и докладывает.

Управляющий. Капитан Дюваль!

Верховный Инка, в плаще поверх военного мундира, шагает с подчеркнутым, показным величием. Останавливается. Жестом приказывает испуганному управляющему поставить шкатулку на стол, затем, нахмурившись, отсылает его. Галантно касается шлема, приветствуя Эрминтруду. Снимает плащ.

Инка. Чувствуйте себя свободно, сударыня, и говорите со мной без всяких церемоний.

Эрминтруда *(небрежно подходит к столу; отвечает надменно)*. Я не имела ни малейшего намерения разводить с вами церемонии. *(Садится. Эта вольность заметно шокирует Инку.)* Не могу себе представить, отчего бы мне вдруг захотелось устраивать церемонии с совершенно незнакомым мне человеком по имени Дюваль – с каким-то капитаном, чуть ли не простым солдатом!

Инка. Справедливо. Я на мгновение забыл о своем положении.

Эрминтруда. Ничего страшного. Можете сесть.

Инка *(нахмурившись)*. Что?

Эрминтруда. Я говорю: можете сесть.

Инка. О! *(Его усы уныло опускаются. Садится.)*

Эрминтруда. Что у вас за дело?

Инка. Я здесь по поручению Верховного Инки Перусалемского.

Эрминтруда. Der Allerhöchst?

Инка. Так точно.

Эрминтруда. Интересно, ему не стыдно, когда его называют der Allerhöchst?

Инка *(удивленно)*. Почему ему должно быть стыдно? Он действительно der Allerhöchst, то есть Верховный.

Эрминтруда. Он симпатичный?

Инка. Я... ммм... Ммм... я... Я... ммм... не могу судить.

Эрминтруда. Говорят, он себя очень уважает.

Инка. Почему же ему не уважать себя, сударыня? Провидению было угодно доверить его роду судьбу могущественной империи. На нем лежит громадная ответственность – ведь шестьдесят миллионов подданных видят в нем своего бога и отца и готовы по первому приказу умереть за него. Не уважать такого человека было бы святотатством. За подобные вещи в Перусалеме наказывают – жестоко наказывают. Это называется инкощунство.

Эрминтруда. Очень остроумно! А он умеет смеяться?

Инка. Разумеется, мадам. *(Смеется грубо и неестественно.)* Ха, ха, ха, ха!

Эрминтруда *(холодно)*. Я спросила, умеет ли смеяться Верховный Инка. Я не спрашивала, умеете ли *вы* смеяться.

Инка. Справедливо, сударыня. *(Ухмыляется.)* Чертовски веселая игра! *(Смеется искренне и добродушно и становится гораздо более приятным собеседником.)* Прошу прощения. Теперь я смеюсь потому, что не могу удержаться. Мне весело. Раньше я лишь пытался имитировать смех, и попытка была действительно неудачной.

Эрминтруда. Мне сказали, что вы пришли по делу.

Инка *(беря в руки шкатулку и возвращаясь к прежней торжественной манере)*. Верховный Инка поручил мне освидетельствовать вашу внешность и, если я сочту ее удовлетворительной, вручить вам этот ничтожный знак внимания его императорского величества. Я счел вашу внешность удовлетворительной. Извольте! *(Открывает шкатулку и подает ее Эрминтруде.)*

Эрминтруда *(глядя в открытую шкатулку)*. Какой у него дурной вкус. Я этого не надену!

Инка *(краснея)*. Остерегитесь, мадам! Эта брошь изготовлена по эскизам самого Верховного Инки. Позвольте мне объяснить ее значение. В центре вы видите щит Эрминия. Десять медальонов, окружающих щит, соответствуют десяти за́мкам его величества. Ободок – это телефонный кабель, который его величество проложили по дну Килевого пролива. Булавка представляет собой миниатюрное изображение меча Генриха Птицелова.

Эрминтруда. Миниатюрное! Это изображение, наверное, больше оригинала. Надеюсь, вы не думаете, мой друг, что я стану таскать на себе такую тяжесть; где это видано, чтобы брошь была размером с черепаху! *(Сердито захлопывает шкатулку.)* Во сколько она обошлась?

Инка. Материал и изготовление стоили полмиллиона перусалемских долларов, сударыня. Творческий вклад Верховного Инки сделал эту брошь произведением искусства. Как таковое, она стоит не меньше десяти миллионов.

Эрминтруда. Дайте ее сюда. *(Хватает шкатулку.)* Я заложу ее и на вырученные деньги куплю себе что-нибудь посимпатичнее.

Инка. Ни в коем случае, сударыня. Произведение Верховного Инки не может быть выставлено в витрине ростовщика. *(Бросается в кресло; он вне себя от ярости.)*

Эрминтруда. Тем лучше. Вашему Инке придется самому выкупить свою брошь, чтобы избежать позора, и несчастный ростовщик получит назад свои деньги. Никто другой такую брошь не купит.

Инка. Можно узнать почему?

Эрминтруда. Да вы посмотрите на нее! Посмотрите! Неужели вы сами не видите почему?

Инка *(зловеще опустив усы)*. К сожалению, мне придется доложить Верховному Инке, что вы лишены эстетического чувства. *(Встает; очень недоволен.)* Верховный Инка не может породниться с особой, которая понимает в искусстве, как свинья в апельсинах. *(Пытается забрать шкатулку.)*

Эрминтруда *(вскакивая и отступая за спинку своего кресла)*. Ну-ну! Не троньте брошь! Вы вручили ее мне от имени Верховного Инки Перусалемского. Она моя. Вы сказали, что находите мою внешность удовлетворительной.

Инка. Я нахожу ее неудовлетворительной. Верховный Инка не позволил бы своему сыну жениться на вас, даже если бы мальчик попал на необитаемый остров и не имел другого выбора. *(Уходит в противоположный конец комнаты.)*

Эрминтруда *(спокойно садится и ставит шкатулку на стол)*. Естественно – откуда на необитаемом острове священник, чтобы нас обвенчать? Нам пришлось бы ограничиться морганатическими отношениями.

Инка *(возвращаясь)*. Подобные выражения неуместны в устах

принцессы, претендующей на высочайшее положение на земле. Вы безнравственны, точно драгун.

Эрминтруда пронзительно смеется.

(Пытается побороть смех.) В то же время *(садится)* ваше грубое замечание не лишено остроумия и вызывает у меня улыбку. *(Поднимает кончики усов и улыбается.)*

Эрминтруда. Когда я выйду замуж, капитан, я скажу Верховному Инке, чтобы он велел вам сбрить усы. Они совершенно неотразимы. Наверное, весь Перусалем не сводит глаз с ваших усов.

Инка *(решительно наклоняясь к ней)*. Что там Перусалем, сударыня! Весь мир не сводит глаз с моих усов.

Эрминтруда. Меня поражает ваша скромность, капитан Дюваль.

Инка *(внезапно выпрямляясь)*. Женщина! Не говорите глупостей.

Эрминтруда *(возмущенно)*. Ну, знаете!

Инка. Взгляните фактам в лицо. Мои усы — точная копия усов Верховного Инки. Весь мир занят созерцанием его усов. Мир только этим и занимается! Однако всеобщий интерес к внешности Инки Перусалемского вовсе не означает, что Инка фат. Другие монархи тоже отращивают усы и даже бакенбарды. И что же — продаются их картонные изображения на улицах цивилизованных столиц? С усами, которые при помощи простой веревочки можно поднять или опустить? *(Несколько раз поднимает и опускает свои усы.)* Нет, не продаются! Еще раз говорю: не продаются! Между тем за усами Верховного Инки Перусалемского наблюдают так пристально, что его лицо служит политическим барометром всего континента. Усы поднимаются — и культура расцветает. Не та культура, которую *вы* обозначаете этим словом, а die Kultur — вещь настолько более значительная, что даже я в состоянии постичь ее, лишь находясь в особенно хорошей форме. Когда же его усы опускаются, гибнут миллионы людей.

Эрминтруда. Будь у меня такие усы, мне бы это, пожалуй, вскружило голову. Я бы всякий разум потеряла. Вы уверены, что Инка не безумен?

Инка. Как он может быть безумен, сударыня? Что мы называем здравым умом? Ум Верховного Инки. А что мы называем безумием? Состояние всякого, кто не согласен с Верховным Инкой.

Эрминтруда. В таком случае, я сумасшедшая, потому что мне не нравится эта нелепая брошь.

Инка. Нет, сударыня, вы не сумасшедшая. Вы просто слабоумная.

Эрминтруда. Благодарю вас.

Инка. Заметьте следующее: нельзя рассчитывать, что вы способны увидеть мир глазами Инки. Это было бы слишком самонадеянно. Вам следует принять без колебаний и сомнений заверение вашего Allerhöchst'a, что эта брошь — шедевр.

Эрминтруда. *Моего* Allerhöchst'a! Ничего себе! Мне это нравится! Для меня он пока еще не Allerhöchst!

Инка. Он Allerhöchst для всех, сударыня. Его империя скоро будет простираться до самых границ обитаемого мира. Таковы его священные права. И пусть остерегутся те, кто их оспаривает. Строго говоря, нынешние попытки пошатнуть его мировое господство — это не война, а мятеж.

Эрминтруда. Но воевать-то начал он.

Инка. Будьте справедливы, сударыня. Когда льва окружают охотники, лев бросается на них. Много лет Инка поддерживал мир на планете. По вине тех, кто на него напал, пролилась кровь — черная кровь, белая кровь, коричневая кровь, желтая кровь, голубая... Инка же не пролил ни капли крови.

Эрминтруда. Он всего лишь говорил речи.

Инка. *Всего лишь* говорил речи? Всего лишь *говорил речи*? Что может быть блистательнее речей? Кто в целом мире умеет говорить, как Инка? Сударыня! Подписав объявление войны, он сказал своим глупым генералам и адмиралам: «Господа, вы об этом пожалеете». И они жалеют. Теперь они понимают, что лучше было сражаться силами духа, то есть силами красноречия Верховного Инки, чем полагаться на свои вооружённые силы. Когда-нибудь народы признают заслуги Верховного Инки Перусалемского, который умел поддерживать мир во всем мире при помощи речей и усов. Пока он говорил — говорил, как я сейчас говорю с вами, просто, спокойно, разумно, но величественно,— на земле царил мир. Процветание. Перусалем шел от успеха к успеху. Но вот уже год как грохот взрывов и глупая пальба заглушают речи Инки, и мир лежит в руинах. О горе! *(Рыдает.)*

Эрминтруда. Капитан Дюваль, я вам весьма сочувствую; но не перейти ли нам к делу?

Инка. К делу? К какому делу?

Эрминтруда. К моему делу. Вы хотите, чтобы я вышла замуж за одного из сыновей Верховного Инки... не помню, за кого именно.

Инка. Если я не путаю его имени, речь идет о его императорском высочестве принце Эйтеле Уильяме Фредерике Джордже Франце Иосифе Александре Николае Викторе Иммануиле Альберте Теодоре Вильсоне...

Эрминтруда *(перебивает)*. О боже! Как же его называют домашние? Нет ли у вас там кого-нибудь с коротким именем?

Инка. Дома его обычно называют «сынок». *(Чрезвычайно галантно.)* Разумеется, сударыня, Верховный Инка вовсе не стремится навязать вам именно этого сына. Есть еще Чипс, и Спотс, и Лулу, и Понго, и Корсар, и Болтун, и Джек Джонсон Второй; они все не женаты. А если и женаты, то не серьезно; во всяком случае, не окончательно. Все они в вашем распоряжении.

Эрминтруда. И они так же умны и обаятельны, как их отец?

Инка *(сочувственно поднимает брови, пожимает плечами, затем говорит с отеческой снисходительностью)*. Они отличные ребята, сударыня. Честные, любящие сыновья. Я не имею к ним никаких претензий. Понго умеет подражать домашним животным: петухам и прочим. Выходит очень похоже. Лулу потрясающе исполняет на губной гармошке Der blaue Donau Штрауса. Чипс держит сов и кроликов. Спотс увлекается мотоциклами. Корсар любит командовать баржами и сам ими управляет. Болтун пишет пьесы и плохие картины. Джек Джонсон отделывает лентами дамские шляпки и дерется с профессиональными боксерами, которых специально нанимают для этого. Он неизменно побеждает. Да, у каждого из них свои особые таланты. И, конечно, все они похожи друг на друга: например, все курят, все ссорятся друг с другом и ни один из них не ценит своего отца, который, между прочим, довольно хорошо рисует — что бы там ни говорил о нем Болтун.

Эрминтруда. Да, выбор большой.

Инка. И в то же время выбирать особенно не из чего. Я бы не рекомендовал вам Понго, потому что он ужасно храпит; если бы для него не оборудовали спальню со звуконепроницаемыми стенами, семья его величества не сомкнула бы глаз. Но из всех прочих сыновей ни один

в сущности, не лучше других – берите любого, если уж вам очень хочется.

Эрминтруда. Что? *Мне* хочется? Ничуть не хочется. По-моему, *вам* этого хочется.

Инка. Мне хотелось, сударыня. Но *(конфиденциальным тоном, стараясь ей польстить)* вы оказались иной, чем я себе представлял. Боюсь, что ни один из этих остолопов не сумеет сделать вас счастливой. Надеюсь, вы не заподозрите меня в черствости, если я скажу, что энергичной, образованной, красивой женщине...

Эрминтруда кланяется.

...они не могут не наскучить – и очень скоро. Мне кажется, вы предпочли бы самого Верховного Инку.

Эрминтруда. Ах, капитан, как может смиренная особа вроде меня пробудить интерес в монархе, который окружен самыми талантливыми и образованными людьми во всей вселенной?

Инка *(в ярости)*. Что вы говорите, сударыня! Да назовите мне хоть одного человека из окружения Верховного Инки, кто не был бы врожденным идиотом?

Эрминтруда. О! Как можно говорить такое? Возьмите адмирала фон Кокпитса, который...

Инка *(раздраженно встает и принимается ходить по комнате)*. Фон Кокпитс! Сударыня! Если фон Кокпитс когда-нибудь попадет в рай, через три недели архангелу Гавриилу придется воевать с населением Луны.

Эрминтруда. А генерал фон Шинкенбург!..

Инка. Шинкенбург! Да, Шинкенбург – непревзойденный стратег военных действий в садах и огородах. Поставьте его охранять сады и огороды, и они будут неприступны. Но много ли от этого пользы? Мир не исчерпывается одними огородами. Пустите Шинкенбурга в поле, и он погиб. На учениях Инка неизменно побеждает своих генералов, и все же ему приходится посылать их на поля сражений, потому что стоит Верховному Инке взять командование на себя, и его станут винить за все несчастья, а главное – объявят, что он принес страну в жертву своему тщеславию. Тщеславию! Почему эти глупцы называют его тщеславным? Только потому, что он чуть ли не единственный, кто не боится жить. А почему они считают себя храбрецами? Потому что они так глупы, что не боятся умереть! За прошлый год мир породил миллионы

героев. Но породил ли он еще одного Инку? *(Возвращается в свое кресло.)*

Эрминтруда. Не породил, капитан, — к счастью. Пожалуй, я предпочту Чипса.

Инка *(скривившись)*. Чипса! Ну нет. На вашем месте я не стал бы выходить за Чипса.

Эрминтруда. Почему?

Инка *(таинственным шепотом)*. Чипс слишком много говорит о себе.

Эрминтруда. Ну, а Снукс, например?

Инка. Снукс? Это еще кто? Разве у меня есть сын по имени Снукс? Их так много... *(устало)* так много, что я вечно их путаю. *(Небрежно.)* Все равно, на вашем месте я бы не вышел за него.

Эрминтруда. Неужели ни один из сыновей не унаследовал талантов своего отца? Если провидению было угодно доверить им судьбу Перусалема... и если все они потомки короля Утеса Великого...

Инка *(нетерпеливо перебивает ее)*. Сударыня! Если хотите знать мое мнение, величие этого Утеса сильно преувеличено.

Эрминтруда *(шокирована)*. Как можно, капитан! Остерегитесь! Это инкощунство.

Инка. Повторяю, сильно преувеличено. Между нами говоря, я сомневаюсь, чтобы провидению действительно было угодно доверить судьбы шестидесяти миллионов человек коллективным способностям Чипса, Болтуна и Джека Джонсона. Я верю в талантливую индивидуальность. Вот в чем секрет успеха Инки. Иначе быть не может. Судите сами: если гениальность — свойство семейное, дядя Верховного Инки тоже должен быть великим человеком! А на деле... чего там говорить! Известно, что́ собой представляет его дядя.

Эрминтруда. По-моему, родственники гениев всегда невероятные кретины.

Инка. Вот именно. Вы доказали гениальность Верховного Инки. Все его родственники — кретины.

Эрминтруда. Но как же так, капитан? Ведь если все генералы Инки — слабоумные, а все его родственники — кретины, Перусалем потерпит поражение и станет республикой, как Франция в 1871 году! И тогда Инку сошлют на остров Святой Елены.

Инка *(торжествующе)*. Как раз на это он и рассчитывает, сударыня! Иначе он не согласился бы вести войну.

Эрминтруда. Что?

Инка. Ха, ха! Глупцы кричат, что уничтожат Инку Перусалемского. Но они не знают, с кем имеют дело. Как вы думаете, почему Наполеон, попав на остров Святой Елены, был почти тотчас позабыт?

Эрминтруда. Почему?

Инка. Потому, сударыня, что при всех его прекрасных качествах, которых я не стану отрицать, Наполеону не хватало разносторонности. Воевать, в конце концов, может любой глупец. Кому-кому, а мне это известно — в Перусалеме воюют все глупцы без исключения. А вот Верховный Инка наделен самыми разными талантами. К архитектуре, например; на острове Святой Елены для архитектора имеется обширнейшее поле деятельности. И к живописи; надо ли говорить, что на острове Святой Елены все еще нет своей Национальной галереи? К сочинению музыки; а ведь Наполеон не подарил острову Святой Елены ни единой симфонии. Пошлите Инку на остров Святой Елены, сударыня, и весь мир бросится туда, чтобы наслаждаться его творениями, как сейчас мир стремится в Афины, чтобы наслаждаться Акрополем, в Мадрид, чтобы наслаждаться полотнами Веласкеса, в Барейт, чтобы наслаждаться музыкальными драмами самовлюбленного мятежника Рихарда Вагнера, которого следовало расстрелять, не дав ему дожить до сорока; впрочем, его и собирались расстрелять. Поверьте мне, сударыня; наследственные монархии отжили свой век. Настал век гениев. Чтобы сделать хорошую карьеру, теперь надо иметь способности. Не пройдет и десяти лет, как все цивилизованные страны от Карпат до Скалистых гор станут республиками.

Эрминтруда. Тогда прощай, Верховный Инка.

Инка. Напротив, сударыня, именно тогда Инке впервые представится возможность по-настоящему показать себя. Новые республики единодушно призовут его вернуться из изгнания и стать Верховным Президентом всех республик.

Эрминтруда. Но ведь это будет для него падением! Подумайте: Верховный Инка — и вдруг какой-то президент!

Инка. Какое же это падение? Верховный Инка лишен всякой власти, связан по рукам и ногам. Конституционного монарха теперь открыто называют ходячим штемпелем. Император — это всего лишь кукла на веревочке. Верховный Инка не имеет права даже сам составить речь. Его

вынуждают декламировать всякую белиберду, написанную придурковатыми министрами. А поглядите на американского президента! Вот кто теперь настоящий Allerhöchst. Поверьте мне, сударыня, нет ничего лучше демократии — американской демократии. Раздайте народу избирательные бюллетени — пространные, объемистые бюллетени, на манер американских,— и пока народ читает их, правительство может делать все что угодно.

Эрминтруда. Неужели вы тоже, как американцы, поклоняетесь статуе Свободы?

Инка. Вовсе нет! Американцы не поклоняются своей статуе Свободы. Они воздвигли ее для того, чтобы отметить место, где свобода похоронена. *(Опускает усы.)*

Эрминтруда *(смеясь)*. А! Смотрите, как бы они вас не услышали, капитан!

Инка. Пусть слышат! Они решат, что я шучу. *(Встает.)* А теперь приготовьтесь к самому неожиданному.

Эрминтруда встает.

К поразительной новости. Соберитесь с силами. Крепитесь. И не пугайтесь.

Эрминтруда. Что это вы собираетесь сказать мне, капитан?

Инка. Сударыня! Я не капитан. Я...

Эрминтруда. Вы — Верховный Инка.

Инка. О небо! Откуда вы узнали? Кто меня предал?

Эрминтруда. Как можно не узнать вас, сэр? Ведь вы единственный и неповторимый. Ваше обаяние...

Инка. Верно. Я забыл о своем обаянии: Но теперь вы знаете, что под императорским величием Верховного Инки скрывается Человек — простой, откровенный, скромный, искренний, земной; душевный друг, живое, отзывчивое существо, веселый товарищ, мужчина, которого природа щедро наделила умением сделать женщину счастливой. Я же, со своей стороны, не могу не признать, что вы — самая обаятельная женщина, какую мне доводилось видеть. Вы поразительно владеете искусством речи. Все это время я молча слушал ваш тонкий и проницательный анализ моего характера, моих побуждений, моих, если позволите, талантов. Никогда прежде меня не восхваляли столь мудро и умело. Ни в ком еще не находил я такой душевной близости. Сударыня! Согласны ли вы... я затрудняюсь подобрать слова... согласны ли вы стать моей?

Эрминтруда. О сэр, ведь вы женаты.

Инка. Если вы изъявите согласие, я готов принять магометанство, которое позволяет мужчине иметь четырех жен. Турки будут довольны. Но только я попросил бы вас не упоминать об этом в разговорах с Инкессой.

Эрминтруда. Благодарю вас — вы очень милы. Однако настало время и мне сбросить маску. Теперь очередь вашего императорского величества приготовиться к неожиданной новости. Соберитесь с силами. Крепитесь. Я не принцесса. Я...

Инка. Дочь моего старого друга архидиакона Нарцисса Ослинского, чьи проповеди мне читают каждый вечер после ужина. У меня прекрасная память на лица.

Эрминтруда. Так вы знали! С самого начала!

Инка *(бросается в кресло; говорит с обидой)*. Неужели вы думали, что я, обреченный проводить в обществе принцесс всю свою несчастную жизнь, до сих пор не понял, что женщина с вашим умом не может быть принцессой?

Эрминтруда. Вы очень проницательны, сэр! Но вы не можете себе позволить жениться на мне.

Инка *(вскакивая)*. Почему?

Эрминтруда. Вы слишком бедны, вы на военном пайке. Теперь монархи — самое нищее сословие. Английский король даже не пьет за обедом вина!

Инка *(в восторге)*. Ха! Ха, ха, ха! Хо, хо, хо! *(От смеха не может усидеть на месте; чтобы излить свое веселье, вальсирует по комнате.)*

Эрминтруда. Можете смеяться сколько угодно, сэр, но такая жизнь не для меня. Мой покойный муж был миллионером, а ваша глупая война меня разорила.

Инка. Миллионер! Чего стоят миллионеры, когда весь мир рассыпается в прах?

Эрминтруда. Прошу прощения! Мой муж был американским миллионером *европейского* происхождения.

Инка. То есть у него был миллион претензий! *(Смеется.)* Ха! Хо, хо, хо! Ай да каламбур! *(Садится в ее кресло.)*

Эрминтруда *(с отвращением)*. В жизни не слыхала ничего глупее. *(Садится в его кресло.)*

Инка. Умные каламбуры уже давным-давно придуманы; нам остается только придумывать глупые. Итак, сударыня... *(Торжественно встает; она тоже пытается подняться.)* Нет, нет! Я люблю, когда меня слушают сидя. *(Делает величественный жест, и Эрминтруда снова откидывается в кресле.)* Итак! *(Щелкает каблуками.)* Судары-

ня! Я признаю, что, попросив вашей руки, я поступил самонадеянно. Вы правы: я не могу себе позволить жениться на вас. При всех своих победах, я — банкрот. Самое неприятное заключается в том, что я это понимаю. И в результате я буду побежден, поскольку мой непримиримый враг, который обанкротится только через несколько месяцев, не понимает решительно ничего и будет продолжать сражаться до тех пор, пока цивилизация не погибнет окончательно. Впрочем, не исключено, что из чистой жалости к цивилизованному миру я соглашусь капитулировать.

Эрминтруда. И чем скорее, тем лучше, сэр. Пока вы раздумываете, тысячи прекрасных молодых людей расстаются с жизнью.

Инка *(морщась)*. Но почему? Почему они расстаются с жизнью?

Эрминтруда. Потому что вы их заставляете.

Инка. Вздор! Это же просто невозможно. Я один, а их тысячи и даже миллионы. Неужели вы думаете, что они действительно стали бы убивать друг друга ради моих прекрасных глаз? Им *хочется* убивать, сударыня. Не верьте газетной болтовне, она вас вводит в заблуждение. Я вынужден был отступить под натиском страстей — причем чужих страстей. Мои возможности ничтожны. Я не смею пройти по главной улице своей столицы в пальто, сшитом всего два года назад, — в то время как простой дворник, подметающий эту улицу, преспокойно носит пальто, которому уже *десять* лет. Вы говорите о смерти так, словно народ испытывает к ней отвращение. Вы ошибаетесь. Годами я дарил народу искусство, литературу, науки, процветание и изобилие. А меня ненавидели, меня презирали, меня высмеивали. Теперь, когда я дарю народу смерть в самых ужасных ее формах, народ обожает меня. Если вы мне не верите, спросите тех, кто долго и безуспешно уговаривал наших налогоплательщиков потратить несколько жалких тысяч на нужды жизни — ради здоровья и образования наших детей, ради красоты и роста наших городов, ради чести и спокойствия наших усталых тружеников. Они отказывались. И потому, что они отказывались, смерть теперь косит их ряды. Им жалко было пожертвовать нескольно сотен в год ради своего спасения; теперь они ежедневно платят миллионы, а взамен получают сокрушительные удары и проклятья. И во всем этом они обвиняют меня. Но посмеют ли они повторить

свои обвинения перед высшим судом, когда и мне, и им придется наконец ответить не только за все, что мы сделали, но и за все, чего мы не сделали? *(Внезапно овладевает собой.)* Честь имею кланяться, сударыня! *(Щелкает каблуками и откланивается.)*

Эрминтруда. О сэр! *(Делает реверанс.)*

Инка *(оборачиваясь в дверях)*. Кстати, тут где-то, кажется, была принцесса?

Эрминтруда. Да. Позвать ее?

Инка *(с сомнением)*. Наверное, она ужасна?

Эрминтруда. Не ужаснее всех остальных принцесс.

Инка *(вздыхая)*. Что ж! На лучшее рассчитывать не приходится. Пожалуй, я не стану ее беспокоить. Вы ей расскажете про моих мальчиков?

Эрминтруда. Боюсь, без вашего обаяния мой рассказ прозвучит недостаточно эффектно.

Инка *(возвращаясь и говоря без всякой торжественности)*. Вы надо мной смеетесь. Почему все надо мной смеются? Разве это справедливо?

Эрминтруда *(серьезно)*. Да. Это справедливо. Что еще можем мы, простые смертные, противопоставить сверканию ваших доспехов, грохоту вашего оружия, великолепию ваших парадов, беспощадности вашей власти над нами? Разве это справедливо — иметь столько аргументов?

Инка. Не знаю, не знаю. *(Смотрит на часы.)* Между прочим, у меня есть еще время покататься по городу и выпить чаю в Зоологическом саду. Там вполне пристойный оркестр, который не играет патриотических маршей. Мне очень жаль, что вы отказываетесь от более серьезных отношений; но если это приглашение вам не претит...

Эрминтруда *(обрадованно)*. Вовсе нет! Я с удовольствием поеду.

Инка *(осторожно)*. Я приглашаю вас как джентльмен, конечно.

Эрминтруда. Не бойтесь. Я вам не позволю делать мне неприличные предложения.

Инка *(в восторге)*. Ах, вы очаровательны! Как вы понимаете мужчин!

Предлагает ей руку, и они вместе выходят.

ОГАСТЕС ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ

Драматический трактат в свободной форме по поводу экономии, вызванной требованиями военного времени, и прочих проблем

Правдивый фарс

1916

AUGUSTUS DOES HIS BIT

Приемная мэра в ратуше городка Литл Пифлингтон. Лорд Огастес Хайкасл — видный представитель правящего класса, великолепно сохранившийся для своих сорока пяти лет, в форме полковника,— удобно расположился за письменным столом. Он читает «Морнинг пост», положив ноги на стол. На противоположной стороне комнаты, немного слева,— дверь. Лорд Огастес сидит спиной к окну. В камин вделана газовая печка. На столе электрический звонок и телефон. На стенах красуются портреты бывших мэров города, в полном облачении, с золотой цепью. Входит пожилой письмоводитель, у него маленькая седая бородка, бакенбарды и ярко-красный нос.

Огастес *(спустив ноги со стола и отложив газету)*. Хэлло! Кто вы такой?

Письмоводитель. Я местный персонал. *(Невыгодное впечатление, которое производят преклонный возраст письмоводителя и его внешний вид, усугубляется легким заиканием.)*

Огастес. Вы — местный персонал? Что вы хотите этим сказать, сударь?

Письмоводитель. То самое, что я сказал. Кроме меня, здесь никого больше нет.

Огастес. Вздор! А где же все остальные?

Письмоводитель. На фронте.

Огастес. Отлично. Великолепно. Почему же вы не на фронте?

Письмоводитель. Вышел из призывного возраста. Мне пятьдесят семь лет.

Огастес. И все же вы отлично можете выполнять свой долг перед родиной. В запасе есть люди постарше вас; запишитесь добровольцем в территориальные войска.

Письмоводитель. Я уже записывался.

Огастес. Так почему вы не в военной форме?

Письмоводитель. Они сказали, что не возьмут меня ни за какие деньги. Сказали: ступай домой, старый дуралей, и не будь болваном. *(Чувство невыносимой обиды, тлею-*

щее в нем, разгорается ярким пламенем.) Мальчишка Билл Найт, которого я взял с собой, получил два шиллинга семь пенсов, а мне ничего не дали. Где же справедливость? Страна идет к чертям, таково мое мнение.

Огастес *(с возмущением, вставая)*. Вашего мнения не спрашивают, сударь; и я не позволю вам говорить такие вещи в моем присутствии. Наши государственные деятели — величайшие в мировой истории. Наши генералы непобедимы. Нашей армией восхищается весь мир. *(В бешенстве.)* Как вы смеете говорить мне, что страна идет к чертям?

Письмоводитель. А почему Биллу Найту дали два шиллинга семь пенсов, а мне не дали даже на трамвай? И это, по-вашему, государственные люди? Это грабеж, вот что это такое.

Огастес. Довольно! Убирайтесь вон! *(Садится и берет в руки перо.)*

Письмоводитель тащится к двери.

(Вслед ему, с ледяной вежливостью.) Попросите ко мне секретаря.

Письмоводитель. Я и есть секретарь. Я не могу убраться вон и в то же самое время просить себя прийти к вам, не правда ли?

Огастес. Прошу без дерзостей. Где тот господин, с которым я вел переписку: мистер Горацио Флойд Бимиш?

Письмоводитель *(возвращаясь и кланяясь)*. Так точно. Это я.

Огастес. Опять вы? Это смехотворно. Какое право вы имеете называть себя столь громким именем?

Письмоводитель. Не обязательно Горацио Флойд. Можете называть меня просто Бимиш.

Огастес. Неужели нет никого, кому я мог бы отдать распоряжения?

Письмоводитель. Кроме меня, никого. И я не прочь бросить все и уйти, так что вы полегче со мной. Такие старички, как я, теперь в большом спросе.

Огастес. Если бы не война, я тут же уволил бы вас за нарушение субординации. Но Англия в опасности, и в такой момент я не имею права думать о своем личном достоинстве. *(Повышает голос.)* Но и вы, червяк несчастный, спрячьте свое достоинство в карман, или я арестую вас на основании закона о государственной безопасности в два счета.

Письмоводитель. Что мне государство, раз меня обжулили на два...

Огастес. К чертям ваши два шиллинга! Вы получили мои письма?

Письмоводитель. Да.

Огастес. Вчера вечером я выступил на собрании. Отправился на него прямо с поезда. Ведь я писал, что рассчитываю вас там встретить. Почему вы не явились?

Письмоводитель. Полиция не пустила меня к вам.

Огастес. А вы сообщили полицейским, кто вы такой?

Письмоводитель. Они и сами это знают. Потому-то они меня и не пустили.

Огастес. Черт знает какое идиотство! Пора встряхнуть этот городишко. Я произнес лучшую речь в своей жизни, призывая записываться в добровольцы. И хоть бы один человек записался!

Письмоводитель. А чего же вы ожидали? Вы заявили, что наши храбрые солдаты ежедневно гибнут тысячами, пока идет большое наступление, и что они кладут жизнь за Литл Пифлингтон, — это ваши точные слова. Займите вы их место, — ваши точные слова. Разве так вербуют в армию?

Огастес. Но я подчеркнул, что вдовы получат пенсию.

Письмоводитель. Знаю, слышал. Но это было бы уместно, если бы вы вербовали вдов.

Огастес *(поднимаясь в раздражении)*. В этом городе живут одни трусы. Я заявляю со всей ответственностью: одни трусы! Считают себя англичанами и боятся драки.

Письмоводитель. Это они боятся драки? Посмотрели бы вы на них вечером под праздник.

Огастес. Да, они не прочь подраться друг с другом; но они не желают драться с немцами!

Письмоводитель. Что ж, у них есть основания драться друг с другом. А какие у них могут быть основания драться с немцами, которых они в глаза не видывали? Им не хватает воображения, вот в чем дело. Но пусть только немцы пожалуют сюда, и тогда они живо поссорятся.

Огастес *(снова садясь, с презрительной миной)*. Гм! Немцы и пожалуют сюда, если вы вовремя не возьметесь за ум. Вы выполнили мои распоряжения относительно экономии, вызываемой требованиями военного времени?

Письмоводитель. Выполнил.

Огастес. Значит, расход бензина сократился на три четверти?

Письмоводитель. Совершенно верно.

Огастес. И вы уведомили владельцев автомобильных заводов, чтобы они явились ко мне для переговоров о военных поставках, поскольку автомобильное производство теперь в упадке?

Письмоводитель. Совсем оно не в упадке. Заводы не справляются с заказами.

Огастес. Как это так?

Письмоводитель. Они выпускают машины меньших размеров.

Огастес. Новые машины?

Письмоводитель. Старые машины за двенадцать миль пути съедали галлон бензину, а теперь всем требуются автомобили, которым этого же галлона хватит на тридцать пять миль.

Огастес. Пусть пользуются железной дорогой.

Письмоводитель. Какая там железная дорога! Все рельсы сняты и отправлены на фронт.

Огастес. Ч-черт!

Письмоводитель. А ведь людям нужно же как-то передвигаться.

Огастес. Это чудовищно! У меня были совсем другие намерения.

Письмоводитель. У дьявола...

Огастес. Милостивый государь!!!

Письмоводитель *(объясняя)*. У дьявола, говорят, ад вымощен добрыми намерениями.

Огастес *(вскакивает с кресла)*. Уж не хотите ли вы сказать, что ад вымощен моими добрыми намерениями? Добрыми намерениями правительства его королевского величества?

Письмоводитель. Я предпочитаю ничего не говорить. Пока действует закон о государственной безопасности, это небезопасно.

Огастес. Мне сказали, что ваш город явил всей Англии пример по части режима экономии. Я прибыл сюда, чтобы обещать вашему мэру за его заслуги титул баронета.

Письмоводитель. Мэру! А как же я?

Огастес. Вы? Вы нуль. Насчет вас разговор короткий. Господи, что за гнусный городишко! Я разочарован. До глубины души разочарован. *(Бросаясь в кресло.)* Меня просто тошнит.

Письмоводитель. А уж, кажется, мы ли не старались! Мы все закрыли – картинную галерею, музей, театры и кино. Я полгода не был в кино.

Огастес. И вам хочется в кино теперь, когда враг у ворот?

Письмоводитель *(мрачно)*. Теперь уж нет, а вначале я просто места себе не находил. Я чуть было не принял на целый пенни крысиного яду.

Огастес. Что же вам помешало?

Письмоводитель. Один приятель посоветовал мне запить. Это спасло мне жизнь, но только по утрам я обычно не в своей тарелке, как вы, должно быть, заметили. *(Икает.)*

Огастес. Нечего сказать, хорош! И вам не стыдно глядеть мне в глаза и признаваться, что вы пьяница?

Письмоводитель. Что же тут особенного? Теперь война, и все переменилось. Я понимаю, если бы я выпивал за стойкой, меня бы выгнали в два счета. Но я человек солидный и покупаю вино навынос, с тем чтобы выпить его дома. А навынос меньше кварты не отпускают. Если бы до войны мне сказали, что я смогу осилить в день кварту виски, я бы не поверил. Вот чем хороша война: она пробуждает силы, о которых человек сам не подозревал. Вы как раз говорили об этом вчера в вашей речи.

Огастес. Я не знал, что обращаюсь к болвану. Постыдились бы! Нет, этому пьяному безделью нужно положить конец. Уж я здесь наведу порядок. Я буду приходить сюда каждое утро пораньше, пока дело окончательно не наладится. Смотрите, чтобы по утрам к половине одиннадцатого для меня здесь была чашка кофе и две булочки.

Письмоводитель. Насчет булочек ничего не выйдет. Единственный пекарь в городе, который умел выпекать булочки, был гунн; его заключили в концентрационный лагерь.

Огастес. И правильно сделали. Что ж, разве не нашлось англичанина на его место?

Письмоводитель. Как же, нашелся один. Но он оказался шпионом; его отправили в Лондон и расстреляли.

Огастес. Расстреляли англичанина!

Письмоводитель. Ведь это же совершенно естественно. Если немцам нужен шпион, они не возьмут немца, немец всем внушал бы подозрение.

Огастес *(опять вскакивая с места)*. Вы хотите сказать, негодяй, что англичанин способен за деньги продать свою родину врагу?

Письмоводитель. Вообще я бы этого не сказал, но найдутся здесь и такие, что продадут вам родную мать, если случай представится.

Огастес. Бимиш, скверная это птица, которая поганит собственное гнездо!

Письмоводитель. Что ж, так ведь не я же поганю Литл Пифлингтон. Я не принадлежу к правящим классам. Я только объясняю вам, почему у нас нет булочек.

Огастес *(в полном возмущении)*. Так неужели же здесь не найдется разумное существо, которое исполняло бы мои приказания?

Письмоводитель. Есть тут один, подметальщик улиц; он, собственно, был учителем школы, но ее закрыли для экономии. Может быть, он подойдет вам?

Огастес. Что такое? Вы хотите сказать, что, когда жизнь наших славных ребят в окопах и судьба Британской империи всецело зависят от количества снарядов, вы тратите деньги на уборку улиц?

Письмоводитель. Ничего не поделаешь. Мы отменили было уборку, но смертность среди грудных младенцев ужасающе повысилась.

Огастес. Какое значение имеет смертность в Литл Пифлингтоне в такой момент? Думайте о наших славных солдатах, а не о ваших пискливых младенцах!

Письмоводитель. Раз вам нужны бойцы, позаботьтесь о детях. Ведь вам их не отпустят в лавке, как оловянных солдатиков.

Огастес. Короче говоря, Бимиш, вы не патриот. Отправляйтесь-ка вниз, к себе в контору, и распорядитесь, чтобы газовый камин мне заменили обыкновенным. Министерство торговли призывает нас экономить газ.

Письмоводитель. Министерство военного снаряжения приказало нам пользоваться газом вместо угля, чтобы экономить уголь. Кого же слушаться?

Огастес *(кричит)*. Обоих! Ваше дело не критиковать, а слушаться; не раздумывать, а действовать и умирать. Это война. *(Успокаивается.)* У вас есть еще что-нибудь ко мне?

Письмоводитель. Да, я прошу прибавки.

Огастес *(от ужаса чуть не валится на стол)*. Прибавки! Горацио Флойд Бимиш, вы понимаете, что у нас война?

Письмоводитель *(иронически)*. Да, я кое-что читал об этом в газетах, и вы разок-другой поминали о ней.

Огастес. Наши славные ребята умирают в окопах, а вы просите прибавки?

Письмоводитель. Так ведь за что же они умирают? За то, чтобы я мог жить, не так ли? И значит, все это будет ни к чему, если я сдохну с голоду к тому времени, как они вернутся.

Огастес. Все идут на жертвы, никто не думает о себе, а вы...

Письмоводитель. Как так все? А чем, скажите, жертвует булочник? Торговец углем? Мясник? Дерут с меня двойную цену — вот как они жертвуют собой. И я тоже хочу так жертвовать собой. С будущей субботы платите мне двойную ставку; двойную, и ни пенса меньше, или вы останетесь без секретаря. *(Решительно, с воинственным видом идет к двери.)*

Огастес *(провожая его уничтожающим взглядом)*. Ступайте, презренный сторонник немцев!

Письмоводитель *(поворачивается, с воинственным задором)*. Кого это вы называете сторонником немцев?

Огастес. Еще одно слово — и вы ответите перед законом за понижение моего боевого духа. Идите.

Письмоводитель отступает в смятении. Звонит телефон.

(Снимает телефонную трубку.) Алло... Да. Кто говорит? А, Гусак, ты?.. Да, я один, можешь говорить... Что такое?.. Шпионка?.. Женщина?.. Да, я взял его с собой... Ты думаешь, я такой дурак, что выпущу его из рук? Это же список всех наших противовоздушных укреплений от Рамсгита до Скегнеса. Немцы дали бы за него миллион... Что? Откуда же она могла узнать о нем? Я никому не говорил ни слова, кроме, конечно, моей Люси... О, Тото, и леди Попхэм, и вся эта компания не в счет: это люди порядочные. Я хочу сказать, что не проговорился ни одному немцу... Пустяки, нечего нервничать, старина. Я знаю, ты считаешь меня дураком, но я не такой уж дурак, как ты думаешь. Пусть она только сунется, я отправлю ее в Тауэр раньше, чем ты соберешься еще раз позвонить мне.

Письмоводитель возвращается.

Ш-ш-ш! Кто-то вошел, дай отбой. Прощай. *(Вешает трубку.)*

Письмоводитель. Вы потеряли связь? *(Тон его стал заметно вежливее.)*

Огастес. А вам какое до этого дело? Если хотите знать

о моих связях, посмотрите светскую хронику за прошлую неделю, вы найдете там сообщение о моей помолвке с Люси Попхэм, младшей дочерью...

Письмоводитель. Я не о том. Я думал, вас прервали. Вы можете видеть женщину?

Огастес. Конечно, могу, я могу видеть женщину с такой же легкостью, как и мужчину. Разве я слепой?

Письмоводитель. Вы меня не понимаете. Внизу ждет женщина, пожалуй даже не женщина, а леди. Она спрашивает, можете ли вы ее принять.

Огастес. Вы спрашиваете, не занят ли я? Скажите этой леди, что я только что получил известие первостепенной важности и буду занят в течение всего дня. Пусть подаст письменное заявление.

Письмоводитель. Я попрошу ее объяснить мне, что ей нужно. Я не откажусь поговорить с хорошенькой женщиной, раз уж представился случай. *(Идет к выходу.)*

Огастес. Постойте. Эта леди, по-вашему, важная особа?

Письмоводитель. Настоящая маркиза, на мой взгляд.

Огастес. Гм. И красивая?

Письмоводитель. Не женщина, а хризантема, сэр! Поверьте мне.

Огастес. Мне крайне неудобно сейчас принять ее, но отечество в опасности, и мы не имеем права считаться со своими удобствами. Подумайте, как наши славные ребята страдают в окопах! Просите ее сюда.

Письмоводитель направляется к двери, насвистывая мотив популярного романса.

Перестаньте свистеть. Здесь не кафешантан.

Письмоводитель. Разве? Погодите, вот вы ее увидите *(Выходит.)*

Огастес вынимает из ящика стола зеркало, гребешок и помаду для усов, ставит перед собой зеркало и принимается за свой туалет.

Письмоводитель возвращается, почтительно пропуская вперед очень красивую и элегантно одетую леди; она держит в руках изящную сумочку. Огастес поспешно прикрывает зеркало газетой «Морнинг пост» и встает, изобразив на лице величественное снисхождение.

(Обращаясь к Огастесу.) Вот она. *(Леди.)* Разрешите предложить вам стул, миледи. *(Ставит стул у письменного стола, против Огастеса, и выходит на цыпочках.)*

Огастес. Присядьте, сударыня.

Леди *(садится)*. Вы лорд Огастес Хайкасл?

Огастес *(тоже садится)*. Да, сударыня, это я.

Леди *(благоговея)*. Великий лорд Огастес?

Огастес. Я далек от мысли так называть себя; но, несомненно, я имею некоторое право на то, чтобы мои соотечественники и *(с рыцарским поклоном)*, смею сказать, мои соотечественницы некоторым образом со мной считались.

Леди *(пылко)*. Какой у вас прекрасный голос!

Огастес. Вы слышите, сударыня, голос нашей родины, который звучит сладостно и благородно даже в суровых устах должностного лица.

Леди. Пожалуйста, продолжайте. Вы так прекрасно говорите.

Огастес. Было бы поистине удивительно, если бы после участия в тридцати семи королевских комиссиях, притом главным образом в роли председателя, я не овладел искусством оратора. Даже левые газеты вынуждены были признать, что мои речи производят большое впечатление, и особенно в тех случаях, когда мне нечего сказать.

Леди. Я не читаю левых газет. Я могу лишь заверить вас, что мы, женщины, восхищаемся вами не как политическим деятелем, а как человеком действия, героическим воином, отважным рыцарем.

Огастес *(уныло)*. Сударыня, прошу вас... К сожалению, мне трудно говорить о моих военных заслугах.

Леди. О, я знаю, знаю. С вами возмутительно поступили! Какая неблагодарность! Но страна за вас. Женщины за вас! С каким волнением, с какой болью узнали мы о том, как, выполняя приказ занять эти страшные гуллукские каменоломни, вы ворвались туда во главе своего отряда, подобно новому Нептуну на гребне волны; и, не довольствуясь этим, вы, вы один ринулись дальше и с криком: «Вперед! На Берлин!» – бросились на немецкую армию. Тут гунны окружили вас и взяли в плен.

Огастес. Да, сударыня. И какова была моя награда? Мне сказали, что я ослушался приказа, и отослали меня домой. Вспомните Нелсона в Балтийском море. Разве англичане когда-либо выигрывали сражение иначе, как с помощью отваги и личной инициативы? Не будем говорить о профессиональной зависти: она существует в армии, как и повсюду; но я с горечью думаю о том, что то признание, в котором мне отказала моя родина, или, точнее, не моя родина, а левая клика в кабинете,

преследующая всех членов нашей семьи своей классовой ненавистью, — это признание я получил из уст врага, прусского офицера.

Леди. Возможно ли?

Огастес. Иначе как бы я очутился здесь, вместо того чтобы умирать с голоду в Рулебене? Да, сударыня: полковник померанского полка, который взял меня в плен, узнав обо всех моих заслугах и побеседовав со мной час о европейской политике и о стратегических вопросах, заявил, что ничто не заставит его лишить мою родину моих заслуг, и освободил меня. Я предложил им, конечно, чтобы они со своей стороны добивались освобождения столь же достойного немецкого офицера. Но он и слышать об этом не хотел. Он любезно заверил меня, что, по его мнению, им не найти равноценного мне немецкого офицера. *(С горечью.)* И вот впервые я узнал неблагодарность, когда направился к нашим позициям. Кто-то выстрелил из наших окопов и попал мне в голову. Я храню расплющенную пулю как трофей. *(Бросает пулю на стол, по звуку можно судить о ее солидном весе.)* Если бы пуля пробила мне череп, ни одна королевская комиссия не увидела бы меня больше в своем составе. К счастью, у нас, Хайкаслов, чугунные черепа. Нам нелегко вбить что-нибудь в голову.

Леди. Изумительно! И вместе с тем до чего просто! До чего трагично! Но вы простите Англию? Помните, ведь это Англия! Простите ее.

Огастес *(с сумрачным великодушием)*. Не бойтесь, это не окажет никакого влияния на мое служение родине. Хотя она и оскорбила меня, но я готов если не верить в нее, то по крайней мере управлять ею. Я не останусь глух к зову родины. Пусть это будет роль посланника в одной из важнейших европейских столиц, или пост генерал-губернатора в тропиках, или же более скромная миссия — мобилизовать Литл Пифлингтон на выполнение своего долга, я всегда готов жертвовать собой. Пока Англия остается Англией, вы всюду на видных общественных постах найдете представителей моего древнего рода. А теперь, сударыня, довольно о моей трагичной судьбе. Вы пришли ко мне по делу. Чем могу быть полезен?

Леди. У вас есть родственники в министерстве иностранных дел, правда?

Огастес *(свысока)*. Сударыня, министерство иностранных

дел комплектуется исключительно из моих родственников.

Леди. Предупредило ли вас министерство иностранных дел, что за вами охотится шпионка и что она намерена украсть у вас список противовоздушных укреплений?..

Огастес *(величественно прерывая ее)*. Все это нам в точности известно, сударыня.

Леди *(удивлена и даже возмущена)*. Известно? Кто же вам сказал? Уж не один ли из ваших родственников-немцев?

Огастес *(глубоко задетый)*. У меня только три шурина — немцы, сударыня. Вы так говорите, словно у меня их целая куча. Простите, что я несколько болезненно к этому отношусь, но постоянно ходят слухи, будто меня во дворе отеля Ритц расстреляли как предателя только за то, что у меня родственники немцы. *(С чувством.)* Если бы у вас были родственники немцы, сударыня, вы бы знали, что ничто не может вызвать такую острую ненависть к Германии. Нет большей радости, как увидеть в списке немецких потерь имя своего шурина.

Леди. Никто не знает этого лучше, чем я. Послушайте, что я расскажу вам, и вы поймете меня, как никто другой. Эта шпионка, эта женщина...

Огастес *(весь внимание)*. Да?

Леди. Она немка. Гуннка.

Огастес. Да, да. Понятно. Продолжайте.

Леди. Она моя невестка.

Огастес *(с уважением)*. Я вижу, у вас прекрасные связи, сударыня. Продолжайте.

Леди. Нужно ли добавлять, что она мой самый заклятый враг?

Огастес. Позвольте мне... *(Протягивает ей руку; она с чувством пожимает ее. С этого момента тон Огастеса становится еще более конфиденциальным, рыцарским и чарующим.)*

Леди. Да, да. Так вот, она близкая приятельница вашего брата из военного министерства, Хенгерфорда Хайкасла, или Гусака, как вы его называете, — кстати, по совершенно непонятным мне мотивам.

Огастес. Его было прозвали Певучей устрицей, потому что он пел романсы с поразительным отсутствием чувства. Затем стали называть просто Гусак.

Леди. Ах, вот что. А я и не знала. Итак, Гусак по уши влюбился в мою невестку и имел неосторожность рассказать ей, что этот список у вас. Он рвет и мечет, что такой до-

кумент доверили вам. Он приказал тотчас же перенести все зенитные укрепления.

Огастес. Странно. С чего же это он?

Леди. Понятия не имею. Но я знаю одно: она заключила с ним пари, что придет к вам, получит от вас список и беспрепятственно выйдет с ним на улицу. Гусак принял пари на том условии, что она немедленно доставит ему список в военное министерство.

Огастес. Боже милосердный! Неужели Гусак такой идиот, что мог поверить, будто ей это удастся? Что он, меня дураком считает?

Леди. О нет, что вы! Он завидует вашему уму. Такое пари — оскорбление для вас! Разве вы не понимаете? После всех ваших заслуг перед родиной...

Огастес. О, не в этом дело. Я думаю лишь о глупости этой затеи. Он проиграет пари; так ему и надо.

Леди. Вы уверены, что сможете противостоять ее чарам? Предупреждаю вас, эта женщина — пожирательница сердец.

Огастес. Опасения ваши напрасны, сударыня. Надеюсь, она явится испытать меня. Я охотно с ней потягаюсь. В течение столетий младшие сыновья из рода Хайкаслов только и делали, что пожирали сердца,— конечно, когда были свободны от королевских комиссий или от занятий в гвардейских казармах. Черт возьми, сударыня, если она придет сюда, она найдет достойного противника.

Леди. Я уверена в этом. Но если ей не удастся совратить вас...

Огастес *(краснея)*. Сударыня!

Леди *(продолжая)*. ...с того пути, который предписывает вам ваш долг...

Огастес. Ах, так...

Леди. ...то она, без сомнения, прибегнет к обману, к силе, к чему угодно. Она не остановится перед грабежом, она организует нападение на улице, и вы подвергнетесь насилию.

Огастес. Пустяки, я не боюсь.

Леди. О, ваше мужество только навлечет на вас опасность. В конце концов она похитит список. Правда, укрепления уже снесены. Но она выиграет пари.

Огастес *(осторожно)*. Вы не говорили, что укрепления снесены. Вы сказали, что Гусак приказал их перенести.

Леди. А разве это не одно и то же?

Огастес. Не совсем, по крайней мере в военном министер-

стве. Не сомневаюсь, что укрепления будут снесены, может быть даже до окончания войны.

Леди. Так вы думаете, что они все еще на месте? Но если германское военное ведомство получит список — ведь шпионка постарается снять с него копию, прежде чем отдаст его Гусаку, уж будьте покойны, — то, значит, все пропало?

Огастес *(лениво)*. Ну, все это не так уж страшно. *(Понижая голос.)* Поклянитесь мне, что будете молчать о том, что я вам сейчас скажу, а то, если наши узнают, меня тотчас же объявят сторонником немцев...

Леди. Я буду нема, как могила. Клянусь!

Огастес *(тем же беспечным тоном)*. Итак, у нас почему-то распространено мнение, что немецкое военное ведомство обладает всеми качествами, которых недостает нашему военному министерству, что там царят абсолютная точность и исполнительность, — одним словом, что все их сотрудники — самый несчастный на свете народ. Я же считаю, — но только помните, сударыня, это между нами, — что немецкое военное ведомство ничуть не лучше, чем всякое другое военное ведомство. Я знаю это по моим родственникам, один из них, кстати, работает в немецком генеральном штабе. Я вовсе не уверен, что там станут заниматься этим списком противовоздушных укреплений. Видите ли, всегда находятся дела поважнее. Всякие семейные обстоятельства, например, и тому подобное...

Леди. А все же, если последует запрос в палате общин?

Огастес. Огромное преимущество войны заключается в том, что никто не считается с палатой общин. Конечно, министру иногда приходится умасливать наиболее строптивых членов палаты кое-какими посулами, но военное министерство с этим не считается.

Леди *(смотрит на него во все глаза)*. Значит, вы не придаете списку военных укреплений никакого значения?

Огастес. Что вы, сударыня! Его значение очень велико. Если шпионка получит список, Гусак прогогочет об этом по всем лондонским гостиным, и...

Леди. И вы рискуете потерять свой пост. Конечно, это важно.

Огастес *(удивленный и возмущенный)*. Я потеряю свой пост! Вы шутите, сударыня! Как же можно обойтись без меня? Уже и так не хватает Хайкаслов, чтобы заполнять все новые должности, создаваемые войной. Нет, Гусак так далеко не зайдет. Он, во всяком случае, джентльмен. Но

надо мной будут смеяться, а я, откровенно говоря, не люблю этого.

Леди. Ну еще бы, кто же это любит? Нет, это никуда не годится. Совсем, совсем не годится.

Огастес. Очень рад, что вы со мной согласны. Но лучше уж я из осторожности положу список к себе в карман. *(Роется по всем ящикам письменного стола.)* Куда же это я... А ч-черт! Мне казалось, я положил его сюда... Ах, вот он! Нет, это последнее письмо моей Люси.

Леди *(элегически)*. Последнее письмо подруги! Какой заголовок для фильма!

Огастес *(польщенный)*. Да, не правда ли? Люси действует на воображение, как ни одна женщина. Кстати *(передавая ей письмо)*, может быть, вы мне его прочтете. Люси чудная девушка, но я не разбираю ее почерка. В Лондоне я отдавал ее письма машинистке в военном министерстве, чтобы она их расшифровывала и перепечатывала на машинке, но здесь у меня нет никого.

Леди *(с трудом разбирая почерк)*. Да, действительно неразборчиво. Мне кажется, обращение гласит: «Мой дорогой Густи».

Огастес *(радостно)*. Да, да, так она меня обычно называет. Пожалуйста, продолжайте.

Леди *(разбирая по складам)*. «Каким,— да,— каким ты стал рассеянным старым...» — тут неразборчивое слово, не понимаю.

Огастес *(чрезвычайно заинтересованный)*. Не «болваном» ли? Это ее излюбленное выражение.

Леди. Да, кажется, «болваном». Во всяком случае, слово на букву «б». *(Читает.)* «Каким ты стал рассеянным старым болваном».

Ее прерывает стук в дверь.

Огастес *(досадливо)*. Войдите.

Входит письмоводитель, чисто выбритый, в военной форме, держит официальную бумагу и конверт.

Это еще что за потешный маскарад?

Письмоводитель *(подходя к столу и демонстрируя свою военную форму)*. Меня зачислили. За мной явился офицер из воинского присутствия. Я получил свои два шиллинга семь пенсов.

Огастес *(вставая, в гневе)*. Я этого не позволю! Как они смеют лишать меня служебного персонала? Боже

правый! Они скоро призовут наших псарей. *(Подходит к письмоводителю.)* Чего он хотел от вас? Что он вам сказал?

Письмоводитель. Он сказал мне, что теперь, с вашим назначением сюда, нам понадобится лишний миллион солдат и в войска будут призваны престарелые пенсионеры и вообще все кто угодно.

Огастес. И вы позволили себе постучаться ко мне и прервать мою беседу с этой леди только для того, чтобы повторить такую нелепость?

Письмоводитель. Нет. Я пришел потому, что лакей из гостиницы принес эту бумагу. Вы оставили ее сегодня на столе, где пили кофе.

Леди *(берет бумагу из рук письмоводителя)*. Список! Боже милостивый!

Письмоводитель *(передавая конверт)*. Лакей говорит, что бумага, по-видимому, из этого конверта.

Леди *(хватая конверт)*. Да! На конверте ваше имя. Лорд Огастес!

Огастес возвращается к столу, чтобы посмотреть на конверт.

Ах, какая неосторожность! Нетрудно понять значение этого документа, стоит только взглянуть на конверт с вашим именем. К счастью, у меня с собой мои собственные письма. *(Открывает сумку.)* Спрячьте список в один из моих конвертов. Тогда никто не подумает, что документ имеет политическое значение. *(Вынимает письмо и отходит к окну, в другой конец комнаты, успевая по пути шепнуть Огастесу.)* Избавьтесь от этого человека.

Огастес *(величественно приближаясь к письмоводителю, который делает уморительную попытку стать во фронт)*. У вас есть еще дела ко мне, милостивый государь?

Письмоводитель. А как быть с лакеем? Дать ему на чай или вы сами это сделаете?

Огастес. Который это лакей? Англичанин?

Письмоводитель. Нет, тот, что выдает себя за швейцарца. Я не удивился бы, если бы узнал, что он снял копию с документа.

Огастес. Держите при себе ваши дерзкие соображения, милостивый государь. Не забывайте, что вы теперь в армии; чтобы больше не было этого штатского неповиновения. Смирно! Налево кругом! Марш!

Письмоводитель *(упрямо)*. Не понимаю, чего вы от меня хотите.

Огастес. Отправляйтесь в комендатуру и доложите, что не подчинились приказу. Теперь вы понимаете, чего я от вас хочу?

Письмоводитель. Эй вы, послушайте, я не намерен вступать с вами в пререкания...

Огастес. И я тоже не намерен. Убирайтесь вон! *(Хватает письмоводителя, выталкивает его за дверь.)*

Как только леди остается одна, она вырывает листок бумаги из блокнота, лежащего на столе, и складывает его так, что он напоминает список военных укреплений, затем сравнивает оба листка и убеждается, что их внешний вид одинаков. Список она прячет в сумочку, а вместо него кладет листок из блокнота, потом поворачивается к двери, ожидая возвращения Огастеса. Слышно, как письмоводитель летит со всех ступенек. Огастес возвращается и хочет закрыть дверь, когда снизу доносится голос письмоводителя: «Вы ответите по закону».

(Кричит вниз.) Для вас больше нет закона, негодяй! Теперь вы солдат! *(Закрывает дверь и подходит к леди.)* Слава богу, война наконец отдала нам в руки эту публику. Простите мою резкость, но дисциплина совершенно необходима, когда имеешь дело с низшими классами.

Леди. И поделом негодяю! Смотрите! Я нашла для вас прекрасный конверт, настоящий дамский. *(Кладет чистый листок в свой конверт и передает ему.)*

Огастес. Превосходно. Чрезвычайно остроумно с вашей стороны. *(Лукаво.)* Может быть, вы хотели бы одним глазком взглянуть на список? *(Собирается вынуть чистый лист из конверта.)*

Леди *(в страхе перед угрожающим ей разоблачением)*. Нет, нет! О, пожалуйста, не надо!

Огастес. Почему же? Он вас не укусит. *(Наполовину вынимает листок.)*

Леди *(хватая его за руку)*. Оставьте. Помните, ведь будет следствие, вы должны иметь возможность заявить под присягой, что ни одна живая душа его не видела.

Огастес. О, это только проформа. И если вам очень интересно...

Леди. Нет, мне не интересно. Я не могу и не хочу его видеть. Один из моих лучших друзей был убит снарядом из зе-

нитного орудия, и теперь я думать ни о чем таком не могу без содрогания.

Огастес. Да что вы? Настоящее орудие, и оно действительно выстрелило? Какой ужас! Какой ужас! *(Вкладывает обратно листок и прячет его в карман.)*

Леди *(со вздохом облегчения)*. Ах! А теперь, лорд Огастес, я чувствую, что отняла у вас слишком много вашего драгоценного времени. Прощайте...

Огастес. Как! Вы уходите?

Леди. Вы ведь так заняты.

Огастес. Да, но только после завтрака. Я никогда не могу раскачаться до завтрака. И я никуда не гожусь во второй половине дня. Мое рабочее время — от пяти до шести. Неужели вам действительно пора уходить?

Леди. Да, мне пора. Я выполнила все, что хотела; очень вам признательна. *(Подает ему руку.)*

Огастес *(нежно удерживает ее руку в своей и провожает даму до двери, предварительно нажав свободной левой рукой кнопку звонка)*. Прощайте! Прощайте! Очень жаль, что вы уходите. Так мило с вашей стороны, что вы потрудились прийти; но опасности нет никакой. Видите ли, прелестная леди, все эти разговоры о режиме экономии, о военной тайне, о затемнении улиц и так далее — очень хороши; но выполнять это надо с умом, а то вы рискуете понапрасну затратить фунты стерлингов, чтобы спасти какой-нибудь пенс; или же выдать важную тайну неприятелю; или же накликать цеппелин прямо на крышу вашего собственного дома. Вот тут-то и необходима мудрость правящего класса. Разрешите послать этого молодца за такси?

Леди. Нет, благодарю вас. Я предпочитаю идти пешком. Прощайте. Еще раз благодарю вас. *(Выходит.)*

Огастес, улыбаясь, возвращается к письменному столу и снова смотрится в зеркало. Входит письмоводитель с перевязанной головой, в руках у него кочерга.

Письмоводитель. Вы звонили?

Огастес поспешно прячет зеркало.

Не подходите ко мне, или я проломлю вам голову этой кочергой, а она тяжелая.

Огастес. Эта кочерга тяжелая? Что-то непохоже. Я звонил вам, чтобы вы проводили леди.

Письмоводитель. Она уже ушла. Выскочила, как кролик. Не могу понять, что ей так приспичило.

Голос леди *(с улицы)*. Лорд Огастес! Лорд Огастес!

Письмоводитель. Она зовет вас.

Огастес *(бежит к окну и распахивает его)*. Что скажете? Не подыметесь ли наверх?

Голос леди. Что, клерк там, наверху?

Огастес. Да. Он вам нужен?

Леди. Да.

Огастес. Леди просит вас подойти к окну.

Письмоводитель *(кладет кочергу и бежит к окну)*. Да, миледи. Я здесь, миледи. Что угодно, миледи?

Голос леди. Я прошу вас засвидетельствовать, что я беспрепятственно вышла на улицу. Сейчас я подымусь наверх.

Огастес и письмоводитель смотрят друг на друга.

Письмоводитель. Она просит засвидетельствовать, что она беспрепятственно вышла на улицу.

Огастес. Что бы это могло значить?

Леди возвращается.

Леди. Разрешите воспользоваться вашим телефоном.

Огастес. Прошу вас. *(Снимает трубку.)* Какой номер вызвать?

Леди. Военное министерство, пожалуйста.

Огастес. Военное министерство?!

Леди. Будьте настолько любезны.

Огастес. Но... Впрочем, пожалуйста. *(В трубку.)* Алло! Говорят из ратуши, отдел вербовки. Соедините меня с полковником Боуги, да поскорее.

Пауза.

Письмоводитель *(прерывая тягостное молчание)*. Уж не сплю ли я? Это прямо сон из фильма.

Огастес *(не отнимая трубки от уха)*. Замолчите. *(В телефон.)* Что?.. *(Обращаясь к леди.)* С кем вы хотите говорить?

Леди. С Гусаком.

Огастес *(в телефон)*. Соедините меня с лордом Хенгерфордом Хайкаслом... Я его брат, болван!.. Это ты, Гусак? Одна леди здесь, в Литл Пифлингоне, хочет говорить с тобой. Не отходи от аппарата. *(Леди.)* Пожалуйста, сударыня. *(Передает ей трубку.)*

Леди *(садится в кресло Огастеса и берет трубку)*. Это вы, Гусак? Узнаете голос? Поздравьте меня, я выиграла наше пари...

Огастес. Ваше пари?

Леди *(в трубку)*. Да. Список у меня в сумке...

Огастес. Вы заблуждаетесь, сударыня. Список у меня в кармане. *(Достает конверт из кармана, вынимает оттуда чистый лист бумаги и разворачивает его.)*

Леди *(в трубку)*. Да и я беспрепятственно вышла на улицу, имея при себе список. У меня есть свидетель. Ничто не мешало мне тут же отвезти его в Лондон. Огастес не станет этого отрицать...

Огастес *(уставившись на чистый лист бумаги)*. Здесь ничего нет. Где же список укреплений?

Леди *(продолжая телефонный разговор)*. О, это оказалось легче легкого. Я выдала себя за собственную невестку-немку. Он вылакал это, как котенок.

Огастес. Вы хотите сказать...

Леди *(продолжая телефонный разговор)*. Список попал мне в руки на одну минуту, и я заменила его чистым листком из его же блокнота. Ну просто легче легкого. *(Смеется. И Гусак, очевидно, тоже смеется.)*

Огастес. Что такое?

Письмоводитель *(смеется медленно и со вкусом, испытывая от этого явное удовольствие)*. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Огастес бросается на него; письмоводитель хватает кочергу и становится в оборонительную позицию.

Но-но!

Леди *(не выпуская трубки, делает им свободной рукой нетерпеливые знаки)*. Ш-ш-ш-ш!!

Огастес, пожимая плечами, отходит на середину комнаты.

(Возобновляет разговор по телефону.) Что?.. А, хорошо. Я приеду поездом двенадцать тридцать пять. Встретимся за чаем в ресторане Румпельмейстера. Да, Рум-пельмей-стер. Теперь он Робинсон... Хорошо. До свидания. *(Вешает трубку и выходит из-за стола, намереваясь уйти, но Огастес преграждает ей путь.)*

Огастес. Сударыня, я нахожу ваше поведение в высшей степени непатриотичным. Вы заключаете пари и используете во вред доверие должностных лиц, которые честно выпол-

няют свой долг, трудясь на благо родины, меж тем как наши славные ребята гибнут в окопах...

Леди. О, славные ребята не все в окопах. Кое-кто из них возвращается домой на побывку для заслуженного отдыха, и я надеюсь, что вы не откажете им в удовольствии немного посмеяться на ваш счет.

Письмоводитель. Правильно! Правильно!

Огастес *(любезно)*. Ну, так и быть. Все для родины!

АННАЯНСКА, СУМАСБРОДНАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА

Революционно-романтическая пьеска

1917

ANNAJANSKA, THE WILD GRAND DUCHESS

«Аннаянска» — чисто бравурная пьеса. Для своих «номеров» современный мюзик-холл требует небольших скетчей, которые продолжаются минут двадцать и позволяют любимцу публики совершить краткий, но блистательный выход в достаточно заурядной постановке. В прежние времена мы с мисс Маккарти не раз помогали друг другу прославиться в серьезных пьесах — от «Человека и сверхчеловека» до «Андрокла»,— а мистер Чарлз Рикетс снисходил к нашим просьбам и, оторвавшись от своих занятий живописью и скульптурой, придумывал для наших пьес удивительные костюмы. Но вот мы трое разогнули спины — как, вероятно, разгибали спины миссис Сидонс, сэр Джошуа Рейнолдс и доктор Джонсон — и создали «номер» для мюзик-холла «Колизей». Нет, мы не смотрели на театр-варьете сверху вниз и не считали его лилипутом или свой театр — Гулливером. Напротив, мы — трое новичков, только что освободившихся из-под тяжкого ига интеллектуального театра,— просили публику о снисхождении.

Сияли огни рампы, звучал «1812-й год» Чайковского; мисс Маккарти и мистер Рикетс легко и естественно показали себя с лучшей стороны. Мне, боюсь, это не удалось. За свой вклад в пьесу я удостоился всего одного комплимента: какой-то приятель сказал мне, что это единственная из моих вещей, которая не показалась ему слишком длинной. Тогда — действуя по своему правилу: «радуйся упрекам, ибо за ними часто скрывается похвала»,— я добавил к ней еще пару страниц.

•

Кабинет генерала в ставке на восточном фронте в Беотии. Посреди кабинета большой стол с телефоном, письменными принадлежностями, бумагами и прочим. У одного конца стола удобное кресло для генерала. За креслом — окно. У противоположного конца стола простая деревянная скамья. На столе пишущая машинка, против нее стоит спинкой к двери обычный конторский стул. Рядом с дверью, расположенной за деревянной скамьей, стоит вешалка для верхней одежды. В кабинете никого нет.

Входит генерал Страмфест, за ним — лейтенант Шнайдкинд. Они снимают шинели и фуражки. Шнайдкинд задерживается возле вешалки, Страмфест подходит к столу.

Страмфест. Шнайдкинд!

Шнайдкинд. Да, сэр?

Страмфест. Вы еще не отослали правительству мое донесение? *(Садится.)*

Шнайдкинд *(подходя к столу)*. Нет, сэр. Какому правительству прикажете его отослать? *(Садится.)*

Страмфест. Смотря по обстановке. Как развиваются события? У кого, по-вашему, больше шансов оказаться завтра утром у власти?

Шнайдкинд. Вчера крепче всех держалось временное правительство. Но я слышал, что сегодня у них застрелился премьер-министр и что лидер левого крыла перестрелял всех остальных.

Страмфест. Так. Это прекрасно. Но ведь они всегда стреляются холостыми патронами.

Шнайдкинд. Даже холостой патрон означает капитуляцию, сэр. По-моему, донесение следует отослать максимилианистам.

Страмфест. Они держатся не крепче, чем оппидо-шоуисты. И по-моему, умеренные красные революционеры имеют точно такие же шансы.

Шнайдкинд. Можно отпечатать донесение под копирку и послать каждому правительству по экземпляру.

Страмфест. Пустая трата бумаги. С тем же успехом можно

посылать донесения в детский сад. *(Со стоном опускает голову на стол.)*

Шнайдкинд. Вы утомлены, сэр.

Страмфест. Шнайдкинд, Шнайдкинд, неужели вы еще можете жить на этом свете?

Шнайдкинд. В мои годы, сэр, человек спрашивает себя: неужели я уже могу отправиться на *тот* свет?

Страмфест. Вы молоды, молоды и бессердечны. Революция вас возбуждает, вы преданы абстрактным понятиям — свободе и прочему. А мои предки семь столетий верно служили беотийским Панджандрамам; Панджандрамы давали нам придворные чины, жаловали награды, возвышали нас, делились с нами своей славой, воспитывали нас. Когда я слышу, как вы, молодежь, заявляете, что готовы сражаться за цивилизацию, за демократию, за низвержение милитаризма, я спрашиваю себя: неужели можно проливать кровь за бессмысленные лозунги уличных торговцев и чернорабочих, за всякий вздор и пакость? *(Встает, воодушевленный своей речью.)* В монархе есть величие, и он не какая-нибудь абстракция, а человек, вознесенный над нами, точно бог. На него смотришь, ему целуешь руку, он улыбнется — и у тебя сердце радуется, он нахмурится — и у тебя душа уходит в пятки. Я готов умереть за своего Панджандрама, как мой отец умер за его отца. Когда этот ваш трудовой народ гневил старших, его награждали пинком в мягкое место, и он был счастлив. А теперь что мне осталось в жизни? *(Уныло опускается в кресло.)* Мой король низложен и сослан на каторгу. Армия, его былая гордость и слава, марширует под мятежные речи нищих бунтовщиков, а полковника силой заставляют представлять этих ораторов народу. Кто меня назначил главнокомандующим, Шнайдкинд? Мой собственный поверенный! Еврей, самый настоящий еврей! Еще вчера все это показалось бы бредом сумасшедшего, а сегодня бульварная пресса сообщает об этом как о самых заурядных событиях. Хотите знать, ради чего я сейчас живу? У меня три цели: разгромить врага, восстановить на троне Панджандрамов и повесить своего поверенного.

Шнайдкинд. Будьте осторожны, сэр. В наше время опасно высказывать такие взгляды. Что, если я выдам вас?

Страмфест. Что?!

Шнайдкинд. Я не сделаю этого, конечно: мой отец оратор-

ствует в том же духе, что и вы. Но все же — что, если я выдам вас?

Страмфест *(с усмешкой)*. Я объявлю, что вы предали революцию, мой друг, и вас немедленно поставят к стенке; впрочем, если вы расплачетесь и попросите позволения обнять перед смертью старушку мать, они, возможно, передумают и назначат вас бригадиром. Довольно. *(Встает, расправляет плечи.)* Отвел душу, и сразу легче стало. За дело. *(Берет со стола телеграмму, вскрывает ее; поражен ее содержанием.)* Силы небесные! *(Падает в кресло.)* Этого еще недоставало!

Шнайдкинд. Что случилось? Армия разбита?

Страмфест. Лейтенант! Неужели вы думаете, что поражение может меня так подкосить? Меня, потерпевшего в этой войне тринадцать поражений? О мой король, мой повелитель, мой Панджандрам! *(Рыдает.)*

Шнайдкинд. Его убили?

Страмфест. Кинжалом, кинжалом пронзили сердце!..

Шнайдкинд. О боже!

Страмфест. ...и мне, мне тоже!

Шнайдкинд *(с облегчением)*. А, так это метафора. Я думал, в буквальном смысле. Что случилось?

Страмфест. Его дочь, великая княжна Аннаянска, любимица Панджандрины, только что... только что... *(Замолкает, не в силах договорить.)*

Шнайдкинд. Покончила с собой?

Страмфест. Нет. Уж лучше бы она покончила с собой... Да, это было бы гораздо лучше.

Шнайдкинд *(понизив голос)*. Оставила церковь?

Страмфест *(шокирован)*. Разумеется нет. Не богохульствуйте, молодой человек.

Шнайдкинд. Потребовала права голоса?

Страмфест. Я дал бы ей это право и не поморщился, лишь бы уберечь ее от того, что она совершила.

Шнайдкинд. Что она совершила? Не томите, сэр, скажите же!

Страмфест. Она перешла на сторону революции.

Шнайдкинд. Как и вы, сэр. Мы все перешли на сторону революции. Она так же притворяется, как мы с вами.

Страмфест. Дай-то бог! Но это еще не самое страшное, Шнайдкинд. Она сбежала с молодым офицером. Сбежала, вы понимаете, сбежала!

Шнайдкинд *(не особенно поражен)*. Понимаю, сэр.

Страмфест. Аннаянска, прекрасная, невинная Аннаянска, дочь моего повелителя. *(Закрывает лицо руками.)*

Звонит телефон.

Шнайдкинд *(снимает трубку)*. Да, главный штаб. Да... Не ори, я не генерал. Кто у телефона?.. Почему сразу не сказал? Порядка не знаешь? В следующий раз разжалую в рядовые... Ах, тебя произвели в полковники! Ну а меня — в фельдмаршалы. Что у тебя там произошло? В чем дело? Я не могу целый день слушать твои хамские... Что? Великая княжна?

Страмфест вздрагивает.

Где вы ее поймали?

Страмфест *(выхватывает у Шнайдкинда трубку и слушает)*. Говори громче, это генерал... Сам знаю, болван. А офицера задержали? Того, что был с ней? Проклятье! Ты за это ответишь! Ты его отпустил — он подкупил тебя... Нельзя было его не заметить, он в полном придворном мундире Панджеробаенского гусарского полка! Задержать немедленно! Даю двенадцать часов, и если по истечении этого срока... что к дьяволу?! Ты мне никак сквернословишь, мерза... Гром и молния! *(Шнайдкинду.)* Эта свинья говорит, что в великую княжну дьявол вселился. *(В трубку.)* Подлый предатель! Как ты смеешь говорить такое о дочери помазанника божьего? Я тебя...

Шнайдкинд *(отнимая у него трубку)*. Осторожно, сэр.

Страмфест. Я не желаю осторожничать. Я его к стенке поставлю. Отдайте трубку.

Шнайдкинд. Если вы хотите спасти великую княжну, сэр...

Страмфест. А?

Шнайдкинд. Если вы хотите спасти великую княжну, сэр, прикажите доставить ее сюда. С вами она будет в безопасности.

Страмфест *(отпускает трубку)*. Вы правы. Будьте с ним повежливее. Я наступлю себе на горло. *(Садится.)*

Шнайдкинд *(в трубку)*. Алло. Это один шутник тут баловался с телефоном. Мне пришлось на минуту выйти из кабинета. Отставить все это — присылай девчонку сюда. Мы ее научим, как себя вести... Уже отослал к нам? Какого же дьявола ты звонишь?.. *(Вешает трубку.)* Вообразите, ее отослали к нам еще утром, а этот новоявленный полковник просто любит звонить по телефону, любит послушать самого себя. *(Телефон снова звонит. Шнайдкинд*

злобно хватает трубку.) Что еще?.. *(Генералу.)* Это наши люди звонят снизу. *(В трубку.)* По-твоему, у меня нет других дел, кроме как болтать весь день по телефону... Что? Не хватает людей, чтобы с ней справиться? Как это так? *(Генералу.)* Она здесь, сэр.

Страмфест. Пусть шлют ее наверх. Мне придется принять ее сидя, чтобы не выдать себя перед конвоем,— и нельзя даже поцеловать ей руку. Мое сердце не выдержит такого позора.

Шнайдкинд *(в трубку)*. Шлите ее сюда, наверх... Ха! *(Вешает трубку.)* Она уже поднимается. Ее не могли удержать.

Великая княжна врывается в кабинет. Два усталых на вид солдата висят у нее на руках. Княжна одета в длинную, до пят, шубу; на голове у нее меховая шапка.

Шнайдкинд *(указывая на скамью)*. По команде «исполнять!» поместите арестованную на скамью в сидячем положении и сами сядьте по обе стороны от нее. Исполнять!

Солдаты из последних сил пытаются усадить княжну, но она отталкивает их прочь, и они с размаху падают на скамью, увлекая за собой княжну. Продолжая держать ее за руку, один солдат достает пакет и протягивает его Шнайдкинду. Шнайдкинд передает пакет генералу, который вскрывает его и с суровым лицом принимается читать бумаги.

Шнайдкинд. Арестованная, вам придется подождать, пока генерал прочитает сопроводительные документы.

Великая княжна *(солдатам)*. Пустите меня. *(Страмфесту.)* Велите им отпустить меня, не то я опрокину скамью и мы все разобьем себе затылки.

Солдат. Ну нет, матушка, пожалей нас, бедняков.

Страмфест *(яростно, не отрываясь от бумаг)*. Молчать!

Великая княжна *(в бешенстве)*. Это вы мне или солдату?

Страмфест *(в ужасе)*. Солдату, сударыня.

Великая княжна. Велите ему отпустить меня.

Страмфест. Отпустите даму.

Солдаты отпускают княжну. Один из них утирает вспотевший лоб, второй принимается высасывать кровь из раны на руке.

Шнайдкинд *(гаркает)*. Смирно!

Солдаты вздрагивают и выпрямляются.

Великая княжна. Пусть сосет. В ране мог остаться яд. Это я его укусила.

Страмфест *(шокирован)*. Укусили простого солдата!

Великая княжна. Я хотела прижечь ему руку кочергой, но он побоялся. Что я еще могла сделать?

Шнайдкинд. Почему вы его укусили, арестованная?

Великая княжна. Он меня не отпускал.

Страмфест. А когда вы его укусили, он отпустил вас?

Великая княжна. Нет. *(Хлопает солдата по спине.)* Дайте ему крест за стойкость. Я привела его сюда, потому что не могла съесть его целиком.

Страмфест. Арестованная...

Великая княжна. Перестаньте называть меня арестованной, генерал Страмфест. Моя бабушка вас на руках качала.

Страмфест *(прослезившись)*. О боже! Да, да, конечно. Поверьте, сердце мое с тех пор не переменилось.

Великая княжна. И мозги тоже. Не смейте называть меня арестованной.

Страмфест. Забота о вашей безопасности не позволяет мне называть вас вашим законным и самым священным для меня титулом. Как же мне к вам обращаться?

Великая княжна. Революция сделала нас товарищами. Называйте меня «товарищ».

Страмфест. Мне легче умереть.

Великая княжна. Ну называйте меня Аннаянска. А я буду называть вас крысоловом, как бабушка.

Страмфест *(взволнован до глубины души)*. Шнайдкинд!.. Поговорите с ней... я не в состоянии. *(Всхлипывает.)*

Шнайдкинд *(официально)*. Беотийская республика была вынуждена ограничить свободу Панджандрама и членов его семьи — ради их собственной безопасности. Вы нарушили установленные ограничения.

Страмфест *(продолжает мысль лейтенанта)*. И являетесь теперь — я вынужден произнести это слово — арестованной. Что мне с вами делать?

Великая княжна. Раньше надо было думать.

Страмфест. Так нельзя, арестованная. Вы знаете, что с вами будет, если вы меня вынудите принять более строгий тон.

Великая княжна. Нет, не знаю. Но я знаю, что будет с вами.

Страмфест. Что же?

Великая княжна. Голос сорвете.

Шнайдкинд прыскает, роняет бумагу и, нагнувшись за ней, прячется за стол, чтобы скрыть приступ смеха.

Страмфест *(громовым голосом)*. Лейтенант Шнайдкинд!

Шнайдкинд *(давясь от смеха)*. Здесь, сэр. *(Стол трясется.)*

Страмфест. Вылезайте из-под стола, дурак,— чернила прольете.

Шнайдкинд появляется из-за стола; лицо его красно от едва сдерживаемого смеха.

Страмфест. Почему вы перестали смеяться? Или шутка ее императорского высочества не кажется вам смешной?

Шнайдкинд *(внезапно посерьезнев)*. Мне не хочется смеяться, сэр.

Страмфест. Извольте смеяться. Я вам приказываю.

Шнайдкинд *(не без раздражения)*. Никак не могу, сэр. *(Решительно садится.)*

Страмфест *(злобно)*. Вот как! *(Обернувшись к великой княжне, принимает торжественную позу.)* Ваше императорское высочество приказывает мне употреблять обращение «товарищ»?

Великая княжна *(вставая и размахивая красным платком)*. Да здравствует революция, товарищ!

Страмфест *(вставая и отдавая честь.)* Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Лейтенант Шнайдкинд, вставайте и пойте «Марсельезу».

Шнайдкинд *(вставая)*. Не могу, сэр. У меня нет ни голоса, ни слуха.

Страмфест. Тогда садитесь. И прячьтесь от позора за своей пишущей машинкой. *(Шнайдкинд садится.)* Товарищ Анаянска, вы сбежали с молодым офицером.

Великая княжна *(поражена)*. Вы лжете, генерал Страмфест.

Страмфест. Отпираться бесполезно, товарищ. Благодаря заметной внешности этого офицера нам и удалось выследить вас.

Великая княжна внезапно понимает, в чем дело, и весело улыбается. Страмфест продолжает с судейским видом.

Вы встретились с ним в «Золотом якоре» в Хаконсбурге.

Потом вы скрылись, а офицер проследовал в Поттердам, где вы опять встретились с ним, после чего отправились в одиночестве в Премсилопль. Что вы сделали с этим несчастным? Где он?

Великая княжна *(делая вид, что сообщает важную тайну)*. Там, где он и находился с самого начала.

Страмфест *(нетерпеливо)*. То есть?..

Великая княжна *(резко)*. В вашем воображении. Со мной никого не было и нет. Сотни офицеров ежедневно путешествуют из Хаконсбурга в Поттердам. Какое мне до них дело?

Страмфест. Они путешествуют в обычной форме, а не в полном придворном мундире, как ваш спутник.

Шнайдкинд. Только офицеры, похищающие великих княжен, путешествуют в полном придворном мундире, потому что иначе их спутниц никто бы не замечал.

Страмфест. Придержите язык.

Шнайдкинд с оскорбленным видом отворачивается, складывает руки на груди и в дальнейшем не принимает участия в разговоре. Генерал снова глядит в свои бумаги и продолжает допрашивать великую княжну.

Этот офицер путешествовал с вашим паспортом. Что вы на это скажете?

Великая княжна. Вздор! Как может мужчина путешествовать с паспортом женщины?

Страмфест. Очень просто — и вам это хорошо известно. Когда к контрольному пункту подходят десять человек, их паспорта собирают и пересчитывают. Если паспортов тоже десять, проверка на этом кончается.

Великая княжна. В таком случае, откуда вам известно, что один из паспортов был мой?

Страмфест. Официант в отеле «Поттердам» раскрыл паспорт вашего офицера, пока тот принимал ванну. Паспорт был ваш.

Великая княжна. Глупости! Отчего ж меня не арестовали в этом отеле?

Страмфест. Пока официант ходил за полицейским, офицер исчез. В отеле нашли только вас — и ваш паспорт. Официанта высекли.

Великая княжна. О! Страмфест, отошлите этих людей. Мне надо поговорить с вами с глазу на глаз.

Страмфест *(в ужасе встает)*. Нет! Это уж слишком. На такое я не пойду. Совершенно невозможно, абсолютно

невозможно, чтобы особа королевской крови говорила с кем-то с глазу на глаз — даже с собственным мужем!

Великая княжна. Вы забываете об исключении из этого правила. С ребенком особа королевской крови может говорить с глазу на глаз. *(Встает.)* Страмфест! Моя бабушка качала вас на руках. Этим великодушным жестом вдовствующая Панджандрина сделала вас ребенком на всю жизнь. Так же, кстати, обошлась с вами природа. Я вам приказываю остаться со мной с глазу на глаз. Слышите? Приказываю! За десять столетий ни один из Страмфестов не ослушался приказа моих предков. Неужели вы теперь ослушаетесь моего приказа?

Страмфест. У меня еще есть выбор. Про мертвого не скажут, что он ослушался приказа. *(Достает пистолет и приставляет дуло к виску.)*

Шнайдкинд *(вырывая у него пистолет).* Ради бога, генерал...

Страмфест *(набрасывается на Шнайдкинда, пытаясь отнять у него свое оружие).* Несчастный лейтенантик, верните мне мою честь!

Шнайдкинд *(протягивая пистолет великой княжне).* Возьмите! Скорее — он силен как бык!

Великая княжна *(схватив пистолет).* Так! Всем, кроме генерала, выйти вон! Быстро! Моментально! Мигом! *(Несколько раз подряд стреляет солдатам под ноги.)*

Солдаты бросаются вон из кабинета. Великая княжна оборачивается к Шнайдкинду, которого генерал повалил на пол.

Вы тоже!

Шнайдкинд вскакивает на ноги.

Марш!

Шнайдкинд бросается к двери.

Шнайдкинд *(обернувшись в дверях).* Ради вашего же блага, товарищ...

Великая княжна *(возмущенно).* «Товарищ»? Вот еще! Вон отсюда! *(Дважды стреляет.)*

Шнайдкинд исчезает.

Страмфест *(невольно делая шаг к великой княжне).* Ваше императорское высочество...

Великая княжна. Ни с места. У меня осталась еще одна

пуля — на случай, если вы попытаетесь меня обезоружить. *(Приставляет дуло пистолета к виску.)*

Страмфест *(отшатывается, закрывая лицо руками)*. Нет, нет! Опустите оружие, опустите! Обещаю... Клянусь, я все исполню! Умоляю вас, опустите оружие!

Великая княжна *(бросая пистолет на стол)*. Извольте!

Страмфест *(отнимает руки от лица)*. Слава богу!

Великая княжна *(мягко)*. Страмфест, я — ваш товарищ. Но, может быть, я значу для вас и нечто большее?

Страмфест *(опускаясь на одно колено)*. Да поможет мне бог! Вы — последнее, что осталось от той единственной власти, которую я признаю в этом мире! *(Целует ей руку.)*

Великая княжна *(снисходительно)*. Идолопоклонник! Когда вы наконец поймете, что наша власть держалась только тем, что вы себе о нас вообразили? *(Садится в кресло генерала и продолжает другим тоном.)* Какие распоряжения вы получили? И собираетесь ли вы им подчиниться?

Страмфест *(вскакивает на ноги и принимается раздраженно ходить по кабинету)*. Как можно подчиниться шести диктаторам одновременно? Да еще когда среди них нет ни одного дворянина? Первый приказывает мне заключить мир с иностранным противником, второй велит предъявить нейтральным странам ультиматум — или они поддерживают его политику единого земельного налога, или через сорок восемь часов мы их сотрем с лица земли! Третий посылает меня на какую-то конференцию социалистов с заявлением, что Беотия не признает никаких аннексий и контрибуций и что наша единственная задача — устроить рай земной во всей вселенной. *(К концу своей речи оказывается возле стула Шнайдкинда.)*

Великая княжна. Стало быть, вся их политика — глупые игры?

Страмфест. От всего сердца благодарю ваше высочество за это определение. Европа будет вам признательна.

Великая княжна. Гм... Хорошо. И все же... *(Встает.)* Страмфест! Ведь ваша битва — битва за сохранение династии — проиграна.

Страмфест. Вы не должны так говорить. Это измена — даже в ваших устах. *(Уныло опускается на стул и закрывает лицо руками.)*

Великая княжна. Не обманывайте себя, генерал. Панджандрамы никогда уже не будут править в Беотии. *(С го-*

рестным видом медленно идет по кабинету, думая вслух.) Династия пришла в упадок, отстала от жизни, одряхлела; наши пороки обратились против нас, и вот мы сами желаем своего падения.

Страмфест. Вы богохульствуете.

Великая княжна. Всякая истина рождается как богохульство. И вся королевская конница, и вся королевская рать не могут отцовского трона поднять... А если бы могли, вы, генерал, помогли бы им, правда?

Страмфест. Клянусь небом!

Великая княжна. В самом деле? И снова обрекли бы народ на безнадежную нищету? А благороднейших мыслителей страны снова побросали бы в позорные застенки? Утопили бы в крови поднявшееся солнце свободы? Только потому, что посреди моря грязи, уродства и ужасов когда-то поднимался крошечный островок блестящего двора, где вы могли стоять навытяжку в мундире, украшенном орденами, и день за днем зевать в ожидании того часа, когда под вами разверзнется могила,— зевать, потому что больше при дворе делать нечего. Неужели вы настолько глупы, настолько бессердечны?

Страмфест. Только сумасшедший может говорить такое о королевской власти. Я никогда не зевал при дворе. Зевали псы — но только потому, что они псы, лишенные воображения, чести, идеалов и чувства собственного достоинства.

Великая княжна. Мой бедный Страмфест, вы слишком редко бывали при дворе и не успели от него устать. Ведь вы все время воевали, а возвратившись домой за очередным орденом, восторженно глядели на моего отца, на мою мать и на меня — и были этим счастливы. Ведь так?

Страмфест. Уж не упрекаете ли вы меня? Мне нечего стыдиться.

Великая княжна. Да, вас такая жизнь устраивала, Страмфест. Но подумайте обо мне! Каково было мне видеть, что вы поклоняетесь мне, точно богине, хотя я самая обыкновенная девчонка? Меня, как зверя, посадили в клетку — ведь это же жестокость! Вы могли бы поклоняться восковой кукле или золотому тельцу: они не мучились бы от скуки.

Страмфест. Прекратите или я отрекусь от вас. Женщин, которые позволяли себе нести подобный вздор, я не раз приказывал сечь плетьми.

Великая княжна. Не напоминайте мне об этом, не то я вас застрелю.

Страмфест. У вас всегда были низменные наклонности. Вы не дочь своего отца, вы оборотень, которого какая-нибудь развратная нянька подбросила в колыбель Панджандрамов. Я слышал о том, что вы проделывали в детстве; мне говорили, будто вы...

Великая княжна. Ха, ха! О да! Когда я была девочкой, меня однажды повели в цирк, и там я поняла, что значит быть счастливой, там я впервые в жизни почувствовала себя наверху блаженства — и убежала с цирковой труппой. Меня поймали и снова посадили в золоченую клетку, но я вкусила свободы и заставить меня забыть ее было уже невозможно.

Страмфест. Свобода! Быть рабыней акробата! Выставляться на потеху публике!..

Великая княгиня. О, этому меня выучили дома. Эту науку я постигала при дворе.

Страмфест. Вас не учили выходить полураздетой и кувыркаться через голову...

Великая княжна. Оставьте! Я *хотела* сбросить свои дурацкие наряды и кувыркаться через голову! Хотела, понимаете, хотела! Я и сейчас еще на это способна. Показать?

Страмфест. Клянусь, я выброшусь в окно. Уж лучше мне встретиться с вашими родителями в раю, чем ждать, пока они сорвут ордена с моей груди.

Великая княжна. Вы неисправимы, вы безумны, вы ослеплены. Даже когда мы сходим со своих пьедесталов и в глаза объявляем вам, что вас одурачили, вы не в состоянии поверить, что коронованное семейство — это самые обыкновенные смертные. Не буду больше с вами спорить и попросту воспользуюсь своей властью. Стоит мне сказать слово — и ваши люди обернутся против вас. Половина ваших подчиненных уже не отдает вам честь, и вы не смеете наказать их, вам приходится закрывать на это глаза.

Страмфест. Не вам укорять меня за это.

Великая княжна *(высокомерно)*. Укорять? Мне, великой княжне, укорять простого генерала? Вы забываетесь, сэр!

Страмфест *(покорно опускается на одно колено)*. Вот теперь вы говорите как подобает особе королевской крови.

Великая княжна. Ах, Страмфест, Страмфест, вас сделали

рабом до мозга костей. Отчего вы не плюнете мне в лицо?

Страмфест *(в ужасе вскакивает)*. Господи помилуй!

Великая княжна. Что ж, раз вы непременно хотите быть моим рабом, извольте подчиняться. Я пришла сюда не для того, чтобы спасать нашу несчастную династию и нашу запятнанную кровью корону. Я пришла, чтобы спасти революцию.

Страмфест. Может быть, я и глуп, но я согласен: лучше спасти хоть что-то, чем дать погибнуть всему на свете. Но что революция сделает для народа? Не верьте прекрасноречию революционных ораторов и прокламациям революционных писателей! Много ли свободы там, где они пришли к власти? Разве они не вешают, не расстреливают, не арестовывают точно так же, как это делали мы? Разве они говорят народу правду? Нет! Если правда их не устраивает, они распространяют ложь, а за правду казнят.

Великая княжна. Ну разумеется. Почему бы им этого не делать?

Страмфест *(не веря своим ушам)*. Почему бы им этого не делать?

Великая княжна. Да, почему бы им этого не делать? Мы поступали точно так же. Вы сами этим занимались – секли женщин плетьми за то, что они учили детей читать книги.

Страмфест. Мятежные книги. Карла Маркса.

Великая княжна. Чушь! Как это можно научить ребенка читать Библию и при этом не научить его читать Карла Маркса? Чем выдумывать глупые оправдания, беритесь за оружие и исправляйте свои ошибки. Осудив вас за то, что вы секли женщин, я еще больше осуждаю вас за то, что вы секли мужчин! Ведь я сама женщина.

Страмфест. Я вас не понимаю, ваше высочество. По-моему, вы себе противоречите.

Великая княжна. Ничего подобного! Я просто говорю, что если народ не может сам управлять своей жизнью, значит им должен управлять кто-то другой. Если народ не хочет добровольно исполнять свои обязанности, а хочет, чтобы его принуждали и обманывали, значит, кто-то должен принуждать и обманывать его. У власти должна быть небольшая группа людей – но людей способных и энергичных. Из всех подобных групп я принимаю сторону той, чьи принципы совпадают с моими. Революция так же жестока, как Панджандрамы, но ее цели сов-

падают с моими. И потому я — на стороне революции.

Страмфест. Вы сами не понимаете, что говорите. Это же чистый большевизм. Вы, дочь Панджандрама, — большевичка?

Великая княжна. Я готова стать кем угодно, лишь бы сделать мир меньше похожим на тюрьму и больше — на цирк.

Страмфест. Ага! Вам все еще хочется стать цирковой знаменитостью!

Великая княжна. Да! И чтобы в афише стояло: императрица-большевичка. Меня ничто не остановит. Генерал Страмфест, я вам приказываю: спасите революцию!

Страмфест. Какую революцию? Какую? Их сотни! Найдите мне двух оборванцев-революционеров, у которых было бы одинаковое представление о революции! Что может спасти толпу, если в ней каждый рвется в свою сторону?

Великая княжна. Только одно — война.

Страмфест. Война?

Великая княжна. Да, война. Только перед лицом общей опасности все эти враждующие партии поймут, что у всех нас одна задача, и сплотятся в единую державу.

Страмфест. Браво! Я всегда говорил, что война лечит от всех болезней. Но чего стоит единая держава, если у нее нет единой армии? И что я тут могу поделать? Я всего лишь солдат. Я не умею говорить речи, я не одержал ни одной победы. Армия не пойдет за мной. *(Снова уныло опускается на стул.)*

Великая княжна. И за мной не пойдет?

Страмфест. О, если б только вы были мужчиной! Если б только вы были солдатом!

Великая княжна. Допустим, я вам найду мужчину и солдата?

Страмфест *(в ярости вскакивает)*. А! Этого негодяя, с которым вы удрали! Думаете через мою голову поставить его во главе армии? Не выйдет!

Великая княжна. Вы обещали все исполнить, вы поклялись. *(Марширует, словно она перед строем солдат.)* Я знаю, что только этот человек может вдохновить армию.

Страмфест. Вы заблуждаетесь! Вы потеряли голову! Какой-нибудь циркач, в которого вы влюблены.

Великая княжна. Клянусь, что я в него не влюблена. Клянусь, что никогда не буду его женой.

Страмфест. Кто же он такой?

Великая княжна. Любой другой на вашем месте давно догадался бы. Этот человек – у вас перед глазами.

Страмфест *(оглядываясь кругом)*. Где?

Великая княжна. Посмотрите в окно.

Генерал бросается к окну. Великая княжна скидывает шубу и оказывается в мундире панджеробаенского гусара

Страмфест *(глядя в окно)*. Где он? Я никого не вижу

Великая княжна. Здесь, глупый вы человек.

Страмфест *(обернувшись)*. Вы! Святые небеса! Императрица-большевичка!

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

Фантазии в русском стиле
на английские темы

1913–1919

HEARTBREAK HOUSE

«Дом, где разбиваются сердца» — это не просто название пьесы, к которой эта статья служит предисловием. Это культурная, праздная Европа перед войной. Когда я начинал писать эту пьесу, не прозвучало еще ни единого выстрела и только профессиональные дипломаты да весьма немногие любители, помешанные на внешней политике, знали, что пушки уже заряжены. У русского драматурга Чехова есть четыре прелестных этюда для театра о Доме, где разбиваются сердца, три из которых — «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Чайка» — ставились в Англии. Толстой в своих «Плодах просвещения» изобразил его нам, как только умел он — жестоко и презрительно. Толстой не расточал на него своего сочувствия: для Толстого это был Дом, где Европа душила свою совесть. И он знал, что из-за нашей крайней расслабленности и суетности в этой перегретой комнатной атмосфере миром правят бездушная невежественная хитрость и энергия со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями. Толстой не был пессимистом: он вовсе не хотел оставлять Дом на месте, если мог обрушить его прямо на головы красивых и милых сластолюбцев, обитавших в нем. И он бодро размахивал киркой. Он смотрел на них как на людей, отравившихся опиумом, когда надо хватать пациентов за шиворот и грубо трясти их, пока они не очухаются. Чехов был более фаталист и не верил, что эти очаровательные люди могут выкарабкаться. Он считал, что их продадут с молотка и выставят вон; поэтому он не стесняясь подчеркивал их привлекательность и даже льстил им.

ОБИТАТЕЛИ ДОМА

В Англии, где театры являются просто обыкновенным коммерческим предприятием, пьесы Чехова, менее доходные, чем качели и карусели, выдержали всего несколько спектаклей в «Театральном обществе». Мы таращили глаза и говорили: «Как это по-русски!» А мне они не показались только русскими: точно так же, как действие чрезвычайно норвежских пьес Ибсена могло быть с легкостью перенесено в любой буржуазный или интеллигентский загородный дом в Европе, так и события этих чрезвычайно русских пьес могли произойти во всяком европей-

ском поместье, где музыкальные, художественные, литературные и театральные радости вытеснили охоту, стрельбу, рыбную ловлю, флирт, обеды и вино. Такие же милые люди, та же крайняя пустота. Эти милые люди умели читать, иные умели писать; и они были единственными носителями культуры, которые по своему общественному положению имели возможность вступать в контакт с политическими деятелями, с чиновниками и владельцами газет и с теми, у кого была хоть какая-то возможность влиять на них или участвовать в их деятельности. Но они сторонились таких контактов. Они ненавидели политику. Они не желали реализовать Утопию для простого народа: они желали в своей собственной жизни реализовать любимые романы и стихи и, когда могли, не стесняясь жили на доходы, которых вовсе не заработали. Женщины в девичестве старались походить на звезд варьете, а позже успокаивались на типе красоты, изобретенном художниками предыдущего поколения. Обитатели Дома заняли единственное место в обществе, где можно было обладать досугом для наслаждения высшей культурой, и превратили его в экономическую, политическую и — насколько это было возможно — моральную пустоту. И поскольку природа, не принимающая пустоты, немедленно заполнила его сексом и всеми другими видами изысканных удовольствий, это место стало в лучшем случае привлекательнейшим местом в часы отдыха. В другие моменты оно делалось гибельным. Для премьер-министров и им подобных оно было настоящей Капуей.

ЗАЛ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Но где еще могли устроиться уютно наши заправилы, как не здесь? Помимо Дома, где разбиваются сердца, можно было еще устроиться в Зале для верховой езды. Он состоял из тюрьмы для лошадей и пристройки для дам и джентльменов, которые ездили на лошадях, гоняли их, говорили о них, покупали их и продавали и девять десятых своей жизни готовы были положить на них, а оставшуюся, десятую часть делили между актами милосердия, хождением в церковь (что заменяет религию) и участием в выборах на стороне консерваторов (что заменяет политику). Правда, два эти учреждения соприкасались: изгнанных из библиотеки, из музыкального салона и картинной галереи можно было подчас встретить изнывающими в конюшнях и ужасно недовольными; а отважные всадницы, засыпающие при первых звуках Шумана, оказывались совсем не к месту в са-

дах Клингсора. Иногда все-таки попадались и объездчики лошадей, и губители душ, которые жили припеваючи там и здесь. Однако, как правило, два этих мира существовали раздельно и знать не знали друг друга, так что премьер-министру и его присным приходилось выбирать между варварством и Капуей. И трудно сказать, какая из двух атмосфер больше вредила умению управлять государством.

РЕВОЛЮЦИЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Дом, где разбиваются сердца, был близко знаком с революционными идеями — на бумаге. Его обитатели стремились быть передовыми и свободомыслящими и почти никогда не ходили в церковь и не соблюдали воскресного дня, разве что в виде забавы в конце недели. Приезжая в Дом, чтобы остаться там с пятницы по вторник, на полке в своей спальне вы находили книги не только поэтов и прозаиков, но также и революционных биологов и даже экономистов. Без нескольких пьес — моих и м-ра Гренвилл-Баркера, без нескольких повестей м-ра Г. Дж. Уэллса, м-ра Арнолда Беннета и м-ра Джона Голсуорси — Дом не был бы передовым. Из поэтов вы могли найти там Блейка, а рядом с ним Бергсона, Батлера, Скотта Холдейна, стихи Мередита и Томаса Харди и, вообще говоря, все литературные пособия, нужные для формирования сознания настоящего современного социалиста и творческого эволюциониста. Забавно было провести воскресенье, просматривая эти книги, а в понедельник утром читать в газете, как страну едва не довели до анархии, потому что новый министр внутренних дел или начальник полиции (его прабабушка не стала бы тут и оправдываться) отказался «признать» какой-нибудь могущественный профсоюз, совсем так, как если бы гондола отказалась признать лайнер водоизмещением в 20 000 тонн.

Короче говоря, власть и культура жили врозь. Варвары не только буквально сидели в седле, но сидели они и на министерской скамье в палате общин, и некому было исправлять их невероятное невежество в области современной мысли и политической науки, кроме выскочек из счетных контор, занятых не столько своим образованием, сколько своими карманами. Однако и те и другие знали, как обходиться и с деньгами, и с людьми, то есть умели собирать одни и использовать других; и хотя это столь же неприятное умение, как и умение средневекового разбойного барона, оно позволяло людям по-старому управлять имением или предприятием без надлежащего понимания дела,

совсем так, как торговцы с Бонд-стрит и домашние слуги поддерживают жизнь модного общества, вовсе не изучая социологии.

ВИШНЕВЫЙ САД

Люди из Дома, где разбиваются сердца, не могли, да и не хотели заниматься ничем подобным. Набив свои головы предчувствиями м-ра Г. Дж. Уэллса — в то время как в головах наших тогдашних правителей не держались даже предчувствия Эразма или сэра Томаса Мора,— они отказывались от тягостной работы политиков, а если бы вдруг и согласились на нее, вероятно, делали бы ее очень плохо. Им и не позволяли вмешиваться, потому что в те дни «всеобщего голосования», только оказавшись по случайности наследственным пэром, мог кто-либо, обремененный солидным культурным снаряжением, попасть в парламент. Но если бы им и было позволено вмешиваться, привычка жить в пустоте сделала бы их беспомощными и неумелыми в общественной деятельности. И в частной-то жизни они нередко проматывали наследство, как герои «Вишневого сада». Даже теми, кто жил по средствам, в действительности руководили их поверенные по делам или агенты, ибо господа не умели управлять имением или вести предприятие, если их все время не подталкивали другие, кому пришлось самим решать задачу: либо выучиться делу, либо умереть с голоду.

От так называемой демократии при таких обстоятельствах нельзя было ожидать какой-либо помощи. Говорят, каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Вернее было бы сказать, что каждое правительство имеет тех избирателей, которых заслуживает, потому что ораторы с министерской скамьи по своей воле могут просветить или развратить наивных избирателей. Таким образом, наша демократия вращается в порочном круге очередной порядочности и непорядочности.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ ПРИРОДЫ

У Природы способ справляться с нездоровыми условиями, к несчастью, не такой, какой заставляет нас придерживаться гигиенической платежеспособности на основании наличных средств. Природа деморализует нас долгосрочным кредитом и опрометчивыми выдачами сверх положенного и вдруг огороши-

вает жестоким банкротством. Возьмем, например, обыкновенную санитарию в домах. Целое поколение горожан может полностью и самым возмутительным образом пренебрегать ею если не абсолютно безнаказанно, то, во всяком случае, без вредных последствий, которых можно было бы ожидать в результате таких действий. В больнице два поколения студентов-медиков могут мириться с грязью и небрежностью, а выйдя из нее, заниматься обычной практикой и распространять теории, будто свежий воздух — просто причуда, а санитария — жульничество, установленное ради корысти водопроводчиков. Затем Природа внезапно начинает мстить. Она поражает город заразой, а больницу — эпидемией госпитальной гангрены и крушит насмерть направо и налево, пока невинная молодежь не расплатится сполна за грехи старших, и тогда счет выравнивается. А потом Природа засыпает снова и отпускает новый долгосрочный кредит с тем же результатом.

Вот как раз это и произошло в нашей политической гигиене. В мое время правительство и избиратели так же беззаботно пренебрегали политической наукой, как Лондон пренебрегал элементарной гигиеной во времена Карла Второго. Дипломатия в международных сношениях — всегда ребячески беззаконное дело, дело семейных распрей, коммерческого и территориального разбоя и апатии псевдодобродушия, происходящей от лености, перемежающейся спазматическими приступами яростной деятельности, вызываемой страхом. Но на наших островах мы кое-как выпутывались. Природа отпустила нам кредит на более долгий срок, чем Франции, Германии или России. Британским столетним старикам, умиравшим у себя в постели в 1914 году, жуткая необходимость прятаться в лондонском метро от вражеских бомб казалась более отдаленной и фантастичной, чем страх перед появлением колонии кобр и гремучих змей в кенсингтонских садах. В своих пророческих сочинениях Чарлз Диккенс предостерегал нас против многих бедствий, которые с тех пор уже постигли нас, но быть убитым чужестранным врагом на пороге собственного дома — там о таком бедствии не было и помину. Природа отпустила нам весьма долгосрочный кредит, и мы злоупотребляли им в крайней степени. Но когда она наконец поразила нас, она поразила нас с лихвой: четыре года она косила наших первенцев и насылала на нас бедствия, какие не снились Египту. Их можно было предотвратить, как великую лондонскую чуму, и они случились лишь потому, что не были предотвращены. Их не искупила наша победа в войне. Земля до сих пор вспухает от мертвых тел победителей.

Трудно сказать, что хуже: равнодушие и небрежность или лживая теория. Но Дом, где разбиваются сердца, и Зал для верховой езды, к сожалению, страдали и от того и от другого. Перед войной цивилизация целых полстолетия стремительно неслась ко всем чертям под влиянием псевдонауки столь же гибельной, как самый черный кальвинизм. Кальвинизм учил, что мы по предопределению будем либо спасены, либо прокляты и что бы мы ни делали, ничто не может изменить нашей судьбы. Все же, не подсказывая человеку, какой номер он вытащил — счастливый или несчастливый, кальвинизм тем самым оставлял индивидууму известную заинтересованность, поддерживая в нем надежду на спасение и умеряя его страх перед вечным проклятием, если он станет поступать, как подобает избранному, а не как нечестивцу. Но в середине девятнадцатого столетия натуралисты и физики заверили мир именем науки, что и спасение, и погибель — сплошная чепуха и что предопределение есть главная религиозная истина, так как человеческие существа являются производными среды и, следовательно, их грехи и добрые дела оказываются лишь рядом химических и механических реакций, над которыми люди власти не имеют. Такие вымыслы, как разум, свободный выбор, цель, совесть, воля и так далее, учили они, всего-навсего иллюзии, которые сочиняются, ибо приносят пользу в постоянной борьбе человеческого механизма за поддержание своей среды в благоприятном состоянии — процессе, между прочим, включающем безжалостное уничтожение или подчинение конкурентов по добыче средств существования, каковые считаются ограниченными. Этой религии мы научили Пруссию. Пруссия же так успешно воспользовалась нашими указаниями, что вскоре мы оказались перед необходимостью уничтожить Пруссию, чтобы не дать Пруссии уничтожить нас. И все это закончилось взаимным истреблением, и таким жестоким, что в наши дни это едва ли окажется поправимым.

Позволительно задать вопрос: как такое дурацкое и такое опасное вероучение могло стать приемлемым для человеческих существ? Я отвечу на это более подробно в следующем томе моих пьес, полностью посвященных этой теме. Пока я скажу только, что имелись и другие, более солидные основания, кроме очевидной возможности использовать эту обманную науку: она открывала перед глупцами научную карьеру и все другие карьеры перед бесстыжими негодяями, буде они окажутся достаточно прилежны. Правда, действие этого мотива было очень сильно.

Но когда возникло новое движение в науке, связанное с именем великого натуралиста Чарлза Дарвина, оно было не только реакцией против варварской псевдоевангельской телеологии, нетерпимой противницы всякого прогресса в науке; его сопровождали, как оказывалось, чрезвычайно интересные открытия в физике, химии, а также тот мертвый эволюционный метод, который его изобретатели назвали естественным отбором. Тем не менее в этической сфере это дало единственно возможный результат — произошло изгнание совести из человеческой деятельности или, как пылко выражался Сэмюэл Батлер, «разума из вселенной».

ИПОХОНДРИЯ

Все-таки Дом, где разбиваются сердца, с Батлером и Бергсоном и Скоттом Холдейном рядом с Блейком и другими более великими поэтами на своих книжных полках (не говоря уж о Вагнере и тональных поэтах), не был окончательно ослеплен тупым материализмом лабораторий, как это случилось с остальным некультурным миром. Но так как он был Домом праздности, то страдал ипохондрией и всегда гонялся за способом излечения. То он переставал есть мясо (но не по веским причинам, как Шелли, а стараясь спастись от страшилища, называемого мочевиной), то разрешал вам вырвать все свои зубы, чтобы заговорить другого дьявола, под названием пиорея. Дом был суеверен, привержен к столоверчению, к сеансам материализации духов, к ясновидению, к хиромантии, к гаданию сквозь магический кристалл и тому подобному, и притом в такой степени, что можно было задуматься: процветали ли так когда-нибудь в мировой истории предсказатели, астрологи и всякого рода врачи-терапевты без дипломов, как они процветали в ту половину столетия, когда оно уже уходило в небытие. Дипломированным врачам и хирургам нелегко было соревноваться с недипломированными. Они не умели при помощи уловок актера, оратора, поэта и мастера увлекательного разговора воздействовать на воображение и общительность обитателей Дома. Они грубо работали устарелыми методами, пугая заразой и смертью. Они предписывали прививки и операции. Если можно было вырезать из человека какую-нибудь часть, не погубив его при этом (без необходимости),— они ее вырезали. И часто человек умирал именно вследствие этого (без необходимости, разумеется). От таких пустяков, как язычок в глотке или миндалины, они переходили к яичникам и аппендиксам, пока

наконец внутри у тебя уже ничего не оставалось. Они объясняли вам, что человеческий кишечник слишком длинен и ничто не может сделать сына Адамова здоровым, кроме укорочения пищеварительного тракта, для чего надо вырезать кусок из нижней части кишечника и пришить его непосредственно к желудку. Так как их механистическая теория учила, что медицина есть дело лаборатории, а хирургия — дело столярной мастерской, а также что наука (под которой они разумели свои махинации) столь важна, что незачем принимать в соображение интересы какого-либо индивидуального существа, будь то лягушка или философ, и того менее учитывать вульгарные пошлости сентиментальной этики, ибо все это ни на миг не может перевесить отдаленнейшие и сомнительнейшие возможности сделать вклад в сумму научного познания,— то они оперировали, и прививали, и лгали в огромном масштабе. И требовали при этом себе законной власти — и действительно добивались ее — над телом своих сограждан, какой никогда не смели требовать ни король, ни папа, ни парламент. Сама инквизиция была либеральным учреждением по сравнению с главным медицинским советом.

КТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ЖИТЬ, ДОЛЖЕН ПОХВАЛЯТЬСЯ СВОЕЙ ПОГИБЕЛЬЮ

Обитатели Дома, где разбиваются сердца, были слишком ленивы и поверхностны, чтобы вырваться из этого заколдованного терема. Они восторженно толковали о любви; но они верили в жестокость. Они боялись жестоких людей; но видели, что жестокость по крайней мере действенна. Жестокость совершала то, что приносило деньги. А любовь доказывала лишь справедливость изречения Ларошфуко, будто мало кто влюблялся бы, если б раньше не читал о любви. Короче говоря, в Доме, где разбиваются сердца, не знали, как жить, и тут им оставалось только хвастаться, что они, по крайней мере, знают, как умирать: грустная способность, проявить которую разразившаяся война дала им практически беспредельные возможности. Так погибли первенцы Дома, где разбиваются сердца; и юные, невинные, и подающие надежды искупали безумие и никчемность старших.

Только те, кто пережил первосортную войну не на передовой, а дома, в тылу, и сохранил при этом голову на плечах, могут, вероятно, понять горечь Шекспира или Свифта, которые оба прошли через такое испытание. Слабым по сравнению с этим был ужас Пера Гюнта в сумасшедшем доме, когда безумцы, возбужденные миражем великого таланта и видéнием занимающегося тысячелетия, короновали его в качестве своего императора. Не знаю, удалось ли кому-нибудь в целости сохранить рассудок, кроме тех, кому приходилось сохранять его, потому что они прежде всего должны были руководить войной. Я не сохранил бы своего (насколько он у меня сохранился), не пойми я сразу, что как у писателя и оратора у меня тоже были самые серьезные общественные обязательства держаться реальной стороны вещей; однако это не спасло меня от изрядной доли гиперэстезии. Встречались, разумеется, счастливые люди, для кого война ничего не значила: всякие политические и общие дела лежали вне узкого круга их интересов. Но обыкновенный, сознающий явление войны штатский сходил с ума, и тут главным симптомом было убеждение, что нарушен весь природный порядок. Вся пища, чувствовал он, теперь должна быть фальсифицирована. Все школы должны быть закрыты. Нельзя посылать объявления в газеты, новые выпуски которых должны появляться и раскупаться в ближайшие десять минут. Должны прекратиться всякие переезды, или, поскольку это было невозможно, им должны чиниться всяческие препятствия. Всякие притязания на искусства и культуру и тому подобное надо забыть, как недопустимое жеманство. Картинные галереи, и музеи, и художественные школы должны быть сразу заняты военнослужащими. Сам Британский музей еле-еле спасся. Правдивость всего этого, да и многого другого, чему, вероятно, и не поверили бы, вздумай я это пересказывать, может быть подтверждена одним заключительным примером всеобщего безумия. Люди предавались иллюзии, будто войну можно выиграть, жертвуя деньги. И они не только подписывались на миллионы во всяческие фонды непонятного назначения и вносили деньги на смехотворные добровольные организации, стремившиеся заниматься тем, что явно было делом гражданских и военных властей, но и самым настоящим образом отдавали деньги любому жулику на улице, у кого хватало присутствия духа заявить, будто он (или она) «собирает средства» для уничтожения врага. Мошенники вступали в должность, назывались «Лигой против врага» и просто прикарманивали сыпавшиеся на них

деньги. Нарядно одетые молодые женщины сообразили, что им достаточно просто вышагивать по улице с кружкой для пожертвования в руках и преспокойно жить на такие доходы. Миновало много месяцев, прежде чем, в порядке первого признака оздоровления, полиция упрятала в тюрьму одного антигерманского министра, «pour encourager les autres»,[1] и оживленные кружечные сборы с бумажными флажками стали несколько регулироваться.

БЕЗУМИЕ В СУДАХ

Деморализация не обошла и суд. Солдаты получали оправдание даже при полностью доказанном обвинении в предумышленном убийстве, пока наконец судьи и должностные лица не были вынуждены объявить, что так называемый «неписаный закон» — а это просто значило, будто солдат мог делать все, что ему угодно, в гражданской жизни,— не был законом Англии и что крест Виктории не давал права на вечную и неограниченную безнаказанность. К сожалению, безумие присяжных и судей сказывалось не всегда в одном потворстве. Человек, по несчастью обвиненный в каком-либо поступке, вполне логичном и разумном, но без оттенка военного исступления, имел самую малую надежду на оправдание. В Англии к тому же имелось известное число людей, сознательно отказывавшихся от военной службы как от установления преступного и противного христианству. Акт парламента, вводивший обязательную воинскую повинность, легко освобождал этих людей; от них требовалось только, чтобы они доказали искренность своих убеждений. Те, кто делал это, поступали неблагоразумно с точки зрения собственных интересов, ибо с варварской последовательностью их судили, несмотря на закон. Тем же, кто вовсе не заявлял, что имеет какие-либо возражения против войны, и не только проходил военное обучение в офицерских подготовительных войсках, но и объявлял публично, что вполне готов участвовать в гражданской войне в защиту своих политических убеждений,— тем разрешалось воспользоваться парламентским актом на том основании, что они не сочувствовали именно этой войне. К христианам не проявлялось никакого милосердия. Даже когда имелись недвусмысленные доказательства их смерти «от дурного обращения» и приговор с несомненностью определил бы предумышленное убийство, даже в тех случаях, если расположение ко-

[1] Для поощрения прочих *(франц.)*.

ронерских присяжных склонялось в другую сторону,— их убийцы беспричинно объявлялись невиновными. Существовала только одна добродетель — желание лезть в драку и только один порок — пацифизм. Это основное условие войны. Но правительству не хватало мужества издавать соответствующие постановления; и его закон отодвигался, уступая место закону Линча.

Законное беззаконие достигло своего апогея во Франции. Величайший в Европе государственный деятель — социалист Жорес был застрелен джентльменом, которому не нравились старания Жореса избежать войны. В господина Клемансо стрелял другой джентльмен, придерживающийся менее распространенных мнений, и тот счастливо отделался тем, что был вынужден на всякий случай провести несколько дней в постели. Убийца Жореса был, несмотря ни на что, оправдан; предполагавшийся убийца господина Клемансо был из предосторожности признан виновным. Нечего сомневаться, так случилось бы и в Англии, начнись война с удачного убийства Кейра Харди и окончись она неудачной попыткой убить министра Ллойд Джорджа.

СИЛА ВОЙНЫ

Эпидемия, обычно сопутствующая войне, называлась инфлюэнцей. Сомнение в том, была ли она действительно болезнью войны, порождал тот факт, что больше всего она наделала бед в местах, отдаленных от полей сражения, особенно на западном побережье Северной Америки и в Индии. Но нравственная эпидемия, бывшая несомненно болезнью войны, воспроизвела этот феномен. Легко было бы предположить, что военная лихорадка сильней всего станет бушевать в странах, на самом деле находящихся под огнем, а другие будут держаться поблагоразумней. Бельгии и Фландрии, где на широких пространствах буквально камня на камне не осталось, пока армии противников после ужасающих предварительных бомбардировок топтались по ней и толкали друг друга то взад, то вперед,— этим странам было бы простительно выражать свои чувства более резко, чем простым пожиманием плеч да словами: «C'est la guerre».[1] *От Англии, остававшейся нетронутой в течение стольких столетий, что военные налеты на ее поселения казались уже так же маловероятны, как повторение вселенского потопа, трудно было ожидать сдержанности, когда она узнала наконец, каково прятаться по подвалам и в станциях подземки,*

[1] Такова война! *(франц.)*

каково лежать в постели, содрогаясь и слушая, как разрывались бомбы, разваливались дома, а зенитки сыпали шрапнелью без разбору по своим и чужим, так что некоторые витрины в Лондоне, ранее занятые модными шляпками, начали заполняться стальными шлемами. Убитые и изувеченные женщины и дети, сожженные и разрушенные жилища в сильной степени извиняют ругань и вызывают гнев, и много раз еще зайдет и взойдет солнце, прежде чем он утихомирится. Но как раз в Соединенных Штатах Северной Америки, где война никому не мешала спать, именно там военная лихорадка разразилась вне пределов всякого здравого смысла. В судах Европы возникло мстительное беззаконие; в судах Америки царствовало буйное умопомешательство. Не мне выписывать экстравагантные выходки союзной державы: пусть это сделает какой-нибудь беспристрастный американец. Могу только сказать, что для нас, сидевших в своих садиках в Англии, когда пушки во Франции давали о себе знать сотрясением воздуха так же безошибочно, как если бы мы слышали их, или когда мы с замиранием сердца следили за фазами луны в Лондоне, поскольку от них зависело, устоят ли наши дома и останемся ли в живых мы сами к следующему утру, для нас газетные отчеты о приговорах в американских судах, выносимых равным образом молоденьким девушкам и старикам за выражение мнений, которые в Англии высказывались перед полным залом под гром аплодисментов, а также более частные сведения о методах, какими распространялись американские военные займы,— для нас все это было так удивительно, что на миг начисто заставляло забывать и про пушки, и про угрозу налета.

ЗЛОБНЫЕ СТОРОЖЕВЫЕ ПСЫ СВОБОДЫ

Не довольствуясь злоупотреблениями в суде и нарушениями существующего закона, военные маньяки яростно набрасывались на все конституционные гарантии свободы и благополучия, стремясь отменить их. Обычный закон заменялся парламентскими актами, на основании которых совершались простые полицейские налеты à la russe,[1] *редакции газет захватывались, печатные станки разбивались, а люди арестовывались и расстреливались без всякого подобия судебного разбирательства или открытой процедуры с привлечением свидетелей. Хотя было насущно необходимо увеличивать продукцию, применяя самую*

[1] В русском духе *(франц.)*.

передовую организацию труда и его экономию, и хотя давно было установлено, что чрезмерная длительность и напряженность труда сильно уменьшают продукцию вместо того, чтобы увеличивать ее, действие фабричных законов приостанавливалось и мужчин и женщин отчаянно эксплуатировали, пока снижение эффективности труда не стало слишком явным и его нельзя было далее игнорировать. Любые возражения и предостережения встречали обвинение в германофильстве, либо звучала формула: «Не забывайте, у нас сейчас война». Я говорил, что люди считали, будто война опрокинула естественный порядок и будто все погибнет, если мы не будем делать как раз противоположное тому, что в мирное время всегда считалось необходимым и полезным. Но истина оказалась еще хуже. Война не могла так изменить человеческий рассудок. На самом деле столкновение с физической смертью и разрушением, этой единственной реальностью, понятной каждому дураку, сорвало маску образованности, искусства, науки и религии с нашего невежества и варварства, и мы остались голыми всем напоказ и могли до одури утираться внезапно открывшейся возможностью проявлять наши худшие страсти и самый малодушный страх. Еще Фукидид в своей истории написал, что, когда ангел смерти затрубит в трубу, все претензии на цивилизацию сдунет с души человека в грязь, словно шляпу порывом ветра. Но, когда эти слова исполнились в наше время, потрясение не оказалось для нас менее страшным оттого, что несколько ученых, занимавшихся греческой историей, ему не удивились. Ведь эти ученые ринулись в общую оргию так же бесстыдно, как и невежды. Христианский священнослужитель присоединялся к военной пляске, даже не сбрасывая сутаны, а почтенный директор школы изгонял преподавателя-немца, не скупясь на брань, применяя физическое насилие и объявляя, что ни один английский ребенок никогда больше не должен изучать язык Лютера и Гете. И путем самого бесстыдного отказа от всяких приличий, свойственных цивилизации, и отречения от всякого политического опыта оба получали моральную поддержку со стороны тех самых людей, кому в качестве университетских профессоров, историков, философов и ученых доверялась охрана культуры. Было только естественно и, быть может, даже необходимо для целей вербовки, чтобы журналисты и вербовщики раскрашивали черной и красной краской германский милитаризм и германское династическое честолюбие, доказывая, какую опасность представляют они для всей Европы (как это и было на самом деле). При этом подразумевалось, будто наше собственное политическое устройство и наш собственный милитаризм издре-

вле демократичны (каковыми они, разумеется, не являются). Однако, когда дело дошло до бешеного обличения немецкой химии, немецкой биологии, немецкой поэзии, немецкой музыки, немецкой литературы, немецкой философии и даже немецкой техники, как неких зловредных мерзостей, выступающих против британской и французской химии и так далее и так далее,— стало ясно, что люди, доходившие до такого варварского бреда, никогда в действительности не любили и не понимали искусства и науки, которые они проповедовали и профанировали. Что они просто плачевно выродившиеся потомки тех людей семнадцатого и восемнадцатого столетий, кто, не признавая никаких национальных границ в великом царстве человеческого разума, высоко ставили взаимную европейскую вежливость в этом царстве и даже вызывающе поднимали ее над кипящими злобой полями сражений. Срывать орден Подвязки с ноги кайзера, вычеркивать немецких герцогов из списков наших пэров, заменять известную и исторически присвоенную фамилию короля названием некой местности, не имеющей традиций, было не очень достойным делом. Но выскабливать немецкие имена из британских хроник науки и образованности было признанием того, что в Англии уважение к науке и образованности является лишь позой, за которой кроется дикарское к ним презрение. Чувствуешь, что фигуру святого Георгия с драконом пора заменить на наших монетах фигурой солдата, пронзающего копьем Архимеда. Но в то время монет не было — были только бумажные деньги, и десять шиллингов называли себя фунтом так же самоуверенно, как люди, унижавшие свою страну, называли себя патриотами.

МУКИ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ

Душевные страдания, сопряженные с жизнью под непристойный грохот всех этих карманьол и корробори, были не единственным бременем, ложившимся на тех, кто во время войны все же оставался в своем уме. Было еще (осложненное оскорбленным экономическим чувством) эмоциональное напряжение, которое вызывалось списками погибших и раненных на войне. Глупцы, эгоисты и тупицы, люди без сердца и без воображения были от него в значительной степени избавлены. «Так часты будут кровь и гибель, что матери лишь улыбнутся, видя, как рука войны четвертует их детей» — это шекспировское пророчество теперь почти исполнялось. Ибо, когда чуть не в каждом доме оплакивали убитого сына, можно было бы совсем сойти с ума,

если б мы меряли собственные утраты и утраты своих друзей мерою мирного времени. Нам приходилось придавать им фальшивую стоимость, утверждать, будто молодая жизнь достойно и славно принесена в жертву ради свободы человечества, а не во искупление беспечности и безумия отцов, и искупления напрасного. Мы должны были даже считать, будто родители, а не дети приносили жертвы, пока наконец юмористические журналы не принялись сатирически изображать толстых старых людей, уютно устроившихся в креслах своих клубов и хвастающих сыновьями, которых они «отдали» своей родине.

Кто поскупился бы на такое лекарство, лишь бы утолить острое личное горе! Но тем, кто знал, что молодежь набивала себе оскомину из-за того, что родители объедались кислым политическим виноградом,— тем это только прибавляло горечи. А подумайте о самих этих молодых людях! Многие ничуть не обольщались политикой, которая вела к войне: с открытыми глазами шли они выполнять ужасный, отвратительный долг. Люди по существу добрые и по существу умные, занимавшиеся полезной работой, добровольно откладывали ее в сторону и проводили месяц за месяцем, строясь по четверо в казарменном дворе, и средь бела дня кололи штыком мешки, набитые соломой, с тем чтобы потом отправляться убивать и калечить людей, таких же добрых, как они сами. Люди, бывшие в общем, быть может, нашими самыми умелыми воинами (как Фредерик Килинг, например), ничуть не были одурачены лицемерной мелодрамой, которая утешала и вдохновляла других. Они бросали творческую работу, чтобы работать ради разрушения, совсем так, как они бросали бы ее, чтобы занять свое место у насосов на тонущем корабле. Они не отступали в сторону, как иные, не соглашавшиеся идти на военную службу по политическим или религиозным соображениям, не отказывались от дела потому, что командиры на корабле были повинны в недосмотре, или потому, что другие с корабля удирали. Корабль надо было спасать, даже если ради этого Ньютону пришлось бы бросить дифференциальное исчисление, а Микеланджело — статуи. И они отбрасывали прочь орудия своего благодетельного и облагораживающего труда и брались за окровавленный штык и убийственную гранату, насильно подавляя свой божественный инстинкт совершенного художественного творчества для ловкого орудования этими проклятыми предметами, а свои организаторские способности отдавая замыслам разрушения и убийства. Ведь их трагедия принимала даже иронический оттенок оттого, что таланты, которые они вынуждены были проституировать, делали проституцию не только эффективной, но даже ин-

тересной. И в результате некоторые быстро выдвигались и наперекор себе действительно становились артистами, художниками войны и начинали испытывать к ней вкус, как Наполеон и другие бичи человечества. Однако у многих не было даже и этого утешения. Они только терпеливо тянули лямку и ненавидели войну до самого конца.

ЗЛО НА ПРЕСТОЛЕ ДОБРА

Эти переживания людей беззлобных были так болезненны что испытывавшие их в гражданской жизни, те, кто не проливал крови и не видел смерти и разрушений собственными глазами, даже старались скрывать свои личные беды. Однако и тем кому приходилось писать и говорить о войне, сидя у себя дома, в безопасности, не легко было отбрасывать в сторону свою высшую совесть и работать, сознательно равняясь на уровень неизбежного зла, забывая об идеале более полной жизни. Поручусь по крайней мере за одного человека, для которого переход от мудрости Иисуса Христа и святого Франциска к нравам Ричарда Третьего и безумию Дон Кихота оказался чрезвычайно неприятным. Но этот переход надо было сделать, и все мы очень пострадали от него, кроме тех, для кого это вовсе не несло никаких перемен, а, напротив, освободило от маскировки.

Подумайте также о тех, кому хотя и не пришлось ни писать, ни воевать, ни терять собственных детей, но кому было ясно, какая неисчислимая потеря для мира эти четыре года в жизни одного поколения, зря потраченные на дело уничтожения. Наверное, любая из сделавших эпоху работ — плодов человеческого разума — была бы испорчена или совсем погублена, если бы ее творцов на четыре критических года оторвали от нормального труда. Не только были бы на месте убиты Шекспир и Платон, но и оставшимся в живых пришлось бы не однажды высевать свои лучшие плоды в скудную землю окопов. И это соображения не только британские. Для истинно цивилизованного человека, для порядочного европейца, то, что немецкая молодежь оказалась перебитой, было таким же несчастьем, как и то, что перебита была и молодежь английская. Дураки радовались «германским потерям». Эти потери были и нашими потерями. Представьте себе, что радуются смерти Бетховена, потому что Билл Сайкс нанес ему смертельный удар!

Но большинство не понимало таких печалей. Легкомысленно радовались смерти ради нее самой, но, по сути дела, их радость была неспособностью усвоить, что смерть случалась на самом деле, а не происходила на подмостках. Когда воздушный налетчик сбрасывал бомбу и та в куски разрывала мать с ребенком, люди, видевшие это, разражались яростными проклятиями против «гуннов», называя их убийцами и требуя беспощадной и справедливой мести, хотя эти же люди с превеликой радостью ежедневно читали в своих газетах о тысячах подобных происшествий. В такие минуты становилось ясно, что смерть, которую они не видели, для них значила не больше, чем смерть на экране кино. Иногда им не требовалось действительно наблюдать смерть, надо было только, чтобы она случилась в обстоятельствах достаточной новизны и в непосредственной близости,— тогда ее действие было почти так же ощутимо и сильно, как если бы ее видели на самом деле.

Например, весной 1915 года наши молодые солдаты подверглись страшной бойне в Нёв-Шапель и при высадке в Галлиполи. Не стану заходить далеко и утверждать, будто наши штатские англичане с восторгом читали за завтраком такие волнующие новости. Но не стану и делать вид, будто заметил в газетах или разговорах какое-нибудь волнение, что-нибудь сверх обычного: кинофильм-де на фронте разворачивается отлично, а наши парни храбрей храброго. И вдруг пришло сообщение, что торпедирован атлантический лайнер «Лузитания» и что утонули многие известные пассажиры первого класса, включая знаменитого театрального менеджера и автора популярных фарсов. В число «прочих» входил сэр Хью Лейн; но так как Англия была ему многим обязана лишь в области изящных искусств, на этой потере не делалось особого ударения.

Немедленно по всей стране поднялось удивительное неистовство. Люди, до сей поры еще сохранявшие рассудок, сейчас начисто потеряли его. «Погибают пассажиры первого класса! Что же будет дальше?!» — вот в чем была сущность всего волнения. Однако эта тривиальная фраза не передавала и малой толики охватившей нас ярости. Для меня, когда я только и думал что об ужасной цене, в которую нам обошлись Нёв-Шапель, Ипр и высадка в Галлиполи, весь этот шум вокруг «Лузитании» явился признаком неуместной черствости, хотя я был лично и близко знаком с тремя из самых известных жертв и, быть может, лучше других понимал, каким несчастьем была

смерть Лейна. Я даже испытывал весьма понятное всем солдатам мрачное удовлетворение от того факта, что штатские, считавшие войну таким прекрасным британским спортом, теперь хорошо почувствовали, что́ значила война для настоящих участников боев. Я выражал свое раздражение откровенно, и оказалось, что мое прямое и естественное чувство в этом случае воспринимается как чудовищный и черствый парадокс. Ко̆гда я спрашивал тех, кто мне дивился, могут ли они сказать что-нибудь о гибели Фестюбера, они дивились мне еще больше, так как совершенно позабыли о ней, а вернее, так никогда и не уяснили себе ее значения. Они не были бессердечней меня; но великая катастрофа была слишком велика для их понимания, а небольшая была им как раз по плечу. Я не был удивлен: разве мне не приходилось видеть, как целое учреждение по той же причине без единого возражения согласилось истратить 30000 фунтов, а затем провело целых три специальных заседания, затянувшихся до самой ночи, в спорах по поводу суммы в семь шиллингов для оплаты завтраков?

СЛАБЫЕ УМЫ И ВЕЛИКИЕ БИТВЫ

Никому не будет дано понять причуды общественного настроения во время войны, если все время не держать в памяти, что война в своем полном значении для среднего тыловика не существовала. Он не мог постичь, что такое одна битва, не то что целая военная кампания. Для пригородов война была пригородным переполохом. Для горняка и чернорабочего это был только ряд штыковых схваток между немецкими и английскими сынами отечества. Чудовищность войны была гораздо выше понимания большинства из нас. Эпизоды ее должны были быть уменьшены до размеров железнодорожной катастрофы или кораблекрушения, прежде чем произвести какое-либо действие на наше разумение. Смехотворные бомбардировки Скарборо или Рамсгита казались нам колоссальными трагедиями, а Ютландская битва — лишь балладой. Слова в известиях с фронта «после основательной артиллерийской подготовки» ничего для нас не значили, но, когда отдыхавшие на нашем побережье узнали, что завтрак пожилого джентльмена, прибывшего в приморский отель, чтобы провести там конец недели, был прерван бомбой, угодившей в рюмку с яйцом, их гневу и ужасу не было предела. Они заявляли, что этот случай должен поднять дух армии, и не подозревали, как солдаты в траншеях несколько дней подряд хохотали и говорили друг другу, что-де этим занудам в ты-

лу полезно попробовать, каково приходится войскам. Подчас узость взглядов вызывала жалость. Бывало, человек работает в тылу, не задумываясь над призывами «освободить мир ради демократии». Его брата убивают на фронте. Он немедленно бросает работу и ввязывается в войну, словно это кровная феодальная распря с немцами. Иногда это бывало комично. Раненый, имевший право на увольнение, возвращается в окопы со злобной решимостью найти гунна, который его ранил, и расквитаться с ним.

Невозможно высчитать, какая часть нас — в хаки или без хаки — понимала в целом войну и предыдущие политические события в свете какой-либо философии, истории или науки о том, что такое война. Едва ли эта часть достигала числа людей, занимающихся у нас высшей математикой. Однако несомненно эту часть значительно превосходило число людей невежественных и мыслящих по-детски. Не забудьте, ведь их нужно было стимулировать, чтобы они приносили жертвы, которых требовала война, а этого нельзя было добиться, взывая к осведомленности, которой у них не было, и к пониманию, на которое они не были способны. Когда перемирие наконец позволило мне говорить о войне правду и я выступал на первых же всеобщих выборах, один солдат сказал кандидату, которого я поддерживал: «Знай я все это в 1914-м, им никогда не обрядить бы меня в хаки». Вот почему, разумеется, и было необходимо набивать ему голову романтикой, над которой посмеялся бы любой дипломат. Таким образом, естественная неразбериха, происходящая от невежества, еще увеличивалась от сознательно распространяемого мелодраматического вздора и разных страшных сказок для детей. Все это доходило до предела и не позволило нам закончить войну, пока мы не только добились триумфа, победив германскую армию и тем самым опрокинув милитаристскую монархию, но и совершили к тому же очень грубую ошибку, разорив центр Европы, чего не могло бы позволить себе ни одно здравомыслящее европейское государство.

МОЛЧАЛИВЫЕ ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ И КРИКЛИВЫЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ

Оказавшись перед картиной неразумных заблуждений и глупости, критически настроенный читатель сразу возразит, что все это время Англия вела войну и это требовало организации нескольких миллионов солдат, а также и рабочих, которые снабжали их продуктами и транспортом, и что это не могло

быть выполнено толпой истериков и декламаторов. К счастью, такое возражение справедливо. Переходить от редакций газет и политических подмостков, от каминов в клубах и гостиных в загородных домах к армии и заводам, поставляющим снаряжение, было то же, что переходить из сумасшедшего дома в самый деловой и самый здоровый повседневный мир. Вы как бы наново открывали Англию и находили прочное основание для веры тех, кто еще верил в нее. Но непременным условием этой работоспособности было, чтобы те, кто был работоспособен, отдавали все свое время делу, а сброду предоставляли сходить с ума в свое удовольствие. Их безумие приносило даже пользу работавшим, потому что, поскольку оно всегда било мимо цели, оно часто и весьма кстати отвлекало внимание от операций, гласность вокруг которых могла привести к провалу или стать помехой для них. Правило, которое я так тщетно старался популяризировать в начале войны: «Если вы намерены что-нибудь делать — идите и делайте; если нет — ради бога, не путайтесь под ногами», — это правило выполнялось лишь наполовину. Дельные люди действительно шли и брались за работу, но бездельники никак не желали уходить с дороги: они суетились и горланили и не очень опасно забивали дорогу только потому, что, к великому счастью, никогда не знали, где пролегает эта дорога. И вот, пока вся настоящая работа в Англии велась тихо и незаметно, вся английская глупость оглушала небеса своим криком и затемняла солнце поднятой пылью. К сожалению, эта клика своим неистовством запугивала правительство и вынуждала его применять могущественную государственную власть для запугивания разумных людей. И тем самым жалкому меньшинству любителей суда Линча предоставлялась возможность установить царство террора, которое рассудительный министр мог бы разогнать суровым окриком в один миг. Но наши министры не обладали нужным для этого мужеством. Из Дома, где разбиваются сердца, и из Зала для верховой езды такого окрика не послышалось, а из загородных поместий — и подавно. Когда в конце концов дело дошло до разгромов лавок, которые уголовники учиняли, прикрываясь патриотическими лозунгами, прекращено все это было полицией, а не правительством. Был даже такой печальный момент во время паники из-за появления подводных лодок, когда правительство уступило ребяческим визгливым требованиям ввести суровое обращение с моряками-военнопленными и, к величайшему нашему позору, лишь враг заставил наши власти держать себя прилично. И все-таки за всеми этими общественными промахами, дурным управлением и суетными раздорами Англия работала, и она продолжала держаться, сохра-

няя весьма внушительную производительность и активность. Показная Англия своими дурацкими выходками, невежеством, жестокостью, паникой и бесконечным невыносимым распеванием к месту и не к месту государственных гимнов союзников надоедала всей империи. Скрытая, невидимая глазу Англия неуклонно шла к завоеванию Европы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

С самого начала разные бесполезные люди стали вопить, требуя призвать на сцену «практических деловых людей». Под этим подразумевались люди, разбогатевшие на том, что ставили свои личные интересы выше интересов страны и успех всякой деятельности измеряли денежной выгодой, которую она давала им и тем, кто их поддерживал, ссужая капиталом. Жалкий провал некоторых видных образцов из испробованной нами первой партии этих бедняг помог придать всей общественной стороне войны вид чудовищной и безнадежной комедии. Они доказали не только свою бесполезность для общественной работы, но и то, что в стране, где царит порядок, их никогда бы не допустили командовать частной инициативой.

КАК ДУРАКИ ЗАСТАВЛЯЛИ МОЛЧАТЬ УМНЫХ

Англия, словно плодородная страна, затопленная илом, не выказывала, таким образом, величия в те дни, когда, напрягая все силы, старалась избавиться от печальных последствий своей слабости. Большинство деятельных людей, по горло занятых настоятельной практической работой, поневоле предоставляли право разным бездельникам и краснобаям изображать войну перед всей страной и перед всем думающим и чувствующим миром. Те это и делали в своих речах, стихах, манифестах, плакатах и газетных статьях. Мне посчастливилось слышать, как некоторые из наших способнейших командиров говорили о своей работе; потом, разделяя обычную участь обывателей, я читал об этой работе газетные отчеты. Трудно было представить что-либо более несхожее. А в результате болтуны получали опасную власть над рядовыми деятельными людьми. Ибо, хотя величайшие люди действия всегда бывают привычными ораторами и часто очень умными писателями и поэтому не позволят другим думать за себя, рядовой человек действия, как и рядовой боец со штыком, не может толком рассказать о самом себе

и потому склонен подхватывать и принимать на веру то, что о нем и о его товарищах пишут в газетах, и возражает лишь тогда, когда автор неосмотрительно скомпрометирует себя ошибкой в техническом вопросе. Во время войны не редкостью было слышать, как военный или штатский, занятый работой на войну, говорил о чем-нибудь на основании собственного опыта и его речи доказывали полную абсурдность бредового бормотания той газеты, которую он обычно читал, а затем сам как попугай начинал повторять мнения этой газеты. Так что, если вы хотели спастись от господствующей неразберихи и безумия, недостаточно было общаться с рядовыми людьми действия: надо было вступать в контакт с высшими умами. Это была привилегия, доступная лишь горстке. Для гражданина, не имевшего такой привилегии, спасения не было. Ему вся его страна представлялась сошедшей с ума, суетной, глупой, невежественной, без иной надежды на победу, кроме надежды на то, что враг, быть может, окажется столь же сумасшедшим. Только рассуждая очень решительно и трезво, мог человек увериться, что, не будь за этой страшной видимостью чего-либо более прочного и серьезного, война не протянулась бы и одного дня и вся военная машина обрушилась бы сверху донизу.

БЕЗУМНЫЕ ВЫБОРЫ

Счастливы были в те дни глупцы и деятельные люди, не желавшие ни над чем задумываться. Хуже всего было то, что дураки были очень широко представлены в парламенте: ведь дураки не только выбирают дураков, но умеют склонить на свою сторону деятельных людей. Выборы, последовавшие сразу за перемирием, были, пожалуй, самыми безумными из всех когда-либо происходивших. Добровольно и героически отслужившие на фронте солдаты были побиты людьми, которые явно никогда не подвергали себя риску и никогда не истратили и шиллинга, если могли этого избежать, и которые в ходе выборов вынуждены были приносить публичные извинения за то, что клеймили своих оппонентов пацифистами и германофилами. Партийные вожди всегда ищут сторонников достаточно преданных, чтобы по приказу и под кнутом партии смиренно выйти в коридор лобби через указанную дверь, а лидер за это обеспечивает им места на скамьях путем процедуры, получившей название — с шутливым намеком на карточную систему военного времени — «выдача купонов». Были случаи настолько гротескные, что я не могу говорить о них, не давая читателю возможности угадать имена

участников, а это было бы непорядочно, так как обвинять их можно не более, чем тысячи других, которые по необходимости должны остаться неназванными. Общий результат был явно абсурден. И контингент избирателей, возмущенных делом собственных рук, немедленно ударился в противоположную крайность и на ближайших дополнительных выборах таким же дурацким большинством провалил всех «купонных» кандидатов. Но вреда от всеобщих выборов было уже не поправить. И правительству не только пришлось делать вид, будто оно предполагает воспользоваться своей победой в Европе (как оно обещало), но и в действительности делать это, то есть морить голодом противников, сложивших оружие. Короче говоря, оно победило на выборах, обязавшись действовать безжалостно, злобно, жестоко и мстительно, и оказалось, что ему не так легко увильнуть от этих обязательств, как оно увиливало от обязательств более благородных. И, как я полагаю, это еще не конец. Ясно, однако, что наша бессмысленная кровожадность падет на головы союзников огромной тяжестью, и в результате жестокая необходимость вынудит нас принять участие в деле заживления ран Европы (которую мы ранили почти насмерть), а не довершать ее уничтожение.

ЙЕХУ И ЗЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

Наблюдая эту картину состояния человечества, картину столь недавнюю, что отрицать ее правдивость нет никакой возможности, понимаешь Шекспира, сравнивающего человека со злой обезьяной, Свифта, изображающего его в виде йеху, укором которому служат высокие добродетели лошади, и Веллингтона, говорившего, что британцы не умеют прилично себя вести ни в победе, ни в поражении. Но никто из них троих не видел войну так, как видели ее мы. Шекспир порочил великих людей, когда говорил: «Если б великие люди умели громыхать, как Юпитер, то Юпитер никогда не знал бы покоя: ведь каждый офицерик, осердясь, гремел бы до самого неба, гремел бы и гремел». Что сказал бы Шекспир, увидев в руках у любого деревенского парня нечто гораздо более разрушительное, чем гром, а на Мессинском хребте обнаружил бы кратеры девятнадцати вулканов, которые взрывались бы там от нажима пальца? И даже если б то случился пальчик ребенка, последствия были бы ничуть не менее разрушительными? Возможно, Шекспир мог бы увидеть, как в какой-нибудь стратфордский домик ударила Юпитерова молния, и стал бы помогать тушить загоревшуюся соло-

менную крышу и растаскивать куски развалённой печной трубы. А что сказал бы он, посмотрев на Ипр, каков он теперь, или возвращаясь в Стратфорд, как возвращаются к себе домой нынче французские крестьяне, увидел бы старый знакомый столб с надписью: «К Стратфорду, 1 миля» — и в конце этой мили не оказалось бы ничего, только несколько ям в земле да куски старой разбитой маслобойки здесь и там? Может быть, вид того, что способна учинить злая обезьяна, наделенная такой властью разрушения, какая никогда не снилась Юпитеру, превзошел бы даже Шекспировы зрелища?

И все же разве не приходится сказать, что, подвергая такому напряжению человеческую природу, война губит лучшую ее часть, а худшую половину награждает дьявольской силой? Лучше было бы для нас, если бы она вовсе погубила ее. Тогда воинственные способы выбираться из затруднений стали бы недоступны нам и мы старались бы не попадать в них. Поистине «умереть не трудно», как сказал Байрон, и чрезвычайно трудно жить. Это объясняет, почему мир не только лучше войны, но и бесконечно труднее. Встречал ли какой-нибудь герой войны угрозу славной смерти мужественней, чем изменник Боло встретил неизбежность смерти позорной? Боло научил нас всех умирать: можем ли мы сказать, что он научил нас жить?

Теперь недели не проходит, чтобы какой-нибудь солдат, бесстрашно глядевший в глаза смерти на ратном поле и получивший ордена или особо отмеченный в приказах за отвагу, не вызывался бы в суд, так как он не устоял перед пустячным искушением мирного времени, оправдываясь лишь старой поговоркой, что-де «человеку надо жить». Когда кто-то, вместо того чтобы заниматься честной работой, предпочитает продать свою честь за бутылку вина, за посещение театра, за час, проведенный со случайной женщиной, и достигает всего этого путем предъявления недействительного чека — нам странно слышать, что этот самый человек мог отчаянно рисковать жизнью на поле сражения! И может быть, в конце концов, славная смерть дешевле славной жизни? Если же она не легче дается, почему она дается столь многим? Во всяком случае ясно: царство Владыки Мира и Спокойствия не наступило еще для нас. Его попытки вторжения встречали сопротивление более яростное, чем попытки кайзера. Как бы успешно ни было это сопротивление, оно нас обременяет в некотором роде задолженностью, которая не менее тягостна оттого, что у нас для нее нет цифр и что мы не собираемся по ней рассчитываться. Блокада, лишающая нас «милости господней», становится со временем менее выносимой, чем другие блокады, лишающие нас

только сырья, и против этой блокады наша Армада бессильна. В Доме Налагающего на нас блокаду, по его словам, много помещений; но, боюсь, среди них нет ни Дома, где разбиваются сердца, ни Зала для верховой езды.

ПРОКЛЯТИЕ НА ОБА ВАШИ ДОМА!

Тем временем большевистские кирки и петарды подрывают фундаменты обоих этих зданий; и хотя сами большевики могут погибнуть под развалинами, их смерть не спасет этих построек. К несчастью, их можно отстроить заново. Как и Замок Сомнения, их много раз разрушали многие поколения Воинов Великодушия, но Глупость, Леность и Самонадеянность, Слабоумие и Перепуг, и все присяжные заседатели Ярмарки Тщеславия опять отстраивали их. Одного поколения, прошедшего «среднюю школу» в наших старинных закрытых учебных заведениях и в более дешевых обезьянничающих с них учреждениях, будет совершенно достаточно, чтобы оба эти дома действовали до следующей войны.

Для поучения тем поколениям я оставляю эти страницы в качестве хроники гражданской жизни, как она протекала во время войны,— ведь история об этом обычно умалчивает. К счастью, война была очень короткой. Правда, мнение, будто она протянется не более полугода, было в конечном счете с очевидностью опровергнуто. Как указывал сэр Дуглас Хэйг, каждое Ватерлоо в этой войне длилось не часы, а месяцы. Но не было бы ничего удивительного, если бы она длилась и тридцать лет. Если б не тот факт, что с помощью блокады удалось геройски уморить Европу голодом — чего не удалось бы добиться, будь Европа соответственным образом подготовлена к войне или даже к миру,— война тянулась бы до тех пор, пока враждующие стороны не утомились до того, что их нельзя было бы заставить воевать дальше. Учитывая ее размах, война 1914—1918 годов будет, конечно, считаться самой короткой войной в истории. Конец наступил так неожиданно, что противники буквально споткнулись об него. И все же он наступил целым годом позже, чем ему следовало, так как воюющие стороны слишком боялись друг друга и не могли разумно разобраться в создавшемся положении. Германия, не сумевшая подготовиться к затеянной ею войне, не сумела и сдаться прежде, чем была смертельно истощена. Ее противники, равным образом непредусмотрительные, находились так же близко к банкротству, как Германия к голодной смерти. Это был блеф, от

которого потерпели обе стороны. И по всегдашней иронии судьбы, остается еще под вопросом, не выиграют ли в итоге побежденные Германия и Россия, ибо победители уже старательно заклепывают на себе оковы, которые они только что сбили с ног побежденных.

КАК ШЛИ ДЕЛА НА ТЕАТРЕ

Давайте теперь круто переведем наше внимание от европейского театра войны к театру, где бои идут не по-настоящему и где, едва опустится занавес, убитые, смыв с себя розовые раны, преспокойно отправляются домой и садятся ужинать. Прошло уже двадцать почти лет с тех пор, как мне пришлось в последний раз представить публике пьесу в виде книги, так как не было случая показать ее должным образом, поставив спектакль на театре. Война вернула меня к такому способу. «Дом, где разбиваются сердца» пока еще не достиг сцены. Я до сих пор задерживал пьесу, потому что война в корне изменила экономические условия, которые раньше давали в Лондоне возможность серьезной драме окупить себя. Изменились не театры, и не руководство ими, и не авторы, и не актеры, изменились зрители. Четыре года лондонские театры ежевечерне заполнялись тысячами солдат, приезжавших в отпуск с фронта. Эти солдаты не были привычными посетителями лондонских театров. Одно собственное приключение из моего детства дало мне ключ к пониманию их положения. Когда я был еще маленьким мальчиком, меня однажды взяли в оперу. Тогда я не знал еще, что такое опера, хотя умел насвистывать оперную музыку, и притом в большом количестве. В альбоме у матери я не раз видел фотографии великих оперных певцов, большей частью в вечернем платье. В театре я оказался перед золоченым балконом, где все сидевшие были в вечернем платье, и их-то я и принял за оперных певцов и певиц. Среди них я облюбовал толстую смуглую даму, решил, что она и есть синьора Альбони, и все ждал, когда она встанет и запоет. Я недоумевал только, почему меня посадили спиною, а не лицом к певцам. Когда занавес поднялся, моему удивлению и восторгу не было предела.

СОЛДАТ НА ТЕАТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ

В 1915 году в театрах, в том же самом затруднительном положении, я видел людей в хаки. Каждому, кто, как и я,

угадывал их душевное состояние, было ясно, что они раньше никогда не бывали в театре и не знали, что это такое. Раз в одном из наших больших театров-варьете я сидел рядом с молодым офицером, вовсе не каким-нибудь мужланом. Когда поднялся занавес и ему стало понятно, куда надо смотреть, он даже и тогда не уловил смысла драматической части программы. Он не знал, что ему делать в этой игре. Он понимал людей на сцене, когда они пели и танцевали или проделывали лихие гимнастические номера. Он не только все понимал, но и остро наслаждался, когда артист изображал, как кукарекают петухи и визжат поросята. Но когда люди представляли других людей и делали вид, будто размалеванная декорация позади них есть нечто реальное, он недоумевал. Сидя рядом с ним, я понял, до какой степени искушенным должен стать естественный человек, прежде чем условности театра окажутся для него легко приемлемыми или сделается очевидной цель драмы.

Так вот, с того времени, когда наши солдаты стали пользоваться очередными отпусками, такие новички в сопровождении барышень (их называли «флапперз»), часто таких же наивных, как они сами, битком набивали театры. Сначала казалось почти невозможным подобрать для их насыщения достаточно грубый материал. Лучшие комедийные актеры мюзик-холлов рылись в памяти в поисках самых древних шуток и самых ребяческих проделок, стараясь обойти все, что было бы не по зубам военному зрителю. Я считаю, что поскольку дело касается новичков, то здесь многие заблуждались. Шекспир, или драматизованные истории Джорджа Барнвела и Марии Мартин, или «Проклятый цирюльник с Флит-стрит» им бы очень понравились. Но новички в конце концов представляли собою меньшинство. Однако и развитой военный, который в мирное время не стал бы смотреть ничего, кроме самых передовых послеибсеновских пьес в самых изысканных постановках, теперь с удивлением обнаруживал, что ему страшно хочется глупых шуток, танцев и дурацких чувственных номеров, которые исполняют хорошенькие девушки. Автор нескольких самых мрачных драм нашего времени говорил мне, что после того, как он вытерпел столько месяцев в окопах и даже мельком не видел ни единой женщины своего круга, ему доставляет абсолютно невинное, но восхитительное удовольствие попросту смотреть на молоденькую девчонку. Состояние гиперэстезии, при котором происходила переоценка всех театральных ценностей, возникло как реакция после дней, проведенных на поле битвы. Тривиальные вещи обретали значимость, а устарелые — новизну. Актеру не приходилось избавлять зрителей от скуки и дурного настроения,

загнавших их в театр в поисках развлечений. Ему теперь надо было только поддерживать блаженное ощущение у счастливых людей, которые вышли из-под огня, избавились от гнета армейской дисциплины и, вымытые и спокойные, готовы радоваться всему чему угодно, всему, что только могли предложить им стайка хорошеньких девушек и забавный комедиант или даже стайка девушек, лишь делающих вид, будто они хорошенькие, и артист, лишь делающий вид, будто он забавен.

В театрах в те времена каждый вечер можно было увидеть старомодные фарсы и комедии, в которых спальня с четырьмя дверьми с каждой стороны и распахнутым окном посередине считалась в точности схожей со спальнями в квартирах наверху и внизу, и во всех трех обитали пары, снедаемые ревностью. Когда они приходили домой подвыпивши, путали свою квартиру с чужой и, соответственно, забирались в чужую постель — тогда не только новички находили возникавшие сложности и скандалы изумительно изобретательными и забавными. И не только их зеленые девчонки не могли удержаться от визга (удивлявшего даже самых старых актеров), когда джентльмен в пьяном виде влезал в окно и изображал, будто раздевается, а время от времени даже выставлял напоказ свою голую особу. Людям, только что прочитавшим в газете, что умирает Чарлз Уиндем, и при этом с грустью вспоминавшим о «Розовых домино» и последовавшем потоке фарсов и комедий дней расцвета этого замечательного актера (со временем все шутки подобного жанра устарели до такой степени, что вместо смеха стали вызывать тошноту),— этим ветеранам, когда они возвращались с фронта, тоже нравилось то, что они давно считали глупым и устарелым, как и новичкам нравилось то, что они считали свежим и остроумным.

КОММЕРЦИЯ В ТЕАТРЕ

Веллингтон сказал когда-то, что армия передвигается на брюхе. Так и лондонский театр. Прежде чем действовать, человек должен поесть. Прежде чем играть в пьесе, он должен уплатить за помещение. В Лондоне нет театров для блага народа: их единственная цель — приносить владельцу возможно более высокую ренту. Если квартиры, схожие с соседними, и кровати, похожие на соседские, приносят на две гинеи больше, чем Шекспир,— побоку Шекспира, в дело вступают кровати и квартиры. Если бессмысленная стайка хорошеньких девочек и комик перевешивают Моцарта — побоку Моцарта.

Перед войной делалась однажды попытка исправить положение и для этого, в ознаменование трехсотлетия со дня смерти Шекспира, хотели открыть государственный театр. Был создан комитет, и разные известные и влиятельные лица ставили свои подписи под пышным воззванием к нашей национальной культуре. Моя пьеса — «Смуглая леди сонетов» — была одним из следствий этого обращения. Результатом нескольких лет нашего труда была одна-единственная подписка на значительную сумму от некоего джентльмена из Германии. Мне хочется только сказать, как сказал тот знаменитый бранчливый возчик в анекдоте: когда от повозки, в которой лежало все его добро, на самой вершине холма отвалилась задняя доска и все содержимое покатилось вниз, разбиваясь в мелкие дребезги, он произнес лишь: «Не могу по достоинству оценить этого случая». И мы лучше не будем больше говорить об этом.

ВЫСОКАЯ ДРАМА ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ

Можно представить теперь, как сказалась война на лондонских театрах: кровати и девичьи стайки изгнали из них высокую драму. Рента взлетела до невиданной цифры. В то же время на все, кроме билетов в театральных кассах, цены выросли вдвое, из-за чего и расходы на постановку поднялись так, что надеяться на прибыль можно было только при полном сборе на каждом спектакле. Без широкой рекламы нельзя было и надеяться, чтобы постановка хотя бы окупилась. Перед войной серьезная драма до известной степени могла существовать благодаря тому, что спектакль окупался, даже если по будням сбор оказывался половинным, в субботу же равнялся трем четвертям. Директор, если он был энтузиаст, трудился в поте лица и время от времени получал субсидию от какого-нибудь миллионера с художественными склонностями, да еще при некоторой доле редких и счастливых случайностей, благодаря которым пьесы серьезного рода тоже оказываются прибыльными, — при всех этих обстоятельствах директор был в состоянии продержаться несколько лет, а затем могла подоспеть и смена в лице другого энтузиаста. Именно так и не иначе произошло в начале столетия то замечательное возрождение британской драмы, которое и мою карьеру драматурга сделало возможной в Англии. В Америке я уже упрочил свое положение, не став при этом частью обычной театральной системы, — мое имя связы-

[1] Наш Шекспир *(нем.)*.

валось в этой стране с исключительным гением Ричарда Мэнсфилда. В Германии и в Австрии я не встречался с трудностями: той драме, которой я занимался, там не давала умереть открытая поддержка театра двором и городскими управлениями. Так что я в долгу у австрийского императора за великолепные постановки моих пьес, в то время как единственным случаем официального внимания, оказанного мне британским двором, было заявление, доводившее до сведения всего мира, говорящего на английском языке, что некоторые из моих пьес не годятся для публичного исполнения. Существенным контрастом этому служило, однако, то обстоятельство, что британский двор, когда это касалось персонального посещения им моих пьес, не обращал никакого внимания на дурную характеристику, данную мне главным придворным чиновником.

Все-таки мои пьесы закрепились на лондонской сцене, и вскоре за ними последовали пьесы Гренвилл-Баркера, Гилберта Мюррея, Джона Мэнсфилда, Сент-Джона Хэнкина, Лоренса Хаусмена, Арнолда Беннета, Джона Голсуорси, Джона Дринкуотера и других, у кого в девятнадцатом веке было бы меньше шансов увидеть на сцене свою пьесу, чем диалоги Платона (не будем говорить о постановках древних афинских драм или о возвращении на сцену пьес Шекспира в их исконном виде — и тем и другим несказанно повезло!). Тем не менее факт постановки моих пьес стал возможным лишь благодаря поддержке театров, которая была почти вдвое больше того, что составляла рента и содержание их. В таких театрах пьеса, обращенная к сравнительно небольшой прослойке культурных людей и поэтому привлекавшая лишь от половины до трех четвертей того количества зрителей, какое привлекали более популярные зрелища, тем не менее могла держаться в руках молодых храбрецов, идущих на риск ради самой пьесы и которых годы и разные обязательства еще не заставляли задумываться над коммерческой стоимостью своего времени и энергии. Я уже рассказывал, как война выбила из-под ног эту опору. Расходы по содержанию самых дешевых вест-эндских театров поднялись до суммы, на двадцать пять процентов превышавшей максимальный доход, какой (как показала действительность) могла принести постановка серьезной драмы. И серьезная драма, никогда не представлявшая собою надежного коммерческого предприятия, теперь становилась невозможной. Соответственно делались попытки найти для нее пристанище в пригородных лондонских театрах и в репертуарных театрах в провинции. Но когда армия наконец возвратила нам оставшихся в живых (из поглощенного ею когда-то бравого отряда театральных пионеров), эти оставшиеся

в живых увидели, что экономические условия, делавшие раньше их работу рискованной, теперь ее вовсе исключают, во всяком случае в пределах лондонского Вест-Энда.

ЦЕРКОВЬ И ТЕАТР

Не думаю, чтобы это многих беспокоило. Не так мы воспитаны, чтобы беспокоиться. И чувство национального значения театра не является врожденным: простой человек, как многие солдаты во время войны, не знает, что такое театр. Но заметьте, пожалуйста, все эти солдаты, не знавшие, что такое театр, знали, что такое церковь. Их учили уважать церковь. Никто не внушал им предубеждения, будто церковь — это место, где легкомысленные женщины показывают свои лучшие наряды, где истории о непорядочных женщинах, вроде жены Потифара, и эротические строки из «Песни Песней» читают во весь голос; где чувственная и сентиментальная музыка Шуберта, Мендельсона, Гуно и Брамса больше в чести, чем строгая музыка великих композиторов; где прекраснейшие из прекрасных изображений прекрасных святых на витражах пленяют воображение и чувства и где скульптура и архитектура спешат на помощь живописи. Никто никогда не напоминал им, что все это иногда вызывало такие вспышки эротического идолопоклонства, что иные люди, бывшие не только горячими приверженцами литературы, живописи и музыки, но и сами чрезвычайно отличавшиеся в области искусства, по-настоящему радовались, когда чернь и даже регулярные войска по прямому приказу калечили в церквах статуи, ломали орга́ны и рвали ноты с церковной музыкой. Когда эти простые люди видели в церквах разбитые статуи, им говорили, будто это дело рук безбожников и мятежников, а не фанатиков (как это было в действительности!), стремившихся изгнать из храмов суету, плоть и дьявола, и отчасти — восставшего люда, доведенного до невыносимой нищеты, ибо храм давно стал пристанищем воров. Но все столь тщательно скрываемые в истории церкви грехи и искажения правды перелагались на плечи театра — на это душное, неуютное, мучительное место, где мы терпим столько неудобств в слабой надежде получить немного пищи для наших изголодавшихся душ. Когда немцы бомбили Реймский собор, весь мир оглашался воплями против такого святотатства. Когда они разбомбили театр «Литл» в Адельфи и едва не отправили на тот свет двух драматургов, живших в нескольких ярдах от него, о факте этом даже не упоминалось в газетах. Что касается

воздействия на наши чувства, ни один когда-либо сооруженный театр не может равняться со святилищем в Реймсе; ни одна актриса не может соперничать по красоте с его Девой, и ни один оперный тенор не будет выглядеть иначе как шутом рядом с Давидом этого собора. Его витражи находят прекрасными даже те, кто видел витражи Шартра. Изумительны были даже его гротескные фигуры: поглядев на его левиафанов, кто стал бы глядеть на Блонден-Данки? Несмотря на созданное Адамом убранство, которому мисс Кингстоун посвятила столько внимания и вкуса, театр «Литл» в Адельфи по сравнению с Реймским собором выглядел мрачной пуританской молельней. С пуританской точки зрения, собор и в самом деле развращал, вероятно, целый миллион сластолюбцев, кроме одного, кто в раздумье уходил из театра «Литл», возвращаясь к своему честному ложу после «Волшебства» м-ра Честертона или «Les Avariés»[1] *г-на Брие. Быть может, в этом настоящая причина, почему восхваляют церковь и порочат театр. Так или иначе, случилось, что дама, чьей общественной смелости и пониманию национального значения театра я обязан первым настоящим публичным представлением своей пьесы, должна была скрывать свои действия, словно это было преступление, а если бы она пожертвовала деньги на церковь, ее окружили бы ореолом. И я допускаю, как и всегда допускал, что такое положение вещей может быть вполне разумным. Я не раз спрашивал лондонцев, зачем они платят полгинеи за билет в театр, когда они могут пойти в собор святого Павла или в Вестминстерское аббатство бесплатно. Они отвечали только, что хотят видеть что-то новое и, может быть, даже что-то порочное. Но театры чаще всего разочаровывают их и в одном, и в другом. Если революция когда-нибудь сделает меня диктатором, я установлю высокую плату за вход в наши церкви. Но каждому, платящему у церковных дверей, будет выдаваться билет, по которому ему — или ей — будет предоставляться свободный вход на одно представление в любой театр, который он — или она — предпочтет. Так чувственное очарование церковной службы будет вынуждено субсидировать более серьезные достоинства драмы.*

СЛЕДУЮЩАЯ ФАЗА

Настоящее положение не затянется надолго. Хотя газета, которую я читал за завтраком сегодня утром, прежде чем

[1] «Потерпевшие аварию» *(франц.)*.

сесть писать эти строки, и содержит сообщение, что в настоящее время для обеспечения мира ведется не меньше чем двадцать три войны, Англия больше не ходит в хаки и начинается яростная реакция против грубой театральной пищи, какой кормили зрителя все эти страшные четыре года. Скоро оплата театральных помещений снова будет устанавливаться из предположения, что сбор не всегда бывает полным и даже что он в среднем не всегда будет половинным. Изменятся цены. Серьезная драма окажется не в более невыгодном положении, чем она была до войны. Она даже может выиграть, во-первых от того факта, что многие из нас распростились с призрачными иллюзиями, в условиях которых раньше работал театр, и так жестоко столкнулись с миром самой суровой реальности и необходимости, что вскоре потеряли всякое доверие к театральным претензиям, не имеющим корней ни в реальности, ни в необходимости. Второй факт — поразительные перемены, произведенные войной в распределении доходов. Еще вчера человек, имевший 50000 фунтов годового дохода, считался миллионером. Сегодня, после того как он заплатит подоходный налог, сверхналог и застрахует свою жизнь на сумму налога на наследство, ему приходится радоваться, если его чистый доход составит 10 000 фунтов, хотя номинально его состояние останется прежним. И это результат бюджета, который называют «передышкой для богатых». С другой стороны, миллионы людей в первый раз в жизни стали получать регулярный доход; и эти люди одеваются, регулярно питаются, имеют жилище и учатся тому, что им надо решиться что-то сделать,— тоже в первый раз в их жизни. Сотни тысяч женщин выпущены теперь из своих домашних клеток и приобщились к дисциплине и самостоятельности. Беспечная и высокомерная средняя буржуазия получила весьма неприятный удар, дойдя до невиданного разорения. Все мы пережили страшное потрясение. И хотя уже выяснилось, что широко распространенная уверенность, будто военная встряска автоматически переделает все сверху донизу и пес не станет возвращаться к своей блевотине, а свинья к своей грязной луже, где она валялась, была обманчива, все же мы теперь гораздо лучше, чем прежде, сознаем свое положение и гораздо менее расположены соглашаться с ним. Революция, ранее бывшая либо бурной главой в истории, либо демагогической трескучей фразой, стала теперь возможностью столь близкой, что, только стараясь силой и клеветой подавить ее в других странах и называя это дело антибольшевизмом, нашему правительству удается с трудом отсрочить революцию в Англии.

Быть может, самая трагическая фигура наших дней — американский президент, когда-то бывший историком. Тогда его задачей было твердить нам, как после великой войны в Америке (а она определенней, чем какая-либо другая война нашего времени, была войной за идею) победители повернули вспять, столкнувшись с героической задачей перестройки, и целых пятнадцать лет во зло использовали свою победу под тем предлогом, будто хотят завершить дело, которое сами же изо всех сил старались сделать невозможным. Увы! Гегель был прав, говоря, что история учит нас тому, что люди никогда ничему не учатся у истории. И когда мы — новые победители,— забывая все, за что, по нашим уверениям, мы воевали, садимся сейчас, облизываясь, за сытный обед и собираемся десять лет насыщаться своей местью над поверженным врагом и его унижением, угадать, с какой болью наблюдает это президент, могут только те, кто, подобно ему самому, знает, как безнадежны увещания и как повезло Линкольну, исчезнувшему с лица земли прежде, чем его пламенные воззвания стали клочком бумаги. Американский президент отлично знает, что, как он ни старайся, от мирной конференции ему не дождаться эдикта, который он мог бы назвать «разумным суждением человечества и всеблагой милостью господа бога». Он повел свой народ, чтобы уничтожить милитаризм в Саверне; а армия, которую спасли американцы, сейчас в Кельне занимается тем, что сажает в тюрьму всякого немца, который не отдаст честь британскому офицеру. Правительство у себя в Англии на вопрос, одобряет ли оно это, отвечает, что этот «савернизм» не предполагается упразднять даже после заключения мира; на самом же деле оно надеется заставить немцев салютовать британским офицерам до скончания века. Вот что война делает с мужчинами и женщинами. Она забудется. И худшее, чем она грозит, уже оказывается практически невыполнимым. Но прежде чем униженные и сокрушающиеся души перестанут подвергаться унижению, президент и я — ведь мы одних лет — выживем из ума от старости. Между тем ему придется писать другую историю, мне же — ставить другую комедию. Может быть, для этого, в конце концов, и ведутся войны, для этого и существуют историки и драматурги. Раз люди не хотят учиться иначе, чем на уроках, писанных кровью, что ж, кровь они и получат, свою собственную преимущественно.

Для театра это не будет иметь значения. Падут любые Бастилии, но театр устоит. Апостольский Габсбург обрушился. Высочайший Гогенцоллерн томится в Голландии под угрозой суда по обвинению в том, что воевал за свою страну с Англией; Имперский Романов погиб, говорят, жалкой смертью; он, возможно, и жив, а быть может и нет, о нем не вспоминают, как если б то был простой крестьянин; повелитель эллинов уравнялся со своей челядью в Швейцарии; после короткой славы премьер-министры и главнокомандующие пали, как Солоны и Цезари, и уходят во тьму, наступая друг другу на пятки, словно потомки Банко. Но Еврипид и Аристофан, Шекспир и Мольер, Гёте и Ибсен прочно занимают свои вечные троны.

КАК ВОЙНА ЗАСТАВЛЯЕТ МОЛЧАТЬ ДРАМАТУРГА

Что до меня, можно было бы спросить, пожалуй, разве я не написал двух пьес о войне, вместо двух памфлетов о ней? Ответ будет многозначен. Вы не можете вести войну с войной и со своим соседом одновременно. Война не терпит яростного бича комедии, не терпит безжалостного света смеха, ослепительно сверкающего со сцены. Когда люди геройски умирают за свою родину, не время показывать их возлюбленным и женам, отцам и матерям, что они падают жертвою промахов, совершаемых болванами, жертвою жадности капиталистов, честолюбия завоевателей, выборной лихорадки демагогов, фарисейства патриотов, жертвою Похоти и Лжи, Злобы и Кровожадности, всегда потворствующих войне, потому что она отпирает двери их тюрем и усаживает их на троны власти и популярности. А если всех их безжалостно не разоблачать, они и на сцене будут укрываться под плащом идеалов, так же, как укрываются в реальной жизни.

И хотя для показа найдутся предметы и получше, для войны нецелесообразно было показывать все это, пока исход ее не определился. Говорить правду несовместимо с защитой государства. Мы сейчас читаем «откровения» наших генералов и адмиралов, с которых перемирие сняло наконец обет молчания. Генерал А во время войны в своих взволнованных донесениях с фронта рассказывал, как в таком-то и таком-то бою генерал Б покрыл себя бессмертной славой. Теперь генерал А рассказывает нам, как из-за генерала Б мы чуть не проиграли войну, так как он не выполнил в том случае приказов генерала А и сражал-

ся, а не отступил, как ему следовало. Прекрасный сюжет для комедии, вне всякого сомнения,— теперь, когда война окончена. Но если бы генерал А выболтал все это в свое время, как бы это подействовало на солдат генерала Б? И если бы со сцены стало известно, что́ премьер-министр и военный министр, под началом которых состоял генерал А, думали о нем,— как бы это сказалось на судьбе Англии? Вот почему, несмотря на острейшие искушения, из соображений лояльности комедии следовало тогда молчать. Ведь искусство драматурга не ведает патриотизма; не признает иных обязательств, кроме верности подлинной истории; ему нет дела, погибнет ли Германия или Англия; оно готово скорее крикнуть вместе с Брунгильдой: «Lass'uns verderben, lachend zu grunde geh'n»,[1] *чем обманывать или быть обманутым. И таким образом, во время войны искусство драматурга становится большей опасностью, чем яд, клинок или тринитротолуол. Вот почему я не должен был выпускать на сцену «Дом, где разбиваются сердца» во время войны: немцы в любой момент могли последний акт спектакля превратить из вымысла в реальность и не стали бы, пожалуй, дожидаться подсказки из будки суфлера.*

---

[1] Пусть мы падем и, смеясь, погибнем *(нем.)*.

Ясный сентябрьский вечер. Живописный гористый пейзаж северного Сусекса открывается из окон дома, построенного наподобие старинного корабля с высокой кормой, вокруг которой идет галерея. Окна в виде иллюминаторов, обшитые досками, идут вдоль всей стены настолько часто, насколько это позволяет ее устойчивость. Ряд шкафчиков под окнами образует ничем не обшитый выступ, прерывающийся примерно не середине, между ахтерштевнем и бортами, двухстворчатой стеклянной дверью. Вторая дверь несколько нарушает иллюзию, она приходится как бы по левому борту корабля, но ведет не в открытое море, как ей подобало бы, а в переднюю. Между этой дверью и галереей стоят книжные полки. У двери, ведущей в переднюю, и у стеклянной двери, которая выходит на галерею,— электрические выключатели. У стены, изображающей правый борт,— столярный верстак, в тисках его закреплена доска. Пол усеян стружками, ими же доверху наполнена корзина для бумаги. На верстаке лежат два рубанка и коловорот. В этой же стене, между верстаком и окнами, узкий проход с низенькой дверцей, за которой видна кладовая с полками; на полках бутылки и кухонная посуда.

На правом борту, ближе к середине, дубовый чертежный стол с доской, на которой лежат рейсшина, линейки, угольники, вычислительные приборы; тут же блюдечки с акварелью, стакан с водой, мутной от красок, тушь, карандаши и кисти. Доска положена так, что окно приходится с левой стороны от стула чертежника. На полу, справа от стола, корабельное кожаное пожарное ведро. На левом борту, рядом с книжными полками, спинкой к окнам, стоит диван; это довольно массивное сооружение из красного дерева престранно покрыто вместе с изголовьем брезентом, на спинке дивана висят два одеяла. Между диваном и чертежным столом, спинкой к свету,— большое плетеное кресло с широкими подлокотниками и низкой покатой спинкой; у левой стены, между дверью и книжной полкой,— небольшой, но добротный столик тикового дерева, круглый, с откидной крышкой. Это единственный предмет убранства в комнате, который — впро-

чем, отнюдь не убедительно — позволяет допустить, что здесь участвовала и женская рука. Голый, из узких досок, ничем не покрытый пол проконопачен и начищен пемзой, как палуба.

Сад, куда ведет стеклянная дверь, спускается на южную сторону, а за ним уже виднеются склоны холмов. В глубине сада возвышается купол обсерватории. Между обсерваторией и домом — маленькая эспланада, на ней флагшток; на восточной стороне эспланады висит гамак, на западной стоит длинная садовая скамья.

Молодая девушка, в шляпе, перчатках и плаще, сидит на подоконнике, повернувшись всем телом, чтобы видеть расстилающийся за окном пейзаж. Она сидит, опершись подбородком на руку, свесив небрежно другую руку, в которой она держит томик Шекспира, заложив палец на той странице, где она читала. Часы бьют шесть.

Молодая девушка поворачивается и смотрит на свои часы. Она встает с видом человека, который давно ждет и уже выведен из терпения. Это хорошенькая девушка, стройная, белокурая, с вдумчивым лицом, она одета очень мило, но скромно,— по всей видимости, это не праздная модница. Со вздохом усталой покорности она подходит к стулу у чертежного стола, садится, начинает читать Шекспира. Постепенно книга опускается на колени, глаза девушки закрываются, и она засыпает.

Пожилая служанка входит из передней с тремя неоткупоренными бутылками рома на подносе. Она проходит через комнату в кладовую, не замечая молодой девушки, и ставит на полку бутылки с ромом, а с полки снимает и ставит на поднос пустые бутылки. Когда она идет обратно, книга падает с колен гостьи, девушка просыпается, а служанка от неожиданности так вздрагивает, что чуть не роняет поднос.

Служанка. Господи помилуй!

Молодая девушка поднимает книгу и кладет на стол.

Простите, что я разбудила вас, мисс. Только я что-то вас не знаю. Вы кого же здесь ждете?

Девушка. Я жду кого-нибудь, кто бы дал мне понять, что в этом доме знают о том, что меня сюда пригласили.

Служанка. Как, вы приглашены? И никого нет? Ах ты господи!

Девушка. Какой-то сердитый старик подошел и посмотрел в окно. И я слышала, как он крикнул: «Няня, тут у нас на корме молоденькая хорошенькая женщина, подите-ка узнайте, что ей нужно». Это вы няня?

Служанка. Да, мисс. Я няня Гинес. А это, значит, был старый капитан Шотовер, отец миссис Хэшебай. Я слышала, как он кричал, но я подумала, что он насчет чего-нибудь другого. Верно, это миссис Хэшебай вас и пригласила, деточка моя?

Девушка. По крайней мере, я так поняла. Но, пожалуй, мне, право, лучше уйти.

Няня. Нет, что вы, бросьте и думать об этом, мисс. Если даже миссис Хэшебай и забыла, так это будет для нее приятный сюрприз.

Девушка. Признаться, для меня это был довольно неприятный сюрприз, когда я увидела, что меня здесь не ждут.

Няня. Вы к этому привыкнете, мисс. Наш дом полон всяческих сюрпризов для того, кто не знает наших порядков.

Капитан Шотовер неожиданно заглядывает из передней; это еще вполне крепкий старик с громадной белой бородой; он в бушлате, на шее висит свисток.

Капитан Шотовер. Няня, там прямо на лестнице валяются портплед и саквояж; по-видимому, брошены нарочно для того, чтобы каждый о них спотыкался. И еще теннисная ракетка. Что за дьявол все это набросал?

Девушка. Боюсь, что это мои вещи.

Капитан Шотовер *(подходит к чертежному столу)*. Няня, кто эта заблудившаяся юная особа?

Няня. Они говорят, мисс Гэсси пригласила их, сэр.

Капитан Шотовер. И нет у нее, бедняжки, ни родных, ни друзей, которые могли бы ее предостеречь от приглашения моей дочери? Хорошенький у нас дом, нечего сказать! Приглашают юную привлекательную леди, вещи ее полдня валяются на лестнице, а она здесь, на корме, предоставлена самой себе – усталая, голодная, заброшенная. Это у нас называется гостеприимством! Хорошим тоном! Ни комнаты не приготовлено, ни горячей воды. Нет хозяйки, которая бы встретила. Гостье, по-видимому, придется ночевать под навесом и идти умываться на пруд.

Няня. Хорошо, хорошо, капитан. Я сейчас принесу мисс чаю, и пока она будет пить чай, комната будет готова. *(Обра-*

щается к девушке.) Снимите, душенька, шляпку. Будьте как дома. *(Идет к двери в переднюю.)*

Капитан Шотовер *(когда няня проходит мимо него)*. «Душенька»! Ты воображаешь, женщина, что, если эта юная особа оскорблена и оставлена на произвол судьбы, ты имеешь право обращаться к ней так, как ты обращаешься к моим несчастным детям, которых ты вырастила в полнейшем пренебрежении к приличиям?

Няня. Не обращайте на него внимания, деточка. *(С невозмутимым спокойствием проходит в переднюю и направляется в кухню.)*

Капитан Шотовер. Окажите мне честь, сударыня, сообщите, как вас зовут? *(Усаживается в большое плетеное кресло.)*

Девушка. Меня зовут Элли Дэн.

Капитан Шотовер. Дэн... Был у меня как-то давно боцман, который носил фамилию Дэн. Он, в сущности, был китайским пиратом, потом открыл лавочку, торговал всякой корабельной мелочью; и у меня есть полное основание полагать, что все это он украл у меня. Можно не сомневаться, что он разбогател. Так вы – его дочь?

Элли *(возмущенная)*. Нет. Конечно нет! Я с гордостью могу сказать о своем отце, что хотя он и не преуспел в жизни, зато ни одна душа не может сказать про него ничего дурного. Я считаю, что мой отец – лучший из людей.

Капитан Шотовер. Должно быть, он очень переменился. Не достиг ли он седьмой степени самосозерцания?

Элли. Я вас не понимаю.

Капитан Шотовер. Но как это ему удалось, если у него есть дочь? У меня, видите ли, сударыня, две дочери. Одна из них Гесиона Хэшебай, которая вас сюда пригласила. Я вот стараюсь поддерживать порядок в этом доме, а она его переворачивает вверх дном. Я стремлюсь достигнуть седьмой степени самосозерцания, а она приглашает гостей и предоставляет мне занимать их.

Няня возвращается с чайным подносом и ставит его на тиковый столик.

Есть у меня еще дочь, которая, слава богу, находится в весьма отдаленной части нашей империи со своим чурбаном мужем. Когда она была маленькой, она считала резную фигуру на носу моего корабля, который назывался «Неустрашимый», самой прекрасной вещью на свете. Ну, а ее жених несколько напоминал эту фигуру. У него

было точь-в-точь такое же выражение лица: деревянное, но в то же время предприимчивое. Вышла за него замуж. И ноги ее больше не будет в этом доме.

Няня *(подвигает столик с чайным прибором к столу)*. Вот уж, можно сказать, вы маху дали. Как раз она сию минуту в Англии. Вам уже три раза на этой неделе говорили, что она едет домой на целый год, для поправления здоровья. И вы должны бы радоваться, что увидите свою родную дочь после стольких лет разлуки.

Капитан Шотовер. А я нисколько не радуюсь. Естественный срок привязанности человеческого животного к своему детенышу — шесть лет. Моя дочь Ариадна родилась, когда мне было сорок шесть, сейчас мне восемьдесят восемь. Если она явится сюда, меня нет дома. Если ей что-нибудь нужно, пусть берет. Если она будет спрашивать обо мне — внушите ей, что я дряхлый старик и совершенно ее не помню.

Няня. Ну что это за разговоры при молодой девушке! Нате, душечка, выпейте чайку. И не слушайте его. *(Наливает чашку чаю.)*

Капитан Шотовер *(гневно поднимаясь)*. Силы небесные! Они поят невинного ребенка индийским чаем, этим зельем, которым они дубят свои собственные кишки. *(Хватает чашку и чайник и выливает всё в кожаное ведро.)*

Элли *(чуть не плача)*. Ах, прошу вас, я так устала. И мне так хотелось пить.

Няня. Ну что же это вы делаете! Глядите, ведь бедняжка едва на ногах держится.

Капитан Шотовер. Я вам дам моего чаю. И не прикасайтесь к этому обсиженному мухами сухарю. Этим только собак кормить. *(Исчезает в кладовой.)*

Няня. Ну что за человек! Недаром говорят, будто б он, перед тем как его произвели в капитаны, продал душу черту там, на Занзибаре. И чем он старше становится, тем я все больше этому верю.

Женский голос из передней: «Есть кто-нибудь дома? Гесиона! Няня! Папа! Да пойдите же вы кто-нибудь сюда. Возьмите мои вещи». Слышен глухой стук, словно кто-то бьет зонтиком по деревянной панели.

Няня. Господи ты боже мой! Это мисс Эдди. Леди Этеруорд, сестра мисс Хэшебай. Та самая, о которой я говорила капитану. *(Откликается.)* Иду, мисс, иду!

Она ставит столик обратно на место около двери и поспешно идет к выходу, но сталкивается с леди Этеруорд, которая врывается в комнату в страшном волнении. Леди Этеруорд — очень красивая, прекрасно одетая блондинка. У нее такие стремительные манеры и она так быстро говорит, что с первого взгляда производит ошибочное впечатление смешной и глуповатой.

Леди Этеруорд. Ах, это ты, няня. Как поживаешь? Ты ни чуточки не постарела. Что, никого нет дома? А где Гесиона? Разве она меня не ждет? Где прислуга? А чей это багаж там на лестнице? Где папа? Может быть, все спать легли? *(Замечает Элли.)* Ах, простите, пожалуйста. Вы, верно, одна из моих племянниц. *(Подходит к ней с раскрытыми объятиями.)* Поцелуйте свою тетю, душечка.

Элли. Я здесь только гостья. Это мои вещи на лестнице.

Няня. Я сейчас пойду принесу вам, душенька, свежего чайку. *(Берет поднос.)*

Элли. Но ведь старый джентльмен сказал, что он сам приготовит чай.

Няня. Да бог с вами! Он уже и позабыл, за чем пошел. У него все в голове мешается да с одного на другое перескакивает.

Леди Этеруорд. Это о папе?

Няня. Да, мисс.

Леди Этеруорд *(сердито)*. Не будь дурой, нянька, не смей называть меня мисс.

Няня *(спокойно)*. Хорошо, милочка. *(Уходит с подносом.)*

Леди Этеруорд *(стремительно и шумно опускается на диван)*. Представляю себе, что вы должны испытывать. Ах этот дом! Я возвращаюсь сюда через двадцать три года. И он все такой же: вещи валяются на лестнице; невыносимо распущенная прислуга; никого дома; гостей принять некому; для еды нет никаких установленных часов; и никто никогда и есть не хочет, потому что вечно все жуют хлеб с маслом или грызут яблоки. Но самое ужасное — это тот же хаос и в мыслях, и в чувствах, и в разговорах. Когда я была маленькая, я по привычке не замечала этого — просто потому, что я ничего другого и не видела,— но я чувствовала себя несчастной. Ах, мне уже и тогда хотелось, мне так хотелось быть настоящей леди, жить как все другие, чтобы не приходилось обо всем думать самой. В девятнадцать лет я вышла замуж, лишь бы вырваться отсюда. Мой муж, сэр Гастингс Этеруорд,

был губернатором всех колоний британской короны по очереди. Я всегда была хозяйкой правительственной резиденции. И я была счастлива. Я просто забыла, что люди могут жить вот так. Но мне захотелось повидать отца, сестру, племянников и племянниц — когда-то же это приходится делать, вы сами понимаете. Я просто мечтала об этом. И вот в каком состоянии я нахожу родительский дом! Как меня принимают! Невозмутимая наглость этой Гинес, нашей старой няньки. И право же, Гесиона могла бы хоть дома-то быть; могли бы они хоть что-нибудь для меня приготовить. Вы уж простите меня, что я так разоткровенничалась, но я в самом деле ужасно расстроена, обижена и разочарована. Если бы я только знала, что так будет, я бы не поехала сюда. У меня большое искушение повернуться и уехать, не сказав им ни слова. *(Чуть не плачет.)*

Элли *(тоже очень огорченная)*. Меня тоже никто не встретил. Мне тоже кажется, что лучше уехать. Но как это сделать, леди Этеруорд! Вещи мои на лестнице, дилижанс уже уехал.

Из кладовой появляется капитан Шотовер, у него в руках лакированный китайский поднос с очень красивым чайным прибором. Он ставит его сначала на край стола, стаскивает чертежную доску на пол и прислоняет ее к ножке стола, а затем подвигает поднос на середину. Элли с жадностью наливает чай.

Капитан Шотовер. Вот вам чай, юная леди! Как? Еще одна дама? Надо еще чашку принести. *(Направляется к кладовой.)*

Леди Этеруорд *(поднимается с дивана, задыхаясь от волнения)*. Папа, что же ты, не узнаешь меня? Я твоя дочь.

Капитан Шотовер. Глупости. Моя дочь спит наверху. *(Исчезает в дверях.)*

Леди Этеруорд отходит к окну, чтобы не видно было, что она плачет.

Элли *(подходит к ней с чашкой в руках)*. Не огорчайтесь так. Вот выпейте чашку чаю. Он очень старый и ужасно странный. Вот так же он и меня встретил. Я понимаю, что это ужасно. Мой отец для меня все на свете. Я уверена, он это не нарочно.

Капитан Шотовер возвращается с чашкой.

Капитан Шотовер. Ну вот, теперь на всех хватит. *(Ставит чашку на поднос.)*

Леди Этеруорд *(истерическим голосом)*. Папа, но ты же не мог забыть меня. Я Ариадна. Маленькая Пэдди Пэткинс. Что же ты даже не поцелуешь меня? *(Бросается к нему на шею.)*

Капитан Шотовер *(стоически перенося ее объятия)*. Как это может статься, чтобы вы были Ариадной? Вы, сударыня, женщина в летах. Прекрасно сохранившаяся женщина, но уже немолодая.

Леди Этеруорд. Да ты вспомни, сколько лет ты меня не видел, папа. Ведь я же должна была стать старше, как и все люди на свете.

Капитан Шотовер *(высвобождаясь из объятий)*. Да, пора бы уж вам почувствовать себя постарше и перестать бросаться на шею к незнакомым мужчинам. Может быть, они стремятся достигнуть седьмой степени самосозерцания.

Леди Этеруорд. Но я твоя дочь! Ты не видел меня столько лет!

Капитан Шотовер. Тем более. Когда наши родственники дома, нам приходится постоянно помнить об их хороших качествах,— иначе их невозможно было бы выносить. Но когда их нет с нами, мы утешаем себя в разлуке тем, что вспоминаем их пороки. Вот так-то я и привык считать мою отсутствующую дочь Ариадну сущим дьяволом. Так что не пытайтесь снискать наше расположение, выдавая себя за нее. *(Решительным шагом уходит на другой конец комнаты.)*

Леди Этеруорд. Снискать расположение... Нет, это уж в самом деле... *(С достоинством.)* Прекрасно! *(Садится к чертежному столу и наливает себе чашку чаю.)*

Капитан Шотовер. Я, кажется, плохо выполняю свои хозяйские обязанности. Вы помните Дэна? Вилли Дэна?

Леди Этеруорд. Этого гнусного матроса, который ограбил тебя?

Капитан Шотовер *(представляя ей Элли)*. Его дочь. *(Садится на диван.)*

Элли *(протестуя)*. Да нет же!

Входит няня со свежим чаем.

Капитан Шотовер. Унесите вон это пойло. Слышите? Няня. А ведь действительно приготовил чай. *(Элли.)* Скажи-

те, мисс, как это он про вас не забыл? Видно, вы произвели на него впечатление.

Капитан Шотовер *(мрачно)*. Юность! Красота! Новизна! Вот чего недостает в этом доме. Я глубокий старик. Гесиона весьма относительно молода. А дети ее не похожи на детей.

Леди Этеруорд. Как дети могут быть детьми в этом доме? Прежде чем мы научились говорить, нас уже пичкали всякими идеями, которые, может быть, очень хороши для языческих философов лет под пятьдесят, но отнюдь не подобают благопристойным людям в каком бы то ни было возрасте.

Няня. Помню, вы и раньше всегда говорили о благопристойности, мисс Эдди.

Леди Этеруорд. Няня, потрудитесь запомнить, что я леди Этеруорд, а не мисс Эдди, и никакая не деточка, не цыпочка, не крошечка.

Няня. Хорошо, душенька. Я скажу всем, чтобы они называли вас миледи. *(С невозмутимым спокойствием берет поднос и уходит.)*

Леди Этеруорд. И это называется удобство! Какой смысл держать в доме такую неотесанную прислугу?

Элли *(встает, подходит к столу и ставит пустую чашку)*. Леди Этеруорд, как вам кажется, миссис Хэшебай на самом деле ждет меня или нет?

Леди Этеруорд. Ах, не спрашивайте. Вы ведь сами видите, я только что приехала — единственная сестра, после двадцати трех лет разлуки, — и по всему видно, что меня здесь не ждали.

Капитан Шотовер. А какое это имеет значение, ждали эту юную леди или не ждали? Ей здесь рады. Есть кровать, есть еда. И я сам приготовлю ей комнату. *(Направляется к двери.)*

Элли *(идет за ним, пытаясь остановить его)*. Ах, пожалуйста, прошу вас...

Капитан уходит.

Леди Этеруорд, я просто не знаю, что мне делать. Ваш отец, по-видимому, твердо убежден, что мой отец — это тот самый матрос, который его ограбил.

Леди Этеруорд. Лучше всего сделать вид, что вы этого не замечаете. Мой отец очень умный человек, но он вечно все забывает. А теперь, когда он так стар, разумеется, это еще усилилось. И надо вам сказать, иной раз очень

трудно бывает поверить всерьез, что он действительно забыл.

Миссис Хэшебай стремительно вбегает в комнату и обнимает Элли. Она на год, на два старше леди Этеруорд и, пожалуй, даже еще красивей. У нее прекрасные черные волосы, глаза как колдовские озера и благородная линия шеи, короткая сзади и удлиняющаяся меж ключицами. Она, в отличие от сестры, в роскошном халате из черного бархата, который оттеняет ее белую кожу и скульптурные формы.

Миссис Хэшебай. Элли! Душечка моя, детка! *(Целует ее.)* Давно ли вы здесь? Я все время дома. Я ставила цветы и убирала вашу комнату. И только на минуточку присела, чтобы посмотреть, удобно ли я вам поставила кресло, как сразу и задремала. Папа разбудил меня и сказал, что вы здесь. Представляю себе, что вы почувствовали, когда вас никто не встретил и вы очутились здесь совсем одна и думали, что про вас забыли. *(Снова целует ее.)* Бедняжечка! *(Сажает Элли на диван.)*

В это время Ариадна отходит от стола и направляется к ним, желая обратить на себя внимание.

Ах, вы приехали не одна? Познакомьте меня.

Леди Этеруорд. Гесиона, может ли это быть, что ты не узнаешь меня?

Миссис Хэшебай *(со светской учтивостью)*. Разумеется, я прекрасно помню ваше лицо. Но где мы с вами встречались?

Леди Этеруорд. Да разве папа не сказал тебе, что я здесь? Нет, это уж чересчур. *(В негодовании бросается в кресло.)*

Миссис Хэшебай. Папа?

Леди Этеруорд. Да, папа. Наш папа! Негодная ты, бесчувственная кукла! *(Возмущенная, поднимается.)* Сию минуту уезжаю в гостиницу.

Миссис Хэшебай *(хватает ее за плечи)*. Господи боже мой! Силы небесные! Неужели это Эдди?

Леди Этеруорд. Ну конечно я Эдди. И не настолько уж я изменилась, чтобы ты не узнала меня, если бы хоть немножко любила. А папа, по-видимому, даже не счел нужным и упомянуть обо мне.

Миссис Хэшебай. Вот так история! Садись. *(Толкает ее обратно в кресло, вместо того чтобы обнять, и становится позади.)* Но у тебя прекрасный вид! Ты стала го-

раздо красивее, чем была. Ты, конечно, познакомилась с Элли? Она собирается выйти замуж за настоящего борова, миллионера. Жертвует собой, чтобы спасти отца, который беден, как церковная мышь. Ты должна мне помочь уговорить ее, чтобы она этого не делала.

Элли. Ах, пожалуйста, не надо, Гесиона.

Миссис Хэшебай. Душенька, этот субъект сегодня приедет сюда с вашим отцом и будет приставать к вам. Не пройдет и десяти минут, как всем все станет ясно. Так зачем же делать из этого тайну?

Элли. Он совсем не боров, Гесиона. Вы не знаете, как он был добр к моему отцу и как я ему благодарна.

Миссис Хэшебай *(обращается к леди Этеруорд)*. Ее отец замечательный человек, Эдди. Его зовут Мадзини Дэн. Мадзини был знаменитостью, и это был близкий знакомый Эллиных бабушки и дедушки. А они были поэты — ну, как Браунинги... И когда Эллин отец появился на свет, Мадзини сказал: «Вот еще один солдат свободы». Так они его и назвали Мадзини. И он тоже по-своему борется за свободу, поэтому-то он так и беден.

Элли. Я горжусь тем, что он беден.

Миссис Хэшебай. Ну конечно, душечка. Но почему же не оставить его в этой бедности и не выйти за того, кого вы любите?

Леди Этеруорд *(внезапно вскакивает, не владея собой)*. Гесиона, ты меня поцелуешь или нет?

Миссис Хэшебай. А зачем это тебе нужно, чтобы тебя целовали?

Леди Этеруорд. Мне не нужно, чтобы меня целовали, но мне нужно, чтобы ты вела себя как подобает. Мы сестры, мы не виделись двадцать три года. Ты должна меня поцеловать.

Миссис Хэшебай. Завтра утром, дорогая моя. Прежде, чем ты намажешься. Терпеть не могу, когда пахнет пудрой.

Леди Этеруорд. Бесчувственная...

Ее прерывает вернувшийся капитан.

Капитан Шотовер *(обращаясь к Элли)*. Комната вам готова.

Элли встает.

Простыни были совершенно сырые, но я переменил их. *(Идет на левый борт, к двери в сад.)*

Леди Этеруорд. Хм... А как мои простыни?

Капитан Шотовер *(останавливаясь в двери)*. Могу вам дать совет – проветрите их или просто снимите и спите завернувшись в одеяло. Вы будете спать в прежней комнате Ариадны.

Леди Этеруорд. Ничего подобного. В этой жалкой каморке? Я имею право рассчитывать на лучшую комнату для гостей.

Капитан Шотовер *(невозмутимо продолжает)*. Она вышла замуж за чурбана. Она говорила, что готова выйти за кого угодно, лишь бы вырваться из дому.

Леди Этеруорд. Ты, по-видимому, просто притворяешься, что не узнаешь меня. Я ухожу отсюда.

Из передней входит Мадзини Дэн. Это маленький пожилой человек, глаза навыкате, доверчивый взгляд, степенные манеры. Он в синем саржевом костюме и в расстегнутом макинтоше. В руках мягкая черная шляпа, вроде тех, что носят священники.

Элли. Наконец-то! Капитан Шотовер, вот мой отец.

Капитан Шотовер. Этот? Чепуха! Ни капельки не похож. *(Выходит в сад, сердито хлопнув дверью.)*

Леди Этеруорд. Я не допущу, чтобы меня умышленно не замечали и делали вид, что принимают за кого-то другого. Я пойду и сию же минуту объяснюсь с папой. *(Мадзини.)* Простите, пожалуйста. *(Уходит за капитаном, небрежно на ходу кивая Мадзини, который на ее кивок отвечает поклоном.)*

Миссис Хэшебай *(радушно пожимая руку Мадзини)*. Как это мило с вашей стороны, что вы приехали, мистер Дэн. Вы не обижаетесь на папу, не правда ли? Он у нас совсем сумасшедший, но абсолютно безобидный. И при этом необыкновенно умный. Вы еще побеседуете с ним, и с большим удовольствием.

Мадзини. Я надеюсь. *(Элли.)* А вот и ты, Элли, милочка. *(С нежностью берет ее под руку.)* Я вам очень признателен, миссис Хэшебай, за то, что вы так добры к моей дочери. Боюсь, что у нее не получилось бы никакого праздника, если бы не ваше приглашение.

Миссис Хэшебай. Да нет, что вы. Это так мило с ее стороны, что она к нам приехала, она будет привлекать сюда молодых людей.

Мадзини *(улыбаясь)*. Боюсь, что Элли мало интересуется

молодыми людьми, миссис Хэшебай. В ее вкусе скорее положительные, серьезные люди.

Миссис Хэшебай *(с внезапной резкостью)*. Может быть, вы снимете пальто, мистер Дэн? Там, в углу в передней – шкаф для пальто, шляп и всего прочего.

Мадзини *(поспешно выпуская руку Элли)*. Да, благодарю вас. Мне, конечно, надо было... *(Уходит.)*

Миссис Хэшебай *(выразительно)*. Старая скотина!

Элли. Кто?

Миссис Хэшебай. Кто! Да он – вот этот, он самый. *(Показывает пальцем вслед Мадзини.)* «Положительные, серьезные»... скажите!

Элли *(пораженная)*. Неужели это может быть, чтобы вы сказали так о моем отце!

Миссис Хэшебай. Сказала. И вы это отлично знаете.

Элли *(с достоинством)*. Я немедленно ухожу из вашего дома. *(Поворачивается к двери.)*

Миссис Хэшебай. Если вы только посмеете, я сейчас же доложу вашему отцу, почему вы это сделали.

Элли *(оборачиваясь)*. Но как вы можете так обращаться с вашим гостем, миссис Хэшебай?

Миссис Хэшебай. Мне казалось, что вы зовете меня Гесиона.

Элли. Теперь – конечно нет.

Миссис Хэшебай. Отлично. Я все-расскажу вашему отцу.

Элли *(огорченная)*. Ах!

Миссис Хэшебай. Если вы только двинете пальцем, если только хоть на минуту станете на его сторону, против меня и против вашего собственного сердца... я поговорю с этим прирожденным солдатом свободы так, что он потом целую неделю будет стоять на голове, этот старый эгоист.

Элли. Гесиона! Мой отец эгоист? Как мало вы знаете...

Ее прерывает Мадзини, который возвращается, запыхавшийся и взволнованный.

Мадзини. Элли! Менген приехал. Я думал, может быть, лучше тебя предупредить. Простите меня, миссис Хэшебай, этот престранный старый джентльмен...

Миссис Хэшебай. Папа? Вполне согласна с вами.

Мадзини. Ах, простите... Ну да, разумеется. Меня несколько смутило его обращение. Он заставил Менгена что-то там делать в саду. И требует, чтобы и я тоже...

Раздается громкий свисток. Голос капитана: «Боцман, наверх!» Снова громкий свисток.

Мадзини *(растерянно)*. О господи, мне кажется, это он меня зовет... *(Поспешно выбегает.)*

Миссис Хэшебай. Вот мой отец — это действительно замечательный человек!

Элли. Гесиона, выслушайте меня. Вы просто не понимаете. Мой отец и мистер Менген были еще детьми, и мистер Мен...

Миссис Хэшебай. Мне совершенно все равно, чем они были. Только давайте лучше сядем, если вы собираетесь начать так издалека. *(Обнимает Элли за талию и усаживает на диван рядом с собой.)* Ну, душенька, рассказывайте мне все про этого мистера Менгена. Его все зовут Босс Менген, хозяин Менген, правда? Настоящий Наполеон промышленности и отвратительно богат. Верно я говорю? А почему же отец ваш не богат?

Элли. Да папе вовсе не следовало бы заниматься коммерческими делами. Его отец и мать были поэты. Они внушали ему самые возвышенные идеи. Только у них не хватило средств, чтобы дать ему законченное образование.

Миссис Хэшебай. Воображаю себе ваших дедушку и бабушку, как они во вдохновенном экстазе закатывают глаза... Итак, значит, вашему бедному отцу пришлось заняться коммерцией. И он не преуспел в этом?

Элли. Он всегда говорил, что добился бы успеха, если бы у него был какой-нибудь капитал. А он всю жизнь едва сводил концы с концами, только чтобы не оставить нас без крова и дать нам хорошее воспитание. И вся его жизнь — это была сплошная борьба. Вечно одно и то же — нет денег. Я просто не знаю, как вам это рассказать.

Миссис Хэшебай. Бедняжка Элли! Я понимаю. Вечно изворачиваться...

Элли *(уязвленная)*. Нет, нет, совсем не так. Он, во всяком случае, никогда не терял достоинства.

Миссис Хэшебай. А это еще трудней. Я бы не могла изворачиваться и при этом сохранять достоинство. Я бы изворачивалась не щадя себя *(сжав зубы)*, не щадя. Ну хорошо, а дальше?

Элли. Наконец все-таки пришло время, когда нам стало ка-

заться, что все наши несчастья кончились: мистер Менген из чистой дружбы и из уважения к моему отцу совершил необыкновенно благородный поступок — он спросил папу, сколько ему нужно денег, и дал ему эти деньги. И знаете, он не то чтобы дал их ему взаймы или, как говорится, вложил в его дело,— нет, он просто подарил их ему! Разве это не замечательно с его стороны?

Миссис Хэшебай. При условии, что вы будете его женой?

Элли. Ах, да нет, нет, нет! Я еще тогда была совсем маленькая. Он даже меня и в глаза не видел. Он тогда еще и не бывал у нас в доме. Он сделал это совершенно бескорыстно. Из чистого великодушия.

Миссис Хэшебай. О, в таком случае прошу прощения у этого джентльмена. Так. Ну и что же случилось с этими деньгами?

Элли. Мы все оделись с ног до головы и переехали в другой дом. Меня отдали в другую школу, и я училась там два года.

Миссис Хэшебай. Только два года?

Элли. Да. Вот и всё. Потому что через два года оказалось, что мой отец совершенно разорен.

Миссис Хэшебай. Как же это так?

Элли. Не знаю. Никогда не могла понять. Только это было ужасно. Пока мы были бедны, у отца не было долгов, но как только он стал ворочать большими делами, ему пришлось брать на себя всякие обязательства. И вот, когда все предприятие ликвидировалось, то вышло как-то так, что долгов у него оказалось больше, чем то, что ему дал мистер Менген.

Миссис Хэшебай. По-видимому, цапнул больше, чем мог проглотить.

Элли. Мне кажется, вы относитесь к этому как-то ужасно бесчувственно.

Миссис Хэшебай. Детка моя, вы не обращайте внимания на мою манеру разговаривать. Я была когда-то такая же чувствительная, вот как вы. Но я нахваталась ужасного жаргона от моих детей и совершенно разучилась разговаривать прилично. Очевидно, у вашего отца не было способностей к подобного рода вещам, и он просто запутался.

Элли. Ах, вот тут-то и видно, что вы его совершенно не понимаете. Дело это потом необыкновенно расцвело. Оно

дает теперь сорок четыре процента дохода, за вычетом налога на сверхприбыль.

Миссис Хэшебай. Так вы должны бы купаться в золоте, почему же этого нет?

Элли. Не знаю. Мне все это кажется ужасной несправедливостью. Видите ли, папа обанкротился. Он чуть не умер от горя, потому что он уговорил некоторых своих друзей вложить деньги в это дело. Он был уверен, что дело пойдет успешно, и, как потом оказалось, он был прав,— но все они потеряли свои вклады. Это было ужасно. И я не знаю, что бы мы стали делать, если бы не мистер Менген.

Миссис Хэшебай. Что? Босс опять пришел на выручку? И это после того, как все его денежки полетели на ветер?

Элли. Да. Он нас выручил. И даже ни разу не упрекнул отца. Он купил все, что осталось от этого дела,— помещение, оборудование, ну и все прочее,— через коронного стряпчего за такую сумму, что отец мог заплатить по шесть шиллингов восемь пенсов за фунт и выйти из предприятия. Все очень жалели папу, и, так как все были убеждены, что он абсолютно честный человек, никто не возражал против того, чтобы получить шесть шиллингов восемь пенсов вместо десяти шиллигов за фунт. А потом мистер Менген организовал компанию, которая взяла это дело в свои руки, а отца моего сделал управляющим... чтобы мы не умерли с голоду... потому что тогда ведь я еще ничего не зарабатывала.

Миссис Хэшебай. Боже, да это настоящий роман с приключениями! Ну, а когда же Босс воспылал нежными чувствами?

Элли. О, это уже спустя несколько лет. Совсем недавно. Он как-то случайно взял билет на один благотворительный концерт. Я там пела. Ну просто, знаете, в качестве любительницы, мне платили полгинеи за три песенки и еще за три выхода на бис. И ему так понравилось, как я пела, что он попросил разрешения проводить меня до дому. Вы просто представить не можете, до чего он удивился, когда я привела его к нам домой и представила его моему отцу, его же собственному управляющему. И вот тут-то отец и рассказал мне о его благородном поступке. Ну, разумеется, все считали, что для меня это необыкновенно счастливый случай... ведь он такой богатый. Ну, и вот, мы пришли к чему-то вроде соглашения. Мне кажется...

я должна считать это почти... помолвкой. *(Страшно расстроена и не может больше говорить.)*

Миссис Хэшебай *(вскакивает и начинает ходить взад и вперед)*. Помолвка, вы говорите? Ну, моя деточка, эта помолвка живо обратится в размолвку, если я только возьмусь за это как следует.

Элли *(безнадежно)*. Нет, вы напрасно так говорите. Меня вынуждает к этому честь и чувство благодарности. Я уж решилась.

Миссис Хэшебай *(останавливается у дивана и, перегнувшись через спинку, отчитывает Элли)*. Вы, конечно, сами прекрасно понимаете, что это совсем не честно и не благородно — выйти замуж за человека, не любя его. Вы любите этого Менгена?

Элли. Д-да. Во всяком случае...

Миссис Хэшебай. Меня совершенно не интересуют эти ваши «всякие случаи», я хочу, чтобы вы мне выложили все начистоту. Девушки в вашем возрасте способны влюбиться в самых невообразимых идиотов, особенно стариков.

Элли. Я очень хорошо отношусь к мистеру Менгену. И я всегда...

Миссис Хэшебай *(нетерпеливо заканчивая ее фразу, стремительно переходит на правый борт)*. «...буду благодарна ему за его доброту к моему дорогому папе». Это я уж все слышала. А еще кто есть?

Элли. То есть... что вы хотите сказать?!

Миссис Хэшебай. Есть кто-нибудь еще? Вы в кого-нибудь влюблены по-настоящему?

Элли. Конечно нет — ни в кого.

Миссис Хэшебай. Гм... *(Ей попадается на глаза книга, лежащая на чертежном столе, она берет ее в руки, и заглавие книги, по-видимому, ее поражает: она смотрит на Элли и вкрадчиво спрашивает.)* А вы не влюблены в какого-нибудь актера?

Элли. Нет, нет! Почему... почему вам это пришло в голову?

Миссис Хэшебай. Ведь эта ваша книга? Зачем это вам вдруг вздумалось читать «Отелло»?

Элли. Отец научил меня любить Шекспира.

Миссис Хэшебай *(швыряя книгу на стол)*. Действительно! Ваш отец, по-видимому, правда не в себе!

Элли *(наивно)*. А вы разве никогда не читаете Шекспира, Гесиона? Мне это кажется просто удивительным. Мне так нравится Отелло

Миссис Хэшебай. Отелло нравится? Потому что он ревнивец?

Элли. Ах, нет, не это. Все, что там насчет ревности,— просто ужасно. Но вы не находите, что это было просто непостижимое счастье для Дездемоны, которая мирно росла дома, вдруг встретиться с таким человеком... Ведь он скитался по всему свету, жил в таком кипучем мире, совершал всякие чудеса храбрости, столько испытал всяких ужасов — и вот все же что-то нашел в ней, что притягивало его, и он мог часами сидеть и рассказывать ей обо всем этом.

Миссис Хэшебай. Ах вот вам какие романы по вкусу?

Элли. Почему же непременно роман? Это могло и на самом деле случиться. *(По глазам Элли видно, что она не спорит, а мечтает.)*

Миссис Хэшебай внимательно вглядывается в нее, потом не спеша подходит к дивану и усаживается с ней рядом.

Миссис Хэшебай. Элли, милочка! А вы не обратили внимания, что некоторых из тех историй, которые он рассказывает Дездемоне, на самом деле не могло быть?

Элли. Ах, нет. Шекспир думал, что все это могло случиться.

Миссис Хэшебай. Гм... Вернее, Дездемона думала, что все это так и было. Но этого не было.

Элли. Почему вы говорите об этом с таким загадочным видом? Вы прямо сфинкс какой-то. Никогда не могу понять, что вы, в сущности, хотите сказать?

Миссис Хэшебай. Если бы Дездемона осталась в живых, она бы вывела его на чистую воду. Иногда мне, знаете, приходит в голову: не потому ли он и задушил ее?

Элли. Отелло не лгал.

Миссис Хэшебай. Откуда вам это известно?

Элли. Шекспир так и сказал бы, что Отелло лгал. Гесиона, ведь есть же на свете мужчины, которые действительно делают замечательные вещи. Мужчины, похожие на Отелло; только, конечно, они белые, очень красивые и...

Миссис Хэшебай. Ага! Наконец-то мы пришли к сути дела. Ну, теперь расскажите мне про него все. Я так и знала, что тут кто-то есть. Потому что иначе вы не чувствовали бы себя такой несчастной из-за Менгена. Вам даже улыбалось бы выйти за него замуж.

Элли *(вспыхивая)*. Гесиона, вы просто ужасны. Но я не хочу делать из этого тайны, хотя, конечно, я не стала бы об

этом повсюду рассказывать. И к тому же я с ним незнакома.

Миссис Хэшебай. Незнакомы? Как это понимать?

Элли. Ну, конечно, немножко знакома, разговаривала с ним.

Миссис Хэшебай. Но вам хочется узнать его поближе?

Элли. Нет, нет. Я знаю его очень близко...

Миссис Хэшебай. Вы с ним незнакомы... вы знаете его очень близко... Как это все ясно и просто!

Элли. Я хочу сказать, что у нас он не бывает... я... я просто разговорилась с ним случайно, на концерте.

Миссис Хэшебай. Вы, по-видимому, очень весело проводите время на ваших концертах, Элли?

Элли. Да нет. Вовсе нет. Вообще мы все разговариваем друг с другом в артистической, когда дожидаемся своей очереди. Я думала, что это кто-нибудь из артистов. У него такое замечательное лицо. Но оказалось, он просто один из членов комитета. Я, между прочим, сказала ему, что хожу копировать одну картину в Национальной галерее. Я немножко зарабатываю этим. Я не очень хорошо рисую, но так как это всегда одна и та же картина, то я теперь могу скопировать ее очень быстро, и получаю за это два или три фунта. И вот как-то раз он пришел в Национальную галерею.

Миссис Хэшебай. В студенческий день, конечно. Заплатил шесть пенсов, чтобы толкаться там среди всех этих мольбертов, хотя в другой день можно было прийти бесплатно и без всякой толкотни. Разумеется, это вышло совершенно случайно.

Элли *(торжествующе)*. Нет. Он пришел нарочно. Ему нравилось разговаривать со мной. У него масса блестящих знакомых, светские женщины от него без ума,— но он сбежал от всех, чтобы прийти повидать меня в Национальной галерее. И упросил меня поехать кататься с ним в Ричмонд-парк.

Миссис Хэшебай. И вы, душечка, согласились. Просто удивительно, что́ только вы, добродетельные девушки, можете себе позволить, и о вас никто слова не скажет.

Элли. Но я не выезжаю в свет, Гесиона. Если бы у меня не было знакомств, которые завязываются вот так, то у меня вообще не было бы знакомых.

Миссис Хэшебай. Да нет, конечно, тут нет ничего дурного, если вы умеете постоять за себя. А можно узнать его имя?

Элли *(медленно и нараспев)*. Марк Дарнли

Миссис Хэшебай *(повторяя за ней)*. Марк Дарнли. Какое замечательное имя!

Элли. Ах, я так рада, что вам нравится. Мне тоже ужасно нравится, но я все боялась, что это просто мое воображение.

Миссис Хэшебай. Ну, ну. Он что – из эбердинских Дарнли?

Элли. Никто этого не знает. Нет, вы только подумайте, его нашли в старинном ларце...

Миссис Хэшебай. Что? В чем?

Элли. В старинном ларце. В саду, среди роз, летним утром. А ночью была страшная гроза.

Миссис Хэшебай. Что ж он там делал, в этом ларце? Спрятался туда от молнии, что ли?

Элли. Ах нет, нет. Он же был тогда совсем малюткой. Имя Марк Дарнли было вышито на его детской рубашечке И пятьсот фунтов золотом...

Миссис Хэшебай *(строго смотрит на нее)*. Элли!

Элли. В саду виконта...

Миссис Хэшебай. Де Ружемона.

Элли *(невинно)*. Нет. Де Лярошжаклена. Это французский род. Виконты. А его жизнь – это сплошная сказка. Тигр..

Миссис Хэшебай. Убитый его собственной рукой?

Элли. Да нет, вовсе не так банально. Он спас жизнь тигру во время охоты. Это была королевская охота, короля Эдуарда, в Индии. Король страшно рассердился. Вот потому-то его военные заслуги и не были оценены по достоинству. Но ему это все равно. Он социалист, он презирает титулы и чины. И он участвовал в трех революциях, дрался на баррикадах...

Миссис Хэшебай. Ну как это вы только можете – сидеть вот так и рассказывать мне все эти небылицы? И это вы, Элли! А я-то считала вас простодушной, прямой, хорошей девушкой.

Элли *(поднимается с достоинством, но в страшном негодовании)*. Вы хотите сказать, что вы мне не верите?

Миссис Хэшебай. Ну конечно не верю. Сидите и вы думываете – ни одного слова правды. Да что, вы считаете меня совсем дурой?

Элли *(смотрит на нее широко раскрытыми глазами; искренность ее до того очевидна, что миссис Хэшебай озадачена)*. Прощайте, Гесиона. Мне очень жаль. Я теперь вижу, что все это звучит невероятно, когда это рассказываешь

Но я не могу оставаться здесь, если вы так обо мне думаете.

Миссис Хэшебай *(хватает ее за платье)*. Никуда вы не пойдете. Нет, так ошибаться просто немыслимо! Я слишком хорошо знаю вралей. По-видимому, вам действительно кто-то рассказывал все это.

Элли *(вспыхивая)*. Гесиона, не говорите, что вы не верите ему. Я этого не вынесу.

Миссис Хэшебай *(успокаивая ее)*. Ну конечно я верю ему, милочка моя. Но вы должны были преподнести это мне по крайней мере не все сразу, а как-нибудь по частям. *(Снова усаживает ее рядом с собой.)* Ну, теперь рассказывайте мне о нем все. Итак, вы влюбились в него?

Элли. Ах, нет. Я не такая дурочка. Я не влюбляюсь так сразу. Я вовсе уж не такая глупенькая, как вам кажется.

Миссис Хэшебай. Понятно. Это просто чтобы было о чем помечтать, чтобы жить было интереснее и радостнее.

Элли. Да, да. Вот и все.

Миссис Хэшебай. И тогда время бежит быстро. Вечером не томишься от скуки и не ждешь, когда можно лечь спать, не думаешь о том, что вот будешь вертеться без сна или приснится что-нибудь неприятное. А какое счастье просыпаться утром! Лучше самого чудесного сна! Вся жизнь преображается. Уж не мечтаешь почитать какую-нибудь интересную книгу, жизнь кажется интересней всякой книги. И никаких желаний, только чтобы остаться одной и ни с кем не разговаривать. Сидеть одной и просто думать об этом.

Элли *(обнимая ее)*. Гесиона, вы настоящая колдунья. Откуда вы все это знаете? Вы самая чуткая женщина на свете.

Миссис Хэшебай *(поглаживая ее)*. Милочка моя, детка! Как я завидую вам! И как мне жаль вас!

Элли. Жаль? Почему?

Очень красивый человек лет пятидесяти, с усами мушкетера, в широкополой шляпе с франтовато загнутыми полями, с изящной тросточкой, входит из передней и останавливается как вкопанный при виде двух женщин на диване.

(Увидя его, поднимается с радостным изумлением.) О, Гесиона! Это мистер Марк Дарнли.

Миссис Хэшебай *(поднимаясь)*. Вот так штука! Это мой муж.

Элли. Но как же... *(Внезапно умолкает, бледнеет и пошатывается.)*

Миссис Хэшебай *(подхватывает ее и усаживает на диван)*. Успокойтесь, детка.

Гектор Хэшебай *(в некотором замешательстве и в то же время с каким-то наглым спокойствием кладет шляпу и трость на стол)*. Мое настоящее имя, мисс Дэн, Гектор Хэшебай. Я предоставляю вам судить — может ли тонко чувствующий человек спокойно признаться в том, что он носит такое имя. Когда у меня есть возможность, я стараюсь обходиться без него. Я уезжал на целый месяц. И я не подозревал, что вы знакомы с моей женой и можете появиться здесь. Тем не менее я чрезвычайно рад приветствовать вас в нашем скромном домике.

Элли *(в настоящем отчаянии)*. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста... можно мне поговорить с папой? Оставьте меня. Я этого не вынесу.

Миссис Хэшебай. Уходи, Гектор.

Гектор. Я...

Миссис Хэшебай. Живо, живо! Убирайся вон!

Гектор. Ну, если ты думаешь, что так лучше... *(Уходит, захватив свою шляпу, трость остается на столе.)*

Миссис Хэшебай *(укладывает Элли на диван)*. Ну вот, деточка, он ушел. Здесь никого нет, кроме меня. Можете дать себе волю. Не сдерживайтесь. Поплачьте хорошенько.

Элли *(поднимая голову)*. К черту!

Миссис Хэшебай. Вот это здорово! Замечательно! Я думала, вы сейчас скажете, что у вас сердце разбилось. Вы меня не стесняйтесь. Выругайтесь еще раз.

Элли. Я не его ругаю. Я себя ругаю. Как я могла быть такой дурой! *(Вскакивает.)* И как это я позволила так себя одурачить! *(Быстро ходит взад и вперед; вся ее цветущая свежесть куда-то пропала, она сразу стала как-то старше и жестче.)*

Миссис Хэшебай *(радостно)*. Ну, почему бы и нет, милочка? Очень немногие молодые женщины могут устоять перед Гектором. Я вот сама не устояла в вашем возрасте. Он поистине великолепен.

Элли *(поворачиваясь к ней)*. Великолепен? Да, великолепная внешность, конечно. Но как можно любить лгуна?

Миссис Хэшебай. Не знаю. Но, к счастью, оказывается, можно. Иначе в мире было бы очень немного любви.

Элли. Но так лгать! Оказаться хвастунишкой, трусом!

Миссис Хэшебай *(вскакивает в смятении)*. Нет, милочка, только не это, прошу вас. Если вы выразите хотя бы малейшее сомнение в храбрости Гектора, он пойдет и наделает черт знает чего, только бы убедить себя, что он не трус. Он иногда проделывает ужасные штуки — вылезет из окна на третьем этаже и влезет в другое. Просто чтобы испытать свои нервы. У него целый ящик медалей Альберта за спасение погибающих.

Элли. Он никогда не говорил мне об этом.

Миссис Хэшебай. Он никогда не хвастается тем, что сделал на самом деле. Терпеть этого не может. Даже если кто-нибудь другой об этом говорит, он стыдится. Зато все его рассказы — это сказки, выдумки.

Элли *(подходит к ней)*. Так вы, значит, хотите сказать, что он действительно храбрый и у него были всякие приключения, а рассказывает он небылицы?

Миссис Хэшебай. Да, милочка. Вот именно. Ведь у людей их добродетели и пороки не разложены по полочкам. Все это вместе перемешано.

Элли *(задумчиво смотрит на нее)*. В вашем доме, Гесиона, есть что-то странное. И даже в вас самой. И я не знаю... как это я так спокойно разговариваю с вами. У меня какое-то ужасное чувство, как будто у меня сердце разбилось. Но это, оказывается, совсем не то, что я себе представляла.

Миссис Хэшебай *(обнимая ее)*. Просто это жизнь начинает воспитывать вас, деточка. Ну, а что же вы сейчас испытываете к Боссу Менгену?

Элли *(вырывается из объятий Гесионы, на лице ее написано отвращение)*. О, Гесиона, как вы можете мне напоминать о нем!

Миссис Хэшебай. Простите, детка. Мне кажется, я слышу шаги Гектора. Вы сейчас не возражаете, если он придет?

Элли. Ничуть. Я совершенно излечилась.

Из передней входят Мадзини Дэн и Гектор.

Гектор *(открывает дверь и пропускает Мадзини вперед)*. Еще секунда, и она бы упала мертвой.

Мадзини. Нет, подумайте, какое чудо! Элли, деточка моя!

Мистер Хэшебай только что рассказал мне совершенно удивительную...

Элли. Да, я уже слышала. *(Отходит в другой конец комнаты.)*

Гектор *(идет за ней)*. Нет, этого вы еще не слыхали. Я вам расскажу после обеда. Мне кажется, это должно вам понравиться. По правде сказать, я сочинил это для вас и уже предвкушал удовольствие рассказать вам, но с досады, когда меня отсюда выгнали, я истратил этот заряд на вашего отца.

Элли *(отступая спиной к верстаку, презрительно, но с полным самообладанием)*. Вы истратили не зря. Он верит вам. Я бы не поверила.

Мадзини *(добродушно)*. Элли у меня очень своенравная, мистер Хэшебай. Конечно, на самом деле она так не думает. *(Идет к книжным полкам и разглядывает корешки.)*

Из передней входит Босс Менген, за ним капитан. Менген в сюртучной паре, точно он собрался в церковь или на заседание директората. Ему лет пятьдесят пять; у него озабоченное, недоверчивое выражение лица; во всех его движениях чувствуются тщетные потуги держать себя с неким воображаемым достоинством. Лицо серое, волосы прямые, бесцветные, черты лица до того заурядны, что о них просто нечего сказать.

Капитан Шотовер *(знакомя миссис Хэшебай с новым гостем)*. Говорит, что его зовут Менген. К службе не годен.

Миссис Хэшебай *(очень любезно)*. Добро пожаловать, мистер Менген.

Менген *(пожимая ей руку)*. Очень рад.

Капитан Шотовер. Дэн порастерял все свои мускулы, но зато приобрел бодрость духа. Редкий случай, после того как человек пережил три приступа белой горячки. *(Уходит в кладовую.)*

Миссис Хэшебай. Поздравляю вас, мистер Дэн.

Мадзини *(в недоумении)*. Да я всю жизнь в рот не брал спиртного.

Миссис Хэшебай. Вам будет гораздо меньше хлопот, если вы предоставите папе думать то, что ему хочется, а не будете пытаться объяснить ему то, что есть на самом деле.

Мадзини. Ну, знаете, три приступа белой горячки...

Миссис Хэшебай *(обращаясь к Менгену)*. Вы знакомы

с моим мужем, мистер Менген? *(Показывает на Гектора.)*

Менген *(идет к Гектору, который приветливо протягивает ему руку)*. Очень рад. *(Оборачивается к Элли.)* Я надеюсь, мисс Элли, вы не очень устали с дороги. *(Здоровается с ней.)*

Миссис Хэшебай. Гектор, покажи мистеру Дэну его комнату.

Гектор. Да, да, конечно. Идемте, мистер Дэн. *(Уходит с Мадзини.)*

Элли. Вы еще не показали мне моей комнаты, Гесиона.

Миссис Хэшебай. Ах, господи, какая я глупая! Идемте. Пожалуйста, будьте как дома, мистер Менген. Папа составит вам компанию. *(Кричит капитану.)* Папа, иди покажи дом мистеру Менгену. *(Уходит с Элли.)*

Капитан выходит из кладовой.

Капитан Шотовер. Вы думаете жениться на дочери Дэна? Не делайте этого. Вы слишком стары.

Менген *(пораженный)*. Вот как! Не слишком ли вы сплеча рубите, капитан?

Капитан Шотовер. Но ведь это правда.

Менген. Она этого не думает.

Капитан Шотовер. Думает.

Менген. Люди и постарше меня...

Капитан Шотовер *(доканчивает за него)*. ...оказывались в дураках. Это тоже правда.

Менген *(переходя в наступление)*. Не понимаю, почему вы считаете себя вправе в это вмешиваться.

Капитан Шотовер. Каждый должен в это вмешиваться. Звезды содрогаются в небесах, когда происходят подобные вещи.

Менген. И тем не менее я женюсь на ней.

Капитан Шотовер. Откуда это вам известно?

Менген *(старается показать себя человеком с сильным характером)*. Я намерен это сделать. Я так решил. Ясно? Со мной еще не бывало, чтобы я что-нибудь решил и не довел до конца. Такой уж я человек. И мы с вами лучше поймем друг друга, если вы это твердо и раз навсегда усвоите, капитан.

Капитан Шотовер. Вы любите кинематограф?

Менген. Возможно. Кто это вам сказал?

Капитан Шотовер. Разговаривайте как человек, а не как

кукла на экране. Вам хочется сказать, что вы зарабатываете сто тысяч в год.

Менген. Я этим не хвастаюсь. Но когда я встречаю человека, который зарабатывает сто тысяч в год, я снимаю перед ним шляпу, пожимаю ему руку и называю его братом.

Капитан Шотовер. Значит, вы тоже зарабатываете сто тысяч в год? Не так ли?

Менген. Нет, этого я не сказал бы. Пятьдесят – возможно.

Капитан Шотовер. Значит, брат наполовину. *(С обычной своей резкостью поворачивается спиной к Менгену и собирает со стола на китайский поднос пустые чашки.)*

Менген *(раздраженно)*. Послушайте, капитан Шотовер, мне не совсем понятно мое положение в этом доме. Я приехал сюда по приглашению вашей дочери. Я в ее доме или в вашем?

Капитан Шотовер. Вы под небесным кровом, в доме господнем. Что истинно внутри этих стен, то правильно и вне их. Идите в море, взберитесь на гору, спуститесь в долины, все равно она слишком молода для вас.

Менген *(ослабевая)*. Но ведь мне всего лишь чуть-чуть за пятьдесят.

Капитан Шотовер. Точнее сказать, чуть-чуть не шестьдесят. Босс Менген, вы не женитесь на дочери пирата. *(Уносит поднос в кладовую.)*

Менген *(идет за ним к двери)*. На какой дочери пирата? Что вы такое говорите?

Капитан Шотовер *(из кладовой)*. Элли Дэн. Вы не женитесь на ней.

Менген. А кто же мне помешает?

Капитан Шотовер *(появляясь)*. Моя дочь. *(Направляется к двери в переднюю.)*

Менген *(идет за ним)*. Миссис Хэшебай? Вы хотите сказать, что она пригласила меня сюда, чтобы расстроить это дело?

Капитан Шотовер *(останавливается и поворачивается к нему)*. Я знаю только то, что я видел по ее глазам. Да, она расстроит это. Послушайтесь моего совета, женитесь на негритянке из Вест-Индии; прекрасные из них выходят жены. Я сам когда-то два года был женат на негритянке.

Менген. Черт возьми!

Капитан Шотовер. Да уж взял! Меня тоже сцапал когда-то. И на много лет. Негритянка спасла меня.

Менген *(беспомощно)*. Престранная история! Я, собственно, должен был бы покинуть этот дом.

Капитан Шотовер. Почему?

Менген. Ну, знаете, многие люди были бы обижены вашей манерой разговаривать.

Капитан Шотовер. Глупости! Ссоры, видите ли, возникают совсем из-за другой манеры разговаривать. Со мной никто никогда не ссорился.

Из передней появляется джентльмен, прекрасный костюм и безупречные манеры которого свидетельствуют о его принадлежности к Вест-Энду. Он производит приятное впечатление холостого молодого человека, но при ближайшем рассмотрении ему по меньшей мере за сорок.

Джентльмен. Простите, пожалуйста, что я вторгаюсь таким образом. Но дело в том, что молотка на двери нет, а звонок, если не ошибаюсь, не действует.

Капитан Шотовер. А зачем вам молоток? Зачем звонок? Двери открыты.

Джентльмен. Вот именно. Поэтому-то я и осмелился войти.

Капитан Шотовер. Ну и отлично. Я сейчас поищу вам комнату. *(Идет к двери.)*

Джентльмен *(удерживая его)*. Боюсь, что вы не знаете, кто я такой.

Капитан Шотовер. Неужели вы думаете, что люди моего возраста делают различие между одним человеческим созданием и другим? *(Уходит.)*

Менген и гость смотрят друг на друга.

Менген. Странный человек этот капитан Шотовер.

Джентльмен. Да. Очень.

Капитан Шотовер *(кричит снаружи)*. Гесиона! Приехал еще один. Надо ему комнату. Хлыщ. Щеголь. Лет под пятьдесят.

Джентльмен. Представляю себе, что должна подумать Гесиона. Разрешите узнать – вы член этой семьи?

Менген. Нет.

Джентльмен. А я – да. Некоторым образом родственник.

Входит миссис Хэшебай.

Миссис Хэшебай. Добро пожаловать! Как это мило, что вы приехали.

Джентльмен. Я так рад познакомиться с вами, Гесиона *(Целует ее.)*

В дверях появляется капитан.

Вы, конечно, простите мне, капитан, что я целую вашу дочь; когда я скажу вам...

Капитан Шотовер. Чушь. Все целуют мою дочь. Целуйте сколько хотите. *(Направляется к кладовой.)*

Джентльмен. Благодарю вас. Одну минутку, капитан.

Капитан останавливается, оборачивается. Джентльмен, приветливо улыбаясь, подходит к нему.

Вы, быть может, помните,— а возможно, и нет, это ведь было много лет тому назад,— что ваша младшая дочь вышла замуж за чурбана.

Капитан Шотовер. Помню. Она сказала, что выйдет за кого угодно, лишь бы уйти из этого дома. Не узнал бы вас. Голова у вас теперь не похожа на грецкий орех. Вы размякли. Похоже, вас много лет кипятили в молоке с хлебным мякишем, как это делают с мужьями. Бедняга! *(Исчезает в кладовой.)*

Миссис Хэшебай *(подходит к джентльмену и испытующе смотрит на него)*. Я не верю, что вы Гастингс Этеруорд.

Джентльмен. Нет, я не он.

Миссис Хэшебай. Тогда с какой же стати вы меня целуете?

Джентльмен. Да просто мне очень захотелось. Дело в том, что я Рэндел Этеруорд, недостойный младший брат Гастингса. Я был за границей на дипломатической службе, когда он женился.

Леди Этеруорд *(врывается в комнату)*. Гесиона, где ключи от шкафа в моей комнате? У меня все брильянты в сумке. Я хочу спрятать их. *(Останавливается как вкопанная при виде нового лица.)* Рэндел, как вы осмелились? *(Направляется к нему.)*

Миссис Хэшебай отходит и усаживается на диване, рядом с Менгеном.

Рэндел. Как я осмелился — что именно? Я ничего не сделал

Леди Этеруорд. Кто вам сказал, что я здесь?

Рэндел. Гастингс. Я был у Клариджей и узнал, что вы только что уехали. И я последовал за вами сюда. Вы чудесно выглядите.

Леди Этеруорд. Не смейте так со мной разговаривать.

Миссис Хэшебай. А в чем дело с мистером Рэнделом, Эдди?

Леди Этеруорд *(сдерживая себя)*. Ах, ни в чем. Но он не имел права приезжать сюда без приглашения и беспокоить тебя и папу. *(Идет к подоконнику и садится; в раздражении отворачивается от всех и смотрит в сад, где прогуливаются Гектор и Элли.)*

Миссис Хэшебай. Ты, кажется, незнакома с мистером Менгеном, Эдди?

Леди Этеруорд *(оборачивается и холодно кивает Менгену)*. Простите. Рэндел, вы меня так расстроили, что я поставила себя в совершенно дурацкое положение.

Миссис Хэшебай. Леди Этеруорд. Моя сестра. Моя младшая сестра.

Менген *(отвешивая поклон)*. Чрезвычайно счастлив познакомиться с вами, леди Этеруорд.

Леди Этеруорд *(с явным интересом)*. Кто этот джентльмен, который разгуливает там в саду с мисс Дэн?

Миссис Хэшебай. Не знаю. Всего только десять минут тому назад она насмерть поссорилась с моим мужем. И я не видела, кто там еще приехал. Вероятно, новый гость. *(Подходит к окну и смотрит.)* Ах, это Гектор. Они помирились.

Леди Этеруорд. Твой муж? Этот красавец мужчина?

Миссис Хэшебай. Гм. Скажите! А почему же мой муж не может быть красавцем?

Рэндел *(присоединяется к ним)*. Мужья никогда не бывают красавцами, Ариадна. *(Садится справа от леди Этеруорд.)*

Миссис Хэшебай. А вот мужья сестер, мистер Рэндел, обычно очень недурны.

Леди Этеруорд. Не будьте пошляком, Рэндел; и ты, Гесиона, тоже не лучше.

Элли и Гектор входят из сада в двери по правому борту. Рэндел встает. Элли проходит в угол, к кладовой. Гектор выходит вперед. Леди Этеруорд поднимается во всем своем великолепии.

Миссис Хэшебай. Гектор, это Эдди.

Гектор *(явно изумленный)*. Не может быть! Эта леди?

Леди Этеруорд *(улыбаясь)*. А почему же нет?

Гектор *(смотрит на нее пронизывающим взглядом глубокого, но почтительного восхищения, усы его топорщатся)*.

Я думал *(спохватывается)* ...прошу извинить меня, леди Этеруорд. Несказанно счастлив приветствовать вас наконец под нашей кровлей. *(С проникновенной учтивостью протягивает руку.)*

Миссис Хэшебай. Она жаждет, чтобы ты ее поцеловал, Гектор.

Леди Этеруорд. Гесиона! *(Но продолжает улыбаться*

Миссис Хэшебай. Зови ее Эдди, поцелуй ее, как добрый зять, и кончайте с этой церемонией. *(Предоставляет их друг другу.)*

Гектор. Веди себя прилично, Гесиона. Леди Этеруорд вправе рассчитывать здесь не только на гостеприимство, но и на культурное обращение.

Леди Этеруорд *(признательно)*. Благодарю вас, Гектор

Дружески пожимают друг другу руки. В саду под окнами от правого борта к левому проходит Мадзини Дэн

Капитан Шотовер *(выходя из кладовой и обращаясь к Элли)*. Ваш отец умылся.

Элли *(с полным самообладанием)*. Он это часто делает, капитан Шотовер.

Капитан Шотовер. Странное перерождение! Я наблюдал за ним из окна кладовой.

Мадзини Дэн входит в дверь по правому борту, свежевымытый и причесанный, и, благодушно улыбаясь, останавливается между Менгеном и миссис Хэшебай.

Миссис Хэшебай *(знакомя)*. Мистер Мадзини Дэн – леди Эте... ах, я совсем забыла – вы уже знакомы. *(Показывает на Элли.)* Мисс Дэн.

Мадзини *(подходит к Элли, берет ее за руку, радуясь своей собственной дерзкой находчивости)*. С мисс Дэн мы тоже встречались – это моя дочь. *(Ласково берет ее под руку.)*

Миссис Хэшебай. Ах, ну конечно! Как глупо. Мистер Этеруорд, мм... моей сестры...

Рэндел *(любезно пожимая руку Мадзини)*. Ее деверь, мистер Дэн. Очень приятно.

Миссис Хэшебай. А это мой супруг.

Гектор. Мы знакомы, дорогая. Не трудись представлять нас еще раз. *(Подходит к большому креслу.)* Не хотите ли присесть, леди Этеруорд?

Леди Этеруорд благосклонно усаживается.

Миссис Хэшебай. Простите. Терпеть не могу знакомить Все равно, что спрашивать у людей – «ваш билет?».

Мадзини *(нравоучительно)*. В конце концов, как мало это о нас говорит. Вопрос ведь не в том, кто мы, а в сущности: что мы такое.

Капитан Шотовер. Гм-да. Вот вы, скажем, что вы такое?

Мадзини *(недоуменно)*. Что я такое?

Капитан Шотовер. Вор, пират, убийца.

Мадзини. Уверяю вас, вы заблуждаетесь.

Капитан Шотовер. Жизнь авантюриста. А к чему это привело? К респектабельности. Дочка – настоящая леди. Речь, манеры столичного проповедника. Пусть это будет предостережением для всех нас. *(Выходит в сад.)*

Мадзини. Надеюсь, здесь никто не верит, что я вор, пират и убийца? Миссис Хэшебай, простите, я на минутку удалюсь. Нет, в самом деле, надо пойти и объясниться. *(Идет за капитаном.)*

Миссис Хэшебай *(ему вслед)*. Бесполезно. Вы бы лучше... *(Но Мадзини уже исчез.)* Нам всем, пожалуй, лучше пойти выпить чаю. У нас никогда не бывает чаю в положенные часы. Но можно пить всегда, когда только захотите. Он кипит у прислуги целый день. А спросить лучше всего на галерее около кухни. Хотите, я покажу вам? *(Идет к двери направо.)*

Рэндел *(идет рядом с ней)*. Благодарю вас. Мне совсем не хочется чаю. Но если бы вы показали мне ваш сад...

Миссис Хэшебай. В нашем саду нечего показывать, разве только папину обсерваторию. И песочную яму с погребом, где он держит динамит и всякие такие вещи Впрочем, на воздухе все-таки приятней, чем в комнате Идемте.

Рэндел. Динамит! Ведь это довольно рискованно.

Миссис Хэшебай. Ну что вы! Мы же не лезем в эту песочную яму во время грозы.

Леди Этеруорд. Это уж что-то новое. А зачем это – динамит?

Гектор. Чтобы взорвать человечество, если оно зайдет слишком далеко. Он пытается найти некий психический луч который взорвет все взрывчатые вещества по повелению Махатмы.

Элли. У капитана восхитительный чай, мистер Этеруорд.

Миссис Хэшебай *(останавливается в двери)*. Неужели отец угощал вас чаем? Как это вам удалось обойти его не успев пробыть в доме и десяти минут?

Элли. Видите, удалось.

Миссис Хэшебай. Вот маленький бесенок! *(Выходит с Рэнделом.)*

Менген. А вы не хотите прогуляться, мисс Элли?

Элли. Я устала. Я лучше возьму книжку с собой в комнату и отдохну немножко. *(Подходит к книжной полке.)*

Менген. Ну, прекрасно. Лучше и не придумаешь. Но я крайне огорчен. *(Уходит вслед за Рэнделом и миссис Хэшебай.)*

Остаются Элли, Гектор и леди Этеруорд. Гектор стоит у кресла леди Этеруорд. Они смотрят на Элли, дожидаясь, чтобы она ушла.

Элли *(рассматривая заглавия книг)*. Вы любите романы с приключениями, леди Этеруорд?

Леди Этеруорд *(покровительственно)*. Разумеется, дорогая.

Элли. В таком случае оставляю вас мистеру Хэшебаю. *(Выходит в переднюю.)*

Гектор. Эта девчонка помешана на приключениях. Чего только я для нее не выдумывал.

Леди Этеруорд *(ни капельки не интересуясь Элли)*. Когда вы меня увидели, вы хотели сказать что-то; вы начали: «я думал» — и потом вдруг остановились. Что именно вы думали?

Гектор *(скрестив руки и гипнотизируя ее взглядом)*. Вы разрешите сказать?

Леди Этеруорд. Ну конечно.

Гектор. Это звучит не очень любезно. Я собирался сказать: «Я думал, что вы обыкновенная женщина...»

Леди Этеруорд. О, как вам не стыдно, Гектор! Кто вам дал право замечать, обыкновенная я или нет?

Гектор. Послушайте меня, Ариадна. До сегодняшнего дня я видел только вашу фотографию. Но никакая фотография не может передать то очарование, которым обладают дочери этого сверхъестественного старца. В них есть какая-то дьявольская черточка, которая разрушает моральную силу мужчины и уводит его за пределы чести и бесчестия. Вы ведь знаете это, не так ли?

Леди Этеруорд. Возможно, что я знаю это, Гектор. Но разрешите мне предупредить вас раз навсегда, что я женщина твердых правил. Вы, может быть, думаете, что если я из семьи Шотовер, так во мне есть что-то от богемы, потому что мы все ужасная богема? Но я нет.

Я ненавижу богему всеми силами души. Ни один ребенок, воспитанный в пуританской семье, так не страдал от пуританства, как я от богемы.

Гектор. Вот и у нас дети точь-в-точь такие же. Они проводят каникулы у своих респектабельных друзей.

Леди Этеруорд. Я приглашу их на рождество к себе

Гектор. В их отсутствие мы остаемся без наших домашних наставников.

Леди Этеруорд. Дети, конечно, иногда ужасная помеха. Но разумные люди всегда умеют устроиться, если только у них дома не богема.

Гектор. Вы не богема. Но и пуританского в вас ничего нет. Живое и властное очарование – вот ваша сила. Скажите, какого рода женщиной вы сами себя считаете?

Леди Этеруорд. Я светская женщина, Гектор. И уверяю вас, если только взять на себя труд вести себя всегда совершенно корректно и говорить всегда только пристойные вещи, то в остальном вы вольны поступать как вам угодно. Плохо воспитанная, распущенная женщина просто не может иметь успеха. Плохо воспитанный, распущенный мужчина никогда не может подойти ни к одной достойной женщине.

Гектор. Теперь я понимаю. Вы не богема. И вы не пуританка. Вы опасная женщина.

Леди Этеруорд. Напротив. Я безопасная женщина.

Гектор. Вы чертовски пленительная женщина. Заметьте я отнюдь не ухаживаю за вами. Я не люблю чувствовать себя плененным. Но если вы намерены остаться у нас, то конечно, вам лучше знать, что я думаю о вас.

Леди Этеруорд. Вы чрезвычайно искусный сердцеед. И изумительно красивы. Я сама очень неплохой партнер в такого рода игре. Ведь это само собой разумеется, что мы только играем?

Гектор. Ну ясно. Я спокойно позволяю себя дурачить, сознавая свое полное ничтожество.

Леди Этеруорд *(оживленно поднимаясь)*. Итак, вы мой зять. Гесиона велела вам поцеловать меня.

Гектор хватает ее в объятия и усердно целует.

О, это, пожалуй, несколько больше, чем игра, дорогой зять. *(Внезапно отталкивает его.)* Больше вы этого не сделаете.

Гектор. По правде сказать, вы запустили в меня ваши когти глубже, чем я думал.

Миссис Хэшебай *(входит из сада)*. Не обращайте на меня внимания, я вам мешать не буду. Я только хочу взять папину фуражку. Солнце садится, я боюсь, как бы он не простудился. *(Идет к двери в переднюю.)*

Леди Этеруорд. Твой супруг совершенно очарователен, дорогая. Наконец-то он снизошел и поцеловал меня. Я иду в сад; как будто стало прохладнее. *(Выходит в дверь по левому борту.)*

Миссис Хэшебай. Берегись, дитя мое! Я не думаю, чтобы кто-нибудь из мужчин мог поцеловать Эдди и не влюбиться в нее. *(Идет в переднюю.)*

Гектор *(бьет себя в грудь)*. Дурак! Козел!

Миссис Хэшебай возвращается с фуражкой капитана.

Твоя сестра на редкость предприимчивая старуха. Где мисс Дэн?

Миссис Хэшебай. Менген сказал, что она поднялась к себе наверх, отдохнуть. Эдди тебе с ней разговаривать не позволит. Она уже тебя отметила, теперь ты ее собственность.

Гектор. У нее есть это ваше семейное дьявольское обаяние. И я машинально начал за ней ухаживать. Но что мне делать? Влюбиться я не способен, а оскорбить женское чувство, признаться ей в этом, когда она влюбляется в меня, я тоже не могу. А так как женщины вечно влюбляются в мои усы, у меня заводится масса всяких скучных, бессмысленных флиртов, которые меня нисколько не занимают.

Миссис Хэшебай. То же самое и Эдди. Она за всю жизнь ни разу не была влюблена. Хотя вечно стремилась влюбиться по уши. Она еще хуже тебя. У тебя хоть один такой случай был – со мной.

Гектор. Это было настоящее безумие. Не могу себе представить, чтобы такие изумительные переживания были доступны всем. Они оставили во мне глубокий след. И вот поэтому-то я и думаю, что они неповторимы.

Миссис Хэшебай *(смеясь, похлопывая его по руке)*. Мы были ужасно влюблены друг в друга, Гектор. Это был такой волшебный сон, что я потом потеряла способность ревновать тебя или кого бы то ни было,– я понимала, что это такое. Я всегда старалась приглашать к нам побольше хорошеньких женщин, чтобы доставить тебе еще такой случай, но у тебя что-то ни разу не вышло.

Гектор. Не знаю, хотел ли я, чтобы вышло. Это дьявольски опасно. Ты околдовала меня. Но я любил тебя. И это был рай. А эта твоя сестрица околдовывает меня, но я ненавижу ее. И получается ад. Я убью ее, если она будет продолжать.

Миссис Хэшебай. Ничто не может убить Эдди. Здорова как лошадь. *(Выпуская его руку.)* Ну, а теперь я пойду околдовывать кого-нибудь еще.

Гектор. Вот этого хлыща из министерства иностранных дел Рэндела?

Миссис Хэшебай. Боже упаси. Нет! Зачем я буду его околдовывать?

Гектор. Надеюсь, не этого надутого толстосума Менгена

Миссис Хэшебай. Хм... Мне кажется, что уж лучше пусть он будет околдован мной, а не Элли. *(Идет в сад.)*

Навстречу ей идет капитан с какими-то брусочками в руке.

Что это у тебя такое, папочка?

Капитан Шотовер. Динамит.

Миссис Хэшебай. Ты лазил в песочную яму? Смотри не урони эту штуку где-нибудь в доме. Ты мой дорогой *(Уходит в сад, где все пронизано красным закатным светом.)*

Гектор. Выслушай меня, о мудрец. Сколь долго осмеливаешься ты сосредоточиться на каком-нибудь чувстве, не опасаясь, что оно запечатлеется в твоем сознании на всю твою остальную жизнь?

Капитан Шотовер. Девяносто минут. Полтора часа *(Уходит в кладовую.)*

Гектор, оставшись один, сдвигает брови и погружается в мечты. Некоторое время он сидит неподвижно, затем скрещивает руки на груди, потом встает и, заложив руки за спину, с трагическим видом ходит взад и вперед. Внезапно хватает со столика свою трость и, обнажив находящуюся внутри нее рапиру, вступает в отчаянный поединок с воображаемым противником; после ряда удачных и неудачных выпадов он вонзает в него шпагу по самую рукоять, затем прячет свое оружие обратно в трость, бросает ее на диван и снова погружается в задумчивость вперив взор в глаза воображаемой женщины, он хватает ее за руки и говорит глухим, проникновенным голосом «Ты меня любишь». В эту минуту из кладовой показы-

вается капитан, и Гектор, пойманный врасплох с вытянутыми руками и сжатыми кулаками, делает вид, что занимается гимнастикой, и проделывает ряд упражнений.

Капитан Шотовер. Такого рода сила не имеет смысла. Ты все равно никогда не будешь таким сильным, как, например, горилла.

Гектор. Зачем вам динамит?

Капитан Шотовер. Уничтожить вот этаких, вроде Менгена.

Гектор. Бесполезно. У них всегда будет возможность купить еще больше динамита.

Капитан Шотовер. Я сделаю такой динамит, что им его не взорвать.

Гектор. А вы взорвете?

Капитан Шотовер. Да. Когда достигну седьмой степени самосозерцания.

Гектор. Не стоит стараться. Вы никогда не достигнете ее.

Капитан Шотовер. А что же делать? Так, значит, нам вечно и барахтаться в грязи из-за этих свиней, для которых вселенная – это что-то вроде кормушки, в которую они тычутся своим щетинистым рылом, чтобы набить себе брюхо?

Гектор. Разве щетина Менгена много хуже, чем завиточки Рэндела?

Капитан Шотовер. Нам должны быть подвластны жизнь и смерть того и другого. И я не умру, пока не найду к этому пути.

Гектор. Кто мы, чтобы судить их?

Капитан Шотовер. А кто они, чтобы судить нас? Однако они делают это не задумываясь. Между их семенем и семенем нашим вечная вражда. Они знают это и поэтому делают все, чтобы раздавить наши души. Они верят в самих себя. Когда мы поверим в себя, мы одолеем их.

Гектор. Семя одно. Вы забываете, что у вашего пирата очень миленькая дочка. Сын Менгена может быть Платоном. А сын Рэндела – Шелли. Что такое был мой отец?

Капитан Шотовер. Отъявленнейший негодяй. *(Кладет на место чертежную доску, усаживается за стол и начинает смешивать кистью краски.)*

Гектор. Именно. Так вот, осмелитесь ли вы убить его невинных внуков?

Капитан Шотовер. Они и мои внуки.

Гектор. Совершенно верно. Мы все части один другого. *(Небрежно разваливается на диване.)* Я вам скажу. Я нередко думал об истреблении человекоподобных гадин. Многие думали об этом. Порядочные люди — это вроде Даниила во рву львином. Как они выживают — это настоящее чудо. И не всегда, конечно, выживают. Мы живем среди Менгенов, Рэнделов, Билли Дэнов, как они, несчастные, живут среди вирулентных микробов, докторов, адвокатов, попов, ресторанных метрдотелей, торгашей, прислуги и всяких иных паразитов и шарлатанов. Что наши страхи по сравнению с тем, как они трясутся? Дайте мне власть уничтожить их, и я пощажу их из чистого...

Капитан Шотовер *(резко обрывает его)*. Чувства товарищества?

Гектор. Нет. Я бы должен был покончить с собой, если бы я думал так. Я должен верить, что моя искорка, как бы она ни была мала, божественного происхождения, а багровый свет над их дверью — это пламя преисподней. Я бы их пощадил просто из великодушной жалости.

Капитан Шотовер. Ты не можешь пощадить их, пока ты не имеешь власти истребить их. Сейчас они обладают этой властью по отношению к тебе. Там, за океаном, миллионы чернокожих, которых они вымуштруют и обрушат на нас. Они готовятся к этому. Они делают это уже сейчас.

Гектор. Они слишком глупы, чтобы воспользоваться своей властью.

Капитан Шотовер *(бросает кисть и подходит к дивану)*. Не обманывай себя. Они пользуются ею. Каждый день мы убиваем в себе лучшее, что в нас есть, чтобы их умилостивить. Одно сознание, что эти люди всегда здесь, начеку, чтобы сделать бесполезными все наши стремления, не дает этим стремлениям даже родиться внутри нас. А когда мы пытаемся уничтожить их, они посылают на нас демонов, чтобы обольстить нас,— демонов, принимающих облик красивых дочерей, певцов, поэтов и им подобных, ради которых мы щадим и их самих.

Гектор *(садится и наклоняется к нему)*. А не может быть так, что Гесиона и есть демон, порожденный вами, чтобы я не убил вас?

Капитан Шотовер. Возможно. Она выжала вас целиком и не оставила вам ничего, кроме грез,— так делают некоторые женщины.

Гектор. Женщины-вампиры, демонические женщины.

Капитан Шотовер. Мужчины думают, что мир потерян для них, и действительно теряют его. А кто вершит дела в этом мире? Мужья сварливых и пьяниц; мужчины, у которых сидит заноза в теле. *(Рассеянно идет к кладовой.)* Я должен об этом хорошенько подумать. *(Резко поворачивается.)* Но все же я буду продолжать работать с динамитом. Я открою луч более мощный, чем все эти рентгеновские лучи, духовный луч, который взорвет гранату на поясе у моего врага раньше, чем он успеет бросить ее в меня. И мне надо спешить. Я стар. У меня нет времени на разговоры. *(Он уже на пороге кладовой, а Гектор идет в переднюю.)*

В это время возвращается Гесиона.

Миссис Хэшебай. Папочка! Ты и Гектор — вы должны помочь мне занять эту публику. И о чем это вы тут так кричите?

Гектор *(взявшись за ручку двери)*. Он совсем спятил; он сегодня хуже, чем всегда.

Миссис Хэшебай. Все мы спятили.

Гектор. Я должен переодеться. *(Нажимает ручку двери.)*

Миссис Хэшебай. Постой, постой. Вернитесь вы оба. Подите сюда.

Они неохотно возвращаются.

У меня нет денег.

Гектор. Денег? А где мои апрельские дивиденды?

Миссис Хэшебай. Где снег прошлогодний?

Капитан Шотовер. А где все деньги за патент на мою спасательную лодку?

Миссис Хэшебай. Пятьсот фунтов! С самой пасхи я их тянула.

Капитан Шотовер. С пасхи! И четырех месяцев не прошло! Чудовищная расточительность! Я мог бы прожить семь лет на пятьсот фунтов.

Миссис Хэшебай. Только не на такую широкую ногу, как у нас в доме.

Капитан Шотовер. За такую спасательную лодку — и всего только пятьсот фунтов! А за прошлое свое изобретение я получил двенадцать тысяч.

Миссис Хэшебай. Да, дорогой. Но ведь это было судно с каким-то магнетическим килем для охоты за подводными лодками. Разве при нашем образе жизни можно позволить себе тратить время на какие-то спасательные

приспособления? Ты бы лучше придумал что-нибудь такое, что сразу, одним махом, прихлопнет пол-Европы.

Капитан Шотовер. Нет. Я старею. Быстро старею. Мозг мой не способен теперь сосредоточиться на убийстве, как прежде, когда я был мальчишкой. Почему это твой муж ничего не изобретает? Он только и умеет, что врать всякую чепуху женщинам.

Гектор. Н-да, но ведь это тоже своего рода изобретательство. А впрочем, вы правы. Я должен содержать жену.

Миссис Хэшебай. Ничего ты такого не должен. Тогда тебя с утра до поздней ночи не увидишь. Мне нужно, чтобы мой муж был со мной.

Гектор *(с горечью)*. С тем же успехом я мог бы быть твоей комнатной собачкой.

Миссис Хэшебай. А тебе бы хотелось быть моим кормильцем, как, знаешь, есть такие несчастные мужья?

Гектор. Нет, черт возьми! Но что это за трижды проклятое создание — муж!

Миссис Хэшебай *(капитану)*. А как насчет гарпунной пушки?

Капитан Шотовер. Никакого толку. Это на китов, а не на людей.

Миссис Хэшебай. А почему бы и нет? Ты стреляешь гарпуном из пушки, гарпун попадает прямо в неприятельского генерала — и ты его вытаскиваешь. Вот тебе и всё.

Гектор. Ты дочь своего отца, Гесиона.

Капитан Шотовер. Да, тут можно что-нибудь придумать, конечно. Не затем, чтобы ловить генералов,— они не опасны. Но можно было бы стрелять железной кошкой и выуживать пулеметы, даже танки. Я над этим подумаю.

Миссис Хэшебай *(нежно поглаживая капитана по плечу)*. Вот и спасены. Ты прямо прелесть, папочка. А теперь надо нам идти ко всем этим ужасным людям и занимать их.

Капитан Шотовер. Ведь они не обедали, ты не забудь об этом.

Гектор. И я тоже не обедал. А уже темно. И, должно быть, бог знает который час!

Миссис Хэшебай. Ах, Гинес придумает им какой-нибудь обед. Прислуга никогда не забывает позаботиться о том, чтобы в доме была еда.

Капитан Шотовер *(испускает какой-то странный вопль в темноте)*. Что за дом! Что за дочь!

Миссис Хэшебай *(восторженно)*. Какой отец!

Гектор *(вторит)*. Какой супруг!

Капитан Шотовер. Или гром, что ли, иссяк в небесах?

Гектор. Или красота и отвага иссякли на земле?

Миссис Хэшебай. И что только нужно мужчинам? Сыты, одеты, и у себя дома, и любовью нашей даруем мы их перед тем, как отойти ко сну. И всё-то они недовольны. Почему они завидуют той муке, с какой мы производим их на свет, и сами создают для себя какие-то непостижимые опасности и мучения только для того, чтобы не отстать от нас?

Капитан Шотовер *(нараспев, словно читает заклинание)*

Я дом дочерям построил и настежь открыл для гостей,
Чтоб дочери, выйдя замуж, хороших рожали детей.

Гектор *(подхватывает)*.

Но вышла одна за чурбана, другая лжецом увлеклась.

Миссис Хэшебай *(оканчивая строфу)*.

И ложе его разделила, и любит лжеца и сейчас.

Леди Этеруорд *(кричит из сада.)*. Гесиона, Гесиона, где ты?

Гектор. Кот на крыше!

Миссис Хэшебай. Иду, дорогая, иду. *(Быстро уходит в сад.)*

Капитан возвращается к столу.

Гектор *(уходя в переднюю)*. Зажечь вам свет?

Капитан Шотовер. Не надо. Дайте мне тьму еще поглубже. Деньги при свете не делаются.

Та же комната. Горит свет, шторы спущены. Входит Элли и за ней Менген, оба одеты к обеду. Она подходит к чертежному столу. Он становится между столом и плетеным креслом.

Менген. Что за обед! По-моему, это не обед, а так что-то всухомятку к чаю.

Элли. Я привыкла к сухомятке, мистер Менген, и очень рада, когда она есть. Кроме того, капитан сварил мне немножко макарон.

Менген *(передергиваясь, желчно)*. Какая роскошь! Я не могу этого есть. Я думаю, это потому, что у меня слишком напряженная мозговая работа. Это самое тяжелое в жизни делового человека. Вечно приходится думать, думать, думать. Кстати, сейчас – пока мы одни – разрешите мне воспользоваться случаем, чтобы выяснить, так сказать, наши взаимоотношения.

Элли *(усаживаясь на табурет у чертежного стола)*. Да, да, я как раз этого и хочу.

Менген *(оторопев)*. Вы хотите? Это меня, знаете, удивляет. Потому что, мне кажется, я заметил сегодня днем, вы всячески старались избегать меня. И это уж не первый раз.

Элли. Просто я устала. И мне было как-то не по себе. Я тогда еще не привыкла к этому необыкновенному дому. Пожалуйста, простите меня.

Менген. О, это пустяки. Я не обижаюсь. Но капитан Шотовер говорил со мной о вас. Понимаете – о вас и обо мне.

Элли *(заинтересовавшись)*. Капитан? И что же он говорил?

Менген. Да он, видите ли, обратил внимание на... разницу наших... лет.

Элли. Он все замечает.

Менген. Вы, значит, не придаете этому значения?

Элли. Конечно, я очень хорошо знаю, что наша помолвка...

Менген. Ах, так вы называете это помолвкой?

Элли. А разве нет?

Менген. О, конечно, конечно, если вы так говорите. Ведь вы в первый раз произносите это слово. Мне просто было не совсем ясно. Вот и все. *(Усаживается в плетеное кресло*

и предоставляет Элли вести разговор.) Простите, вы, кажется, что-то начали говорить...

Элли. Разве? Я забыла. Напомните. Вам нравится здесь? Я слышала, как вы спрашивали миссис Хэшебай за обедом, не сдается ли поблизости какой-нибудь хороший особняк.

Менген. Мне понравились эти места. Здесь как-то легко дышится. Возможно, что я и поселюсь здесь.

Элли. Я бы ничего лучшего не желала. Здесь, правда, легко дышится. И я хотела бы быть поближе к Гесионе

Менген *(все больше мнется)*. Воздух-то здешний, конечно нам подходит, а вот вопрос в том, подходим ли мы друг другу. Вы об этом подумали?

Элли. Мистер Менген, мы с вами должны быть рассудительными, вы не находите? Нам нет нужды разыгрывать Ромео и Джульетту. Но мы очень хорошо можем поладить, если оба возьмем на себя труд приложить к этому некоторые усилия. Ваше доброе сердце намного облегчит для меня все это.

Менген *(наклоняется вперед, и в голосе его прорывается явное неудовольствие)*. Доброе сердце?.. Гм. Ведь я же разорил вашего отца; вам это известно?

Элли. О, но ведь это было не умышленно?

Менген. Вот именно. Я сделал это с умыслом.

Элли. С умыслом?

Менген. Ну, не из личной злобы, разумеется. Вы сами знаете, что я дал ему работу, когда с ним было все кончено Но дело всегда остается делом. Я уничтожил его как человека, который может влиять на дела и деловую жизнь

Элли. Не понимаю, как это может быть. Вы, верно, хотите заставить меня почувствовать, что я вам ничем не обязана, чтобы я могла решить совершенно свободно,— так?

Менген *(встает, с вызывающим видом)*. Нет. Я хочу сказать именно то, что я говорю.

Элли. Но какая же вам была польза разорять моего отца? Ведь деньги, которые он потерял, это же были ваши деньги?

Менген *(с язвительным смехом)*. Да. Мои. Они и есть мои мисс Элли. И все деньги, которые вместе с ним потеряли его друзья, тоже мои деньги. *(Засовывает руки в карманы и ухмыляется.)* Я просто их выкурил, как выкуривают пчел из улья. Что вы на это скажете? Вас это несколько потрясает, не так ли?

Элли. Сегодня утром это могло бы меня потрясти. А сейчас

вы даже и представить себе не можете, как мало это для меня значит. Но это очень любопытно. Только вы должны объяснить мне. Я не совсем понимаю. *(Облокотившись на стул и уткнув подбородок в ладони, она приготовилась слушать; на лице ее написано явное любопытство и в то же время невольное презрение, которое раздражает его все больше и больше и вместе с тем внушает ему желание просветить ее в ее невежестве.)*

Менген. Ну конечно, вы не понимаете. Что вы можете понимать в делах? А вот вы слушайте и учитесь. Дело вашего отца было новое дело. А я не имею обыкновения начинать дела. Я обычно предоставляю другим начинать. Они вкладывают в это все свои деньги и деньги своих друзей, отдаются этому душой и телом, только чтобы поставить предприятие на ноги. Это, как говорится, самые настоящие энтузиасты. Но для них всякий, хотя бы временный, застой в делах — сущая беда. У них нет финансового опыта. И обычно, так через год либо два, они или терпят крах, или продают свое предприятие за бесценок, в рассрочку каким-нибудь пайщикам. И это еще если повезет, а то может статься, что они и вовсе ничего не получат. Ну, чаще всего то же самое происходит и с новой компанией. Те вкладывают еще деньги, тянут еще год или два — и в конце концов им опять-таки приходится перепродавать дело в третьи руки. Если это действительно крупное предприятие, то и третьи покупатели тоже только ухлопают в него свои труды и деньги — и опять-таки перепродадут. И вот тут-то и появляются настоящие дельцы. Тут появляюсь я. Но я похитрее многих других. Я не пожалею истратить немножко денег, чтобы подтолкнуть такое дело. Я сразу раскусил вашего отца. Я видел, что идея у него хорошая и что он будет из кожи вон лезть, если ему дать возможность претворить ее в жизнь. И я видел, что в делах он сущий младенец и не сумеет уложиться в бюджет и выждать время, чтобы завоевать рынок. Я знал, что самый верный способ разорить человека, который не умеет обращаться с деньгами, это дать ему денег. Я поделился моей идеей кое с кем из друзей в Сити, и они нашли деньги. Потому что я сам, видите ли, не вкладываю деньги в идеи, даже когда это мои собственные идеи. Ваш отец и его друзья, которые рискнули вместе с ним своим капиталом, были для меня все равно что кучка выжатых лимонов. Так что вы зря расточали вашу благодарность, и эти разговоры о моем

добром сердце — чистейший вздор. Меня тошнит от них. Когда я вижу, как ваш отец, весь расплываясь, глядит на меня своими влажными, признательными глазами и прямо захлебывается от благодарности, меня так и разбирает сказать ему всю правду,— а не то, кажется, я вот-вот лопну. И останавливает меня только то, что я знаю, он мне все равно не поверит. Он подумает, что это моя скромность,— вот так же, как и вы сейчас подумали. Допустит все что угодно, только не правду. А это-то вот и доказывает, что он круглый дурак, а я человек, который умеет о себе позаботиться. *(Откидывается в кресле с видом полного удовлетворения.)* Н-да... так вот, что вы теперь обо мне скажете, мисс Элли?

Элли *(опуская руки)*. Как странно, что моя мать, которая ничего не понимала в делах, была совершенно права относительно вас! Она всегда говорила — конечно, не в присутствии папы, а нам, детям,— что вы вот именно такой человек.

Менген *(выпрямляется, сильно задетый)*. Ах, она так говорила? И тем не менее она не возражала против того, чтобы вы вышли за меня.

Элли. Видите ли, мистер Менген, моя мать вышла замуж за очень хорошего человека — потому что, как бы вы там ни оценивали моего отца с деловой точки зрения, он сама доброта,— и ей совсем не хотелось, чтобы я повторила ее опыт.

Менген. Во всяком случае, вы-то теперь уж не пойдете за меня замуж, не правда ли?

Элли *(совершенно спокойно)*. Да нет, почему же?

Менген *(встает, ошеломленный)*. Почему?

Элли. Я не вижу оснований, почему бы мы не могли с вами поладить.

Менген. Да, но послушайте, вы понимаете... *(Умолкает, совершенно сбитый с толку.)*

Элли *(терпеливо)*. Да?

Менген. Я думал, что вы более щепетильны в ваших взаимоотношениях с людьми.

Элли. Если бы мы, женщины, были слишком щепетильны по отношению к мужчинам, нам тогда вовсе не пришлось бы выходить замуж, мистер Менген.

Менген. Такой ребенок, как вы, и слышать от вас: «Мы, женщины»! Куда же дальше! Нет, не может быть, чтобы вы это говорили серьезно.

Элли. Совершенно серьезно. А разве вы — нет?

Менген. Вы хотите сказать, что вы не собираетесь от меня отказываться.

Элли. А вы хотите отказаться?

Менген. Да нет. Не то чтобы отказаться...

Элли. Так в чем же дело?

Менген не находит, что ответить. С протяжным свистом он падает в плетеное кресло и смотрит перед собой с видом проигравшегося в пух и прах игрока. Потом вдруг по лицу его проскальзывает что-то хитренькое, он облокачивается на ручку кресла и говорит вкрадчиво и понизив голос.

Менген. А что, если бы я вам сказал, что я влюблен в другую женщину?

Элли *(в тон ему.)* А если бы я вам сказала, что я влюблена в другого мужчину?

Менген *(в раздражении вскакивает).* Я не шучу.

Элли. А почему вы думаете, что я шучу?

Менген. Повторяю вам, что я говорю совершенно серьезно. Вы слишком молоды, чтобы быть серьезной, но вам придется поверить мне. Я хочу быть поближе к вашей приятельнице, миссис Хэшебай. Я влюблен в нее. Ну вот, теперь я все выложил.

Элли. А я хочу быть поближе к вашему приятелю, мистеру Хэшебаю. Я влюблена в него. *(Встает и чистосердечно заканчивает.)* Ну, теперь, когда мы во всем открылись друг другу, мы будем настоящими друзьями. Благодарю вас за то, что вы доверились мне.

Менген *(вне себя).* И вы воображаете, что я позволю так злоупотреблять моей персоной?

Элли. Полно вам, мистер Менген. Вы же нашли возможным злоупотребить моим отцом в этих ваших делах. Брак для женщины — это такое же дело. Так почему же мне не злоупотребить вами в семейном смысле?

Менген. Потому что я не позволю этого! Потому что я не простофиля, как ваш отец, вот почему!

Элли *(спокойно, с презрением).* Вы не достойны ботинки чистить моему отцу, мистер Менген. Я делаю для вас громадную любезность, снисходя до того, чтобы злоупотребить вашей милостью, как вы изволили выразиться. Разумеется, у вас есть полная возможность расторгнуть нашу помолвку, раз уж вам так хочется. Но если только вы это сделаете, вы больше не переступите порога дома Гесионы. Я уж позабочусь об этом.

Менген *(задыхаясь)*. Ах вы чертовка!.. Вы меня положили на обе лопатки. *(Сраженный, совсем было уже падает в кресло, но вдруг его словно что-то осеняет.)* Нет, нет, погодите. Вы не так хитры, как вы думаете. Вам не удастся так просто провести Босса Менгена. А что, если я сейчас прямехонько отправлюсь к миссис Хэшебай и объявлю ей, что вы влюблены в ее мужа?

Элли. Она знает.

Менген. Вы ей сказали!!!

Элли. Она мне это сказала.

Менген *(хватается за виски)*. Это какой-то сумасшедший дом! Или это я сошел с ума! Да что она, сговорилась что ли, с вами – заполучить вашего супруга в обмен на своего?

Элли. А разве вы хотите нас обеих?

Менген *(совершенно оторопев, падает в кресло)*. Нет, мои мозги этого не выдержат. У меня голова раскалывается Помогите! Мой череп! Скорей! Держите его, сожмите его! Спасите меня!

Элли подходит к нему сзади, крепко охватывает его голову, потом начинает тихонько проводить руками от лба к ушам.

Спасибо. *(Сонным голосом.)* Как это освежает. *(Борясь со сном.)* Только не вздумайте гипнотизировать меня Я видел, как люди становились круглыми дураками от этой штуки.

Элли *(внушительно)*. Успокойтесь. Я видела, как люди становились дураками без всякого гипноза.

Менген *(кротко)*. Надеюсь, вам не противно прикасаться ко мне? Потому что ведь до сих пор вы никогда не прикасались ко мне.

Элли. Ну, конечно, пока вы не влюбились самым естественным образом во взрослую, симпатичную женщину которая никогда не позволит вам подступиться к ней И я никогда не позволю ему подступиться ко мне

Менген. А он все-таки будет пытаться.

Элли *(продолжая ритмически свои пассы)*. Шшш... засыпайте Слышите? Вы будете спать-спать-спать. Будьте спокойны, совсем, совсем спокойны. Спите-спите-спите-спите

Менген засыпает. Элли тихонько отходит, выключает свет и уходит в сад. Няня открывает дверь и появляется в полосе света, пробивающегося из передней.

Няня *(говорит кому-то в передней)*. Мистера Менгена нет здесь, душенька. Здесь никого нет. Темно совсем.

Миссис Хэшебай *(снаружи)*. Посмотрите в саду. Мы с мистером Дэном будем у меня в будуаре. Проводите его к нам.

Няня. Хорошо, душенька. *(Идет в темноте к двери в сад, спотыкается о спящего Менгена, кричит.)* Ах! Господи ты боже! Простите уж, пожалуйста! Не разглядела впотьмах. Да кто же это такой? *(Возвращается к двери и включает свет.)* Ах, мистер Менген, надеюсь, я не ушибла вас? Вот ведь, шлепнулась прямо на колени! *(Подходит к нему.)* А я вас-то и ищу. Миссис Хэшебай просила вас... *(Замечает, что он совершенно неподвижен.)* Ах ты господи! Да уж не убила ли я его! Сэр! Мистер Менген! Сэр! *(Трясет его, он безжизненно валится с кресла, она подхватывает его и прислоняет к подушке.)* Мисс Гесси! Мисс Гесси! Скорей сюда, голубушка! Мисс Гесси!

Миссис Хэшебай входит из передней с Мадзини Дэном.

Ах, мисс Гесси! Похоже, я убила его!

Мадзини обходит кресло с правой стороны от Менгена и видит, что, по-видимому, няня говорит правду.

Мадзини. Что побудило вас, женщина, совершить такое преступление?

Миссис Хэшебай *(удерживаясь, чтобы не расхохотаться.)* Ты хочешь сказать, что ты это умышленно?

Няня. Да разве это похоже на меня, чтобы я нарочно человека погубила? Наткнулась на него в темноте, да и придавила. Вес-то у меня большой. А он слова не сказал и не пошевелился, пока я не тряхнула его. Потом, гляжу — валится замертво на пол. Экая беда вышла!

Миссис Хэшебай *(подходит к Мадзини, обойдя няньку, и критически разглядывает Менгена)*. Глупости! И вовсе он не мертвый. Просто спит. Я вижу, как он дышит

Няня. А почему ж он не просыпается?

Мадзини *(очень вежливо говорит Менгену в самое ухо)*. Менген, дорогой Менген! *(Дует ему в ухо.)*

Миссис Хэшебай. Так не годится. *(Изо всех сил встряхивает его.)* Мистер Менген, извольте проснуться! Слышите?

Он начинает сползать ниже, на пол.

Ах, няня, няня! Он падает, помоги мне!

Няня бросается на помощь. Вместе с Мадзини они снова втаскивают Менгена на подушки.

Няня *(стоя за креслом, наклоняется и нюхает).* Может, он пьян, как ты думаешь, душенька?

Миссис Хэшебай. Может быть, хлебнул папиного рома?

Мадзини. Нет, этого быть не может. Он человек воздержанный. Кажется, когда-то пил изрядно, но теперь в рот не берет спиртного. Вы знаете, миссис Хэшебай, я думаю, он под гипнозом.

Няня. Под гип-но... чем, сэр?

Мадзини. Как-то раз вечером у нас дома, после того как мы были на гипнотическом сеансе, дети устроили игру в это, и Элли стала гладить меня по голове. И представьте, я заснул мертвым сном. Пришлось им посылать за специалистом, чтобы разбудить меня, после того как я проспал восемнадцать часов. Да они еще вздумали нести меня наверх в спальню, а так как дети, бедняжки, не могут похвастать силой, они меня уронили, и я скатился вниз по всей лестнице — и все-таки не проснулся.

Миссис Хэшебай еле удерживается от смеха.

Да, вам, конечно, смешно, миссис Хэшебай, а я ведь мог разбиться насмерть.

Миссис Хэшебай. Все равно это ужасно смешно, и я не могу не смеяться, даже если бы вы и разбились насмерть, мистер Дэн. Так, значит, это Элли загипнотизировала его. Вот потеха!

Мадзини. Ах, нет, нет, нет. Это был для нее такой ужасный урок. Я думаю, она ни за что на свете не решится повторить это.

Миссис Хэшебай. Тогда кто же это сделал? Я не делала.

Мадзини. Я думаю, может быть, это капитан, как-нибудь так, не нарочно. Он ведь такой магнетический. Я чувствую, как я весь начинаю вибрировать, чуть только он приближается ко мне.

Няня. Уж капитан, во всяком случае, сумеет разбудить его, сэр. Об этом-то я позабочусь. Пойду приведу его. *(Идет в кладовую.)*

Миссис Хэшебай. Постой немножко. *(Мадзини.)* Вы го-

ворите, что он может спокойно проспать восемнадцать часов?

Мадзини. То есть это я проспал восемнадцать часов.

Миссис Хэшебай. И вам после этого не было плохо?

Мадзини. Что-то я не совсем помню. Они вливали в меня бренди, знаете...

Миссис Хэшебай. Отлично. Во всяком случае, вы остались живы. Няня, милая, поди попроси мисс Дэн прийти сюда к нам. Скажи, что очень нужно, что я хочу поговорить с ней. Наверно, они где-нибудь с мистером Хэшебаем.

Няня. Не думаю, душенька. Мисс Эдди, вот кто с ним. Но я сейчас пойду поищу ее и пришлю к вам. *(Уходит в сад.)*

Миссис Хэшебай *(показывает Мадзини на фигуру в кресле)*. Ну, мистер Дэн, смотрите. Вы только посмотрите! Да хорошенько. Вы все еще настаиваете на том, чтобы принести вашу дочь в жертву этому чучелу?

Мадзини *(смущенно)*. Меня прямо всего перевернуло, миссис Хэшебай, от того, что вы мне сказали. И чтобы кто-нибудь мог подумать, что я, я, прирожденный солдат свободы, если можно так выразиться, мог кому-нибудь или чему-нибудь пожертвовать моей Элли или что у меня когда-нибудь могла возникнуть мысль насиловать ее чувства или склонности,— это такой тяжкий удар моему... ну, скажем, моему доброму мнению о самом себе.

Миссис Хэшебай *(довольно равнодушно)*. Простите.

Мадзини *(уныло глядя на сонное тело)*. Что вы, собственно, имеете против бедняги Менгена, миссис Хэшебай? По-моему, он хороший человек. Но, правда, я так привык к нему.

Миссис Хэшебай. Неужели у вас нет сердца, нет чувства? Вы только посмотрите на это животное. Подумайте о бедной, невинной, слабенькой Элли в лапах этого рабовладельца, который всю жизнь заставляет толпы грубых, непокорных рабочих подчиняться ему и потеть для его процветания. Человек, для которого паровые молоты куют огромные раскаленные массы железа! Который способен часами безжалостно препираться с женщинами и девушками из-за какого-нибудь полпенни! Капитан промышленности — так, что ли, вы его зовете? Неужели вы способны бросить ваше нежное, хрупкое, беспомощное дитя в когти этого зверя? И только из-за того, что она будет жить у него в роскошном доме и он

обвешает ее брильянтами, чтобы все видели, какой он богатый.

Мадзини *(смотрит на нее широко раскрытыми, изумленными глазами)*. Дорогая миссис Хэшебай, да бог с вами, откуда у вас такие романтические представления о деловой жизни? Бедняга Менген совсем не такой.

Миссис Хэшебай *(презрительно)*. Бедняга Менген — действительно!

Мадзини. Да он ничего не смыслит в машинах. Он никогда и близко-то не подходит к рабочим. Он не мог бы ими управлять. Он их боится. Мне никогда не удавалось его хоть сколько-нибудь заинтересовать производством. Он не больше вашего понимает в этом. Люди жестоко заблуждаются в Менгене. Они думают, что это такая грубая сила,— и все только потому, что у него плохие манеры.

Миссис Хэшебай. Не хотите ли вы уверить меня, что у него не хватит сил раздавить бедную малютку Элли?

Мадзини. Конечно, очень трудно сказать, как может обернуться тот или иной брак. Но я лично думаю, что у него решительно нет никаких шансов взять над ней верх. У Элли удивительно сильный характер. Я думаю, это потому, что, когда она была еще совсем маленькая, я научил ее любить Шекспира.

Миссис Хэшебай *(пренебрежительно)*. Шекспир! Теперь вам еще только не хватает сказать мне, что вы способны загребать деньги лучше Менгена. *(Подходит к дивану и садится с левого края, страшно раздраженная.)*

Мадзини *(идет за ней и садится на другой конец)*. Нет. Это я плохо умею. Да я, видите ли, и не очень стремлюсь. Я не честолюбив! Должно быть, поэтому. Менген — вот он насчет денег просто удивительный! Он ни о чем больше не думает. У него ужасный страх перед бедностью. А я всегда думаю о чем-нибудь другом. Даже на фабрике я думаю о вещах, которые мы делаем, а вовсе не о том, сколько они стоят. Но самое худшее во всем этом, что бедняга Менген не знает, что ему делать со своими деньгами. Это такой младенец, что он не знает даже, что ему есть, что пить. Он себе печень испортил тем, что ел и пил то, что ему было вредно. И сейчас почти ничего не может есть. Элли создаст ему режим и заставит соблюдать диету. Вы просто удивитесь, когда узнаете его поближе. Это, уверяю вас, самый беспомощный человек на свете.

Проникаешься к нему таким, как бы сказать, покровительственным чувством.

Миссис Хэшебай. А скажите, пожалуйста, кто же в таком случае заворачивает всеми его предприятиями?

Мадзини. Я. И другие, вот такие же, как я.

Миссис Хэшебай. Которых он держит на побегушках?

Мадзини. Если смотреть с вашей точки зрения — да.

Миссис Хэшебай. А скажите на милость, почему же вы, собственно, не можете без него обойтись, если вы все настолько умнее его?

Мадзини. Ах, нет, мы без него пропадем. Мы погубим все дело за какой-нибудь год. Да я уж пробовал. Знаю. Мы бы слишком много тратили денег на разные разности, улучшили бы качество товаров. И все это обошлось бы нам очень дорого. И с рабочими тоже; мы, вероятно, в некоторых случаях пошли бы на уступки. Ну, а Менген заставляет нас соблюдать порядок. Он накидывается на нас из-за каждого лишнего пенни. Мы никак не можем без него обойтись. Вы знаете, он способен целую ночь просидеть, раздумывая, как бы ему сэкономить какой-нибудь шестипенсовик. Но Элли заставит его поплясать, когда она возьмет дом в свои руки.

Миссис Хэшебай. Так, значит, это ничтожество даже и в качестве капитана промышленности всего лишь шарлатан чистейшей воды?

Мадзини. Боюсь, что все наши капитаны промышленности такие вот, как вы говорите, шарлатаны, миссис Хэшебай. Конечно, есть фабриканты, которые действительно знают свое дело. Но они не умеют добывать таких громадных барышей, как Менген. Уверяю вас, Менген по-своему хороший человек. Такой добродушный...

Миссис Хэшебай. Вид у него очень непривлекательный. И ведь он уж далеко не молод.

Мадзини. В конце концов, миссис Хэшебай, ни один супруг не пребывает очень долго в состоянии первой молодости. Да в наше время мужчины и не могут позволить себе жениться очень рано.

Миссис Хэшебай. Вот, видите ли, если бы я сказала так, это звучало бы остроумно. Почему же у вас получается как раз наоборот? Чего-то в вас не хватает. Почему вы никому не внушаете доверия, уважения?

Мадзини *(смиренно)*. Мне кажется, все дело в том, что я беден. Вы себе представить не можете, что это значит для семьи. Заметьте, я не хочу сказать, что они когда-нибудь

жаловались. Всегда они по отношению ко мне держали себя замечательно. Они гордились моей бедностью. Они даже частенько подшучивали над этим. Но жене моей приходилось туго. Она готова была со всем примириться.

Миссис Хэшебай невольно вздрагивает.

Вот то-то и есть. Вы понимаете, миссис Хэшебай, я не хочу, чтобы и Элли пришлось мириться...

Миссис Хэшебай. И вы хотите, чтобы она примирилась с необходимостью жить с человеком, которого она не любит?

Мадзини *(грустно)*. А вы уверены, что это хуже, чем жить с человеком, которого любишь, а он всю жизнь у кого-то на побегушках?

Миссис Хэшебай *(у нее исчезает презрительный тон, и она с интересом смотрит на Мадзини)*. Знаете, я теперь думаю, что вы действительно очень любите Элли. Потому что вы становитесь положительно умником, когда говорите о ней.

Мадзини. Я не знал, что я до того уж глуп, когда говорю на другие темы.

Миссис Хэшебай. Бывает иной раз.

Мадзини *(отворачивается, потому что глаза у него влажны)*. Я многое узнал о себе от вас, миссис Хэшебай Вряд ли только мне будет легче от вашей откровенности. Но если вы считаете, что это нужно для того, чтобы я подумал о счастье Элли, то вы очень ошибаетесь.

Миссис Хэшебай *(наклоняется к нему в сердечном порыве)*. Я отвратительно груба, правда?

Мадзини *(овладевая собой)*. Да ну, что обо мне говорить, миссис Хэшебай! Я вижу, что вы любите Элли, и для меня этого достаточно.

Миссис Хэшебай. Я начинаю и вас любить немножко. Я просто ненавидела вас сначала. Я считала вас самым отвратительным, самодовольным, скучным стариком ханжой.

Мадзини *(он уже решил принять ее тон за должное и заметно повеселел)*. Что ж, может быть, я такой и есть Я никогда не был в чести у таких роскошных женщин, как вы. Я их всегда побаивался.

Миссис Хэшебай *(польщенная)*. А я, по-вашему, роскошная женщина, Мадзини? Смотрите, как бы я в вас не влюбилась.

Мадзини *(с невозмутимой учтивостью)*. Нет, вы не влюбитесь, Гесиона. Нет, со мной вы в совершенной безопасности. Поверьте мне, много женщин флиртовали со мной только потому, что они знали – со мной это совершенно безопасно. Но, конечно, именно поэтому им это очень быстро надоедало.

Миссис Хэшебай *(коварно)*. Берегитесь. Вы, может быть, вовсе не так неуязвимы, как вы думаете.

Мадзини. О нет, совершенно неуязвим. Видите ли, я любил по-настоящему, то есть такой любовью, которая бывает только раз в жизни. *(Проникновенно.)* Потому-то Элли такая миленькая.

Миссис Хэшебай. Вы... гм... Нет, знаете, вы начинаете раскрываться. Вы совершенно уверены, что не дадите мне совратить вас на второе такое же сильное чувство?

Мадзини. Вполне уверен. Это было бы противоестественно. Дело в том, что вы, как бы это сказать... от меня не загоритесь и я от вас не загорюсь.

Миссис Хэшебай. Понятно. Ваш брак, по-видимому, это нечто вроде противопожарного крана.

Мадзини. Как вы остроумно перевернули мою мысль. Я бы никогда не додумался.

Из сада входит Элли; вид у нее удрученный.

Миссис Хэшебай *(поднимаясь)*. Ах, вот наконец и Элли. *(Обходит диван сзади.)*

Элли *(остановившись в двери по правому борту)*. Гинес сказала, что вы хотели меня видеть. Вы и папа.

Миссис Хэшебай. Вы заставили нас так долго ждать, что это почти уже потеряло... Ну, впрочем, все равно. Ваш отец совершенно удивительный человек. *(Ласково ерошит ему волосы.)* Первый и единственный до сих пор, который мог устоять против меня, когда я изо всех сил старалась понравиться. *(Подходит к большому креслу по левую сторону от Менгена.)* Подите сюда. Я хочу вам что-то показать.

Элли безучастно подходит к креслу с другой стороны.

Полюбуйтесь.

Элли *(смотрит на Менгена без всякого интереса)*. Я знаю. Он спит. Мы с ним тут говорили после обеда, и он заснул среди разговора.

Миссис Хэшебай. Вы его усыпили, Элли?

Мадзини *(быстро вскакивает и подходит к спинке кресла)*. Нет, надеюсь, это не ты. Разве ты, в самом деле, сделала это, Элли?

Элли *(устало)*. Он сам меня попросил

Мадзини. Но ведь это очень опасно. Ты помнишь, что тогда со мной было?

Элли *(совершенно равнодушно)*. Да, я думаю, я сумею разбудить его. Ну, а не я, так кто-нибудь другой.

Миссис Хэшебай. В конце концов это не важно, потому что я наконец убедила вашего отца, что вам не следует выходить за него замуж.

Элли *(внезапно выходя из своего равнодушия, очень раздосадованная)*. А зачем вы это делали? Я хочу выйти за него замуж. Я твердо решила выйти за него.

Мадзини. Ты вполне уверена в этом, Элли? Миссис Хэшебай дала мне почувствовать, что я в этом деле проявил, быть может, некоторый эгоизм и легкомыслие.

Элли *(очень отчетливо, внятно и уверенно)*. Папа, если когда-нибудь миссис Хэшебай еще раз возьмет на себя смелость объяснить тебе, что я думаю и чего я не думаю, ты заткни уши покрепче и закрой глаза. Гесиона ничего обо мне не знает. Она не имеет ни малейшего понятия, что я за человек,— и никогда этого не поймет. Обещаю тебе, что я никогда не буду делать ничего такого, чего бы я не хотела и не считала бы нужным для собственного блага.

Мадзини. Ты в этом вполне, вполне уверена?

Элли. Вполне, вполне. Ну, а теперь иди и дай нам поговорить с миссис Хэшебай.

Мадзини. Мне хотелось бы послушать. Разве я помешаю?

Элли *(неумолимо)*. Я предпочитаю поговорить с ней наедине.

Мадзини *(нежно)*. Ну хорошо, хорошо. Я понимаю. Родители — всегда помеха. Я буду паинькой. *(Идет к двери в сад.)* Да, кстати, ты не помнишь адреса того специалиста, который меня разбудил? Как ты думаешь, не послать ли ему сейчас телеграмму?

Миссис Хэшебай *(направляясь к дивану)*. Сегодня уж поздно телеграфировать.

Мадзини. Да, пожалуй. Ну, я надеюсь, он ночью сам проснется *(Уходит в сад.)*

Элли *(едва только отец выходит из комнаты, круто поворачивается к Гесионе)*. Гесиона, какого черта вы заводите такие неприятные разговоры с отцом из-за Менгена?

Миссис Хэшебай *(сразу теряя самообладание)*. Как вы смеете так разговаривать со мной, противная девчонка? Не забывайте, что вы у меня в доме!

Элли. Чепуха! Зачем вы суетесь не в свое дело? Вам-то что, выйду я за Менгена замуж или нет?

Миссис Хэшебай. Вы что, думаете запугать меня? Вы, маленькая авантюристка, которая ищет себе мужа!

Элли. Всякая женщина, у которой нет денег, ищет себе мужа. Вам хорошо болтать. Вы никогда не знали, что это такое — вечно быть без денег. Вы можете себе подхватывать мужчин, как цветочки по дороге. А я, бедная, порядочная...

Миссис Хэшебай *(прерывает ее)*. Ха! Порядочная. Как вы подцепили Менгена? Как вы подцепили моего мужа? И у вас хватает дерзости говорить мне, что я... я...

Элли. Сирена, вот вы кто. Вы созданы для того, чтобы водить мужчин за нос. Если бы это было не так, Марк, может быть, дождался бы меня.

Миссис Хэшебай *(внезапно остывая и уже полусмеясь)*. Ах, бедняжка моя Элли, детка моя! Бедная моя крошка! Мне до того жаль, что это так вышло с Гектором. Но что же я могу сделать? Ведь я не виновата. Я бы вам его уступила, если бы могла.

Элли. Я вас и не виню.

Миссис Хэшебай. Какая же я скотина, что начала с вами ругаться. Ну, идите ко мне, поцелуйте и скажите, что не сердитесь.

Элли *(злобно)*. Ах, перестаньте вы, пожалуйста, сюсюкать, изливаться и сентиментальничать. Неужели вы не понимаете, что если я не заставлю себя быть жестокой и твердой, как камень, то я сойду с ума. Мне совершенно наплевать, что вы меня ругали и обзывали как-то. Неужели вы думаете, что для женщины в моем положении могут что-нибудь значить какие-то слова?

Миссис Хэшебай. Бедненькая вы моя женщинка! Такое ужасное положение!

Элли. Вам, наверное, кажется, что вы необыкновенно чуткая. А вы просто глупое, взбалмошное, эгоистическое существо. Вы видите, как меня ударило — ударило прямо в лицо,— и это убило целую и лучшую часть моей жизни — ту, что уже никогда теперь не вернется. И вы воображаете, что можно меня утешить вот этими поцелуями и сюсюканьем. Когда мне нужно собрать в себе всю силу, чтобы я могла хоть на что-нибудь опереться, на

что-то железное, каменное, – все равно, как бы это ни было больно, – вы болтаете тут всякую чепуху и причитаете надо мной. Я не сержусь; я не чувствую к вам никакой вражды. Но только, бога ради, возьмите вы себя в руки и не думайте, пожалуйста, что если вы всю жизнь нежились в бархате и сейчас так живете, то женщины, которые жили в самом настоящем аду, могут так же легко ко всему относиться, как и вы.

Миссис Хэшебай *(пожимая плечами)*. Превосходно. *(Садится на диван, на старое место.)* Но я должна предупредить вас, что когда я не сюсюкаю, не целуюсь, не смеюсь, то я только об одном думаю: сколько еще я могу выдержать в этом проклятом мире, наполненном жестокостью. Сирены вам не нравятся. Хорошо, оставим сирен в покое. Вы хотите успокоить ваше израненное сердце на жернове. Отлично. *(Скрещивая руки на груди.)* Вот вам жернов.

Элли *(усаживается около нее, несколько успокоившись)*. Так-то вот лучше. У вас поистине удивительная способность – приладиться к любому настроению. Но все равно вы ничего не понимаете, потому что вы не из того сорта женщин, для которых существует только один мужчина и одна возможность.

Миссис Хэшебай. Я, конечно, совершенно не понимаю, каким образом, связав себя с этим чучелом *(указывая на Менгена)*, вы утешитесь в том, что не можете стать женою Гектора.

Элли. Вы, вероятно, не понимаете и того, почему сегодня утром я была такой милой девочкой, а сейчас я уже не девочка и не такая уж милая.

Миссис Хэшебай. Нет, это я понимаю. Потому что вы вбили себе в голову, что вы должны сделать что-то гадкое и мерзкое.

Элли. Нет, этого у меня нет в мыслях, Гесиона. Но я должна что-то постараться сделать с этим разбитым корытом.

Миссис Хэшебай. Ну-у! Все это вы переживете. И корыто ваше целехонько.

Элли. Конечно переживу. Надеюсь, вы не воображаете, что я сяду, сложив руки, и буду ждать, когда я умру от разбитого сердца или останусь старой девой, которая живет на подаяние общества помощи престарелым инвалидам. Но все равно – сердце у меня разбито. Я просто хочу сказать этим, что я знаю: то, что было у меня с Марком, больше для меня никогда не повторится. И в мире

для меня существует Марк и безликая масса других мужчин, которые все одинаковы. Но если мне отказано в любви, это еще не значит, что я к тому же должна жить в бедности. И если у Менгена нет ничего другого, так у него по крайней мере есть деньги.

Миссис Хэшебай. А разве нет на свете молодых людей с деньгами?

Элли. Для меня нет. Кроме того, молодой человек будет вправе ожидать от меня любви и, возможно, бросит меня, когда увидит, что ничего такого я ему дать не могу. Богатые молодые люди, вы сами знаете, имеют возможность очень легко отделаться от своих жен. А это чучело, как вы изволите выражаться, не может от меня ждать ничего, кроме того, что я намерена ему предоставить.

Миссис Хэшебай. Вы будете его собственностью, не забудьте. Если он вас купит, он постарается, чтобы эта сделка была выгодна ему, а вовсе не вам. Спросите-ка у вашего отца.

Элли *(встает, подходит к креслу и разглядывает предмет их разговора)*. Об этом вы можете не беспокоиться, Гесиона. Я могу дать Боссу Менгену больше, чем он мне. Это я его покупаю, и за хорошую цену. Женщины в такого рода сделках судят лучше мужчин. И десять Боссов Менгенов не помешают мне делать то, что мне заблагорассудится в качестве его жены, и много больше, чем если бы я осталась бедной девушкой. *(Наклоняясь над неподвижным телом.)* Ведь правда, не помешают, Босс? Я думаю, нет. *(Идет к чертежному столу, останавливается, прислонившись к нему, и смотрит в окно.)* Во всяком случае, мне не придется вечно думать о том, долго ли еще продержатся мои перчатки.

Миссис Хэшебай *(величественно поднимаясь)*. Элли! Вы маленькое порочное, подленькое животное. И подумать только: я снизошла до того, что старалась пленить эту жалкую тварь, чтобы спасти вас от него. Так вот, разрешите заявить вам следующее: если вы вступите в этот омерзительный союз, вы больше никогда не увидите Гектора, поверьте мне.

Элли *(невозмутимо)*. Я сразила Менгена, пригрозив ему, что если он не женится на мне, так он вас больше никогда в глаза не увидит. *(Садится на край стола.)*

Миссис Хэшебай *(содрогаясь)*. Вы... вы...

Элли. Так что видите, этот ваш козырь — он для меня не неожиданность. А впрочем, ну что ж, попробуйте. Посмо-

трим. Я могла бы сделать из Марка человека, а не комнатную собачку.

Миссис Хэшебай *(вспыхивая)*. Как вы смеете?

Элли *(с почти угрожающим видом)*. А вот попробуйте, дайте ему повод думать обо мне; посмотрим, как *вы* посмеете

Миссис Хэшебай. Нет, в жизни моей не видела такого наглого чертенка! Гектор говорит, что есть предел, после которого единственный ответ человеку, не желающему знать никаких правил, это хорошая оплеуха. Что, если я надеру вам уши?

Элли *(спокойно)*. Я вцеплюсь вам в волосы.

Миссис Хэшебай *(ехидно)*. А я бы и не почувствовала Может быть, я их снимаю на ночь.

Элли *(так поражена, что соскакивает со стола и подбегает к ней)*. О нет, не может быть, Гесиона, чтобы эти чудесные волосы были фальшивые.

Миссис Хэшебай *(поглаживая свои волосы)*. Только вы не говорите Гектору: он ведь думает, что они настоящие

Элли *(со стоном отчаяния)*. О, даже волосы, которыми вы опутали его,— все, все фальшивое!

Миссис Хэшебай. Ну-ка, потяните, попробуйте. Есть женщины, которые своими волосами ловят мужчин, как в сеть, а я вот на своих укачиваю младенца. А вам, золотые локончики, этого не сделать!

Элли *(убитая)*. Нет, не сделать. Вы украли моих младенцев

Миссис Хэшебай. Душенька, ведь я сейчас заплачу. Вы знаете, вот то, что вы сказали, будто я из него делаю комнатную собачку, это до некоторой степени правда Может быть, ему следовало подождать вас. Ну разве какая-нибудь другая женщина на свете простила бы вам это?

Элли. Ах, но по какому праву вы забрали его всего, всего целиком и только для себя! *(Овладевая собой.)* Ну довольно, вы тут ничем не виноваты. И никто не виноват. И он не виноват. Нет, нет, не говорите мне больше ничего Я не могу этого вынести. Давайте разбудим наше чучело. *(Начинает поглаживать Менгена по голове в обратном направлении — от ушей ко лбу.)* Проснитесь, слышите? Вы должны сейчас же проснуться. Проснитесь. Просни.

Менген *(подскакивает в кресле и в ярости накидывается на них)*. Проснитесь! Так вы думаете, я спал? *(В бешенстве отталкивает ногой стул и становится между ними.)* Вы меня вогнали в такой столбняк, что я не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой. Меня могли бы так и похоронить за-

живо! Хорошо, что до этого хоть не дошло. А они думают, что я просто спал! Если бы я свалился на пол оба раза, когда вы меня тут трясли, я бы сломал себе нос ко всем чертям и остался бы так на всю жизнь. Но зато теперь я вас всех знаю вдоль и поперек. Знаю, что вы за публика и куда я попал. Я слышал каждое ваше слово. И ваше, и вашего драгоценного папаши, и *(к миссис Хэшебай)* ваше тоже. Итак, значит, я чучело! Я ничтожество! Я дурак! Дурак, который даже не знает, что ему есть. Я, видите ли, боюсь рабочих, которые бы все подохли с голоду, если бы я не кормил их, давая им заработок. Я отвратительный старый скупердяй, который только и годится чтобы им пользовались ловкие женщины и его собственные безмозглые управляющие. Я...

Миссис Хэшебай *(с апломбом самого изысканного свойства)*. Ш-ш-ш... ш-ш-ш... ш-ш-ш... Мистер Менген, ваше достоинство обязывает вас вычеркнуть из памяти все, что вы слышали в то время, когда вы так мило притворялись, что изволите спать. Это отнюдь не предназначалось для вашего слуха.

Менген. Притворялся! Неужели вы думаете, что, если бы я только притворялся, я бы лежал здесь беспомощный и выслушивал всю эту клевету, ложь, несправедливость? Терпел бы это ляганье в спину, это поношение... Если бы я только мог встать и сказать вам всем, что я о вас думаю! Удивляюсь, как меня не разорвало.

Миссис Хэшебай *(воркующим голосом)*. Вам все это приснилось, мистер Менген. Мы только говорили, какой у вас удивительно мирный вид во сне. Вот и все. Ведь правда, Элли? Поверьте мне, мистер Менген, все эти неприятные вещи причудились вам в самую последнюю секунду, перед тем как вы проснулись. Это просто Элли погладила вас по голове против шерсти. И это пренеприятное ощущение вызвало у вас такой неприятный сон.

Менген *(угрюмо)*. Я верю снам.

Миссис Хэшебай. Я тоже. Только они всегда сбываются наоборот.

Менген *(все его чувство бурно прорывается наружу)*. Нет, я до самой смерти не забуду, что, когда вы кокетничали со мной в саду, вы просто дурачили меня. Это было грязно, подло, недостойно так поступать. Вы не имели права привлекать меня к себе, если я вам внушал такое отвращение. Не моя вина, что я не молод и что у меня усы не похожи на бронзовые канделябры, как у вашего

уважаемого супруга. Есть вещи, которые порядочная женщина не позволит себе по отношению к мужчинам, как мужчина не позволит себе ударить женщину в грудь

Гесиона, пристыженная, садится на диван и закрывает лицо руками. Менген тоже опускается в кресло и начинает всхлипывать, как ребенок. Элли переводит глаза с одного на другого. Миссис Хэшебай, услышав жалобные всхлипы, отнимает руки от лица и глядит на Менгена Потом вскакивает и подбегает к нему.

Миссис Хэшебай. Не плачьте. Я не могу этого вынести. Неужели я разбила ваше сердце? Я не знала, что оно у вас есть. Разве я могла это знать?

Менген. Мужчина я или нет?

Миссис Хэшебай *(полуласкательно, полушутя и вместе с тем очень нежно)*. Ах, нет. Не то, что я называю мужчиной. Вы — Босс. И больше ничего. Ну, а зачем же Боссу сердце?

Менген. Значит, вы нисколько не раскаиваетесь? Вам не стыдно?

Миссис Хэшебай. Мне стало стыдно в первый раз в жизни, когда вы сказали, что это то же, что ударить женщину в грудь. И я поняла, что я наделала. Я чуть не сгорела от стыда. Вы взяли свое, Босс. Разве вам этого мало?

Менген. Так вам и надо! Вы слышите — так и надо! Вы жестокая, только одно и можно сказать — жестокая!

Миссис Хэшебай. Ну что же, жестокость была бы очень приятной вещью, если бы можно было найти такую жестокость, которая не причиняла бы боли. Кстати *(усаживается около него на ручку кресла)*, как вас зовут? Ведь не Босс же, наконец!

Менген *(отрывисто)*. Если вам угодно знать, меня зовут Альфред.

Миссис Хэшебай *(вскакивает)*. Альфред! Элли, его зовут как Теннисона!

Менген *(вставая)*. Меня так назвали в честь моего дядюшки, от которого я никогда ни пенни не получил, будь он проклят. Но что из этого следует?

Миссис Хэшебай. Мне вдруг, знаете, пришло в голову, что ведь и вы тоже человек, что у вас была мать, как и у всякого другого. *(Кладет ему руки на плечи и разглядывает его.)* Крошка Альф.

Менген. Ну и характер же у вас!

Миссис Хэшебай. А у вас, оказывается, есть сердце,

Альф. Крошечное такое, жалкое сердечко, но все-таки настоящее. *(Внезапно отпускает его.)* Ну, а теперь идите и помиритесь с Элли. У нее было достаточно времени, чтобы придумать, что вам сказать. Гораздо больше, чем у меня. *(Быстро уходит в сад через правую дверь.)*

Менген. Эта женщина своими руками вам всю душу наизнанку вывернет.

Элли. Вы еще влюблены в нее, несмотря на все, что мы о вас говорили.

Менген. Неужели все женщины такие, как вот вы с ней? Неужели они всегда думают только о том, что можно получить от мужчины? А вы даже и этого не думали обо мне. Вы думали только о том, сколько времени проносятся ваши перчатки.

Элли. Когда мы с вами поженимся, мне не придется больше об этом думать.

Менген. И вы рассчитываете, что я женюсь на вас после того, что я здесь слышал?

Элли. Вы не слышали от меня ничего такого, чего бы я не говорила вам раньше.

Менген. Вы, верно, думаете, что я без вас жить не могу.

Элли. Я думаю, что теперь вы будете чувствовать себя одиноким без всех нас — теперь, когда вы нас так хорошо узнали.

Менген *(с каким-то воплем отчаяния)*. Неужели за мной никогда не останется последнее слово?

Капитан Шотовер *(появляется в двери из сада)*. Чья это душа предается здесь мучениям ада? Что тут случилось?

Менген. Эта девица не желает всю жизнь думать о том, сколько времени проносятся ее перчатки.

Капитан Шотовер *(проходит через комнату)*. А зачем они? Я их никогда не ношу. *(Исчезает в кладовой.)*

Леди Этеруорд *(появляясь из двери по левому борту в роскошном обеденном туалете)*. Что это такое здесь происходит?

Элли. Этот джентльмен интересуется, останется ли за ним когда-нибудь последнее слово.

Леди Этеруорд *(подходит к дивану)*. Я бы позволила сказать последнее слово, дорогая. Самое главное, это вовсе не сказать последнее слово, а поставить на своем.

Менген. Она хочет и того и другого.

Леди Этеруорд. Этого ей не добиться, мистер Менген. Последнее слово всегда остается за провидением.

Менген *(в совершенном исступлении)*. Вот теперь вы еще бу-

дете меня религией пичкать. В этом доме человеком играют, точно футбольным мячом. Я ухожу.

Направляется в переднюю, но его останавливает окрик капитана, появляющегося из кладовой.

Капитан Шотовер. Куда вы это, Босс Менген?

Менген. К черту из этого дома. Ну, довольно этого с вас? С вас и со всех остальных?

Капитан Шотовер. Двери открыты, вы свободно можете войти и выйти. Вся ширь земная, просторы морей и куполов неба ожидают вас.

Леди Этеруорд. А ваши вещи, мистер Менген? Ваши чемоданы, щетки, гребенки? Ваши пижамы?

Гектор *(появляясь в двери по правому борту в красивом костюме бедуина)*. Зачем этот беглый раб потащит с собой свои цепи?

Менген. Правильно, Хэшебай. Оставьте себе мои пижамы миледи. Может быть, пригодятся.

Гектор *(подходит слева к леди Этеруорд)*. Давайте все уйдем в мрак ночной и бросим все, оставим все позади.

Менген. Нет, вы оставайтесь там, где вы есть. В обществе я не нуждаюсь. Особенно в женском.

Элли. Пусть идет. Он чувствует себя здесь несчастным. Он рассердился на нас.

Капитан Шотовер. Ступайте, Босс Менген. И когда вы обретете страну, где есть счастье и нет женщин, сообщите мне ее координаты. Я присоединюсь к вам.

Леди Этеруорд. Вам, конечно, будет очень неудобно без ваших вещей, мистер Менген.

Элли *(нетерпеливо)*. Идите, идите. Почему же вы не уходите? Такая ночь чудесная. Уснете в поле или там, в вереске Возьмите мой плащ, вы можете его себе постелить. Он висит в передней.

Гектор. Утренний завтрак у нас в девять. А то можете позавтракать с капитаном в шесть утра.

Элли. Покойной ночи, Альфред.

Гектор. Альфред! *(Бежит к двери и кричит в сад.)* Рэндел! Менгена зовут Альфредом.

Рэндел *(в смокинге появляется в двери слева)*. Значит, Гесиона выиграла пари.

В двери по правому борту появляется миссис Хэшебай, левой рукой она обхватывает шею Гектора, увле-

кает его к дивану, а правой рукой обнимает за шею леди Этеруорд.

Миссис Хэшебай. Они мне не верили, Альф.

Все с интересом смотрят на Менгена.

Менген. Может быть, тут еще кто-нибудь найдется, кто хочет прийти посмотреть на меня, точно я последняя новинка в зверинце.

Миссис Хэшебай. Вы и есть последняя новинка в этом зверинце.

Прежде чем Менген успел ответить, слышно, как наверху падает что-то тяжелое, затем раздается выстрел и чей-то пронзительный вопль. Трио, уставившееся на Менгена, в смятении рассыпается.

Голос Мадзини *(сверху)*. Сюда! На помощь! Вор
Гектор *(сверкая глазами)*. Вор!
Миссис Хэшебай. Нет, нет, Гектор, тебя убьют!

Но уже поздно, он стрелой проносится мимо Менгена, который поспешно отступает к книжной полке, чтобы дать ему дорогу.

Капитан Шотовер *(свистит в свой корабельный свисток)*. Все наверх! *(Шагает вслед за Гектором.)*
Леди Этеруорд. Мои брильянты! *(Бросается за капитаном.)*
Рэндел *(бежит за ней)*. Нет, Ариадна, позвольте мне!
Элли. О, может быть, папу убили! *(Выбегает.)*
Миссис Хэшебай. Вам страшно, Альф?
Менген. Нет. Слава богу, это не мой дом.
Миссис Хэшебай. Если вора поймают, нам придется, наверно, выступить в суде в качестве свидетелей? И нам будут задавать всякие вопросы о нашей частной жизни.
Менген. Только не вздумайте говорить там правду, вам никто не поверит.

Из передней, страшно взволнованный, с громадным дуэльным пистолетом в руке, входит Мадзини и идет к чертежному столу.

Мадзини. Ах, дорогая миссис Хэшебай, я чуть было не уложил его. *(Бросает пистолет на стол и, шатаясь, подходит к столу.)* Надеюсь, вы не думаете, что я действительно собирался его ухлопать?

Входит Гектор, ведя перед собой за шиворот старого грязного оборванца, выводит его на середину комнаты и отпускает. Следом за ними входит Элли, тотчас же подбегает к отцу и, перегнувшись через спинку стула, обнимает его за плечи.

Рэндел *(входит с кочергой)*. Посторожите-ка эту дверь, Менген. А я пока буду стеречь другую. *(Подходит к правой двери и становится там на страже.)*

Вслед за Рэнделом входит леди Этеруорд и становится между миссис Хэшебай и Менгеном. Последней появляется няня Гинес и останавливается около двери, слева от Менгена.

Миссис Хэшебай. Что случилось?

Мадзини. Ваша экономка сказала мне, что кто-то забрался наверх, и дала мне пистолет, из которого мистер Хэшебай упражняется в стрельбе. Я собирался только припугнуть вора. Но едва я прикоснулся к этой штуке, как она выпалила.

Вор. Да. И раскровянила мне ухо. Хорошо еще, что в лоб не угодила. Почему вы не заведете себе настоящий револьвер вместо этой штуковины, которая палит, стоит только на нее дунуть?

Гектор. Это один из моих дуэльных пистолетов. Простите.

Мадзини. Он сейчас же поднял руки вверх и заявил, что он сдается, потому что его поймали по всем правилам.

Вор. Так оно и было. Посылайте за полицией.

Гектор. Нет, клянусь честью, его совсем не по правилам поймали: нас было четверо против одного.

Миссис Хэшебай. Что же они теперь с ним сделают?

Вор. Десять лет. И прямо в одиночку. Десять лет вон из жизни. Мне уже столько не отсидеть, я слишком стар. Это для меня гроб.

Леди Этеруорд. Что же вы не подумали об этом перед тем, как лезть за моими брильянтами?

Вор. Но ведь вы же их получили обратно, леди. А вы сможете вернуть мне обратно десять лет моей жизни, которые вы у меня отнимаете?

Миссис Хэшебай. Нет, невозможно похоронить заживо человека на десять лет за несколько брильянтов.

Вор. Десять маленьких блестящих камешков. Десять долгих черных лет в аду.

Леди Этеруорд. Только представить себе, что нам пред-

стоит пройти через все ужасы уголовного суда! И все наши семейные дела попадут в газеты. Если бы вы были туземцем и Гастингс велел бы вас высечь как следует и вон выгнать, я бы слова не сказала. Но здесь, в Англии, у порядочных людей нет никакой защиты.

Вор. Я уж слишком стар для порки, леди. Посылайте за полицией, да и кончим дело. Это будет только справедливо Вы правильно поступите.

Рэндел *(убедившись в мирных намерениях вора, ослабляет свою бдительность и выходит вперед, помахивая кочергой, точно это аккуратно сложенный зонтик)*. Друг мой, я не вижу ничего правильного и справедливого в том, что мы обременим себя кучей неприятностей для облегчения вашей проснувшейся совести. Лучше убирайтесь-ка подобру-поздорову, пока вам предоставляется эта возможность.

Вор *(неумолимо)*. Нет. Я должен снять грех с моей совести. Мне словно голос с неба провещал. Дайте мне провести остаток моей жизни в темнице, в раскаянии. Я получу мою награду на небесах.

Менген *(в негодовании)*. Даже воры — и те не могут вести себя естественно в этом доме.

Гектор. Придется вам, милый человек, потрудиться заработать себе спасение за чей-либо другой счет. Здесь никто не собирается передавать вас в руки закона.

Вор. Ах, так вы не хотите передавать меня в руки закона?

Гектор. Нет. Простите, что мы так негостеприимны, но не будете ли вы так добры убраться отсюда?

Вор. Отлично. Я отправляюсь в полицейский участок и сам повинюсь. *(Решительно направляется к двери, но Гектор останавливает его.)*

Гектор, Рэндел, Миссис Хэшебай *(все вместе)*. Нет, вы этого не сделаете. Нет, нет, выкатывайтесь вон, милейший, не валяйте дурака. Да будет вам чудить! Что, вы не можете дома раскаяться?

Леди Этеруорд. Извольте делать то, что вам говорят

Вор. Вы, значит, покрываете преступление. Вы это понимаете?

Миссис Хэшебай. Но это же совершеннейший абсурд. Кто может нас заставить преследовать человека, когда мы этого не хотим?

Вор. А что у меня похитят мое спасение — и только из-за того, что вам не хочется провести один денек на заседании суда, это, по-вашему, справедливо? Это правильно? Это честно по отношению ко мне?

Мадзини *(поднимается и, перегнувшись через стол, говорит проникновенно-убедительным тоном, словно он стоит за пюпитром проповедника или за прилавком)*. Ну, полно, полно. Хотите, я научу вас, как вы можете обратить в вашу пользу даже ваше преступление? Почему бы вам не сделаться слесарем? Вы в замках хорошо понимаете; лучше, чем большинство честных людей.

Вор. Это верно, сэр. Только, для того чтобы стать слесарем, надо иметь самое малое двадцать фунтов.

Рэндел. Что вам стоит украсть двадцать фунтов? Подите в ближайший банк — и готово.

Вор *(в ужасе)*. Но как же это джентльмен может вбивать такие мысли в голову бедному преступнику, пытающемуся выбраться из греховной бездны? Стыдитесь, сэр! Да простит вам бог. *(Бросается в кресло и закрывает лицо руками, словно молясь.)*

Леди Этеруорд. В самом деле, Рэндел!

Гектор. Мне кажется, нам придется сделать сбор в пользу этого некстати раскаявшегося грешника.

Леди Этеруорд. Но двадцать фунтов — это просто смешно.

Вор *(быстро открывая лицо)*. Сколько мне придется купить инструментов, леди!

Леди Этеруорд. Глупости, у вас есть ваши воровские инструменты.

Вор. Фомка, сверло, ацетиленовая лампа, связка отмычек — вот и все. Что с этим сделаешь? Мне понадобится горн, кузница, мастерская и всякое там оборудование. Да и двадцатью-то не обойдешься.

Гектор. Почтеннейший, у нас нет двадцати фунтов.

Вор *(чувствуя себя хозяином положения)*. Но ведь вы бы могли собрать между собой.

Миссис Хэшебай. Дай ему фунт стерлингов, Гектор, и прогони его.

Гектор *(протягивает ему фунт)*. Вот. А теперь вон отсюда.

Вор *(встает, берет деньги без малейшей признательности)*. Я ничего не могу вам обещать. У вас, я полагаю, могло бы найтись и побольше, у всех-то.

Леди Этеруорд *(энергично)*. Давайте-ка отправим его куда следует и покончим с этим. У меня тоже есть со-

весть, я полагаю. И я вовсе не уверена в том, что мы имеем право отпускать его вот так на свободу, в особенности если он дерзит, да еще и торгуется.

Вор *(поспешно)*. Ладно, ладно, леди. Я не собираюсь доставлять вам никаких неприятностей. До свиданья, леди и джентльмены, премного вам благодарен. *(Поспешно идет к выходу, но в дверях сталкивается с капитаном Шотовером.)*

Капитан Шотовер *(смотрит на него пронизывающим взглядом)*. Это еще что такое? Да что, вас двое, что ли?

Вор *(падает на колени перед капитаном, трясясь от страха)* О господи, что я наделал. Неужели же это я к вам залез капитан Шотовер?

Капитан хватает его за шиворот, ставит на ноги и ведет на середину комнаты. Гектор отступает назад к жене, чтобы дать им дорогу.

Капитан Шотовер *(поворачивает его к Элли)*. Это твоя дочь? *(Отпускает его.)*

Вор. Да откуда же я могу это знать, капитан? Знаете ведь, какой мы с вами вели образ жизни. Можно сказать, любая молодая девушка этого возраста в любом уголке мира могла бы быть моей дочерью.

Капитан Шотовер *(к Мадзини)*. Вы не Билли Дэн. Вот Билли Дэн. Вы обманывали меня?

Вор *(возмущенно, к Мадзини)*. Вы выдали себя за меня? И вы же чуть не всадили мне пулю в лоб? Выходит, вы, если можно так выразиться, за самим собой охотились.

Мадзини. Дорогой капитан Шотовер, с тех пор как я переступил порог вашего дома, я только и делал, что старался убедить вас, что я не мистер Уильям Дэн, а Мадзини Дэн, совершенно другой человек.

Вор. Он не по той линии, капитан. У нас в роду две ветви. Дэны-ученые и Дэны-пьянчуги. И каждая ветвь идет своей дорогой. Я из Дэнов-пьянчуг. А он из тех, которые мозгами ворочают. Но это не дает ему никакого права охотиться за мной.

Капитан Шотовер. Итак, значит, ты стал вором?

Вор. Нет, капитан. Я не позволю себе опорочить наше морское звание. Я не вор.

Леди Этеруорд. А что же вы делали с моими брильянтами?

Няня. А зачем же ты в дом-то залез, коли ты не вор?

Рэндел. Принял его за свой собственный? Ошибся окошком?

Вор. Теперь уж мне нет нужды врать. Я могу провести любого капитана, но только не капитана Шотовера, потому что он на Занзибаре продался черту, может достать воду из-под земли, знает , где лежит золото, может взорвать патрон у тебя в кармане одним взглядом и видит правду, скрытую в сердце человека. Только я не вор.

Капитан Шотовер. Что же, ты честный человек?

Вор. Я никогда не старался быть лучше моих ближних, как вы хорошо знаете, капитан. Но то, что я делаю,— это дело невинное и даже богоугодное. Я просто разузнаю по соседству насчет домов, где хорошие люди живут, ну и поступаю вот так, как я здесь поступил. Забираюсь в дом, кладу в карман несколько ложечек или там брильянтов, потом поднимаю шум, даю себя поймать, а затем делаю сбор. И вы представить себе не можете, какое это трудное дело заставить себя поймать, когда ты сам этого хочешь. Как-то раз в одном доме я переломал все стулья, и хоть бы одна душа живая проснулась. В конце концов так и пришлось уйти.

Рэндел. А когда так случается, вы кладете на место ложки и брильянты?

Вор. Да как вам сказать. Если уж вы хотите знать, я не перечу воле божьей.

Капитан Шотовер. Гинес, вы помните этого человека?

Гинес. Еще бы мне не помнить, раз я была замужем за ним, за душегубом.

Миссис Хэшебай, Леди Этеруорд *(вместе)*. Замужем за ним? Гинес!!!

Вор. Это был незаконный брак. Много у меня таких жен было. Нечего на меня клепать.

Капитан Шотовер. Отведите его на бак. *(Отпихивает его к двери с неожиданной для своего возраста силой.)*

Няня. Вы хотите сказать — в кухню. Да разве его туда пустят? Вы думаете, прислуга захочет водить компанию со всякими ворами и бродягами?

Капитан Шотовер. Воры сухопутные и воры морские — одной плоти и крови. Я боцмана у себя на шканцах не потерплю. Вон отсюда оба!

Вор. Есть вон отсюда, капитан. *(Покорно уходит.)*

Мадзини. А это не опасно, оставить его вот так, в доме?

Няня. И что же вы его не убили, сэр? Знала бы я, кто это, так сама бы убила. *(Уходит.)*

Миссис Хэшебай. Садитесь, пожалуйста, господа. *(Усаживается на диван.)*

Каждый выбирает себе местечко, за исключением Элли. Мадзини садится на свое прежнее место. Рэндел присаживается на подоконник у двери по правому борту и, снова покачивая свою кочергу наподобие маятника, пытливо, словно Галилей, наблюдает за нею. Гектор садится слева от него, посредине. Менген, всеми забытый, пристраивается в левом углу. Леди Этеруорд усаживается в большое кресло. Капитан Шотовер в глубокой задумчивости уходит в кладовую. Все провожают его взглядами, а леди Этеруорд многозначительно кашляет.

Так, Билли Дэн – это герой романа нашей бедной няни Я знала, что у нее что-то такое было.

Рэндел. Теперь у них снова пойдут перепалки, и оба будут вкушать полное блаженство.

Леди Этеруорд *(раздраженно)*. Вы не женаты. Ничего в этом не понимаете, Рэндел. Придержите язык.

Рэндел. Тиранша!

Миссис Хэшебай. Ну вот, у нас был необыкновенно занимательный вечер. Дальше уж все будет не так интересно. Пожалуй, лучше идти спать.

Рэндел. А вдруг еще кто-нибудь залезет?

Мадзини. Ах нет, немыслимо. Надеюсь, что нет.

Рэндел. А почему? Ведь не один же у нас вор на всю Англию?

Миссис Хэшебай. А вы что скажете об этом, Альф?

Менген *(обиженно)*. Ну что мое мнение значит? Обо мне забыли. Вор расквасил мне нос. Ткните меня куда-нибудь в угол и забудьте обо мне.

Миссис Хэшебай *(вскакивает и с явно злонамеренным видом направляется к нему)*. Не хотите ли прогуляться до верескового луга, Альфред? Со мной?

Элли. Ступайте, мистер Менген. Вам будет полезно. Гесиона вас утешит.

Миссис Хэшебай *(взяв его под руку, поднимает его)*. Идемте, Альфред. Луна. Ночь. Прямо как в «Тристане и Изольде». *(Гладит его руку и тащит его к двери в сад.)*

Менген *(упирается, но поддается)*. И как это у вас духу хватает, сердца... *(Чувства его прорываются наружу, из-за двери доносятся его рыдания.)*

Леди Этеруорд. Что за непонятная манера вести себя? Что с ним такое, с этим человеком?

Элли *(странно спокойным голосом, устремив глаза в какую-то воображаемую даль)*. У него разбивается сердце, вот и все.

В дверях кладовой появляется капитан и слушает.

Странное это ощущение – боль, которая милосердно уводит нас за пределы наших чувств. Когда сердце разбито, все корабли сожжены, тогда уж все равно. Конец счастью и начало покоя.

Леди Этеруорд *(неожиданно вскакивает в бешенстве, ко всеобщему удивлению)*. Как вы смеете?

Гектор. Боже милостивый. Да что случилось?

Рэндел *(предостерегающе, шепотом)*. Шшш... Шшш... Тише!

Элли *(удивленно и надменно)*. Я не обращаюсь лично к вам, леди Этеруорд. И я не привыкла, чтобы меня спрашивали, как я смею.

Леди Этеруорд. Разумеется, нет. Всякий может видеть, как вы дурно воспитаны.

Мадзини. Ах, нет! Надеюсь, нет, леди Этеруорд. Нет, в самом деле!

Леди Этеруорд. Я прекрасно понимаю, что вы хотите сказать. Какая наглость!

Элли. А что, собственно, вы хотите сказать?

Капитан Шотовер *(подходя к креслу)*. Она хочет сказать, что ее сердце не разобьется. Всю жизнь она мечтала о том, чтобы кто-нибудь разбил его. А теперь она боится, что разбивать, собственно, нечего.

Леди Этеруорд *(бросается на колени и обнимает ноги отца)*. Папа, неужели ты думаешь, что у меня нет сердца?

Капитан Шотовер *(поднимает ее с угрюмой нежностью)*. Если бы у тебя не было сердца, дитя, как могла бы ты мечтать, чтобы оно у тебя разбилось?

Гектор *(вскакивает как ужаленный)*. Леди Этеруорд, на вас нельзя положиться – вы устроили сцену. *(Убегает в дверь направо.)*

Леди Этеруорд. О Гектор, Гектор! *(Бежит за ним.)*

Рэндел. И все это только нервы, уверяю вас. *(Встает и идет за ней, в волнении размахивая кочергой.)* Ариадна! Ариадна! Бога ради, будьте осторожней... Вы... *(Уходит.)*

Мадзини *(вставая)*. Как неприятно! Не могу ли я — как вы думаете — чем-нибудь быть полезен?

Капитан Шотовер *(быстро подвигает стул к чертежному столу и садится за работу)*. Нет. Ступайте спать. Покойной ночи.

Мадзини *(оторопев)*. О-о! А впрочем, пожалуй, вы и правы.

Элли. Покойной ночи, дорогой. *(Целует его.)*

Мадзини. Покойной ночи, милая. *(Направляется к двери, но потом подходит к книжной полке.)* Я только возьму какую-нибудь книжку. *(Достает книгу с полки.)* Покойной ночи. *(Уходит, оставляя Элли наедине с капитаном.)*

Капитан погружен в свои чертежи. Элли, словно на страже, стоит за его спиной и некоторое время смотрит на него молча.

Элли. Вас никогда ничто не волнует, капитан Шотовер?

Капитан Шотовер. Я выстаивал на мостике по восемнадцать часов во время тайфуна. Здесь, правда, еще более бурно. Но все же я могу выстоять.

Элли. Как вы думаете, следует мне выйти замуж за мистера Менгена или нет?

Капитан Шотовер *(не поднимая головы)*. О тот или другой камень разбиться — не все ли равно?

Элли. Я его не люблю.

Капитан Шотовер. А кто это вам говорит, что вы любите?

Элли. Вас это не удивляет?

Капитан Шотовер. Удивляться! В моем возрасте!

Элли. Мне кажется, что это совершенно честно. Я ему нужна для одного, а он мне для другого.

Капитан Шотовер. Деньги?

Элли. Да.

Капитан Шотовер. Ну что ж, одна подставляет щеку, а другой ее целует. Один добывает деньги, а другая тратит.

Элли. Мне интересно, кому из нас выгодней эта сделка?

Капитан Шотовер. Вам. Эти люди всю жизнь сидят у себя в конторе. Вам придется терпеть его только с обеда до утреннего завтрака. Но большую часть этого времени вы оба будете спать. Весь день вы будете распоряжаться собой по собственному усмотрению. И будете тратить его деньги. Если и этого для вас слишком много, выхо-

дите замуж за моряка дальнего плавания. Он будет надоедать вам не больше, чем недели три за целый год.

Элли. Я думаю, что это было бы самое лучшее.

Капитан Шотовер. Опасное это дело — увязнуть в браке с головой, как, например, муж моей старшей дочери. Он целый день торчит дома, словно проклятая душа в преисподней.

Элли. Мне это раньше никогда не приходило в голову.

Капитан Шотовер. Но если вы подходите к этому как к сделке, надо уж и рассуждать по-деловому.

Элли. Почему женщины всегда хотят заполучить чужих мужей?

Капитан Шотовер. Почему конокрады предпочитают объезженную лошадь дикой?

Элли *(с коротким смешком)*. Это, пожалуй, верно. Какой подлый мир!

Капитан Шотовер. Меня это не касается. Я уж скоро уйду из него.

Элли. А я еще только вхожу.

Капитан Шотовер. Да. Так будьте начеку.

Элли. Мне кажется, что я действую очень осмотрительно.

Капитан Шотовер. Я не говорил — осмотрительно, я сказал: будьте начеку.

Элли. А в чем тут разница?

Капитан Шотовер. Можно из осмотрительности отдать душу за то, чтобы получить целый мир. Но не забывайте, что ваша душа сама льнет к вам, если вы ею дорожите. А мир — он стремится выскользнуть у вас из рук.

Элли *(устало отходит от него и беспокойно слоняется по комнате)*. Простите меня, капитан Шотовер, но это совершенно бесполезно разговаривать со мной таким образом. Люди старого уклада ничем мне не помогут. Люди старого уклада думают, что у человека может существовать душа без денег. Они думают, что чем меньше у тебя денег, тем больше души. А молодежь в наше время иного мнения. Душа, видите ли, очень дорого обходится. Содержать ее стоит гораздо дороже, чем, скажем, автомобиль.

Капитан Шотовер. Вот как? Сколько же она поглощает ваша душа?

Элли. О, целую пропасть. Она поглощает и музыку, и картины, и книги, и горы, и озера, и красивые наряды, и общество приятных людей, — в этой стране вы лишены все-

го этого, если у вас нет денег. Вот потому-то наши души так изголодались.

Капитан Шотовер. Душа Менгена питается свиным пойлом.

Элли. Да. Деньги, когда они у него, – это деньги, брошенные на ветер. Я думаю, может быть, его душа слишком изголодалась, когда он был еще очень молод. Но в моих руках они не будут брошены на ветер. И вот потому, что я хочу сохранить мою душу, я и выхожу замуж из-за денег. И все женщины, если у них мозги на месте, поступают так.

Капитан Шотовер. Есть и иные способы добыть деньги. Почему бы их просто не украсть?

Элли. Потому что я не хочу попасть в тюрьму.

Капитан Шотовер. Единственная причина? Вы уверены, что честность здесь никакой роли не играет?

Элли. Ах, вы ужасно старомодны, капитан! Неужели вы думаете, что есть сейчас на свете молодые девушки, которые считают, что законные и незаконные способы добывать деньги – это честные или нечестные способы? Менген ограбил отца и друзей моего отца. Я бы украла у Менгена все эти деньги, если бы полиция позволила мне это сделать. Но поскольку это не разрешается, я должна их получить обратно, выйдя за него замуж.

Капитан Шотовер. Не могу спорить. Я слишком стар. Мозг мой окончательно сложился. Одно я могу вам сказать: старомодно это или новомодно, но только, если вы продадитесь, вы нанесете своей душе такой удар, что никакие книги, картины, концерты, ни все пейзажи мира не залечат ее. *(Внезапно встает и направляется в кладовую.)*

Элли *(бежит за ним, хватает его за рукав)*. А почему же вы тогда продались черту на Занзибаре?

Капитан Шотовер *(останавливается, изумленный)*. Что-о?

Элли. Нет, вы не уйдете, прежде чем не ответите. Я уж знаю эти ваши замашки. Если вы продались, почему мне нельзя?

Капитан Шотовер. Мне пришлось иметь дело с таким человеческим отребьем, что я только тогда мог заставить себя слушаться, когда ругал их последними словами, хватал за шиворот, бил кулаками. Глупцы забирали на улице несовершеннолетних воришек и отправляли их на учебное судно, где их учили бояться палки, вместо того

чтобы бояться бога, думая, что такого рода служба сама по себе сделает из них мужчин и моряков. Я обманул этих воришек, внушив им, что я продался черту. Это избавило меня от необходимости прибегать к ругани и побоям, которые день за днем ввергали в преисподнюю мою душу.

Элли *(отпуская его)*. Я сделаю вид, что продаюсь Боссу Менгену, чтобы спасти мою душу от нищеты, которая день за днем ввергает меня в преисподнюю.

Капитан Шотовер. Богатство в десять раз скорее ввергнет вас в преисподнюю. Богатство не пощадит даже вашего тела.

Элли. Ну, опять что-то старомодное. Мы теперь знаем, что душа – это тело, а тело – душа. Нам говорят, что это не одно и то же, потому что нас хотят убедить, что мы можем сохранить наши души, если мы позволим поработить наши тела. Боюсь, что я от вас никакого толку не добьюсь, капитан.

Капитан Шотовер. А чего бы вы, собственно, хотели? Спасителя, а? Неужели вы так старомодны, что верите в него?

Элли. Нет. Но я думала, что вы очень мудрый и можете помочь мне. А теперь я вижу вас насквозь. Вы делаете вид, что вы заняты, а сами придумываете всякие мудрые фразы, и вот бегаете взад и вперед, и бросаете их на ходу всем на удивление; и тут же исчезаете, прежде чем вам успеют ответить.

Капитан Шотовер. Я теряюсь, когда мне возражают, меня это расхолаживает. Я не могу долго переносить ни мужчин, ни женщин. Мне приходится исчезать. Я и сейчас должен исчезнуть. *(Пытается уйти.)*

Элли *(хватает его за руку)*. Нет, вы от меня не уйдете Я могу вас загипнотизировать. Вы единственный человек в доме, которому я могу сказать все, что мне придет в голову. Я знаю, что я вам нравлюсь. Садитесь. *(Тянет его к дивану.)*

Капитан Шотовер *(уступая)*. Берегитесь. Я ведь впал в детство. Старики – народ опасный. Им нет дела до того, что может произойти с миром.

Они садятся рядом на диван. Она нежно прижимается к нему, положив голову ему на плечо и полузакрыв глаза.

Элли *(мечтательно)*. А я думала, что у стариков, кроме это-

го не может быть никаких других интересов. Ведь им же не может быть интересно, что случится с ними самими.

Капитан Шотовер. Интерес человека к миру — это просто избыток его интереса к самому себе. Когда вы еще дитя, ваше суденышко только спускается на воду, поэтому вы и не интересуетесь ничем, кроме своих собственных дел. Когда вы возмужаете, ваше судно входит в глубокую воду, и вот вы становитесь государственным деятелем, философом, исследователем, искателем приключений. В старости судно ваше изнашивается, оно уж не годится для дальнего плаванья, и вы снова становитесь младенцем. Я могу подарить вам уцелевшие остатки моей прежней мудрости. Жалкие остатки и крохи. Но в действительности я ничем не интересуюсь, кроме моих собственных маленьких потребностей и прихотей. Вот я сижу здесь и копаюсь в моих старых изобретениях, стараясь обратить их в средство истребления моих ближних. Я вижу, как мои дочери и их мужья живут бессмысленной жизнью, все это — романтика, чувства, снобизм. Я вижу, как вы, более юное поколение, отворачиваетесь от их романтики, чувств и снобизма, предпочитая им деньги, комфорт и жестокий здравый смысл. И я знаю, что, когда я стоял на своем капитанском мостике во время тайфуна или когда мы в полном мраке на несколько месяцев вмерзали в арктические льды,— я был в десять раз счастливее, чем вы или они. Вы ищете себе богатого мужа. Я в вашем возрасте искал лишений, опасностей, ужасов, смерти, чтобы всем существом своим ощущать, что я живу. Я не позволял страху смерти управлять моей жизнью. И наградой мне было то, что я жил. А вот вы позволяете, чтобы страх перед бедностью управлял вашей жизнью. Этим вы достигнете того, что вы будете есть, а жить вы не будете.

Элли *(нетерпеливо выпрямляясь)*. Но что ж я могу сделать? Ведь я же не морской капитан. Я не могу стоять на мостике во время тайфуна или убивать китов и тюленей среди гренландских плавучих льдов. Ведь женщинам не позволяют быть капитанами. Что же вы хотите, чтобы я была стюардшей?

Капитан Шотовер. Бывают жизни и похуже. Стюардши могут сойти и на сушу, если им хотелось бы, но они плавают, плавают, плавают...

Элли. А что бы они стали делать на суше? Вышли бы замуж

из-за денег. Не хочу быть стюардшей. Я плохой моряк. Придумайте для меня что-нибудь еще.

Капитан Шотовер. Я не в состоянии думать так долго. Я слишком стар. Я должен исчезать и появляться. *(Делает попытку подняться.)*

Элли *(тянет его назад)*. Нет, вы не уйдете. Вам ведь хорошо здесь, разве нет?

Капитан Шотовер. Я уже вам говорил, что это опасно — удерживать меня. Я не могу долго бодрствовать.

Элли. А зачем вы бежите? Спать?

Капитан Шотовер. Нет. Выпить стаканчик рому.

Элли *(в страшном разочаровании)*. Только за этим? Фу, как противно! Вам приятно, когда вы пьяны?

Капитан Шотовер. Нет. Я больше всего на свете боюсь напиться допьяна. Быть пьяным — это значит грезить, размякнуть, поддаться любому соблазну, любому обману. Попасть в когти женщинам. Вот что делает с вами вино, когда вы молоды. Но когда вы стары, очень-очень стары, вот как я,— вас осаждают сны. Вы не знаете, до чего это ужасно. Вы молоды и спите только ночью, спите крепко; потом вас начинает клонить ко сну днем; а в старости вам хочется спать даже и утром. И просыпаешься усталый, усталый от жизни. И никогда не бывает так, чтобы дрема и сны оставили вас в покое. Сон подкрадывается к вам во время вашей работы, каждые десять минут, если вы не разгоните его ромом. Я теперь пью для того, чтобы быть трезвым. Но сны побеждают. Ром теперь не такой, как раньше. Я уж выпил сегодня десять стаканов, с тех пор как вы приехали. И все равно как если бы я хлебнул воды. Подите-ка принесите мне еще стаканчик. Гинес знает, где он. Вот вы сами увидите, какая это гадость, когда старый человек пьет.

Элли. Вы не будете пить. Вы будете грезить. Мне нравится, когда вы грезите. Вам не нужно быть в мире действительности, когда мы с вами разговариваем.

Капитан Шотовер. Я слишком устал, чтобы сопротивляться. Или слишком слаб. Ведь я снова переживаю детство. Я вижу вас не такой, какая вы на самом деле. Я не могу припомнить, какой я на самом деле. Я не ощущаю ничего, кроме этого дурацкого чувства счастья, которого я боялся всю мою жизнь; счастья, которое приходит, когда уходит жизнь; счастья уступать и грезить.

вместо того чтобы сопротивляться и действовать. Это сладость гниющего плода.

Элли. Вы боитесь этого почти так же, как я боялась расстаться с моими мечтами, боялась того, что мне придется что-то делать. Но теперь все это для меня уже кончено: все мои мечты пошли прахом. Я бы хотела выйти замуж за очень старого, очень богатого человека. Я бы с удовольствием вышла замуж за вас. Гораздо приятнее выйти за вас, чем за Менгена. Вы очень богатый?

Капитан Шотовер. Нет, перебиваемся со дня на день. Да у меня и жена есть, где-то на Ямайке. Чернокожая. Моя первая жена! Если только не умерла.

Элли. Какая жалость! Мне так хорошо с вами! *(Берет его руку и почти бессознательным движением поглаживает ее.)* Я уж думала, мне никогда не будет хорошо.

Капитан Шотовер. Почему?

Элли. Разве вы не знаете?

Капитан Шотовер. Нет.

Элли. Сердце разбилось. Я влюбилась в Гектора, не зная, что он женат.

Капитан Шотовер. Сердце разбилось? Так, может быть, вы из тех, кто настолько довольствуется самим собой, что только тогда и может быть счастлив, когда судьба лишит его всего, даже надежды?

Элли *(хватает его за руку)*. Да, похоже, что так. Вот я сейчас чувствую: нет ничего на свете, чего бы я не могла сделать, — потому что я ничего не хочу.

Капитан Шотовер. Это и есть единственная настоящая сила. Это и есть гений человека. Это лучше рома.

Элли *(отбрасывает его руку)*. Рома! Ну зачем вы все испортили?

Из сада в дверь по правому борту входят Гектор и Рэндел.

Гектор. Прошу прощения. Мы думали, тут никого нет.

Элли *(вставая)*. Это, надо полагать, означает, что вы хотите рассказать мистеру Рэнделу историю с тигром. Идемте, капитан. Я хочу поговорить с отцом, и лучше вам быть при этом.

Капитан Шотовер *(поднимаясь)*. Глупости! Он уже лег спать.

Элли. Ага! Вот я вас и поймала. Настоящий мой отец лег спать. Но отец, которого вы мне выдумали, в кухне.

И вы отлично знали это с самого начала. Идемте. *(Тащит его в сад, к двери по левому борту.)*

Гектор. Вот удивительная девчонка! Водит Старого Моряка за собой на цепочке, как комнатную собачку.

Рэндел. Ну вот, теперь, когда они ушли, может быть, мы с вами потолкуем по-дружески?

Гектор. Вы в моем доме. По крайней мере, все считают его моим... Я к вашим услугам.

Гектор садится на стул у чертежного стола, повернувшись лицом к Рэнделу, который стоит, небрежно прислонившись к верстаку.

Рэндел. Я полагаю, мы можем быть вполне откровенны. Я имею в виду леди Этеруорд.

Гектор. Вы можете говорить откровенно. А мне нечего сказать. Я ни разу ее не видел до сегодняшнего дня.

Рэндел *(выпрямляясь)*. Что? Ведь вы муж ее сестры?

Гектор. Ну, если уж на то пошло, так ведь вы – брат ее мужа.

Рэндел. Но ведь вы с ней, по-видимому, очень близки?

Гектор. Как и вы.

Рэндел. Да. Но я с ней действительно близок. Я знаю ее уже много лет.

Гектор. По-видимому, ей понадобилось много лет для того, чтобы достичь с вами той интимности, которая со мной завязалась через пять минут.

Рэндел *(оскорбленный)*. Поистине, Ариадна – это предел *(Отходит, надутый, к окну.)*

Гектор *(хладнокровно)*. Она, как я уже говорил Гесионе весьма предприимчивая женщина.

Рэндел *(оборачивается в возбуждении)*. Видите ли, Хэшебай вы то, что женщины называют красивый мужчина.

Гектор. В дни, когда меня обуревало тщеславие, я старался сохранить эту видимость. И Гесиона настаивала, чтобы я продолжал это и сейчас. Она заставляет меня напяливать эти дурацкие штуки *(показывает на арабский костюм)*, потому что ей кажется, что у меня нелепый вид во фраке.

Рэндел. Вы отлично сохранились, дружище. Так вот, уверяю вас, в моем отношении нет ни капли ревности.

Гектор. Казалось бы, много уместнее было бы поинтересоваться, нет ли этой капли у вашего брата?

Рэндел. Что? Гастингс? Насчет Гастингса вы не беспокойтесь. Он обладает способностью работать по шестна-

дцать часов в день над какой-нибудь скучнейшей мелочью, и ему это действительно доставляет удовольствие. Поэтому-то он и выдвигается всюду. Пока Ариадна заботится о том, чтобы он вовремя поел, он будет только благодарен всякому, кто поддержит ее хорошее настроение.

Гектор. А так как она обладает фамильным обаянием Шотоверов, то претендентов находится более чем достаточно.

Рэндел *(свирепо)*. Она поощряет их. Ее поведение — это сплошной скандал. Уверяю вас, дорогой мой, что в моем отношении нет ни капли ревности. Но она своим легкомыслием заставляет говорить о себе везде, где бы она ни появилась. Вот ведь что. А на самом деле она совершенно равнодушна к мужчинам, которые убиваются вокруг нее. Но кто это может знать? И получается что-то довольно некрасивое по отношению к Гастингсу; некрасивое и по отношению ко мне.

Гектор. Она убеждена, что ведет себя столь безупречно...

Рэндел. Безупречно! Она только тем и занимается, что с утра до вечера устраивает сцены. Берегитесь, дружище! Она вам наделает хлопот,— то есть, верней сказать, наделала бы, если бы всерьез заинтересовалась вами.

Гектор. Значит, она не интересуется мною?

Рэндел. Ни чуточки. Ей просто хочется прибавить еще один скальп к своей коллекции. Настоящее ее чувство отдано уже давно — много лет тому назад. Так что советую вам поостеречься.

Гектор. Скажите, вы очень страдаете от этого чувства ревности?

Рэндел. Ревности? Я! Ревную! Дорогой мой, я же вам сказал, что в моем отношении нет ни капли...

Гектор. Да... А вот леди Этеруорд сказала мне, что она никогда не устраивает сцен. Так вот, бросьте вы расточать попусту вашу ревность на мои усы. Никогда не ревнуйте к настоящему живому мужчине. В конце концов всех нас вытесняет воображаемый герой. К тому же ревность ужасно не идет к вашей непринужденной позе светского человека, которую вы так успешно сохраняете во всех остальных случаях жизни.

Рэндел. Ну, знаете, Хэшебай, мне кажется, мужчина может позволить себе быть джентльменом, и не обязательно обвинять его за это в позерстве.

Гектор. Это тоже поза, не меньше какой-либо другой. Мы здесь все позы наизусть знаем. У нас дома такая игра:

обнаружить, что за человек прикрывается той или иной позой. Насколько я понимаю, за вашей позой скрывается излюбленный герой Элли — Отелло.

Рэндел. Позвольте уж сказать вам, что кой-какие игры в этом доме чрезвычайно раздражают.

Гектор. Да, я сам много лет был их жертвой. Сначала я прямо-таки корчился от этого. Потом, знаете, привык. А теперь и сам научился играть.

Рэндел. Я бы вас попросил, если для вас это не составит труда, не играть в эти игры со мной. Вы, по-видимому, абсолютно не понимаете ни моего характера, ни того, что я привык считать хорошим тоном.

Гектор. А это входит в ваше понятие хорошего тона — поносить леди Этеруорд?

Рэндел *(в его негодовании прорывается жалобная детская нотка)*. Я ни одного слова не сказал против леди Этеруорд. Это опять какой-то заговор против меня.

Гектор. Какой заговор?

Рэндел. Вы отлично знаете, сэр. Заговор, который имеет в виду выставить меня мелочным, ревнивым, ребячливым, — то есть как раз наделить меня такими качествами, которых у меня нет. Все знают, что я представляю собой полную противоположность этому.

Гектор *(поднимаясь)*. По-видимому, в атмосфере нашего дома есть что-то, что скверно на вас действует. Это нередко бывает. *(Идет к двери в сад и подчеркнуто повелительным тоном зовет леди Этеруорд.)* Ариадна!

Леди Этеруорд *(откуда-то издали)*. Да?

Рэндел. Зачем вы ее зовете? Я хочу поговорить...

Леди Этеруорд *(врывается, запыхавшись)*. Да? Нет, в самом деле, у вас страшно властная натура. Что такое?

Гектор. Да вот я что-то не могу управиться с вашим приятелем Рэнделом. Вы, конечно, знаете, как к нему подступиться?

Леди Этеруорд. Рэндел, вы опять выкинули какую-нибудь глупость? Я вижу по вашему лицу. Нет, вы поистине самое мелочное существо на свете.

Рэндел. Вы отлично знаете, Ариадна, что в моей натуре нет ни капли мелочности. Я держал себя здесь в высшей степени обходительно. Я остался совершенно невозмутим при виде вора. Это моя особо отличительная черта — невозмутимость. Но... *(топает ногой и начинает сердито расхаживать)* я требую, чтобы со мной обращались с известным уважением. Я не позволю Хэшебаю фа-

мильярничать со мной. Я не потерплю, чтобы вы поощряли мужчин бегать за вами.

Гектор. Этот человек носит в себе сильно укоренившееся заблуждение в том, что он ваш супруг.

Леди Этеруорд. Знаю. Он ревнует. Как будто у него есть на это какие-то права! Он вечно меня компрометирует. Устраивает сцены повсюду. Я этого не допущу, Рэндел. Вы не имеете права пререкаться из-за меня с Гектором. Я не желаю быть предметом мужских пересудов.

Гектор. Будьте благоразумны, Ариадна. Ваша роковая красота сама по себе заставляет мужчин пререкаться.

Леди Этеруорд. Ах вот как! А что вы скажете о вашей роковой красоте?

Гектор. Что ж я могу с этим сделать?

Леди Этеруорд. Вы можете сбрить себе усы. Я могу отрезать себе нос. Всю жизнь мне приходится терпеть из-за мужчин, которые в меня влюбляются. А потом Рэндел говорит, что я бегаю за мужчинами.

Рэндел. Я...

Леди Этеруорд. Да, да, вы говорили. Вы только что это сказали. Почему вы ни о чем не можете подумать, кроме женщин? Наполеон был совершенно прав, когда говорил, что женщины — это занятие для бездельников. А уж из всех бездельников самый отъявленный — это Рэндел Этеруорд...

Рэндел. Ариа...

Леди Этеруорд *(прерывая его целым потоком слов)*. Да, да, бездельник. И нечего спорить. Сделали ли вы хоть что-нибудь за всю свою жизнь? На что вы годитесь? Хлопот с вами больше, чем с трехлетним младенцем. Вы шагу ступить не можете без чужих услуг.

Рэндел. Это...

Леди Этеруорд. Лень! Воплощенная лень! Сплошной эгоизм! Самый скучный человек на земле. Даже когда вы сплетничаете, вы ни о чем не можете говорить, кроме как о себе самом, о своих огорчениях, своих болезнях и о том, кто вас обидел. *(Обращается к Гектору.)* Знаете, как его прозвали, Гектор?

Гектор } *(оба вместе)*. Пожалуйста, не говорите мне этого.
Рэндел }

Леди Этеруорд. Рэндел-слюнтяй — вот как его зовут в обществе.

Рэндел *(кричит)*. Я не допущу этого, повторяю вам. Выслушайте меня, вы, дьявольская... *(Задыхается.)*

Леди Этеруорд. Ну-ну, я вас слушаю. Как это вы собирались меня назвать? Дьявольская... что? Каким противным животным я стану на этот раз?

Рэндел *(захлебываясь от негодования)*. Нет в мире такого омерзительного животного, каким способна быть женщина. Вы сущий дьявол, который может с ума свести человека! Вы не поверите мне, Хэшебай, если я вам скажу, что я любил этого демона всю мою жизнь. Но бог свидетель, как я был за это наказан. *(Опускается на стул и плачет.)*

Леди Этеруорд *(останавливается перед ним, глядя на него с презрительным торжеством)*. Нюня!

Гектор *(подходит к нему, серьезным тоном)*. Друг мой, эти сестры Шотовер имеют в своем распоряжении две колдовские штуки против мужчин: они могут их заставить любить себя и могут заставить их плакать. Благодарите вашу звезду, что вы не женаты ни на одной из них.

Леди Этеруорд *(надменно)*. Прошу вас, Гектор...

Гектор *(внезапно берет ее за плечи, круто поворачивает ее от Рэндела к себе и хватает рукой за горло)*. Ариадна! Если вы только посмеете начать эти штуки со мной, я вас задушу. Слышите? Игра в кошки-мышки с прекрасным полом — премилая игра, но я могу с вами до того доиграться, что голову вам оторву. *(Толкает ее без всяких церемоний в большое кресло и продолжает уже не так свирепо, но твердо.)* Наполеон верно сказал, что женщины — это занятие для бездельников. Но он сказал еще, что женщина — это утеха воина. Так вот, я — воин. Берегитесь!

Леди Этеруорд *(ничуть не обиженная, а скорее даже польщенная этим неистовством)*. Дорогой Гектор, я ведь сделала только то, что вы просили.

Гектор. Как вас прикажете понять? Будьте добры объясниться.

Леди Этеруорд. Вы позвали меня сюда, чтобы утихомирить Рэндела. Вы сказали, что сами не можете с ним справиться.

Гектор. Ну и что из того, что я сказал,— я не просил вас доводить человека до сумасшествия.

Леди Этеруорд. Да ничуть он не сходит с ума. Просто это такой способ унять его. Будь вы матерью, вы бы меня поняли.

Гектор. Матерью? Что вы тут такое задумали?

Леди Этеруорд. Все очень просто. Когда дети у меня ка-

призничали и не слушались, я их шлепала как следует, чтобы поревели хорошенько, — это была для них такая полезная встряска. После этого они прекрасно спали и потом на другой день отлично вели себя. Но ведь не могу же я отшлепать Рэндела. Он слишком велик. Поэтому, когда у него нервы не в порядке и он раскапризничается, я просто довожу его до слез. Вот теперь он будет хорошо вести себя. Посмотрите, он уже совсем спит.

Так оно, в сущности, и есть.

Рэндел *(просыпается, с возмущением)*. Я не сплю. Какая вы жестокая, Ариадна! *(Расчувствовавшись.)* Но я, кажется, готов простить вас, как всегда. *(Подавляет зевоту.*

Леди Этеруорд *(Гектору)*. Ну, грозный воин, вы удовлетворены моим объяснением?

Гектор. Когда-нибудь, если вы зайдете слишком далеко, я вас зарежу. Я думал раньше, что вы просто дура.

Леди Этеруорд *(смеясь)*. Все почему-то так думают сначала. Но я не такая дура, как это может показаться на первый взгляд. *(Очень довольная, встает.)* Ну, Рэндел, теперь марш спать. И утром вы будете пай-мальчиком.

Рэндел *(слабо сопротивляясь)*. Я пойду спать, когда мне захочется. Сейчас еще и десяти нет.

Леди Этеруорд. Десять уже давно было. Пожалуйста, Гектор, посмотрите, чтобы он сейчас же пошел спать. *(Уходит в сад.)*

Гектор. Есть ли на свете рабство более гнусное, чем это рабство мужчин у женщин?

Рэндел *(решительно поднимаясь)*. Я завтра не стану с ней разговаривать. Целую неделю не буду с ней говорить. Я ее так проучу... И сейчас пойду спать, не простившись с ней. *(Идет к двери в переднюю.)*

Гектор. Околдовали вас, человече. Старик Шотовер продался дьяволу на Занзибаре. И дьявол дал ему за это чернокожую ведьму в жены. Эти две чертовки-дочки — мистический плод сего союза. Я привязан к юбке Гесионы, но я муж ей. И если я даже и совершенно спятил из-за нее, то мы хоть поженились, по крайней мере. Но почему вы позволяете, чтобы Ариадна швыряла вас и таскала, как ребенок таскает и колотит игрушечного ослика? Какая вам от этого радость? Вы что, любовник ее, что ли?

Рэндел. Вы не должны это так дурно понимать. Может быть, в высшем смысле, в платоническом...

ектор. Фью-ю. В платоническом! Она держит вас на по-

бегушках. А когда приходит время расплачиваться, она надувает вас. Так это надо понимать?

Рэндел *(вяло)*. Мне кажется... если я против этого не возражаю... то вам-то до этого какое дело? Кроме того, я же вам сказал, что я проучу ее. Вот увидите. Я знаю, как надо обращаться с женщинами. А правда, я, кажется, совсем засыпаю. Пожелайте миссис Хэшебай от меня покойной ночи, не сочтите за труд. Спокойной ночи. *(Поспешно уходит.)*

Гектор. Бедняга! О, женщины! Женщины! Женщины! *(Поднимает кулаки к небу и потрясает ими, точно произнося заклинание.)* Разверзнись! Разверзнись и сокруши! *(Уходит в сад.)*

Гектор выходит в сад через стеклянную дверь кормовой галереи. С восточной стороны от эспланады, в свете дугового фонаря, который в своем матовом колпаке похож на луну, леди Этеруорд томно раскинулась в гамаке; рядом с изголовьем гамака стоит складной стул. С другой стороны флагштока, на длинной садовой скамье, спит капитан Шотовер, рядом с ним сидит Элли, нежно прижавшись к его плечу; по левую сторону от них палубный стул. Позади в темноте прогуливаются Гесиона и Менген. Прекрасная тихая, безлунная ночь.

Леди Этеруорд. Какая чудесная ночь! Как будто нарочно для нас.

Гектор. Никакого ей до нас дела нет. Что мы ей? *(Угрюмо садится на стул.)*

Элли *(сонно прижимаясь к капитану)*. Эта ее красота прямо проникает во все мои жилки. Ночь несет в себе покой для старых и надежду для юных.

Гектор. Это вы что — сами придумали?

Элли. Нет. Это последняя фраза капитана перед тем, как он заснул.

Капитан Шотовер. Я не сплю.

Гектор. Рэндел спит И мистер Мадзини Дэн. И Менген, должно быть, тоже.

Менген. А вот и нет.

ектор. Ах, вы здесь? Я думал, Гесиона уже отправила вас спать.

Миссис Хэшебай *(подходит сзади к скамье и появляется в круге света вместе с Менгеном)*. Да, пожалуй, пора. Менген без конца повторяет мне, что у него предчувствие, будто он умрет. В жизни не видела человека, который бы с такой жадностью добивался, чтобы его пожалели.

Менген *(жалобно)*. Но у меня правда такое предчувствие. Правда же. А вы не хотите слушать.

Миссис Хэшебай. Я слушала что-то другое. Тут было какое-то чудесное жужжанье в небе. Никто не слышал? Откуда-то донеслось издалека, а потом замерло.

Менген. Я же вам сказал, что это поезд.

Миссис Хэшебай. А я вам говорю, Альф, что в эти часы никакого поезда нет. Последний приходит в девять сорок пять.

Менген. Может быть, какой-нибудь товарный.

Миссис Хэшебай. По нашей маленькой ветке они не ходят. Просто прицепляют к пассажирскому один товарный вагон. Что бы это такое могло быть, Гектор?

Гектор. Это грозное рычание неба, знаменующее его отвращение к нам, жалким, бесполезным тварям. *(Исступленно.)* Я вам говорю, вот увидите, что-нибудь случится. Одно из двух: или из тьмы выйдет какое-то новое существо на смену нам, как мы пришли на смену животным, или небосвод с грохотом обрушится и уничтожит нас.

Леди Этеруорд *(хладнокровно, поучительным тоном, укладываясь поуютнее в своем гамаке)*. Вовсе мы не приходили на смену животным, Гектор. Почему вы призываете небо обрушиться на этот дом, в котором можно было бы устроить такую уютную жизнь, если бы только Гесиона имела хоть малейшее представление о том, как надо жить? Разве вы не понимаете, в чем главный недостаток этого дома?

Гектор. Мы — главный недостаток. Смысла в нас нет ни малейшего. Мы бесполезны, опасны. И нас следует уничтожить.

Леди Этеруорд. Глупости! Гастингс в первый же день, как только приехал сюда, — это было тому назад года двадцать четыре, кажется, — сразу же сказал мне, в чем недостаток нашего дома.

Капитан Шотовер. Что? Чурбан сказал, что в моем доме какой-то недостаток?

Леди Этеруорд. Я сказала, что это Гастингс сказал, а он вовсе не чурбан.

Капитан Шотовер. Какой же это недостаток в моем доме?

Леди Этеруорд. Такой же, как и на корабле, папа. Разве не тонко было со стороны Гастингса подметить это?

Капитан Шотовер. Дурак он. Какой может быть недостаток на корабле? Там все на месте.

Леди Этеруорд. Нет, не все.

Миссис Хэшебай. Ну, а что же такое? Да не тяни ты, Эдди.

Леди Этеруорд. Угадайте.

Гектор. Дьяволицы, дщери ведьмы занзибарской! Дьяволицы!

Леди Этеруорд. А вот и нет. Уверяю вас, все, что нужно, чтобы сделать этот дом разумным, здоровым, приятным, чтобы у всех был хороший аппетит и здоровый сон, — это лошади.

Миссис Хэшебай. Лошади! Какая чушь!

Леди Этеруорд. Да, лошади. Почему мы никогда не могли сдать этот дом внаймы? Потому что тут нет конюшен. Поезжайте куда угодно в Англии, где живут нормальные, здоровые, довольные, настоящие, порядочные англичане, и вы увидите, что главный стержень всего дома — это конюшни; а если кому-нибудь из гостей вздумается побренчать на рояле, так, прежде чем открыть его, надо всю комнату перевернуть вверх дном — чего-чего только не навалено на крышке. Я до тех пор не почувствовала, что существую, пока не научилась ездить верхом. Но я никогда по-настоящему, как следует, ездить не буду, потому что меня с детства этому не учили. Настоящее английское общество делится на два круга: это круг лошадников и круг невротиков. И это вовсе не условность. Всякому ясно, что люди, которые занимаются охотой, — это порядочные люди, а те, кто не охотится, — это не настоящие люди.

Капитан Шотовер. В этом есть доля правды. Мужчину из меня сделал мой корабль, а корабль — это конь морской.

Леди Этеруорд. Вот именно поэтому-то, как мне Гастингс объяснял, ты и джентльмен.

Капитан Шотовер. Не так уж глупо для чурбана. Можешь его привезти в следующий раз. Мне надо поговорить с ним.

Леди Этеруорд. Почему Рэндел такой слюнтяй? Воспитывали его хорошо, учился в колледже и университете, работал в министерстве иностранных дел, всю жизнь вращался в лучшем обществе. А почему он какой-то такой недоделанный, никчемный? Почему ни один слуга не уживается у него дольше чем два-три месяца? Потому что он слишком ленив и слишком падок на всякие развлечения и поэтому не может быть ни охотником, ни стрелком. Он бренчит на рояле, рисует, волочится за замужними женщинами, читает беллетристику, стихи. Он даже на флейте играет. Но я никогда не позволяла ему являться с флейтой ко мне в дом. Посмел бы он только..

(Ее прерывают меланхолические звуки флейты, доносящиеся из открытого окна сверху. Она в негодовании при-

поднимается в гамаке.) Рэндел! Вы до сих пор не легли спать? Вы что же, подслушиваете?

Флейта задорно отвечает.

Боже, какая пошлость! Сейчас же в кровать, Рэндел! Как вы смеете!

Окно со стуком закрывается.

(Снова укладывается в гамак.) Ну кто может заинтересоваться таким ничтожеством?

Миссис Хэшебай. Эдди, как ты думаешь, следует Элли выйти замуж за бедного Альфреда только из-за его денег?

Менген *(в ужасном смятении.)* Ну что же это такое? Миссис Хэшебай, неужели вы будете обсуждать мои дела вот так, перед всеми?

Леди Этеруорд. Я думаю, Рэндел сейчас уже не слушает.

Менген. Все слушают. Так, право, нельзя.

Миссис Хэшебай. Да ведь сейчас темно. Ну не все ли вам равно? Элли не возражает. Правда, Элли?

Элли. Правда. Вы что думаете об этом, леди Этеруорд? У вас так много здравого смысла.

Менген. Нет, это нехорошо. Это... это...

Миссис Хэшебай зажимает ему рот рукой.

Ах, ну отлично!

Леди Этеруорд. Сколько у вас денег, мистер Менген?

Менген. Ну, знаете!.. Нет, это просто невозможно!

Леди Этеруорд. Глупости, мистер Менген. Ведь весь вопрос в вашем капитале?

Менген. Ну, уж если на то пошло – сколько у нее денег?

Элли. Ничего нет.

Леди Этеруорд. Ну вот, она ответила, мистер Менген. А теперь, после того как вы заставили мисс Дэн бросить карты на стол, извольте показать и ваши.

Миссис Хэшебай. Ну, Альфред, выкладывайте – сколько же?

Менген *(разозленный до того, что теряет всякую осторожность).* Ну, если уж вам угодно знать, то у меня нет денег и никогда не было.

Миссис Хэшебай. Альфред, зачем вы нам рассказываете такие нелепые сказки?

Менген. Это не сказки. Голая правда.

Леди Этеруорд. На что же вы тогда живете, мистер Менген?

Менген. Я живу на разъездные; ну а потом немножко еще комиссионных.

Капитан Шотовер. А у кого из нас есть что-нибудь, кроме разъездных на путешествие по жизни?

Миссис Хэшебай. Но ведь у вас же есть фабрика, капиталы и все такое.

Менген. Это все так думают, что у меня есть. Меня считают промышленным Наполеоном. Поэтому-то мисс Элли и хочет выйти за меня. Но я вам говорю, что у меня ничего нет.

Элли. Вы хотите сказать — эти фабрики вроде тигров Марка? Они на самом деле не существуют?

Менген. Они отлично существуют. Только это не мои фабрики. Они принадлежат синдикатам, акционерам и всяким там ленивым, ни на что не пригодным капиталистам. Я беру у них деньги и пускаю фабрики в ход. Отыскиваю людей вроде папаши мисс Дэн, которые кладут все свои силы на то, чтобы наладить дело, и сам принимаю все меры к тому, чтобы оно приносило доход. Конечно, я ставлю условие, чтобы мне платили приличное содержание, но это собачья жизнь. А собственности у меня никакой нет.

Миссис Хэшебай. Альфред, вы очень неискусно пытаетесь увильнуть от брака с Элли.

Менген. Первый раз в жизни сказал правду насчет своих денег — и первый раз в жизни ни одна душа не верит!

Леди Этеруорд. Как это грустно! Почему бы вам не заняться политикой, мистер Менген?

Менген. Политикой? Да что вы, с луны свалились? Чем же я занимаюсь, как не политикой!

Леди Этеруорд. Простите, но я ни разу о вас не слыхала.

Менген. Разрешите объяснить вам, леди Этеруорд, что премьер-министр нашей страны предложил мне войти в правительство и без всякой этой чепухи вроде выборов — на правах диктатора одного крупного ведомства.

Леди Этеруорд. В качестве консерватора или либерала?

Менген. Ну, это все ерунда. Просто в качестве делового человека.

Все разражаются хохотом.

Над чем вы, собственно, смеетесь?

Миссис Хэшебай. Ах, Альфред, Альфред!

Элли. Это вас-то, который не может ступить шагу без моего отца? Ведь он все за вас делает.

Миссис Хэшебай. Вас, который боится собственных рабочих?

Гектор. Вас, с которым три женщины целый вечер играют в кошки-мышки?

Леди Этеруорд. Вы, должно быть, дали той партии, которая выдвинула вас, огромную сумму, мистер Менген?

Менген. Ни пенни из своего кармана. Деньги нашел синдикат. Они понимали, насколько я буду для них полезен в правительстве.

Леди Этеруорд. Все это необыкновенно интересно и неожиданно, мистер Менген. Ну, и каковы же ваши административные достижения?

Менген. Достижения?.. Гм... не знаю, что вы подразумеваете. Но я ловко расстроил планы молодчиков из других ведомств. Каждый из них стремился выступить в роли спасителя страны, а меня хотели оттеснить, лишить доверия и всякой надежды заработать титул. Но я заранее позаботился — на тот случай, если бы они захотели мне пакостить,— чтобы и у них ничего не вышло. Я, может быть, ничего не понимаю в моих машинах, но зато я прекрасно умею сунуть палку в чужую машину. Вот теперь они остались в совершенных дураках.

Гектор. А вы с чем остались?

Менген. Я остался с тем, что перехитрил всех остальных. Если это не торжество деловитости, то как это еще назвать?

Гектор. Где мы: в Англии или в сумасшедшем доме?

Леди Этеруорд. Так вы собираетесь спасти страну, мистер Менген?

Менген. А кто же еще ее спасет? Может быть, ваш мистер Рэндел?

Леди Этеруорд. Рэндел-слюнтяй? Нет, конечно.

Менген. Или, может быть, ваш зятек с этими его усами и пышными фразами?

Гектор. О да, если бы мне позволили.

Менген *(насмешливо)*. А-а! А позволят?

Гектор. Нет. Вы им больше по душе.

Менген. То-то же. Ну, а раз вы живете в мире, где меня ценят, а вас нет, вам не мешает обращаться со мной повежливее. Кто тут еще найдется, кроме меня?

Леди Этеруорд. Гастингс! Бросьте вашу нелепую демократию, дайте Гастингсу власть и хороший запас бамбу-

ковых палок, чтобы привести британских туземцев в чувство, — и он без всякого труда спасет страну.

Капитан Шотовер. Пусть уж она лучше погибнет. С палкой в руках всякий дурак сумеет управлять. И я бы мог так управлять. Это не божий путь. Этот твой Гастингс — чурбан.

Леди Этеруорд. Он стоит всех вас, вместе взятых. А вы что скажете, мисс Дэн?

Элли. Я думаю, что мой отец отлично мог бы управлять, если бы люди не клеветали на него, не обманывали его и не презирали за то, что он такой хороший.

Менген *(презрительно)*. Представляю себе: Мадзини Дэн в парламенте и пробивает себе путь в правительство! Слава богу, до этого мы еще не дошли. Что вы скажете, миссис Хэшебай?

Миссис Хэшебай. О, я думаю, что это ровно ничего не значит, кто из вас управляет страной, пока мы управляем вами.

Гектор. Мы? Кто это мы, позвольте узнать?

Миссис Хэшебай. Внучки дьявола, дорогой. Прекрасные женщины.

Гектор *(снова вздымая руки к небесам)*. Обрушься, говорю я, и избавь нас от чар сатанинских!

Элли. Выходит, что в мире нет ничего настоящего, кроме моего отца и Шекспира. Тигры Марка поддельные. Миллионы мистера Менгена поддельные. Даже в Гесионе нет ничего по-настоящему сильного и неподдельного, кроме ее прекрасных черных волос. А леди Этеруорд слишком красива, чтобы быть настоящей. Единственная вещь, которая еще для меня существовала, это была седьмая степень самосозерцания капитана. Но и это, оказывается...

Капитан Шотовер. Ром.

Леди Этеруорд *(спокойно)*. Большая часть моих волос отнюдь не поддельная. Герцогиня Дитеринг предлагала мне за это *(поглаживает свою прическу)* пятьдесят гиней. Она думала, что это парик. Но это все мое собственное, за исключением цвета, разумеется.

Менген *(в совершенном неистовстве)*. Нет, слушайте, я сейчас разденусь, я сниму с себя все, что есть. *(Начинает стаскивать с себя сюртук.)*

Леди Этеруорд, Капитан Шотовер, Гектор, Элли *(вместе, в ужасе)*. Мистер Менген! Что это такое! Ха-ха-ха! Валяйте! Пожалуйста, не надо.

Миссис Хэшебай *(хватает его за руку)*. Альфред! Как вам не стыдно! Да что вы, с ума сошли?

Менген. Стыдно! Где тут стыд, в этом доме? Нет, давайте все разденемся догола. Уж если что делать, так надо доводить это до конца. Морально мы все уж разоблачились догола. Так давайте обнажимся и телесно. И посмотрим, как это нам понравится. Я вам говорю, что я не в состоянии это выдержать. Меня с детства учили приличиям. Я не возражаю против того, чтобы женщины красили волосы, а мужчины пили, — это в человеческой натуре. Но совсем не в человеческой натуре рассказывать об этом направо и налево. Стоит только кому-нибудь из вас рот открыть, как меня всего передергивает *(ежится словно в него запустили камнем)* от страха — что еще сейчас тут ляпнут? Как можно сохранять хоть какое-нибудь уважение к себе, если мы не стараемся показать, что мы лучше, чем на самом деле?

Леди Этеруорд. Совершенно согласна с вами, мистер Менген. Все это я испытала. Я знаю, по опыту знаю, что мужчины и женщины — это хрупкие цветы, и их надо выращивать под стеклом. А у нас в семье привычка швырять камнями куда попало и устраивать сквозняки — и это не только невыносимо грубо, но положительно опасно. Но если уж вы не уберегли себя от моральной простуды, то зачем же еще простужаться и физически. Нет, уж вы, пожалуйста, не снимайте ваше платье.

Менген. Я буду делать так, как мне хочется, а не так, как вы говорите. Что я, ребенок или взрослый? Хватит с меня этой родительской тирании. Уеду в Сити, там меня ценят и уважают.

Миссис Хэшебай. Прощайте, Альф. Вспоминайте нас иногда там, в вашем Сити. Вспоминайте, какая она юная, Элли.

Элли. Вспоминайте, какие глаза и волосы у Гесионы.

Капитан Шотовер. Вспоминайте про наш сад, где вам не приходилось быть сторожевым псом, лающим, дабы преградить дорогу правде.

Гектор. Вспоминайте красоту леди Этеруорд. Ее здравый смысл. Ее изящество.

Леди Этеруорд. Льстец! Нет, мистер Менген, вы лучше вспоминайте, есть ли на свете другое такое место, где вам было лучше, чем здесь. Это ведь самое главное.

Менген *(сдаваясь)*. Хорошо, хорошо. Сдаюсь. Пусть будет по-вашему. Только отвяжитесь. Я понять не могу, где я

что со мной,— когда вы все так на меня накидываетесь. Остаюсь, женюсь на ней. Все сделаю, только чтобы жить спокойно. Ну, теперь вы довольны?

Элли. Нет. Я, в сущности, никогда не собиралась женить вас на себе, мистер Менген. В глубине души — никогда. Я только хотела испытать свои силы. Проверить, можете ли вы устоять, если я захочу!

Менген *(в негодовании)*. Как! Вы хотите сказать, что теперь, после того как я так благородно поступил, вы собираетесь отказаться от меня?

Леди Этеруорд. На вашем месте я бы не стала так торопиться, мисс Дэн. Вы в любое время, до самой последней минуты, успеете отказаться от мистера Менгена. В его положении разориться довольно трудно. Вы можете вести очень комфортабельную жизнь, пользуясь тем, что он слывет таким богачом.

Элли. Я не могу пойти на двоемужество.

Миссис Хэшебай, Леди Этеруорд, Менген, Гектор *(все сразу)*. Двоемужество! Что вы такое городите? Двоемужество! Что вы хотите сказать, мисс Дэн? Двоемужество! Вы хотите сказать, что вы уже замужем? Двоемужество! Действительно, загадка!

Элли. Всего только полчаса тому назад капитан Шотовер взял меня в белые жены.

Миссис Хэшебай. Элли! Что за чушь! Где?

Элли. В небесах, где совершаются все истинные браки.

Леди Этеруорд. Ну, знаете, мисс Дэн! Ну, знаешь, папа!

Менген. И он еще говорил мне, что я слишком стар! А сам-то, мумия этакая!

Гектор *(цитируя Шелли)*.

Им алтарем был темный лес,
Венчал их ветер вольный.

Элли. Да, я, Элли Дэн, отдала свое разбитое сердце, мою сильную, здоровую душу ее естественному капитану, моему духовному супругу и второму отцу. *(Подсовывает руку капитана под свою и нежно ее поглаживает.)*

Капитан крепко спит.

Миссис Хэшебай. Ах, как это умно с вашей стороны, деточка. Необыкновенно умно! Альфред, вам никогда не

сравняться с Элли. Куда там! Вы должны удовольствоваться маленькой порцией меня.

Менген *(сопит и вытирает глаза)*. Это бессердечно... *(Задыхается от огорчения.)*

Леди Этеруорд. Вы удачно отделались, мистер Менген. Мисс Дэн – такая самонадеянная молодая особа, я первый раз вижу такую, с тех пор как вернулась в Англию.

Миссис Хэшебай. О, Элли вовсе не самонадеянная. Ведь правда, милочка?

Элли. Теперь я знаю свою силу, Гесиона.

Менген. Бесстыжая, вот как ее надо назвать.

Миссис Хэшебай. Ш-шшш... ш-шшш... Альфред, не надо грубить. Разве вы не чувствуете, как прекрасна эта брачная ночь, этот брак, заключенный в небесах? Разве вы не счастливы, вы и Гектор? Откройте глаза. Эдди и Элли достаточно хороши, чтобы понравиться самому требовательному мужчине. Мы живем, и любим, и ни о чем не думаем. И все это мы, женщины, устроили для вас. Почему же, скажите во имя здравого смысла, вы все еще продолжаете вести себя так, будто вы два жалких, брошенных человека?

Капитан Шотовер. Я вам говорю, что от счастья проку мало. Вы можете быть счастливы только тогда, когда вы наполовину живы. Вот я сейчас – наполовину мертвец, а счастливее, чем я был когда-то в молодости. Но и моему счастью нет благословения божьего.

Элли *(с просветленным лицом)*. Жить в благословении! Вот что мне надо. Теперь я понимаю, почему я на самом деле не могу выйти замуж за мистера Менгена. В нашем браке не могло быть благословения. Благословение в моем разбитом сердце. Благословение в вашей красоте, Гесиона. Благословение в душе вашего отца. Даже в выдумках Марка есть благословение. Но в деньгах мистера Менгена никакого благословения нет.

Менген. Ни слова не понимаю.

Элли. Я тоже. Но я знаю, что это что-то значит.

Менген. Не говорите только, что у нас были какие-нибудь заминки с благословением. Я готов был откопать епископа, чтобы он нас благословил и повенчал.

Миссис Хэшебай. Ну, не болван ли он, милочка?

Гектор *(гневно)*. Довольно вам издеваться над этим человеком. Все мы болваны.

Мадзини, в пижаме и в ярком шелковом халате, выходит из дома и подходит к леди Этеруорд.

Миссис Хэшебай. А! Вот идет единственный человек, который сумел устоять против меня. Что такое случилось, мистер Дэн? Уж не пожар ли?

Мадзини. Нет, что вы! Ничего не случилось. Но как можно спать, когда у тебя под окном такая интересная беседа, да еще при этом такая замечательная ночь. Просто не утерпел и решил присоединиться к вам. О чем это здесь шла речь?

Миссис Хэшебай. О, здесь происходят удивительные вещи, солдат свободы.

Гектор. Вот, например, Менген, в качестве практика и дельца, пытался раздеться здесь при всех. И потерпел позорное поражение. Тогда как вы, в качестве идеалиста, блестяще преуспели в том же самом.

Мадзини. Надеюсь, вы не в претензии, что я в таком виде, Миссис Хэшебай? *(Садится на складной стул.)*

Миссис Хэшебай. Напротив. Я бы предпочла вас всегда в таком виде.

Леди Этеруорд. Брак вашей дочери, мистер Дэн, расстроился. У мистера Менгена, которого мы все считали капиталистом, оказывается, ровно ничего нет.

Мадзини. Ну, я-то, разумеется, знал это, леди Этеруорд. Но если люди верят в него и дают ему деньги, тогда как в меня они не верят и денег мне не дают, то как я могу настаивать, чтобы бедняжка Элли рассчитывала на меня?

Менген. Пожалуйста, только не воображайте, будто у меня ничего нет. Я...

Гектор. Ах, ради бога, без объяснений! Мы поняли. У вас есть тысячи фунтов в долгосрочных векселях, пятьдесят тысяч паев, которым цена десять пенсов за дюжину, и полдюжины таблеток цианистого калия, чтобы покончить с собой в ту минуту, когда вас прижмут к стенке. Вот и все ваши миллионы.

Мадзини. Нет, нет, нет! Он вполне честный человек. Все предприятия, с которыми он имеет дело, совершенно подлинные и вполне законные предприятия.

Гектор *(с отвращением)*. Гм. Даже и плут-то не крупный.

Менген. Это вы так думаете. Но для кой-кого из честных людей оказался даже слишком крупным.

Леди Этеруорд. Вам никак не угодишь, мистер Менген

Вы решили быть сразу и не богатым и не бедным, и не честным и не бесчестным.

Менген. А вы опять за свое. С тех пор как я вступил в этот дурацкий дом, из меня все время шута делают. А я ведь такой же человек, как в Сити, так и здесь.

Элли *(мелодично)*. Да, это дурацкий дом... Это нелепо счастливый дом, это душераздирающий дом, дом без всяких основ. Я буду называть его домом, где разбиваются сердца.

Миссис Хэшебай. Перестаньте, Элли. А то я завою как зверь.

Менген начинает понемногу всхлипывать.

Ну вот, вы уже довели Альфреда.

Элли. Мне он больше нравится, когда он воет.

Капитан Шотовер. Молчать!

Менген затихает.

Пусть сердца разбиваются в безмолвии.

Гектор. А вы согласны с этим именем для вашего дома?

Капитан Шотовер. Это не дом мой, это моя берлога.

Гектор. Мы слишком зажились здесь. Мы не живем в этом доме, мы в нем просто на ролях привидений.

Леди Этеруорд *(с надрывом)*. Это просто ужасно представить себе, что вы здесь сидели все эти годы, когда я весь свет успела объехать. Мне удалось бежать отсюда еще в юности. А теперь этот дом потянул меня обратно Он хочет разбить и мое сердце. Но это у него не выйдет. Я простилась с ним и с вами. Глупо было возвращаться. Но я как-то расчувствовалась – вспомнила папу, Гесиону и старые места... Мне казалось, будто они зовут меня.

Мадзини. Но ведь это совершенно естественное, хорошее человеческое чувство, леди Этеруорд.

Леди Этеруорд. Вот и я так думала, мистер Дэн. Но теперь я вижу, что это были просто последствия гриппа. И я убедилась, что меня здесь не помнят и не хотят.

Капитан Шотовер. Ты уехала, потому что ты не нуждалась в нас. Разве это не разбило сердце твоего отца? Ты вырвала себя отсюда с корнем. А земля залечила раны, дала свежие всходы и забыла тебя. Какое ты имела право возвращаться и бередить старые раны?

Миссис Хэшебай. Ты сначала показалась мне совершенно чужой, Эдди. Но сейчас мне кажется, что ты никогда и не уезжала.

Леди Этеруорд. Спасибо тебе, Гесиона; но мой грипп теперь совершенно прошел. И пусть этот дом будет домом разбитых сердец — для вас, мисс Дэн, и для этого господина из Сити, который так плохо владеет собой; а для меня это просто бестолковая и неряшливая вилла, даже без конюшни.

Гектор. Где обитает...

Элли. Старый, выживший из ума капитан и юная певица, которая преклоняется перед ним.

Миссис Хэшебай. И беспутная матрона, старающаяся скрыть второй подбородок и расплывающиеся телеса и тщетно пытающаяся пленить прирожденного солдата свободы.

Мадзини. Ну что вы, миссис Хэшебай!..

Менген. И еще член правительства его величества короля, награжденный здесь званием болвана. Не забудьте о нем, леди Этеруорд.

Леди Этеруорд. И весьма очаровательный джентльмен, основная профессия которого — быть мужем моей сестры.

Гектор. Целая серия идиотов с разбитыми сердцами.

Мадзини. Ах нет! Я бы сказал, если вы разрешите,— весьма и весьма удачные образцы всего, что только есть лучшего в нашей английской культуре. Вы обаятельные люди, очень передовые, без всяких предрассудков, открытые, человечные, не считающиеся ни с какими условностями, демократы, свободомыслящие — словом, у вас все качества, которыми дорожит мыслящий человек.

Миссис Хэшебай. Вы слишком превозносите нас, Мадзини.

Мадзини. Нет, я не льщу, серьезно. Где бы я мог чувствовать себя так непринужденно в пижаме? Я иногда вижу во сне, что я нахожусь в очень изысканном обществе и вдруг обнаруживаю, что на мне нет ничего, кроме пижамы. А иногда и пижамы нет. И я всякий раз чувствую, что я просто сгораю от стыда. А здесь я ничего этого не испытываю; мне кажется, что так и надо.

Леди Этеруорд. Совершенно безошибочный признак того, что вы не находитесь в действительно изысканном обществе, мистер Дэн. Если бы вы были у меня в доме, вы бы чувствовали себя очень неловко.

Мадзини. Я приложу все старания, чтобы держаться подальше от вашего дома, леди Этеруорд.

Леди Этеруорд. Вот и неправильно, мистер Дэн. Я позаботилась бы о том, чтобы вы чувствовали себя вполне

удобно. И вам не пришлось бы ломать себе голову над тем, в каком халате вам надо появиться за обедом: в пурпурно-золотом или малиново-изумрудном. Делая такие нелепые вещи, вы усложняете жизнь, вместо того чтобы упрощать ее.

Элли. В вашем доме сердца не разбиваются, не правда ли, леди Этеруорд?

Гектор. Нет, она сама разбивает сердца в этом своем удобном доме. И тот несчастный там наверху со своей флейтой воет так же, когда она выворачивает ему сердце наизнанку, как воет Менген, когда моя жена проделывает то же с ним.

Леди Этеруорд. Это потому, что Рэнделу больше нечего делать, как позволять разбивать себе сердце. Это для него такое же занятие, как мытье головы. Поищите кого-нибудь, кто разбил бы сердце Гастингсу!

Капитан Шотовер. Чурбан в конце концов оказывается в выигрыше.

Леди Этеруорд. Я с величайшим удовольствием вернусь к моему чурбану, когда мне до смерти надоест эта ваша компания умников.

Менген *(обиженно)*. Я и не думал выдавать себя за умника.

Леди Этеруорд. Ах, я и забыла о вас, мистер Менген.

Менген. Ну, я что-то этого не вижу.

Леди Этеруорд. Вы, может быть, не очень умны, мистер Менген, но вы человек преуспевающий.

Менген. Но я совсем не хочу, чтобы на меня смотрели только как на преуспевающего человека. У меня тоже есть воображение, как и у всякого другого. Вот, например, сейчас у меня предчувствие...

Миссис Хэшебай. Нет, вы просто невозможны, Альфред. Целый вечер я за вами ухаживаю, а вы ни о чем другом не думаете, кроме вашего нелепого предчувствия. Вы мне прямо надоели с этим. Идемте. Вы мне будете читать стихи при свете звезд. *(Тащит его в глубь сада в темноту.)*

Менген *(плаксиво, из темноты)*. Вам хорошо потешаться надо мной. Но если бы вы только знали...

Гектор *(досадливо)*. Чем все это кончится?

Мадзини. Ничем не кончится, мистер Хэшебай. Жизнь — она ведь не кончается. Она идет себе и идет.

Элли. О, вечно так не может идти. Я всегда чего-то жду. Я не знаю, что это такое, только жизнь должна ведь прийти к какой-то цели.

Леди Этеруорд. Для молодой женщины вашего возраста – это ребенок.

Гектор. Да, черт побери, но у меня тоже такое чувство. А я не могу родить ребенка.

Леди Этеруорд. Передав ваши полномочия, Гектор.

Гектор. Да, есть у меня дети. Все это для меня уже позади. А все-таки я чувствую, что так это не может продолжаться. Вот мы сидим здесь, болтаем и предоставляем все на свете Менгенам, случаю и сатане. Подумайте только на минуту о тех разрушительных силах, которые имеются у Менгена и у его восхищающейся друг другом шайки. Ведь это истинное сумасшествие! Все равно как дать в руки невоспитанному ребенку в качестве игрушки заряженную торпеду, пусть поиграет в землетрясение.

Мадзини. Да, это верно. Я часто об этом думал, когда был молод.

Гектор. Думать! Что толку об этом думать?! Почему вы ничего не сделали?

Мадзини. Да нет, я делал. Я был в разных кружках, обществах, произносил речи, статьи писал. То есть все, что было в моих силах. Но знаете ли, хоть люди в этих кружках и были уверены, что они знают больше, чем Менген, многие из них и не подумали бы сунуться туда, если бы они знали столько, сколько он знает. Видите ли, им никогда не приходилось иметь дело с деньгами или держать в повиновении людей. Каждый год я ждал революции или какого-нибудь ужасного взрыва: казалось просто немыслимым, что мы можем вечно вот так путаться и топтаться на месте. Но ничего не случилось. За исключением, конечно, обычных для нас явлений – нищеты, преступлений, пьянства, к чему все уж привыкли. И никогда ничего не случается. Просто удивительно, если принять во внимание все обстоятельства, до чего мы мирно и гладко существуем...

Леди Этеруорд. Может быть, кто-нибудь поумнее вас с мистером Менгеном все время заботился об этом?

Мадзини. Возможно. Хотя меня воспитали в неверии, у меня часто бывает такое чувство, что в общем можно довольно много сказать в пользу теории о всемогущем провидении.

Леди Этеруорд. Провидение! Я имела в виду Гастингса.

Мадзини. Ах, простите, я вас не понял, леди Этеруорд.

Капитан Шотовер. Всякий пьяный шкипер верит в про-

видение. Но один из способов провидения обращаться с пьяными шкиперами — швырять их о скалы.

Мадзини. Конечно, на море так оно и есть. Но в политике, уверяю вас, они просто садятся в лужу. Ничего не случается.

Капитан Шотовер. На море с морем ничего не случается. И с небом ничего не случается. Солнце восходит с востока и садится на западе. Месяц из серпа превращается в дуговую лампу и появляется все позже и позже, пока не утонет в солнечном свете, как все остальное тонет во мраке. После тайфуна летучие рыбы на солнце сверкают, точно птицы. Удивительно — принимая во внимание все обстоятельства,— как они существуют. Ничего не случается, кроме пустяков, о которых и говорить-то не стоит.

Элли. И что же это такое, о капитан, мой капитан?

апитан Шотовер *(мрачно)*. Ничего. Кроме того, что корабль пьяного шкипера разбивается о скалы, гнилые доски разлетаются в щепы, ржавые болты разъезжаются и команда идет ко всем чертям, как крысы в капкане.

Элли. Мораль: не надо пить рома.

Капитан Шотовер *(запальчиво)*. Это ложь, дитя. Пусть человек за день выпьет хоть десять бочек рома, он не пьяный шкипер, пока он ведет свой корабль. Пока он не сбивается с пути, стоит на мостике, держит руль — он не пьяница. А вот человек, который лежит у себя на койке, доверившись провидению,— вот этого я называю пьяным шкипером, хоть он, может быть, ничего не пил, кроме воды из реки Иорданской.

Элли. Замечательно! А все-таки вы за целый час не выпили ни капли. Вот видите, ром вам вовсе и не нужен. Ваша душа жива.

Капитан Шотовер. Это эхо. Только эхо. Последний выстрел прогремел много лет тому назад.

Гектор. А этот корабль, на котором мы все плывем? Эта темница душ, которую мы зовем Англией?

Капитан Шотовер. Капитан ее валяется у себя на койке и сосет прямо из бутылки сточную воду. А команда дуется в кубрике в карты. Налетят, разобьются и потонут. Вы что думаете, законы господни отменены в пользу Англии только потому, что мы здесь родились?

Гектор. Да не хочу я тонуть, как крыса в трюме. Я хочу жить. Но что я должен делать?

Капитан Шотовер. Что делать? Чего проще — изучить,

в чем заключаются ваши обязанности настоящего англичанина.

Гектор. А разрешите узнать, в чем заключаются мои обязанности англичанина?

Капитан Шотовер. Навигация. Изучите ее и живите. Или пренебрегите ею и будьте прокляты во веки веков.

Элли. Тихонько, тихонько. Вы утомляетесь. Вам вредно.

Мадзини. Когда-то я об этом думал, капитан. Но, уверяю вас, все равно ничего не случится.

Слышится отдаленный глухой взрыв.

Гектор *(вскакивая)*. Что это такое?

Капитан Шотовер. Что-то случилось. *(Свистит в свисток.)* Впереди опасность! Берегись!

Свет гаснет.

Гектор *(в бешенстве)*. Кто погасил свет? Кто смел погасить свет?

Няня выбегает из дома на середину эспланады.

Няня. Я, сэр. Из полиции позвонили и сказали, что мы будем отвечать, если не погасим свет.

Гектор. Его сейчас будет видно на сотни миль. *(Бросается в дом.)*

Няня. Говорят, от дома приходского священника не осталось ничего, кроме груды кирпичей. Если мы его не приютим на ночь, ему негде будет голову приклонить.

Капитан Шотовер. Церковь швырнуло на скалы, ее разнесет в щепы. Я говорил ему, что так оно и случится, если она не будет держать курс в открытое море господне

Няня. А вам всем велено идти в подвал.

Капитан Шотовер. Ступай туда сама. Ты и вся команда. И прикройте люки.

Няня. Чтобы я стала прятаться рядом с этим трусом, за которого я когда-то вышла замуж?! Да я лучше на крышу полезу.

Свет снова вспыхивает.

Вон мистер Хэшебай опять зажег.

Вор *(бежит бегом, взывая к няне Гинес)*. Да где же эта песочная яма? Мне мальчишка на кухне сказал, что там погреб есть. А от подвалов толку мало. Где песочная яма, где она, капитан?

Няня. Иди вон туда, все прямо, мимо флагштока. Так прямо

и уткнешься туда — даст бог, сломаешь там свою проклятую шею. *(Презрительно толкает его в сторону, а сама идет к гамаку и становится у его изголовья, как когда-то она стояла у колыбели Ариадны.)*

Доносится второй, еще более громкий взрыв. Вор останавливается и стоит, дрожа всем телом.

Элли *(вставая)*. Это уже ближе.

Капитан Шотовер. Следующий попадет к нам. *(Встает.)* Встать всем перед судилищем.

Вор. О господи боже мой! *(В панике бежит мимо флагштока и исчезает в темноте.)*

Миссис Хэшебай *(задыхаясь, появляется из темноты)*. Кто это тут пробежал? *(Подходит к Элли.)* Вы слышали взрывы? А этот звук в небе? Чудесно! Точно настоящий оркестр! Бетховен.

Элли. Вот правда, Гесиона, это Бетховен.

В неистовом восторге бросаются друг к другу в объятия. Свет становится ярче.

Мадзини *(в беспокойстве)*. Свет что-то уж очень яркий.

Няня *(смотрит на дом)*. Это мистер Хэшебай зажигает свет во всем доме и срывает шторы.

Рэндел *(выбегает в пижаме, растерянно размахивая флейтой)*. Ариадна, душа моя, радость моя! Идемте в подвал! Умоляю вас!

Леди Этеруорд *(совершенно невозмутимо лежа в гамаке)* Жена резидента — в подвале, с прислугой! Ну, Рэндел!

Рэндел. А что ж мне делать, если вас убьют?

Леди Этеруорд. Вас, вероятно, тоже убьют, Рэндел. А нука покажите, что вы не трусите, и поиграйте нам на флейте. Пожалуйста, сыграйте нам «Пылайте, огни очагов».

Няня *(мрачно)*. Уж насчет того, чтобы пылало, они позаботятся, вон эти... эти...

Рэндел *(пытается играть)* У меня губы трясутся. Не могу ни звука сыграть.

Мадзини. Надеюсь, бедняга Менген цел и невредим?

Миссис Хэшебай. Он спрятался в песочной яме.

Капитан Шотовер. Мой динамит привлек его туда. Десница божья.

Гектор *(выходит из дома и большими шагами идет на прежнее место)*. Мало света. Нам бы надо до небес пылать

Элли *(вся дрожа от возбуждения)*. Зажгите дом, Марк

Миссис Хэшебай. Мой дом? Ни за что!

Гектор. Я уж думал об этом. Да не поспеть теперь.

Капитан Шотовер. Час суда настал. Мужество не спасет вас. Но оно покажет, что души ваши еще живы.

Миссис Хэшебай. Ш-шшш... Слушайте. Слышите, вот сейчас? Как это великолепно!

Все поворачиваются спиной к дому и прислушиваются глядя вверх.

Гектор *(внушительно)*. Мисс Дэн, вам совершенно не годится оставаться здесь. Мы все из этого дома — мошки, летящие на огонь. А вам бы лучше в подвал пойти.

Элли *(презрительно)*. Не думаю.

Мадзини. Элли, дорогая... Пойти в подвал, в этом же нет ничего унизительного. Всякий офицер скомандовал бы своим солдатам: марш в укрытия! Мистер Хэшебай ведет себя здесь как любитель. Менген и вор поступили совершенно разумно. Вот они-то и уцелеют.

Элли. Пусть уцелеют. Я буду вести себя как любитель. А вот ты зачем подвергаешь себя опасности?

Мадзини. Подумать только, какой опасности подвергают себя эти бедняги — там, наверху.

Няня. О них еще думать! Убийцы проклятые! Скажете тоже.

Страшный взрыв сотрясает землю. Они откидываются на своих сиденьях, кое-кто хватается за ближайшую опору. Слышно, как из окон со звоном вылетают разбитые стекла.

Мадзини. Никто не ранен?

Гектор. Куда попало?

Няня *(со злорадством)*. Прямо в песочную яму. Своими глазами видела. Так ему и надо. Сама видела. *(Со злобным смехом бежит к песочной яме.)*

Гектор. Одним мужем стало меньше на свете.

Капитан Шотовер. Тридцать фунтов первоклассного динамита — и попусту!

Мадзини. Ах, бедный Менген!

Гектор. Да что вы, бессмертный, что ли, что жалеете его? Теперь наша очередь.

Все молча, в страшном напряжении, ждут. Гесиона и Элли крепко держат друг друга за руки. Доносится отдаленный взрыв.

Миссис Хэшебай *(выпуская руку Элли)*. Ах, они пролетели мимо!

еди Этеруорд. Опасность миновала. Рэндел, идите спать.

Капитан Шотовер. Все по местам. Корабль невредим. *(Садится и тут же засыпает.)*

Элли *(в отчаянии)*. Невредим!

Гектор *(с омерзением)*. Да. Невредим. И до чего же опять стало невыносимо скучно. *(Садится.)*

Мадзини *(садясь)*. Как я, оказывается, ошибся,— ведь вот мы все уцелели, а Менген и вор...

Гектор. Два вора...

Леди Этеруорд. ...два деловых человека.

Мадзини. ...оба погибли. А бедному священнику придется, по-видимому, строить себе новый дом.

Миссис Хэшебай. Но какое замечательное ощущение! Я думаю, может быть, они завтра опять прилетят.

Элли *(сияя в предвкушении этого)*. Ах, я тоже думаю!

Рэнделу удается наконец изобразить на флейте «Пылайте, огни очагов».

КОММЕНТАРИИ

Послесловия к пьесам тома – А. С. Ромм. Примечания к пьесам «Андрокл и лев», «Охваченные страстью», «Великая Екатерина», «Лечение музыкой», «Инка Перусалемский», «Аннаянска, сумасбродная великая княжна» – С. Л. Сухарева; к пьесе «О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории» – И. Б. Комаровой; к пьесам «Смуглая леди сонетов» «Первая пьеса Фанни», «Пигмалион», «Огастес выполняет свой долг» «Дом, где разбиваются сердца» – А. Н. Николюкина. Примечания ко всем предисловиям и послесловиям Б. Шоу – С. Л. Сухарева.

Эта одноактная комедия была написана в 1910 г. по просьбе «Шекспировского общества», организованного в 1902 г. с целью увековечения памяти Шекспира и популяризации его творчества. Учрежденный «Обществом» специальный комитет должен был создать денежный фонд для организации Национального театра, назначение которого состояло в том, чтобы стать памятником Шекспиру и одновременно центром национального драматического искусства.

Когда представительница комитета Эдит Литлтон обратилась к Шоу с просьбой о поддержке предполагаемого мероприятия, он, по ее совету, написал пьесу о Шекспире.

Впервые исполненная в театре «Хеймаркет» на благотворительном спектакле, организованном комитетом Шекспировского мемориального театра, 24 ноября 1910 г., пьеса в 1930 г. была поставлена в театре «Олд Вик», став первым произведением Шоу, исполненным на сцене этого театра.

В 1966 г. постановку пьесы осуществила Ленинградская студия телевидения.

События, изображенные в комедии, — плод фантазии драматурга, который, по его собственному признанию, «был уверен, что «Элиза» (т. е. королева Елизавета Тюдор. — *А. Р.*) не имела ни малейшего представления о существовании Шекспира» и поэтому Шоу решил их, наконец, «познакомить».

Поскольку личность «смуглой леди» — безымянной героини шекспировского поэтического цикла — не установлена, Шоу исходит из предположения, что ею была Мэри Фитон, фрейлина королевы Елизаветы, чьи любовные похождения вызывали недовольство двора.

Нимало не претендующая на историческую достоверность драматическая «интерлюдия» Шоу стала важной вехой в истории отношений драматурга с его великим предшественником Уильямом Шекспиром.

Отношения эти носили сложный и противоречивый характер. Шекспир был вечным предметом внимания Шоу. На всем протяжении деятельности Шоу его мысль неустанно обращалась к наследию великого драматурга прошлого, делая его предметом сравнений, параллелей, похвал, порицаний, насмешек, восхищения и ожесточенной полемики. Это пристальное внимание Шоу к автору «Гамлета» и «Лира» диктовалось многими причинами. В лице Шекспира Шоу несомненно бросал вызов традиции. Шекспир в его глазах был догматизированным и канонизированным литературным идолом, и, развенчивая его, Шоу одновременно наносил удар как академическому театру «Лицеум», так и консервативной критике, пытавшейся сделать Шекспира орудием травли Ибсена. В Англии 80-х гг. Шекспир иногда становился опорой тех, кто преграждал дорогу новым веяниям в искусстве. Этим во многом определяется неприязненное отношение раннего Шоу к «эвонскому барду» (как он именовал Шекспира). Другим основанием для выпадов против Шекспира было неправомерное отождествление идейной позиции «барда» с позицией тех современных писателей, которым Шоу инкриминировал неуважение к жизненной правде и нежелание «видеть и понимать реальность»

к таким писателям-«романтикам» он относил Сарду, Пинеро, Джонса и др.).

На ранних этапах своей литературной деятельности Шоу чрезвычайно скептически относился и к Шекспиру-мыслителю. В статьях и философских письмах Шоу Шекспир уличался в том, что ему «недоступна высокая сфера мысли, в которой искусство сливается с философией и моралью».[1] Творчество Шекспира объявлялось «сентенциозной комбинацией готовых мыслей с полнейшим интеллектуальным бесплодием», в его произведениях суровый критик не находил ни глубины, ни силы мысли: «Моральная позиция в них традиционна, заимствованные идеи, иногда хорошо выраженные, не имеют непреходящего интереса».[2] «Я немало боролся,— пишет Шоу в письме к своему русскому корреспонденту Черткову,— чтобы открыть глаза англичанам на пустоту философии Шекспира, на поверхностность и неоригинальность его нравственных выводов, на его слабость и путаность как мыслителя, на его снобизм, на его вульгарные предрассудки, невежество, на всячески не заслуженную им репутацию великого философа».[3] Но, отвергая Шекспира-философа, Шоу вместе с тем высоко ценил Шекспира-художника. В восприятии Шоу Шекспир — художник необычайно чуткой и острой интуиции, способный к великим, почти пророческим прозрениям. Оборотной стороной «ненависти» к Шекспиру было восхищение, и Шоу несомненно был искренен, когда уверял, что любит пьесы великого драматурга Его восхищала могучая жизненная сила Шекспира, широта видения мира, эстетическое совершенство художественной формы. Защищая Шекспира от гневных инвектив Л. Н. Толстого, предпринявшего развенчание великого драматурга Англии в серии критических статей, Шоу в письме к Черткову писал о «его веселости, его способности создавать характеры, более реальные для нас, нежели действительно живущие люди», и отмечал «его мягкость, а главное — его необычайную силу как музыканта слова».[4]

Наиболее полное изложение своих взглядов на Шекспира ранний Шоу дает в статье, носящей характерное название «Порицание барда» 1898). «За исключением Гомера,— пишет он,— я никого из великих писателей не презираю так сильно, как Шекспира, когда сравниваю свой и его ум. Порой он меня так раздражает, что, думаю, мне стало бы легче, если бы я мог выкопать его из могилы и закидать камнями.. Но тут же я должен заявить, что искренне жалею того, кто не способен наслаждаться Шекспиром. Шекспир пережил тысячи глубочайших мыслителей и переживет еще тысячи других. Его чудесный талант рассказчика... совершенное владение языком... его юмор. понимание сложных странностей человеческого характера, изумительная жизненная энергия, эта, пожалуй, самая истинная и отличительная из всех хороших, плохих и сносных особенностей гения,— вот чем он всегда захватывает нас».[5]

Со временем эта оценка Шоу, сохраняя свою позитивную часть, в других отношениях подвергалась известному переосмыслению. По-

---

[1] Шоу Б. О драме и театре. М., 1963, с. 134.

[2] Там же.

[3] Цит. по ст.: Брейтбург С. Б. Шоу в споре с Л. Н Толстым о Шекспире.— Литературное наследство, 1939, т. 37—38, с. 623

[4] Там же, с. 624.

[5] Шоу Б. О драме и театре, с. 462.

степенно Шоу заменял Шекспира-романтика Шекспиром-реалистом Полемика с Шекспиром, рожденная диалектикой литературной борьбы, приобретала иногда неожиданные формы. Задача ниспровержения так называемого чистого искусства, особенно занимавшая Шоу в предвоенные годы, заставила его реабилитировать Шекспира. Перед лицом значительно более реального врага – эпигонского искусства Шоу забывал о разногласиях со своим великим оппонентом и поручал ему пропаганду собственных эстетических идеалов. В такой, несколько неожиданной роли Шекспир выступает в комической миниатюре «Смуглая леди сонетов»

Эта маленькая одноактная пьеса-шутка ознаменовала наивысшую точку в развитии «шекспиризма» Бернарда Шоу. В предисловии к ней Шоу, в известном противоречии со своими прежними суждениями, объявляет Шекспира предшественником ибсеновской школы и себя самого, в частности. «Шекспир,– пишет Шоу,– видел мир если не совсем так, как видел его Ибсен... во всяком случае постигал почти с ибсеновской силой понимания и со всем ужасом перед его свифтовской нечистоплотностью». В соответствии с такой трактовкой Шоу делает героя своей пьесы борцом против кастовых предубеждений сословно-иерархического общества.

Исполненное боевого наступательного пафоса предисловие содержит полемические выпады в адрес исказителей шекспировского творчества, подменивших Шекспира-человека Шекспиром-полубогом и в результате такой операции утративших ключ к его драматургии. Однако главным объектом своей полемики Шоу делает не «бардопоклонников», а своего друга и биографа Фрэнка Хэрриса, чьи взгляды во многом совпадали с его собственными.

Согласно утверждению Шоу, Хэррис видел в Шекспире не объект религиозного поклонения, а реальную личность, жившую в условиях определенной исторической эпохи. Но, давая в целом сочувственную характеристику работам Хэрриса о Шекспире («Шекспир-человек», 909, и «Женщины Шекспира», 1911), Шоу не разделяет его концепцию характера великого драматурга, положенную в основу пьесы Хэрриса «Шекспир и его любовь» (1910). В отличие от Хэрриса, представившего Шекспира «сломленным, печальным, невероятно сентиментальным человеком», Шоу сделал своего героя жизнерадостным, энергичным повесой и озорником. Избыток жизненной энергии, которой переполнен этот поэт Ренессанса, является общим источником как его сомнительных авантюр, так и великих творческих свершений. Могучая жизненная сила Шекспира толкает его на путь рискованных ночных приключений, заставляет пылко стремиться на свидание с Мэри Фитон, дерзко ухаживать за королевой и столь же дерзко бросать ей в лицо «неприятные» истины. Внутренние силы Шекспира раскованы, и именно эта раскованность превращает его в выразителя духа времени. Намек на это можно найти в структуре двух других характеров комедии.

Состояние внутренней свободы, свойственное Шекспиру, воспроизводится в образах его современниц Елизаветы Тюдор и Мэри Фитон. Стихийная безудержность чувств, свобода от условностей и даже тайное пренебрежение к этикету проявляются если не в их манере мыслить, то во всей системе жизненного поведения. Тем не менее Шекспир неизмеримо выше этих женщин (а в равной мере и других своих современников).

Его стихийные импульсы перерастают в осознанные логические понятия и сочетаются с ясной трезвостью и широтой мысли. Лишен-

ный кастовых предубеждений, он демократ и по мироощущению, и по характеру своих воззрений. С одинаковой непринужденностью он беседует и с часовым, и с могущественной английской королевой Его поступки полностью соответствуют представлению Шоу о подлинном демократизме как о системе поведения, основанной (так поясняет Шоу в предисловии) не на том, чтобы «льстить бедным и бранить богатых, а на том, чтобы взвешивать их на одних и тех же весах» Внутренно подтрунивая над Елизаветой, Шекспир льстит ей, но льстит как женщине, а не как королеве, умудряясь под покровом лести высказать ряд далеко не лестных соображений относительно ее августейшей родни. Плебей, гордый своим плебейством, он уверен в том, что его отец – самый достойный олдермен Стратфорда – неизмеримо превосходит развратного Генриха Тюдора, чье имя его дочь «должна была бы стыдиться произносить». И именно этот возведенный в принцип демократизм Шекспира, неотделимый от мироощущения великого драматурга, и определяет его эстетический идеал народного искусства. Одержимость музыкой слова, характерная для героя пьесы, ничего общего не имеет с декадентским формализмом и культом чистого искусства. Идея кастовости, элитарности искусства глубоко чужда Шекспиру.

В отличие от своих позднейших «преемников», эстетствующих снобов XIX–XX вв., интерпретировавших творчество Шекспира в духе своих эстетических канонов, герой пьесы Шоу борется за то, чтобы искусство, которое пока доступно лишь узкому кругу избранных, стало достоянием широких народных масс. Пользуясь встречей с королевой, он предлагает ей на рассмотрение развернутую и четко аргументированную программу создания народного театра. Тем самым он как бы становится единомышленником Шоу. «Я уверен,– писал автор пьесы в предисловии,– что Шекспир был очень похож на меня». Подобно самому Шоу, герой видит в искусстве могучее средство воспитания человечества. Пропаганда этой мысли – дело большой общественной важности, и Шекспир, пропагандирующий ее, противостоит не только тюдоровской Англии, но и большей части английского общества XIX–XX вв.

Идея создания Национального театра, не реализованная в XVII в., не получила осуществления и в современной Шоу Англии. По словам Шоу, этот проект провалился из-за глупцов, которые не поняли, что «народный театр нужен народной душе».

Стр. 7. *Фитон, Мэри* (ок. 1578–1647) – фрейлина королевы Елизаветы I, возлюбленная Уильяма Герберта графа Пембрука (1580–1630), которому, по мнению некоторых исследователей, адресованы сонеты Шекспира.

Давенант, Уильям (1606–1668) – английский поэт и драматург. Существовало мнение, что он был побочным сыном Шекспира.

Стр. 9. *Теория циклов.*– Теорию круговорота – развития всех наций по циклам, состоящим из трех эпох, разрабатывал итальянский философ Джамбаттиста Вико (1668–1744).

Стр. 10. *Когелет* (древнеевр. qōhelet – «проповедующий в собрании») – Экклезиаст, легендарный автор одной из книг Библии.

Хэррис, Фрэнк (1854–1931) – английский писатель и драматург, друг Шоу; см. о нем в послесловии.

Граф Саутгемптон, Генри Ризли (1573–1624) – покровитель Шекспира, посвятившего ему свои поэмы «Венера и Адонис» (1593) и «Лукреция» (1594).

Стр. 11. *Клоотс, Анахарсис* (псевдоним Жана Батиста, 1755—1794) — деятель периода Великой французской революции; философ-просветитель, публицист. Ратовал за насильственную дехристианизацию и создание «всемирной республики».
Вашингтон, Джордж (1732—1799) — американский государственный деятель, главнокомандующий американской армией во время Войны за независимость (1775—1783 гг.), первый президент США.
Миссис Прауди — персонаж серии романов из жизни английской провинции английского писателя Энтони Троллопа (1815—1882) «Барсетширские хроники», деспотическая супруга приходского священника, по словам автора, «тиранка, задира, поп в юбке, мещанка».
Аспазия (ок. 470 до н. э.— ?) — одна из выдающихся женщин Древней Греции, жена афинского государственного деятеля Перикла, славилась умом и красотой.
Нокс, Джон (1505 или ок. 1514—1572) — деятель Реформации, основатель пресвитерианской церкви в Шотландии.
Перовская, Софья Львовна (1853—1881) — русская революционерка, член «Народной воли», жена А. И. Желябова. По процессу первомартовцев была приговорена к повешению.

Стр. 12. *«Каким бесславием покроюсь я в потомстве...»* — Шекспир, «Гамлет» (акт V, сц. 2), пер. Б. Пастернака.
Уорд, Артемус (псевдоним Чарлза Фаррара Брауна, 1834—1867) — американский писатель-юморист.
Дело против Куинзбери... — Уайлд возбудил дело против маркиза Куинзбери, отца своего близкого друга лорда Дугласа, по обвинению в оскорблении личности. Куинзбери предъявил встречный иск, и судебный процесс закончился осуждением Уайлда по обвинению в безнравственности.

Стр. 14. *«...комедианты, которые представляют всякие непотребства...»* — Шекспир, «Генрих IV» (ч. 1, акт II, сц. 4), пер. Е. Бируковой.
Джонсон, Бенджамин (Бен) (1573—1637) — английский драматург поэт, актер.

Стр. 15. *Спенсер, Эдмунд* (ок. 1552—1599) — английский поэт, автор сказочной аллегорической поэмы «Королева фей».
Мор, Томас (1478—1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель, основоположник утопического социализма.
Беньян, Джон (1628—1688) — английский писатель, религиозный моралист, автор аллегорического романа «Путь паломника» (1678—1684).
Рали, Уолтер (ок. 1552—1618) — английский политический деятель, поэт, историк. Казнен по обвинению в причастности к заговору.
Сидни, Филип (1554—1586) — английский поэт, дипломат. Геройски погиб во время войны в Нидерландах.

Стр. 16. *Адам* — слуга, персонаж комедии Шекспира «Как вам это понравится» (1599).
Итон, Харроу — две из девяти старейших престижных закрытых мужских средних школ в Англии, учащиеся — преимущественно выходцы из аристократических семей.
Ардены — мать Шекспира, Мэри Арден, была дочерью землевладельца, не имевшего дворянского титула.

Стр. 17. *Падеревский, Игнацы Ян* (1860—1941) — польский композитор и пианист романтического стиля.

Стр. 18. *«...делает пустым набором слов обряды церкви».* — Шекспир,

«Гамлет» (акт III, сц. 4), пер. Б. Пастернака.
«Не желчь в моей печенке голубиной...» — Шекспир, «Гамлет» (акт II, сц. 2), пер. Б. Пастернака.

Стр. 19. *«А можно ль ненавидеть тех...».* — Шекспир, «Венецианский купец» (акт IV, сц. 1), пер. Т. Щепкиной-Куперник.
«Никто меня не любит...» — Шекспир, «Ричард III» (акт V, сц. 3), пер. Анны Радловой.

Стр. 20. *«Чу! Жаворонка песнь звончей несется с высоты».* — Шекспир, «Цимбелин» (акт II, сц. 3), пер. П. Мелковой.
«Значит, уши у нее с изъяном...» — Шекспир, «Цимбелин» (акт II, сц. 3), пер. П. Мелковой.
«Ее глаза на звезды не похожи...». — Шекспир, сонет 130, пер. С. Маршака.

Стр. 21. *...небеса тошнит...* — Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 4).
«Медовый» (англ. sugared — обсахаренный, слащавый) — эпитет, нередко встречающийся у Шекспира, например, «Генрих VI» (ч. 1, акт III, сц. 3): «...медовыми речами, увещаньем» (пер. Е. Бируковой).

Приводятся имена персонажей пьес Шекспира: *Пистоль, Фальстаф* («Генрих IV», 2, «Генрих V», «Виндзорские насмешницы»), *Клотен* («Цимбелин»), *Оселок* («Как вам это понравится»).
Юпитер и Семела. — Согласно мифу, властитель богов Зевс (в римской мифологии Юпитер) уступил просьбам своей возлюбленной Семелы и, явившись к ней во всем своем величии, помимо собственной воли испепелил ее молниями.
«...догадывается и любит, подозревает и боготворит...» — Шекспир, «Отелло» (акт III, сц. 3), пер. Б. Пастернака.
«...она кончит, как Йорик, хоть накладывай она белила в дюйм толщиной...» — Шекспир, «Гамлет» (акт V, сц. 1).
«Ты не пугайся... что я проснулся». — Шекспир, «Буря» (акт III, сц. 2), пер. Мих. Донского.

Стр. 22. *«Замшелый мрамор царственных могил...».* — Шекспир, сонет 55, пер. С. Маршака.
«Испанская трагедия». — Имеется в виду произведение Томаса Кида (1558—1594) — типичный образец так называемой кровавой трагедии, пользовавшейся успехом у зрителей.
«Люди время от времени умирали...». — «Как вам это понравится» (акт IV, сц. 1), пер. Т. Щепкиной-Куперник.

Стр. 23. *«И пусть любовь, что бороды седые зовут святой...»* — Шекспир, «Генрих VI» (ч. 3, акт V, сц. 6), пер. Е. Бируковой.
Орсино — персонаж пьесы Шекспира «Двенадцатая ночь».
Антонио — персонаж пьесы Шекспира «Венецианский купец».
«Поплюйте и настраивайте снова!» — Шекспир, «Укрощение строптивой» (акт III, сц. 1), пер. П. Мелковой.
«...божественная песня! И душа его воспарит...» — Шекспир, «Много шума из ничего» (акт II, сц. 3), пер. Т. Щепкиной-Куперник.
..в неизменной цитате о трепете ветра и фиалках... — ср.: «точно трепет ветра, Скользнувший над фиалками тайком». — Шекспир, «Двенадцатая ночь» (акт I, сц. 1), пер. Э. Линецкой.

Стр. 24. *Клэпем* — общественный парк на южном берегу Темзы.

Стр. 25. *Дрейтон, Майкл* (1563—1631) — английский поэт.
..пренебрежение Шекспира к «любовному ритуалу»... — Выражение «любовный ритуал» (perfect ceremony of love's rite) встречается в 23-м сонете Шекспира.

Стр. 26. *Тициан* (1476/77—1576) — итальянский живописец, представитель венецианской школы эпохи Возрождения.
Веронезе, Паоло (1528—1588) — венецианский живописец позднего Возрождения.

Стр. 27. *«О, если б раб жил тысячею жизней!..»* — Шекспир, «Отелло» (акт III, сц. 3), пер. Б. Пастернака.
Кросби, Эрнест (1856—1907) — американский писатель и общественный деятель, пропагандист морально-этического учения Л. Н. Толстого, автор брошюры «Отношение Шекспира к рабочему классу».

Стр. 28. *«Кто скажет слово доброе тебе...»* — Шекспир, «Кориолан» (акт I, сц. 1), пер. Ю. Корнеева.
Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель.
Карлейль, Томас (1795—1881) — английский публицист, историк, философ.
Арнолд, Мэтью (1822—1888) — английский поэт, критик.
Раскин, Джон (1819—1900) — английский теоретик искусства, критик, историк.
«...бедного, голого двуногого животного...» — Шекспир, «Король Лир» (акт III, сц. 4), пер. Б. Пастернака.
«Елизавета и наш Яков» — из стихотворения Бена Джонсона «Памяти моего возлюбленного Автора, Уильяма Шекспира...» (1623).
Елизавета I (1533—1603) — английская королева с 1558 г.
Иаков I (1566—1625) — английский король с 1601 г.
Сквайр Александр Айден — персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих VI» (ч. 2), «кентский дворянин», убивающий Джека Кеда на поединке.
Кед, Джек (ум. 1450) — английский солдат, вождь народного восстания в Англии в 1450 г., изображенного Шекспиром в исторической хронике «Генрих VI» (ч. 2).

Стр. 29. *Уилс, Уильям Горман* (1828—1891) — английский драматург, автор пьес на классические сюжеты.
«...гнет колени там, где раболепье приносит прибыль». — Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 2), пер. Б. Пастернака.
Вспомните Розенкранца, Гильденстерна, Озрика... — Розенкранц, Гильденстерн, Озрик — имена придворных короля Клавдия в трагедии Шекспира «Гамлет».
Хотспер — Генри Перси, по прозванию Хотспер (Горячая Шпора), персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV», (ч. 1).

Стр. 30. *Болл, Джон* (ум. 1381) — английский народный проповедник, один из вождей крестьянского восстания 1381 г.
Капер — владелец частного судна, захватывавшего неприятельские суда.
«Купи себе стеклянные глаза и делай вид...». — Шекспир, «Король Лир» (акт IV, сц. 6), пер. Б. Пастернака.

Стр. 31. *Автолик* — вор и бродяга, персонаж пьесы Шекспира «Зимняя сказка».

Стр. 32. *Бербедж, Ричард* (ок. 1567—1619) — английский актер эпохи Возрождения, первый исполнитель многих главных ролей в пьесах Шекспира.
Бетертон, Томас (1635—1710) — английский трагик периода Реставрации.
Форбс-Робертсон, Джонстон (1853—1937) — английский актер, любимец Шоу.

..театралов-шекспировцев, толкующих про гаррикovского Ричарда, киновского Отелло, ирвинговского Шейлока и Гамлета Форбса-Робертсона... – Гаррик, Дэвид (1717–1779), Кин, Эдмунд (1787–1833), Ирвинг, Генри (1835–1905) – английские актеры, исполнители шекспировских ролей.

Стр. 34. *Уайтхоллский дворец* – построенный в XIII в. дворец в Лондоне, с XV в. резиденция английских королей. В настоящее время музей.

Адам – см. примеч. к с. 16.

Бенволио – племянник Монтекки и друг Ромео в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта».

Дух – имеется в виду призрак отца Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет».

Да охранят нас ангелы господни! – Шекспир, «Гамлет» (акт I, сц. 4).

..вы стоите один на посту, а я приближаюсь, как призрак в лунном сиянии – намек на сцену с призраком в первом действии трагедии Шекспира «Гамлет».

Театр «Глобус» – театр в Лондоне, где играла труппа, в которую входил Шекспир. Построен в 1599 г. братьями Катбертом и Ричардом Бербеджами.

Новомодные пьесы. – Здесь Шоу намекает на отрицательное отношение современной критики к новаторскому характеру его пьес.

«Испанская трагедия» – см. примеч. к с. 22.

Стр. 35. *Ничтожность, женщина тебе названье!* – Шекспир. «Гамлет» (акт I, сц. 2).

...собиратель таких вот пустейших пустяков? – Шекспир, «Зимняя сказка» (акт IV, сц. 3).

Стр. 36. *И ты, Брут!* – с такими словами смертельно раненный Цезарь обратился к своему любимцу Бруту, оказавшемуся в числе заговорщиков, напавших на него в сенате (Шекспир, «Юлий Цезарь», акт III, сц. 1).

«Два веронца» – название комедии Шекспира (1594).

Слова, слова, слова. – Шекспир, «Гамлет» (акт II, сц. 2).

Наполняем желудки свои восточным ветром... – Библия, Книга Иова, XV, 2.

Так каплуна не откормить. – Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 2).

«С крепкой хваткой!» «Сержант проворный!» – Шекспир, «Гамлет», (акт V, сц. 2).

Прочь, проклятое пятно!.. – Шекспир, «Макбет» (акт V, сц. 1).

Бог дал вам одно лицо... – Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 1).

Стр. 37. *Все ароматы Аравии...* – Шекспир, «Макбет» (акт V, сц. 1).

Наследница Тюдоров – английская королева Елизавета I, последняя из династии Тюдоров.

Кто бы мог подумать, что в этой женщине так много крови! – Перефразировка слов леди Макбет из трагедии Шекспира «Макбет», (акт V, сц. 1).

Мария погребена, она не встанет из могилы. – Перефразировка слов леди Макбет (акт V, сц. 1). Королева Елизавета говорит о шотландской королеве Марии Стюарт (1542–1587), казненной по ее приказу.

Что сделано, то сделано. – Шекспир, «Макбет» (акт V, сц. 2).

Королева – и вся в веснушках. – Лицо королевы Елизаветы I было покрыто веснушками.

Стр. 38. *На миг умерьте ваше изумленье...* – Шекспир, «Гамлет» (акт I, сц. 1).

Так позволь, божественное чудо красоты... — Шекспир, «Ричард III» (акт I, сц. 2).

Стр. 39. *Бен* — Бен Джонсон, см. примеч. к с. 14.

...в начале было слово... слово было у бога... слово было бог — начало Евангелия от Иоанна.

Королева — глава церкви. — Один из принципов англиканской церкви, согласно которому главой церкви является король (или королева).

Арден, Мэри (ум. 1608) — см. примеч. к с. 16.

Стр. 41. *Генрих Восьмой* (1491—1547) — король Англии в 1509—1547 гг отец Елизаветы I.

Стр. 43. *...нет женщины несчастнее меня!..* — Шекспир, «Гамлет» (акт III сц. 1).

Стр. 44. *Предание о Юпитере и Семеле* — см. примеч. к с. 21.

«Замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше...» — см. примеч к с. 22.

Филипп Испанский — испанский король Филипп II (1527—1598), вступить в брак с которым Елизавета I отказалась.

Вы жаждете отличий. — Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 2).

Стр. 45. *Национальный театр* — пьеса «Смуглая леди сонетов» была написана в связи с кампанией за создание Шекспировского национального театра в Англии. Шоу преднамеренно вкладывает в уста Шекспира призыв к созданию такого театра.

Бэнксайд — район в Лондоне на южном берегу Темзы, где во времена Шекспира находились театры «Глобус», «Лебедь», «Роза».

Блекфрайерс — театр времен Шекспира на северном берегу Темзы.

...красивый юноша в юбке... — Во времена Шекспира женские роли обычно исполнялись юношами.

Одна искусная целительница... — Елена из комедии Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается!»

...другая — послушница в монастыре, посвятившая себя добрым делам. — Изабелла из комедии Шекспира «Мера за меру».

...я украл из одной пустой, непотребной книжки. — Речь идет о книге Томаса Лоджа (1558—1625) «Розалинда, или Золотое наследие Эвфуэса» (1590).

Стр. 46. *Церковь поучала народ при помощи представлений.* — В средневековой Англии были распространены инсценировки библейских легенд (миракли), которые поддерживались католической церковью.

...убытки от политики вашего венценосного отца. — Речь идет об ограничениях и преследованиях католического духовенства во времена Генриха VIII, добивавшегося независимости от папства.

Стр. 47. *Шотландский менестрель.* — Имеется в виду крупнейший шотландский поэт XV в. Гарри Слепой, прозванный Гарри Менестрелем.

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ФАННИ

Эта «легкая пьеса для маленького театра», как назвал ее автор в подзаголовке, была впервые поставлена 19 апреля 1911 г. на сцене «Литл-тиэтр» с участием Лилы Маккарти, исполнявшей роль Маргарет. С тех пор она неоднократно исполнялась различными английскими театрами. В Нью-Йорке впервые была исполнена актерами Театра комедии 16 сентября 1912 г.

На сценических подмостках лондонских театров комедия появлялась как произведение анонимного автора. Шоу скрывал свое имя до 1914 г., когда пьеса была издана. В том же году он написал Б. В. Файндону, редактору журнала «Иллюстрированные пьесы», письмо, подписанное именем Банела, одного из персонажей комедии. Автор послания высказывал свое уважение к Шоу и напоминал, что он первый догадался о том, кто является автором пьесы. В 1916 г. драматург написал новый пролог в стихах в форме монолога Фанни, которая рассказывала творческую историю своей пьесы и говорила о том, что ей надоели пьесы о быте миллионеров и о женах, мужьях и любовниках, так как в них нет ни малейшего подобия жизненной правды. Именно поэтому, как объясняет Фанни, ей захотелось написать об обыкновенных людях.

Согласно замыслу Шоу (оставшемуся нереализованным) монолог должен был произноситься актрисой, исполнявшей роль Маргарет.

В пьесе Шоу сводит счеты со своими литературными противниками. Превратив комедию в плацдарм борьбы с враждебной ему консервативной критикой, драматург вместе с тем в духе «самоиронии» дает скептическую оценку и собственной деятельности. Такой замысел потребовал довольно сложной драматической конструкции, по типу «пьеса в пьесе». Подобный принцип драматического построения создал возможность для рассмотрения «пьесы Фанни» – произведения школы Бернарда Шоу – под разными углами зрения.

Созданная по рецептам Шоу, пьеса Фанни использует их с преувеличенной старательностью.

Идея этого произведения в ультрапарадоксальной форме сформулирована Шоу в предисловии к «Первой пьесе Фанни». Драматург пишет: «Я ненавижу зрелище ходячих мертвецов, ибо оно противоестественно. А наши уважаемые представители среднего класса мертвы, как баранина». Шоу декларировал в предисловии один из тезисов своей реформаторской и писательской программы: идею необходимости духовного «воскрешения» современных людей, чей интеллект находится в состоянии летаргического оцепенения. Как истая ученица Шоу, Фанни кладет эту идею в основу своей пьесы и заставляет персонажей переживать процесс открытия реальной жизни, что приводит их к некоторому психологическому оздоровлению. Юные герои пьесы Бобби Гилби и Маргарет Нокс, попав из респектабельных домов своих почтенных викторианских родителей в тюрьму, сталкиваются с суровой реальностью, и это познание жизненной правды содействует выработке их реалистического миропонимания. Практические результаты этого процесса сказываются незамедлительно, и прежде всего на Маргарет. Эта девица из «хорошей семьи» обнаруживает явные способности к превращению в «новую женщину», энергичную, волевую, свободомыслящую. Что касается Бобби, то, не обладая силой характера, присущей Маргарет, он также проявляет стремление к независимости. Вернувшись под родительский кров, молодые люди устанавливают новые матримониальные контакты, руководствуясь при этом не требованиями родителей, а собственными вкусами и склонностями. Вопреки ожиданиям, их выбор, совершенно несовместимый не только с традициями викторианской благопристойности, но и с требованиями здравого смысла (избранницей Бобби является девица более чем сомнительного поведения), не вызывает особого сопротивления у старшего поколения семейства Гилби. Они тоже кое-что поняли.

Так в лаконичной форме Шоу как бы предлагает вниманию критиков экстракт своей жизненной философии, используя его для выявления их настроений. Как и следовало ожидать, пьеса Фанни вызывает у них резко отрицательную реакцию. Преисполненные негодования, они адресуют свои претензии не столько начинающей писательнице, сколько ее идейному вдохновителю — Бернарду Шоу. Правда, они не сразу догадываются о его причастности к этому небольшому литературному скандалу. Как и сам Бернард Шоу, Фанни сохраняет инкогнито. И критика лишь спустя некоторое время узнает имя анонимного автора пьесы. Стремясь угадать его, критики не делают различий между современными драматургами самой полярной творческой индивидуальности и далеко не однородных идейных убеждений. Радикальный Гренвилл-Баркер ставится в один ряд с умеренно либеральным Пинеро. Это говорит не только о панической боязни любых нововведений, испытываемой блюстителями литературных «устоев», но и об их эстетической глухоте. В полной мере их тупой консерватизм проявляется в отношении к Шоу. Инвективы против Шоу — это общие места из недоброжелательных рецензий на его пьесы: «интеллект и никаких эмоций», «Шопенгауэр из четвертых рук», «его герои — марионетки» и т. д. Ирония этой драматической ситуации усугубляется тем, что и сам Шоу выступает здесь не только в роли «соавтора» пьесы, но и ее критика. Смеясь над своими противниками, он подсмеивается и над самим собой.

В «пьесе Фанни» есть элемент самопародии и большая доза характерного для Шоу лукавства. Воинственно утверждая программу пробуждения личности в качестве метода общественного переустройства, драматург в то же время демонстрирует скромные результаты этого реформаторского акта, фабианское происхождение которого совершенно недвусмысленно указывается в пьесе: Фанни принадлежит к фабианскому обществу.

«Пробуждение» не влечет за собою существенных изменений в характере жизненного уклада героев пьесы. «Пробудившись», они существуют в условиях того же комфортабельного викторианского жилища, за стенами которого — устойчивые атрибуты общественной жизни Англии. Непреодолимость традиции в пьесе утверждается и чисто драматургически. В ней все время идет ироническая игра с мелодраматическими «штампами». Несовместимые, казалось бы, с идейной направленностью пьесы, они пародируются в финале в сгущенном виде. История переодетого герцога, который стал лакеем в доме почтенного буржуа и, влюбившись в дочь хозяина, предложил ей свою руку, пародирует банальные сюжеты дешевых мелодрам, заполонивших английскую сцену. Требуя преодоления традиции, Шоу в то же время как бы демонстрирует ее цепкость и упорство. Попытка построить пьесу на новой и необычной сюжетной основе приводит только к тому, что, выбитая из привычной колеи, она с новой силой устремляется в прежнее русло. Этот парадокс касается не только формальной стороны пьесы, но в какой-то мере и ее содержания.

Инерция «привычного» подчеркивается самим направлением драматического развития. Почтенные представители старшего поколения, в начале пьесы испытывающие беспокойство и недовольство, в конце концов успокаиваются. Они, по-видимому, догадываются, что взволновавшая их скандальная история отнюдь не приведет к потрясению основ викторианского благополучия. Недаром автором «пьесы Фанни» является молодая девушка. Ее произведение, как

иронически намекает Шоу, это только «чтение для молодых девиц» и в качестве такового не должно вызывать ни малейшего беспокойства. И лишь граничащая с кретинизмом тупость консервативных критиков и их патологическая боязнь всяких нововведений мешают им увидеть полную безобидность подобных «бурь в стакане воды».

Стр. 53. *Я участвовал в постановке «Наших мальчиков».* — Речь идет о комедии модного английского драматурга Генри Джеймса Байрона (1834—1884), написанной в 1875 г.
Чимароза, Доменико (1749—1801) — итальянский композитор, автор свыше восьмидесяти опер.
Перголези, Джованни Баттиста (1710—1736) — итальянский композитор, создатель оперы-буфф.

Стр. 54. *В священной стране Байрона, Шелли, Браунингов, Тёрнера и Раскина* — то есть в Италии, где все они провели значительную часть своей жизни. Браунинги — английские поэты, муж и жена: Роберт (1812—1889) и Элизабет (1806—1861). Тёрнер, Джозеф Уильям (1775—1851) — английский пейзажист. Раскин, Джон — см. примеч. к с. 28.

Стр. 55. *Коломбина, Арлекин, Панталоне* — персонажи итальянской комедии масок.
Маскариль, Сганарель — постоянные комические персонажи старинной испанской и французской комедии, хитрые и ловкие слуги.
Гримальди, Джозеф (1779—1837) — английский комедийный артист; прославился исполнением роли Арлекина в английской пантомиме, многое заимствовавшей из итальянской комедии масок.

Стр. 62. *«Электра»* (1908) — опера немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864—1949).

Стр. 64. *Бессмертный Стагирит* — великий древнегреческий мыслитель Аристотель (384—322 до н. э.), родиной которого была греческая колония Стагира во Фракии.
Арамис — один из трех мушкетеров в авантюрном романе французского писателя А. Дюма-отца (1803—1870) «Три мушкетера» (1844).

Стр. 68. *Четырнадцать дней...* — Четырнадцатидневный арест налагается обычно в Англии за уличный скандал.

Стр. 71. *Суфражистка* — участница буржуазного женского движения, требовавшего равноправия женщин и в первую очередь предоставления им избирательных прав.

Стр. 76. *Уормвуд-Скрабз* — тюрьма в западной части Лондона.

Стр. 81. *Холоуэйская тюрьма* — тюрьма в северной части Лондона для непродолжительного тюремного заключения.

Стр. 82. *Entente cordiale* — дружественный союз Англии, Франции и России, окончательно оформившийся в 1907 году.

Стр. 91. *Дэнмарк-хилл* — один из фешенебельных районов южной части Лондона.
Кэмберуэлл — южный пригород Лондона, известный своими парками.

Стр. 102—103. *Сан-Франциско, Ямайка, Мартиника, Мессина.* — Речь идет о крупных землетрясениях в этих местах.

Стр. 114. *Веллингтон* (1769—1852) — герцог, английский полководец и государственный деятель; принадлежал к крайнему правому крылу консервативной партии.

Нелсон, Горацио (1758—1805) — английский адмирал.

Стр. 116. *Он унизил себя, чтобы победить.* — Намек на комедию выдающегося английского писателя О. Голдсмита (1728—1774) «Она смиряется, чтобы победить, или Ошибки одной ночи» (1773).

Стр. 120. *Пинеро, Артур* (1855—1934) и *Джонс, Генри Артур* (1851—1929) — модные английские драматурги-бытописатели конца XIX века.

Стр. 121. *Гренвилл-Баркер, Харли* (1877—1946) — английский драматург, последователь Б. Шоу; его пьеса «Мадрасский дом» написана в 1910 г.

Барри, Джеймс Мэтью (1860—1937) — английский романист, драматург и детский писатель, широко популярный в мелкобуржуазных кругах Англии. Пьеса «Великолепный Кричтон» написана в 1903 г.

Миссис Тэнкерей, Айрис — героини пьес Пинеро.

Стр 123. *«Леди из Лиона»* (или «Красавица из Лиона») (1838) — пьеса Булвер-Литтона (1803—1873).

Стр. 124. *Леди Констэнс Литтон* (1869—1923) — английская суфражистка; за свою деятельность неоднократно подвергалась тюремному заключению.

Кампанилья. — Имеется в виду колокольня собора св. Марка в Венеции, построенная в XII в. и рухнувшая 14 июля 1902 г.

АНДРОКЛ И ЛЕВ

Эта пьеса-притча была впервые поставлена Лилой Маккарти и Гренвилл-Баркером в театре «Сент-Джеймсиз» 1 сентября 1913 г. и выдержала 52 представления. На премьере в программу была вложена маленькая брошюрка, где Шоу давал пояснения к пьесе. В 1930 г. пьеса шла на сцене театра «Олд Вик».

В Америке в 1952 г. исполнялась в кукольном театре. В том же году была экранизирована в Голливуде.

В основу «старой басни, возобновленной Бернардом Шоу» (как гласил подзаголовок пьесы) положена легенда, рассказанная римским писателем II в. н. э. Авлом Геллием в его произведении «Аттические ночи». Согласно версии Авла Геллия, Андрокл был рабом, жившим в Африке и убежавшим в Ливийскую пустыню, где и произошла его встреча со львом.

Шоу не только изменил географическую сторону легенды, но и сделал ее героя христианином, что также является отступлением от первоисточника.

Можно предположить, что «Андрокл и лев» пародирует некоторые сюжетные ситуации популярного в Англии 90-х гг. романа Генрика Сенкевича «Камо грядеши» (1896). Пьеса продолжает линию богостроительских исканий Шоу, разные этапы которых отразились в его предшествующих пьесах «Человек и сверхчеловек» и «Разоблачение Бланко Поснета». Потребность в создании нового культа стимулировалась у Шоу его ненавистью к господствующей церкви, в которой он обоснованно видел политическое установление, призванное защищать имущество и власть правящих классов. В своих поисках нового символа веры он шел разными путями, стремясь сочетать религию Толстого, в основе которой лежала вера в силу нравственных начал человеческой личности, и собственную философию «Жизненной силы». При всей неоднородности этих концеп-

ций ему удалось кое-как примирить их, найдя между ними точку соприкосновения. Этой точкой являлось представление о том, что «царство божие» находится в душе человека.[1] Шоу верил в чистоту природных первооснов внутренней жизни человека, в его изначальное нравственное здоровье. Эта мысль и стала «зерном» его религии.

В пьесе Шоу идет по пути развития этих идей, нащупывая формулу новой теологии, окончательная «канонизация» которой произошла в его позднейших произведениях — в трактате «Чернокожая девушка в поисках бога» и в драматической пенталогии «Назад к Мафусаилу».

В отличие от «Разоблачения Бланко Поснета», где Шоу полностью ориентируется на Толстого, в пьесе «Андрокл и лев» доминирующим внутренним мотивом является идея творческой эволюции. Согласно разъяснению драматурга, «бог — это воплощенная в нас творческая сила, которую Христос называл Отцом небесным, а мы эволюцией, élan vital, или Жизненной силой».[2] В основу этой концепции, главные принципы которой в еще неполном виде намечены в ранних теоретических работах Шоу («Совершенный вагнерианец» «Здоровье искусства») и в более законченной форме в пьесе «Человек и сверхчеловек», Шоу ставит идею непрерывного эволюционного развития жизни и природы. Тенденция к поступательному движению по восходящей линии, в понимании драматурга, являлась первичным стихийным импульсом жизни во всех ее формах. Он рассматривал бытие как процесс вечного становления и, по собственному признанию, «любил это состояние».[3] В ходе творческого развития Шоу его преклонение перед могучей силой жизненного импульса, заставляющего все живое стремиться вперед «все выше и выше по ступеням лестницы бытия»,[4] принимало характер своеобразного религиозного кредо. «Закон бога,— возглашал Шоу в предисловии к «Святой Иоанне»,— это закон изменений».

Идея динамичной сущности бытия и его тенденции к непрерывному совершенствованию подводила теоретическую базу под реформаторские искания драматурга, под его стремление к переустройству общества на разумных началах. Объединившись в сознании Шоу с идеями политической экономии и социализма, она становилась для него орудием борьбы с отживающими формами социального устройства. Необходимость их коренной перестройки и замена другими, более совершенными, воспринималась им как закон самой природы.

В творческом процессе совершенствования бытия важнейшее место Шоу отводил человеку. Эволюционируя вместе с природой, человек тоже растет и изменяется, становясь все более совершенным существом («сверхчеловеком»). Но к такому результату его приведет не одна лишь биологическая эволюция. Помочь природе в осуществлении ее великих идей — такова жизненная миссия человечества. Сила позиции Шоу в высокой требовательности к человеку, в непоколебимой вере в высоту его жизненного призвания. Человеческий разум, в понимании Шоу, не только часть природы, но и ее главное орудие. С его помощью природа осуществляет свою потребность непре-

---

[1] Shaw B. Complete plays with prefaces. N. Y., 1961, v. 5, p. 370.

[2] Ibid., p. 409.

[3] Ellen Terry and Bernard Shaw. A Correspondence. N. Y., 1931, p. 34.

[4] Shaw B. The perfect Wagnerite. Leipzig, 1922, p. 60.

рывного роста, ибо «у нее нет иного мозга, кроме того, который она с таким трудом вложила в наши головы».[1]

В познании и совершенствовании жизни драматург видит главную цель человечества, указанную ему самой природой. Средством решения этой задачи и должна была стать своеобразная религия Шоу. Он хотел помочь людям поверить в самих себя, в величие своего жизненного назначения, в способность совершенствовать и жизнь и свою собственную природу. Согласно его собственному признанию, его религия должна была дать исповедующим ее людям «самоуважение и смелость».[2]

«Андрокл и лев» – это одно из тех произведений, в которых с наибольшей ясностью раскрывается гуманистическая направленность религиозных исканий Шоу. Религиозный культ великого ирландца здесь оборачивается культом обожествленного человека.

Излагая основные принципы своей «теософии», драматург придает им большую полемическую остроту. Новая теология утверждала себя в процессе ожесточенной полемики с христианской церковью, а по существу и с самим принципом клерикализма. Как обычно, формой аргументации своей идеи Шоу сделал парадокс. Дискредитацию христианской церкви он осуществляет посредством реабилитации Христа. Не уничтожая культа Христа, драматург ловко подменяет бога человеком. Со свойственным ему мастерством острой и четкой характеристики Шоу создает парадоксальный образ Христа – выдающегося политического деятеля, первоклассного экономиста и даже коммуниста. Уничтожая мистический ореол, окружающий личность Иисуса, драматург делает его принципиальным врагом всякой мистики. В изображении Шоу основоположник христианства становится убежденным противником клерикализма и одной из его многочисленных жертв. Придавая ему некоторое сходство с самим собою и со своими героями-реалистами, Шоу превращает его в ниспровергателя традиций и авторитетов. «Христос, – сообщает автор пьесы, – бесцеремонно нарушал традицию, если она оказывалась стеснительной и неудобной».[3] «Он обладал большой способностью преодоления вульгарных иллюзий и умел подняться на уровень морали более высокой, чем тот, который когда-либо был установлен в любом цивилизованном обществе».[4]

Такого Христа – антидогматика, реалиста, прирожденного социального реформатора – Бернард Шоу не прочь признать «сыном божьим», тем более что и все люди, в особом понимании драматурга, – существа божественной природы. В соответствии с этим он видит одну из важнейших заслуг Иисуса в том, что он открыл человечеству тайну его божественного происхождения «и внушал людям, что они боги».[5]

Сущностью религии Шоу, таким образом, оказывается культ обожествленного человека. Трагедия Христа как основоположника этого культа, по мнению драматурга, заключалась именно в том, что смысл его учения остался непонятным не только для его врагов – клерикалов, превративших «слово божье» в орудие насилия и порабо-

---

[1] Shaw B. The irrational knot. London, 1932, p. XXII.
[2] The religions speechs of Bernard Shaw. Pensylvania, 1963, p. 7.
[3] Shaw B. Complete plays with prefaces, v. 5, p. 343.
[4] Ibid., p. 352.
[5] Ibid., p. 382.

щения человечества, но и для тех, кто был искренним приверженцем новой веры.

Христианские мученики, изображаемые в пьесе, во многих отношениях напоминают своего учителя. Подобно ему, они не принадлежат ни одной определенной эпохе и являются, по признанию Шоу, «мучениками всех времен». Эти преступники прошлого, чьи преступления заключаются в том, что они «не респектабельны», не поклоняются каменным богам и не совершают у их алтарей нелепых обрядов и т. д., ничем не отличаются от тех современников Шоу, которые подвергались гонениям за то, что оспаривали традицию и претендовали на свободу мысли и на право иметь свое собственное мнение.

Поскольку религия есть часть политики, христианские мученики — это политические преступники, которые, не осознавая себя таковыми, в то же время не до конца понимают и сущность веры, за которую идут на смерть. Подлинная сущность Христова учения так же недоступна им, как и подавляющему большинству людей всех времен. О ней смутно догадывается только Лавиния, которая утверждает, что «познать бога — это значит самому стать богом». Что касается других христиан, то каждый из них по-своему интерпретирует законы своей религии, и самое комическое истолкование дают те, кто понимает их буквально. Так, для богатыря Ферровия, человека огромной физической силы, евангельская заповедь «ударившему тебя по правой щеке подставь левую» звучит как приглашение к драке.

Подлинно религиозным человеком в пьесе является только тишайший и кротчайший Андрокл. В брошюрке, вложенной в театральную программу, Шоу пояснял, что герой, по существу, достаточно религиозен, чтобы следовать любой религии, «кроме религии охоты и убийства». Друг природы, покровитель животных, Андрокл питал к ним, как утверждает драматург в той же брошюрке, братское чувство, и в этом смысле подобен святому Франциску и святому Антонию. И по мироощущению, и по поведению непосредственный и наивный Андрокл — подлинное дитя природы, и именно поэтому «бог» (т. е. закон эволюции) дает ему в телохранители льва. Так маленький римский ремесленник неожиданно становится грозной силой, с которой вынужден считаться сам император. Союз человека и природы, намекает Шоу, таит в себе потенциальную угрозу для деспотического произвола всех исторических разновидностей. Эта мысль уже прямо подводит пьесу к порогу новой эпохи творчества Шоу.

То же самое следует сказать и о драматической форме пьесы. Идея единства исторического процесса, общая для всех исторических пьес Шоу, здесь приобретает небывалую остроту художественного выражения. Персонажи пьесы как бы существуют одновременно в двух временных измерениях: в прошлом и будущем. Благодаря этому ультрапарадоксальному положению они получают возможность с ироническим спокойствием наблюдать за собственными приключениями в варварском мире.

Доведенный до предела эксцентризм формы уже выводит пьесу за рамки довоенного периода, приобщая ее к эксцентриадам позднего Шоу.

Стр. 133. *Центурион* — командир подразделения в римском легионе.

Колизей. — Сооружен в 75—80 гг. н. э., предназначался для гладиаторских боев и других зрелищ.

Стр. 138. *Юпитер* – см. примеч. к с. 21.
Диана – в древнеримской мифологии богиня луны, отождествлялась с древнегреческой богиней охоты и плодородия Артемидой.

Стр. 144. *Каппадокия* – древняя область в Малой Азии, с 17 г. н. э. римская провинция.
..великолепно предать Спасителя, как это сделал Петр. – Петр, один из ближайших учеников Христа, вопреки своей клятве, трижды отрекся от учителя (Евангелие от Матфея, XXVI).
Эдитор – распорядитель и организатор гладиаторских боев.
Талант – крупная денежная единица Древней Греции.
Весталки – в Древнем Риме покровительницы домашнего очага, хранившие целомудрие жрицы богини Весты.
Искариот – Иуда Искариот, один из двенадцати учеников (апостолов) Иисуса Христа, предавший учителя в руки властей за 30 сребреников.

Стр. 155. *...в гвардии преторианцев...* – Преторианские когорты в Древнем Риме – привилегированная часть войска, предназначенная для охраны полководцев.
Сестерций – основная монетная единица в Древнем Риме.

Стр. 164. *Домициан, Тит Флавий* (41–96) – римский император с 81 г. Добивался популярности у солдат повышением им жалованья и у плебса организацией игр и зрелищ.

Стр. 172. *Нонконформисты* – религиозные секты, отделившиеся от англиканской церкви и не признающие ее власти.
...злободневность, привнесенная настоящей войной... – Пьеса «Андрокл и лев» написана Шоу за год до начала первой мировой войны 1914–1918 гг.

Стр. 173. *Андерсон* – священник, персонаж пьесы Шоу «Ученик дьявола» (1897).

Стр. 174. *Евангелисты* – представители ряда протестантских церквей, считающих источником вероучения Священное писание (в первую очередь Евангелие).
Методисты – приверженцы одного из направлений в протестантизме, ставящие своей целью методическое соблюдение предписаний религии.
Унитарии-деисты. – Унитарии составляют левое рационалистическое крыло протестантизма; деизм – философское учение, признающее существование бога лишь в качестве безличной первопричины мира.
Пейн, Томас (1737–1809) – американский общественный деятель, представитель революционного просветительства.
...бергсоновский «жизненный порыв» – термин А. Бергсона (1859–1941), французского философа, представителя так называемой философии жизни.
...не считает святого Иакова безгрешным. – Иаков, один из библейских патриархов, обманным путем получил отцовское благословение, дававшее ему права первородства.

Стр. 175. *Альберт-холл* – концертный зал в Лондоне, построен в 1868–1871 гг.
Эрлскорт – район в западной части Лондона, где проводятся выставки.

Премьера этой комической миниатюры, тема которой, как драматург уверял актрису Патрик Кэмпбел, была навеяна ею, состоялась в Театре герцога Йоркского 14 октября 1912 г.

Пьеса касается проблемы семейных отношений, еще ранее затронутой Шоу в пьесах «Женитьба» и «Неравный брак».

На сей раз Шоу осмеивает традиционные представления не только о браке, но и об адюльтере. Как всегда у Шоу, критика традиции одновременно является и ниспровержением литературных штампов. Обычная схема «треугольника» (муж, жена, любовник) в пьесе приобретает парадоксально ироническую форму. Традиционный романтический ритуал любви и ухаживания подвергается осмеянию, как нелепая игра, способная ввергнуть в состояние скуки мыслящее и разумное существо. Развенчивая «романтику» брака и супружеских измен, Шоу создает на сцене комическую путаницу, вкладывая в уста супругов речи, обычно произносимые любовниками, а в уста любовников – речи супругов.

В процессе обмена мнениями между персонажами пьесы выясняется, что основой их «романтических» порывов являются понятия, привитые им воспитанием, религией, традицией и литературой, несовместимые ни с реальной жизнью, ни с требованиями здравого смысла.

Стр. 187. *Рыцарь Тангейзер* – поэт, миннезингер XIII в., ставший героем немецкой народной песни, в которой говорится о его семилетнем пребывании в волшебном гроте Венеры (древнегерманской богини Хольды). Легенда о Тангейзере послужила основой музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Тангейзер» (1843).

Стр. 198. *Полиандрия* – форма брака, при которой женщина может состоять в браке с несколькими мужчинами одновременно; многомужие.

ПИГМАЛИОН

Эта блестящая и остроумная комедия была написана в 1912 г. и впервые поставлена 16 октября 1913 г. в Вене. Английская премьера при участии Патрик Кэмпбел, для которой была написана роль Элизы, и Бирбома Три состоялась 11 апреля 1914 г. в лондонском Театре его величества и выдержала 118 представлений. Став одним из величайших театральных триумфов Шоу, пьеса неоднократно исполнялась в различных театрах Англии: в театре «Кингсуэй» (1927), в «Ройал Корт» (1930), в театрах «Сент-Джеймсиз» (1935), «Олд Вик» (1937) и т. д.

В 1938 г. пьеса была экранизирована. В 1956 г. по ее сюжетным мотивам создан мюзикл «Моя прекрасная леди» (музыка Фредерика Лоу, автор либретто Алан Джей Лернер).

В России «Пигмалион» стал одним из самых популярных произведений Шоу. На русскую сцену пьеса попала уже в 1915 г. Ее первое представление состоялось в Петрограде, в Михайловском театре, в апреле 1915 г. В сентябре того же года Вс. Мейерхольд поставил пьесу в Александринском театре с Б. Горин-Горяиновым и Е. Рощиной-Инсаровой в главных ролях. После революции комедия

исполнялась на сценах самых различных столичных и провинциальных театров – Москвы, Ленинграда, Таганрога, Тбилиси, Воронежа, Баку, Кишинева, Хабаровска и др. В 1925 г. она была исполнена московским Малым театром, в репертуар которого вошла надолго. В 1937 г. ее поставил московский Театр сатиры. Значительным событием в жизни советского сценического искусства стал спектакль Малого театра 1943 г. с Д. В. Зеркаловой в роли Элизы. К числу удач следует также отнести спектакль ленинградского Театра им. Ленсовета (1963), где исполнительницей роли Элизы стала А. Б. Фрейндлих.

Отправной точкой при создании этой пьесы послужил античный миф о скульпторе Пигмалионе, изваявшем статую Галатеи. Пораженный красотой собственного создания, художник умолил Афродиту вдохнуть живую душу в мраморную статую. Галатея ожила и, превратившись в прекрасную женщину, стала супругой Пигмалиона.

В пьесе Шоу этот миф, спроецированный на современную драматургу действительность, подвергается парадоксально ироническому осмыслению. В роли своеобразного Пигмалиона выступает профессор фонетики Хигинс, и именно фонетика становится средством, с помощью которого он «оживляет» уличную цветочницу Элизу Дулитл, превращая ее из невежественной замарашки в «герцогиню» если не по происхождению, то по элегантности, изяществу и изысканности манер.

Обращение Шоу к этому мифу определялось самим характером его преобразовательной программы, в системе которой важную роль играла идея перевоспитания современного человека, освобождения его сознания от власти господствующей в обществе лжи. Одну из своих главных жизненных задач драматург видел в том, чтобы содействовать духовному пробуждению людей и тем самым подготовить процесс их перехода на новые, более высокие ступени жизни общества. Миф о Пигмалионе – художнике, вдохнувшем живую душу в неподвижный, мертвый кусок мрамора, был истолкован драматургом в духе его собственных творческих устремлений. Характерно, что в одном из своих более поздних произведений, пенталогии «Назад к Мафусаилу», он снова вернулся к мотивам Пигмалиона и воссоздал образ этого мифологического персонажа, объединив в его лице скульптора и ученого. Перенеся нового Пигмалиона в общество далекого будущего, Шоу сделал его жизненной миссией воссоздание людей предшествующих эпох человеческой истории.

Выбор фонетики в качестве средства пробуждения личности также был далеко не случаен для Бернарда Шоу. В пору создания «Пигмалиона» он увлекался фонетикой и был хорошо знаком с известным фонетистом профессором Оксфордского университета Генри Суитом, послужившим прототипом Хигинса. Это увлечение фонетикой было частью устойчивого и постоянного интереса Шоу к английскому языку. В одной из своих статей, написанной спустя тридцать лет после создания «Пигмалиона», Шоу охарактеризовал себя как «специалиста по английскому языку». «С технической точки зрения, – писал он, – моя специальность – язык».[1] В опосредованной форме эксперимент Хигинса обобщает смысл лингвистических и фонетических штудий драматурга. Шоу, как и его герой, верил в силу слова и стремился превратить его в орудие раскрепощения человеческого разума. Одним из аспектов этой задачи было устранение известной фонетической двойственности английской речи. Между языком «образован-

[1] Shaw B. Preface to The miraculous birth of language" by professor Richard Albert Wilson London, 1946, p. 7.

ных» слоев общества и так называемым кокни, на котором говорят «низы» лондонского общества, существуют резкие различия, проявляющиеся не только в лексике, но и в произношении. «Образованные круги общества, — иронизировал драматург, — убаюкивают себя иллюзией, будто бы грубый носовой резонанс речи жестянщика укрепляет социальную дистанцию между ним и питомцами Оксфордского университета».[1] Преодоление этого фонетического разнобоя, порожденного отношениями социального неравенства, и является целью Хигинса. Язык, которому обучает он Элизу Дулитл, это идеально правильная английская речь, свободная и от вульгаризмов кокни, и от претенциозной фразеологии аристократических салонов. Овладевая новой для нее речевой манерой, Элиза усваивает и навыки здорового мышления, с помощью которых она вырабатывает правильные представления о жизни.

Однако успешный результат предпринятого Хигинсом «научного» опыта определяется не только его чисто языковой стороной. Его важнейшей предпосылкой является резкое изменение жизненных условий героини пьесы. Хигинс освобождает ее от гнета бедности, в которой Шоу видел главный тормоз духовного развития народных масс, «величайшее из наших зол и худшее из наших преступлений».[2] В своем понимании природы бедности Шоу отталкивался от книги известного американского социолога Генри Джорджа «Прогресс и бедность», объявившего бедность «той загадкой, которую современной цивилизации предстоит разгадать или погибнуть».[3] В публицистике и драматургии Шоу эта мысль находит прямые отклики. Вслед за Генри Джорджем Шоу считает, что состояние нищеты, в которой пребывают угнетенные классы общества, является главной причиной недостаточной высоты их культурного и интеллектуального уровня, ибо полноценная интеллектуальная жизнь и деятельность невозможна для людей, социальные условия жизни которых не достигли человеческого уровня. Разрушительное влияние бедности на человеческую личность в «Пигмалионе» демонстрируется не только на материале судьбы Элизы, но и ее отца, мусорщика Дулитла. В этом старом пропойце, бездельнике и мошеннике Шоу видит одно из гротескных порождений нищеты.

В отличие от старшего Дулитла, Элиза еще не развращена духовно, но бедность подавила ее человеческую индивидуальность и сковала способность к развитию. Ее красота скрыта под слоем грязи, живой ум опутан цепями невежества. Сняв с нее это унизительное бремя, Хигинс пробудил дремавшие жизненные силы, которых у этой дочери народа оказалось неизмеримо больше, чем у скованных условностями обитательниц Вест-Энда.

На эту идею опирается демократический пафос пьесы. Еще задолго до появления «Пигмалиона» Шоу утверждал в своей статье «Безнадежность анархии», что «рабочие обладают более действительным и более здоровым пониманием жизни и... у них больше симпатичных черт»,[4] чем у представителей правящих классов общества.

---

[1] Цит. по: Saxe J. Shaw's phonetics. Copenhagen, 1936, p. 41.

[2] См. предисл. Б. Шоу к пьесе «Майор Барбара», т. 3 наст издания.

[3] George Henri. Progress and poverty. N. Y., 1938, p. 10.

[4] Шоу Б. Безнадежность анархии. — В кн.: Социализм в Англии. Спб., 1907, с. 105.

В «Пигмалионе» эта мысль получает драматическое выражение. Всей логикой пьесы Шоу показывает, что в людях из народа таится непочатый запас творческих сил. Важнейшую проблему современной жизни драматург видит не только в том, чтобы пробудить эту потенциальную творческую энергию, но и в том, чтобы реализовать ее в должном направлении. Вина Хигинса заключается именно в том, что он недостаточно проникся сознанием этой истины, имеющей столь принципиальное значение для автора пьесы. Эксперимент, предпринятый им, не опирается на продуманную программу и не преследует сколько-нибудь серьезных целей, а потому его последствия являются неожиданностью для самого экспериментатора. Элиза Дулитл до поры до времени служит Хигинсу лишь подопытным материалом, и ее внутренний мир не вызывает у него никакого интереса. Он не задумывается над тем, какова будет дальнейшая судьба его Галатеи. Возвращение в лоно ее нищенствующей семьи, продажа цветов, обзаведение собственным магазином, замужество — все это слишком мелко и ничтожно для настоящего, прекрасного телом и духом, внутренне свободного человека и способно лишь искалечить гармоническую личность.

Проблема дальнейшей судьбы Элизы Дулитл представляла немалые трудности для автора пьесы. Он пытался решать ее поразному, о чем свидетельствует творческая история комедии. В первоначальном варианте финала оскорбленная Элиза навсегда покидала дом Хигинса. Во втором, написанном позднее, в 1938 г., Галатея возвращалась к Пигмалиону, дабы продолжить совместную жизнь с ним на основе товарищеского содружества. В послесловии к пьесе Шоу нашел еще одну форму жизненного устройства для своей героини. Явно подтрунивая над зрителем, привыкшим к определенности и завершенности драматических финалов, Шоу сообщает, что Элиза вышла замуж за Фредди Эйнсфорд-Хилла и вместе с ним открыла цветочный магазин. Но это ироническое решение проблемы лишь подчеркивает безвыходность положения героини пьесы, отсутствие у нее возможности выбора достойного жизненного пути. Биографы писателя сообщают, что авторское послесловие к пьесе не вполне удовлетворило публику, оставшуюся при убеждении, что Элиза в конце концов непременно должна стать женой Хигинса. Между тем проблема, поставленная в пьесе, не может быть решена в матримониальной плоскости, и Шоу только поддразнивает своих зрителей, намекая на возможность традиционной счастливой развязки (happy end). Правда, в отношениях Хигинса и Элизы есть оттенок не вполне осознанной влюбленности. Тем не менее «Пигмалион» — не развлекательная пьеса с благополучным концом, а социальная комедия, в центре которой стоят проблемы большого общественного значения, интересующие драматурга значительно больше, чем любовь.

Сам Шоу счел необходимым указать на это обстоятельство, заявив в предисловии, что его пьеса «интенсивно и нарочито дидактична», ибо, по его мнению, «искусство иным быть не должно» Стремясь к точному сценическому воплощению своего замысла, драматург в беседах с Патрик Кэмпбел разъяснял ей, что диалоги героев пьесы должны быть начисто лишены романтической окраски. Когда Бирбом Три, играя влюбленного Хигинса, на премьере спектакля бросил в финале к ногам Элизы букет цветов, Шоу пришел в негодование. В ответ на письмо актера, уверявшего драматурга, что придуманный им романтический финал «делает деньги», автор «Пигмалиона» написал: «Ваш финал отвратителен. Вас следовало бы рас-

стрелять».[1] Зато игра Патрик Кэмпбел – после долгих споров с актрисой, расходившейся с автором пьесы в трактовке роли Элизы,– в конце концов заслужила одобрение Шоу. «Отчаяние души» в ее исполнении сочеталось с «социальным протестом», о чем драматург писал в письмах к ней. Став высшей точкой сценической карьеры этой талантливой актрисы, постановка «Пигмалиона» вместе с тем явилась важной вехой в истории сложных отношений Шоу и Патрик Кэмпбел. Эти отношения впоследствии стали сюжетом пьесы «Милый обманщик» Джерома Килти, созданной на основе переписки Шоу и Патрик Кэмпбел.

Стр. 207. *Бел, Александр Мелвил* (1819–1905) – ученый-лингвист, разработавший систему фонетической транскрипции и применявший для обучения глухонемых систему «наглядной речи».

Элис, Александр Дж. (1814–1890) – английский филолог.

Пальярдини, Тито – англ[ли] фонетист XIX в.

Суит, Генри (1845–1912) – английский ученый-филолог, видный специалист в области фонетики.

Ибсен, Генрик (1828–1906) – норвежский драматург.

Батлер, Сэмюэл (1835–1902) – английский писатель-романист.

Имперский институт – старое название Института содружества, открытого в 1962 г.

Чемберлен, Джозеф (1836–1914) – английский государственный деятель, в 1895–1903 гг. министр колоний, ярый сторонник британской экспансионистской политики, один из инициаторов англо-бурской войны.

Стр. 208. *Универсальный алфавит.* – В своей книге «Современная стенография» (1892) Г. Суит разработал систему стенографии, имеющую как орфографическую, так и фонетическую основу.

Стр. 209. *Питменовская система стенографии.* – Наиболее популярная и широко распространенная в странах английского языка система стенографии была создана в 1837 г. Исааком Питменом (1813–1897).

...так же тщетно, как Терсит на Аякса... – Имеется в виду эпизод из второй песни «Илиады» Гомера, когда «оскорбитель царей» Терсит выступает с нападками на предводителя союзного ахейского войска Агамемнона и Одиссей усмиряет его силой.

Стр. 210. *Поэт-лауреат.* – Имеется в виду Роберт Бриджес (1844–1930), английский поэт и филолог, автор исследования «Просодия Мильтона» (1893). Звание поэта-лауреата получил в 1913 г.

«Рюи Блаз» (1838) – драма Виктора Гюго (1803–1885).

Комеди Франсез – старейший национальный театр Франции, основанный в 1680 г.

Форбс-Робертсон, Джонстон – см. примеч. к с. 32.

Стр. 222. *Пиранези, Джованни Баттиста* (1720–1778) – выдающийся итальянский гравер и архитектор.

Меццо-тинто – один из видов гравюры, отличающийся богатством светотеневых переходов.

Стр. 239. *«Сладко, печально»* – парафраз стих. Джона Мильтона

О птица, как чарует нас
твой сладкий, твой печальный глас...

(«Penseroso»

[1] Цит. по: Dant Allan. Mrs Patric Campbell. London, 1961, p. 256.

Стр. 248. *Моррис, Уильям* (1834—1896) — английский художник, поэт и видный деятель социалистического движения.
Берн-Джонс, Эдвард (1833—1898) — английский живописец, принадлежавший к младшему поколению прерафаэлитов — группировке английских художников и писателей, возникшей в середине XIX в. и стремившейся возродить искусство раннего Возрождения.
Галерея Гровнер — частная картинная галерея в Лондоне.
Уистлеровская школа — школа в живописи, названная по имени Джеймса Эбота Мак-Нэйла Уистлера (1834—1903), американского живописца и гравера, который жил и работал в Англии.
Лоусон, Сесил (1851—1882) — английский художник-пейзажист.
Чипендейлевское кресло — то есть кресло в стиле Томаса Чипендейла, известного английского мебельщика XVIII в. Изделия Чипендейла до сих пор служат моделями для повторений; стиль «чипендейла» популярен в домах английской буржуазии.
Иниго, Джонс (1573—1652) — английский архитектор и театральный декоратор, творчество которого проникнуто идеями эпохи Возрождения; создатель национальной архитектурной школы.
Кретон — плотная хлопчатобумажная ткань с продольными полосками из цветной пряжи.

Стр. 253. *Королевское общество* — Лондонское Королевское общество содействия успехам естествознания, старейшее английское научное общество, основанное в 1662 г.

Стр. 261. *Монктон, Лайонел* (1862—1924) — английский композитор и музыкальный критик.

Стр. 262. *Эрлскорт* — см. примеч. к с. 175.

Стр. 263. *La Fanciulla del Golden West* («Девушка с Запада») — опера (1910) известного итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858—1924).

Стр. 276. *...выбирать приходится между Скилией работного дома и Харбидией буржуазии.* — Дулитл хочет сказать: «Между Сциллой и Харибдой» — выражение, означающее: находиться между грозящими с двух сторон опасностями (Сцилла и Харибда — два чудовища в греческой мифологии, жившие на прибрежных скалах узкого морского пролива и губившие всех проплывавших мимо мореходов).

Стр. 282. *Церковь святого Георгия* — церковь в западной части Лондона (построена в 1713—1724 гг.), место пышных бракосочетаний.

Стр. 292. *Гвин, Нелл* (1650—1687) — английская актриса, выступала в театре «Друри-Лейн», фаворитка короля Карла II.

Стр. 294. *Универсальный алфавит* — см. примеч. к с. 208.
Лэндор, Уолтер Сэвидж (1775—1864) — английский писатель и поэт

Стр. 296. *...ницшеанской позиции вне добра и зла...* — учение немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900), утверждающее культ сверхчеловека, включает в себя критику христианской этики.

Стр. 298. *Ковент-гарденский рынок* — главный лондонский оптовый рынок фруктов, овощей и цветов, существовавший с 1661 по 1974 г.
Уэллс, Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель и публицист.
Деяния Апостолов — одна из книг Евангелия, в которой повествуется об основании церкви апостолами Петром и Павлом.
Кенсингтон — фешенебельный район на юго-западе центральной части Лондона.

Эпсом – город в графстве Сэррей, где находится ипподром, на котором происходят популярные ежегодные скачки.

Стр. 299. *Генерал Бут* – Уильям Бут (1829–1912), английский священник, основавший в 1865 г. в Лондоне религиозную филантропическую организацию евангелического направления. Эта организация, по структуре напоминающая армию, получила название Армия спасения.

Стр. 301. *Музей Виктории и Альберта* – национальный музей изящных и прикладных искусств всех стран и эпох, созданный в Лондоне в 1857 г. и названный в честь королевы Виктории и ее супруга.

Порсон, Ричард (1759–1808) и *Бентли, Ричард* (1662–1742) – английские ученые – представители классической филологии, основатели текстологии.

Бентли, Эдмунд Клерихью (1875–1956) – английский поэт, изобретатель шутливо-эпиграмматической стихотворной формы, получившей название клерихью.

Бальб (I в. до н.э.) – римский консул, друг Цицерона.

Галлия – область Европы, включавшая территорию современной Франции. «Галлия по своей совокупности разделяется на три части» – начальная фраза «Записок о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря (100–44 до н. э.) – «Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне...» М., 1962, с. 5. Благодаря простоте и лаконичности стиля труд Цезаря служит школьным текстом при обучении латинскому языку.

Стр. 302. *Кью-Гарденс* – большой Королевский ботанический сад в Лондоне, основанный в 1759 г.

Лондонская экономическая школа – Лондонская школа экономики и политической науки, одна из школ, созданных при Лондонском университете в 1898 г.

ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА

«Маленький скетч из жизни русского двора XVIII в.» был написан для Гертруды Кингстоун, актрисы, которая, как сказал ей однажды Шоу, «должна была бы играть только королев и императриц». Поскольку современных драм с такими персонажами не имелось, подобную пьесу написал он сам. Когда в ноябре 1913 г. она появилась на сцене театра «Водевиль», драматург заявил, что те, кто видел мисс Кингстоун в роли Екатерины, без труда поверят, что не его, а ее талант создал эту комедию.

26 апреля 1915 г. пьеса шла на сцене театра «Артс».

В 1923 г. на Майском фестивале в Висбадене исполнялась опера, либретто которой было основано на сюжете пьесы Шоу.

В России пьеса была поставлена в 1923 г. в Василеостровском театре Ленинграда. В 1924 г. ее постановку осуществила мастерская Передвижного театра.

Эта псевдоисторическая комедия, события которой представляют плод авторского вымысла,– одно из свидетельств устойчивого интереса Шоу к России. Его контакты с различными русскими литературными и общественными деятелями были тесными и многогранными, и с некоторыми из них (Толстой, Горький, Степняк-Кравчинский, Кропоткин и др.) он поддерживал личное знакомство и вел переписку.

Особенно усилилось его внимание к России в период революции 1905 г. Следя за ее событиями, драматург неоднократно выражал сочувствие революционерам и острую неприязнь к царизму. Характер отношения Шоу к русскому самодержавию во многом определил содержание сатирической пьесы. Сделав ее подзаголовком цитату из «Дон Жуана» Байрона, драматург тем самым наметил направление разработки избранной им темы. В полном виде приведенная им строка выглядела следующим образом:

In Catherine's reign whom glory still adores
As greatest of all sovereigns and w...s.

Последнее слово, обозначенное Байроном лишь двумя буквами, должно читаться как whore, т. е. распутница. Русский перевод не очень точно воспроизводит формальную сторону байроновского стиха, но полностью передает его смысл:

Минервою пытались величать,
Которую я б мог точней назвать.

В предисловии к пьесе драматург разъяснил, что байроновское определение представляется ему исторически точной характеристикой Екатерины, государственный ум которой был чистой фикцией, а распутство — жизненной реальностью. В соответствии с этим он представил Екатерину в один из характерных для нее моментов «частной» жизни, когда она выбирает очередного фаворита. Кандидатом на эту роль на сей раз становится молодой британец — ситуация, пародирующая аналогичный эпизод из «Дон Жуана», с той, однако, разницей, что у Байрона избранником Екатерины является не англичанин, а юный испанец — герой поэмы «Дон Жуан», который, в отличие от персонажа комедии Шоу, отнюдь не отказывается от предложенной ему чести.

Поведение Екатерины в этих глубоко интимных обстоятельствах дает представление не только о нравственных качествах императрицы, но и о ее методах управления российским государством. Эта почитательница Вольтера, разыгрывающая просвещенную и гуманную монархиню, управляет своими подданными с помощью кнута и пыток. Под эгидой «матушки-царицы» процветает разнузданный произвол ее вельмож и культивируются худшие стороны национального быта. Иллюстрацией этой мысли является гротескный образ Потемкина, чье поведение, манеры и облик дают исчерпывающее представление о нравах полудикой страны, а вместе с тем и о природе русского самодержавия как о сочетании патриархальности и варварства.

Рассматривая русских царей как «великих сентиментальных комедиантов», Шоу строит свою пьесу в форме своеобразной «буффонады». Такое построение должно, по-видимому, воспроизвести «шутовской» облик русского царизма, представители которого, «все эти Петры, Елизаветы и Екатерины», исполняли свои роли царей и цариц как актеры-эксцентрики, разыгрывая сцена за сценой безудержную арлекинаду, где монарх выступал то как клоун, то — прискорбный контраст — как демон из пантомимы, пугающий нас злодеяниями, не забывая при этом обязательных альковных похождений небывалого размаха и непристойности.

Одновременно с русским самодержавием Шоу высмеивает и английскую королевскую власть. В предисловии к комедии драматург

проводит ироническую параллель между развратной Екатериной и добродетельной Викторией, находя между ними некоторые точки соприкосновения если не в нравственном, то в политическом отношении.

Дискредитируя царскую Россию, Шоу не щадит и Англию. Молодой англичанин, дающий советы русской императрице относительно возвращения на путь добродетели, являет собою воплощение «твердолобости» и мещанской узости, которые, как дает понять Шоу, составляют характерную особенность жителей этой цивилизованной страны.

Стр. 307 *...чья переписка с Гриммом и Вольтером...* – Русская императрица Екатерина II (1729–1796) вела обширную переписку с западноевропейскими просветителями, в частности с Вольтером (1694–1778) и Ф. М. Гриммом (1723–1807), французским критиком и журналистом.
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), князь Таврический – русский военный и политический деятель, фельдмаршал (1784), фаворит Екатерины II.

Стр. 308. *Виктория I* (1819–1901) – английская королева с 1837 г.
В байроновской версии молодой человек, заслуживший ее благосклонность,– испанский гранд.– Имеется в виду герой поэмы Байрона «Дон Жуан» (1818–1824), который, оказавшись в России, становится фаворитом Екатерины II (песни IX–X).

Стр. 309. *Кингстоун, Гертруда* (1866–1937) – английская актриса и режиссер. Поставила в 1915 г. пьесу Шоу «Обращение капитана Брасбаунда».
Пинеро, Артур Уинг (1855–1934) – см. примеч. к с. 120.

Стр. 310. *...как, например, обстояло с Вагнером и Томасом Харди...* – Музыкальные драмы Рихарда Вагнера (1813–1883) и эпическая драма английского писателя Томаса Харди (1840–1928) «Династы» (1903–1908) отличаются широтой замысла и монументальностью сценического воплощения.
Горацио, Орландо, Бассанио, Бертрам – соответственно персонажи пьес Шекспира «Гамлет» (1601), «Как вам это понравится» (1599), «Венецианский купец» (1596), «Конец – делу венец» (1602).
Бербедж, Ричард – см. примеч. к с. 32.

Стр. 311. *Кин, Чарлз* (1811–1868) – см. примеч. к с. 32.
Макреди, Уильям Чарлз (1793–1873) – английский актер и режиссер романтического направления. Завоевал репутацию замечательного исполнителя шекспировских ролей.
Салливен, Барри (1812–1891) – английский актер, произвел сильное впечатление своей игрой на юного Шоу.
Ирвинг, Генри – см. примеч. к с. 32.
Эсхил (ок. 525–456 до н. э.) – древнегреческий драматург, «отец трагедии».
Софокл (ок. 496–406 до н. э.) – древнегреческий драматург, автор трагедий.
Еврипид (ок. 480–406 до н. э.) – древнегреческий драматург, «трагичнейший из поэтов» (Аристотель).
Ноулз, Джеймс Шеридан (1784–1862) – английский драматург, автор драмы «Вильгельм Телль».
Булвер-Литтон, Эдуард Джордж (1803–1873) – английский писатель, автор исторических драм «Герцогиня де ла Вальер» (1836), «Ришелье» (1839) и др.

Уилс, Уильям Горман (1828–1891) – см. примеч. к с. 29.
Теннисон, Алфред (1809–1892) – английский поэт, написавший несколько драм на исторические темы – «Королева Мария», «Гарольд» и др., не имевших успеха на сцене.
Робертсон, Томас (1829–1871) – английский драматург, автор пьес на актуальные семейно-бытовые темы.
Ибсен, Генрик – см. примеч. к с. 207.
Барри, Джеймс (1860–1937) – см. примеч. к с. 121.
Форбс-Робертсон, Джонстон – см. примеч. к с. 32.
Терри, Эллен (1847–1928) – английская актриса, сыгравшая роль леди Сесили в пьесе Шоу «Обращение капитана Брасбаунда» (1906). Шоу называл Терри «наисовременнейшей из всех современных женщин, ярчайшей из современных индивидуальностей».
Мэнсфилд, Ричард (1857–1907) – американский актер, в 1894 г. впервые поставивший в США пьесу Шоу «Человек и оружие», а в 1897 г. с успехом сыгравший роль Ричарда Даджена в «Ученике дьявола».
Террис, Уильям (1847–1897) – английский актер, «король лондонской мелодрамы», просивший Шоу написать пьесу для своего театра «Адельфи».
...как Франкенштейн смотрел на вызванное им к жизни чудовище.. – Герой романа Мэри Уолстонкрафт Шелли (1797–1851) «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) создает разумное существо наделенное разрушительной силой.
Кэлворт, Луис (1859–1923) – английский актер.
Том Бродбент – персонаж пьесы Шоу «Другой остров Джона Булля» (1904).

Стр. 312. *Кэмпбел, Патрик* (1865–1940) – одна из самых известных английских актрис конца XIX – начала XX в. Первая исполнительница роли Элизы Дулитл в пьесе Шоу «Пигмалион» (1914).
Елена – Дочь Леды и Зевса, прекраснейшая из женщин Эллады, жена спартанского царя Менелая. Похищение Елены Парисом стало причиной Троянской войны. Цикл мифов о Троянской войне является сюжетной основой нескольких трагедий Еврипида, в том числе трагедии «Елена» (412 до н. э.).

Стр. 313. *Льстецы венчанного порока...* – строки из поэмы Дж. Байрона «Дон Жуан» (песнь VI, строфа 92). Полностью текст звучит следующим образом:

За что льстецы венчанного порока
Доселе не устали прославлять
Великую монархиню и б....

(Пер. Т. Гнедич)

Стр. 318. ... *после славной битвы на Банкерз-Хилл.* – Банкерз-Хилл – возвышенность в штате Массачусетс, где 17 июня 1775 г., в начале войны за независимость США, английские войска вынудили повстанцев к отступлению.

Стр. 322. *Орлов Алексей Григорьевич* (1737–1808) – русский военный и государственный деятель, фаворит Екатерины II. Будучи сержантом Преображенского полка, принял участие в свержении императора Петра III в 1762 г.

Стр. 332. *Уильям Питт Старший* (1708–1778) – английский государственный деятель, лидер вигов в палате общин.

Стр. 339. *Георг Третий* – английский король (1760–1820).

Стр. 342. *Вокруг него обернут свежий французский памфлет под названием «L'Homme aux Quarante Ecus».* – Имеется в виду повесть Вольтера «Человек с сорока экю» (1768).

ЛЕЧЕНИЕ МУЗЫКОЙ

Эта комическая миниатюра была представлена на сцене «Литл-тиэтр» 28 января 1914 г.

Небольшая музыкальная пьеса-шутка посвящена проблеме взаимоотношений полов, неизменно волновавшей Шоу. Для него она была неотделима от проблемы эмансипации женщин, которой он занимался и как писатель, и как социальный реформатор. Сторонник равноправия полов, Шоу питал сочувствие к женщинам, борющимся за свои гражданские права. Их стремление к самостоятельной общественной роли, по его мнению, имело не только нравственные, но и биологические основания. Драматург считал, что борьба женщины за равенство с мужчиной санкционирована самой природой, вложившей в женщин значительно больший запас жизненной энергии («Жизненной силы»), чем в представителей противоположного пола. Эта идея, еще ранее нашедшая воплощение в таких пьесах, как «Кандида» и «Человек и сверхчеловек», оставалась неизменной на протяжении всего его творческого пути. Но при всем сочувствии феминистскому движению, Шоу отнюдь не посягал и на права мужчин и, как всегда, возражал против крайностей. Эта позиция, получившая отражение в его ранней пьесе «Сердцеед», в «Лечении музыкой» предстает в гротескном ультрапарадоксальном выражении. В иронической тональности Шоу пародирует одну из банальных романтических ситуаций – любовь с первого взгляда и «пронизанное музыкой» любовное объяснение.

В диалоге влюбленных, построенном по типу музыкального дуэта, оба участника как бы меняются местами. По-новому распределяя традиционные роли, Шоу доводит до гротеска черты мужественности в героине и женственности в герое. При этом драматург не упускает возможности сделать косвенный сатирический выпад и в сторону английского правительства.

Его слабонервный, боязливый, не приспособленный к жизни герой, занимающий высокий государственный пост, – живое свидетельство не только вырождения мужчин, но и вырождения английской парламентарной системы. Не пригодный ни для какой общественной деятельности, Реджиналд представляет собою новый тип «домашнего» мужчины, знающего толк в стряпне и организации семейного уюта. Хрупкий, изнеженный и беззащитный, он представляет разительный контраст с энергичной, деятельной, физически сильной Страйгой, завоевавшей себе общее признание выдающейся музыкантши. Это интеллектуальное и физическое превосходство женщины над мужчиной (в соединении с изрядной дозой грубости, доселе составлявшей прерогативу исключительно лиц мужского пола) в пьесе подается не как исключение, а скорее как укрепившееся общее правило. Беглое упоминание Реджиналдом его пяти сестер – грубоватых любительниц мужественных забав – возводит необычную ситуацию пьесы в ранг некоей всеобщей закономерности.

Большая роль в комической миниатюре Шоу принадлежит музыке, которая здесь как бы воплощает стихию раскованных чувств. Такая функция вполне соответствует пониманию драматургом природы музыкального искусства. Знаток музыки и музыкальный критик, автор ряда музыковедческих статей, Шоу считал, что язык чувств «требует музыкального выражения и лучше всего поддается ему» Сочетание музыки и драматического действия во многих отношениях характерно для театра Шоу. Эту особенность тонко охарактеризовал его современник Томас Манн. «Драматургия этого сына певицы и учительницы пения... – пишет немецкий писатель, – строится... как он сам подчеркивал, на принципе музыкального развития темы; при всей своей прозрачности, она хочет, чтобы ее воспринимали как музыку». Томас Манн даже отмечает, что «из всех высказываний по этому поводу Шоу более всего пришлись по душе слова Харли Гренвилл-Баркера, который на репетиции одной из его драм крикнул артистам «Да поймите же вы, ради бога, что это не пьеса, а опера, и подавайте каждую реплику так, словно ждете вызова на бис!»[1] Ориентация на музыку во многом определяла и режиссерские методы самого Шоу Руководя репетициями своих пьес, он часто говорил актерам: «Пойте это, делайте из этого музыку».

Стр. 358. *Рэгтайм* – американский салонный танец, возникший на основе негритянской музыки и вошедший в моду около 1910 г.

Антивоенные пьесы Шоу

Первая мировая война для Шоу, как и для всего его поколения, стала одним из решающих переломных моментов его творческой биографии.

Отношение писателя к мировой катастрофе 1914 г. резко отличалось от отношения к ней фабианцев, которые, как указывает В. И. Ленин, проводили прямую и косвенную защиту социал-шовинизма, соединяя ее «с готовностью говорить какие угодно добренькие, гуманные и почти левые фразы о мире, разоружении и т. п. и т. д.»[2] События 1914 г. драматург воспринял как свидетельство внутреннего краха капиталистической системы.

Война убедила его в невозможности «исправления» прогнившего насквозь собственнического мира. Вместе с войной в творчество Шоу вторглась тема революции, и он нашел в себе достаточно смелости, чтобы открыто заговорить о желательности революционного переворота. Первым антивоенным выступлением Шоу стала брошюра «Здравый смысл о войне». Этот блестящий памфлет стал одним из самых значительных документов эпохи. Драматург сумел вложить в него не только антимилитаристский, но и демократический пафос. Шоу хорошо понимал, что народы мира не несут ответственности за возникновение мировой бойни. Сравнивая воюющие страны с пиратскими кораблями, Шоу утверждает, что народные массы всего лишь пассажиры этих разбойничьих судов. Насильственно втянутые в драку они вынуждены принять в ней участие, ибо в противном случае их корабль пойдет ко дну. Эта во многих отношениях верная мысль

[1] Манн Т. Бернард Шоу. – Собр. соч. М. 1959–1961. Т. 10 с. 448.

[2] Ленин В. И. Собр. соч., т. 26, с. 267.

влечет за собою столь же верные выводы. Драматург приходит к мысли, что единственным средством прекращения войны является революция. В прямой и недвусмысленной форме он советует солдатам обеих армий «перестрелять своих офицеров и разойтись по домам, чтобы собирать урожай в своих деревнях и поднять революцию в городах». Однако революционный выход из сложившегося положения драматург считает хотя и желательным, но нереальным и причину этого видит в духовной незрелости народных масс. «Нет шансов на то... — пишет он, — что наши солдаты придут в восторг от подобных требований здравого смысла». С некоторым сожалением драматург констатирует, что солдаты, как и все современное человечество, не обладают достаточной ясностью взглядов, чтобы разглядеть подлинную сущность войны.

Оставаясь верным самому себе, этот мастер драмы идей рассматривает империалистическую войну прежде всего как войну «идеалов». Это представление о войне он сохранил надолго, если не на всю жизнь. «Война была войной идеалов», пишет он в 1922 г. в предисловии к очередному изданию «Квинтэссенции ибсенизма». Псевдопатриотическая демагогия европейских политиков, с их шовинистическими лозунгами, по мнению Шоу, является источником слепоты народных масс.

Этим и определяется основная тенденция памфлета: разрушить иллюзорные представления о войне, показать ее истинную сущность. Эту задачу он во многом выполнил. С огромной смелостью памфлет сорвал с войны маску патриотических идеалов. Именно эта дегероизация кровавых преступлений мирового империализма особенно возмутила английских шовинистов. «Здравый смысл о войне» произвел оглушительный резонанс. На Шоу обрушилась лавина «патриотического» негодования его сограждан. Драматурга подвергли гонениям и остракизму. Он был исключен из Драматического клуба и атакован многочисленными газетами, обвинявшими его в предательстве национальных интересов. От него отступились знакомые и приятели. Драматург Генри Джонс, в течение ряда лет поддерживавший дружеские отношения с Шоу, упрекнул его за то, что он «оскорбил и ударил свою мать в то время, когда она лежала на одре болезни». Шоу ответил на это, что его «мать» Англия никогда еще не чувствовала себя более здоровой». «Подите к черту вместе с вашей больной матерью, вы, отступник», — писал он Генри Джонсу.

Зато на стороне Шоу оказалась вся передовая общественность мира. Одним из его сторонников был А. М. Горький. Познакомившись с памфлетом Шоу, великий русский писатель сделал попытку привлечь английского драматурга к участию в «Летописях». «Если Вы, — писал Горький, — позволите мне сказать откровенно, я скажу, что и не ожидал видеть Вас, одного из самых смелых людей Европы, ослепленным и оглушенным впечатлениями мировой катастрофы. Скептицизм англосакса, это, может быть, лучшее, до чего додумался мир, и Вам, Шоу, это лучшее свойственно в высокой степени, как о том говорит все, что посеяно Вами в мире. Я надеюсь, что Вы не найдете эти слова неуместными, мне продиктовало их чувство моего уважения к Вам, восхищения Вами».[1]

При поддержке лучших людей мира Шоу осуществлял энергичную антивоенную пропаганду. Главной формой распространения анти-

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1949—1956. Т. 29, 345—346.

милитаристских идей драматурга стали его три небольшие фарса: «О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории» (1915), «Инка Перусалемский» 1916) и «Огастес выполняет свой долг» (1916).

О'ФЛАЭРТИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ВИКТОРИИ

Эта сатирическая миниатюра была впервые поставлена офицерами 4-го эскадрона на восточном фронте в Бельгии 17 февраля 1915 г. На профессиональную сцену она попала в нью-йоркском театре 39-й улицы, где ее исполнила в июне 1920 г. труппа ирландских актеров Деборы Байен.

В декабре 1920 г. пьеса была поставлена в Англии силами «Театрального общества» на сцене Лирического театра.

20 ноября 1924 г. Шоу прочел пьесу по Лондонскому радио.

В своей первой антимилитаристской пьесе Шоу предпринимает дискредитацию демагогических лозунгов войны. Антивоенную тему писатель-ирландец объединяет с другой, всегда волновавшей его темой национальной трагедии ирландского народа. Объединение этих двух политических проблем диктовалось самим ходом истории. Катастрофа 1914 г. привела к дополнительному обострению англо-ирландских отношений, и без того носивших сложный характер. Новые тяготы, которые легли на плечи ирландских трудящихся в связи с войною, стали одной из причин ирландского восстания 1916 г. (так называемая Кровавая пасха).

Созданная в преддверии этих событий, пьеса Шоу характеризует настроения простых людей Ирландии, втянутых помимо своей воли в чужое для них дело.

Герой пьесы рядовой О'Флаэрти, награжденный орденом Виктории за свои патриотические заслуги, уже начал производить ту переоценку ценностей, которая была одним из результатов первой мировой войны.

Опыт окопной жизни освободил его от многих иллюзий, в первую очередь от иллюзии «патриотизма», под которой, как убеждается О'Флаэрти, скрывается не любовь к родине, а комплекс шовинистических и националистических идей. Глубоко сомнительная сущность этого расхожего демагогического понятия особенно остро ощущается в условиях Ирландии, где английский «патриотизм» вступает в конфликт с местным ирландским патриотизмом. Идея защиты Англии, естественно, не пользуется популярностью среди людей, разоренных и обездоленных ею. Но и другая, ирландская разновидность «патриотизма», носительницей которой является вздорная старуха – мать О'Флаэрти, эта «Волумния картофельных полей»,[1] как именует ее Шоу в предисловии к пьесе, не пользуется сочувствием О'Флаэрти. Выступая с позиций пацифизма, драматург полагает, что человечество обретет покой лишь тогда, когда оно избавится от патриотизма (иначе говоря, от национализма) в любой его форме. Здравомыслящий человек из народа, О'Флаэрти считает, что любая война – зло, и если в конце концов он выражает желание вернуться на фронт, то отнюдь не из патриотических побуждений, а только потому, что тыл ничем не лучше фронта. «Сокровенная мечта каждого ирландца,– поясняет

[1] Волумния, мать шекспировского героя Кориолана,– олицетворение римского патриотизма.

Шоу в предисловии, – заключается в том, чтобы удрать из Ирландии» Доведя эту парадоксальную мысль до крайней степени гротеска, драматург устами своего героя утверждает, что даже окопная жизнь может показаться идиллией по сравнению с домашним «уютом» и его неизбежными атрибутами: патриотическим пустозвонством, собственнической жадностью, обостренной нищетой и непрерывными семейными склоками.

Стр. 373. *Парнелл* (1846–1891) – видный деятель ирландского национального движения, лидер партии сторонников гомруля, требовавших самоуправления Ирландии в рамках Британской империи.

...до самого креста из Моунастербойса. – Речь идет о памятнике древней кельтской культуры, сохранившемся в Моунастербойсе, графство Лаут, на северо-востоке Ирландии.

Фении – ирландские мелкобуржуазные революционеры-террористы 50–60-х гг. XIX в., боровшиеся против английского колониального гнета. Восстание фениев в 1867 г. потерпело неудачу.

Святой Патрик (ум. в 465) – основатель ирландской католической церкви и ее первый епископ; впоследствии считался покровителем Ирландии. С его именем связано много легенд.

...французы вышли в море оранжистам всем на горе, как предсказывала Шон Ван Вохт. – Оранжисты – члены ирландской ультрапротестантской партии; Шон Ван Вохт (ирл.) – «бедная старая женщина», одно из аллегорических названий Ирландии.

Стр. 376. *Боттомли, Горацио* – член английского парламента, финансовый делец. В годы первой мировой войны Горацио Боттомли стал известен скандальной спекуляцией ценными бумагами.

Стр. 378. *Твоя мать заставляла тебя молиться о моем обращении в католичество?* – Здесь и ниже – ссылки на традиционную религиозную вражду между ирландцами-католиками и англичанами-протестантами.

Стр. 379. *Малахия* – ирландский епископ XII в., позднее причисленный к лику святых. Подчинил ирландскую церковь папе римскому

Стр. 380. *Гладстон, Уильям Юарт* (1809–1898) – английский государственный деятель. Возглавлял правительство либералов, искал поддержки Ирландии и в 80–90-х гг. неоднократно вносил в парламент законопроект о гомруле.

Асквит, Герберт Генри (1852–1928) – английский государственный деятель. Будучи премьер-министром Великобритании в 1908–1916 гг обещал предоставить Ирландии гомруль.

Редмонд, Джон Эдвард (1856–1918) – ирландский политический деятель, способствовавший проведению в парламенте в 1912 г. законопроекта о гомруле.

Брейхед – западная оконечность острова Валенсия на атлантическом побережье Ирландии.

..наши семь церквей построены Моисеем и что Лазарь похоронен в Глазневине. – Моисей, Лазарь – библейские пророки; семь церквей – средневековый центр христианства в Ирландии, в Клонмакнойзе Глазневин – предместье Дублина.

Корк – город на юго-западе Ирландии.

Стр. 388. *Планкет, Горацио* – политический деятель; в начале XX в возглавил созданный им ирландский департамент земледелия.

Эта «почти историческая комедия», написанная, как указывает подзаголовок пьесы, «членом Королевского литературного общества», была создана в 1913 г., но на сцену попала в 1916 г Впервые поставленная на сцене Бирмингемского театра, в декабре 1917 г. была исполнена в театре «Крайтирион» группой Пайэнирс Плейерс.

На профессиональную сцену Бедфордского театра пьеса попала в 1949 г. В мае 1951 г. ее постановку осуществил театр «Артс».

Вторая антивоенная миниатюра Шоу подвергает сатирическому развенчанию одного из главных инициаторов первой мировой войны — немецкого кайзера Вильгельма II. Личность этого государственного деятеля, претендовавшего на роль европейского диктатора, в предвоенные и первые военные годы была предметом своеобразного культа, усиленно создаваемого агрессивными и милитаристскими кругами Германии. Легенда о могуществе кайзера, о его многочисленных талантах и военном гении была рассчитана на то, чтобы вызвать суеверный страх у врагов Германии и создать представление о ее непобедимости. Сатира Шоу была направлена на дискредитацию этого мифа.

В предисловии к пьесе драматург, в порядке разъяснения своего замысла, доводит до сведения читателей, что его пьеса была создана в 1913 г., т. е. в то время, когда Вильгельм в глазах подавляющего большинства людей был еще «Цезарем», внушавшим ужас противникам. «Многие боялись его до такой степени,— пишет Шоу,— что не могли простить мне, что я его не боялся: им казалось, что я легкомысленно играю со смертельной опасностью».

«Каждый, кто испытывал сомнение относительно совершенств германской военной организации, макиавеллиевских тонкостей германской дипломатии, глубины философских и исторических познаний немцев, именовался германофобом»,— утверждает драматург. Выступая против подобной «аберрации зрения», Шоу создает в своей пьесе карикатурный образ Вильгельма II, давая ему вымышленное имя Инки Перусалемского. Этот новый «Наполеон», упоенный собственным величием, на деле является фанфароном и хвастуном: его голова набита всяким вздором, которым ее начинили окружающие Инку дураки и льстецы. Со свойственным Шоу мастерством сатирического разоблачения драматург совлекает с Инки «маскарадный костюм» и демонстрирует духовную наготу своего героя. Все атрибуты его величия оказываются набором фикций: фиктивна его гениальность, его государственная мудрость, таланты его сыновей и его собственные, его богатство и т. д. Под маской «Цезаря» скрывается глубоко посредственный, заурядный, недалекий человек, который в меру своей человечности иногда даже оказывается способным высказать и некоторые здравые суждения (иначе говоря, суждения самого Шоу). Грозный и самовлюбленный монарх, сколь ни парадоксально, догадывается об обреченности монархии как формы государственного устройства. Втайне он мечтает (предвосхищая планы короля Магнуса из позднее созданной пьесы Шоу «Тележка с яблоками») стать Суперпрезидентом коалиции европейских республик.

В отличие от многих дипломатов и политиков, Инка понимает даже то, что истинными виновниками войны являются его верноподданные, которые не ценили его, когда он делал попытки усовершен-

ствовать их жизнь, и прониклись уважением к нему, когда он подарил им смерть в ее самых страшных формах. Делая Инку рупором собственных идей, Шоу показывает, что непобедимый «Цезарь» есть не что иное, как бутафорское сооружение, за которым скрывается преступное своекорыстие собственников и неразумие человечества, готового вкладывать миллионы в дело убийства и разрушения, вместо того чтобы потратить их на нужды культуры, на народное образование, на улучшение жизненных условий голодающих и бедствующих людей.

Стр. 393. *...членом Королевского литературного общества...* — Королевское литературное общество, патроном которого являлся Георг IV (1820—1830), основано в 1823 г.

Стр. 395. *...цезарь, послуживший прототипом ее главного героя...* — Имеется в виду германский император Вильгельм II (1859—1941), свергнутый с престола революцией 9 ноября 1918 г.

...в макиавеллиевской мудрости немецкой дипломатии... — Термин «макиавеллизм» восходит к трудам итальянского политического мыслителя Никколо Макиавелли (1469—1527), допускавшего любые нарушения законов морали ради упрочения государства.

Стр. 408. *Генрих Птицелов* — германский император Генрих I (920—936).

Стр. 415. *...в Байрейт, чтобы наслаждаться музыкальными драмами самовлюбленного мятежника Рихарда Вагнера, которого следовало расстрелять, не дав ему дожить до сорока; впрочем, его и собирались расстрелять...* — Великий немецкий композитор Рихард Вагнер (1813—1883) принимал участие в Дрезденском восстании 1849 г., после разгрома которого был объявлен государственным преступником и покинул Германию. В 1876 г. в Байрейте (Бавария) открылся оперный театр, предназначенный для исполнения произведений композитора. С 1882 г в Байрейте проводятся фестивали вагнеровской музыки.

ОГАСТЕС ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ

Этот «драматический трактат в свободной форме» был впервые поставлен «Театральным обществом» в театре «Ройал Корт» 21 января 1917 г. В 1919 г. пьеса была исполнена нью-йоркским Театром комедии и выдержала 111 представлений.

Маленькая сатирическая пьеска «Огастес выполняет свой долг» проясняет одну из существенно важных сторон антимилитаристской позиции Шоу.

Его отношение к войне было свободно от каких бы то ни было национальных пристрастий. Он не отдавал предпочтения ни одной из воюющих сторон. Англия в его глазах была виновна не менее, чем Германия. Официальная трактовка роли Англии как спасительницы мировой цивилизации от тевтонского варварства вызывала жестокие насмешки драматурга. За ширмой демагогических лозунгов он открывал грязную возню политических реакционеров всех мастей. Несколько переоценивая роль дипломатии в происходящей мировой трагедии (в частности, роль английского министра Эдмунда Грея — одного из заурядных политических деятелей), Шоу утверждал, что главную ответственность за войну несут «дипломаты и политики». «Я твердо решил, — рассказывал он впоследствии своему биографу Хендерсону, —

что дипломаты и милитаристы, затеявшие войну, не заслужат благодарности человечества за то, что они спасли его от опасности, которую сами же на него навлекли».[1]

Подвергая осмеянию государственных мужей Англии, Шоу создает собирательный сатирический портрет – воинствующего патриота лорда Огастеса, болтуна и хвастуна, «неустрашимого» только в столкновениях со своим стариком секретарем. О способностях этого государственного деятеля и степени его пригодности к порученной ему ответственной роли дает исчерпывающее представление центральная драматическая ситуация пьесы. Предприимчивая светская дама, побившаяся об заклад с братом Огастеса, что она унесет из-под носа его родственника секретный документ большого военного значения, с успехом выполняет это предприятие. «Чугунный череп» лорда Огастеса способен причинить Англии не меньше неприятностей, чем ее непосредственный враг – «тевтонские орды».

Угрозу существованию Англии Шоу видит не только в агрессивности Германии, но и в бездарности и безответственности людей, составляющих оплот британской государственности. Болезнь, поразившая страну, гнездится у нее внутри. Эта мысль, на которую намекают маленькие сатирические пьески военных лет, глубокое и полное выражение получит в драме «Дом, где разбиваются сердца»

Стр. 429. *Рамсгит* – морской порт на юге восточного побережья Англии.

Скегнес – город на восточном побережье Англии в 125 милях севернее Рамсгита.

Стр. 431. *Вспомните Нелсона в Балтийском море.* – Речь идет о внезапном нападении английского флота под командованием адмирала Нелсона (1758–1805) на датский флот в 1801 г. и бомбардировке Копенгагена. Эти действия были проведены Нелсоном самовольно, без правительственного приказа.

АННАЯНСКА, СУМАСБРОДНАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА

Новый этап творческой эволюции Шоу начался вместе с Великой Октябрьской социалистической революцией.

Драматург оказался в числе тех представителей передовой интеллигенции мира, кто безоговорочно принял русский революционный переворот и дал ему справедливую оценку. Поняв мировое значение Октябрьских событий, Шоу увидел в них начало новой эпохи в истории человечества. Эту позицию, определившуюся уже в самом начале революции, Шоу неизменно сохранял и в дальнейшем. На протяжении всей своей последующей жизни он с неослабевающим интересом следил за быстрым ростом социалистического государства и неоднократно высказывался о нем в духе горячего сочувствия. Дружба с СССР и контакты с выдающимися русскими политическими и литературными деятелями сыграли важную роль в писательской биографии Шоу и наложили заметный отпечаток на его творчество.

Октябрьская революция и возникновение Советского Союза произвели решающие сдвиги в мировоззрении драматурга. Революцион-

[1] Цит. по. Henderson A. Bernard Shaw "A man of the century". N. Y., 1956, p. 292.

ная гроза, пронесшаяся над миром, окончательно развеяла его иллюзии относительно возможности исправления и усовершенствования существующей социальной системы. Укрепив представление Шоу об обреченности буржуазной цивилизации, события русской жизни убедили его и в полной несостоятельности буржуазного парламентаризма. В статье «Диктатура пролетариата» (1912) драматург заявил о том, что «политическая машина капитализма не способна произвести социализм так же, как швейная машина жарить яйца».[1] Придя к такому выводу, Шоу с присущей ему логической последовательностью предпринял реабилитацию насилия как средства преобразования действительности.

В той же статье «Диктатура пролетариата» он говорит о необходимости уничтожения контрреволюции и контрреволюционеров, так как «малейшая слабость по отношению к ним может вернуть страну в состояние царизма, когда рабочие жили в подвалах и получали гроши и когда женщин держали в тюрьмах только за то, что они учили детей грамоте».

Толкнув драматурга на путь переоценки фабианских ценностей, революция вместе с тем содействовала и укреплению некоторых принципов его жизненной философии. Революционные свершения русского народа усилили его веру в могущество воли и разума людей, в их неограниченные творческие возможности, в право и способность переделывать мир. Все происходящее в России он воспринял как грандиозный эксперимент ищущего и творящего человеческого духа. При всей односторонности и сомнительности такого чисто интеллектуального взгляда, он во многих отношениях оказался творчески состоятельным. На его основе была создана монументальная драматическая пенталогия Шоу «Назад к Мафусаилу» (1918—1920).

Представление Шоу о революции как о могучем взрыве жизненной энергии еще до создания пенталогии воплотилось в небольшой пьеске «Аннаянска». В образе ее главной героини — волевой, сильной женщины, наделенной ясным умом и большой смелостью, воплотилась «душа» революции. Ее появление подготовлено ранее созданными пьесами Шоу. Ведя свое происхождение и от Виви Уоррен, и от Барбары Андершафт, и от героини маленького музыкального фарса «Лечение музыкой», эта мужественная женщина-воительница, в свою очередь, предвосхищает появление таких характеров, как Жанна д'Арк («Святая Иоанна»), миллионерша Епифания («Миллионерша»). Шоу реализует в них свою концепцию о биологическом превосходстве женщин как носительниц «Жизненной силы» над мужчинами, которые лишь по недоразумению пользуются репутацией «сильного пола». Несмотря на то, что события его пьесы происходят в вымышленной стране Беотии, драматург пытается создать ощущение некоторой национальной специфики. В действиях героини пьесы можно усмотреть отдаленную аналогию с поведением Екатерины II, которая, как и Аннаянска, явилась к солдатам, переодевшись в офицерский мундир, и обратилась к ним с призывом бороться за правое дело.

Написанная в условной манере, эта пьеса по форме своего драматического построения уже приближается к гротескно-фантастическим пьесам (так называемым экстраваганцам), составившим основную часть творческого наследия позднего Шоу.

---

[1] Shaw Bernard. The dictatorship of the proletariat. London, 951, p. 17.

Стр. 445. *Маккарти, Лила* (1875—1960) — английская актриса, выступавшая в главных ролях во многих постановках пьес Шоу, который высоко ценил близкие ему особенности ее исполнительского таланта. Роль Аннаянски сыграна ею незадолго до ухода со сцены (в 1920 г.).
Рикетс, Чарлз (1866—1931) — английский художник и театральный декоратор, создавший эскизы костюмов к целому ряду постановок пьес Шоу. Шоу называл Рикетса «подлинным художником, художником-энтузиастом».
Сидонс, Сара (1755—1831) — английская трагическая актриса, представительница позднего классицизма.
Рейнолдс, Джошуа (1723—1792) — английский художник-портретист, организатор и первый президент (1768—1790) Лондонской Академии художеств.
«Колизей» — театр в Лондоне, открытый в 1904 г. и первоначально функционировавший как мюзик-холл.
Джонсон, Сэмюэл (1709—1784) — английский критик, лексикограф, эссеист и поэт. В предисловии к изданию сочинений Шекспира (1765) оспаривал некоторые положения классицистской театральной эстетики.
Стр. 456 *...вся королевская конница и вся королевская рать* — вошедшие в Англии в поговорку слова из стихотворения (переведенного С. Я. Маршаком) о Шалтае-Болтае — персонаже книги Льюиса Кэррола «Алиса в Зазеркалье» (1871).

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА

«Дом, где разбиваются сердца» — одна из лучших, наиболее поэтичных пьес Шоу. Он начал ее писать еще до начала войны, в 1913 г., наметив стержневой мотив — духовное разложение паразитических классов буржуазного общества. Завершив пьесу в 1917 г., драматург обнародовал ее только в 1919 г., обобщив результат своих многолетних размышлений о судьбах буржуазной собственнической цивилизации.

Премьера пьесы состоялась в американском театре «Гилд» 10 ноября 1920 г. В Лондоне пьеса была поставлена Д. В. Фейгеном 18 октября 1921 г. в театре «Корт» и не возобновлялась до 25 апреля 1932 г., когда она появилась на сцене Театра ее величества. Пьеса, по свидетельству С. Б. Пэрдома, была «воспринята зрителями с глубоким уважением и в дальнейшем всегда производила сильное впечатление на публику».[1] Рецензируя первую постановку драмы, «Таймс» отметила, что из всех пьес Шоу она более всего насыщена эмоциями, более всего пронизана «теми чувствами, которые испытывает обыкновенный, чувствующий человек».

В Советском Союзе пьеса шла на сцене Московского театра сатиры в 1962 г. В том же году ее поставил Латвийский художественный театр (Рига).

В творческой биографии Шоу пьеса занимает особое место. Ею открывается период деятельности драматурга, который обычно называют второй эпохой его творчества. Наступление этой эпохи было результатом великих мировых потрясений. Война 1914 г. и революционные события в России произвели переворот в сознании драматурга,

[1] Purdom C. B. Harley Granville Barker. London, 1956, p. 265

они воочию продемонстрировали несостоятельность его надежд на исправление и оздоровление буржуазного мира и на возможность пробуждения его представителей. Отказываясь от своих реформаторских фабианских иллюзий, Шоу в предисловии к новой пьесе развивает мысль о неисправимой испорченности мира и человека. Это печальное состояние человечества драматург рассматривает как результат мировой войны. «Подвергая такому напряжению человеческую природу,— пишет он в том же предисловии,— война губит лучшую ее часть, а худшую награждает дьявольской силой». Согласно утверждению драматурга, события 1914 г. помогли ему встать на точку зрения Шекспира, «сравнивавшего человека со злой обезьяной, и Свифта, изобразившего его в виде йеху, укором которому служат высокие добродетели лошади». В соответствии с таким углом зрения его новые пьесы, начиная с «Дома, где разбиваются сердца», стали пьесами не только об изжившей себя, обреченной буржуазной цивилизации, но и об обреченных, внутренно исчерпанных людях. Тема «суда истории», получившая значение центрального мотива в драмах «второй эпохи», впервые сформулирована здесь со всей полнотой. Все это повлекло за собой значительные сдвиги в художественном методе драматурга.

Особую форму драматического выражения своей темы Шоу нашел с помощью драм Чехова. Творчество великого русского писателя стало одним из важнейших литературных факторов, толкнувших драматурга на путь известной трансформации собственной художественной системы. В годы, предшествующие первой мировой войне, чеховские драмы еще только начинали свою сценическую жизнь на подмостках английских театров. В Англии они были известны лишь небольшому кругу любителей «серьезной драмы»— жанра, который отнюдь не пользовался популярностью у широкой зрительской аудитории. Предвоенные и военные годы в истории английского театра были временем господства коммерческих театральных предприятий, наводнивших сцену продукцией всякого рода литературных посредственностей. Произведения больших драматургов, в первую очередь Бернарда Шоу, не могли выдержать конкуренцию с сентиментальными мелодрамами.

Буржуазные зрители, заметно охладевшие к Шоу уже за несколько лет до начала войны, прониклись к нему еще более острой неприязнью в связи с его антимилитаристской позицией. Двери лондонских театров оказались закрытыми для его антивоенных пьес, и премьера «Дома, где разбиваются сердца» состоялась не в Англии, а в американском театре «Гилд». В обстановке травли и недоброжелательства, сложившейся вокруг Шоу, Чехов стал для него своего рода литературным знаменем, опорой в его борьбе с реакционерами от литературы и политики. Подчеркивая связь своей пьесы с традицией чеховского театра, Шоу назвал ее «фантазией в русском стиле на английские темы». «Под влиянием Чехова,— пояснял он,— я написал пьесу на ту же тему и назвал ее «Дом, где разбиваются сердца». Это не самая худшая из моих пьес, и, надеюсь, она будет принята моими русскими друзьями как знак безусловного преклонения перед одним из их величайших поэтов-драматургов».[1]

Русский драматург помог Шоу до конца раскрыть и сформулировать ту тему, которая выросла из глубинных основ его собственного творчества,— тему внутреннего кризиса буржуазного мира, полной

[1] Лит. газ., 1944, 15 июня.

исчерпанности его духовной и практической жизни. Придя к этой теме в логике своего внутреннего развития, английский драматург прочел драмы Чехова по-своему, сделав ударение на тех их сторонах, которые в наибольшей степени отвечали его собственным идейным настроениям. Если автор «Трех сестер» и «Дяди Вани» всей логикой образного развития своих драм показывает, что виновны не столько их персонажи, сколько «сложение обстоятельств, находящееся вне сферы воздействия данных людей»,[1] то Шоу обвиняет главным образом «никчемных культурных бездельников, не занимающихся производительным трудом». По мнению Шоу, Чехов уже полностью утратил надежду на то, что эти очаровательные люди могут выкарабкаться, и именно поэтому-то, не стесняясь, подчеркивал их очарование и даже льстил им. В соответствии с такой трактовкой в прочтении Шоу драмы Чехова превратились в своего рода трагикомедии исторического возмездия, постигшего русскую интеллигенцию за совершенные ею преступления перед обществом и историей.

Его собственная пьеса давала этому мотиву чрезвычайно широкое выражение. Ее основной темой, как поясняет драматург, должна была стать трагедия «культурной праздной Европы перед войной». Преступление английской интеллигенции, согласно утверждению Шоу, заключалось в том, что, замкнувшись в своем тесном обособленном мирке, она предоставила всю область жизненной практики в распоряжение беспринципных хищников и невежественных дельцов. В результате произошел разрыв культуры и жизни. «Сила и культура оказались в разных помещениях». Рядом с домом разбитых сердец расположилось другое символическое здание – Зал для верховой езды, так называемый Манеж, и в руках его зоологически грубых обитателей сосредоточилась полнота государственной власти. «Варвары, – пишет Шоу, – не только буквально сидели в седле, но сидели они и на министерской скамье в палате общин, и некому было исправлять их невероятное невежество в области современной мысли и политической науки».

Такое положение вещей, согласно убеждению Шоу, и подготовило военную катастрофу, ответственность за которую драматург возлагает на оторвавшуюся от жизни интеллигенцию. При ее содействии Англия стала страной, чей герб с изображением святого Георгия, поражающего дракона, «следовало бы заменить изображением солдата, пронзающего копьем Архимеда». В разгуле варварства и в поругании культуры виновна «культурная, праздная Англия», и Шоу в своей пьесе вершит суд над нею. Основная тема пьесы – это тема исторического возмездия, постигшего буржуазную интеллигенцию. Но содержание драмы выходит за пределы этого замысла.

В пьесе воплотилась трагедия буржуазной цивилизации, вступившей в конфликт с логикой исторического развития. Широта этого конфликта определила формы его художественного воплощения. Драматургическая схема чеховских пьес в драме Шоу в соответствии с принципом парадокса оказалась перевернутой. Если у Чехова второе, символически-философское измерение пьесы образует ее подтекст, то у Шоу оно приобретает драматически зримый облик и не только

---

[1] Скафтымов А. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова. – В кн.: Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, с. 331.

существует на равных правах с реалистическим планом драмы, но и обнаруживает стремление к полновластному овладению сценой.

С этим связана подчеркнутая двойственность образной структуры пьесы. Каждый из ее образов, начиная с драматических характеров и кончая деталями сценической обстановки, как бы двоится и поворачивается к зрителю то обыденно-житейской, то условно-символической стороной. Эта двойственность драматического рисунка свойственна прежде всего центральному образу пьесы – образу дома-корабля, «дома, где разбиваются сердца». Выстроенное по модели корабля старым чудаком капитаном Шотовером, это странное причудливое здание ассоциируется и с английской песней о Британии как владычице морей («Правь, Британия! Британия, правь над волнами»), и с легендой о корабле-призраке («летучем голландце»), и, наконец, с Ноевым ковчегом, заселенным самыми различными экземплярами утопающего мира. Этот «странный душераздирающий дом», «дом без всяких основ» – символический образ буржуазной Англии, стоящей на грани великой исторической катастрофы. Под крышей этого символического здания собраны люди различного возраста, разных профессий, различных имущественных и общественных положений. Но кроме этих видимых персонажей, здесь как бы присутствует еще один, невидимый, чье незримое присутствие ощущается благодаря множеству образных деталей и томительно напряженной атмосфере пьесы. Этот персонаж может быть условно обозначен словом «судьба». Для Шоу это понятие лишено мистического содержания. Судьба для него – сила исторического возмездия. Встречаясь с «роком», персонажи пьесы, по сути дела, встречаются с враждебной им историей, на суд которой они несут свои обветшавшие духовные, культурные и моральные ценности. Демонстрация безнадежной мертвенности этого накопленного веками достояния составляет важнейшую сторону авторского замысла. Шоу показывает, как доживающий последние мгновения своей жизни собственнический мир тщетно пытается найти точку опоры среди арсенала привычных идей и чувств. Превратившиеся в пустые оболочки, традиционные формы духовной жизни буржуазного мира служат только масками, скрывающими духовную наготу его представителей. Перед лицом истории эти личины спадают и душевная нищета обанкротившихся сыновей и дочерей буржуазной Англии предстает во всей своей удручающей неприглядности. Этот процесс духовного «оголения» и составляет драматическую основу пьесы. Подводя итог деятельности нескольких поколений английской интеллигенции, Шоу приводит на суд истории своих персонажей, каждый из которых, обладая ярко выраженным индивидуальным характером, воплощает определенную тенденцию культурного и духовного развития Англии. Так, изящный джентльмен Гектор Хэшебай выступает в пьесе не только как романтик, но и как олицетворение романтизма (под которым Шоу, как всегда, понимает не литературное направление, а определенный тип восприятия действительности). Этот пылкий фантазер, как показывает Шоу, был всю жизнь последовательным и вдохновенным «рыцарем лжи». Всю жизнь он обманывал себя и других своими выдумками. Собственная реальная жизнь не удовлетворяла его (а это пренебрежение к реальности для Шоу и есть главное «преступление» романтизма), и он придумывал себе другую, полную героических подвигов и чудесных приключений. Годы шли, и его пылкое воображение, растраченное на ложь, истощилось. Он перестал верить самому себе, не верят ему и другие. «Романтизм» превратился в немолодого джентльмена,

уставшего от лжи, — бывшего красавца, утратившего веру в свою неотразимость.

Но не меньше изжила себя и философия трезвого практицизма Ее носитель — пожилой делец Менген — тоже весь состоит из лжи и подделок. Поддельна его энергия, его богатство, его деловитость. У него нет ни денег, ни практической сметки, ни деловых способностей, нет ничего за душой, кроме фальшивой репутации преуспевающего дельца, с помощью которой он умудряется кое-как держаться на поверхности жизни. Из всех обитателей дома-корабля он внушает Шоу наибольшую ненависть, ибо именно «из-за таких, как он, мир превратился в кормушку для свиней». Гость из Манежа, случайно очутившийся на борту корабля, Менген оказался самым беззащитным перед судом истории. Этот делец-марионетка, как и вся представляемая им система, прогнил изнутри и может держаться лишь благодаря искусственным подпоркам. Обнаружив, что они более не спасают его, он слабеет и теряется. Объятый предсмертной тоской, он мечется по сумеречному дому капитана Шотовера и вместе со своим собратом по ремеслу профессиональным вором Дэном гибнет в пламени начинающегося пожара. Обнажая грабительскую сущность капитализма, эта символическая ситуация вместе с тем предрекает ему скорую и неминуемую гибель. Но и остальные обитатели дома-корабля обречены. Процесс распада буржуазной Англии коснулся и сферы самых интимных человеческих эмоций, превратив их в орудие смерти и разрушения. Ни нежность Гесионы, ни чувственное обаяние ее сестры леди Этеруорд не способны спасти гибнущий мир и вдохнуть в него живую душу. Любовь здесь превратилась в жестокую игру, и ей предается не только Ариадна, это воплощение колонизаторских рабовладельческих нравов империалистической Англии, но и кроткая женственная Гесиона. У этих немолодых очаровательниц уже все позади, и для них не существует завтрашнего дня. Но будущего нет и у «молодой Англии» — юной Элли Дэн, стоящей на самом пороге жизни. Ее иллюзии гибнут, соприкоснувшись с жестокой правдой жизни. Несостоятельными оказываются и ее романтическая влюбленность в высокопарного лжеца Гектора, и предполагавшийся брак по расчету с богатым дельцом Менгеном.

В истории Элли Дэн присутствует некоторый оттенок литературной пародии. В число изживших себя культурных ценностей буржуазного мира Шоу включает и примелькавшиеся литературные стандарты. Традиционная мелодраматическая ситуация — юная девушка, разочаровавшаяся в своем первом чувстве, выходит замуж за богатого старика — также отжила свой век, как и романтизм Гектора, и практицизм Менгена. Из всего, что завещано «юной Англии» предшествующими поколениями, наибольшей реальностью обладают лишь воспоминания о давно минувшем историческом прошлом, в котором Шоу, при всем своем скептическом отношении к нему, находит и некоторые здоровые начала. Они воплотились в образе престарелого капитана Шотовера, и именно поэтому девятнадцатилетняя Элли вступает в духовный брак с ним. Носитель героических традиций английской истории, капитан Шотовер выступает в роли обвинителя на этом своеобразном суде истории. Ее вчерашний день в его лице с презрением и гневом судит современность. Дряхлый моряк, живший когда-то деятельной и полной жизнью, стоявший на капитанском мостике во время тайфуна, бесстрашно направлявший свой корабль в гущу арктических льдов, равно чужд и поблекшему романтизму своих детей, и их убогому прозаическому

практицизму. Но и он, этот обломок далекого прошлого, не может приостановить слишком далеко зашедший процесс распада цивилизации. Об этом свидетельствует само состояние его дома, где царит хаос и беспорядок, где все обветшало, прогнило и пришло в состояние негодности. Уже много лет здесь никто не заботится о чистоте и уюте, обитатели жилища давно махнули рукой на жизнь и кое-как коротают свой век, предоставив все на свете «Менгенам, случаю и сатане».

Дряхлому владельцу обреченного «корабля» – этой «темницы душ, которая зовется Англией», – уже не под силу плыть против течения. И он концентрирует остатки своей жизненной энергии для того, чтобы создать смертоносные орудия, способные стереть с лица земли выродившееся, умирающее общество. Эта символическая подробность деятельности Шотовера обобщает направление развития буржуазной цивилизации. Она исчерпала себя, и ей осталось только одно – саморазрушение. Ее творческая мысль в лице капитана Шотовера служит не жизни, а смерти.

Подсознательное и сознательное стремление к смерти живет и в разбитых сердцах персонажей драмы. Устав от жизни, они хотят умереть. Этим духовным состоянием буржуазного общества и подготовлена та оргия всеобщего разрушения, на которую намекает финал пьесы. Немецкий бомбардировщик роняет бомбу на склад динамита, расположенный поблизости от дома-корабля. Пламя вспыхнувшего пожара, несомненно, распространится и на весь старый мир, – недаром уставшие от жизни обитатели дома мечтают о возвращении бомбардировщиков. На этой зловещей ноте, усиленной напевом сентиментальной песенки «Пылайте, огни очагов», завершается пьеса Шоу – эта своеобразная «отходная» буржуазному обществу.

В жестокой иронии Шоу есть и некоторый личный оттенок. Пьесой «Дом, где разбиваются сердца» он подводит итог не только многовековому развитию буржуазной цивилизации, но и своей собственной многолетней деятельности, направленной на улучшение господствующей социальной системы. Его мечты о ее оздоровлении и о создании «новых людей» в условиях глубочайшего распада существующего жизненного уклада обернулись наивной и беспомощной утопией. Отсюда то чувство лирической печали, которое пронизывает его драму, сообщая ей в сочетании с его обычной ядовитой иронией неповторимо своеобразное звучание.

Стр. 464. *Капуя* – древний город в Кампании, в IV в. до н. э. получивший от Рима самоуправление. Жители Капуи славились пристрастием к роскоши. Здесь карфагенский полководец Ганнибал разбил свой зимний лагерь после победы над римлянами в сражении при Каннах (216 до н. э.). Длительное бездействие Ганнибала, якобы поддавшегося «чарам Капуи», вызвало недовольство. В переносном смысле Капуя – место безмятежной праздности.

«Зал для верховой езды» – ср. слова леди Этеруорд: «Поезжайте куда угодно в Англии, где живут нормальные, здоровые, довольные, настоящие, порядочные англичане, и вы увидите, что главный стержень всего дома – это конюшни...» (акт III).

Стр. 464–465. *...в садах Клингсора.* – Поэт и волшебник Клингсор – персонаж музыкальной драмы Р. Вагнера «Парсифаль» (1877–1882), сюжетную основу которой составляют эпизоды средневековых германских легенд. Лишенный права вступления в общину св. Грааля,

Клингсор воспылал ненавистью к рыцарям, которых заманивал в свой сад с помощью прекрасных дев и убивал.

Стр. 465. *Гренвилл-Баркер, Харли* – см. примеч. к с. 121.

Уэллс, Герберт Джордж (1866–1946) – английский писатель и публицист.

Беннет, Арнолд (1867–1931) – английский писатель.

Голсуорси, Джон (1867–1933) – английский писатель и драматург.

Блейк, Уильям (1757–1827) – английский поэт-романист и художник.

Бергсон, Анри – см. примеч. к с. 174.

Батлер, Сэмюэл – см. примеч. к с. 207.

Скотт Холдейн, Джон (1860–1936) – английский ученый-физиолог, изобрел средства охраны труда в шахтах. Основные труды его посвящены проблеме дыхания.

Мередит, Джордж (1828–1909) – английский поэт и писатель-романист.

Харди, Томас (1840–1928) – английский писатель, высоко ценимый М. Горьким.

Стр. 466. *Бонд-стрит* – одна из главных торговых улиц в деловой части Лондона.

...предчувствиями м-ра Г. Дж. Уэллса. – Подразумевается трактат Г. Дж. Уэллса «Предвидения воздействия технического и научного прогресса на жизнь и мышление человечества» (1901).

Эразм Роттердамский (1469–1536) – один из представителей европейского гуманизма эпохи Возрождения, филолог, писатель и богослов.

Мор, Томас (1478–1535) – см. примеч. к с. 15.

...во времена Карла Второго... – Карл II – английский король (царствовал в 1660–1685).

Стр. 467. *Кенсингтон-Гарденс* – большой парк в Лондоне, примыкающий к Гайд-парку, заложен в 1728–1731 гг.

Стр. 468. *Кальвинизм* – одно из протестантских вероучений, возникшее в XVI в. в Швейцарии и названное по имени его основателя Жана Кальвина (1509–1564).

Стр. 469 *...не говоря уж о Вагнере и тональных поэтах...* – Термином «тональная поэзия», возникшим в конце прошлого века, обозначаются музыкальные произведения (преимущественно для симфонического оркестра), основанные на заимствованных из области поэзии темах и образах. К «тональным поэтам», развивавшим в новое время принципы программного симфонизма, относят, в частности, немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864–1949), автора симфонических поэм «Дон Жуан», «Макбет», «Тиль Уленшпигель», «Дон Кихот» и др.

Стр. 470. *Ларошфуко, Франсуа де* (1613–1680) – французский писатель-моралист.

Стр. 471. *Пер Гюнт* – герой одноименной драматической поэмы Генрика Ибсена (1867).

Гиперестезия – повышенная, болезненная кожная чувствительность

Стр. 473. *Жорес, Жан* (1859–1914) – деятель французского и международного социалистического движения, активный борец против милитаризма. Убит накануне первой мировой войны французским шовинистом Р. Вилленом.

Клемансо, Жорж (1841–1929) – французский реакционный политический и государственный деятель, сторонник милитаризма.

Харди, Джеймс Кейр (1856—1915) — деятель рабочего движения Великобритании, реформист. В начале первой мировой войны занимал пацифистские позиции.
Ллойд Джордж, Дэвид (1863—1945) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии. Выступал за ведение войны до поражения Германии.

Стр. 475. *Фукидид* (ок. 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Истории Пелопоннесской войны».

Стр. 476. *...фигуру святого Георгия с драконом пора заменить на наших монетах фигурой солдата, пронзающего копьем Архимеда.* — По церковной легенде, святой Георгий Победоносец, в феодальной Европе патрон рыцарства, одолел в поединке дракона — символ зла и мрака. Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — выдающийся древнегреческий ученый — математик и механик, при взятии Сиракуз был убит римским солдатом.
Карманьола — французская революционная песня, сложенная восставшим народом в Париже в 1792 г.
Корробори — народный ритуальный танец аборигенов-австралийцев.
«Так часты будут кровь и гибель...» — Шекспир. «Юлий Цезарь» (акт III, сц. 1):

И кровь и гибель будут так привычны,
Ужасное таким обычным станет,
Что матери смотреть с улыбкой будут,
Как четвертует их детей война.

(Пер. Мих. Зенкевича)

Стр. 478. *Билл Сайкс* — персонаж романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1838), грабитель и убийца.

Стр. 479. *«Когда отцеживают комара и проглатывают верблюда...»* — ср.: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие» (Евангелие от Матфея, XXIII, 24).
...весной 1915 года наши молодые солдаты подверглись страшной бойне в Нев-Шатель и при высадке в Галлиполи. — Невшатель — небольшой город во Франции, на реке Эна — местность, где происходили тяжелые бои союзнических сил с германской армией. Дарданелльская (Галлипольская) операция была предпринята в 1915 г. союзниками против Турции. Высадка англо-французского морского десанта в Галлиполи (Гелиболу — турецкий порт на берегу Дарданелльского пролива) после кровопролитных боев закончилась полной неудачей и способствовала вступлению Болгарии в войну на стороне Германии.
«Лузитания» — пассажирский пароход, потопленный германской армией 7 мая 1915 г.

Стр. 480. *Скарборо* — город на востоке Великобритании, на побережье Северного моря.
Рамсгит — см. примеч. к с. 429.
Ютландская битва. — 31 мая — 1 июня 1916 г. в Северном море, западнее Ютландского полуострова, на котором расположена Дания, развернулось морское сражение между главными силами германского и британского военно-морского флота. Несмотря на тяжелые потери с обеих сторон, сражение не привело к решающему перелому в ходе

войны, однако затягивание военных действий вело к поражению Германии.

Стр. 485. *...понимаешь Шекспира, сравнивающего человека со злой обезьяной, Свифта, изображающего его в виде йэху...* – Шекспир. «Мера за меру» (акт II, сц. 2):

Но гордый человек...
он перед небом
Кривляется, как злая обезьяна,
И так, что плачут ангелы над ним.
(Пер. Т. Щепкиной-Куперник)

В романе английского писателя-сатирика Джонатана Свифта (1667–1745) «Путешествия Гулливера» (1726) Гулливер попадает в страну гуигнгнмов – благородных лошадей, которым противопоставлены омерзительные животные – йэху, внешне похожие на людей.

Герцог Веллингтон, Артур Уэлсли (1769–1852) – английский полководец и государственный деятель. Командовал союзными армиями в сражении с Наполеоном при Ватерлоо (1815).

«Если б великие люди... гремел бы и гремел». – Шекспир, «Мера за меру» (акт II, сц. 2):

О, если б все имеющие власть
Громами управляли, как Юпитер,–
Сам громовержец был бы оглушен,
Ведь каждый жалкий, маленький чиновник
Гремел бы в небесах,
И все гремел бы.
(Пер. Т. Щепкиной-Куперник)

Стр. 486. *Ипр* – город в Бельгии, при взятии которого 12 июля 1915 г. германская армия применила горчичный газ, названный ипритом.

..«умереть не трудно»... – последние слова Манфреда из одноименной драмы Байрона (1817):

Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна!
(Пер. И. Бунина)

...царство Владыки Мира и Спокойствия... – ср.: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь Мира» (Библия, Исайя, IX, 6).

Стр. 487. *В Доме Налагающего на нас блокаду, по Его словам, много помещений...* – ср.: «В доме Отца Моего обитателей много» (Евангелие от Иоанна, XIV, 2).

«Проклятие на оба ваши дома!» – Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт III, сц. 1).

...все присяжные заседатели Ярмарки Тщеславия... – аллегорический образ «Ярмарки Тщеславия» восходит к роману Дж. Беньяна «Путь паломника» (1684). Это выражение стало названием романа У. М. Теккерея, вышедшего в 1848 г.

Хейг. Дуглас (1861–1928) – британский фельдмаршал (1917), командовал британскими экспедиционными войсками во Франции.

Стр. 488. *Альбони, Мариетта* (1826–1894) – итальянская певица, гастролировавшая по странам Европы.

Стр. 489. *«Флапперз»* – англ. flapper (жарг.) – вертушка (о молодой девушке).
Барнвел, Джордж – герой пьесы Дж. Лилло «Лондонский купец» (1731).

Стр. 490. *Уиндем, Чарлз* (1837–1919) – английский актер и режиссер, с 1876 г. руководил театром «Крайтирион».
«Розовые домино» – комедия-фарс английского драматурга Джеймса Олбери, впервые поставленная в театре «Крайтирион» актером-антрепренером Чарлзом Уиндэмом в 1877 г. и имевшая огромный успех у публики (спектакль выдержал 555 представлений).
Мэнсфилд, Ричард – см. примеч. к с. 311.

Стр. 492. *Мюррей, Джордж Гилберт Эме* (1866–1957) – английский ученый, переводчик, известен переводами греческих драматургов и трудами по греческой литературе.
Мэйсфилд, Джон (1878–1967) – английский поэт и драматург, автор ряда популярных в свое время пьес.
Хэнкин, Сент-Джон Эдуард Чарлз (1870–1909) – английский драматург, в творчестве которого тяга к реалистическим принципам изображения социальной действительности сочеталась с натурализмом.
Хаусмен, Лоренс (1867–1959) – английский писатель и художник, в 1904 г. в театре «Корт» поставлена его фантастическая пьеса «Прюнелла», написанная в соавторстве с Х. Гренвилл-Баркером.
Дринкуотер, Джон (1882–1937) – английский поэт, драматург и критик. Исполнял главную роль в своей исторической драме «Авраам Линкольн» (1919).

Стр. 493. *Вест-Энд* – западная фешенебельная часть Лондона.
Жена Потифара – согласно Библии, жена египетского вельможи Потифара (Пентефрия) пыталась соблазнить проданного ее мужу в рабство Иосифа, а когда ей это не удалось, обвинила Иосифа в намерении обесчестить ее (Книга Бытия, XXXIX).
Реймский собор – один из самых замечательных памятников готической архитектуры (построен в XIII–XIV вв.), в котором по традиции короновались французские короли.
Адельфи – комплекс общественных и жилых зданий в Лондоне, построенный во второй половине XVIII в. братьями Адам.

Стр. 494. *Блонден-Данки* (1824–1897) – французский акробат-канатоходец. В 1859–1861 гг. перед многочисленными зрителями демонстрировал свое искусство над Ниагарским водопадом, иногда держа на руках малолетнего сына.
Кингстоун, Гертруда – см. примеч. к с. 309.
Честертон, Гилберт Кит (1874–1936) – английский писатель, публицист.
Брие, Эжен (1858–1932) – французский драматург.

Стр. 496. *Американский президент, когда-то бывший историком...* – Очевидно, Томас Вудро Вильсон (1856–1924), президент США от демократической партии в 1912–1921 гг.
...он повел свой народ, чтобы уничтожить милитаризм в Саверне... – Правительство Вильсона объявило войну Германии 6 апреля 1917 г. Саверн – небольшой городок, расположенный на канале Марна-Рейн.

Стр. 497. *Апостольский Габсбург обрушился...* – Династия Габсбургов несколько столетий правила Австрией, а с XVI в. также Чехией и Венгрией, где австрийские императоры титуловались королями. В данном случае речь идет о последнем монархе Австро-Венгрии Карле

(1887—1922), который занял престол после смерти Франца Иосифа в 1916 г. и в ходе революции 1918 г. был вынужден отречься от престола.
Высочайший Гогенцоллерн томится в Голландии... — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император с 1888 г., свергнутый революцией 9 ноября 1918 г., бежал в Нидерланды.
Имперский Романов. — Имеется в виду Николай II (Николай Александрович Романов, 1868—1918), последний российский император (с 1894). В ходе событий Февральской революции в марте 1917 г. отрекся от престола, находился с семьей в ссылке сначала в Тобольске, затем в Екатеринбурге (ныне Свердловск). По постановлению Президиума Уральского областного совета был расстрелян.
...повелитель эллинов уравнялся со своей челядью в Швейцарии... — Здесь говорится о короле Греции Константине I (1868—1923), из династии Глюксбургов, правившем с 1913 г. Будучи супругом сестры германского кайзера Вильгельма II, выступил против участия Греции в войне на стороне Антанты и отрекся в 1917 г. от престола в пользу своего сына Александра. После смерти Александра в 1920 г. возвратился на греческий престол, однако народные волнения и восстание в армии вынудили его вторично отречься от престола в сентябре 1922 г. и эмигрировать в Италию. Очевидно, Шоу имеет в виду пребывание бывшего короля в Швейцарии в 1917—1920 гг. на правах рядового гражданина демократической республики.
...потомки Банко. — Макбету, убийце Банко, являются призраки — восемь коронованных потомков Банко (Шекспир, «Макбет», акт IV, сц. 1).
Солон (640/635 — ок. 559 до н. э.) — афинский политический деятель, законодатель и социальный реформатор, один из «семи мудрецов» древности.

Стр. 498. *Брунгильда* — одна из главных героинь древнегерманского эпоса, положенного в основу тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (1851—1874).

Стр. 502. *Седьмая степень самосозерцания* — согласно буддийской религии, высшая степень человеческого совершенства.

Стр. 509. *Мадзини, Джузеппе* (1805—1872) — вождь и идеолог революционного республиканско-демократического крыла итальянской буржуазии во время национально-освободительного движения в Италии; сыграл значительную роль в борьбе за создание единого итальянского национального государства.

Стр. 517. *Студенческий день* — специальный день в Национальной галерее, когда начинающим художникам разрешается за плату в 6 пенсов копировать картины.

Стр. 529. *Махатма* — в индусской мифологии мудрец, «божественный сверхчеловек».

Стр. 535. *...вроде Даниила во рву львином.* — Согласно библейской легенде, Даниил был брошен по приказу царя Дария в ров со львами, но «чудо» спасло его от смерти.

Стр. 567. *Прямо как в «Тристане и Изольде».* — Имеется в виду опера Вагнера «Тристан и Изольда» (1865).

Стр. 591. Им алтарем был темный лес,
Венчал их ветер вольный.

(Шелли. «Розалинда и Елена»)

Стр. 598. *...о капитан, мой капитан* – этими словами начинается известное стихотворение американского поэта У. Уитмена (1819–1892) «О капитан, мой капитан» (1865), посвященное памяти президента США Линкольна.

Река Иорданская. – Воды реки Иордан считаются святыми, так как в ней, по евангельскому преданию, крестился Христос.

СОДЕРЖАНИЕ

СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ 5
Перевод М. Лорие

ПРЕДИСЛОВИЕ 7
Перевод Н. Рахмановой

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ФАННИ 49
Перевод А. Кривцовой

АНДРОКЛ И ЛЕВ 125
Перевод Г. Островской

ПОСЛЕСЛОВИЕ 171
Перевод Г. Островской

ОХВАЧЕННЫЕ СТРАСТЬЮ 177
Перевод Е. Лопыревой

ПИГМАЛИОН 205
Перевод П. Мелковой

ПРЕДИСЛОВИЕ 207
Перевод Н. Рахмановой

ПОСЛЕСЛОВИЕ 292
Перевод Н. Рахмановой

ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА 305
Перевод Г. Островской

АВТОРСКАЯ ЗАЩИТА «ВЕЛИКОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 307
Перевод Г. Островской

ЛЕЧЕНИЕ МУЗЫКОЙ 353
Перевод Е. Лопыревой

О'ФЛАЭРТИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ВИКТОРИИ 369
Перевод Л. Поляковой

ИНКА ПЕРУСАЛЕМСКИЙ 393
Перевод В. Паперно

ОГАСТЕС ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ 421
Перевод И. Звавича

АННАЯНСКА, СУМАСБРОДНАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА 443
Перевод В. Паперно

ПРЕДИСЛОВИЕ 445
Перевод В. Паперно

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА 461
Перевод С. Боброва и М. Богословской

ПРЕДИСЛОВИЕ 463
Перевод Е. Лопыревой

КОММЕНТАРИИ 603

Шоу Б.

Ш81 Полное собрание пьес в шести томах. Т. 4. Пер. с англ./Ред. тома И. В. Ступников. Послесл. А. С. Ромм. Примеч. С. Л. Сухарева, А. Н. Николюкина, И. Б. Комаровой.— Л.: Искусство, 1980.— 654 с., портр.

Четвертый том Полного собрания пьес Бернарда Шоу содержит двенадцать произведений, написанных драматургом в 1910—1917 гг. В том включены, в частности, пьесы, впервые переведенные на русский язык. «Охваченные страстью», «Лечение музыкой», «Инка Перусалемский», «Анаянска, сумасбродная великая княжна». В новом переводе представлены «Андрокл и лев», «Великая Екатерина» и «Пигмалион».

К ряду пьес даны предисловия и послесловия, написанные самим драматургом («Смуглая леди сонетов», «Андрокл и лев», «Пигмалион», «Великая Екатерина», «Дом, где разбиваются сердца»).

Том снабжен комментариями, раскрывающими творческую и сценическую историю пьес.

Ц $\frac{70600\text{-}114}{025(01)\text{-}80}$ подписное

ББК 84.34 (Вл)
И (Англ)

БЕРНАРД ШОУ

Полное собрание пьес

в шести томах

Том 4

Редактор И. В. Кудрова. Художественный редактор А. И. Приймак. Технический редактор Л. Н. Чешейко. Корректоры Л. Н. Борисова. Н. Д. Кругер.

ИБ № 995

Сдано в набор 03.10.79. Подписано в печать 31.07.80. Формат 84 × $108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 34,55. Уч.-изд. л. 35,72. Тираж 80 000 экз. Изд. № 361. Зак. № 920. Цена 2 р. 80 к. Издательство «Искусство». Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

2р.80к.